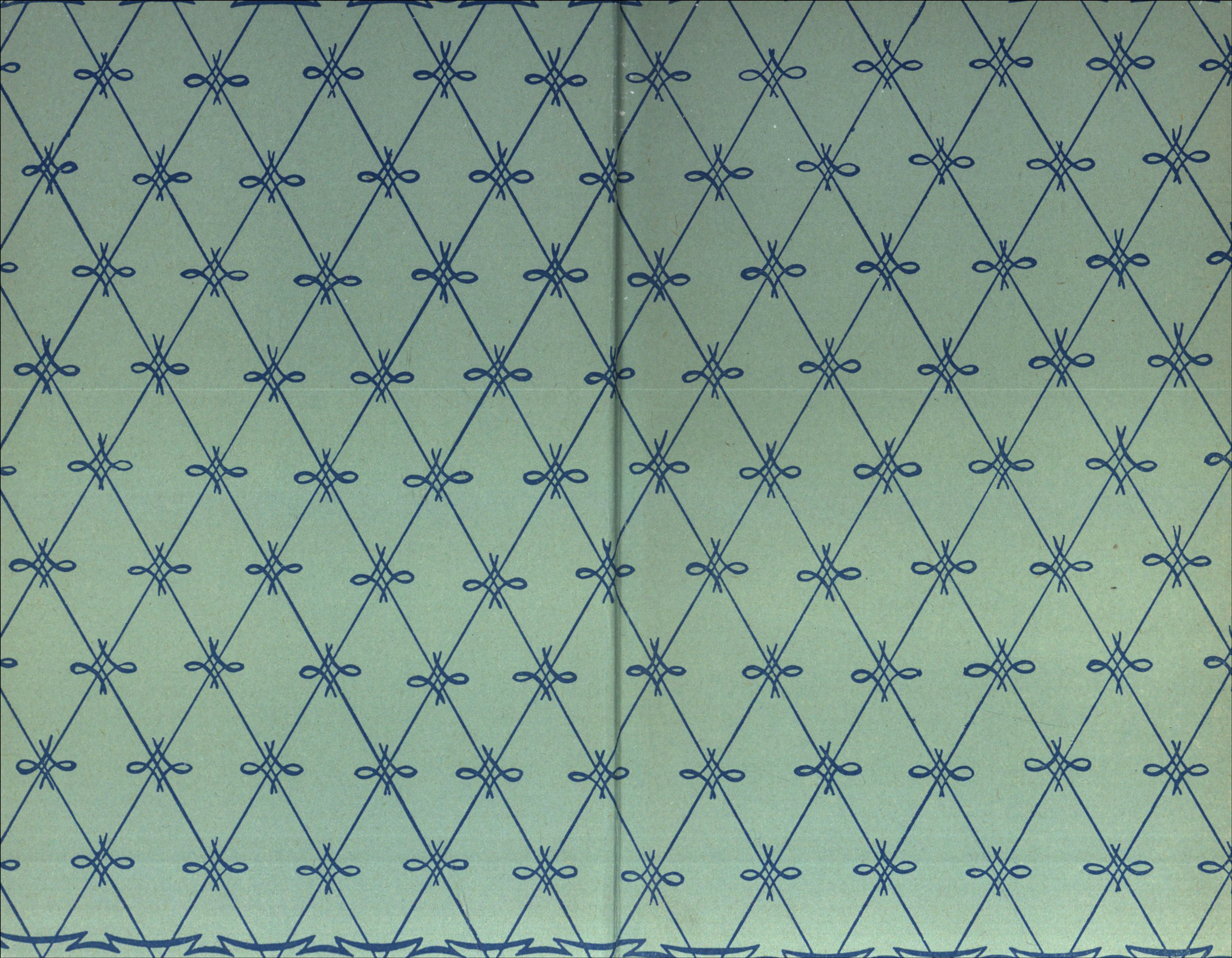


В. Г. КОРОЛЕНКО

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ГОСЛИТИЗДАТ
1962


В. Г. КОРОЛЕНКО
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

С. Н. ГОЛУБОВА, В. В. ГРИГОРЕНКО,
Н. К. ГУДЗИЯ, С. А. МАКАШИНА, Ю. Г. ОКСМАНА

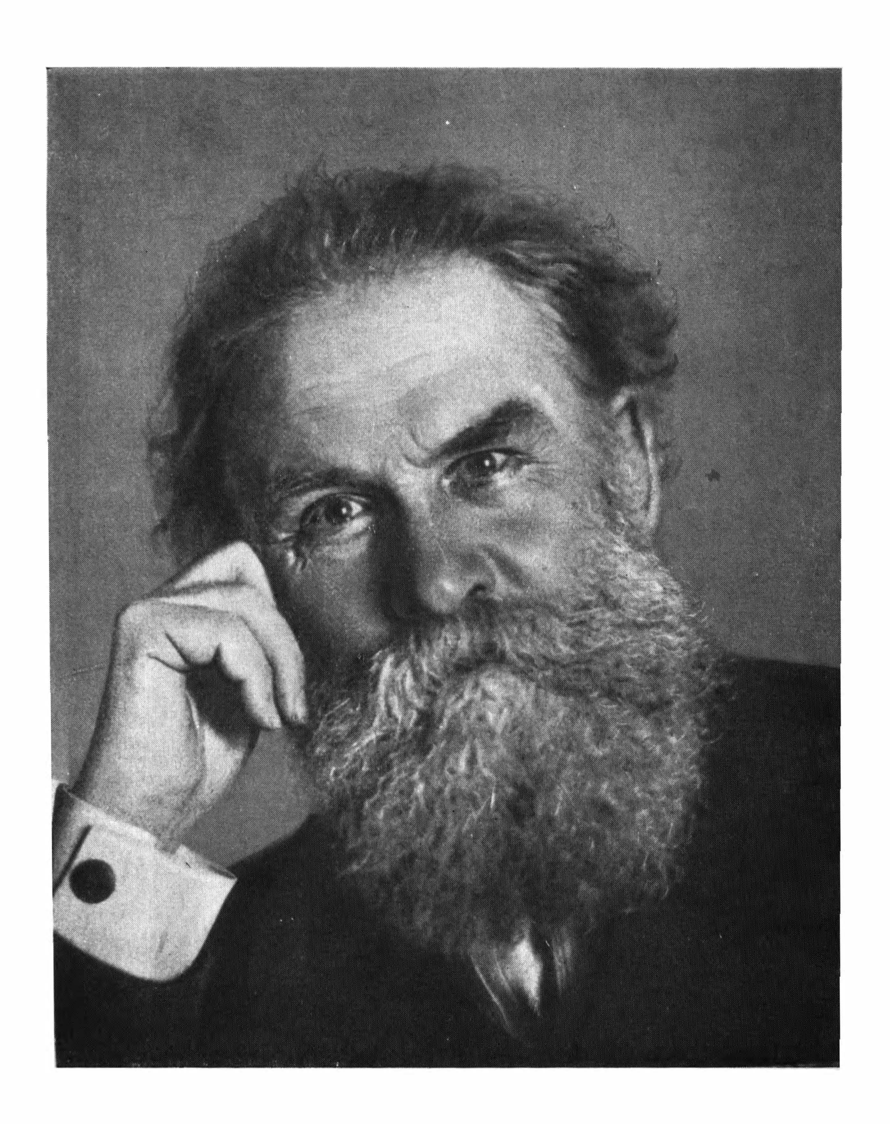
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1962

В. Г. КОРОЛЕНКО
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1962

Предисловие, подготовка текста
и примечания
Т. Г. МОРОЗОВОЙ

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО



Вл. Короленко

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Значение Короленко в темные времена царизма, — писал А. В. Луначарский, — было, конечно, неизмеримо. Он действительно был одной из самых светлых личностей в мрачной империи и имел неизмеримо большое общественное и этическое значение не только для интеллигенции в собственном смысле слова, но и для обывателей, и для сколько-нибудь проснувшейся части деревни, и даже для пролетариата...»[1]

Воспоминания современников Короленко содержат богатейший материал, позволяющий воссоздать образ писателя в его неповторимом индивидуальном своеобразии, увидеть, какой большой и животворной силой являлся он в своей многогранной деятельности для широких слоев русского общества его времени.

Мемуарная литература о Владимире Галактионовиче Короленко, большом русском писателе, выдающемся общественном деятеле и замечательном человеке, очень велика. В разных изданиях опубликовано и хранится в рукописном виде в государственных и частных архивах около четырехсот воспоминаний.

Воспоминания о Короленко крайне различны по своему характеру и весьма неравноценны. Одни из них принадлежат выдающимся мастерам художественного слова — А. М. Горькому, В. В. Вересаеву, К. А. Треневу, К. И. Чуковскому, другие — людям, никогда не выступавшим в печати. Одни воспоминания — О. В. Аптекмана, Т. А. Богданович, Ф. Д. Батюшкова, Л. Л. Кривинской — основаны на многолетнем и близком общении с писателем, в других передаются впечатления от кратких эпизодических встреч (Е. П. Летковой,

---

[1] В. Г. Короленко, Собр. соч., кн. I, Зиф, М. — Л., стр. XIII.

В. Ф. Булгакова). В некоторых скупо фиксируются внешние факты, авторы других пытаются обобщить свои наблюдения, глубоко раскрыть личность писателя, определить значение его деятельности в той или другой области. К последним относятся воспоминания А. Б. Дермана, К. И. Чуковского, дочери писателя — Н. В. Короленко-Ляхович.

Среди мемуарной литературы о Короленко особое место занимают очерки М. Горького, великолепного мастера литературного портрета, любовно нарисовавшего яркий образ художника глубокой мысли, щедрой души и боевого темперамента.

Воспоминания охватывают почти весь жизненный путь писателя[1], хотя не все этапы его жизни отражены в них с одинаковой полнотой. Совсем нет воспоминаний о детстве и юности писателя, мало говорится о Короленко-студенте. Но хорошо представлен важный в биографии Короленко период тюрем и ссылок (1876—1885). В воспоминаниях М. Горького, Т. А. Богданович, С. Д. Протопопова и других разносторонне освещена жизнь и деятельность Короленко в Нижнем-Новгороде (1885—1896). Много ценного содержится в воспоминаниях А. Б. Дермана, Н. Ростова, Л. Л. Кривинской о последнем — полтавском периоде жизни писателя (1900—1921).

Некоторые мемуаристы, естественно, касаются тех событий и фактов, о которых весьма подробно и обстоятельно писал сам Короленко в автобиографическом произведении — «Истории моего современника». Много точек соприкосновения с этим трудом писателя мы находим в воспоминаниях, отражающих период ссылок. Но в «Истории моего современника» с большой полнотой воссозданы детские и юношеские годы будущего писателя, не отраженные в мемуарной о нем литературе. Воспоминания о Короленко как бы продолжают его автобиографическую хронику, прерванную на средине 80-х годов, и доводят рассказ до последних лет жизни писателя. Даже там, где встречаются совпадения, мемуары нередко дают подробности, которые не попали в поле зрения самого писателя или были им сознательно опущены.

В других отношениях художественная автобиография Короленко и мемуарная литература о нем просто несоотносимы. «История моего современника» содержит глубокое и последовательное раскрытие истории духовного формирования личности будущего писателя, данное в тесной связи с широким изображением окружающей среды и общественного движения 60—80-х годов, на какое не могут претендовать самые лучшие мемуары наблюдателей со стороны. Но в то же время своеобразный коллективный труд — воспоминания совре-

---

[1] В. Г. Короленко родился 15 июля 1853 г., умер 25 декабря 1921 г.

менников имеют и свои преимущества. В них заключено такое богатство фактов, наблюдений, деталей и такое разнообразие аспектов, которые невозможны в работе одного лица.

В данный сборник вошла лишь небольшая часть обширной мемуарной литературы о Короленко. В нем сосредоточены наиболее интересные, содержательные и достоверные воспоминания. Некоторые из них впервые увидят свет на страницах этого сборника.

Воспоминания расположены в сборнике в хронологической последовательности описанных в них событий. Разумеется, многие из них, особенно те, которые принадлежат людям, знавшим Короленко на протяжении долгого времени, выходят за рамки одного периода жизни писателя. При определении места такого рода мемуаров принимались во внимание те факты и события, которые определяют их значение и характер.

I

Владимир Галактионович Короленко является одним из самых крупных представителей русского критического реализма конца XIX—начала XX века. Одаренный художник, большой мастер слова, он с первых шагов своей творческой деятельности привлек к себе внимание своих современников. Его талантливые очерки, рассказы и повести быстро стали достоянием отечественной литературы и рано приобрели известность за рубежом.

Тема Короленко-писатель, рассказы о приемах его писательского труда, о его роли в современной литературной жизни занимают немаловажное место в мемуарной литературе о нем. В этом отношении значительны многие страницы воспоминаний Ф. Д. Батюшкова, В. В. Вересаева, С. Д. Протопопова, А. Б. Дермана и других.

В творчестве Короленко большое место занимает очерк «с натуры». Сюжеты его произведений часто основаны на действительных жизненных случаях, а за художественными образами почти всегда скрываются реальные лица. Современники сообщают нам, на каком фактическом материале сложилось то или другое произведение Короленко, знакомят нас с прототипами его героев, сообщают, при каких обстоятельствах возник тот или другой художественный замысел. Так, из воспоминаний С. П. Швецова, Н. С. Тютчева, О. В. Аптекмана мы узнаем, в каких условиях создавались рассказы «Чудная», «Ненастоящий город», «Сон Макара», «Марусина заимка». Дочь писателя Н. В. Короленко-Ляхович упоминает о «человеке на цепи», встреча с которым послужила толчком к созданию очерка «Смиренные». М. П. Подсосова-Грацианова сообщает интересные подробности творческой истории рассказа «В облачный день», а из

воспоминаний М. Ф. Николевой мы узнаем, как из краткой и давней записи о пребывании в деревне в голодный год много времени спустя родился очерк «Голодная весна». Все это позволяет нам уяснить соотношение жизненных фактов и творческого вымысла в произведениях Короленко, глубину его художественных обобщений.

Рассказы о том, как писатель с палкой в руках и котомкой за плечами совершал путешествия, как любил он смешаться с толпой и неприметно, но зорко наблюдать народные типы и настроения, упоминания о роли, какую играли в его литературном труде пометки в записной книжке, накопляемые в таких путешествиях, вводят нас в его творческую лабораторию.

Короленко, как видим мы из воспоминаний, любил поверять близким свои творческие замыслы. Даровитый рассказчик, он охотно передавал окружающим разные жизненные истории, многие из которых впоследствии претворялись в его литературные произведения. Особенно сильно эта черта писателя проявилась в период работы над «Историей моего современника».

С. Д. Протопопов и А. Б. Дерман вспоминают о необыкновенной творческой сосредоточенности Короленко в то время, когда произведение созревало окончательно и писатель садился за стол. Творческая работа настолько овладевала его сознанием, что отвлечь его в этот момент было почти невозможно. «Это свойство, — замечает С. Д. Протопопов, — всем хорошо было известно, и ему безропотно покорялись».

С. Д. Протопопов, близко знавший писателя по Нижнему-Новгороду, рассказывает, как он работал: «Пишет В. Г. Короленко легко, скоро и с удовольствием. По его словам, ему трудно только начать, но когда первая фраза «в нужном тоне» написана, продолжение уже льется само собой. Беллетристику он всегда сам переписывает, и при этом со значительными изменениями. Другие статьи он пишет прямо начисто, но в печать они попадают с многими поправками на полях и между строк».

Несмотря на то что вывести Короленко из состояния творческой сосредоточенности было нелегко, современники не раз упоминают о том, что «злоба дня» часто вторгалась в работу писателя и обрывала ее течение. «Русская действительность, — справедливо пишет М. А. Коломенкина, — не скупилась на «перебивающие» впечатления» [1]. Так, еврейский погром в Кишиневе (1903) остановил работу Короленко над романом из времен Пугачева «Набеглый царь». Был написан очерк о погроме «Дом № 13», роман же, которому было отдано много сил, остался в черновиках.

[1] «Голос минувшего», 1914, № 7, стр. 8.

В воспоминаниях содержатся сведения о неосуществленных или незавершенных замыслах Короленко. Особенно часто мемуаристы упоминают о глубоком интересе писателя к личности Пугачева и его намерении дать свою, отличную от пушкинской трактовку характера замечательного вождя народного движения. Так, мы узнаем, что Короленко предполагал в своем произведении уделить большое внимание народной психологии и проследить, как под влиянием народного возбуждения Пугачеву приходит мысль о самозванстве. Историк творчества Короленко или исследователь пугачевской темы в русской литературе не пройдет мимо набросков Короленко и, кроме фрагментов, оставленных писателем, должен будет обратиться и к воспоминаниям современников.

Авторы мемуаров приводят высказывания писателя по вопросам искусства, которые расширяют наше представление о его эстетических взглядах. Таковы, например, те оригинальные мысли «на ходу» о влиянии промышленной техники на искусство, которые Короленко высказывал художнику И. Н. Захарову.

Несмотря на отрицательное отношение писателя к крайностям модернизма и твердой убежденности в незыблемости принципов реалистического искусства, литературные его суждения были свободны от доктринерства и предвзятости. Показателен в этом отношении спор Короленко с И. Е. Репиным об импрессионизме, о котором упоминает Ф. Д. Батюшков, а также разговор с Л. Н. Толстым о декадентстве, переданный В. Ф. Булгаковым.

Со страниц воспоминаний Короленко встает перед нами в живом общении с другими писателями — старшими и младшими современниками: Толстым, Чеховым, Горьким, Андреевым, Куприным, Чапыгиным. Для многих из них он явился мудрым и добрым учителем.

Воспоминания раскрывают исключительно заботливое отношение Короленко к начинающим писателям, по преимуществу выходцам из народной среды: юноше Горькому, Серафимовичу, Подъячеву, Чапыгину, Неверову и многим другим. Своими указаниями и советами Короленко побуждал их к глубокому изучению жизни, воспитывал в них ответственное отношение к творческой работе. Он стремился продвинуть их произведения в печать, поддерживал их материально.

Горький впервые услышал от Короленко о значении формы, о красоте фразы и, слушая его, глубоко почувствовал, что «писательство — не легкое дело». Короленко учил начинающих писателей бережному отношению к языку, вниманию к слову. «Иностранные слова, — например, говорил он Горькому, — надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их.

Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли».

Горький впоследствии писал: «Он был моим учителем недолго, но он *был* им, и это моя гордость по сей день» [1].

Из воспоминаний мы узнаем не только о тех впечатлениях, которые питали творчество писателя, но и о том воздействии, какое оно имело на духовное развитие его современников. Так, например, будущий академик, этнограф Л. Я. Штернберг, вспоминая тяжелые дни ссылки на Сахалине, говорит, что слова Короленко из рассказа «Соколинец»: «Убийца не только убивает, он еще живет и чувствует...» — совершенно перевернули его отношение к окружающему, помогли увидеть человека в загрубелом преступнике [2].

О неизгладимом впечатлении от рассказов и очерков Короленко говорят А. С. Серафимович, С. П. Подъячев и многие другие. Горький вспоминает о горячих спорах, вызванных ранними произведениями Короленко в среде нижегородской интеллигенции, и отмечает значительность «поправок», внесенных писателем в представления о крестьянстве, утверждавшиеся народнической литературой. Горький же говорит о том непосредственном ощущении своеобразия и новизны творчества Короленко, которое было так живо у современников. О себе Горький пишет: «Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать».

Т. И. Бобырь в своих неопубликованных воспоминаниях рассказывает, с какой остротой воспринимались произведения Короленко накануне революции 1905 года учащейся молодежью и в рабочей среде. «Очерки Короленко, — пишет она, — волновали наши души и умы, рождали критическое отношение к окружающей действительности, призывали к строгой оценке собственного поведения, будили жажду общественного служения». Описывая одно из занятий на Миусских рабочих курсах, на котором ею был прочитан очерк Короленко «Мгновение», она передает то яркое, возбуждающее впечатление, которое произвел рассказ на слушателей. Он послужил прямым поводом для беседы о необходимости организованной революционной борьбы. Как свидетельствует В. А. Чаговец, заключительные строки короленковского стихотворения «Огоньки» — «впереди огни!» — продолжали и после появления «Буревестника» жить и волновать рядом с горьковским: «Пусть сильнее грянет буря!» [3]

---

[1] «А. М. Горький и В. Г. Короленко. Переписка, статьи, высказывания», Гослитиздат, М. 1957, стр. 121.

[2] «В. Г. Короленко. Жизнь и творчество», «Мысль», Пг. 1922, стр. 62—63.

[3] «Закарпатская Украина», 1947, № 192, от 17 августа.

Некоторые из современников сохранили в своих воспоминаниях отзывы о Короленко крупных деятелей литературы. Так, С. Д. Протопопов передает мнение Н. Г. Чернышевского о стиле Короленко. Другие свидетельствуют о несомненном сочувственном внимании вождя русской революционной демократии 60-х годов к «молодому беллетристу Владимиру Короленко». Исключительный интерес представляет свидетельство В. Д. Бонч-Бруевича, который впервые приводит в печати суждения о Короленко В. И. Ленина, высказанные после Великой Октябрьской революции.

В воспоминаниях С. Д. Протопопова, а также Ф. Д. Батюшкова мы находим упоминания о большом интересе к творчеству и личности Короленко его зарубежных читателей.

II

В. Г. Короленко был не только крупным писателем, но также выдающимся публицистом, видным общественным деятелем, оказавшим серьезное воздействие на русскую жизнь своего времени.

Сам писатель придавал большое значение этой стороне своей деятельности. «Для меня, — говорил он, — это не второстепенный придаток, а половина моей работы и моей литературной личности» [1].

Современники порой выражали сожаление, что Короленко часто уходил с художественной тропы на дорогу публициста. Но вместе с тем они признавали, что «участие в борьбе нового и старого» было «второй натурой» писателя, что завету Некрасова — «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — он был глубоко предан. И большинство современников высоко ценило его способность совмещать труд писателя с кипучей общественной деятельностью.

Заслугам Короленко «гражданского характера» уделено в мемуарах много внимания: в них настойчиво подчеркивается неустанная общественная активность писателя, острота его реакции на отрицательные явления социальной жизни.

В ряде воспоминаний описывается участие Короленко в помощи голодавшим крестьянам Поволжья в 1891—1892 годах, его страстная защита угнетавшихся царизмом народностей в Мултанском процессе и деле Бейлиса. Полтавские друзья писателя рассказывают о его борьбе за предотвращение еврейских погромов в Полтаве, где

---

[1] В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 2, «Мир», М. 1932, стр. 7.

Короленко поселился в 1900 году и прожил до смерти, о его участии в защите крестьян, замешанных в аграрных волнениях кануна революции 1905 года. В воспоминаниях Е. Д. Сакова, А. Б. Дермана нашла отражение «сорочинская трагедия» — зверское избиение крестьян начальником карательной экспедиции Филоновым, вызвавшее гневный протест Короленко (1906). Мемуаристы рассказывают о многочисленных выступлениях Короленко против казней, массовых истязаний и пыток, которыми изобиловало начало XX века в России, — выступлениях, как правило вызывавшихся конкретными поводами, отдельными случаями, демонстрировавшими вопиющий произвол и общественную несправедливость.

Мемуары не только дают интересный материал, поясняющий то или другое выступление Короленко. Они помогают понять характер и значение его общественной деятельности.

Короленко вошел в русскую общественную жизнь в трудное время — в тот сложный переходный период между вторым и третьим этапами русской освободительной борьбы, о котором В. И. Ленин писал: «...революционеры исчерпали себя 1-ым марта, в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации» [1]. Короленко вернулся из ссылки и поселился в Нижнем-Новгороде в середине 80-х годов — в самый «разгар темной, тупой и угрюмой реакции». Он сказал себе: «Ни партий, ни классов, которые бы вели сплоченную борьбу за право общества и народа, нет. Создавать их — не мое призвание. Мне остается выступить партизаном, защищая право и достоинство человека всюду, где это можно сделать пером» [2]. Таким «партизаном», сражавшимся в отдельных стычках на свой страх и риск, Короленко и оставался всю жизнь.

Однако для многих современников было совершенно ясно, что разрозненные выступления писателя, направленные против тех или других частных явлений жизни, вызывались широкой общей задачей. Так, С. Д. Протопопов замечает: «...в этих делах с первых шагов обнаружилась уже борьба с гнилыми сторонами строя». Горький же, обобщая смысл деятельности Короленко, пишет: «В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью».

Таким образом, объективным содержанием деятельности Короленко и сознательной ее целью была борьба с самодержавием, с теми

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, 5-е изд., т. 5, стр. 44.

[2] «В. Г. Короленко. Черточка из автобиографии». В кн.: В. Г. Короленко, Полн. собр. соч. Посмертное издание, т. V, Госиздат Украины, 1929, стр. 202.

чиновно-бюрократическими учреждениями, которые служили опорой реакционного режима, — за политическую свободу.

Современники часто подчеркивают беспартийность Короленко. С. Д. Протопопов называет его «истинно беспартийным», а В. А. Чаговец пишет: «...выступление «в одиночку» характерно для Короленко на всех этапах его жизни».

Действительно, Короленко никогда не принадлежал ни к какой политической партии. Но современники, сочувственно оценивавшие беспартийность Короленко (тот же С. Д. Протопопов), не понимали, что если «беспартийность» освобождала писателя от узости отдельных буржуазных или мелкобуржуазных партий, то она же накладывала печать именно буржуазной ограниченности на его общественную деятельность.

О напряженной и страстной деятельности Короленко можно сказать, что она служила ниспровержению самодержавно-крепостнического строя, освобождая из-под него строй буржуазный, но она не преследовала задач борьбы против этого буржуазного общества, к которой готовился пролетариат под руководством своей партии.

Современники сделали верное наблюдение, что писателю было присуще стремление объединять передовые общественные силы. «Короленко, — читаем мы в воспоминаниях С. Д. Протопопова, — старался отыскивать сходства в идеях и стремлениях, старался соединять и примирять...» Какие широкие круги передовой интеллигенции привлекал Короленко к участию в борьбе, мы видим, например, из воспоминаний А. Н. Баранова о «Мултанском деле».

Стремление Короленко к объединению всех «живых сил страны» было ярким проявлением буржуазно-демократической позиции писателя. Короленко отстаивал ближайшие, элементарные цели, те права и «блага», которые, по его собственным словам, были «нужны не одному какому-нибудь классу или сословию, а русскому «человеку» вообще, без различия сословий и состояний» [1]. Борьба за эти «блага», которые, по мнению Короленко, можно охватить термином «раскрепощение русской жизни», действительно объединяла весь демократический лагерь.

Стремления Короленко к консолидации всех прогрессивных общественных сил были, несомненно, родственны тем объединительным тенденциям в демократическом лагере, которые усилились в 90-х годах и особенно ясно проявились в организации партии «Народное право» (1892—1894). Не случайны связи Короленко с деятелями

---

[1] В. Г. Короленко, Полн. собр. соч., т. 5, изд. т-ва А. Ф. Маркса, СПб. 1914, стр. 357.

этой партии, о которых рассказывают в своих воспоминаниях Н. С. Тютчев и О. В. Аптекман.

Именно возникновение этой партии позволило В. И. Ленину отметить в своей работе «Что такое «друзья народа»...» усиление в 90-е годы течений, направленных к объединению всех революционных фракций для завоевания политической свободы. Со всей категоричностью отмежевывая задачи социал-демократов от задач такой общедемократической партии, В. И. Ленин все же признавал создание ее полезным шагом вперед в борьбе против сил реакции[1].

Выступая по отдельным поводам, привлекая к борьбе не только прогрессивных политических деятелей, но и просто честных людей, отстаивая «элементарно-необходимые права», Короленко осуществлял ту демократическую борьбу с самодержавием, пережитками крепостничества и всеми проявлениями антинародного реакционного режима, которая была важна и пролетариату, «как средство для облегчения борьбы против буржуазии»[2]. В период развертывавшейся пролетарской революции Короленко явился выдающимся деятелем радикальной демократии, которая, выдвигая общедемократические требования, была участницей «первой войны» — «общенародной борьбы за свободу (за свободу буржуазного общества), за демократию, т. е. за самодержавие народа», но не включалась во «вторую войну» — в «классовую борьбу пролетариата с буржуазией за социалистическое устройство общества»[3].

Однако надо указать, что «разрешение политического вопроса» Короленко сам мыслил только как первый этап борьбы. Разумеется, ясного понимания всего различия борьбы за буржуазные свободы и борьбы пролетариата с буржуазией за социализм у него не было, и последняя рисовалась ему в неопределенных очертаниях далекого будущего.

Деятельность Короленко носила в основном легальный характер. Во многих своих выступлениях Короленко подчеркнуто апеллирует к законности. С. Д. Протопопов указывает, например, что Короленко, разоблачая хищения в Нижегородском дворянском банке, ссылался на манифест Александра III, в котором царь призывал бороться со взяточничеством и казнокрадством. «Тяжба» закона с беззаконием, по собственным словам Короленко, была главной целью «Открытого письма к Филонову», о котором часто упоминают современники.

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, 5-е изд., т. 1, стр. 303.
[2] Там же, стр. 302.
[3] Там же, т. 11, стр. 283.

Смысл этой постоянной апелляции к закону был далек от готовности писателя ограничить себя рамками дозволенного правящими верхами. Указывая на систематические нарушения законов теми, кто был призван их поддерживать, писатель раскрывал всю глубину разложения современного ему государственного строя. В обстановке правительственной реакции, как неоднократно отмечал сам Короленко, апелляция к законности превратилась, в глазах властей, в опаснейший революционный лозунг — в «лозунг смуты».

Позиция Короленко по отношению к правящим кругам была исключительно независимой. Ее можно определить как «открытую нелегальность», и не случайно в течение всей жизни писателя сопровождала репутация опасного агитатора и революционера.

Независимость Короленко проявилась уже в молодые годы. В 1881 году, когда после убийства народовольцами Александра II от Короленко, как поднадзорного, потребовали письменной присяги новому царю, он подал заявление пермскому губернатору, в котором писал, что не может присягнуть правительству, которое считает несправедливым и неправосудным.

Открытое выступление, сражение с поднятым забралом было основной формой борьбы Короленко. «Воюю только пером, открыто и прямо», — утверждал он [1]. Вместе с тем именно из воспоминаний современников мы узнаем, что писатель, вопреки собственным его заявлениям, не чуждался и нелегальных форм деятельности. Не без его ведома, как рассказывает Н. С. Тютчев, одна из комнат редакции «Русское богатство» превратилась в место революционной явки. Он дал согласие печататься в подпольной газете «Народное право» и написал для нее статью. Он сам способствовал опубликованию в зарубежной бесцензурной прессе целого ряда своих произведений и публицистических статей, запрещенных в России. В воспоминаниях группы участников революционного движения 90-х годов, опубликованных в 1930 году в журнале «Каторга и ссылка», содержится указание на участие Короленко в сборнике «Социальный вопрос», изданном нелегально в Казани [2]. Любопытен также факт помощи писателя двум матросам знаменитого броненосца «Князь Потемкин Таврический», прибывшим нелегально в Россию из Румынии в

---

[1] В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 10, Гослитиздат, М. 1956, стр. 429.

[2] Об этом факте писал Е. А. Бушканец в статье «Из литературного прошлого» («Литературный Татарстан», 1949, № 3, стр. 186—192). Впоследствии он взял под сомнение участие Короленко в сборнике и высказал предположение, что писатель передал в сборник чужую

1907 году. Об этом факте, остававшемся неизвестным биографам Короленко, рассказано в воспоминаниях бывшего матроса этого корабля — И. И. Старцева-Шишкарева.

Главным орудием борьбы Короленко было слово. «Печатное слово, — говорил он, — есть большая, внушительная сила».

Понимая огромную роль печати в воспитании гражданского сознания в обществе и народе, Короленко видел в ней и могучее средство борьбы с царившими в стране беззакониями. На опыте собственной публицистической деятельности писатель убедился, что «кончик острого стального пера является все-таки оружием, способным наносить и отражать удары...» [1]

Короленко придавал большое значение местной, провинциальной печати, и современники рассказывают о настойчивой борьбе писателя за создание хорошей областной газеты в Нижнем-Новгороде, о мероприятиях, которыми он старался поддержать передовую печать в Полтаве.

С. Д. Протопопов приписывает именно Короленко большую заслугу создания «нижегородской публицистики». «Он дал тон, он показал, в какой форме возможно обсуждение многих не тронутых печатью общественных вопросов». «С его лёгкой руки, — пишет С. Д. Протопопов, — корреспонденты расплодились на родине Минина, и теперь, кроме двух больших местных газет, нижегородскую жизнь освещают многочисленные сообщения в столичную печать».

Короленко обладал редкой способностью, используя печать и гласность, раздвигать пределы дозволенного цензурой, а иногда и обходить их.

А. Б. Петрищев, много лет сотрудничавший в журнале «Русское богатство», свидетельствует, что он никогда не слышал от Короленко обычных редакторских слов: «Это опасно... Этого нельзя» [2]. Он же приводит следующее рассуждение писателя о тактике борьбы с цензурой, которую применял Короленко как редактор журнала: «Если писатель держится поодаль от опасных мест, говорит меньше, чем возможно, то цензура неизбежно продвигается вперед, шаг за шагом суживает поле доступного для литературы. Наша обязанность — отодвигать запретную линию, расширять литературные возможности,

---

статью («Известия АН СССР. Серия истории и философии», 1951, т. VIII, вып. 2, стр. 180—181). Как бы то ни было, причастность Короленко к сборнику остается несомненной.

[1] В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 8, Гослитиздат, М. 1955, стр. 151.

[2] «В. Г. Короленко. Жизнь и творчество». Сб. статей, «Мысль», Пг. 1922, стр. 17.

а для этого надо держаться на самом краю, на «лезвии ножа», которым разрезается фронт противника...»[1] Интересные факты борьбы Короленко с цензурой приводит в своих мемуарах В. Д. Бонч-Бруевич.

Воспоминания показывают нам, как много значило для современников публичное слово Короленко. В трудные минуты к его помощи прибегают и скромный журналист из глухой провинции А. Н. Баранов, ставший на защиту крестьян-удмуртов из с. Старый Мултан, и политические заключенные, когда у них возникла необходимость на страницах прессы заявить протест против издевательств тюремных властей, и множество других.

Вмешательства Короленко не только ждут, его требуют. Л. Я. Штернберг рассказывает, как в 1913 году к писателю была направлена целая делегация с просьбой выступить одним из защитников в деле Бейлиса. Короленко, «с его популярным именем, с его нравственным авторитетом, его ораторской выдержкой и убедительностью, был, по мнению современников, тем «шансом», который... преступно было упустить»[2].

Короленко взывал к общественному мнению широких слоев русского народа, а иногда и к международному общественному мнению. Выступления Короленко имели громадный резонанс и иногда действительно звучали на весь мир. Его статья «Сорочинская трагедия» получила большой отклик в зарубежной печати, а книга «Бытовое явление» была переведена на ряд иностранных языков и во множестве экземпляров разошлась по всему свету.

Уверенность в огромном воздействии публицистики Короленко выразил Толстой, сказав по поводу книги о смертных казнях («Бытовое явление»): «Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья»[3].

Выступления Короленко давали осязаемые практические результаты: облегчение положения голодающих, оправдание невинных, предотвращение погрома, избавление от смертной казни, смягчение

---

[1] «В. Г. Короленко. Жизнь и творчество». Сб. статей, «Мысль», Пг. 1922, стр. 16.

[2] Л. Штернберг, Встречи и впечатления. В кн.: «В. Г. Короленко. Жизнь и творчество». Сб. статей, «Мысль», Пг. 1922, стр. 72—73.

[3] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 81, Гослитиздат, М. 1956, стр. 187.

тюремного режима. Но неизмеримо шире и важней было общественно-политическое значение его выступлений. Внешне спокойные, построенные на изложении достоверных фактов, статьи Короленко рождали чувство глубокого возмущения государственным порядком и жажду борьбы с общественной неправдой. Публицистическая и общественная деятельность Короленко пробудила, по словам М. Горького, «дремавшее правосознание огромного количества русских людей». Она имела несомненное революционизирующее значение.

III

«...Кроме стольких-то печатных томов и страниц, Белинский завещал нам еще цельный, живой образ, который останется навсегда, наряду с лучшими созданиями гениальнейших поэтов. Этот образ — он сам...» [1]

Эти слова Короленко о Белинском можно отнести к нему самому.

Короленко был человеком непоколебимой принципиальности, огромного гражданского мужества и великого душевного благородства. Не случайно Горький назвал его «честнейшим русским писателем» и «человеком с большим и сильным сердцем».

«Спасибо вам за вашу прекрасную жизнь» — так выразила свое отношение к В. Г. Короленко группа русской интеллигенции во главе с И. Е Репиным в телеграмме, посланной писателю в день его шестидесятилетия.

Некоторые из современников иногда даже затруднялись определить, что представляет наибольшую ценность: художественное творчество Короленко, его общественная и публицистическая деятельность или он сам, его личность. «Великий художник» — это еще вопрос, безусловно ли это определение применимо к Короленко, но «...не может быть никаких споров о том, что Короленко был *великим человеком»,* — писал, например, после смерти писателя В. Е. Евгеньев-Максимов [2].

Слава о глубокой гуманности Короленко, о безупречной чистоте его морального облика распространилась за пределами его родины. Выдающийся китайский писатель Лу Синь, выражая неудовлетво-

---

[1] В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 8, Гослитиздат, М. 1955, стр. 8.

[2] В. Е. Евгеньев-Максимов, Великий гуманист, т-во «Учитель», Пг. 1922, стр. 10.

ренность окружавшими его литераторами, вспоминал о русском писателе и говорил: «Нет и половины такой личности, как Короленко» [1].

Принадлежащие людям разной социальной среды, разных политических ориентаций, разных профессий и возрастов, воспоминания доносят до нас глубокое обаяние, красоту личности Короленко.

Уважение современников вызывала твердость идейной позиции писателя, способность отодвинуть все личное ради общего дела и та самозабвенная страстность, с которой он отстаивал справедливость. «Среди русских культурных людей, — пишет о нем Горький, — я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь».

Духовный облик Короленко характеризуется замечательным внутренним единством, цельностью. Во всем и всегда он был верен себе. Не существовало разрыва между его словом и делом. Знавшие его утверждают, что самое тесное соприкосновение с писателем «не позволяло обнаружить в нем никаких мелких черт» и не только «не вызывало разочарования, а, напротив, давало чувство непрерывной радости от общения с ним» [2].

Современники отмечают постоянное духовное горение Короленко, неустанную работу его мысли и чувств, богатство его интересов.

Воспоминания раскрывают нам многообразие личных и общественных связей Короленко, его доступность для всех и каждого, его простоту и неподдельную скромность.

Все знавшие Короленко говорят о его поистине необыкновенной отзывчивости, изумительной способности переживать несчастья другого и без колебаний оказывать помощь пострадавшему.

Мемуаристы отмечают терпимость Короленко, его снисходительность в отношении к людям. Он действительно был терпим и снисходителен, но одновременно строг и требователен. У него были твердые понятия о том, кому следует простить и с кого необходимо взыскать. Он не винил народ в его темноте, невежестве, пьянстве, но без всякого снисхождения обличал дворянских хищников, грабивших общественное добро, виновников «истязательских оргий», «героев» зверских расправ с крестьянским населением. Не лишено интереса и воспоминание дочери писателя о том, как не мог отец простить склонности к вину бывшему политическому каторжанину Н. Я. Яце-

---

[1] Лу Синь, Письмо к Цао Цзинь-хуа от 24 июня 1932 г. Газета «Дружба» (Пекин), 1956, № 297, стр. 3.

[2] М. В. Кистяковская, Воспоминания о В. Г. Короленко (ЦГАЛИ).

вичу, считая эту слабость недостойной интеллигентного человека. Многие из друзей писателя настойчиво подчеркивают, что, несмотря на деликатность и большую выдержку, он был способен к гневной реакции.

В воспоминаниях современников писатель предстает перед нами и в семье, в кругу друзей. Мы видим, как проявлялась его сыновняя нежность к матери, возникшая еще в юности и сохранившаяся до последних дней любовь к Евдокии Семеновне Ивановской, ставшей женой писателя и верным его другом. Через всю жизнь прошла завязавшаяся еще на студенческой скамье дружба с В. Н. Григорьевым. Многие годы длилась близкая связь с семьей Анненских.

При строгой требовательности к себе Короленко был свободен от аскетизма. Ему была присуща страстная любовь к жизни и неисчерпаемая бодрость духа. Поглощенный большим и серьезным делом художественного творчества, отдавая много энергии общественной борьбе, Короленко находил время и силы и для длительных путешествий, и для физического труда, и для заботы о близких, и для дружеского общения. Он умел радоваться красоте природы, с увлечением участвовать в детских забавах, играть в кегли, городки, теннис, кататься на коньках и купаться в реке во главе «босоногой команды».

Нравственный облик Короленко кристально чист, и не случайно в воспоминаниях приводятся яркие примеры огромного морального воздействия писателя на окружающих.

Прекрасно о замечательной личности Короленко сказал М. Горький: «Он ведь для меня был и остается самым законченным человеком из сотен, мною встреченных, и он для меня идеальный образ русского писателя...» [1]

IV

Современникам была ясна прогрессивность идейной позиции Короленко. Они часто стремятся ее охарактеризовать, привести высказывания писателя или факты, раскрывающие его взгляды. Но так как многие мемуары принадлежат людям, идейно и политически близким Короленко, то в них не всегда отмечены слабые стороны его мировоззрения. Встречаются в воспоминаниях и противоречия. Но в целом идейный облик Короленко, вдумчивого мыслителя,

---

[1] «А. М. Горький и В. Г. Короленко. Переписка, статьи, высказывания», Гослитиздат, М. 1957, стр. 121.

убежденного гуманиста и демократа, обрисован в мемуарах верно и довольно четко.

Современники многократно касаются философских воззрений Короленко. О беседах с писателем на философские темы рассказывает О. В. Аптекман, деливший с Короленко ссылку в Якутской области в начале 80-х годов. М. Горький передает толки нижегородцев, которые в очерке «Ночью» заметили «уклон автора в сторону метафизики». О мучивших Короленко религиозных сомнениях упоминает В. В. Вересаев.

Воспитанный в детстве в традициях церковной религиозности, Короленко в юности испытал на себе влияние материалистических идей 60-х годов. Эти идеи нанесли первый удар его религиозным представлениям. Большую роль в отходе Короленко от наивной «веры отцов» сыграла и художественная литература.

Занятия в Технологическом и Горном институтах, в Петровской сельскохозяйственной академии, а также чтение передовых журналов, старых и современных («Отечественные записки», «Современник», «Дело»), возросший интерес к общественной жизни вытеснили прежние религиозные настроения.

Интерес к философским вопросам усилился у Короленко в 80-е годы, когда писатель, под влиянием краха народнической идеологии, пережил идейный кризис и подверг серьезному пересмотру все стороны своего мировоззрения.

В рассказе «Ночью» (1888), о котором несколько раз упоминает Горький, поставлены в поэтической форме вопросы жизни и смерти. Рассказ ясно отражает и неудовлетворенность писателя схемами естественнонаучного материализма, и противоречивость его ищущей мысли.

Потребность в философском осмыслении действительности, сильно обострившаяся в 80-е годы, не угасла у Короленко до конца жизни.

Короленко видел, что религия, которую он мыслил одной из форм синтетического познания мира, глубоко разошлась с современной наукой и не может удовлетворить человека, стоящего на уровне научных знаний. Он резко отрицал существование бога («старика с седою бородой») и провидения, управляющего миром и судьбами людей. Он не признавал казенной православной церкви, отрицательно относился к различным видам религиозного сектантства, бытовавшего в широких слоях крестьянства, и был страстным борцом против суеверий.

Завоевания человеческой мысли, достижения науки писатель настойчиво противопоставлял всяким мистическим увлечениям и мракобесию своего времени. Его возмущает, когда «люди обращают

свои поиски назад и хотят выкинуть за борт то, что человечество уже узнало и никогда не забудет»[1]. Как известно из неопубликованных воспоминаний В. И. Фролова, в 900-х годах в Полтаву приезжал С. Н. Булгаков, который в это время от марксизма метнулся к религии. В споре по поводу его лекции о Вл. Соловьеве Короленко «разносил» его «с позиций здравого смысла».

Но, отвергнув традиционные религиозные воззрения и верно почувствовав недостатки механистического материализма, Короленко не сумел выработать законченного мировоззрения с последовательно выдержанной материалистической основой. Он допустил явные колебания в сторону идеализма, а противоположность между материей и духом стремился сгладить при помощи пантеизма. Но он сам понимал, что ему не удалось найти решение волновавших его проблем. На многие вопросы он до конца жизни отвечал: «Не знаю».

Марксизм, широко распространявшийся в России, Короленко не признал учением, которое способно объяснить всю «сложность жизни», в том числе явления «человеческого духа». Но с присущим ему вдумчивым вниманием он следил за его развитием.

Т. А. Богданович рассказывает о постоянных беседах В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненского с высланными в Нижний-Новгород студентами-марксистами и о собраниях, которые устраивались в Нижнем-Новгороде для специального обсуждения «теоретических основ сталкивающихся идейных течений».

Вересаев же, говоря о враждебной позиции, которую заняло «Русское богатство» по отношению к марксизму, отмечает: «У Короленко ни тени не было этой враждебности. Он возражал, выспрашивал и, видимо, ему было важно одно: понять психологию этого совершенно ему непонятного нового революционного течения».

О том, что Короленко был далек от отрицательного отношения к новому течению, значительность которого он хорошо понимал, свидетельствуют и его прямые высказывания. Так, например, в письме к П. С. Ивановской он писал: «Я лично далеко не безусловный враг этого направления; по-моему, в нем есть кое-что верное и свежее»[2].

Однако не подлежит сомнению, что Короленко не понял и не принял марксизма. Известную роль здесь играло то обстоятельство, что писатель по преимуществу был знаком с работами легальных

---

[1] В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 3, Гослитиздат, М. 1936, стр. 160.

[2] В. Г. Короленко, Письма к П. С. Ивановской, Изд-во Политкаторжан, М. 1930, стр. 74.

марксистов. Ошибки же легального марксизма, особенно его объективизм, апологетику капитализма, Короленко подмечал очень верно. О жарких спорах Короленко с видными представителями русского легального марксизма М. И. Туган-Барановским и П. Б. Струве — в петербургский период жизни писателя — упоминает Ф. Д. Батюшков. Воспоминания современников, хорошо воссоздающие живую атмосферу разговоров и горячих споров, показывают, что определенную роль играло в этих спорах и полемическое заострение, и огрубление молодыми марксистами положений только что усвоенного нового учения. Это затрудняло для Короленко понимание новой теории.

Но, не приняв истину, которую нес миру марксизм, Короленко сохранил в своем мировоззрении многие завоевания материалистической мысли. Его мировоззрение в главных своих чертах оставалось материалистическим.

Писатель любил уподоблять себя мусорщику, который сметает «сор» устаревших взглядов, но которому не суждено стать зодчим. Одновременно он выражал уверенность, что человечество будет неуклонно идти вперед в научном познании мира.

* * *

В воспоминаниях приведено много фактов, раскрывающих отношение Короленко к народу, его связь с общественными движениями эпохи.

Современники постоянно отмечают напряженный интерес Короленко к жизни социальных низов, упоминают о длительных беседах писателя с людьми из народа, о его странствованиях с целью общения с народной средой. «Ни о чем он, кажется, не рассказывал с таким увлечением, — пишет Т. А. Богданович, — как о разных характерных типах и любопытных сценах, какие ему приходилось наблюдать во время своих странствований».

«Учитесь любить и уважать простых тружеников», — обращался он к молодежи [1].

Нередко современники прямо говорят о демократизме как одной из определяющих черт мировоззрения Короленко.

Демократизм был воспринят Короленко от его учителей — Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Некрасова. Народничество, увлечение которым писатель пережил в 70-е годы — в самый разгар этого движения, — укрепило его на позициях демократизма. «Заман-

---

[1] Вл. Оголевец, В. Г. Короленко. Страницы из личных воспоминаний (не опубликовано).

чивый образ великого, таинственного в своей мудрости народа»[1] овладел воображением юноши, как и многих молодых людей его поколения, и стал предметом его исканий и его надежд на целый ряд лет.

Столкнувшись в ссылке лицом к лицу с крестьянской средой и пережив разгром народничества, Короленко освободился от той идеализации крестьянской жизни, которая была ему свойственна в период увлечения народничеством. Горький рассказывает, что в Нижнем-Новгороде писатель «стоял в стороне от группы интеллигентов-радикалов», как в 80—90-х годах «именовали себя остатки народников». На Горького, вращавшегося тогда именно в их среде, произвел сильное впечатление трезво-критический отзыв Короленко о различных «искателях правды» и «взыскующих града» — любимых героях «житийной» народнической литературы.

Около Короленко, уже в первые годы его жизни в Нижнем, как пишет Горький, «крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей», характеризовавшихся «серьезным, лишенным всяческих прикрас, отношением к деревне».

К кружку Короленко, не случайно именовавшемуся «Обществом *трезвых* философов», примыкали земские статистики и серьезные исследователи русской деревни, каждый из которых, как говорит Горький, «оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни крестьянства».

Деятельность кружка Короленко была ярким проявлением того движения в среде русской демократической интеллигенции 80—90-х годов, о котором В. И. Ленин сказал: «...в эту эпоху старое русское народничество перестало быть одним мечтательным взглядом в будущее и дало обогатившие русскую общественную мысль исследования экономической действительности России»[2]. В работах участников этого движения осуществлялась здоровая и трезвая переоценка народнических воззрений и накапливался конкретный материал, который служил и русским марксистам в их выводах и в их полемике с народниками. Как известно, В. И. Ленин многократно пользовался статистическими исследованиями Н. Ф. Анненского, возглавлявшего нижегородскую земскую статистику и стоявшего наряду с Короленко в центре нижегородского кружка. Показательна также и ссылка В. И. Ленина (в работе «Развитие капитализма в России») на «Павловские очерки» Короленко, написанные в Нижнем-Новгороде и содержащие критику «кустарного строя» и одного из оплотов народнической веры — «артельного принципа».

---

[1] В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 6, Гослитиздат, М. 1954, стр. 143.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 12, 5-е изд., стр. 331.

Освободившись от иллюзорных народнических представлений о деревне и, в частности, о готовности крестьянских масс к революционному выступлению, Короленко не утратил веры в «живую душу» народа и убеждения, что века угнетения не задавили в нем «чувства чести». Ф. Д. Батюшков рассказывает, с какой живой заинтересованностью отнесся Короленко к истории уральских казаков-раскольников, искавших утопическую страну Беловодию. Короленко воспринял эту историю, несмотря на архаическую форму, в которую облекалась народная мечта, как проявление настойчивых стремлений народа к воплощению идеала в жизнь, как свидетельство его пытливого ума.

Передавая одну из своих бесед с писателем в 1890 году, М. Горький приводит следующие его слова об интеллигенции: «Она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение. Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства... это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее».

Короленко придавал большое значение интеллигенции, ее культурной и творческой работе. Ему были чужды толстовские призывы к опрощению и настроения некоторых народников 80—90-х годов, приглашавших, подобно Н. Н. Златовратскому, «„возвратиться в народ, чтобы рыдать“ о том, что смели стремиться к образованию» [1].

Однако Короленко был свободен и от наивной веры в способность интеллигенции собственными силами двигать вперед историческое развитие. Короленко превосходно понимал, что великой созидательной силой, без которой невозможна ни жизнь, ни движение вперед, являются народные массы. В отличие от народовольцев, ставших на путь индивидуального террора, и либеральных народников 80—90-х годов, он признавал необходимость борьбы самих трудящихся для их освобождения. Именно из этого понимания проистекал постоянно отмечаемый современниками пристальный интерес писателя к проявлениям народной мысли и народных настроений.

Современники вспоминают разнообразные эпизоды, показывающие стремление Короленко вовлечь крестьянское население в гражданскую деятельность, побудить самих крестьян добиться открытия школы, благоустройства своих полей, организоваться для противодействия беззакониям. А. Б. Дерман свидетельствует: «...подлинным торжеством бывали для него случаи... когда ему удавалось вдохнуть

---

[1] В. Г. Короленко, Полн. собр. соч. Посмертное издание. Дневник, т. I, Госиздат Украины, 1925, стр. 174.

мужество в сердце угнетенного человека, помочь ему разогнуться под бременем причиненной несправедливости и самому вступить на путь борьбы с обидчиком. Для Короленко это было равнозначаще второму рождению, полному преображению человека».

С начала 900-х годов Короленко со всей ясностью увидел, что «в глубинах народной жизни начинается глухое и грозное движение» [1]. Он с удовлетворением отмечал сдвиги в народном сознании, постепенное освобождение народных масс от старой веры в царя, нарастание в народе революционных настроений.

Как революционные демократы 60-х годов и как народники — как все деятели буржуазно-демократического этапа освободительного движения, Короленко ориентировался главным образом на крестьянство. Но он не прошел мимо движения пролетариата и даже признал, что «проповедь свободы находит более легкий доступ в рабочую среду, чем в крестьянские массы». Тем не менее очень показательны его опасения, о которых пишет в своих воспоминаниях Ф. Д. Батюшков и которые были высказаны писателем, очевидно, в 90-х годах: «Как бы теперешние марксисты не повторили ошибки прежних народников, только в другом направлении... Народники считались только с крестьянством, совершенно не интересуясь рабочим вопросом, марксисты все основывают на рабочем классе, игнорируя крестьянство. Нужно-де думать о тех и о других».

Настаивая на необходимости «думать о тех и о других», Короленко предполагал равноправный союз всех трудовых слоев населения в их борьбе за обновление России: крестьянских масс и фабричного пролетариата, интеллигенции и городской мелкой буржуазии. Выдвигая, таким образом, идею борьбы всенародной, Короленко не понял главного: исторической роли рабочего класса как гегемона революции. В период подготовки пролетарской социалистической революции он остался на общедемократических позициях. Но орган революционного пролетариата — ленинская «Рабочая правда» высоко оценила демократизм писателя. В 1913 году, в связи с его юбилеем, газета писала: «В. Г. Короленко стоит в стороне от рабочего движения. Он лишь представитель радикальной, демократической интеллигенции с народнической закваской... Но он сам несомненный демократ, всякий шаг народа на пути к демократии всегда найдет в нем сочувствие и поддержку...» [2]

---

[1] В. Г. Короленко, Суррогаты гласности, «Освобождение», 1903, № 15, стр. 273.

[2] «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», Гослитиздат, М. 1937, стр. 171.

* * *

«Каждая беседа с ним, — писал Горький, — укрепляла мое представление о В. Г. Короленко как о великом гуманисте».

Действительно, «человек» — вот слово, которое ярче всего написано на боевом знамени писателя. «Дорог «человек», дорога его свобода, его возможное на земле счастие...» [1] — эти слова передают самое сокровенное убеждение писателя.

Гуманизм — это та сторона взглядов Короленко, в которой с наибольшей силой сказались лучшие традиции передовой русской литературы, влияние революционно-демократических идей в особенности. Гуманизм Короленко во многом созвучен нашему мировоззрению. Не случайно так часто вспоминают у нас слова Короленко, которые неоднократно звучат и со страниц воспоминаний: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Вместе с тем в характере гуманизма Короленко со всею ясностью раскрываются слабые стороны идейной позиции писателя.

Идея человеческой личности и ее свободы, которая занимает такое большое место в мировоззрении революционных демократов, побуждала их стремиться к освобождению человека от феодально-крепостнических пут, отстаивать его права на реальное земное счастье. Во имя свободы и счастья человечества Чернышевский и его единомышленники звали к социальной борьбе за новый общественный строй — за социализм.

Короленко, выдвигая человеческое счастье как конечную цель общественной борьбы, тоже отлично понимал, что счастье людей зависит от определенных общественных условий. «Надо улучшить социальные условия жизни», — передает одно из самых глубоких убеждений отца Н. В. Короленко-Ляхович. В своей деятельности Короленко никогда не терял перспективы установления справедливого социально-политического порядка.

Но в эпоху, когда старый крестьянский социализм переживал глубокий кризис, а идеи научного пролетарского социализма еще не получили в России большого распространения, в обстановке тяжелой общественно-политической реакции 80-х годов, гуманизм в мировоззрении Короленко утратил ту социально-политическую заостренность, которая была свойственна взглядам революционных демократов, и приобрел отвлеченно-моральный оттенок. Хотя социальные низы всегда оставались в центре сочувственного внимания писателя, наивысшей самодовлеющей ценностью был им признан

---

[1] В. Г. Короленко, Полн. собр. соч., т. 5, изд. т-ва А. Ф. Маркса, СПб. 1914, стр. 352.

живой конкретный человек, «человек как таковой» — независимо от его классовой, национальной, партийной и всякой другой принадлежности.

Признание величайшей ценности каждой человеческой жизни, которая дается лишь раз, побуждало писателя становиться на защиту каждого потерпевшего, протягивать руку едва ли не всякому просящему.

Непосредственная защита «живого человека» была первой, ближайшей целью и многих общественных выступлений писателя. Общие же задачи социально-политнческой борьбы нередко оказывались у Короленко на втором плане — в виде сопутствуюіцего момента или более отдаленной перспективы.

Гуманизм Короленко, с его уважением к личности каждого человека, верой в его силы и деятельной любовью к нему, несмотря на присущие ему черты абстрактности, резко противостоял всем антигуманистическим индивидуалистическим течениям реакционной эпохи и был по отношению к ним явлением глубоко прогрессивным. Когда же, с развитием революционного движения в рабочей среде, вопросы социальной борьбы за новый общественный порядок со всей энергией стали на повестку дня, с большой очевидностью раскрылись слабые стороны гуманизма писателя. С позиций абстрактного гуманизма Короленко вступил в полемику с марксистами, противопоставляя идее пролетарской классовой борьбы понятие «человечности». Он упрекал сторонников марксизма в фетишизме «конечных целей» и, напоминая о живом человеке настоящего, который в условиях торжествующего капитализма «ежится от боли», писал: «...важны не одни конечные результаты, а и то, *как* они достигаются» [1].

Следствием абстрактного, «надклассового» гуманизма была и та позиция, которую занял Короленко после Великой Октябрьской социалистической революции и которая ясно обрисована в воспоминаниях Л. Л. Кривинской. В сложной обстановке гражданской войны он взял на себя роль «брата милосердия», спасая жизни гибнувших в схватке с той и с другой стороны. Он не понял, что в этой кровопролитной борьбе должен родиться строй, которому суждено создать реальные условия для воплощения одного из самых дорогих ему принципов — свободы и счастья каждого человека.

А. В. Луначарский в одной из своих статей высказал мысль, что Короленко «переносил на суровую подготовительную эпоху»...«ту этику, котарая будет обязательной... после победы». Но «чем более

---

[1] В. Г. Короленко, Полн. собр. соч., т. 5, изд. т-ва А. Ф. Маркса, СПб. 1914, стр. 346, 352.

прочной и широкой будет наша победа, — писал Луначарский, — тем ценнее будет становиться для нас Короленко»[1].

Опираясь на эту мысль, А. Б. Дерман в своих воспоминаниях утверждал, что доброта Короленко «была качественно новым явлением, едва ли возможным в более ранние периоды исторической жизни и предвещающим новый будущий тип человека».

Это утверждение на первый взгляд может показаться парадоксальным. Но в нем есть большая доля истины. Сложившийся в условиях общественной реакции, обнаруживший свою слабость в период острых классовых боев, гуманизм Короленко тесно связан с определенной исторической эпохой и, главное, с общественно-политической позицией писателя. Однако то великое и плодотворное начало, которое составляет основное зерно короленковского гуманизма, — бережное отношение к жизни и личности каждого человека, — с наибольшей полнотой проявит себя именно в те времена, когда станет возможной «мораль истинно человеческая, стоящая выше классовых противоречий»[2] — в бесклассовом обществе будущего, в обстановке всеобщего мира.

* * *

Отношение Короленко к проблеме революции, так тесно связанное с его гуманистической позицией, освещается современниками крайне разноречиво. Так, Н. С. Тютчев утверждает, что к концу пребывания в ссылке «Владимир Галактионович уже вполне откровенно заявил себя нереволюционером, ясно определил свою цель быть писателем и бороться с неправдою в пределах легальных возможностей...» А. Б. Петрищев убежденно говорит о глубокой и органической революционности Короленко, а С. Д. Протопопов пишет: «Он всю жизнь желал революции, работал в ее пользу, боролся, жертвовал собой»[3].

Разноречивость этих утверждений не случайна. Она отражает сложность позиции писателя в вопросе о революции.

В 80-е годы, когда Короленко завершал свое пребывание в ссылке и выходил на арену общественной деятельности (именно об этом времени пишет Н. С. Тютчев), писатель не видел и не мог увидеть возможностей революционной борьбы. М. Горький приводит в своих воспоминаниях слова Короленко, сказанные в самом начале 90-х годов: «...беритесь за черную легальную работу, за будничное

---

[1] А. В. Луначарский, Праведник, «Красная нива», 1924, № 1, стр. 20.

[2] Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1957, стр. 89.

[3] «Былое», 1922, № 20, стр. 16.

культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, — мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы».

Короленко вообще предпочел бы избежать революционных потрясений, которые, с его точки зрения, «всегда много приносят осложнений». «Историю народа, — полагал он, — круто не повернешь, как коня за узду». Но одновременно ему было свойственно ясное понимание, что «у нас эволюционный путь еще крепче закрыт» и что еще «не было примера, чтобы верхи добровольно без натиска снизу сдавались» [1].

Но, считая «революционный путь жестокой необходимостью» [2] и не видя реальных возможностей революционной борьбы в современных условиях, ограничивая собственную деятельность «войною пером», Короленко отнюдь не был принципиальным противником революционного насилия. Он утверждал: «...царство будущей любви и братства добывается разнообразными средствами, и одно из них борьба» [3]. Короленко резко выступал против теорий, проповедовавших смирение и отказ от освободительной борьбы, против учения Л. Толстого в частности. «Нельзя не противиться злу, как рекомендует Толстой, даже силой», — записал он в дневнике 14 марта 1887 года [4].

Короленко признавал закономерность и неизбежность народной революции. Он видел в ней естественное следствие жестокой политики угнетения и проявление неумирающих стремлений народа к свободе. Как свидетельствует Горький, Короленко в 1908 году предсказывал: «Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это будут дни. Но он будет, если жива душа народа, а душа его жива».

Революцию 1905 года Короленко расценил как выступление «великого и уже значительно созревшего для свободы народа» [5]. Он приветствовал февральскую революцию 1917 года. Рабочий Н. М. Фролов в своих воспоминаниях, рисуя встречу с писателем на митинге после февральской революции, передает его радостное

---

[1] А. П. Ульянова, Мое знакомство с В. Г. Короленко, «Нижегородский сборник памяти В. Г. Короленко», Издание Нижегородского губсоюза, Н.-Новгород, 1923, стр. 143.

[2] Там же.

[3] В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 10, Гослитиздат, М. 1956, стр. 559.

[4] В. Г. Короленко, Полн. собр. соч. Посмертное издание, Дневник, т. I, Госиздат Украины, 1925, стр. 62.

[5] «Полтавщина», 1905, № 270, 1 ноября, стр. 4.

восклицание: «Ну вот, Николай Матвеевич, дождались наконец. Пришли к нам светлые дни. Правда кривду поборола». Достоверность этого свидетельства можно подтвердить письмами Короленко этого периода. Так, например, 17 сентября 1917 года Короленко писал А. А. Дробышевскому: «Вот мы и дожили до «революции», о которой мечтали, как о недосягаемой вершине стремлений целых поколений. Трудновато на этих вершинах, холодно, ветрено... Но все-таки, несомненно, это — перевал. Началась «новая русская история»!» [1]

Позиция Короленко по отношению к Октябрьской революции была сложней. Писатель не смог понять исторической необходимости диктатуры пролетариата, принять ожесточенных форм гражданской войны. Как выразился в своих воспоминаниях Горький, «суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце».

Из воспоминаний В. Д. Бонч-Бруевича мы узнаем, что В. И. Ленин специально поручил А. В. Луначарскому вступить с Короленко в общение и разъяснить ему сущность политики коммунистической партии и советского правительства. Выполняя задание В. И. Ленина, А. В. Луначарский в июне 1920 года был у Короленко в Полтаве. Об этом свидании А. В. Луначарский впоследствии писал: «Мы, коммунисты, чрезвычайно резко разошлись с ним. Правда, и здесь по отношению к Октябрьской революции и к коммунизму он проявил себя с обычной своей прямотой. Во время белых в Полтаве не гнулся, говорил им много горькой правды и наотрез отказался покинуть Полтаву при вступлении красных войск... Я и сам провел с ним несколько часов в чрезвычайно содержательной и глубокой беседе, из которой я убедился, что он вдумчиво, выражая целый ряд несогласий, в общем по-товарищески относился к руководящей нашей партии» [2].

Позицию Короленко и сущность его расхождений с коммунистической партией А. В. Луначарский охарактеризовал в таких словах: «...Он никак не может понять, что для достижения демократии, полного уничтожения классов, смерти всякой диктатуры, смерти всякого государства, нужно много предпосылок, политых человеческой кровью». Но, по свидетельству А. В. Луначарского, писатель признавал, что «коммунисты — это великий отряд армии блага» [3].

Как видно из воспоминаний А. В. Свешникова, приехавшего в

---

[1] «Нижегородский сборник памяти В. Г. Короленко». Издание Нижегородского губсоюза, Н.-Новгород, 1923, стр. 33.

[2] А. В. Луначарский, Праведник, «Красная нива», 1924, № 1, стр. 18.

[3] Там же, стр. 20.

1919 году в Полтаву из Москвы, Короленко проявлял огромный интерес к жизни Советской России. Писатель настойчиво расспрашивал обо всех мелочах быта столицы нового государства. И если он не дал прямого ответа на вопрос, заданный ему А. В. Свешниковым: «Как же вы относитесь к Советской власти?» — то воспоминания других лиц, знавших Короленко в последние годы его жизни, убеждают нас, что он умер с сознанием огромности тех сдвигов, которые совершила в его стране пролетарская революция.

Непреходящие ценности оставил Короленко грядущим поколениям. Его произведения надолго сохранят силу своего идейного и художественного воздействия, а его благородная личность всегда будет вызывать чувство глубокого уважения. Вот почему читатель с благодарностью и признательностью войдет в мир Короленко, который сохранили и донесли до нас его современники.

Т. Морозова

ПЕРИОД ТЮРЕМ И ССЫЛОК

П. В. Быков

В. Г. КОРОЛЕНКО

Передо мною его портрет, один из последних. Я вглядываюсь в черты этого прекрасного лица, хотя и пощаженного временем, но все же тронутого годами испытаний, волнений и тревог, и «крылатый рой воспоминаний» невольно переносит меня к далекому прошлому, когда я впервые увидал это милое лицо...

Это было на самом рубеже семидесятых годов [1], ровно пятьдесят лет назад. Из редакции «Отечественных записок», помещавшейся на углу Литейного и Бассейной, медленно выходил, с небольшим свертком в руке, молодой человек, немного выше среднего роста, лет двадцати пяти. Его умное, дышавшее энергией лицо невольно обращало на себя внимание. Большой высокий лоб, темные вьющиеся волосы, чудные, слегка сверкающие глаза под густыми бровями и смугловатый цвет кожи — все это делало его красивым. И красота эта была не вульгарная, не надоедливая, не кричащая, не назойливая; она была иная, именно такая, которая надолго остается в памяти или даже совсем не забывается. Казалось, внутренний свет озаряет это немного бледное лицо, и, говоря словами поэта, «видно, что жгучая мысль, беспокойная, в сердце кипит, на простор вырывается» [2]. Немного нужно было наблюдательности для безошибочного определения, что это тип южанина. «Нет, — думал я, — не на холодном, суровом, неприветливом севере появился на свет этот красавец; не под свинцовым мрачным сводом, а на животворном юге,

нежащем своим теплом, пылающем красотой ночи, под прозрачным, лазурным, ласковым небом... Быть может, вскормили его вольные степи Украины, ее пышно цветущие луга, обрызганные душистой росой, ее чудный целебный воздух, ее заунывные, полные милой грусти песни, сказки, преданья, заветы старины стародавней...

Мелкий дождь сеял, как сквозь сито, когда молодой человек выходил из «святилища мысли», как оказалось, не открывшего ему своих дверей, — а он все-таки шел, выпрямившись, бодрой походкой, и я как будто видел улыбку на его лице, слегка подернутом дымкой заботы.

«Дебютант или уже ставший на ноги молодой писатель?» — спрашивал я сам себя и, придя в редакцию, забыв на время о своем деле, поинтересовался узнать, «кто это был, вышедший отсюда». Не помню, от Сергея Николаевича Кривенко или от старика Плещеева я узнал, что это был неудачный дебютант, «некий» Короленко. Ему вернули рукопись его рассказа «Эпизоды из жизни «искателя». Не понравилось самому Салтыкову-Щедрину, а может быть, и Михайловскому, пояснил мне кто-то из удовлетворивших мое праздное любопытство [3].

Меня, впрочем, и не думало удовлетворять узнанное мною о «некоем» Короленко. «Но я раньше слышал это имя», — думал я. И услужливая память подсказала мне, что кто-то из москвичей недавно рассказывал в одном литературном кружке об «истории», случившейся в Петровско-Разумовской земледельческой академии. Студенты волновались уже довольно давно, были раздражены академическими непорядками, глухой ропот на начальство возрастал с каждым днем. Решено было подать директору прошение от лица всех студентов, и для этой подачи избрали Короленко. Как он объяснялся с директором, был ли резок или говорил ему только горькую правду, — неизвестно, но избранник товарищей понес тяжелую кару: его исключили из академии и отправили в ссылку, кажется, в Вологду. Москвич передавал много подробностей об этой «истории» с обычным у нас концом, да еще в то время, когда малейший протест и учащихся, и давным-давно выучившихся преследовался с беспощадной строгостью [4].

«Это, — решил я в уме, — должно быть, тот самый Короленко, которому не посчастливилось в «Отечественных записках», у него такое одухотворенное, прекрасное

лицо». Не знаю почему, но я был твердо уверен в этом. И уверенность моя вскоре оправдалась вполне. Мало того, я узнал подробно, кто такой и откуда литературный новичок Короленко.

Довольно скоро после того, когда я видел его на Бассейной у дверей негостеприимных «Отечественных записок», я встретил Короленко на углу Большой Морской и Гороховой, в редакции молодого, ярко прогрессивного, но не узкотенденциозного журнала «Слово». Издавалось оно на средства богатого сибирского купца Сибирякова, и во главе его стояли Дмитрий Андреевич Коропчевский, этнограф и беллетрист, впоследствии профессор, и Иероним Иеронимович Ясинский. Благодаря последнему в «Слове» по беллетристике печатались настоящие художественные вещи, и дебютировали в нем Ив. Щеглов (Леонтьев), М. Н. Альбов, А. О. Новодворский, К. С. Баранцевич и другие молодые таланты. Сюда-то и принес Короленко, забракованный Щедриным, свой рассказ «Эпизоды из жизни «искателя»[5]. Здесь и рассказ и его автор произвели прекрасное впечатление. В редакции уже знали, что Короленко — один из пострадавших, в сущности, без вины, что рассказ — его первый литературный опыт. Скромность дебютанта, искренность, проглядывавшая во всем, душевная чистота, симпатичная наружность и приятного тембра, свежий, с южной манерой, голос производили обаятельное впечатление. Я узнал, что Короленко пришел теперь за ответом, что его рассказ принят и что молодого автора просили продолжать сотрудничество в «Слове». Мне в этот раз Короленко понравился еще больше, и еще больше я заинтересовался им. Он ушел раньше меня из редакции, а мне так пламенно хотелось выйти с ним вместе, поговорить по душе.

— Если Владимир Короленко вас так интересует и как человек, и как будущий видный писатель, — сказал мне Коропчевский, — то вы многое еще можете узнать о нем от его родного брата. Кажется, он секретарем в редакции «Дела», в вашем же журнале! — добавил Коропчевский, намекая на то, что я был давнишним сотрудником «Дела» и собирался быть его ответственным редактором.

Но у нас, в «Деле», брат Короленко, Юлиан, еще не служил, а встретился я с ним в другом месте и, разу-

меется, без церемонии забросал его расспросами о брате. Юлиан Галактионович оказался любезным, обаятельным господином и притом очень разговорчивым.

Вечером того дня, когда я беседовал с ним, мне пришлось нанести на мои карточки (материалов для биографии писателей) много данных, довольно ценных, которые я первый опубликовал в печати [6], когда имя Владимира Галактионовича Короленко стало пользоваться известностью и сделалось сразу популярным.

— Мы (у меня есть еще брат и сестра) [7], — говорил Юлиан Галактионович, — уроженцы Житомира, по отцу из старого казачества происходим, а наша мать — родом полька, дочь шляхтича. Отец наш — чиновник, служил уездным судьей и не только не был взяточником, но поражал своей редкой, идеальной честностью, верностью закону, присяге, долгу. Отец горячим словом убеждения и своим личным примером насаждал эту честность в семье и в этом направлении был и суров и мнителен. Мать, добрая, великодушная, глубоко любящая, воспитывала в нас, детях, глубокую человечность в самом широком значении этого понятия... За нами мало присматривали, не стесняли нашу свободу. Брат мой был с самого раннего детства впечатлителен и более всех нас мечтателен, склонен к фантастичности представлений мира, видимого и невидимого. С шестилетнего возраста он начал свое школьное образование, учился в частном пансионе, сперва русском, а потом польском; был он в Житомирской гимназии, а затем в Ровенской. А далее недолго в Петровской академии, которую ему не суждено было кончить. Брату теперь (это было в 1879 году) — двадцать шесть лет...

От Юлиана Галактионовича я узнал еще, что Владимир Короленко прошел тяжелую школу нужды, брал ради насущного хлеба работу, какая попадется. Служил корректором, раскрашивал рисунки для ботанического атласа и, конечно получая за работу нищенскую плату, питался впроголодь. Но при этом никогда не унывал. В нем никогда не гасла вера в лучшее будущее и его самого, и людей вообще. Вот и теперь, не особенно давно, он учился, по словам брата, сапоги шить... чтобы иметь подспорье при добывании средств к жизни и чтобы стоять ближе к народу, ближе изучать его.

«Какая цельная, удивительная натура, сколько привлекательности в этом человеке, только еще начинающем жить и уже думающем о всеобщем счастье, о служении народу!» — думал я, расставшись с братом Владимира Галактионовича. Впечатление от его рассказа было настолько сильное, что мне долго мерещились черты Короленко: эта косматая голова, эти полные жизни, как будто устремленные далеко куда-то глаза, эти слегка раздувающиеся ноздри, про которые можно было сказать словами Некрасова, что они «дышат какой-то отвагой и силою» [8], эта энергия, сквозящая во всем существе его, весь он, в котором внешний прекрасный облик так удивительно гармонирует с его духовным обликом, исполненным особой, высшей красоты. Я был убежден и глубоко веровал, что начинающий писатель, которого я встретил два раза и о котором слышал столько интересного, недолго будет оставаться в неизвестности, что у него «сил молодецких размахи широкие» [9] и ему суждено сыграть большую роль как общественному или, вернее, политическому деятелю. И меня страшно интриговало, как скоро проявится эта деятельность, с чего она начнется. Моими впечатлениями я делился с друзьями и так настроил их, что они стали с большим нетерпением ждать появления в «Слове» рассказа Короленко.

Ждать пришлось недолго. В июле 1879 года вышла очередная книжка журнала, и в ней, подписанный неполным именем Короленко, был помещен его рассказ «Эпизоды из жизни «искателя» [10]. Сенсации он не произвел, но волновал мягкие сердца своей задушевностью, простотой, правдивостью и художественной красотой. Автор, в лице выведенного в рассказе киевского студента, передавал не чужие, а собственные свои переживания, умственные и душевные, повествовал о своих мучительных сомнениях, об отвращении к буржуазному добродетельно-сытому довольству, о презрении личного счастья и о стремлении к идеалам, хотя и не совсем ясно, но уже намеченным. Героя-автора неудержимо влечет к себе путь продолжительный, нескончаемый, манит «своей неведомой далью, заманчивой неизвестностью, с борьбой и опасностями, с запросами энергии, чуткости, силы». Свою жизненную задачу полагает он в великом деле — служении народу. Колебаний быть не может... «Теперь, — говорит «искатель», полный молодой уда-

ли, — цель намечена ясно, симпатии сознаны, путь виден далеко. Вперед! Да, вперед! Шаги будут тверды». Рассказ этот, рисующий прекрасный, обаятельный образ автора, я читал с увлечением и в кружке друзей, и даже у малознакомых. Он возбуждал споры, но в общем все находили его жизненным, безыскусственным, невольно располагающим к себе. Заинтересовал он, между прочим, и старого видавшего виды журналиста, Владимира Рафаиловича Зотова. Посылая мне какую-то деловую записку, он в постскриптуме писал мне: «Неужели пропустили вы одну вещь, должно быть начинающего автора, в «Слове»? Скорей прочтите, если не читали. Это выдержки из замаскированной исповеди его. Сколько свежести! Сколько наивной прелести! Есть почти детские места, а ими все-таки зачитываешься. Все — прямо с натуры, пережитое, перечувствованное и прочувствованное!.. Прочтите непременно!»

А в то время, когда «Эпизодами из жизни «искателя» были заинтересованы и тонко понимавшие люди пера, и заурядные читатели, скромный автор за вредное направление своих мыслей («чтение в сердцах» у нас тогда особенно практиковалось) давно уже, месяца за два до появления в печати своего рассказа, расстался со столицей и коротал дни в каком-то захолустье Вятской губернии [11]. Параллельно с появлением новых рассказов его в «Слове» [12] шли известия, как гоняли его с места на место до Якутской области включительно. Говорили и писали, что Короленко испытал не мало, претерпел достаточно, но духом не упал, а вера в жизнь озаряла и грела его, как вешний, все рождающий луч. Великая, ничем не озлобившаяся душа по-прежнему жила в нем, и стойкая, глубокая любовь к жизни, к смыслу ее, как неугасимая лампада, теплилась в ней, бодря и торжествуя, «та любовь, что добрых прославляет, что клеймит злодея и глупца», как сказал поэт, народный печальник... [13]

Чуткая молодежь тогда уже поняла и оценила *своего* Короленко, сделавшегося ее любимым писателем гораздо раньше, чем его признала и горячо полюбила читающая публика, после того, когда одно за другим появлялись его произведения: и «Сон Макара», и «Слепой музыкант», и «Лес шумит». Я живо помню, какое восхищение, особенно в провинции, сопровождало эти и другие шедевры его и как жаждали увидеть Короленко мно-

гочисленные его поклонники и почитатели. В Москве полиции пришлось разгонять большую толпу, собравшуюся вокруг какого-то пьяненького субъекта, сдуру выдавшего себя за Короленко, будто бы только что вернувшегося из ссылки... Это было как раз в то время, когда, «из дальних странствий возвратясь» [14], писатель мирно проживал в Нижнем-Новгороде [15]. Около того же времени нередко поджидали его то в Харькове, то в Полтаве, когда какой-нибудь праздношатай из породы шутников Островского распускал слух о приезде Короленко. И были такие, которые подряд несколько дней терпеливо поджидали на дебаркадере железной дороги приезда писателя.

А он не мог приехать прежде всего потому, что тогда он был далеко от этих мест и от России, уехав за границу [16]. Я состоял еще редактором «Русского богатства», когда Владимир Галактионович вернулся в Петербург. Предательские морщинки слегка уже бороздили его открытое, венчанное незримыми лаврами чело. Серебряные нити впутывались в его темные курчавые пряди волос на голове и в окладистой бороде, но в общем он по-прежнему напоминал того юного «искателя», который приносил в «Отечественные записки», а потом в «Слово» отрывки из своей исповеди. И глаза у него блестели по-прежнему, и энергия сквозила в каждой черте красивого лица, проглядывала в каждом его жесте. Добрая обаятельная улыбка играла на его губах, открытых для освежающего, честного, бодрящего слова.

— Какой трудный путь прошел Владимир Галактионович, а у него все-таки цветущий вид! — сказал я Николаю Федоровичу Анненскому, не скрывая своего восхищения.

— А это оттого, что он работал в Нижнем не покладая рук и, кипя как в котле, отдыхал за этой работой, и мы все на руках его носили, — отвечал Анненский. — И еще оттого, что у него светлая душа! — добавил он любовно.

Вот уж подлинно светлая, великая душа, которой до самого последнего дня жизни так и не пришлось ни состариться, ни потускнеть, потому что он дожил до зари, в наступление которой глубоко верил и за приближение к которой мужественно боролся художественным словом.

С. П. Швецов

В. Г. КОРОЛЕНКО В ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ

Несмотря на то что я знал Владимира Галактионовича на протяжении нескольких десятков лет, что я встречался с ним при самых разнообразных условиях, от Вышневолоцкой политической тюрьмы [1] до Всероссийского съезда писателей [2], революционно созванного, на котором он играл выдающуюся роль, — несмотря на это, когда я думаю о нем, он чаще всего рисуется мне не тем Короленко, которого знала и любила вся Россия, который каждому из нас так интимно дорог и задушевно близок, а Короленко давних дней, которого любила и знала одна лишь революционная Россия, точнее говоря — интеллигентная ссыльная Россия, Россия политических тюрем и этапов, Короленко 1880—1885 годов.

Всегда оживленный и деятельный, стройный, но плотный и коренастый молодой человек, с огромной шапкой буйно вьющихся темно-каштановых волос, как-то особенно красиво прикрывавших его большую голову и волнами спускавшихся почти до самых плеч, с широкой густой бородой, с темными блестящими, временами принимающими особенно углубленное, сосредоточенное выражение глазами, в белой холщовой арестантской рубахе или в серой суконной блузе, опоясанный тонким ремешком, в высоких сапогах, — таким я помню В. Г. того времени. Таким он был и в Вышневолоцкой политической тюрьме, таким я видел его в Тюменской пересыльной и в подследственном отделении Тобольской военной каторжной тюрьмах, где мы с ним случайно на своих этапных путях сталкивались; таким же он был и

у меня в Тюкалинске, где я отбывал ссылку, а он останавливался на короткое время проездом из Якутской области в Россию[3].

В. Г. обладал на редкость, не скажу — покойным, но удивительно ровным и сдержанным характером, и это создавало ему совершенно особенное, исключительное положение среди товарищей. Всегда со всеми в обращении простой и мягкий, без тени рисовки или позы; но за этой мягкостью каждый чувствовал большую упругость и твердость. Его отношения с окружающими отличались вдумчивостью и в то же время редкой ясностью и определенностью. Я думаю, никто из его сотоварищей по Вышневолоцкой тюрьме, столь резко различных между собой во многих отношениях, никогда не заблуждался относительно действительного отношения к ним Короленко, хотя он никогда ни с кем не вступал в личные столкновения, столь неизбежные в тюремной обстановке.

В 1880 году в Вышневолоцкой тюрьме В. Г. Короленко был уже вполне сложившимся человеком, обладавшим своей собственной ярко выраженной индивидуальностью, внушавшим к себе в окружающих особое уважение и, так сказать, уверенность. Перевидав на своем долгом веку многое множество всякого народа, я, пожалуй, затруднился бы назвать кого-нибудь другого, кто умел бы внушать к себе всеобщее доверие, каким неизменно пользовался Владимир Галактионович и которое никогда никого не обманывало. Так было в далекой юности, в Вышнем Волочке, так было и в его старости.

При всем том В. Г. Короленко у нас в тюрьме не занимал того руководящего положения среди товарищей, которое свойственно так называемым «коноводам» или «вожакам». Для этого, при всем своем активном отношении к окружающему, он все же стоял как бы несколько в стороне от него. Он был скорее его, если можно так выразиться, активным зрителем, чем созидателем и творцом. Теперь я думаю, что уже и в то время, то есть почти пятьдесят лет назад, художник-наблюдатель начинал уже властно заявлять в нем свои права на первенство, тем самым отодвигая на второй план революционера, каким, насколько я помню и понимаю, он тогда сам себя считал, как считали и все мы, его бли-

жайшие сотоварищи по заключению. И никто из нас тогда этого и не подозревал, разумеется. Думаю, что в то время и для самого Владимира Галактионовича это было еще неясно. Все это обозначилось с полной очевидностью лишь гораздо позже.

К числу характерных для В. Г. Короленко того времени черт следует отнести его редкую простоту и скромность. У нас в Волочке долгое время никто не знал его причастности к литературе, а потому тогда никому из нас и в голову не приходило, что через немного лет ему будет принадлежать одно из самых почетных мест среди художников слова родной земли. В то время мы видели в нем только любимого нами товарища, во имя родного народа ведущего тяжбу с царской властью и стойко принимающего от нее удар за ударом, один другого свирепее и жесточе.

Я помню, как еще зимою, гуляя с Владимиром Галактионовичем по тюремному двору, я был увлечен его ярким, полным живых характеристик рассказом о Березовских Починках, где он перед тем был в ссылке, и об их обитателях. И я спросил его, почему он не попробует писать, раз обладает такими интересными наблюдениями народной жизни.

— Я пробую, — скромно отвечал он и сообщил, что за несколько месяцев перед тем в журнале «Слово» был помещен его очерк «Эпизоды из жизни «искателя» *. Для меня это было целое откровение, как молнией осветившее с совершенно новой и неожиданной стороны личность В. Г. Короленко.

Впоследствии Владимир Галактионович не придавал значения этому очерку, не хотел даже печатать его в своем «Полном собрании сочинений» [4], находя его, очевидно, художественно слабым. А между тем этот очерк принадлежит к характернейшим для правильного понимания самого Короленко в ранний период его деятельности: ведь «искатель», с некоторыми эпизодами из жизни которого знакомит нас Короленко, — это сам Владимир Галактионович, только что вступающий на широкое поприще общественной жизни. В нем, этом очерке, все характерно, до эпиграфа включительно, взятого им

---

* «Слово», 1879 г., кн. VII. *(Здесь и далее подстрочные примечания, кроме переводов, принадлежат авторам воспоминаний.)*

из Некрасова: «Средь мира дольнего, для сердца вольного есть два пути: взвесь силу гордую, взвесь волю твердую — каким идти» [5]. И сам В. Г. еще на заре своей юности добросовестно взвесил и свою «силу гордую» и «волю твердую» и избрал путь, которым и шел до самой могилы. Говоря словами Некрасова, он пошел туда, «где трудно дышится, где горе слышится», чтобы быть «первым там». С ранней юности и до последних дней своих он неизменно держал один и тот же путь: он шел «к униженным», он шел «к обиженным», неся им свой труд, весь пыл и любовь своего сердца и свое огромное художественное дарование.

Таким знает его вся читающая Россия, но таким же он был и у нас в Вышнем Волочке. Здесь, между прочим, написал он свою «Чудну́ю». Как он ухитрился это сделать, живя в «большой» камере с ее вечной сутолокой, среди несмолкаемого гомона, — я совершенно не постигаю. Сделал это он, сидя на кровати, забравшись на нее с ногами и прижавшись в угол так, чтобы можно было писать на развернутой книге, положенной на согнутые колени. В пояснение нужно сказать, что в Волочке нам не давали ни бумаги, ни чернил, ни карандаша, но В. Г. все это как-то ухитрялся добывать. В этом отношении он обнаруживал удивительную легкость и находчивость. Он недурно рисовал и всегда имел при себе кусочек туши и кисточку, которые он пронес в неприкосновенности через все российские и сибирские тюрьмы и этапы, подвергаясь многое множество раз самым тщательным обыскам.

«Чудную» он прочел нам на одном из наших собраний, где присутствовала вся тюрьма, в той же «большой» камере. Для нас, обитателей Вышневолоцкой тюрьмы, это было первое художественное произведение В. Г. — «Эпизодов из жизни «искателя» никто не знал, а до меня они дошли гораздо позже, уже в Сургуте, куда на первых порах я попал в ссылку. Впечатление было огромное. Тогда же рассказ был передан через Н. Ф. Анненского и ходившую к нему на свидания жену Г. И. Успенскому, который пришел от него в восторг. Тогда же он пытался его напечатать, но по цензурным условиям это оказалось в те времена совершенно невозможным, и рассказ увидел свет много лет спустя [6], когда и сам Г. И. Успенский уже сошел со сцены.

Может быть, нелишним будет отметить здесь одну черту, весьма характерную, но не для В. Г. Короленко, а для той среды, которая окружала его в Вышневолоцкой тюрьме, для ее по крайней мере молодой, наиболее активной части.

Несмотря на то что «Чудная» произвела сильное впечатление на всю тюрьму, что многие из нас, заключенных, знали, что другой его беллетристический очерк уже напечатан в распространенном журнале, эти факты для нас, многих молодых сотоварищей В. Г. по его тюремно-ссыльным злоключениям, являлись как что-то случайное, почти эпизодическое для него, органически не связанное с его личностью, для нас тогда и близкой и дорогой. Мы гораздо больше интересовались его политической физиономией, его практическими шагами, как борца за народное дело. Нас гораздо больше занимали вопросы, как он еще до ссылки готовился к общественно-политической деятельности, что он обучился сапожному ремеслу, стал сапожником, притом сапожником заправским, чему налицо были и доказательства: В. Г. был обут в высокие сапоги собственной работы, и очень недурной, должен прибавить. Мы знали от него самого, что, будучи в ссылке в Вятской губернии, он жил сапожным ремеслом, работал на окружающее население. В глазах многих из нас, юных революционеров, это был факт огромного значения, гораздо больший, чем авторство художественных очерков, хотя бы и очень высокого достоинства. Беллетристика — дело хорошее, но для интеллигентного человека сама по себе она ничего необычного не заключает. Совсем иное дело стать заправским сапожником — это было не только ново и оригинально, — это бы куда ни шло! — но и практически разрешало самый насущный, самый жгучий для многих из нас вопрос: как слиться с народной массой, раствориться в ней без остатка. Короленко же сапожник указывал нам практический путь к этому, что заслоняло в наших глазах Короленко-художника. Мы просто последнего не замечали, высоко ценя и любя В. Г. как одного из лучших своих товарищей.

С теперешней точки зрения, это отложило на некоторых из нас неизгладимый отпечаток на всю жизнь. Это один из мотивов, сильно и властно звучавших в песне нашей юности, с которой наше поколение входило

в жизнь и заняло в родной истории определенное, ему одному принадлежащее место.

Вот почему, думается мне теперь, мы душою проглядели в Короленко, которого мы так любили и уважали, замечательного художника слова.

Газет нам не полагалось читать, и они проникали в наши стены лишь случайно, контрабандным способом. Библиотеки в тюрьме не было никакой, а потому книг у нас было очень немного, в особенности в первые месяцы, когда нас было меньше в тюрьме, и принадлежали они отдельным лицам, которыми они обычно и предоставлялись в общее пользование. Больше публика читала журналы, отдельные книжки которых к нам попадали. Это были «Отечественные записки», «Слово», «Устои», — других не помню. Больше всего привлекали статьи, посвященные народной жизни, в частности крестьянству. В. Г. в этом отношении не составлял исключения. Как и многие из нас, он особенно интересовался статьями Г. Иванова в «Отечественных записках», — в тюрьме у нас никто еще не знал, что за этим скромным псевдонимом скрывается не кто иной, как Г. И. Успенский [7], наш общий любимец, о чем мы узнали лишь весною от привезенного к нам в тюрьму сотрудника «Отечественных записок» Н. Ф. Анненского. В. Г. видел в нем новое крупнейшее дарование и усердно обращал на его статьи внимание товарищей. В этом же роде произошло недоразумение и с Н. Н. Златовратским, которого, помнится, В. Г. не особенно жаловал. К нам попали книжки «Отечественных записок» за предыдущий год, где печаталась серия статей Златовратского о крестьянской общине — «Деревенские будни» [8], сначала вовсе без подписи, затем под ничего нам не говорившими инициалами — Н. Н.

— Это что-то новое, свежее, — с увлечением говорил В. Г. о неведомом авторе, в живой повествовательной форме знакомившем с интимной стороной общинно-правового уклада современной деревни.

Выше я сказал, что Короленко в тюрьме был в известном смысле созерцателем окружающего. Это не мешало ему в некоторых случаях проявлять большую активность. Это было во всех тех случаях, — а когда же их не было? — когда, по его мнению, кому-то требовалась сторонняя помощь. Проявлялось это и в повседнев-

ных мелочах, и тогда, когда его вмешательство сопровождалось для него риском, не говоря уже о труде и хлопотах.

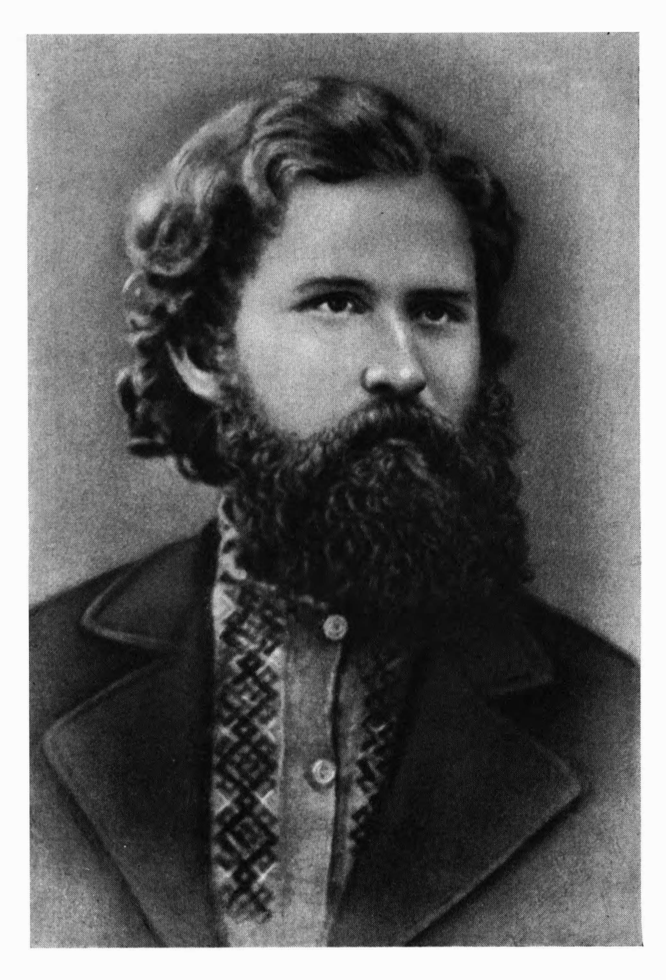
В Вышневолоцкой тюрьме был у нас товарищ Девятников, крестьянин-пропагандист, уже успевший побывать где-то на севере, кажется в Костромской губернии, и теперь отправлявшийся в новую ссылку в Восточную Сибирь. Как-то зашла речь о том, каким условиям должен удовлетворять пропагандист, чтобы его дело пропаганды социализма в крестьянстве шло успешно. Девятников, располагавший, как мы знали, в этом отношении обширным личным опытом, доказывал, что пропагандист должен обладать, между прочим, широкими, разносторонними и серьезными научными сведениями. Он должен «знать все», чтобы иметь возможность, в случае надобности, дать пропагандируемому им населению толковое объяснение на всякий могущий быть обращенным к нему вопрос.

— Горе тому пропагандисту, — говорил Девятников, — который в чем-либо спасует перед слушателями: тогда лучше уходи, дело проиграно безнадежно. Он сразу потеряет к себе доверие, а без доверия какая же возможна пропаганда?

В качестве иллюстрации он привел пример из собственной практики. Где-то он вел пропаганду среди крестьян-кустарей. Дело шло успешно, а сам Девятников пользовался в глазах своей аудитории большим авторитетом по всяким вопросам. Но вот как-то к нему обратились с просьбой вычислить емкость какого-то мудреного сосуда, изготовлением которого были озабочены кустари. Не зная математики, он этого сделать не мог, как ни бился. Результат был неожиданный: Девятников сразу утратил весь свой, казалось, такой прочный и надежный авторитет в глазах своей аудитории, и дело пропаганды пошло, что называется, под гору.

Рассказывая это, Девятников сокрушался, что он не знает математики, которая в практической работе так часто нужна бывает.

Владимир Галактионович присутствовал при этом разговоре и принимал в нем участие. Прошло два дня, и мы узнали, что смотрителем Лаптевым разрешено Короленко и Девятникова выпускать утром часа за два до поверки, когда двери всех камер растворялись, в столо-



В. Г. Короленко в годы якутской ссылки (1883)

вую, где они и занимаются математикой. Я просидел в Вышнем Волочке несколько месяцев, а они все время, изо дня в день, аккуратнейшим образом вели свои занятия. И все это было сделано очень просто и скромно, без всяких лишних слов. Уходили они в столовую в ранние утренние часы потому, что в это время она пустовала, вести же занятия в камерах при господствовавшей у нас сутолоке было бы чрезвычайно затруднительно.

Это, конечно, мелочь, и я мог бы привести много других примеров в том же роде. Но бывали случаи и совершенно иного характера. Во время совместных тюремных скитаний мне не раз приходилось наблюдать, как при резких столкновениях кого-нибудь из товарищей с начальством, иногда в самый острый момент, вдруг выступал Владимир Галактионович, вмешивался и как бы прикрывал собою товарища, нуждавшегося в сторонней помощи.

Мне известен такой, между прочим, случай, правда не в Вышневолоцкой тюрьме, где с тюремным начальством у нас никаких столкновений не происходило, а в одной из сибирских тюрем. Я теперь уже не помню, по какому поводу — их было так бесконечно много! — у нас, заключенных, произошло резкое столкновение с нашими тюремщиками. Дело зашло очень далеко, внутрь тюрьмы был вытребован караул, солдаты введены в наш коридор и выстроены против нас со штыками наперевес. Кругом шум, крики, общее возбуждение. Один из нас был доведен, что называется, до белого каления, и вдруг почувствовалось, что вот-вот начнется свалка и нам несдобровать. Но мы собою уже не владели. Помню жуткую минуту: вдруг все как-то потемнело, точно и сам, и все окружающее куда-то провалилось. В этот момент неожиданно выступил Владимир Галактионович, стал впереди, как бы заслонив собою товарищей, и начал говорить: спокойно, ясно, вразумительно, доказывая твердо и неотразимо убедительно всю неправоту тюремщиков, готовых тем не менее к насилию над ни в чем не повинными людьми. И этот такой приятный, спокойный голос, эта убежденная, но такая простая, дышащая глубокой искренностью речь быстро изменила положение. Сразу точно светло стало, легче стало дышать. Понемногу все успокоилось, вошло в колею, солдат увели и дело обошлось без кровопускания.

В. Г. Короленко в этом случае, конечно, страшно рисковал, и тем не менее он спокойно и твердо выступил, раз ему стало ясно, что его вмешательство может предотвратить готовое обрушиться несчастье. И таков он был всегда. Мне передавали очевидцы, что в 1905 году В. Г. в Полтаве остановил еврейский погром тем, что в самую острую минуту входил в гущу погромщиков и, обращаясь к их разуму, чувству и совести, начинал говорить в защиту евреев. Его спокойный, ровный голос, задушевность и проникновенность тона, простота и удивительная ясность самой речи — все это, вместе взятое, удерживало руки тех, кто уже поднимал их на дело грабежа и убийства. Он готов был в эту минуту все удары, направленные против невинных людей, принять на себя. И это действовало.

И разве не то же самое представляет собою Мултанское дело [9], где В. Г. прикрывал собою несчастных вотяков, обвинявшихся в человеческом жертвоприношении? Как раз в это время мне случилось быть проездом на короткое время в Нижнем-Новгороде, и я имел возможность наблюдать, как глубоко страдал он и какой мучительный внутренний огонь сжигал его. Особенно памятен мне один момент. Он только что возвратился из поездки по Мултанскому делу и делился своими впечатлениями. Самый рассказ у меня не сохранился в памяти, я затруднился бы даже сказать, откуда В. Г. приехал: с процесса ли вотяков или из своей предварительной поездки в Мултан для ознакомления на месте с положением дела. Но отчетливо, так живо-живо помню фигуру рассказывающего нам, сидевшим за столом его небольшой столовой, Владимира Галактионовича: он стоял возле печки, заложив руки назад, и говорил. Особенно памятен мне взгляд его ушедших куда-то глубоко внутрь глаз, горевших темным огнем мучительного страдания, передававшегося и слушателям. Видно было, что В. Г. не просто интересует дело, но что он каждую его деталь воспринимает как нечто, до физической боли его трогающее. Я убежден, что сами вотяки, дважды невинно осужденные на каторгу, душевно мучились меньше, чем выстрадал, спасая их, В. Г.

И это, думается, была одна из основных черт личности В. Г. И в далекой юности времен Вышневолоцкой политической тюрьмы и сибирской ссылки она высту-

пала столь же четко и ярко, как и в старости, в дни жуткой современности, когда ему так часто приходилось бороться за жизнь «смертников».

Когда я встретился с ним осенью 1880 года в третий раз на тюремно-этапных перепутьях в подследственном отделении Тобольской военно-каторжной тюрьмы [10], он был поглощен заботой о двух заключенных: почти наглухо замурованном «под № 1» политическом каторжанине Фомине и преследуемом злобой тюремщиков, неподатливом на все их ухищрения сектанте «Яшке стукальщике» [11], о которых он не раз говорит в своих произведениях. И здесь им руководило все то же начало: «быть первым там», «где трудно дышится, где горе слышится». А где же больше горя неисходного, где же более тяжко дышится, как не в тюрьме? И он поистине всегда «был первым там».

Но как ни много видел всегда вокруг себя горя людского, самого настоящего, жуткого страдания, В. Г. никогда не впадал в пессимизм, всегда был бодр, всегда был деятелен. По крайней мере таким я его знал.

В одном из своих очерков он говорит устами безрукого калеки: «Человек создан для счастья, как птица для полета!» [12] Я думаю, что это было убеждением и самого Владимира Галактионовича, направляющим в значительной степени и самую его деятельность. В это страстно он верил, к этому он стремился всеми силами своей души, за это боролся, во имя этого работал. «Человек создан для счастья» — вся деятельность Короленко проникнута этой мыслью, являющейся ключом к уразумению его самого как в далекой молодости, так и в старости. Она его ставила на революционный путь, она делала его защитником мултанцев и громимых евреев, она же руководила им и в тюремных застенках.

Он говорил нам, своим современникам: «Помните, человек создан для счастья!» И мы, товарищи его молодости, это помним!

О. В. Аптекман

В. Г. КОРОЛЕНКО

Черты из личных воспоминаний

1

Совершенно неожиданно на четвертый или пятый день пасхи 1883 года в Усть-Маю — место моей ссылки — прискакал из Якутска казак с «бумагой» — немедленно перевести меня в Амгинскую слободу. Истинно говорю: это было для меня подлинное «пасхальное яичко». Какой же славный наш якутский помпадур, этот ген. Черняев!

Как-то в эту зиму он вздумал прокатиться по своей вотчине и завернул также на Усть-Маю: надо же повидать и «непослушного Конрада» [1], Аптекмана, надо — для «всеподданнейшего» ежегодного доклада по области. При моем свидании с ним он определенного ответа на просьбу мою перевести меня в Амгу не дал, а процедил только: «Ответ получите». Я ждал, конечно, с тревогой ответ. Тяжело было мне совершенно одному жить в ссылке. Ждал месяц, другой, пошел уже третий. И ответ наконец пришел.

На другой день на рассвете я и проводник мой тронулись в путь верхами. Приехали в Амгу уже поздним вечером [2].

Товарищи — Ив. Ив. Папин и Вл. Гал. Короленко — встретили меня весьма радушно. За беседой решено было, что я останусь в юрте с Папиным, а Влад. Га-

лакт. перейдет по соседству, к знакомому местному жителю, в домике которого имелась свободная комната.

Я застал в Амге у товарищей маленькое, но хорошо уже налаженное хозяйство. Я вошел, конечно, в это хозяйство, как вполне равноправный член его.

Хозяйство ведем сообща. Оно состоит из надельной пахотной земли — десять или пятнадцать десятин, сенокоса и участка леса, а огород находился при юрте, которую мы нанимали. Держали двух лошадей. Коров и кур не держали, ибо они требовали лишнего ухода, а у нас свободных рук не было. Вообще мы старались не прибегать к наемному труду, но когда не хватало наших сил, прибегали к «помощи» соседей, которым мы, в свою очередь, помогали в случае нужды. Услуга за услугу. Труд за труд.

Во главе хозяйства стоял Ив. Ив. Папин. Он каждое утро или накануне еще распределял все хозяйственные работы. Папин весь ушел в работу, в хозяйственные интересы. По-видимому, это была именно та среда, в которой ему легче всего дышалось. Увядшее было, от долгого и тяжелого сидения в Харьковской тюрьме, молодое тело его ожило и потребовало работы и усиленного движения. И Папин весь день проводил на воздухе как зимою, так и летом.

Я не раз любовался этим молодым, гибким, красивым человеком, который столько выстрадал...

Ближайшим помощником, правой рукой Папина в хозяйстве был Вл. Гал. Короленко.

Он оказался прекрасным работником: пахал, сеял, косил, жал. И топором владел: соху наладит, телегу исправит и проч. Он был вообще мастер на все руки: хороший сапожник, чертежник, часы исправлял, отличный педагог. Педагогия давала Вл. Галакт. десять — пятнадцать рублей в месяц, и от сапожничества нередко кое-что перепадало — рублей пять—десять. А это уже капитал. Работа спорилась у Вл. Галак.: работал чисто, аккуратно, изящно. Но случался иной раз и с ним грех: задумается ненароком и что-нибудь проворонит. Раз с ним был такой случай. Выехал в поле пахать. Далеконько было от усадьбы. Захватил с собой еду да еще почему-то какую-то книгу. Полагал, стало быть, и покушать во время отдыха, и почитать в свое удовольствие.

Удалось ли Вл. Гал. почитать, не могу сказать с уверенностью, но что он книгу свою запахал — это верно. Смеялись мы много по этому поводу. Пахал землю и посеял книгу — целую книгу мыслей!

Как же это, однако, вышло? Нельзя сказать, чтобы Влад. Гал. был уж очень рассеян — нет! Но порою он будто отсутствовал: был с людьми, но *вне* людей, *над* ними... В таком состоянии и случилось это.

А вот и другой приключившийся с ним случай. Готовились мы с ним однажды на жнитво. Заварил Вл. Гал. чай, а я что-то готовил на камельке. И сели чай пить. Глотнули раз-другой. Что за пакость! табак, настой чистого табаку!..

— Никак, ваш окурок сигары заварил, Осип Васильевич!.. вы уж простите меня! — виновато объяснил Вл. Гал.

Так и есть. А я как дорожил этим окурком, мечтал о том, что вот я после жнитва закурю сигару на воле и кругом аромат пущу!

С моим приездом прибавилась в нашей общине рабочая сила. На мою долю выпала исключительно, так сказать, *женская* работа как внутри по дому, так и вне — по огороду и полю. В доме я стряпал и пек хлеб. Стряпать я уже раньше научился в Усть-Мае, но печь хлеб я не умел; а надо было, потому что у Ив. Ив. и Влад. Гал. было уже своей работы по горло.

Принес Папин кадочку с закваской, принес два туеска (берестовое ведерко) с ячневой мукой.

— Вы уж, Осип Васильевич, — говорит, — спеките, пожалуйста, хлеб, да покруче замесите. Мука-то, знаете, неважная... прихватило ее снаружи...

— Побойтесь бога, Иван Иванович! — взмолился я, — сроду я хлеба не пек... А в академии тоже не обучали этому...

Смех! Стою смущенный. Выручил Влад. Галак. Все растолковал — как и что и не забыл наказать, чтобы тесто непременно посолил.

— Видите ли, вот у меня здесь (указал на чело печи) записано «посолить» — посолить! Я всегда забываю, каждый раз забываю, а вы уж не забудьте, Осип Васильевич!..

И ушли оба на работу. С душевным трепетом взялся я за печение. И помучился я в первый раз! А потом я

уже превзошел своего учителя, ибо ввел целый ряд усовершенствований как в печении, так и в методах определения выпеченности хлеба (выслушивал, выстукивал по всем правилам постукивания и выслушивания — аускультации не даром же в академии учился!..).

Хлеб у меня выходил на славу, и Вл. Гал. по справедливости гордился мною. Да и как не гордиться! Приезжают, например, знатные люди в Амгу (исправник, попы или купцы), посылают ко мне за хлебом, словно за лакомством каким!

За стряпней и уборкой весь день и уходил, особенно зимой. Но летом на мне лежал еще огород, да одна еще, вначале неприятная для меня обязанность: водить по утрам лошадей на водопой. Пустая эта работа, если бы не наши якутские кони: они, по-видимому, были насчет этого совсем другого мнения. Как только, бывало, они увидят меня с уздечкой, так из оборонительного положения переходят в наступательное: летят прямо на меня, норовя лягнуть или укусить. Горе, да и только!

Товарищи мне советовали на этот случай вооружиться и веревкой и дрючком. Дрючок держал моих свободомыслящих коней на некотором почтительном от меня расстоянии, а конец веревки я набрасывал на первого приблизившегося ко мне врага. И тотчас же враг превращался в овечку: стоит смирнехонько, пока я его взнуздаю, понурив голову, идет за мною, а за ним уж сконфуженный следует и второй свободомыслящий. Пока я не усвоил этой «тактики», я натерпелся немало. Раз я уж заговорил о наших конях, хочу кое-что рассказать о них. Одного коня звали Серкой, и числился он за Ив. Ив. Папиным, другого — Сивкой, и числился он за Влад. Галакт. Серко был умный, славный пахарь — и под верх, и в упряжке прекрасный конь. Сивка был круглый дурак, «тугоуздый», с причудами, и большой пакостник. Меня он чуть было не убил насмерть, испугавшись выбежавшей из подворотни собаки.

Как-то раз летом Вл. Галакт. вбегает в юрту взволнованный.

— Посмотрите-ка, Осип Васильевич, мою спину... какую штуку выкинул Сивка!..

Посмотрел: спина вздулась, побагровела, две крова-

вые ссадины и явственные отпечатки зубов. Не говоря ни слова, Вл. Галакт. снял с гвоздя плеть. Я со страхом взглянул на него. А Влад. Гал. проговорил:

— Ничего. Надо его, дурака, проучить, чтобы в другой раз ему неповадно было!

Вышел я за ним. По дороге в загон Вл. Галакт. захватил с собою длинную жердь. Вошел в загон с плеткой в одной руке и жердью — в другой. «Дурак» догадался — на это у него ума хватило — и прямо стремительно бежит навстречу Влад. Галакт., мигом поворачивается и делает «вольт» задними ногами, но встречает на пути «заграждение». Вл. Галакт. не отступает: спокойно идет на «дурака», огораживаясь жердью, и как только «дурак» оказывается на близком расстоянии, град ударов плетью сыплется на спину Сивка. Последний в страхе мчится в противоположную сторону, упорно преследуемый Влад. Гал. Эта гонка за совершенно обезумевшим от страха и боли «дураком», эта спокойная выдержанность Вл. Галакт., преследующая определенную цель — укротить норовистого коня, совершенно ошеломили меня.

Конь мечется во все стороны, злобно храпит, глаза налиты кровью, отчаянный скачок всегда возможен... Я в ужасе...

— Владимир Галактионович, ради бога, оставьте!.. Довольно! Довольно, он еще убьет вас!..

Никакого внимания. Но когда конь наконец забился в дальний угол загона, видимо обессиленный, плеть выпала из рук Влад. Гал. Мы вернулись молча в нашу юрту.

Отношения к нам местных жителей, как коренных так и пришлых татар — конокрадов и головорезов (пришлые в том смысле, что они, эти татары, жили здесь в качестве уголовных поселенцев), были не только добрососедские, но и благожелательные. В то время, когда кругом между коренными жителями, татарами и другими уголовными поселенцами, царствовала непрекращающаяся глухая и открытая рознь и вражда, доходившая порою до открытой междоусобицы с ножовщиной из-за кражи лошадей и другого добра местных жителей, — наша артель жила в этом отношении мирно и

беззаботно. Татары через своего муллу категорически заявили нам, что никто никогда не тронет наших коней и не посягнет на наше более чем скромное добро. А потому-де нам нет надобности тревожиться и мы можем спокойно спать (раньше то Папин, то Влад. Галакт. по очереди дежурили с ружьем на плоской крыше юрты всю ночь, придерживаясь поговорки: на то щука в воде, чтобы карась не дремал). После такого торжественного обещания татар, имевшего значение для нас habeas corpus[3], мы решили отменить ночное дежурство.

Чем объяснить такое расположение к нам татар?

Я могу с положительностью утверждать, что если не исключительно, то главным образом мы обязаны такому отношению к нам татар присутствию в нашей среде Вл. Гал. Короленко. Обаятельная простота его, обычная приветливость, прямые, искренние отношения к окружающим, кто бы они ни были, очаровывали даже самых закоренелых. Загрубелые, озлобленные, угрюмые человеческие существа смягчались, освещались доброй улыбкой не только при личной встрече и разговоре с Вл. Гал. Короленко, но и при упоминании кем-либо имени его. К нему льнули все, а в особенности наиболее отчаявшиеся и отверженные...

Не преувеличивая, они благоговели перед ним. За что? Они чутьем своим угадывали, что Вл. Гал. не только не презирает их, но и признает их за *людей.* И это возвышало их в собственных их глазах и равняло их, как *людей,* с Влад. Галакт. А потому они считали его *своим — по человеческому рангу.* Они чуяли, что это отношение Владимира Галактионовича Короленко к ним вытекает непосредственно из существа всей его душевной и духовной организации, из сущности, природы его красивой индивидуальности.

Они, эти выбившиеся из колеи люди, давали свою оценку Вл. Галак. одним словом: «человек». Сколько раз я слышал, как тот или другой, уходя от Вл. Гал., говорил с жаром: «Ну и человек же! Вот это настоящий человек!» В этом слове сконцентрирован многовековый опыт народный в обычной, сжатой, выразительной форме. Лучшей характеристики, а главным образом *исчерпывающей,* вряд ли кто-нибудь мог бы дать: «Человек!» Это значит: полное осуществление в человече-

ской индивидуальности гармонии чувств и мысли, слова и дела, цели и средства.

Простые, грубые, «последние» люди и уловили это в Вл. Гал. и выразили одним всеобъемлющим и сильным словом *человек*.

В моей памяти неизгладимыми чертами запечатлелись как мои беседы с Вл. Гал. tête-a-tête *, так и в сообществе с другими.

Вл. Гал. был чудный собеседник и прекрасный рассказчик. Я (да, вероятно, не я один) очень любил эти беседы после работы или между делом.

Вл. Галакт. очаровывал и тем, *как* он слушает: своим светлым спокойствием, своей вдумчивостью он, может быть помимо своей воли, поощрял говорившего к спокойной, прямой, искренней речи и, благодаря этому, к последовательной, логически выраженной аргументации. А это очень важно: этим устранялись или по крайней мере притуплялись острые элементы спора, легче достигалось взаимное понимание и возможное соглашение.

В роли рассказчика Вл. Гал. был прямо неподражаем. Его рассказ — это художественная импровизация. Тут нет фразы, нет красивых жестов: тут — неподражаемый юмор, отливавшийся в конечном итоге в полную, правдивую, красочную формулу или характеристику того или другого лица, того или иного положения. Перед вами ярко, в художественно отлитой форме выступает то или другое лицо, то или иное событие.

Отчетливо сохранились в моей памяти его чудные рассказы о крестьянах Березовских Починок, где он в первый раз был в ссылке, и о начальнике пересыльной политической тюрьмы, которого я тоже знал, ибо сидел в этой тюрьме[4].

Двумя-тремя штрихами умел он так художественно восстановить цельный, живой образ!

На эти рассказы Вл. Гал. — а их было немало — я смотрю как на летучие художественные импровизации накопившегося и сложившегося уже творчества, ищущего властно исхода, формы.

В Амге, несмотря на тяжелые условия ссылки — от-

---

* С глазу на глаз *(франц.)*.

сутствие здоровой стимулирующей и способствующей выявлению творческих сил атмосферы, — Вл. Гал. чуял в себе избыток творческих сил, этот напор художественной эманации; он берется за перо. Он завален физической и другой серой текущей работой, необходимой для пропитания, ибо он, как и мы все, жил трудами рук своих. Но он указывает время, принимает к себе местных жителей, якутов, татар и всяческий уголовно-ссыльный сброд, чтобы создать для себя поле наблюдения, собирания материала и фактов для созревшего уже художника.

У нас на глазах создаются «Сон Макара» и «Соколинец».

Его «Макар» — это хозяин нашей юрты Захар. Он объякутившийся русский переселенец, грязный, грубый, вороватый, пришибленный. Он привязывается к Влад. Галакт., ходит к нему, выкладывает перед ним все печали своей скорбной, беспросветной, трудовой жизни... Душа его распахивается перед «хорошим человеком» (правда, «чужим», то есть ссыльным) — и Вл. Гал. заглянул в эту душу.

И из-под его пера вылился *первый* его рассказ — «Сон Макара» [5] — гимн человеческой природе, оправдание высокого звания человека.

Так же создал Вл. Гал. и своего «Соколинца»: пришел к Вл. Гал. «Соколина» [6], и они с глазу на глаз провели в душевной беседе за чаепитием бесконечно долгую якутскую ночь.

Сильное впечатление произвел на меня рассказ Вл. Гал. о своем гимназическом учителе словесности [7]. Рассказ велся в тихих, но глубоко захватывающих, грустных тонах. То была тихая грусть о далеком, давнем и дорогом. Тень дорогого учителя выплыла из этой туманной дали, одетая плотью и кровью. Учитель был знающий и недюжинный по своим дарованиям человек. Его уроки слушались с захватывающим интересом, особенно о реализме и романтизме в искусстве. Вл. Гал. особенно оживлялся при передаче взглядов учителя на этот предмет. Его меткая, порою едкая характеристика писателей-реалистов вульгарного направления импонировала Вл. Гал. Учитель говорил (передаю почти бу-

квально слова Вл. Гал.): реализм не в том, чтобы скрупулезно копировать окружающие явления, протоколировать наблюдаемые явления, это — не творчество, а мастеровщина. Надо уметь схватывать в явлениях типичное, характерное, чтобы воспроизвести синтетический образ наблюдаемого. Конечно, учитель не мог знать, что среди его учеников есть уже один, который носит в душе своей зародыш художественного творчества, имеющего в будущем развернуться в обаятельную красоту и захватывающую силу. Он не знал, этот незаурядный учитель, что его мысли глубоко запали в восприимчивую душу его ученика и что со временем они дадут толчок его творчеству в указанном им направлении.

Много у нас бывало разговоров с Вл. Гал. на литературные, исторические и философские темы. Под влиянием Вл. Гал. Короленко я впервые познакомился с Мицкевичем, и это опять дало повод к живому и поучительному для меня обмену мыслей.

Помню один разговор по этому случаю.

Меня в Мицкевиче особенно поразила способность автора поэтически одухотворять природу. Я указал Вл. Гал. на одно место в «Пане Тадеуше», а именно: на описание Мицкевичем воздушной аварии; то не было простое описание столпившихся и громоздившихся друг на друге грозных туч на небе, а столпотворение живых существ, борьба титанов, чудовищных форм и окрасок. Это-то я и назвал поэтическим одухотворением явлений природы, художественным перевоплощением мертвого в живое, бессознательного в разумное. Вл. Гал. с обычным своим светлым и открытым лицом слушал меня внимательно и явно сочувственно. Только с одним моим заключением он не мог согласиться вполне. Я высказал по пути мнение, что нет вообще мертвой природы, что все в природе одухотворено, но в различной силе и степени, а потому и подлинному художнику удается это поэтическое перевоплощение якобы мертвого в живое. Художник в данном случае творит, так поступает и философ: схватывает рассеянное в пространстве время и мысли и создает гармонически-целостное построение. С этим последним моим заключением Вл. Гал. вполне согласился, находя творчество художественное и философское по существу почти тождественными, но по поводу утверждения моего, что анимизм присущ *всей* при-

роде, повсюду разлит в ней, Владимир Галактионович, отрицательно качая головой, заметил:

— Когда-то и я думал так; вопрос этот темный и сложный...

— Мало ли темных и сложных проблем разрешила уже человеческая мысль? — возразил я. — Чего мы сейчас не знаем, то завтра узнаем и вырвем-таки тайну у природы.

— Может быть, пожалуй, вероятно... — продолжая улыбаться, ответил Вл. Гал.

Чтение биографии Мицкевича столкнуло меня с мессианизмом, а последний, в свою очередь, в силу ассоциации, навел меня на иудейский мессианизм. Я отрицательно относился ко всякому мессианству, а в особенности к иудейскому. Я считал его отрицательным моментом в процессе развития народов. У евреев же, в частности, мессианство только способствовало обособлению и отчуждению их от других народов. Я высказал мои соображения Вл. Гал.; он очень внимательно меня выслушал и возразил:

— Вы не совсем правы, Осип Васильевич... Вы слишком прямолинейно, можно сказать, абстрактно посмотрели на еврейский мессианизм. Я буду вам возражать исключительно по поводу еврейского мессианизма, пустившего, по-видимому, глубокие корни в самую толщу массы еврейства... У поляков, например, мессианизм захватил лишь верхи народа, и потому оставим его в стороне. Для еврейства же, для еврейского народа мессианизм был не отрицательной силой, а решительно творческой, ибо, по крайнему моему разумению, он, особенно в тяжелые времена диаспоры, спас евреев от полного их исчезновения, от растворения их в массе других народов и племен, — словом, мессианизм сохранил, обособляя, этот народ как национальную индивидуальность, сознающую свою самобытность и целостность. Без мессианизма — кто его знает, евреи исчезли бы с лица земли, а это, несомненно, было бы потерею, дебетом в приходо-расходной книге человечества. Так-то, Осип Васильевич, — продолжал Вл. Гал. — Обособленность же их — временное лишь явление.

Меня поразила не только стройно-логическая последовательность суждений Вл. Гал., но и метод его рассуждений: он внес в свою аргументацию элемент историч-

ности, динамики. И тут, по-моему, Вл. Гал. указало верный путь его художественное чутье, ищущее во всем целостности, полноты и гармонии — *синтеза.*

Ничего нет абсолютного, все относительно, по обстоятельствам времени и места глядя. Если бы я тогда был так близко знаком с диалектическим методом, я бы сказал, что Вл. Гал. мыслил не только логически, но и *диалектически,* то есть в *совершенной гармонии,* как это и можно было ожидать от такой гармонически сложенной индивидуальности, как Вл. Гал. Короленко.

Он иначе не мог мыслить, ибо это вытекало из особенностей его организации.

Цельный человек мыслит и сообразно с этим действует: гармония познавательного и волевого аппаратов.

Я вспоминаю еще другой разговор с Вл. Гал., убедивший меня еще больше в указанной особенности его мышления.

Спор происходил по поводу церковнославянского языка. Я отнесся отрицательно к этому языку, считая его бедным по сложению и незвучным по форме. Вл. Гал. в этом случае мастерски воспользовался учением Михайловского о *типах* и *ступенях* развития [8] и убедительно доказал мне ошибочность моего взгляда на церковнославянский язык.

— Церковнославянский язык, как *тип,* представляется вполне совершенным. Осип Васильевич, вчитайтесь в него, и вы, полагаю, вполне согласитесь со мною, — заключил Вл. Гал.

Я был опять побежден.

2

На нашу мирную, дружную артель неожиданно обрушилось большое несчастье. Живший в соседстве с Амгинской слободой наш товарищ, рабочий Павлов, покончил с собой.

Это потрясло нас всех.

Павлов был административно-ссыльный, вышел из кружка Халтурина, молодой еще, крепко сколоченный физически и, казалось, также и душевно. Перед ним раскрывалась вся полнота жизни, а он, несчастный, взял да оборвал нить этой жизни.

У всех лежал тяжелый камень на сердце. Но особенно это мучило Вл. Гал. Он, всегда ровный и светлый, потемнел, посерел лицом. Очевидно, его неотвязно мучила мысль, что могло быть причиной этого несчастья.

Он верил в меня, как врача, и завел со мною разговор по этому поводу. Я указал ему на то, что подлинные причины самоубийства не всегда легко вскрываются. Покончил с собою наш товарищ, но этот был неврастеник в резко выраженной форме. И такой исход возможен.

Но Павлов, Павлов? Здоровый, от него так и веяло избытком здоровья.

Одно только можно предположить: он страдал сильными приливами к голове, неустойчивостью вазомоторов (сосудо-двигательных аппаратов): лицо его от малейшего волнения становилось багровым, склонен был к аффектам. Если бы Павлов работал физически, правильное распределение крови установилось бы, приливы исчезли бы, исчезло бы давление на мозг, а в зависимости от этого и припадки гнева и тоски, которыми он, повидимому, страдал в последнее время. Под влиянием этой тоски он и покончил с собою. Но это еще хорошо, закончил я свои объяснения.

— Как «хорошо»? — воскликнул удивленный Влад. Галакт.

— А то, что легко мог бы убить кого-нибудь, и в первую голову Михаила Антоновича*.

Наступил наконец день вскрытия трупа Павлова. Понаехало начальство — заседатель и доктор. Вл. Гал. и Натансон, гостивший у нас тогда, собрались поехать на вскрытие. Собрался было и я. Но Вл. Гал. круто повернулся ко мне и твердым, решительным голосом, с выражением глубокой тоски и жалости в глазах, заявил:

— Оставайтесь дома, Осип Васильевич! Не надо вам ехать туда!..

— Почему?..

— Поберегите себя!.. вас надо беречь... — И опять тот же глубоко скорбный взгляд.

---

* Михаил Антонович Ромась раньше жил с Павловым. Сначала все было хорошо, жили согласно, но потом пошли нелады. Павлов стал раздражителен, вспыльчив по малейшему поводу. И Ромась сбежал от него. Это, может быть, и было той роковой каплей, от которой чаша переполнилась через края.

И я остался дома. Вл. Гал. меня теперь покорил, но уже не словом только, а чем-то большим и глубоким, глядевшим из его глаз...

К вечеру только Вл. Гал. и Натансон вернулись[9], усталые и измученные вконец.

Владимир Галактионович, не обращаясь ни к кому, бросил в пространство:

— А метко определил Осип Васильевич причину самоубийства Павлова!.. Врач дал именно такое заключение.

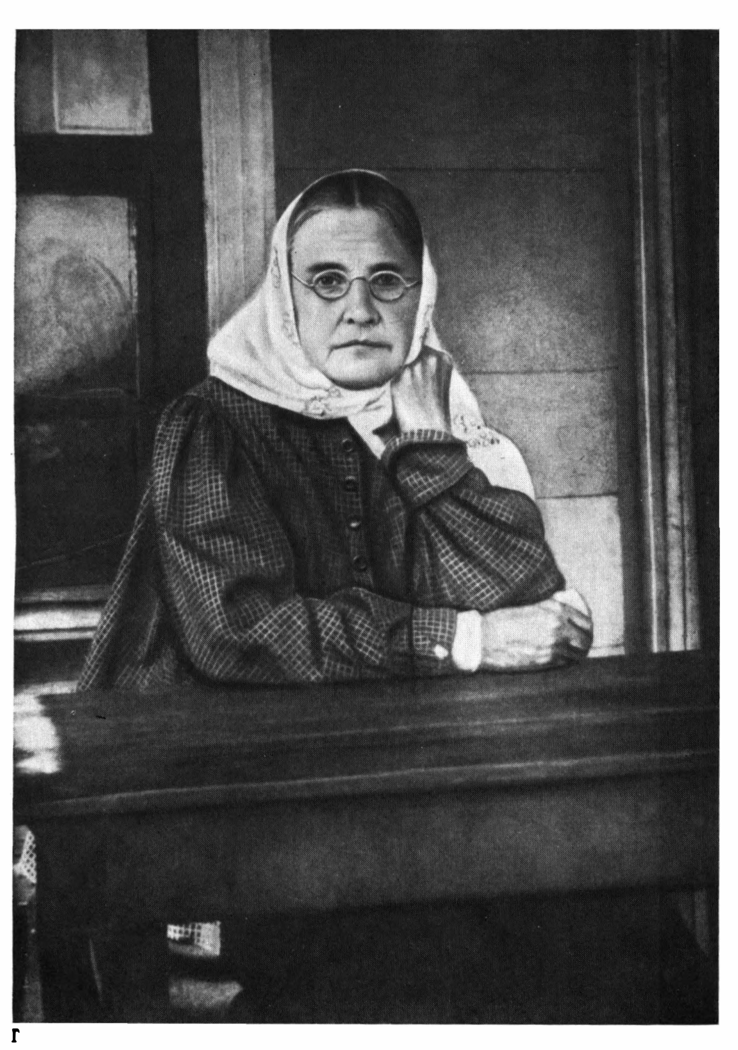
Я мрачно молчал.

Несколько дней мы были все словно оглушенные. Тоска и уныние воцарились в юрте. Мало разговаривали, попрятались по углам. Каждый из нас чувствовал, что так или иначе виновен в преждевременном конце молодой жизни... Но мало-помалу тоска стала утихать, рана зарубцевалась, и Павлов был забыт... Не забыл Павлова только один человек. И этот человек был — Влад. Гал. Короленко. В одном из писем ко мне в 1921 году, то есть сорок лет спустя, Влад. Гал. писал мне о Павлове*. Из этого письма ясно, что рана у Вл. Гал. снова раскрылась и стала истекать кровью. В этом письме слышны отголоски нашей амгинской драмы. Тогда, помню хорошо, я был против того, чтобы признать кого бы то ни было ответственным за смерть Павлова. Но когда я прочитал много-много раз это письмо, когда я снова и снова пережил все перипетии этой, по выражению Вл. Гал. Короленко, «невеселой истории», я убедился в том, что Вл. Гал. совершенно прав. «Мы прозевали молодую жизнь» (слова Вл. Гал.). И это действительно ужасно. Поезжай я к Павлову и перетащи я Павлова к нам в Амгу, он бы, быть может, втянулся в нашу работу, вошел бы в нашу общую жизнь. Одного присутствия Вл. Гал. было бы достаточно, чтобы успокоить смятенную душу Павлова. А тут еще к Вл. Гал. в помощь и я — старый товарищ и друг Павлова.

Прав Вл. Гал., прав — «прозевали молодую жизнь»...

У меня несчастная, по-моему, особенность. Когда на меня обрушивается неожиданно какая-либо напасть, я впадаю в какой-то столбняк, меня охватывает какая-то

* «За воспоминания о Павлове — спасибо, — пишет В. Г. — Это одна из самых мрачных страниц моих воспоминаний. Мы, товарищи, и особенно я, прозевали эту молодую жизнь»[10].



Э. О. Короленко, мать писателя
(конец 90 — начало 900-х гг.)

бесчувственность. Так было и при известии о самоубийстве Павлова. Я казался внешне спокойным, но сердце застыло, охватила тоска безысходная. Места себе не нахожу. Мрачен, как темная ночь, молчалив, как могила. Все мне опротивело. Ищу спасения. Усиленно работаю по дому: колю дрова, копаюсь в огороде. Пытаюсь читать — не могу сосредоточиться, не схватываю мысли. Товарищи настороже... Влад. Галак. за мною зорко следит. Я это хорошо вижу. Не показывает виду и сторожит... Тень Павлова стоит перед ним, как memento mori... * Я чувствую, что угнетаю Вл. Гал... Он все чаще, как бы ненароком, заглядывает ко мне в кухню, за перегородку моей конуры, которую важно окрестили опочивальней... Иногда что-то спросит, чего-то ищет... Остальные товарищи, гости тоже угнетены, несколько сторонятся меня, боятся, очевидно, дотронутся до кровоточащей еще раны моей... В обыкновенно веселой и уютной нашей юрте свил себе гнездо лютый враг — тоска безысходная... И не слышно уже веселых разговоров, симпатичных песен Ромася... Неприятно тихо кругом... словно что-то тяжелое накопляется и вот-вот разразится...

Я один в юрте, сижу за столом, подперев правою рукою тяжелую голову без мыслей... А сердце ноет, ноет и замирает... Тяжело. Тихо входит в юрту Вл. Гал., подходит к столу и молча кладет перед моими глазами фотографическую карточку. Я встрепенулся и смотрю на Вл. Гал. незрящими мертвыми глазами.

А Вл. Гал. продолжает молча стоять возле меня. Я машинально беру карточку в руки. Смотрю, всматриваюсь: Авдотья Семеновна Ивановская **. Чудное, спокойное, русское лицо. Я схватываю нервно карточку и долго, долго рассматриваю ее, впиваюсь в нее. Что-то давнее, хорошее вдруг выплыло и влилось в мое сердце горячей, оживляющей волной... выплыл также очень похожий на Авдотью Семеновну милый моему сердцу образ. Я круто оборачиваюсь к Владимиру Галактионовичу.

— Какое хорошее лицо!.. Подлинная русская девушка... И как похожа на брата Василия [11] — «Василия Великого»...

---

* Помни о смерти *(лат.)*.

** Будущая жена Вл. Гал.

У меня, чувствую, камень свалился с сердца... Держу карточку в руках и не выпускаю ее, точно боюсь, чтобы Влад. Галакт. не отнял ее у меня. Взглянул на него: ясное, светлое лицо, в глазах ласка и мир... Я отдал ему карточку, легко поднялся и вышел с Вл. Гал. на вольный воздух, потянуло на простор. Чувствую, что наступил перелом в душе — кризис прошел. Прошло еще несколько дней. Опять вечер. Я сижу, как тогда, за столом и читаю. Слышу, как тихо пробирается Влад. Галакт. ко мне. Подошел вплотную и, как тогда, положил передо мною опять-таки фотографическую карточку. Живо схватываю ее, смотрю — Григорьев! Улыбнулся и говорю Вл. Гал.:

— Ведь я его знаю! Хороший и очень умный человек... Встречались!

Влад. Галакт. просиял. Григорьев — друг его, друг верный и крепкий.

Мы разговорились. Вл. Гал. с глубоким уважением и симпатией говорил о Григорьеве. Чуялось, что Влад. Гал. находится под влиянием своего друга. Две родственные души. Григорьев — более холодный, точно холодный мрамор. Влад. Галакт. — мягкий, нежный, но не сентиментальный, — и не менее Григорьева твердый, не менее несгибаемый, чем и друг его. Две, друг друга дополняющие, крупные и красивые индивидуальности.

Однажды я случайно присутствовал при том, как Вл. Гал. окачивался водою из глубокого колодца. Тело его сделалось сизым. А было это уже перед закатом солнца. И где? В Якутской области. У меня самого тогда при виде этой операции мурашки забегали по всему телу. Я стоял и укоризненно качал головой.

— Меня этому с детства приучал отец, — ответил на немую мою укоризну, ежась, однако, всем телом, Вл. Гал.

— Не всегда отцы научают хорошему, — проворчал я сердито.

— Положим... но это ведь здорово, Осип Васильевич.

— В меру — да!.. но злоупотребляете слишком, слишком большую работу задаете сердцу...

Прошло несколько дней. Вечерняя заря потухла, надвигались уже сумерки. Вдруг в юрту вбегает Вл. Гал., сильно задыхаясь.

Синюха губ, рук, весь окоченел...

— Посмотрите меня, Осип Васильевич!

— Дотанцевались? — набросился я на него. — Лягте.

Я выслушал его сердце. Медленные удары сердца — медленный пульс.

— Помните, как вы учили Сивка... так и вас надо... выпейте горячего чаю и не шевелитесь, неразумный вы человек!..

Вл. Гал. виновато молчал. После этого он, правда, продолжал свои обливания, но перестал форсировать свои операции.

3

Древние греки, говорят, верили, что когда родится человек, с ним родится одновременно и его «добрый гений». Этот «гений» неотлучно состоит при человеке, оберегает его, направляет его шаги по надлежащему пути жизни, устраняя с его пути все препятствия и опасности. Так до смерти. Его, этого «гения», не видно, но твердая, направляющая рука его сказывается во всем. И пусть «злые гении» строят козни, «добрый гений» настороже: он его выведет из опасности, он покроет и спасет его, — хотя бы и «Ананке» (судьба) была в этом замешана. Такой «добрый гений» состоял и при мне. Моим «добрым гением» был не кто иной, как Вл. Гал. Короленко.

Я долго не знал об этом, хотя чувствовал.

Чудный летний вечер. Прозрачное, синее-синее небо. Закат горит переливами угасающего дня. Не сидится в юрте. Выбегаю на вольный воздух и хожу — не хожу, а почти бегаю взад и вперед по лужайке двора.

В голове какое-то непривычное, загадочное ощущение: что-то накопляется, какие-то обрывки мыслей, туманные образы, словно тени какие-то, толпятся они в беспорядке, ищут выхода, формы. Меня властно охватывает какая-то мечтательность, я шепчу какие-то слова, словно их подсказывают сгрудившиеся в голове туманные образы.

Вл. Галактионович, в это время что-то ладивший на дворе, перехватил мой задумчивый взгляд.

— Мечтаете, Осип Васильевич?

— Хорошо, Влад. Гал., чудо как хорошо!.. В голове образы какие-то выплывают из далекого и давнего, теснятся, рвутся будто наружу, хочется будто писать...

— Ну, и пишите, пишите, Осип Васильевич! сядьте за стол и пишите!.. выражение и форма сами собой скажутся... в чем же препятствие?

— Бумаги нет. «Пан»* дал только шесть листов бумаги, говорит, нету больше.

Влад. Гал. с минуту постоял, о чем-то думая. Я тем временем пошел в юрту за трубочкой-носогрейкой. Выхожу, а Влад. Гал. на Сивке уже, без седла даже, и скачет галопом по направлению к слободе. Куда это он? Что случилось? Недоумение мое через десять минут рассеялось: Вл. Гал. примчался обратно, а в руках целая стопа бумаги.

И теперь еще у меня хранится тетрадь, сшитая из листов этой серой бумаги. Вся она мелко-мелко исписана. Пожелтели листы, отдельные слова и целые фразы смыты всесильным временем. И когда я теперь взгляну на эту тетрадь, мне вспоминается Амгинская слобода, юрта на отлете, а в юрте — милые, дорогие моему сердцу люди и среди них — Влад. Гал. Короленко, милый, дорогой, славный Владимир Галактионович ...

Засел вплотную за работу. Исписал уже целый ворох бумаги. Вл. Гал. нередко заставал меня за работой.

— Как вы можете так работать?.. Я не могу так... Скоро устанете, Осип Васильевич. Надо экономить свои силы... Не налегайте так!

Когда первая половина моей работы была готова, я попросил Вл. Гал. просмотреть ее. Он охотно согласился. Я видел, как внимательно читал он с карандашом в руках. Сделал некоторые ремарки на полях. Между прочим, указал на то, что я совершенно не упомянул о Парижской коммуне, имевшей такое важное значение в выработке революционного настроения молодежи 70-х годов.

Когда все уже было написано, я с поправками и указаниями Влад. Гал. снова передал ему на просмотр рукопись.

— У вас не хватает здесь целой главы о народничестве, Осип Васильевич (разговор был спустя день).

* «Паном» мы звали ссыльнопоселенца-поляка (фамилию сейчас припомнить точно не могу, кажется Выренбовский[12], бывший «повстанец»).

— Я ее совсем выпустил, находя ее слишком пространной... да и доктрина эта достаточно общеизвестна.

— Напрасно! — с досадой возразил Вл. Гал. — Весьма нужна для широких кругов читателей... Хорошо у вас вышло изложение народничества романских народов... Надо вставить эту главу...

— Я изорвал подлинник, воспроизводить теперь нелегко...

Влад. Галакт. даже вскипел.

— Отчего же вы меня не спросили?.. Кто же рвет первоначально написанное?.. Какая досада!.. Ну, Осип Васильевич, что с воза упало, то и пропало... Но не всегда так бывает... постарайтесь воспроизвести эту главу!.. может, удастся... А в целом — записки ваши интересны, местами только лиризма многовато... это лишнее... факты сами за себя говорят... да и насчет фактов: скупы вы уж на этот счет... нельзя ли поподробнее...

— Рискованно, Владимир Галактионович!..

— Ах, да!.. Вы правы!.. не сообразил я... конспиратор сказался. По этой части вы компетентнее меня... Развейте несколько подробнее ваше «заключение», оно весьма полезно для теперешнего читателя, как *самокритика,* только смягчите местами тон, слишком резкий... Хорошо, Осип Васильевич, что вздумали написать свои воспоминания...[13] будут читаться с интересом.

Я посмотрел на Вл. Гал. с благодарностью: мне дорога была эта поддержка... Я последовал его указаниям, сделал соответствующие поправки, хотя главу о народничестве не удалось воспроизвести в первоначальном виде. Досадно это мне было, но ничего не поделаешь.

4

Наступила «страда». Но для меня это не была «страда», я с радостью ждал этого времени, так как стряпня мне порядочно надоела. А тут работа на вольном воздухе — прелесть! Надо было косить.

Нас поехало туда трое: Влад. Гал., Ромась, временно живший с нами, и я.

День погожий... Мы рассчитывали в тот же день покончить с этим участком луга.

Собрались живо, захватив с собою все необходимое:

косы, оселок, грабли, чайник, сковородку и съестные припасы.

Ромась был в ударе и затянул своего любимого «Байду» (прелестная украинская песня).

Работа пошла дружно: Вл. Гал. и Ромась были хорошие косцы. Моя же роль была сгребать сено и ворошить его. Работа сама по себе не трудная, но надо знать, что такое представляет собою якутский луг. Нередко попадаются участки, сплошь покрытые довольно высокими кочками. Их обыкновенно не видно из-за высокой и густой травы; но когда трава скашивается, они обнажаются.

Очень трудно сгребать между ними траву, то и дело спотыкаешься и рискуешь сломать зубья грабель, если они деревянные. Работа закипела, я не отставал от товарищей. Надо было непременно в один день скосить участок. Но наши ожидания — увы! — не оправдались. Вдруг подул свежий ветерок, на небе показалась черная точка. Мы тревожно подняли головы, мы уже научились угадывать воздушные перемены, наблюдая небо. Надвигается гроза с ливнем. Не ошиблись. Точка почти мгновенно выросла в дождевую черную тучу, и полил ливень. Мы промокли насквозь, побросали нашу работу и бросились бежать по направлению к нашему шалашу. Вл. Гал. был в восхищении, ему это нипочем: он привык обливаться холодной ледяной водой. А для меня это было прямо мучение. Надо знать, что такое якутский дождь, обливающий вас потоком, — это ледяной душ, падающий с огромной высоты; каждая капля вас буквально обжигает и колет, точно шилом. На мне была тоненькая ситцевая рубашка. Я мгновенно застыл, посинел и дрожал, как в лихорадке, пока добежал до шалаша. Вл. Гал. посмотрел на меня и закричал:

— Бегите скорее под шалаш... дождь перестает... разложу костер... отогреетесь...

Дождь действительно так же мгновенно перестал, как и полил. Вл. Гал. быстро развел костер (у нас раньше запасены были сухие сучья и кустарник). Когда костер запылал, Вл. Гал. вошел в шалаш и скомандовал: «вылезайте»... Сгреб все, что попалось ему сухое (азямы, пальто, сено и пр.) под руками, живо устроил ложе и *приказал* мне лечь у костра. Я был послушен, покорен на этот раз. Живо охватило меня тепло и разлилось по всем суставам и косточкам. А Вл. Гал. все

продолжал вертеться около меня. Тут же повесил чайник, чтобы вскипятить воду, и занялся стряпней. Я лежу и смотрю на чайник. Что такое случилось с моими глазами? Чайник вырос в величину чуть ли не теленка. Я и закричал:

— Вл. Гал., какой большущий этот чайник стал.

В одно время и Вл. Гал. и Ромась круто повернулись ко мне с широко раскрытыми глазами. Я рассмеялся.

— Не бойтесь! Не сошел с ума... Это бывает от большой усталости, забыл, как называется по-латински...

— Ладно!.. Ладно!.. лежите лучше смирно!

«Что же... велят лежать, буду лежать... мне же лучше», — подумал я, нежась на своем ложе и следя за тем, как Вл. Гал. стряпает что-то.

Солнышко опять стало припекать. Пахло скошенным сеном. Хорошо было. Решили пошабашить, так как сено все равно убрать уж нельзя было из-за воды. Рано улеглись спать. Спали сном праведников, а на заре поднялись, справились живо и отправились на покос. Сено скосили вовремя, сгребли и стожили. Вернулись домой еще до заката. Нас ждал «большак», Ив. Ив. Папин, выслушал доклад Вл. Гал. и весело потер руками. Стало быть, доволен.

Труднее мне было справиться с огородом. Полка и поливка сама по себе — работа не трудная, но таскание воды из глубокого колодца меня сильно донимало.

Раз, помню хорошо, Вл. Галакт. раньше обыкновенного справился с своей работой и как раз застал меня во время поливки.

Вид у меня был утомленный. Я вытирал пот со лба, собираясь с полными ведрами в огород. Он бегло посмотрел на меня и покачал головой:

— Не для вас эта работа, Осип Васильевич... надрываетесь слишком...

— Что же делать?.. Надо же свой урок выполнить!.. больше ведь некому...

Я пошел в огород, а Влад. Гал. исчез куда-то. Возвращаюсь, стоят два полных ведра с водою. Удивился. Кому это заготовлена вода? Осматриваюсь кругом, никого не видно. Подумал, взял ведро и побрел в огород, а свои

пустые ведра оставил. Вернулся — опять два полных ведра. Рассмеялся, догадался, чьих рук это дело. А Влад. Гал. нигде не видать. Спрятался... Поливка окончена.

На другой день рано (я еще в постели был) слышу, кто-то пилит и стучит, словно в бочку. Поднялся, затопил камелек, сварил чай, приготовил ячневую лепешку, поставил масло на стол и вышел звать товарищей пить чай. Во дворе Влад. Гал. Подхожу ближе к калитке огорода, вижу: стоит кадка, полна-полнехонькая водою. Что же оказывается? Раньше всех поднялся Вл. Гал., раздобыл где-то бочку (должно быть, у Афанасьевой либо у «Пана»), прикатил ее в нашу усадьбу, перерезал и сладил кадку. Теперь для меня ясно стало, кто пилил, кто прилаживал обручи.

Возвращаюсь в юрту, а Вл. Гал. и Ив. Ив. Папин чай попивают и лепешку едят. Я посмотрел на Вл. Гал.

— Вкусная вышла лепешка, Осип Васильевич!..

— А «вкусно» (ударяю на слове) было вам кадку смастерить?

— Ну, теперь вам легче будет... Усаживайтесь за стол...

Смотрит довольный, в глазах ласковые огоньки.

Срок ссылки Вл. Гал. кончается 9 сентября 1884 года.

Проходит неделя, а из Якутска известий никаких. Что это значит? Неужели они готовят преподнести какую-либо пакость? Неужели надбавка? Все можно от них ожидать, а к Вл. Гал. якутское начальство не особенно благоволит.

Проходит еще день — ни слуху ни духу... Вл. Гал. встревожен, удручен. Он что-то обдумывает, на что-то решился...

Вижу, он направляется ко мне с двумя толстыми тетрадями в руках.

— Завтра девятое. Я уезжаю в Якутск. На всякий случай, вот эти рукописи отошлите, если меня задержат в Якутске, по этому адресу в Москву (дал мне адрес Вас. Никол. Григорьева)...

На другой день он наскоро уложился, подал заявление старосте[14], написанное очень внушительным языком, потребовал «обывательских» в Якутск. Староста не решился не послушаться, и лошади поданы.

По случаю отъезда Вл. Гал. приехали в Амгу Натансон и Тютчев, чтобы проводить его. Разделились на две партии: Т. А. Афанасьева с детьми и Натансон с Тютчевым первые отправились на слободу на ту полянку, где мы за месяц (или больше) собрались, чтобы проводить Ив. Ив. Папина [15]. Я остался с Вл. Гал. Сели на тележку и поехали. Некоторое время молчали. Я сказал:

— Если кто обрадуется вашему возвращению, то ваша мать...

Влад. Гал. светло улыбнулся. Я не знал еще тогда, что там, далеко в России, есть у Вл. Гал. друг — Авдотья Семеновна Ивановская, на которой он впоследствии и женился.

Мы расположились на лужайке, Т. А. Афанасьева заварила чай, приготовила закуску. Последнее прости. Поднялись, чтобы попрощаться. Т. А. Афанасьева с детьми плакали навзрыд, остальные сосредоточенны. Что со мною было — не знаю, но Н. С. Тютчев, взглянув на меня, проронил: «Как разно прощание действует на людей...» Я, должно быть, был бледен, потому что чувствовал, как кровь отливает у меня от сердца. Вл. Гал. вскочил в тележку, снял фуражку и всем послал общий привет...

Из Томска мы получили от Вл. Гал. подробное письмо. Он встретился где-то с Папиным [16], его подолгу держат на этапах. Вл. Гал. поднял тревогу, стал хлопотать у начальства и добился-таки того, что Ив. Ив. Папина повезли более ускоренным путем.

В Томске Вл. Гал. виделся с моей сестрой и передал ей от меня привет, но не один только привет, а сделал кое-что и побольше, о чем я узнал лишь сравнительно недавно: несколько месяцев назад, роясь в делах департ[амента] гос[ударственной] пол[иции], я нашел дела, из коих узнал, что когда Вл. Гал. был в Томске, сестрою было подано прошение в д[епартамент] п[олиции] о переводе меня в Томск. По мотивировке прошения и некоторым другим черточкам, фактам и признакам я узнал, что это Вл. Гал. подал мысль сестре подать прошение, попытаться во что бы то ни стало вырвать меня из железных объятий Якутии. Попытка, правда, не удалась: прошение сестры «оставлено было без последствий».

5

Срок моей ссылки истекал 9 сентября 1885 года. Я решил по возвращении на родину вернуться к «первой моей любви» — к медицине.

Надо занять какое-либо общественное положение.

К рождеству я уже докатил до Нижнего. Конечно, с почтовой станции направился прямо к Вл. Гал. Он увидел меня в окно и в одной блузе (а мороз был лютый) выбежал навстречу мне. Какая была встреча! Пошли разговоры о наших якутских друзьях. Я сообщил ему, что Натансону и Тютчеву прибавили: одному — два года, другому — три. Вл. Гал. был очень огорчен. Вечером у Вл. Гал. собрались гости — местные общественные деятели, городские и земские. Вл. Гал. уже успел завоевать себе в Нижнем уважение. Я почувствовал прикосновение живой связи. Я пробыл у Вл. Гал. еще второй день рождества. Он не отпускал меня, а мне так хорошо, уютно, тепло было в его скромной квартире.

Вл. Гал. первый поднял вопрос о том, куда сейчас я намерен направить свои стопы. Я сказал, что собираюсь на родину повидать моих стариков и тем временем попытаюсь поступить в какой-либо университет, чтобы получить звание врача.

— Хорошо придумали, Осип Васильевич... Как врач, вы в рабочей среде, которой хотите себя посвятить — помните наш разговор в Амге? — будете на своем месте. Врач-пропагандист — это именно для вас, это ваша дорога, ваше призвание...

— Как я рад, что вы одобряете мой план!.. Как я рад!..

Я торжественно в первый раз в моей жизни продекламировал:

Я слишком стар, чтоб тешиться мечтами,
Я слишком юн, чтоб вовсе не желать... [17]

— Этого-то и нужно, Осип Васильевич! Смело вперед!...

Поздно ночью, в 12 часов, помню, отходил поезд. Вл. Гал. проводил меня на станцию.

На родине я прожил недолго. Двери высшего учебного заведения передо мною не раскрылись, но все-таки разрешили мне держать окончательный экзамен на врача в качестве экстерна. Это не входило в мои расчеты.

Я сильно отстал от медицины, знания мои требовали основательного ремонта... Я решил поехать за границу. Родственники помогли мне кое-какими средствами, а со стороны администрации «препятствий» не было.

Так я попал за границу. Работал много и в течение полутора лет вполне стал на ноги. Оставалось только сделать работу, написать диссертацию и сдать экзамен. И это выполнено мною как следует. Но диссертацию надо отпечатать на свой счет, и за право держать экзамен — тоже надо платить, что в общей сложности составляло около двухсот марок (штудировал я медицину в Мюнхене). Это для меня целый капитал. Мои наличные средства едва-едва кормили меня. Что же делать? Обратился за поддержкою к родным, но получился отрицательный ответ: мои старики едва-едва перебиваются. Как же быть? Передо мною печальная перспектива: застрять надолго в Мюнхене — без средств к жизни, без надежд на лучшее.

Совершенно неожиданно, когда я уже стал отчаиваться, получаю денежный пакет, на пакете почерк Вл. Гал. Нервно вскрываю пакет — письмо со вложением трехсот рублей. В письме Вл. Гал. лаконически пишет мне, что посылает мне триста рублей, переданные ему, для передачи мне, общим знакомым — д-ром Михайловым из Москвы. И только. Как д-р Михайлов узнал о критическом моем положении? Почему он самолично не послал от своего имени? Здесь перст моего «доброго гения» виден.

6

1892 год. Голодный год. Тиф, цинга, а с востока уже надвигается «бич божий» — холера. Тревожные, чудовищные слухи и даже «видения» в среде народа. «Темная» масса подавлена, напугана, мрачно глядит на окружающее.

Лучшая часть интеллигенции мечется во все стороны, собирает крохи, чтобы накормить голодного. Во главе этого движения чуткое сердце нашей страны — Вл. Гал. Короленко. Он развернулся во всю глубину и широту поставленной им задачи — накормить голодного и выяснить причины этого голода.

Я в то время работал в Саратовском уезде, где тиф,

скорбут и голод в дружественном союзе собирали свою жатву, опустошая села, деревни, деревушки... И тут кормили голодный народ, кормили теми крохами, которые раньше отобрали у этого же народа, благодетельствовали тому, кто испокон века «предоставил почтительно нам погружаться в искусство и в науки, предаваться мечтам и страстям»... [18] Вл. Гал. это чувствовал всеми фибрами своей светлой и благородной души.

Наступило лето 1892 года. Памятное в русской жизни лето. Я жил тогда в Саратове в ожидании места. Я и еще двенадцать моих товарищей-врачей оставили «скопом» службу в земстве, не желая подчиняться порядкам Плеве [19]. Тяжело это было для нас, но необходимо.

Стал искать службы. Получаю телеграмму от Вл. Гал. Короленко приехать в Нижний, где работы для меня будет достаточно. Я несказанно обрадовался этому, ибо сидеть сложа руки в такое время — преступление, а кроме того, улыбалась мне перспектива повидаться с Вл. Гал.

Я скоро собрался в путь-дорогу. Товарищи мои, Натансон и Тютчев, сочувственно отнеслись к этой моей поездке и попутно дали мне дипломатическое поручение к Влад. Гал. и Н. Ф. Анненскому: переговорить с ними, не примут ли участие в организующемся уже тогда обществе «Народное право» [20].

За переговоры с Вл. Гал. я охотно взялся, а Анненского я не знал и отказался.

Вот я в Нижнем, у Вл. Гал. Он выглядит бодрым, светлым, как всегда.

Была жара несносная, прямо дышать было нечем. Влад. Гал. повел меня в спальню с закрытыми ставнями, где мы легли вместе на одной кровати отдыхать. Помолчали. Вдруг Влад. Гал. поворачивает ко мне лицо, спрашивает:

— А читали ли вы, Осип Васильевич, что про вас написал этот подлец Тихомиров?

Я привскочил даже с ложа: у Влад. Гал. вырвалось такое слово.

— В чем дело? — спрашиваю, заинтригованный.

— А он ни больше, ни меньше написал, что вы из тех Аптекманов, которые еще в семидесятых годах бунтовали. Так и написал...

— Да не ошибаетесь ли вы, он ли действительно это написал?

— Уж я-то не ошибусь, я знаю его псевдоним литературный...[21]

Через некоторое время я приступил к исполнению моего поручения. Рассказал, что мы задумали, что хотим издать на первых порах подпольный орган, который сорганизовал бы все общественные оппозиционные элементы, нечто вроде «Колокола». Это необходимо, да и момент, полагаем мы, в настоящее время как раз подходящий...

Влад. Гал. слушал меня внимательно.

— Хоть бы колокольчик, Осип Васильевич, хоть бы колокольчик!.. где уж нам «Колокол»!..

Перешли на якутские, давние и далекие переживания. Оживились.

Я рассказал, как наш Захар («Макар» тож) одно время стал «пить горькую», допился, что называется, до чертиков... Как он, Захар-то, под влиянием алкоголя, стал «агрессивен», лез в драку, называл себя «Уллахон Тайоном» (великим господином) и проч., — словом, совсем переродился человек: забитый Захар ходит гоголем, высоко поднявши голову...

— Парадоксальное явление! — заключил я. — Забитое, приниженное существо под влиянием наркотика превращается в дерзко-вызывающего субъекта... Любопытная метаморфоза.

— Чем вы это объясняете, Осип Васильевич?

— Думаю, — конечно, это только гипотеза, — думаю, что в обыкновенное, то есть *нормальное* для Захара время угнетающие условия его жизни угнетали также и его задерживающие, тормозящие сознание центры и, угнетая их, не давали ему, таким образом, проявить это сознание. А когда развязались эти тормозы, и сознание своего человеческого достоинства вылилось наружу в бурной форме, словно половодье, срывающее плотину и прочие заграждения, наружу...

— Это, пожалуй, верно! Это не гипотеза, это именно так.

За чаем опять вспоминали якутское житье-бытье.

— Какие же мы, однако, романтики с вами, Осип Васильевич! — весело воскликнул Вл. Гал.

— Это нам только на пользу, Вл. Гал.

— Вы полагаете? — лаская меня глазами, живо спросил Вл. Гал.

— Думаю, что так оно есть: без романтизма жизнь совсем скучна...

Я работал в Лукояновском уезде и с Влад. Гал. не виделся. Сыпнотифозная эпидемия пошла уже на убыль. Я стал понемногу ликвидировать сыпнотифозную организацию, собираясь в Херсон, где получил место санитарного врача от Херсонского губернского земства.

Вдруг грянула поволжская холера со всеми ее ужасами, паникой и вспышками народных беспорядков. Нижегородская администрация и земство забили тревогу, и мне пришлось остаться в Нижнем, но от Вл. Гал. я был отрезан, так как работал я в плавучем госпитале. А когда холера прошла, я уехал в Херсон, где меня ждала тоже холера.

Так я и уехал из Нижнего, не повидавшись больше с Вл. Гал.

1896 год я в Петербурге, где рассчитывал приискать себе службу. Там же теперь все нижегородцы: Влад. Галактионович Короленко, Н. Ф. Анненский и А. И. Богданович. Прежде всего повидался с Вл. Гал.

Меня поразил его усталый вид. Он жаловался на бессонницу, на «муть в голове», на какую-то напавшую на него необычную совсем «слезливость». Он попросил меня осмотреть его. А Вл. Гал., как я уже упомянул, очень доверял мне как врачу. Я теперь несколько поднялся в своем медицинском стаже: психиатр-невропатолог. Стало быть, именно тот врач, который и нужен Вл. Гал.

Я тщательно осмотрел В. Г.

— Ничего серьезного у вас нет, Вл. Гал. Вы просто переработали, и притом при такой обстановке и при таких обстоятельствах, когда ваша нервная система дергалась самым беспощадным образом... Не работа вас утомила, а сопровождающие ее, повторяю, дергающие и обнажающие нервы моменты... Это вас и ранило [22].

— Что же вы думаете, Осип Васильевич?

— Вам надо превратиться в Цинцинната: взяться за соху, косу и топор... Hacken sollen sie [23], — как говорит

в «Фаусте» Мефистофель. — Стало быть, надо распрощаться с Питером и марш-марш куда-нибудь в провинцию, на хутор. Вот мой совет, Вл. Гал. ...

Лицо у Вл. Гал. просияло. Я, очевидно, попал в «точку»...

— Вы правы, Осип Васильевич, тысячу раз правы!.. Quem medicamenta non sanat, natura sanat * — предлагаете вы... Это именно настоящее. Так и сделаю.

О том, что я исследовал Вл. Гал., о моем диагнозе и прогнозе стало известно товарищам Вл. Гал. по «Русскому богатству».

Ал. Ив. Иванчин-Писарев заговорил со мною об этом.

Я высказал ему свои соображения, указал на то, что у Влад. Гал. нервы — канаты пароходные, все выдержат, и теперешнюю временную прострацию... Это мое убеждение... Перетянул канат — и канат потерял несколько свою упругость. И только... Одно Мултанское дело чего стоит...

В ожидании службы целые дни провожу у Вл. Гал. Туда каждый день приходит Н. Ф. Анненский. Часто захожу в кабинет Вл. Гал., где он работает, стоя у письменной конторки. Масса корректурных листов.

— Смотрите не уставайте!.. — говорю.

— Нет!.. как видите, это почти механическая работа... На мою долю выпала редакция беллетристического отдела... Вот, например, Шабельская — знаете ее? — ну вот, рассказ, собственно, хороший, живой, с огоньком, но крайне растянутый... масса повторений, ненужных подробностей, ну, я немилосердно сокращаю, урезываю... Нельзя иначе... Вы удивлены?.. Ничего не поделаешь, иначе теряется экспрессия, сила... и рассказ теряет свой интерес... Авторы, конечно, порою ропщут... да как же быть?!

— Тяжела, знать, шапка Мономаха...

— О да!.. и еще как!!! Порою превращаешься прямо в цензора... чистое наказание! Скажу вам прямо: начинающие обыкновенно злоупотребляют так называемым реализмом: громоздят факты на факты, мелочи на мелочи; это только портит работу: получается не творче-

* Что не излечат лекарства, излечит природа (*лат.*).

ство, а фотографирование. Еще учитель словесности в гимназии — умный и даровитый это был человек! — учил нас тому, что *такой* реализм не реализм, а мастеровщина.

И я запомнил это... вспомнил, как и когда-то Вл. Гал., учителя.

Вскоре я получил работу в Смоленске, куда и переехал.

Однажды получаю письмо от Вл. Гал. из Петербурга. Письмо коротенькое, деловое. Войнаральский-де вернулся в Россию, живет под Харьковом, больной и в большой нужде. «Я сделал уже кое-какие шаги, теперь очередь за вами, Осип Васильевич» — говорится, помню, в конце письма.

Я написал немедленно в Полтаву д-ру Волкенштейну, вскоре получил благоприятный ответ: Войнаральский устроился в Полтаве[24].

7

Ранняя весна 1897 года. Жена опасно заболела. Предвидится серьезная операция. Местные хирурги направляют либо в Петербург, либо в Москву. В Петербурге у меня старые связи среди профессоров, моих учителей по Медико-хирургической еще академии. Поехали в Петербург. Встреча с Вл. Гал. и Авдотьей Семеновной была очень теплая. Первый день пасхи провели в семье Вл. Гал. Помню, в числе посетителей-гостей были Н. К. Михайловский, С. Я. Елпатьевский, А. И. Богданович, конечно Н. Ф. Анненский. Как ни тяжело было у нас на сердце — профессора-хирурги дали ответ уклончивый: опасно-де оперировать, обойдется и без операции, — но радушие, светлый уют и участие со стороны В. Гал. и Авд. Семен. несколько ободрили нас в этот тяжелый час.

Уезжая, я и не думал и не гадал, что это будет *последнее* мое свидание с Влад. Галактионовичем.

Лето 1902 года. Я хотя и на месте, но место это тяготит меня: совершенно чуждая обстановка.

Из «Русского врача» я узнаю, что есть вакантное место психиатра при Полтавской губернской больнице,

Вот куда бы мне попасть. Говорят, и больница благоустроенная, а главное, главное... там Вл. Гал... Неудержимо потянуло меня туда.

Думал-раздумывал и наконец написал письмо Вл. Гал. Вскоре получил ответ. Ответ благоприятный, но добился он этого ответа нелегко: «Старший врач больницы очень хороший человек, но... антисемит, непримиримый... Но когда я заявил, что вы — друг мой, то сразу согласился...» — говорил Вл. Гал. в своем письме. У меня руки опустились: с антисемитом не стану работать. Так и написал Вл. Гал. А как он хлопотал! и в какое время... Горячо любимая им мать была смертельно больна...

Грянула революция 1905 года. Я очутился за границей. В 1907 году я написал свой очерк о Гл. Ив. Успенском («Страница из «скорбного листа» Гл. Ив. Успенского»).

Вл. Гал. напечатал его (в «Русском богатстве»)[25]. Между нами завязалась живая, интересная переписка.

Первая половина очерка не вызывала никаких разногласий, вторая же дала повод к живому обмену мыслей.

Вл. Гал. указал на некоторые недочеты в моей характеристике Гл. И-ча, а равно на кое-какие фактические промахи. Он указал на то, что меня ввела в заблуждение биография Гл. Ив. Успенского, написанная Н. А. Рубакиным[26].

Я отстаивал свой взгляд на Гл. Ив. Успенского, и Вл. Гал. в конце концов сдался: «Я согласен с вашей характеристикой Гл. Ив., но необходимо все-таки кое-что выпустить (это касается второй половины), совершенно ненужны некоторые ваши приступы (например, «Выше мы видели» и т. д.), О. В., вы точно не доверяете памяти читателя... Не надо также и некоторых подробностей... Пишите сжато, выразительно, и выйдет сильно и правдиво»... (Я пишу на память, так как писем Вл. Гал. у меня нет, но передаю почти буквально, ибо я его письма не раз читал и перечитывал.)[27]

Вл. Гал. радовался *первому* моему удачному литературному выступлению и тщательно собирал отзывы о моей статье в печати, обещал прислать.

Н. С. Тютчев

ВОСПОМИНАНИЯ О Вл. Г. КОРОЛЕНКО

6 ноября 1881 года нас, троих баргузинских беглецов[1] (И. Л. Линева, К. Я. Шамарина и меня), привезли в Иркутский тюремный замок, чтобы передать иркутским жандармам для дальнейшего препровождения в Якутскую область. Нас почему-то изолировали от находившейся в тюрьме пересыльной партии «централистов»[2], и лишь через окно, выходящее на общий двор, нам удалось переговорить кое с кем из старых знакомых. Мы узнали, между прочим, что как раз в этот день в Якутск увезен был Вл. Гал. Короленко, и мы пожалели, что не удалось поговорить с автором «Стукальщика»[3], в котором сибирские ссыльные тех далеких годов пытались найти кое-что из «не-нашинства», открытого Г. А. Лопатиным[4] и описанного им на страницах «Вперед». Этими «не-нашими» политическая ссылка тех годов сильно интересовалась и всюду их разыскивали, хоть и неудачно.

Когда нас троих доставили наконец в г. Якутск, Вл. Гал. уже был увезен из города в слободу Амгу; но так как нас назначили в Батурусский улус, в пределах которого находится эта слобода, то мы рассчитывали на возможность скорого знакомства с Короленко. Прошло, однако, не менее полугода, когда нам, новым ссыльным в Якутском округе, удалось наконец завоевать фактическое право разъездов, приобрести лошадей и, главное, настолько ориентироваться в новых для нас условиях дикой страны, чтобы без провожатого пускаться в путь; а нередко этот путь состоял из одной тропы, пролегав-

шей по тайге и болотам. Слобода Амга лежала верстах в двухстах от нашего жительства, но дорога туда была относительно удобна: существовал колесный путь в слободу из улусного центра Чурапчи. Лето 82 года у нас было занято полевыми работами: Линев, сильно тяготевший к землеробству, уговорил и меня заняться посевами, огородами и сенокошением, и мы вдвоем года три пытались «сидеть на земле», но результаты оказались довольно печальны...

Осенью 82 года (а может быть, и в начале зимы) мы совершили с ним объезд южных товарищей-ссыльных. Побывали в Сулгачах (по пути в Амгу), у супругов Чернявских (Ив. Ник. и Ал-дра Влад., урожд. Афанасьева) [5], и наконец добрались и до сл[ободы] Амги. Здесь мне впервые удалось познакомиться лично с Влад. Гал. Он жил тогда с Ив. Ив. Папиным и Ос. Як. Вайнштейном в юрточке, с деревянным полом и стеклянными окнами, произведшей на нас — улусников — впечатление уютности, домовитости и чистоты. Кроме того, радушный прием политических в культурно обставленном доме местной обывательницы Татьяны Андреевны Афанасьевой * представили нам Амгу, после наших наслегов, как какую-то столицу: действительно, там были магазины, почта, население питалось печеным хлебом (и даже пшеничным), почти все возможно было достать на месте, без необходимости, как нам — северным улусникам за всем этим посылать или ездить самим в г. Якутск, за двести пятьдесят верст.

Вл. Гал. был в эти годы цветущим, полным сил молодым человеком, хотя уже с окладистой бородой, которая, вместе с богатой, волнистою шапкою волос, придавала ему среди других амгинцев вид солидности. Меня особенно поразил в это первое знакомство его здоровый юмор и умение незлобиво, но ядовито подшутить над нами — «одичавшими улусниками». Отношения сразу сложились теплые и дружные, несмотря на разногласие во взглядах, сказавшееся уже вскоре, так как мы с Линевым были убежденными народовольцами, а следовательно, и террористами, а Вл. Гал. и тогда уже был про-

* С этого времени и до самой революции 1917 г. Т. Андр. была неизменным другом и вполне своим человеком среди многочисленных генераций политических ссыльных, преимущественно народнического направления.

тивником народовольческой тактики. Такие же ровные, дружески-товарищеские отношения сохранились у меня с Вл. Гал. до самой его смерти, ни разу не подвергаясь обострениям.

Не помню в этот ли или в следующий приезд, он прочел нам только что написанный им рассказ «Сон Макара», и все присутствовавшие почувствовали в нем крупного художника слова. Это особенно подчеркивалось сопоставлением тут же живущего настоящего Захара (Цыкунова) с «Макаром» Короленко. Живой Захар *должен* был так думать и говорить, но, увы, он не умел ни думать, ни говорить... Да и сам рассказ произвел на Захара лишь то впечатление, что его, Захара, «пропечатают», и впоследствии, уже долго спустя после отъезда Короленко в Россию, Захар рекомендовался всем новоприбывавшим политическим стереотипной фразой: «Я — Сон Макара».

Впоследствии в той же Амге Короленко прочитал товарищам «Убивца» и «Марусину заимку» [6], и для всех его товарищей по ссылке стало ясно, что Короленко представляет собою крупную литературную силу и что его следует, как таковую, беречь, так как на этом поприще он может, при его таланте и уме, сыграть большую роль и в литературе и в общественности.

Кажется летом следующего года, Линев и я вновь приехали в Амгу, но уже в телеге — на тройке, с целью повезти Вл. Гал. к нам, на север, в Чурапчу и Жехсогоны, чтобы ознакомить его с живущими там товарищами и с условиями далеко лежащих от культурных центров наслегов. При этом я рассказал ему, что по пути, не доезжая Сулгачей, стоит настоящая хохлацкая хатка, беленькая, чистенькая, и там живет та молодая хохлушка, с другом которой он, по его рассказу, уже познакомился в Амге. Внутри хаты — настоящая Черниговская губерния: радушная хозяйка в поняве и монисте, а для гостей вместо обычных якутских ячменных оладий — вареники... Какой-то украинский оазис в Якутии! Не знаю, соблазнился ли бы Вл. Гал. перспективой двухнедельного путешествия, при неизбежности ночевок в грязных якутских юртах, если бы его не прельстила эта «Марусина заимка». Он поехал с нами, мы провели несколько часов и ночевали у Маруси и ее мужа, и Вл. Гал., видимо, был очень доволен этим посещением,

а равно и хозяева, особенно хозяйка, поговоривши с Вл. Гал. на родном языке, — она вся сияла счастьем, принимая у себя «настоящих» русских людей, да еще политических, которых уважают не только якуты, но и все власти. После далеких дней на Украйне, когда она жила еще вольной дивчиной у своего татуся, — это, может быть, был первый день в ее нерадостной жизни (а может быть, и единственный!) в этом роде. Это была честная, работящая женщина, попавшая в ссылку, кажется, за невольное детоубийство. В результате этой поездки Вл. Гал. и написал «Марусину заимку».

В эту же поездку Вл. Гал., рисовавший очень хорошо карандашом и умевший схватывать сходство с оригиналом, зарисовал некоторых типичных якутов, типичные юрты и, помнится, церковь в Жехсогонах. Но, кажется, все это погибло при его отъезде из Якутска, когда у него украден был чемодан...[7]

Еще несколько раз мне пришлось посетить Амгу, когда там уже жили Натансоны и О. В. Аптекман, и, наконец, я приехал специально, чтобы проводить Вл. Гал. в Россию. Помню, как целою компанией мы проводили уезжавшего товарища за несколько верст от слободы... Тяжело было на душе остававшихся. Не было в то время уверенности, что объявленные сроки ссылки не будут продлены (что и случилось, например, со мною: дважды набавляли по два года!), а шансы на побег все уменьшались... Но мы радовались вместе с тем, что такая выдающаяся художественная и умственная сила, как В. Г. Короленко, получает возможность расправить свои крылья, хотя и при неблагоприятной общественной и полицейской обстановке, но все же при некоторой возможности...

Вл. Гал. уже вполне откровенно заявил себя нереволюционером, ясно определил свою цель быть писателем и бороться с неправдою в пределах легальных возможностей; но при этом различии наших позиций мы горячо провожали его, как будущего писателя и культурного, честного работника, и будущее показало, что эти наши юношеские чаяния не только оправдались, но были превзойдены Вл. Гал.

Прошли годы. Большинство сверстников Короленко по ссылке уже вернулось в Россию, но нашло ее не такою, какою оставляло, идя в ссылку, в разгар револю-

ционного подъема конца 70-х годов. Реакция Александра III торжествовала: разгромлена была «Народная воля», а все попытки ее восстановления не удавались, не существовало ни одной революционной организации, кроме ничтожной по количеству членов группы в Петрограде молодых народовольцев, занимавшихся исключительно пропагандой среди рабочих и не помышлявших даже о переходе к тактике прежней «Народной воли». Подавляющее большинство молодежи и так называемого «третьего элемента»[8] потеряло веру в революционный путь борьбы и морально было подавлено дегаевщиной, тихомировщиной[9] и постоянными быстрыми провалами последующих попыток организации. Общество... как и всегда, шло лишь за побеждающим. Попытка нашего товарища Н. М. Астырева[10] и его кружка, воспользовавшись голодом, обратиться с призывом к крестьянству потерпела неудачу: отклика в деревне не было. Правда, старики ссыльные, вернувшись на родину, встретили и молодежь, готовую отдать себя, как и былая молодежь 70-х и начала 80-х годов, активной борьбе с самодержавием, — молодежь, которая рвалась на террор, но ее было так мало, что начинать в этом направлении что-либо было бы прямым безумием. Здесь не место говорить более подробно о причинах возникновения «Народного права»[11], я указал их лишь в общих чертах. Следует, впрочем, добавить, что организаторы «Народного права» имели в виду — втянуть в чисто политическую борьбу все способные к ней элементы того времени (рабочих, земства, интеллигенцию), создать в России вновь такую общественную обстановку и настроение, при которых возможна была бы деятельность чисто революционная в направлении и с тактикой «Народной воли». Как известно, «Народное право» погибло при самом начале своей деятельности (даже не успев поставить пропаганду среди рабочих и выпустить газету для рабочих, что должно было быть осуществлено к осени 1894 года); оно погибло благодаря секретной агентуре около центра и в московской периферии (агент Серебрякова).

Задачей минуты тогда являлось создание подпольного органа — газеты, насколько возможно приближающейся по своему влиянию на общественное мнение к герценовскому «Колоколу». И в этом отношении нам

повезло, так что, не случись погрома в апреле 1894 года, первый номер газеты вышел бы к лету того же года, хотя, конечно, без «Герцена», но с блестящим составом сотрудников. Состав редакции и сотрудников был по тому времени выдающийся: полновластным редактором был Н. К. Михайловский, на обязанности которого были и передовицы; В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненский, П. Ф. Николаев, А. И. Богданович и М. А. Плотников (автор «Манифеста» «Народного права») согласились быть постоянными ближайшими сотрудниками. Корреспонденции с мест были обеспечены из главных центров почти всей Европейской России и из крупных городов Сибири. Между прочим, для первого номера (статьи для него были уже в портфеле редактора) дал статью о веротерпимости и Вл. Соловьев.

Но я забежал несколько вперед. Вскоре по возвращении в Россию М. А. Натансон, а затем и я возобновили личные сношения с Вл. Гал. Короленко. Мы уговаривали его принять ближайшее участие в постановке литературной части подпольного органа. Он долго отнекивался, очевидно не веря в техническую возможность осуществления такой задачи, и лишь после того как узнал о данном Н. К. Михайловским принципиальном согласии стать во главе органа, он и сам согласился участвовать в газете. Оставалось, следовательно, литераторам съехаться и переговорить о частностях издания с представителями организации «Народного права», наметить общую программу газеты и распределить между собою газетные отделы. Местом съезда, летом 1892 года [12], был назначен Саратов, а собраться писатели должны были на даче Е. Ганейзера (близ города), также посвященного в дело.

На прибытие Н. К. Михайловского (от Петербурга) мы могли уверенно рассчитывать, но чтобы непременно присутствовал Н. Ф. Анненский или Вл. Гал. (как представители Н.-Новгорода), меня отрядили за ними в Н.-Новгород. Приехав туда, я узнал, что Ник. Фед. куда-то уехал, а Вл. Гал. живет с семьей на даче в Работках; между тем на другой же день следовало уже, чтобы не опоздать к сроку, сесть на пароход, идущий в Саратов. На следующий день отходил вниз по Волге «Суворов» о-ва «Кавказ и Меркурий». Я взял каюту второго класса на двоих до Саратова и предупре-

дил капитана, чтобы он принял нас с лодки в Работках. Поздно вечером мне удалось попасть в Работки, и я явился к Вл. Гал., который добродушно встретил меня вопросом:

— По мою душу приехали?

— Да уж, Вл. Гал., придется вам ехать! Вот и билеты, — ответил я [13].

На следующее утро мы уже были на пароходе и в течение двух суток восхищались красотами Волги, Жигулей. Естественно, разговор коснулся прошлого: Разина и Пугачева, и Вл. Гал. много говорил о психологии массы, слагающейся при выдающихся явлениях природы или общественных движениях. Вопросы коллективной психологии были вообще в те годы модными (Тард, Ферреро, Сигеле вышли и на русском языке) [14]. Короленко говорил, что его, в частности, очень интересует пугачевщина и он задумывает написать большую роман-эпопею из этой эпохи. Ему казалось, что народные низы и яицкие казаки видели в Пугачеве подлинного Петра III, и этим он объяснял первые успехи движения и неудержимый его рост. Но предварительно, для проверки себя, ему придется съездить на р. Урал, познакомиться с бытом казаков и теми преданиями, которые еще сохранились среди них от времен Пугачева. Как известно, Вл. Гал. впоследствии действительно побывал на Урале и записал кое-что из сохранившихся там легенд о Пугачеве (см. «Голос минувшего», № 2, 1922), но написать этот роман ему, очевидно, помешали текущие злобы дня [15].

В Саратове мы уже застали Н. К. Михайловского. После разговора с ним и Вл. Гал. дал свое согласие на постоянное сотрудничество в проектируемом органе.

Ввиду того, что Михайловский жил в Петербурге, а сотрудники и центр «Народного права» находились в то время в провинции, Ник. Конст. еще раз возбудил вопрос о своем праве, как редактора, дискреционно выправлять статьи, на что и получил общее согласие присутствующих. Решено было также, согласно с непосредственной задачею органа, избегать в нем пока щекотливых тем и, в частности, вопроса о терроре, как тактическом методе борьбы, что встретило бы разномыслие и среди ближайших сотрудников (Короленко, Анненский, Богданович).

Мне пришлось тотчас же после этого съезда уехать. Короленко же прожил в Саратове, кажется, еще несколько дней [16].

В следующий раз я виделся с Вл. Гал. мельком, в одну из поездок в Петербург, а посетил я его опять в Н.-Новгороде уже весною 1894 года, когда пришлось ехать к нему за статьей для № 1 нашего органа (название его должно было быть или «Народные права», или «Свобода» — избрать его предоставлено было Н. К. Михайловскому).

Со статьей этой Вл. Гал. запоздал... Увидя меня, он в этот раз уже уверенным тоном произнес: «По душу, по душу приехал...» — и тотчас же засел (или, вернее, встал, так как писал, стоя у конторки) за статью. Она касалась роли кн. Мещерского (тогдашнего Распутина) во внутренней политике Александра III и была написана зло и ядовито. Предназначалась она как фельетон [17].

К вечеру статья была готова, а ночью переписана другой рукой (это было нашим правилом, чтобы не подвергать сотрудников всегда возможному провалу статей при аресте); утром следующего дня я вновь был уже в поезде, направляясь в Петербург. Ник. Конст. очень одобрил фельетон Вл. Г-ча. Это была моя последняя встреча с Вл. Гал. до ареста 1894 года [18]. [...]

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПЕРИОД

Т. А. Богданович

В. Г. КОРОЛЕНКО В НИЖНЕМ

Мои первые воспоминания о Вл. Гал. Короленко относятся к началу 1880 года. Дядя мой, Н. Ф. Анненский, был тогда арестован и сидел в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме. Жена его, А. Н. Анненская, у которой я воспитывалась, приехала со мной в Вышний Волочок, чтобы видеться с ним. В той же тюрьме сидел В. Г. Короленко, и его мать и сестра тоже жили в В. Волочке. Тетя скоро познакомилась с ними, и они стали ходить на свидания вместе [1].

Помню большую жутковатую комнату, с двумя невысокими перегородками посредине — чтобы посетители не могли подходить к заключенным и передавать им что-нибудь. В. Г. Короленко всегда любил детей, и так как я была там единственным ребенком (мне было семь лет), он сразу же стал подзывать меня к себе. Я легко проходила под перегородками, и ко мне смотритель тюрьмы, И. Лаптев, не применял всей строгости тюремных правил, так что я все время переходила от посетителей к заключенным или сидела на перегородке около В. Г.

Свиданья продолжались долго и, под тем предлогом, что ребенку нельзя столько времени не есть, моя тетя и мать В. Г. приносили с собой целую массу всевозможной еды, а потом просили для меня разрешения угостить знакомых, и я передавала дяде и В. Г. принесенную провизию.

Мне кажется, что я ясно помню В. Г., каким он был тогда, — его густые, мягкие волнистые волосы, темно-русую курчавую бороду и мягкий взгляд карих глаз.

Дядю выслали с первой партией, когда В. Г. еще оставался в Вышнем Волочке. Мы увидели опять В. Г. уже в конце 1884 года: на возвратном пути из Сибири он заехал к дяде в Казань. Для дяди и тети это было большой радостью. Они оба еще в В. Волочке очень полюбили В. Г., а у дяди завязалась с ним искренняя и глубокая дружба, не ослабевавшая до смерти дяди.

Я тоже очень радовалась приезду В. Г. Это было на рождестве, и, помню, в день его приезда я должна была идти на елку к знакомым, но я попросила разрешения остаться дома. Я не могла наслушаться рассказов В. Г. о его жизни в слободе Амге, а вечером В. Г. обещал еще прочесть написанный им там рассказ «Сон Макара». К сожалению, я плохо помню разговоры, вызванные этим чтением, не помню даже, был ли у нас еще кто-нибудь. Но самой мне казалось, что ничего лучше быть не может.

Грустно было опять провожать В. Г. Я хорошо помню, как он стоял в передней, в тулупе, перетянутом поясом, и уговаривал дядю перебираться в Нижний, где он собирался устроиться.

Через два года дядя получил приглашение организовать статистическое отделение при Нижегородском губернском земстве, и летом 1887 года мы действительно переехали в Нижний.

Короленки жили тогда большой семьей в маленькой квартирке на Больничной ул., в д. Папкова. В. Г. через год по возвращении из Сибири женился на Авдотье Семеновне Ивановской, и у них была десятимесячная дочь Соня. С ними же вместе жила мать В. Г., Эвелина Осиповна, младший брат Илларион Гал. и сестра Мария Гал. с мужем и тремя детьми.

Мне было тогда четырнадцать лет, и первое время я очень стеснялась в большой и малознакомой семье Короленок. Но это продолжалось недолго. Они умели как-то так сделать, что среди них каждый скоро начинал чувствовать себя точно среди близких родных.

Особенную уютность дому придавала Эвелина Осиповна. В ней было что-то удивительно чарующее. Несмотря на большую простоту в обращении, чувствова-

лась какая-то внутренняя утонченность. Польское происхождение сказывалось в ней, главным образом, в глубокой культурности, накладывавшей свой отпечаток на жизнь всей семьи. Поэтому, несмотря на большую стесненность в средствах и полное равнодушие к внешним формам жизни остальных членов семьи, домашний обиход у них никогда не приобретал того безалаберного и беспорядочного характера, который был так обычен тогда в семьях ссыльной интеллигенции.

Эвелина Осиповна вела хозяйство, и вокруг нее создавалась атмосфера домовитости, быта, хорошего домашнего уклада. Дети относились к ней с глубокой нежностью, но всякая сентиментальность была им совершенно чужда, и основной тон в семье был веселый и шутливый. Они постоянно подшучивали друг над другом и над матерью, особенно над частыми полонизмами в ее речи.

Помню, как однажды В. Г. вытащил откуда-то расходную тетрадь Эвелины Осиповны и нашел, что у нее вместо «рис» всюду записано «рысь», как она выговаривала. Это подало повод к бесчисленным шуткам. И В. Г. и М. Г. приставали к Эв. Ос. с вопросами, зачем она покупает рысей и неужели она их кормит рысями.

Эти особенности произношения придавали своеобразную мягкость речи Эв. Ос.; вообще же она всегда говорила по-русски и совершенно срослась с Россией, где прожила всю жизнь. В домашней жизни ее польское происхождение сказывалось только в соблюдении некоторых польских обычаев.

Помню, как торжественно праздновался у них всегда рождественский сочельник, с которым совпадали и именины Эвелины Осиповны. В этот день у Короленок собирались самые близкие знакомые, до звезды не разрешалось есть, стол накрывался по всем правилам, на сене, к обеду готовилось все, что полагается — кутья, узвар, жареный лещ и т. п.

После обеда для детей зажигалась большая елка.

На этих праздниках всегда было очень весело, и В. Г. принимал деятельное участие в общем оживлении, если только он не был захвачен какой-нибудь работой или каким-нибудь очередным увлечением.

Помню один такой праздник. Короленки жили уже на двух разных квартирах в д. Лемке: В. Г. с женой,

детьми и братом И. Г. наверху, а Эв. Ос. и Марья Гал. с семьей — внизу. После обеда веселье было в полном разгаре. Н. Ф. Анненский, всегда оживленный и остроумный, на этот раз был в особенном ударе. В. Г. обыкновенно очень охотно поддерживал его, и они все время перебрасывались шутками и остротами. Но тут В. Г. почему-то все убегал к себе наверх. Авдотья Сем. думала, что он пишет, и, как всегда в таких случаях, просила не беспокоить его. Все-таки, когда подали самовар, она послала меня за ним. Я пошла не особенно охотно: неловко было входить к В. Г., когда он пишет, и, может быть, помешать его работе. Я поднялась в темную квартиру, — дети были, конечно, внизу, — и нерешительно заглянула в полуоткрытую дверь кабинета. За письменным столом В. Г. не было, и я не сразу его заметила, хотя он был в двух шагах от меня. Он стоял в углу, за дверью, под книжной полкой и, не отрываясь, читал... «Квентин Дорварда» Вальтера Скотта. Тут уж я без страха окликнула его и спросила, почему он не идет пить чай.

Оказалось, он так увлекся Квентин Дорвардом, что убегал наверх нарочно, чтобы хоть урывком почитать его. Последний раз он взял книгу с честным намерением поставить ее на полку, чтобы она больше не соблазняла его. Но по дороге искушение оказалось слишком сильным, и он, забыв о сочельнике и гостях, стоя под полкой, опять погрузился в чтение.

Этот случай долго потом служил пищей для шуток над В. Г., как и его всегдашняя рассеянность, происходившая тоже от его способности отдаваться целиком тому, что им владело в данное время, и не замечать тогда ничего окружающего[...]

Но, несмотря на свою рассеянность, — то есть, правильнее говоря, несмотря на то что он почти постоянно был во власти своих мыслей и образов, — он принимал очень близкое участие в жизни семьи. И не только своей семьи, в узком значении этого слова, но и всего своего «клана», как это называлось тогда в Нижнем.

Он отзывался на все крупные и мелкие, радостные и горестные события, на все тревоги и заботы матери, брата, сестры с ее растущей семьей. И он проявлял свое участие так, что оно казалось не только естественным, но необходимым, и родные невольно привыкали к нему и

считали само собой разумеющимся. Пока в обоих этажах все обстояло благополучно, это не отнимало у В. Г. слишком много времени и внимания, даже доставляло ему большое удовольствие.

В. Г. очень любил детей и в свободное время охотно возился не только со своими, но и с племянниками, а мать и сестра всегда были для него близкими людьми. Мария Галактионовна вносила много оживления в семейную жизнь. В то время она была молоденькая, хорошенькая женщина, оживленная, остроумная и горячая. В. Г. всегда считал ее очень одаренной, ценил ее мнения и говорил, что многие ее замечания дали ему больше, чем отзывы присяжных критиков. Он не раз уговаривал ее писать, но жизнь ее сложилась так, что это не оказалось возможным. Она очень рано вышла замуж, сразу пошли дети, муж сначала был сослан [2], потом служил помощником капитана и капитаном, зарабатывал мало и почти постоянно был в отсутствии, — думать о какой-нибудь творческой работе не было просто времени. Может быть, это бессознательно порождало некоторую неудовлетворенность и вносило известную едкость в ее остроумие. Тот, на кого она «спускала своих собачек» — как выражался В. Г., — должен был хорошо вооружаться для отпора — иначе ему приходилось плохо.

Всю подавленную страстность своего характера она отдавала детям. Когда они заболевали, весь дом наполнялся атмосферой тревоги.

И тут В. Г. невольно вовлекался во все рождаемые этим заботы. Его призывали вниз, просили сходить, если это было необходимо, за доктором, в аптеку или просто подать совет, рассеять страх. И М. Г., и Эв. Ос. горячо любили В. Г. и меньше всего хотели бы помешать ему в его работе, разбить создавшееся настроение. Но это выходило само собой, вызывалось самим В. Г. Он так искренне, всем сердцем делил их тревоги, что обойтись без него в трудную минуту было психологически невозможно, и невольно забывалось, что у него есть свое важное дело, что иногда раз спугнутое настроение может и не вернуться — и начатая работа остановится.

Казалось бы, более естественно было в экстренных случаях обращаться к младшему, неженатому в то время, брату Ил. Гал., тем более что он жил тут же и

ничем, кроме службы, занят не был. Но Ил. Гал. был иного склада человек. Он тоже искренне любил родных, но он умел оберегать и свое спокойствие, — просить его о какой-нибудь домашней услуге как-то не приходило в голову. Возможно, что он и не отказал бы, но в минуты волнения и беспокойства естественнее идти по привычному пути, а Ил. Гал. держался вообще несколько в стороне от семейных дел; он утверждал, что это не мужское дело, и добродушно подсмеивался над неуменьем В. Г. обеспечить неприкосновенность своей личности.

Когда мучила глубокая тревога, мысль невольно обращалась к В. Г., как будто именно от него зависело ее устранить, как будто на нем лежала главная ответственность за весь семейный мирок.

И В. Г. принимал полностью это бессознательно возложенное на него бремя. Иногда это могло быть ему нелегко, но уклониться он органически не мог, — для него самого это, наверно, было бы тяжелее тех забот, которые он привык оказывать.

Помню, однажды внизу дети заболели скарлатиной. У дочерей В. Г. скарлатины еще не было, и доктор предупреждал об опасности заразы в таком раннем возрасте.

Но оставить сестру и мать одних с этой тревогой В. Г. был совершенно не в состоянии. Не говоря никому ни слова, он придумал выход. Идя вниз, он оставлял смену белья и платья на наружной галерее, чтобы на обратном пути переодеваться с ног до головы. Дело было зимой. Пока он оставался внизу, а иногда и исполнял спешные поручения, его одежда промерзала насквозь. Возвращаясь к себе, он там же, на холоду, надевал ее и приходил домой уверенный, что не заразит своих детей.

Несмотря на исключительное здоровье В. Г., этот эксперимент не прошел ему даром. Он схватил тяжелую простуду, осложненную болезнью уха.

Впрочем, осторожность вообще не принадлежала к числу добродетелей В. Г. Однажды, возвращаясь в Нижний из путешествия, он сел в Москве на курьерский поезд. Его мать и сестра жили в это время на даче в Растяпине, так что ему нужно было выйти в Черном, не доезжая двух станций до Нижнего. В Москве ему ска-

зали, что поезд в Черном останавливается. Подъезжая, он приготовил вещи, чтобы выйти там. Но оказалось, что это была ошибка — поезд шел, почти не замедляя хода. Когда он миновал платформу и ясно было, что остановки ждать нечего, В. Г. недолго думая швырнул саквояж на насыпь и с чемоданчиком в руке выпрыгнул за ним. Конечно, он не удержался на ногах, но, по счастью, не сломал ни рук, ни ног, а только содрал всю кожу с ладони.

Когда близкие упрекали его, он уверял, что всему виной чемоданчик. Он оказался очень тяжелым и по инерции повлек его слишком быстро вперед.

Забота В. Г. об окружающих распространялась не только на домашних. Все, с кем судьба ближе сталкивала В. Г., в большей или меньшей мере испытывали это на себе. И всегда он умел проявлять ее так, что принимать ее было чрезвычайно легко.

Мой муж А. И. Богданович рассказывал мне впоследствии, что если бы не В. Г., он, быть может, не нашел бы в себе силы жить. В. Г. встретился с ним в ту пору, когда он переживал самый тяжелый период своей жизни. Его исключили из университета и не принимали обратно; ему казалось, что вся жизнь его разбита, так как он мечтал о научной деятельности. Он погрузился в мрачный пессимизм, читал исключительно Шопенгауэра, и соблазн самоубийства не раз вставал перед ним.

В. Г. понял его настроение и его характер и натолкнул его на ту работу, которая больше всего отвечала его склонностям. Он убедил его писать в газеты и самым внимательным образом помогал ему на первых порах. Он делал ему стилистические указания, советовал вырабатывать сжатость формы и предостерегал против той резкости и неудержимости, которая проявлялась у А. Ив. особенно в полемике.

В. Г. говорил ему, что сам он, когда пишет полемическую статью, представляет себе, что читает ее вслух тому, против кого она направлена. Тогда она приобретает особую убедительность и в то же время из нее невольно исчезают личные нападки и всякая грубость и резкость языка.

Мне В. Г. тоже дал первый урок писания корреспонденций. Я как-то случайно попала в суд, и дело, разбиравшееся там, очень взволновало меня. Вернувшись,

я застала у нас В. Г. и стала рассказывать ему, что меня возмутило. Он прервал меня на первых словах и сказал, что если дело меня так заинтересовало, чтобы я сейчас же села и написала отчет в газету. Я послушалась, но когда я изложила свои впечатления на бумаге, вышло как-то совсем не то, что я хотела. В. Г. взял перо, вставил кое-где несколько слов, еще больше вычеркнул, и заметка совсем преобразилась.

В. Г. считал, что нужны не только писатели по призванию, но и просто добросовестные литературные работники. Поэтому он был чрезвычайно внимателен ко всем начинающим авторам. Он считал своей обязанностью прочитывать решительно все рукописи, которые приносились и присылались ему.

Не раз, уже позднее, в Петербурге, случалось, что В. Г., останавливаясь у нас, просматривал при мне присылавшиеся ему рукописи.

Иногда по первым строкам мне казалось, что вещь явно безнадежная и не стоит тратить на нее времени. Но В. Г. всегда дочитывал до конца. Он говорил, что первое впечатление может быть обманчиво, дальше может оказаться что-нибудь более удачное, а главное, для того, кто это писал, это может быть очень важно, ему нужно ответить серьезно так, чтобы отзыв мог для чего-нибудь послужить ему, указать недостатки, удержать от ошибок.

Трудно себе представить, какое количество рукописей получал В. Г. и какую массу времени тратил на их чтение и рецензирование[3]. При этом авторы, особенно наиболее неудачные, редко оставались ему благодарны за его труд. Часто на его правдивые, но всегда мягкие по форме, отзывы они отвечали ему грубостями.

Помню, как один убежденный сторонник реалистического направления присылал ему совершенно неудобочитаемые рукописи. В. Г. написал ему подробный разбор, посоветовал соблюдать меру в реализме и позволил себе вычеркнуть некоторые чересчур уже благоухающие подробности. В ответ он получил бранное письмо, в котором обиженный «реалист» называл его «подлец, не понимающий истинного реализма».

Это потешное выражение очень понравилось В. Г. и вошло в число тех шутливых прозвищ, которыми В. Г. и Н. Ф. Анненский постоянно обменивались в веселые

минуты. Наиболее колоритные из этих прозвищ В. Г. вывозил из своих скитаний по Нижегородской губернии. Некоторые из них вошли и в его произведения. Особенно часто В. Г. называл Н. Ф. Анненского «подлая фигура», а тот его «еретик в шляпенке».

Каждое лето В. Г. отправлялся в какую-нибудь экскурсию — или в один из монастырей Нижегородской губернии, или на Светлояр, или куда-нибудь дальше, по Волге.

В Оранский монастырь он ходил два раза с А. И. Богдановичем, и потом близкие смеялись над А. И., что именно его изобразил В. Г. в лице Андрея Ивановича в «Птицах небесных» и «За иконой». Правда, и сам В. Г. не отрицал, что при создании образа Андрея Ивановича у него вставали в памяти некоторые черты характера А. И. Богдановича, так же как и фигура одного глазовского сапожника, его учителя в сапожном ремесле[4].

Из одной из таких экскурсий В. Г. привел с собой очень колоритного, но и весьма неудобного в общежитии странника Алмазова, который дал ему обильный материал для фигуры Автономова в «Птицах небесных».

Народная жизнь во всех ее проявлениях глубоко интересовала В. Г., и ни о чем он, кажется, не рассказывал с таким увлечением, как о разных характерных типах и любопытных сценах, какие ему приходилось наблюдать во время своих странствований.

И этот интерес к народной жизни был так глубок и многосторонен, что часто увлекал В. Г. в далекое прошлое, где он искал корней настоящего.

В то время как раз он усиленно занимался русской историей. У самого В. Г. еще не было тогда необходимых исторических книг, и он брал их в библиотеке. Одну зиму он особенно увлекался Соловьевым. В библиотеке Всесословного клуба, откуда он его брал, русская история Соловьева[5] не была переплетена в шесть томов, и он чуть не каждый день, заходя к нам по дороге на почту и в библиотеку, нес с собой менять один из выпусков Соловьева. Так он перечитал все двадцать девять и советовал непременно читать его подряд, без пропусков.

Но книжным изучением истории В. Г. ограничиться не мог, его влекло прикоснуться к подлинной жизни

прошлого, в ее бытовых проявлениях, и наряду с чтением взасос исторических книг он работал в Нижегородской архивной комиссии[6], а когда его что-нибудь особенно заинтересовывало в найденных там делах, он ехал на место и пытался разыскать в современной жизни следы этого прошлого в сохранившихся остатках старины или в преданьях местных жителей.

Иногда это увлекало его и дальше за пределы Нижегородского края.

Именно так, если память меня не обманывает, родился у В. Г. его исключительный интерес к пугачевщине. В Нижегородской архивной комиссии он натолкнулся на дела, связанные с приближением Пугачева к границам Нижегородской губернии и вызванными этим тревогами; потом он собирал предания об этом во время своих странствований, в особенности во время поездки в Арзамас летом 1890 года. В следующем году — тогда определился неурожай, постигший Среднее Поволжье, — Н. Ф. Анненский поехал летом в Самарскую и Уфимскую губернии, чтобы выяснить, можно ли сделать там значительные хлебные закупки. В. Г. поехал вместе с ним в Уфу, чтобы найти там на месте данное о каком-то заинтересовавшем его движении Пугачева на Востоке. Я хорошо помню эту поездку, так как мы с тетей провожали В. Г. и дядю на пароходе до Самары[7].

В. Г. был тогда в прекрасном настроении, любовался Волгой и рассказывал о Пугачеве.

Но, конечно, увлечение прошлым никогда не заслоняло для В. Г. настоящего, живая жизнь все-таки сильнее захватывала его, и его экскурсии чаще вызывались интересом к разным сторонам народной жизни.

Изучением народной жизни, хотя и с другой стороны, занимался в то время и Н. Ф. Анненский. Земская статистика только что начинала тогда свое обследование народного хозяйства. Идейная молодежь того времени, разочаровавшаяся в наивном народничестве и не ушедшая в революцию, часто стремилась именно в статистику. Вокруг Анненского образовалась значительная группа молодежи, большей частью окончившей Московский университет или Петровскую академию.

В. Г. живо интересовался работой статистиков, и самая эта молодежь была ему очень симпатична своим

серьезным и горячим отношением к работе и полным личным бескорыстием.

Помню, как раз Н. Ф. Анненский показывал В. Г. отчет о командировке одного из своих помощников. В графе расходов по поездке стояло между прочим: «часть пищи». Когда Анненский спросил ездившего, что это значит, тот объяснил, что есть он все равно должен и в Нижнем, но так как в дороге пища стоит дороже, то часть ее он ставил на счет земства. В. Г-чу это показалось настолько характерным, что он тогда же начал статью о земской статистике под этим именно заглавием «Часть пищи» [8].

Особенно острыми моментами для статистики были тогда земские собрания в конце года. К этому времени заканчивались летние экспедиции, составлялся отчет за истекший год и вырабатывался план будущих работ.

Н. Ф. Анненский всегда страшно волновался по этому поводу. Если бы ему можно было самому выступать на земских собраниях, он бы, наверно, сумел убедить всех в необходимости производившихся под его руководством работ, но писать, и писать к сроку, было ему не по характеру. Он волновался, нервничал, уверял, что все равно ни за что не поспеет. Но приходил В. Г., и дело налаживалось. Он подшучивал над Н. Ф., уверял, что у него обычная «Influenza articlarum» (статейная инфлюэнца), успокаивал его и добивался того, что тот садился и писал.

В провинции земство стояло тогда в центре общественного внимания, и сессия земских собраний была самым оживленным временем года.

В. Г. всегда внимательно следил за работой земских собраний. На хорах дворянского дома во время заседаний всегда можно было увидеть его с записной книжкой в руках, внимательно слушающего, делающего свои заметки.

Когда обсуждался вопрос о статистике, служившей главной мишенью нападок крепостников, страсти особенно разгорались, часто казалось, что вот-вот правая возьмет верх, ассигновки на статистику не будут даны и широко задуманная работа рухнет.

В. Г. волновался почти не меньше Анненского и энергично поддерживал дело статистики в газетах.

Он и сам иногда принимал участие в статистических экспедициях. Вместе с Анненским он ездил, напр., в Павлово[9], когда производилось статистическое обследование этого кустарного села.

В самом Нижнем в это время происходили горячие обсуждения теоретических основ сталкивавшихся идейных течений. К двум очень далеким друг от друга толкам народничества — старого, наивного, и нового, критического[10], — с 90-х годов присоединился нарождавшийся марксизм. Первыми ласточками, занесшими его в Нижний, были московские студенты, высланные оттуда за участие в студенческих беспорядках 1890 года.

Приезжая в Нижний, с не остывшим еще жаром от споров, кипевших в студенческих кружках, они сейчас же знакомились с местной интеллигенцией и прежде всего, конечно, с В. Г.

В. Г. и Н. Ф. Анненскому постоянно приходилось беседовать и вести споры с высланными студентами-марксистами, и у них явилась тогда мысль устроить ряд собраний для обсуждения наиболее жгучих современных вопросов. Нижегородское общество откликнулось на эту мысль очень горячо. Особенно радовалась молодежь, впервые решавшая для себя эти вопросы. Я кончала в то время гимназию и помню, с каким жадным интересом ждали мы этих собраний.

Первым, если я не ошибаюсь, прочитал три доклада Н. Ф. Анненский — об эволюции народничества за два минувших десятилетия 70-х и 80-х годов. В. Г. прочитал реферат о Чернышевском[11] и еще реферат об общественной и личной морали[12], — его точного названия я не могу припомнить. Читали также рефераты С. Я. Елпатьевский, С. С. Баршев, М. А. Плотников и др. На эти рефераты собирались по пятьдесят — шестьдесят человек, и прения бывали очень оживленные, иногда они обострялись даже до того, что грозили перейти в личные столкновения. Особенно нетерпимы были юные марксисты. Но, помню, когда начинал говорить В. Г., раздражение сразу стихало. И это не потому, чтобы он смягчал противоречия или предлагал среднее решение. Нет, он умел поднять вопрос на такую высоту, с которой все освещалось, все становилось на свое место и не мешало

другому. Перед слушателями открывались новые горизонты, а всякое личное раздражение казалось мелким и куда-то уходило.

Собрания эти не носили, собственно, названия «трезвых философов». По поводу их В. Г. и Н. Ф. вспоминали собрания, носившие такое название в Петербурге в конце 70-х годов. В «трезвых философах» принимали участие Н. К. Михайловский, В. В. Лесевич, Анненский и другие. В. Г., студентом, был на них однажды и рассказывал потом, что с тех пор запомнил Анненского, хотя не был еще тогда знаком с ним [13].

Особый характер нижегородской жизни того времени придавало именно то, что там оказались люди, успевшие осветить производившуюся там общественную работу, поставить ее в связь с широкими идейными перспективами. Благодаря этому всякая работа — и земская, и городская, и газетная, и статистика, и учительство — приобретала особый смысл и значение. В жизни чувствовалось что-то общее, связующее, освещающее, и это создавало бодрую, подымающую атмосферу.

У каждого в отдельности могли быть и тяжелые полосы, но основной тон жизни в Нижнем, особенно до голодного 1892 года, был молодой, жизнерадостный и веселый.

Всего веселее проводила, конечно, время та юная молодежь, к которой я тогда принадлежала. Принципиальные разногласия, разделявшие нас, не мешали нам постоянно собираться, устраивать вечеринки, с пением и танцами. [...]

Когда я вспоминаю то время, оно мне все представляется каким-то светящимся, полным содержания, жизни и непосредственного веселья.

И веселились не только мы, юная молодежь, а и «взрослые», среди которых я тоже бывала по родственным отношениям.

Помню, когда они собирались по вечерам или у Короленок, или у нас своим тесным, почти семейным кружком, у них всегда бывало заразительно весело. В. Г. часто рассказывал что-нибудь или из сибирских воспоминаний, или из тогдашних странствований, рассказывал он увлекательно, живо, образно, с присущим ему украинским юмором, дядя сыпал остротами, на которые он был неистощим, Мария Г. удачно парировала их,

не молчали и остальные, так что порой до позднего вечера стоял неумолчный хохот.

Иногда В. Г. и дядя увлекались какой-нибудь игрой. Раз они целую зиму чуть не каждый вечер с азартом играли в пикет. После обеда заходил к нам В. Г. и предлагал дяде:

— Сыграем «одного» (то есть одного короля или одну партию в пикет). Дядя охотно соглашался, тем более что «один» занимал всего каких-нибудь четверть часа. Но за одним следовал другой, за другим третий. Оба увлекались, хотели во что бы то ни стало обыграть друг друга, и нередко игра затягивалась до вечернего чая.

Одно время они оба задумали практиковаться во французском языке, который и тот и другой знали весьма посредственно. Женская половина компании владела им хорошо, и они решили по вечерам читать вместе по-французски. Но эти занятия превратились, главным образом, в предлог для веселья. Выбирали они всегда какие-нибудь смешные рассказы, иногда читали Боккаччо, В. Г. и дядя больше дурачились, чем изучали язык. В результате познания их увеличились очень незначительно, только их шуточный жаргон пополнился разными своеобразными русско-французскими словечками, которые настолько приобрели право гражданства, что посторонние, слыша их, не понимали иногда, на каком языке они говорят.

Приходя к нам к вечернему чаю, В. Г. говорил, например:

— Donnez moi * laker, — производя глагол «laker» от русского «лакать».

Или дядя, приходя к ним, заявлял:

— Il fait fromage, — что должно было значить «сегодня сыро», — fromage (сыр) употреблялось в смысле «сыро».

Вообще люди педантические, попадавшие в их компанию в веселые минуты, бывали иногда шокированы господствовавшим там «несерьезным» тоном.

Помню, как был смущен один петербургский литератор, слышавший немало о нижегородской интеллигенции, когда он заехал к нам как раз 9 мая, в день

---

* Дайте мне (*франц.*).

именин Н. Ф. Анненского. У нас была масса народа, и после завтрака все, в самом веселом настроении, собрались в саду, где В. Г. показывал чудеса ловкости на гимнастике, уверяя всех, что он даже после именинного пирога может свободно пройти по верхней балке.

В ту самую минуту, когда он стоял в не вполне уверенной позе на верхушке гимнастики, а дядя снизу осыпал его градом острот, в сад вошел заезжий гость и остановился пораженный. Посидев некоторое время среди непрекращавшегося шума и хохота, он ушел и потом рассказывал, что сильно разочаровался в нижегородской интеллигенции.

Правда, 9 мая было особенно веселым днем. Именины и рожденье В. Г. приходились летом, когда в городе оставались немногие, и сам В. Г. по большей части уезжал куда-нибудь или жил с семьей на даче. А Николин день — это весенний праздник, когда все еще в городе, а тепло уже по-летнему. Обыкновенно в этот день у нас устраивалось нечто вроде пикника, — все собравшиеся отправлялись за город, в Марьину рощу, с закусками и вином.

В. Г., вообще совсем почти не пивший и даже не любивший вина, в этот день по традиции выпивал и становился удивительно оживлен, весел и мил.

На одном из таких пикников, когда все сидели вечером на траве вокруг костра, В. Г. вдруг выхватил из кармана кошелек и быстро швырнул его в огонь. Посыпались возгласы изумления, а В. Г. спокойно заявил:

— Да ведь это же лягушка!

Кошелек у него в кармане пиджака отсырел от росы, он сунул руку и вообразил, что поймал лягушку.

Страшный неурожай 1891 года внес резкое изменение в настроение Нижнего. Точно какая-то тень надвигалась на город и прогоняла веселье.

Оживленье, правда, оставалось, но оно приобрело иной, исключительно деловой и боевой характер.

В это время мне уже не приходилось принимать такого близкого участия в нижегородской жизни, так как осенью 1891 года я уехала в Петербург на курсы и приезжала туда только на рождество и на лето.

Отъезд на курсы был сопряжен для меня с большим огорчением. До тех пор мне никогда не приходилось разлучаться с семьей, и тетя моя, А. Н. Анненская долго не могла решиться отпустить меня. Мне тоже было очень грустно расставаться с домом, хотя я и стремилась на курсы. Даже приехав в Петербург, я все еще колебалась и думала, что, может быть, мне следует вернуться. Наконец я написала В. Г., прося его сообщить мне, что делается у нас дома, и посоветовать, как мне быть. В. Г. ответил мне письмом, которое покончило все мои колебания и сыграло большую роль в моей жизни. Я позволяю себе привести его здесь.

«(1891 г. сентября).

Дорогая Татьяна Александровна!

Не ответил я Вам тотчас же потому, что, по совести, не мог ответить с «полным знанием дела». Теперь могу, кажется, Вас успокоить. Александре Никитишне было очень тяжело, тяжело и теперь, однако все-таки она свыкается с обиходом жизни без Вас и с Вашей пустой комнатой. Вы знаете хорошо, что она человек твердый и с характером, а вот Вам еще приходится вырабатывать себе и твердость и характер. Александра Никитишна с собой справится, как ни тяжело, а вот если бы Вы вернулись с первого же шага в Вашей самостоятельной жизни, — это было бы предзнаменование очень дурное и могло бы навсегда сломить Вашу инициативу. Когда Вы убеждены, что Вам это нужно, — идите вперед, не оглядываясь. Впереди еще много будет поводов для колебаний и сомнений. Незачем искать их еще за собой. Вы, вдобавок, выходите в путь при условиях очень счастливых: Александра Никитишна, повторяю, справится с разлукой, это во-первых. А во-вторых — у Вас существует такое взаимное понимание и доверие, которое дано немногим дочерям и немногим матерям. Позвольте мне, Вашему старому и доброму знакомому, называвшему Вас еще Таней, — дать этот совет: дорожите, особенно дорожите этим взаимным доверием: пусть у Вас не останется ни одного шага, ни одного чувства, ни одного важного сомнения в себе или других, — которое Вы бы оставили про себя. Это так легко утрачивается. Одно, два, три незначительных, по-види-

мому, отступления и смотришь — вернуться на прежнюю колею этого доверия уже трудно и с каждым днем — все труднее. Я — считающий себя в отношении к Вам чуть не дядюшкой, — даю Вам этот совет от души — вместе с другим, уже не дядюшкиным: будьте потверже, старайтесь укрепить Ваши первые шаги; доверие не обязывает к непременному подчинению, и свое Вы должны все-таки уметь отстоять даже и против лучшего из Ваших друзей. Если бы Вы теперь вернулись... ну, одним словом, совсем бы было плохо, не потому, главным образом, чтобы курсы так уж много давали, по моему мнению, — но потому, что вернулись бы Вы не по убеждению, не добровольно, а вследствие излишней мягкости и неумения справиться с первым серьезным горем (да и это ли еще горе!).

Ну, — простите эти наставления и еще — то, что я все-таки сказал Алекс. Никитишне о Вашем письме. Мне казалось, что так яснее будет взаимное положение. Впрочем, вперед обещаю лучше исполнять Ваши требования в этом отношении. О наших новостях — не пишу. Вероятно, все это сообщит Ал. Никитишна. Посылаю Вам тысячи поклонов от всех наших, а от себя, кроме того, небольшую книжку (бандеролью).

Итак — до свидания! А Вы все-таки на нас «оглядывайтесь», чтобы совсем не забывать.

Ваш. *Вл. Короленко.*

Черкните порой, как живется у Вас в Питере. Бываю я у Вас, то есть на Полевой улице, раза по два на дню»[14].

Полтава, — 1922 г.

М. П. Подсосова-Грацианова

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

На мою долю выпало большое счастие знать Владимира Галактионовича и видеть его часто в течение его нижегородской жизни. Я была учительницей сначала его племянник[а], а потом его старшей дочери [...]

В 1888 году я перебралась в Нижний-Новгород из родного города Арзамаса, куда я была выслана под гласный надзор полиции из Петрограда, где я училась на курсах. Приехала я в Нижний без средств, без друзей, лишенная права педагогической деятельности. Я остановилась у бывшей своей подруги по гимназии, но на другой же день мать подруги сказала мне, что присутствие поднадзорной может компрометировать ее дочь — учительницу и чтобы я искала скорее себе квартиру.

Я задумалась, где искать поддержки, и у меня блеснула счастливая мысль пойти к Короленко.

Был ненастный осенний день, когда я, унылая, робко позвонилась у подъезда квартиры Короленко, на Больничной улице в доме Папковых. Мне отворил дверь мужчина лет 32-х, с ясными, как звезды, глазами, с приветливым лицом, и спросил «кого желаете видеть?» — «Писателя Короленко», — сказала я.

— Я и есть Владимир Короленко.

— Я пришла к вам не как к известному писателю; я не считаю себя поклонницей вашего таланта, — заметила я, — но мне очень нужна поддержка: я поднадзорная, у меня нет здесь друзей, нет средств, нет работы, нет даже квартиры.

— Войдите, — ласково сказал Владимир Галактионович, — познакомьтесь с моей семьей. Вот моя мамашенька, вот моя жена Авдотья Семеновна, вот дочка Соня. (Соне шел 2-й год, и она сидела на столе.) Вот брат Илларион, он же Перец, вот сестра Маня, а это мои друзья — Ангел Иванович Богданович и Алексей Алексеевич Дробышевский.

Все протянули мне приветливо руки, и я сразу почувствовала себя внутренне отогретой. Вечер прошел незаметно.

— Приходите к нам почаще, — ласково сказал Влад. Гал.

Через несколько дней я была уже учительницей его племянника, сына Марьи Галактионовны, и получала там обед, а вскоре освободилась в том доме, где они жили, комната, и я поселилась в ней. Таким образом, все случилось скоро, как в сказке: у меня оказалась и квартира, и стол, и работа по душе, и я попала в кружок, о котором и не мечтала, а главное, началось общение с светлой личностью Владимира Галактионовича и с его семьей. Почти целые дни проводила я у его сестры Лошкаревой, а вечером приходила в его квартиру[...]

Меня очень интересовало творчество писателей, и мне посчастливилось однажды присутствовать при творчестве Вл. Гал. Он задумал путешествие сначала в Арзамас, а потом пешком в Саров, в Дивеевский и Понетаевский монастыри. В Арзамасе его интересовала личность художника Ступина, создавшего свою школу, а в Саров и другие монастыри он решил идти странником, чтобы заглянуть в народную душу, в ее верования. Железной дороги тогда в Арзамас не было, приходилось ехать на лошадях, на перекладных.

Я собралась к родным, и мы поехали вместе [1]. Я сказала Вл. Гал., что на одной станции есть ямщик, хороший рассказчик-юморист, и зовут его Василий Косой. На одном перегоне Вл. Гал. разговорился с ямщиком, и тот начал рассказывать про случай из крепостного права. Умело направлял Вл. Гал. речь ямщика, и когда тот закончил мрачный эпизод из того времени, то спросил меня:

— Не про этого ли ямщика рассказывали вы?

— Нет, — отвечала я, — этот серьезнее, умнее и лучше говорит.

— А как тебя зовут? — спросил Вл. Гал. ямщика.

— Василий Косой, — послышался ответ. Я была изумлена, как развертывалась душа человеческая перед писателем, и он, как виртуоз-скрипач, сумел чудно сыграть на посредственной скрипке. Дорогой Вл. Гал. рисовал пейзажи и детские лица и высказывал сожаление, что не пришлось поучиться рисовать. По приезде в Арзамас, на другой день, он дал мне прочитать начало рассказа «В облачный день», где был передан вчерашний рассказ ямщика. Я была удивлена памятью Вл. Гал. и тем, что он запомнил все меткие выражения рассказчика и сумел схватить колорит его речи. После к этому рассказу Вл. Гал. сделал добавление, и я увидела, как в сознании писателя переплетаются разные переживания. [2]

В Арзамасе Вл. Гал. разыскал дом, где жил Ступин, и был глубоко возмущен, что изображение «музы» на стенах дома было замазано потому, что она приходилась против церкви, против иконы; и неприличным нашли оставлять изображение «языческой девицы» против храма. Короленко много расспрашивал о Ступине, разыскивал картины его и его школы и, по возвращении в Нижний, начал о нем рассказ. Много раз возвращался к нему, исправлял, дополнял, рассказ разрастался, но так и не был кончен [3]. Вл. Гал. очень строго относился к своим произведениям. «Слово, — говорил он, — очень серьезное, ответственное человеческое учреждение»[...]

Когда он покинул Нижний и перебрался в Петроград, почувствовалось всеми, что ушла из города огромная нравственная сила. Стало пусто и бледно кругом.

В Петрограде я видела Вл. Гал. в 1909 году, и видела его уже в последний раз. Мы поехали с покойным мужем в Петроград хлопотать о том просветительном обществе, в котором работали. По этому поводу отправились к товарищу председателя Государственной думы Капустину. Войдя в переднюю, мы увидели хозяина у телефона и услыхали слова: «Постараюсь, постараюсь, Вл. Галакт., исполнить вашу просьбу, но не ручаюсь за успех». Прервав телефон и поздоровавшись с нами, Капустин сказал: «Это все беспокойный Влад. Галакт. хлопочет о приговоренных к казни».

От Капустина мы пошли к Короленко. Он занимал две небольших комнаты у знакомых. Нерадостное впечатление вынесли мы от этого свидания.

Жили они в Петрограде с женой одни, без детей: одна дочь уехала во Францию, а старшая Соня ушла учительницей в деревню. Авд. Семеновна жаловалась на болезнь, на то, что трудно ходить высоко, что тоскливо без детей, а Влад. Галакт. имел измученный вид [4]. В это время свирепствовали военные суды и легко выносились смертные приговоры. Короленко очень ценил человеческую жизнь. «Жизнь, — говорил он, — дается лишь однажды, и надо ее ценить». К нему раньше других доходили вести об обреченных, к нему, как заступнику, обращались родные осужденных, и он являлся к членам Государственной думы и торопил депутатов спасать обреченных на казнь. Много тяжелого рассказал он. Знаем мы, что до конца своих дней он хлопотал за осужденных и глубоко страдал.

М. Горький

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

С именем В. Г. Короленко у меня связано немало добрых воспоминаний, и, разумеется, я не могу сказать здесь всего, что хотелось бы.

Первая моя встреча с ним относится к 88 или 89 году [1]. Приехав в Нижний-Новгород, не помню откуда, я узнал, что в городе этом живет писатель Короленко, недавно отбывший политическую ссылку в Сибири. Я уже читал рассказы, подписанные этим именем, и помню — они вызвали у меня впечатление новое, не согласное с тем, что я воспринял от литературы «народников», изучение которой в ту пору считалось обязательным для каждого юноши, задетого интересом к общественной жизни.

Публицистическая литература «народников» откровенно внушала: «Смотри вот так, думай — так», и это очень нравилось многим, кто привык чувствовать себя руководимым. А для всякого мало-мальски внимательного читателя было ясно, что рассказы Короленко чужды стремлению насиловать ум и чувства.

Я вращался тогда в кругу «радикалов», как именовали себя остатки народников, и в этом кругу творчество Короленко не пользовалось симпатиями. Читали «Сон Макара», но к другим рассказам относились скептически, ставя их рядом с маленькими жемчужинами Антона Чехова, которые уже совершенно не возбуждали серьезного отношения радикалов.

Находились люди, которым казалось, что новый подход к изображению народа в рассказах «За иконой», «Река играет» изобличает в авторе вреднейший скептицизм, а рассказ «Ночью» вызывал у многих резко враждебные суждения, раздражая рационалистов.

С радикалами спорили и враждовали «культуртрегеры» — люди, начинавшие трудную работу переоценки старых верований; радикалы называли культуртрегеров «никудышниками». «Никудышники» относились к творчеству В. Г. с подстерегающим вниманием, чутко оценивая его прекрасный лиризм и зоркий взгляд на жизнь.

В сущности — спорили люди доброго сердца с людьми пытливого ума, и сейчас этот спор, вызванный предрассудками людей просвещенных, является сплошным недоразумением, ибо В. Г. давал одинаково щедро и много как людям сердца, так и людям ума. Но все же для многих в ту пору поправки, вносимые новым писателем в привычные, устоявшиеся суждения и мнения о русском народе, казались чуждыми, неприятными и враждебными любимому идолу святой традиции.

Раздражал Тюлин, герой рассказа «На реке» [2], человек, несомненно, всем хорошо знакомый в жизни, но совершенно непохожий на обычного литературного мужичка, на Поликушку [3], дядю Миная [4] и других излюбленных интеллигентом идеалистов, страстотерпцев, мучеников и правдолюбов, которыми литература густо населила нищие и грязные деревни. Не похож был лентяй-ветлужанин на литературного мужичка и, в то же время, убийственно похож вообще на русского человека, героя на час, в котором активное отношение к жизни пробуждается только в моменты крайней опасности и на краткий срок.

Очень помню горячие споры о Тюлине — настоящий это мужик или выдумка сочинителя? «Культуртрегеры» утверждали — настоящий, действительный мужик, не способный к строительству новых форм жизни, не имеющий склонности к расширению своего интеллекта.

— С таким субъектом не скоро доживешь до европейских форм государственности, — говорили они. — Тюлин — это Обломов в лаптях.

А «радикалы» кричали, что Тюлин — выдумка, европейская же культура нам не указ — Поликушка с дядей Минаем создадут культуру оригинальнее западной.

Эти жаркие споры, острые разногласия вызвали у меня напряженный интерес к человеку, обладающему силой возбуждать умы и сердца, и, написав нечто вроде поэмы в прозе, озаглавив ее, кажется, «Песнь старого дуба», я понес рукопись В. Г.

Меня очень удивил его внешний облик — В. Г. не отвечал моему представлению о писателе и политическом ссыльном. Писателя я представлял себе человеком тощим, нервным, красноречивым — не знаю, почему именно таким, В. Г. был коренаст, удивительно спокоен, у него здоровое лицо, в густой курчавой бороде, и ясные, зоркие глаза.

Он не был похож и на политиков, которых я знал уже довольно много: они казались мне людьми, всегда немножко озлобленными и чуть-чуть рисующимися пережитым.

В. Г. был спокоен и удивительно прост. Перелистывая мою рукопись на коленях у себя, он с поразительной ясностью, образно и кратко говорил мне о том, как плохо и почему плохо написал я мою поэму. Мне крепко запомнились его слова:

— В юности мы все немножко пессимисты — не знаю, право, почему. Но кажется — потому, что хотим многого, а достигаем — мало...

Меня изумило тонкое понимание настроения, побудившего меня написать «Песнь старого дуба», и, помню, мне было очень стыдно, неловко пред этим человеком за то, что я отнял у него время на чтение и критику моей поэмы. Впервые показал я свою работу писателю и сразу имел редкое счастье услышать четкую уничтожающую критику [5].

Повторяю — меня особенно удивила простота и ясность речи В. Г.: люди, среди которых я жил, говорили туманным и тяжелым языком журнальных статей.

Вскоре, после этой первой встречи с В. Г., я ушел из Нижнего и воротился туда года через три [6], обойдя центральную Русь, Украину, побывав и пожив в Бессарабии, в Крыму, на Кавказе. Много видел, пережил и, изнемогая от пестроты и тяжести впечатления бытия, чувствовал себя богачом, который не знает, куда девать нажитое, и бестолково тратит сокровища, разбрасывая все, что имел, всем, кто желал поднять брошенное.

Я не столько рассказывал о своих впечатлениях, сколько спрашивал, что они значат, какова их ценность?

В этом приподнятом настроении я снова встретился с В. Г. Сидел у него в маленькой тесной столовой и говорил о том, что особенно тревожило меня, — о правдоискателях, о беспризорной бродячей Руси, о тяжкой жизни грязных и жадных деревень.

В. Г. слушал, задумчиво улыбался умными и ясными глазами и вдруг спросил:

— А заметили вы, что все эти правдоискатели больших дорог — великие самолюбцы?

Конечно, я этого не замечал и был удивлен вопросом.

А В. Г. добавил:

— И лентяи порядочные, правду сказать...

Он говорил не осуждая, добродушно, и от этого его слова приобретали особый вес, особое значение. Во всей его фигуре, в каждом жесте чувствовалась спокойная сила, а внимание, с которым он слушал, обязывало к точности и краткости. Его хорошие глаза, вдумчивый их взгляд взвешивали внутреннюю ценность ваших слов, и вы невольно требовали от себя слов значительных, точно рисующих мысль и чувство. Уйдя от него, я почувствовал, чем отличаются его рассказы о человеке от рассказов других людей. Как многим, мне казалось, что беспристрастный голос правдивого художника — голос безразличного человека[7].

Но чуткие замечания В. Г. о мужиках, монахах, правдоискателях обличали в нем человека, который не считает себя судьею людей, а любит их с открытыми глазами, той любовью, которая дает мало наслаждений и слишком много страданий.

В этом году я начал печатать маленькие рассказы в газетах[8] и однажды, под влиянием смерти крупного культурного деятеля, нижегородца А. С. Гацисского, написал какой-то фантазерский рассказ[9] о том, что над могилой интеллигента мужики благодарно оценивают его жизнь.

Встретив меня на улице, В. Г. сказал, добродушно усмехаясь:

— Ну, это вы плохо сочинили. Такие штуки не надо писать!

Видимо, он следил за моей работой, бывал я у него не часто, но почти при каждой встрече он что-нибудь говорил мне о моих рассказах.

— «Архипа и Леньку» напрасно напечатали в «Волгаре» [10] — это можно бы поместить в журнал, — говорил он.

— Вы чересчур увлекаетесь словами, нужно быть более скупым и точным.

— Не прикрашивайте людей...

Его советы и указания всегда были кратки, просты, но это были как раз те указания, в которых я нуждался. Я много получил от Короленко добрых советов, много внимания, и, если в силу разных неустранимых причин не сумел воспользоваться его помощью, — в том моя вина и печаль.

Известно, что в большую журнальную литературу я вошел при его помощи [11].

О многом я умолчу из опасения быть бестактным в похвалах и благодарности моей этому человеку.

Скажу в заключение, что за двадцать пять лет литературной моей работы я видел и знал почти всех больших писателей, имел высокую честь знать и колоссального Л. Н. Толстого.

В. Г. Короленко стоит для меня где-то в стороне от всех, в своей особой позиции, значение которой до сего дня недостаточно оценено. Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать. Он сказал это тихим голосом мудреца, который прекрасно знает, что всякая мудрость относительна и вечной правды — нет. Но правда, сказанная образом Тюлина, — огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великоруса — того человека, который ныне сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле.

Верю, что он построит ее так, как найдет удобным для себя, и знаю, что в этой великой работе строения новой России найдет должную оценку и прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем.

М. Горький

«ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО»

...Вышел я из Царицына в мае, на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю [1].

Часть пути, по ночам, ехал с кондукторами товарных на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани, по Оке, свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому. София Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру [2]. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много «темных бездельников» и что Россия вообще изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душою, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены; очень красивое время года, но несколько неудобное для путешествия пешком, а особенно — в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я почему-то не понравился, и они всю дорогу старались причинять мне

различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, человечишка на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, возложил на меня обязанность кормить спутников моих; на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

— Угощай!

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще в то время чувствовал себя малограмотным, но я искренне верил, что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден, что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь, — кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философский труд. Больной Николай Ельпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно, упорно задумался над чем-то.

— Может быть и так, — говорил он, выдувая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

— А может быть и не так...

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение, мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это — и моя сердечная симпатия к нему — внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

— В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату одноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнаты стоял высокий, сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова.

Его близорукие, детски ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке — светлые шерстинки разной длины; на угловатом черепе — прямые, давно не мытые волосы дьякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо слаженного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он, ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался. Над головою его была открыта форточка, в комнату врывался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы:

— Допустимо, но я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слушать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку:

— Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю» можно объяснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем мо-

жет искренне сказать. Люди непосредственного опыта, я и Анатолий, отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными больше, чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

— Так — вот. Я должен идти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали «междоусобную брань» — обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонию в Симбирской губернии; быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская колония».

— Попробуйте и вы «сесть на землю», — советовал он мне. — Может быть, это подойдет вам?

Но — убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора тверской и смоленской артелей, а затем — сотрудника «Православного обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал «культуру»; это мне очень не понравилось; культура — та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон литературы»; умный, широкообразованный старик целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я в ту пору несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

...Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал его «Сон Макара»; рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаза в сторону:

— Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, — одна из забавных шуток странной русской жизни.

Меня арестовали[3] и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

ВСЕ ЖИВОЕ — ИЗ КЛЕТКИ.

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И, не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как изречение юмориста.

Меня отвели на допрос к самому генералу Познанскому, и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит, всхрапывая:

— Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишите! Хорошие стихи — приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народовольцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но, когда я прочитал ему стихи Фофанова:

Что ты сказала мне — я не расслышал,
Только сказала ты нежное что-то...[4] —

он сердито зафыркал:

— Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался...

Генерал — грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо, в седых волосах, густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом[5], знал, что дочь его — талантливая пианистка, а сам он — морфинист. Он был организатором и председателем «Технического общества» в Нижнем, оспаривал на заседаниях этого общества значение кустарных промыслов и — открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиною его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебастра весом пуда в два. На косяках окон, в клетках, прыгали чижи, щеглята, снегири, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы, и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напитан морфием.

— Какой вы революционер? — брюзгливо говорил он. — Вы — не еврей, не поляк. Вот — вы пишете, ну, что же? Вот когда я выпущу вас — покажите ваши рукописи Короленко, — знакомы с ним? Нет? Это — серьезный писатель, не хуже Тургенева...

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

— Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине, и, открыв ее, он заговорил:

— Это — медали в память исторических событий и лиц. Вот — взятие Бастилии, а это — в память победы Нельсона под Абукиром[6], — историю Франции знаете? Это — объединение швейцарских союзов[7], а это знаменитый Гальвани — смотрите, как прекрасно сделано. Это — Кювье, — значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенсне, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

— Прекрасное искусство! — ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренне восхищался красотой кружочков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв — со вздохом — витрину, он спросил меня, люблю ли я певчих птиц. Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил, сожалительно чмокая:

— Вот, знаете, не могу достать щура! Замечательная птица! И — вообще — птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с богом... Да, — вспомнил он, — вам учиться надо, ну, там — писать, а не это...

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

— Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И — не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас... И — вообще...

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

— А теперь вы не ловите птиц?

...Лет через десять после забавного знакомства с генералом я, арестованный[8], сидел в нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:

— Вы помните генерала Познанского? — Это мой отец. Он умер в Томске[9]. Он очень интересовался вашей

судьбой, следил за вашими успехами в литературе и нередко говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Незадолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам, — конечно, если вы пожелаете взять их...

Я был искренне тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в нижегородский музей.

...В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь, точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом — расширена вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.

Незадолго до призыва я познакомился с офицером-топографом — Пасхиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой[10], он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весною должен был отправиться на Памир работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом маленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то неслаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

— Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле — пустыню! Горы — это хаос, пустыня — гармония!

И, прищурив большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шепота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня, до немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайных песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

— Ничего не значит, — сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты. — Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены, — я вам все устрою!

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

— Оказывается — вы политически неблагонадежны, тут ничего нельзя сделать!

И, опустив глаза, он тихо добавил:

— Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство.

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

...Жизнь моя шла путано и трудно. Я работал в складе пива, перекатывал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода, — я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды, в тяжелый день, я решил наконец показать мою поэму В. Г. Короленко[11]. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов — в пышных шапках снега, скворечни — в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, по колени, плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие, хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица. Опираясь на лопату, он молча выслушал мои объяснения причин визита, потом прищурился, вспоминая.

— Знакомая фамилия. Это не о вас ли писал мне, года два тому назад, некто Ромась, Михайло Антонов? Так!

Входя на лестницу, он спросил:

— Не холодно вам? Очень легко одеты.

И — негромко, как будто беседуя сам с собою:

— Упрямый мужик Ромась! Умный хохол. Где он теперь?

В маленькой угловой комнатке, окнами в сад, тесно заставленной двумя рабочими конторками, шкафами книг и тремя стульями, он, отирая платком мокрую бороду и перелистывая мою толстую рукопись, говорил:

— Почитаем! Странный у вас почерк, с виду — простой, четкий, а читается трудно.

Рукопись лежала на коленях у него, он искоса поглядывал на ее страницы, на меня — мне было неловко.

— Тут у вас написано — «зизгаг», это... очевидно, описка, такого слова нет, есть — зигзаг...

Маленькая пауза перед словом «описка» дала мне понять, что В. Г. Короленко — человек, умеющий щадить самолюбие ближнего.

— Ромась писал мне, что мужики пытались порохом взорвать его, а потом подожгли, — да? [12]

Он говорил и перелистывал рукопись.

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной неизбежности, вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли.

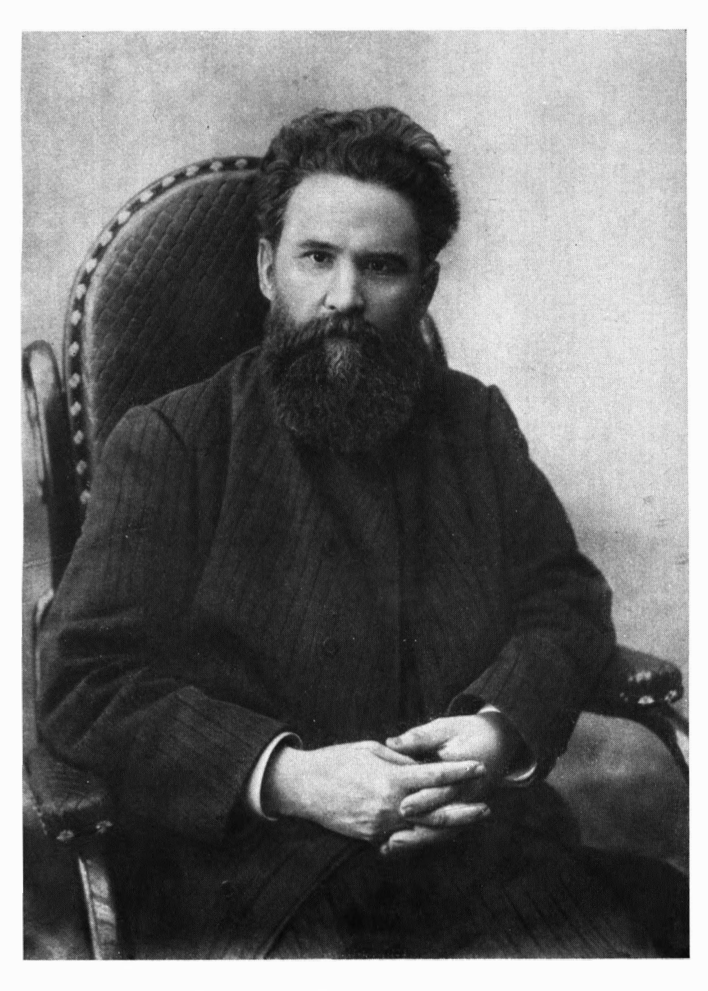
Это он говорил между прочим, все расспрашивая о Ромасе, о деревне.

— Какое суровое лицо у вас! — неожиданно сказал он и, улыбаясь, спросил: — Трудно живется?

Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом, — оно было не только в его плотной, широкогрудой фигуре и зорком взгляде умных глаз, но и в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь, как движение по извилистому руслу реки среди скрытых мелей и камней.

— Вы часто допускаете грубые слова, — должно быть потому, что они кажутся вам сильными? Это — бывает.

Я сказал, что — знаю: грубость свойственна мне, но у меня не было ни времени обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где бы я мог сделать это.



В. Г. Короленко, Н.-Новгород (1895—1896)

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете:

> Я в мир пришел, чтобы не соглашаться.
> Раз это так...

Раз — так, — не годится! Это — неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, — вы слышите?

Я впервые слышал все это и хорошо чувствовал правду его замечаний.

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична, — сказал Короленко, улыбаясь.

Вот он нашел еще «описку», еще и еще. Я был раздавлен обилием их и, должно быть, покраснел, как раскаленный уголь. Заметив мое состояние, Короленко, смеясь, рассказал мне о каких-то ошибках Глеба Успенского, это было великодушно, а я уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама. Известно, что литераторы и актеры самолюбивы, как пуделя.

Я ушел и несколько дней прожил в мрачном угнетении духа.

Я видел какого-то особенного писателя: он ничем не похож на расшатанного и сердечно милого Каронина, не говоря о смешном Старостине. В нем нет ничего общего с угрюмым Сведенцовым-Ивановичем, который говорил мне:

— Рассказ должен ударить читателя по душе, как палкой, чтобы читатель чувствовал, какой он скот!

В этих словах было нечто сродное моему настроению. Короленко первый сказал мне веские человечьи слова о значении формы, о красоте фразы, я был удивлен простой, понятной правдой этих слов и, слушая его, жутко почувствовал, что писательство — не легкое дело. Я сидел у него более двух часов, он много сказал мне, но — ни одного слова о сущности, о содержании моей поэмы. И я уже чувствовал, что ничего хорошего не услышу о ней.

Недели через две рыженький статистик Н. И. Дрягин, милый и умный, принес мне рукопись и сообщил:

— Короленко думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что у вас есть способности, но надо писать с натуры, не философствуя. Потом — у вас есть юмор, хотя и грубоватый, но — это хорошо! А о стихах он сказал — это бред!

На обложке рукописи, карандашом, острым почерком написано:

«По «Песне» трудно судить о ваших способностях, но, кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие. Вл. Кор.».

О содержании рукописи — ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?

Из рукописи вылетели два листка стихов. Одно стихотворение было озаглавлено «Голос из горы идущему вверх», другое «Беседа Черта с колесом». Не помню, о чем именно беседовали черт и колесо, — кажется, о «круговращении» жизни [13], — не помню, что именно говорил «голос из горы». Я разорвал стихи и рукопись, сунул их в топившуюся печь-голландку и, сидя на полу, размышлял: что значит писать о «пережитом»?

Все, написанное в поэме, я пережил...

И — стихи! Они случайно попали в рукопись. Они были маленькой тайной моей, я никому не показывал их, да и сам плохо понимал. Среди моих знакомых кожаные переводы Барыковой и Лихачева из Коппэ, Ришпэна, Т. Гуда и подобных поэтов ценились выше Пушкина, не говоря уже о мелодиях Фофанова. Королем поэзии считался Некрасов, молодежь восхищалась Надсоном, но зрелые люди и Надсона принимали — в лучшем случае — только снисходительно.

Меня считали серьезным человеком солидные люди, которых я искренне уважал, дважды в неделю беседовали со мною о значении кустарных промыслов, о «запросах народа и обязанностях интеллигенции», о гнилой заразе капитализма, который никогда — никогда! — не проникнет в мужицкую, социалистическую Русь.

И — вот, все теперь узнают, что я пишу какие-то бредовые стихи! Стало жалко людей, которые принуждены будут изменить свое доброе и серьезное отношение ко мне.

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и

действительно все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал. А иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню.

...В. Г. Короленко стоял в стороне от группы интеллигентов-«радикалов», среди которых я чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов.

Писателем наиболее любезным для этой среды был Н. Н. Златовратский, — о нем говорили: «Златовратский очищает душу и возвышает ее».

А один из наставников молодежи рекомендовал этого писателя так:

— Читайте Златовратского, я его лично знаю, это честный человек!

Глеба Успенского читали внимательно, хотя он подозревался в скептицизме, недопустимом по отношению к деревне. Читали Каронина, Мачтета, Засодимского, присматривались к Потапенко:

— Этот, кажется, ничего...

В почете был Мамин-Сибиряк, но говорили, что у него «неопределенная тенденция».

Тургенев, Достоевский, Л. Толстой были где-то далеко за пределами внимания. Религиозная проповедь Л. Н. Толстого оценивалась так:

— Дурит барин!

Короленко смущал моих знакомых; он был в ссылке, написал «Сон Макара» — это, разумеется, очень выдвигало его. Но — в рассказах Короленко было нечто подозрительное, непривычное чувству и уму людей, плененных чтением житийной литературы о деревне и мужике.

— От ума пишет, — говорили о нем, — от ума, а народ можно понять только душой.

Особенно возмутил прекрасный рассказ «Ночью», в нем заметили уклон автора в сторону «метафизики», а это было преступно. Даже кто-то из кружка В. Г. — кажется, А. И. Богданович — написал довольно злую и остроумную пародию на этот рассказ.

— Ч-чепуха! — немножко заикаясь, говорил С. Г. Сомов, человек не совсем нормальный, но, однако, довольно влиятельный среди молодежи. — Оп-писание физиологического акта рождения — дело специальной

литер-ратуры, и тараканы тут ни при чем! Он п-подражает Толстому, этот К-короленко.

Но имя Короленко уже звучало во всех кружках города. Он становился центральной фигурой культурной жизни и, как магнит, притягивал к себе внимание, симпатии и вражду людей.

— Ищет популярности, — говорили люди, не способные сказать ничего иного.

В то время было открыто серьезное воровство в местном дворянском банке; эта весьма обычная история имела весьма драматические последствия: главный виновник, провинциальный «лев и пожиратель сердец», умер в тюрьме, его жена отравилась соляной кислотой, растворив в ней медь; тотчас после похорон на ее могиле застрелился человек, любивший ее, один за другим умерли еще двое привлеченных к следствию по делу банка, — был слух, что оба они тоже кончили самоубийством.

В. Г. печатал в «Волжском вестнике» статьи о делах банка, и его статьи совпали во времени с этими драмами [14]. Чувствительные люди стали говорить, что Короленко «убивает людей корреспонденциями», а мой патрон А. И. Ланин горячо доказывал, что «в мире нет явлений, которые чужды художнику».

Известно, что клевета всего проще, поэтому люди, нищие духом, довольно щедро награждали Короленко разнообразной клеветой.

В эти застойные годы жизнь кружилась медленно, восходя по невидимой спирали к неведомой цели своей, и все заметнее становилась в этом кружении коренастая фигура человека, похожего на лоцмана. В суде слушается дело скопцов [15], — В. Г. сидит среди публики, зарисовывая в книжку полумертвые лица изуверов, его видишь в зале земского собрания, за крестным ходом, всюду; нет ни одного заметного события, которое не привлекало бы спокойного внимания Короленко.

Около него крепко сплотилась значительная группа разнообразно недюжинных людей: Н. Ф. Анненский, человек острого и живого ума; С. Я. Елпатьевский, врач и беллетрист, обладатель неисчерпаемого сокровища любви к людям, добродушный и веселый; Ангел И. Богданович, вдумчивый и едкий; «барин от революции» А. И. Иванчин-Писарев; А. А. Савельев, председатель земской управы; Аполлон Карелин, автор самой краткой

и красноречивой прокламации из всех мне известных; после 1 марта 81 года он расклеил по заборам Нижнего бумажку, содержавшую всего два слова: «Требуйте конституцию».

Кружок Короленко шутливо наименовался «Обществом трезвых философов»; иногда члены кружка читали интересные рефераты; я помню блестящий реферат Карелина о Сен-Жюсте и Елпатьевского о «новой поэзии», — таковой, в то время, считалась поэзия Фофанова, Фруга, Коринфского, Медведского, Минского, Мережковского. К «трезвым» философам примыкали земские статистики Н. И. Дрягин, Кисляков, М. А. Плотников, Константинов, Шмидт и еще несколько таких же серьезных исследователей русской деревни; каждый из них оставил глубокий след в деле изучения путаной жизни крестьянства. И каждый являлся центром небольшого кружка людей, которых эта таинственная жизнь глубоко интересовала, у каждого можно было кое-чему научиться. Лично для меня было очень полезно серьезное, лишенное всяческих прикрас, отношение к деревне. Таким образом, влияние кружка Короленко распространялось очень широко, проникая даже в среду, почти недоступную культурным влияниям.

У меня был приятель, дворник крупного каспийского рыбопромышленника Маркова, Пимен Власьев, — обыкновенный, наскоро и незатейливо построенный, курносый русский мужик. Однажды, рассказывая мне о каких-то незаконных намерениях своего хозяина, он, таинственно понизив голос, сообщил:

— Он бы это дело сварганил, да — Короленки боится! Тут, знаешь, прислали из Петербурга тайного человека, Короленкой зовется, иностранному королю племяш, за границей наняли, чтобы он, значит, присматривал за делами, — на губернатора-то не надеются. Короленка этот уж подсек дворян — слыхал? *

Пимен был человек безграмотный и великий мечта-

---

* Литератор С. Елеонский утверждал в печати [16], что легенда о В. Г. Короленко, как «аглицком королевиче», суть «интеллигентная» легенда. В свое время я писал ему, что он не прав в этом; легенда возникла в Нижнем-Новгороде, создателем ее я считаю Пимена Власьева. Легенда эта была очень распространена в Нижегородском краю. В 1903 году я слышал ее во Владикавказе от балахнинского плотника.

тель; он обладал какой-то необыкновенно радостной верой в бога и уверенно ожидал в близком будущем конца «всякой лже».

— Ты, мил друг, не тоскуй, скоро лже конец. Она сама себя топит, сама себя ест!

Когда он говорил это, его мутновато-серые глаза, странно синея, горели и сияли великой радостью, казалось, что вот сейчас расплавятся они, изольются потоками синих лучей.

Как-то в субботу помылись мы с ним в бане и пошли в трактир пить чай. Вдруг Пимен, глядя на меня милыми глазами, говорит:

— Постой-ка?

Рука его, державшая блюдечко чая, задрожала, он поставил блюдечко на стол и, к чему-то прислушиваясь, перекрестился.

— Что ты, Пимен?

— А видишь, мил друг, — сей минут божья думка душе моей коснулась, — скоро, значит, господь позовет меня на его работу...

— Полно-ка, ты такой здоровяга!

— Молчок! — сказал он важно и радостно. — Не говори — знаю!

В четверг его убила лошадь.

...Не преувеличивая, можно сказать, что десятилетие 86—96 было для Нижнего «эпохой Короленко»; впрочем, это уже не однажды сказано в печати.

Один из оригиналов города, водочный заводчик А. А. Зарубин, «неосторожный» банкрот, а в конце дней — убежденный толстовец и проповедник трезвости, говорил мне в 1901 году:

— Еще во время Короленки догадалея я, что неладно живу...

Он несколько опоздал наладить свою жизнь: «во время Короленки» ему было уже за пятьдесят лет, но все-таки он перестроил или, вернее, разрушил ее сразу, по-русски.

— Хворал я, лежу, — рассказывал он мне, — приходит племянник Семен, тот — знаешь? — в ссылке который, он тогда студент был. «Желаете, говорит, книжку почитаю?» И вот, братец ты мой, прочитал он «Сон Макаров», я даже заплакал, до того хорошо! Ведь как

человек человека пожалеть может! С этого часа и повернуло меня. Позвал кума, приятеля, вот, говорю, сукин ты сын, — прочитай-ко! Тот прочитал, — богохульство, говорит. Рассердился я, сказал ему, подлецу, всю правду, разругались навсегда. А у него векселя мои были, и начал он меня подсиживать, ну, мне уж все равно, дела я свои забросил, душа отказалась от них. Объявили меня банкротом, почти три года в остроге сидел. Сижу, думаю: будет дурить! Выпустили из острога, я, сейчас, к нему, Короленке, — учи! А его в городе нету. Ну, я ко Льву нашему, к Толстому. «Вот как», — говорю. «Очень хорошо, — говорит, — вполне правильно!» Так-то, брат! А Горинов откуда ума достал? [17] Тоже у Короленки; и много других знаю, которые его душой жили. Хоть мы, купечество, и за высокими заборами живем, а и до нас правда доходит!

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, какими иногда путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленькими, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки — темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, Зарубин обжаловал действие полиции; в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной», тогда старик поехал в Петербург, в сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя, возвратился в Нижний и принес указ в редакцию «Нижегородского листка», предлагая опубликовать. Но по распоряжению губернатора цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

— Ты, — он всем говорил «ты», — ты что же, друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться математическими словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблю-

дал за поведением городовых и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна, — Зарубин подошел и спросил:

— Что случилось?

— Ивана Кронштадтского ждут.

— Артиста императорских церквей? Дураки...

Его не обидели; какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

— Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович!

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством, и хотя некоторые называли «фокусником», но — большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 1901 году меня посадили в тюрьму. Зарубин, тогда еще незнакомый со мною, пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

— Вы — родственник арестованного? — спросил прокурор.

— И не видал никогда, не знаю — каков!

— Вы не имеете права на свидание.

— А — ты евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а евангелие не знаете?

Но у прокурора было свое евангелие, и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех — нередких — русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее, когда терять уже нечего, становятся «праволюбами», являясь, в сущности, только чудаками[18].

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу — да и по результатам — слова другого нижегородского купца Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту пожаловался:

— Не умен, не силен, не догадлив народ — мы, купечество! Еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, земщики эти ваши, земцы, Короленки — пастыри! Короленко — особо неприятный господин; с виду — простец, а везде его знают, везде проникает...

Этот отзыв я слышал уже весною 93 года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время — почти три года — значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору Баранову, «влияние на деятельность земства» — все это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год» [19].

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека:

— Этот губернский предводитель оппозиции властям в культурной стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения» или «Красного Креста» [20], — вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он наверняка израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее — равной!

— А что вы думаете о его литературном таланте?

— Думаю, что он не уверен в его силе, и — напрасно! Он — типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя как художника, хотя именно его качества реформатора должны были — в соединении с талантом — дать ему больше уверенности и смелости в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором «между прочим», а не «прежде всего»...

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе» — человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно — тем ценнее было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89—90-м годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо — как уже сказано — решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, во-

круг меня — я хорошо видел это — начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили, — на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

«Почему вы спокойны?»

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных систем» Щеглова, «Капитал», книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича[21].

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало роман Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях», — новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий — впоследствии врач во Франции, в Орлеане, — человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

— Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм — банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития — от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать — наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилен, не может гармонизировать всю сумму, весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита[22], она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало приблизительно так просто:

— Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса, — значит, дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою — и все чаще — молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом» — объектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто герои-комическое, но меня увлекал их романтизм, точнее — социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят, — нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой, жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверячью жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более остро враждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убегать или удаляться изувеченной, — в этом кипении идей я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминая жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз, и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести собеснику хороший словесный удар, «закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины или, вернее, техники мышления, которую дает школа, я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для

этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; как небрежно груженное судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался — как многие — говорить суровым басом; это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно, — относится неискренне к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унизительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а — жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди — чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу?

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать необычным — добрым, бескорыстным, красивым, — до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека — человеком. Но все-таки я был душевно голоден, и одуряющий яд книг уже не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта, и порою я кричал:

— Шире бери!

— Держи карман шире! — иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на Откосе, высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев — реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г.[23], я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

— Однако как вы замечтались! Я хотел шляпу снять с вас, да подумал — испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

— Поздно гуляете, — сказал он.

— И вы тоже.

— Да. Следовало сказать: гуляем! Как живете, что делаете?

После нескольких незначительных фраз он спросил:

— Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Капитала», и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. Б. Струве[24] он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но — хорошо помню — более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и при этом еще заботился о «сокращении потребностей» — питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день — не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину в полноте, недоступной никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук, — он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуне студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, существом редкой красоты. Скворцов, соревнуя юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый, в облаке душного, серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

— Еще Сократ говорил, что развлечения — вредны! — неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке, и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными, чудесными глазами, — вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал:

«Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?»

Он доказал ей, что Короленко вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература — он ее не читал — «пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении — и, конечно, красиво — бросилась на диван, возгласив жалобно:

— Господи, это же не человек, а — дурная погода!

В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурив глаза, и негромко, дружески заговорил:

— Не спешите выбрать верования, я говорю — выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно — выбирают. Вот быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натурам, вкусам, стремлениям...

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уваже-

ния, но следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

— Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений, — сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий, вдумчивый тон. Но по существу все, что он говорил о марксизме, было уже — в других словах — знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А — почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился — так ему было удобнее смотреть в лицо мне — и молча, внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

— В этом немало верного! Вы наблюдаете хорошо...

И — усмехнулся, положив руку на плечо мне.

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас как о человеке иного характера... веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции...

И как-то особенно крепко он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

— Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, — с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, — все это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

— Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Проме-

тее — это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, — но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы, — обращайте больше внимания на достоинства! Подсчет недостатков увлекает всех нас — это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но — Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного[25]. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела — это великий подвиг! Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима — справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость, — вот как я думаю.

Он, видимо, устал, — он говорил очень долго, — сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

— А ведь уже поздно, или — рано, светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он — версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

— Что же — пишете вы?

— Нет.

— Почему?

— Времени не имею...

— Жаль и напрасно. Если б вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю — кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь...

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но — вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь надолго, — разошлись...

М. Горький

В. Г. КОРОЛЕНКО

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, В. Г. Короленко был в Петербурге[1].

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.[2].

Рассказы были подписаны М. Г. или Г — ий, их быстро напечатали, Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решать мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже»[3] — ну, вот вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, все аллегории пишете[4]. Что же,

и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода — выцвела. В сарпинковой рубахе синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ»[5].

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но — любопытно. Говорят — вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге[6]. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти три года почти? И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет», он очень понравился мне и красотой и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час»[7]. Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом — «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне, это очень смущало меня. Порою он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь добродушно:

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю — мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин, — этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, — нате вам в отплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть, от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды, — они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они — бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и — кому бы на шею сесть.

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу открыв предо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них, — продолжал Короленко. — Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» — это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека.

— На Волыни и в Подолье — не были? Там — красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским [8], — он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

— Человек искренне верующий, как веруют иные, немудрые, сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное, и как будто он действует не по своей воле. Все

время спрашивает бога своего: так ли, господи? и всегда боится: не так!

— Странно слышать это, — задумчиво сказал В. Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

— Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

— Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня — почва, на которой мы все растем, и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное»[9] на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но — он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество — прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню...

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

— Так вы думаете, — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он, несколько удивленный. — Ведь вы уже пишете, печатаетесь — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем...

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но почему-то я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил мате-

риал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренне не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» [10] и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною [11]. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: «Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики, — сказал он, потрясая топором, — нет, это я полки в чулане устраивал. Но — некоторое усекновение главы ожидает вас...

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежевыпеченным хлебом.

— Всю ночь — писал, а после обеда уснул; проснулся — чувствую: надо повозиться!

Он был не похож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с, — начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, — прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе, да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской [12], — я бы сказал барышне: «Недурно, а все-таки выходите замуж!» Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе...

— То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста, это теория, наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что.

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи[13], они оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше[14], серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись:

— Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресения. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, — нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же — говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узколичное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, — я смотрел на него все с бо́льшим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Слушайте, — можно говорить с вами запросто? Знаю я вас — мало, слышу о вас — много, и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему, вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

— Но я женат[15].

— Вот это и плохо!

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

— Ну, извините.

Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил:

— Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно?[16] Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там?

На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев»[17], организованная им.

— Неугомонный человек, — задумчиво сказал В. Г. — Теперь — снова пошлют его куда-нибудь. Что он — здоров? Здоровеннейший мужик был...

Он вздохнул, повел широкими плечами.

— Нет, все это — не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело[18] — хороший урок, он гово-

рит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, — мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь, как под стеклянным колпаком, — всё знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной; знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдываешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать немало советов такого рода:

— Берегитесь, собьет вас с толка эта компания поумневших!

Подразумевался популярный в то время рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел» — о революционере, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

— Вы — демократ, вам нечему учиться у генералов, вы — сын народа! — внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа, это чувство от времени усиливалось, и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это, мне кричали:

— Вот видите, — вы уже заразились!

Группа студентов ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива — водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «вдребезги» напоить меня, но не мог понять — зачем это нужно им? Один из них, самовлюбленный и чахоточный, убеждал меня:

— Главное — пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите — просто! Долой идеи...

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренне ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дрязги, другие избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

— Этот ваш Короленко, кажется, даже в. бога верует, — говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой», находили, что это — «этнография», не более.

— Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника[19] — взят из «Нравы Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем, критики напоминали мне одного воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! Вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но — зачем же именно папуаса? И — почему только одного?

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда? — удивленно спросил он. — А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красны и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа»[20], — это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы, он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурясь:

— Не помню! Во всяком случае, это было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг задумаюсь, точно

в колодец свалился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю, и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще — не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо! Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе», — там, где описан дождь, — не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо[21].

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется, это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу, — сказал он в ответ на мою благодарность. — Нас — немного! И всем нам — трудно.

Понизив голос, он спросил:

— А вы не слышали — правда, что в деле Ромася и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощаника. Вытащить ее было легко, она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо с наклонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита, в числе других, бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове.

Выслушав мой рассказ, В. Г. почти гневно сказал:

— Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто — милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят — она болтала на допросах? Но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики...

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал.

— Что это вы?

— Ревматизм.

— Рановато! О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А вообще вы хорошо рассказываете. Вот что — попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале, и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно.

Не помню, чтоб он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага у еврейского кладбища, любуясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

— Значит — пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать «Челкаша», рассказ одесского босяка, моего соседа по койке в больнице города Николаева;[22] написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону[23] обиженных кем-то мужиков и сердечно, как только он умел делать, поздравил меня.

— Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано...

Я был очень смущен его похвалой[24].

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но в то же время — романтик! И вот что, вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу.

— Очень волнуюсь...

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете.

Костей у вас — много, мяса — нет, курите — ненужно, без удовольствия, — что это с вами?

— Не знаю.

— А — пьете много, — есть слух?

— Врут.

— И какие-то оргии у вас там...

Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько неплохо сделанных сплетен обо мне.

Потом памятно сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его — на всякий случай — бьют по голове; это изречение одного студента-петровца. Ну, так пустяки — в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском богатстве», да еще на первом месте[25], это некоторая отличка и честь. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал, — хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью — навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час, с этим лоцманом, я молча следил за его глазами — в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке — ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте — не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару. Там у меня есть знакомый в «Самарской газете»? Хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей, — главнейшим пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне уехать из города несколько обижали, но в то же время его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и — чужой вы во всей этой фантастике! Нет, вы послушайте меня. Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это [26].

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма [27], критикуя окаянную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай.

Мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию — Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль: он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфет, консервы, колбасы, и, таким образом, обыватель получал, в виде премии к покупке своей, пол-аршина стихов, в них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но — архиерей являлся особенно выдающейся фигурой: [28] он насильно окрестил девушку-татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, по этому процессу были осуждены люди ни в чем не повинные, это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день, у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там, на полке, около божницы, он увидал гипсовую голову Зевса, разумеется, это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры

есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать — откуда они взяли идолов.

Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар, и — только.

Одним словом: я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим. Поэтому, в состоянии запальчивости и раздражения, я обругал поэта, воспевшего ненавистное мне, приставив к его фамилии — Скукин — слово сын [29].

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы, и оно пропало вместе с другими письмами Короленко [30].

Кстати — о жандармах.

Ранней весной 97 года меня арестовали в Нижнем [31] и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там, в Метехском замке, ротмистр Конисский, впоследствии начальник петербургского жандармского управления, допрашивая меня, уныло говорил:

— Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза — точно чужие на его лице, и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

— Я — земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который — помните? — произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. [32]. Горжусь этим!

Я вежливо осведомился, кто больше возбуждает гордость его — предок или земляк?

— И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом, и зрачки выскочили на свое место. Будучи болен и потому — сердит, я заметил, что плохо

понимаю гордость человеком, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить, Конисский благочестиво ответил:

— Каждый из нас — творит волю пославшего, каждый и все! Пойдемте далее. Итак, вы утверждаете... А между тем, нам известно...

Мы сидели в маленькой комнатке под входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него на стол, загруженный бумагами, падал луч жаркого солнца и, между прочим, на позор мой, освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано:

«Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину».

Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

«Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?»

Шесть лет — с 95 по 901 год — я не встречал Владимира Галактионовича[33], лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В 901 году я впервые приехал в Петербург[34], город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникала глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо, парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол, — в резиновых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало», — среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц, и, вероятно, — как все молодые люди, только что ошарашенные славой, — я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника: его окружают шпионы, следователи, про-

куроры, все они вéдут себя так, как будто считают преступление несчастием, печальной «ошибкой молодости», и — только сознайся! — они великодушно простят тебя. Но — в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе:

«Ага-а!»

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруешь? — пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это качество — а может быть, это метод исследования? — выражается очень разнообразно, главным же образом — в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда — опрокинуть что-нибудь. И, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами [35], очевидно думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге [36] нашел для себя старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашеным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд — рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо, не дешево стоило ему Мультанское дело [37] и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы,не

считаясь с туберкулезом, все так же много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье, — едем вместе?

Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесова», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки, и спросил:

— Что же вы — стали марксистом?

Когда я сказал, что — близок к этому, он невесело улыбнулся, заметив:

— Неясно мне это. Социализм без идеализма для меня — непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?

— Город — интереснее людей.

— Люди здесь...

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят: Москва своеобразнее, — не знаю. На мой взгляд, ее своеобразие — какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее в этом духе, здесь — декабристы, петрашевцы, Чернышевский...

— Победоносцев, — вставил я.

— Марксисты, — добавил В. Г., усмехаясь. — И всякое иное заострение прогрессивной, то есть революционной мысли. А Победоносцев-то талантлив, как хотите! Вы читали его «Московский сборник»? Заметьте — московский все-таки!

Он сразу нервозно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом, на другой же день по приезде в Петербург я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова.

Редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского[38], пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция — разрешение.

На другой день по приезде моем в Петербург ко мне пришли два щеголя студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участия Поссе в чествовании Чернышевского, ибо: «Поссе человек, неприемлемый для учащейся молодежи, он эксплуатирует издателей журнала «Жизнь». Я уже более года знал Поссе и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако — не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплуатировать издателей. Знал я, что его отношения с ними были товарищеские, он работал как ломовая лошадь и, получая ничтожное вознаграждение, жил, с большою семьей, впроголодь. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но — он сам понимал эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли, заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли», — молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать пред публикой с представителями народничества «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном, как доклад, и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом от людей мне неведомых я получил записку П. Б. Струве, — он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но — на другой день отказался М. И. Туган-Барановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ о этой канители и юмористически грустно сказал:

— Вот, — пригласят читать, а выйдешь на эстраду — схватят, снимут с тебя штаны и — выпорют!

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и негромко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, — не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания [39].

Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении краткого времени.

Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление о В. Г. Короленко как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь.

После смерти Л. Н. Толстого он писал мне:

«Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счет делающих или способных к делу. Человеческая мысль всегда действенна, только разбудите ее, и стремление ее будет направлено к истине, справедливости» [40].

Я уверен, что культурная работа В. Г. разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она — призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы.

В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью.

Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце, — сердце человека, который страстно любил красоту-справедливость, искал слияния их во единое целое. Но он крепко верил в близкий расцвет творческих сил страны и предчувствовал, что чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом.

В 1908 году он писал:

«Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это будут дни. Но он будет, если жива душа народа, а душа его жива» [41].

В 87 году он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга:

> На святой Руси петухи поют,
> Скоро будет день на святой Руси [42].

Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтоб ускорить рассвет этого дня.

С. Протопопов

ЗАМЕТКИ О В. Г. КОРОЛЕНКО

[...] «Заметки о В. Г. Короленко» состоят из штрихов и фактов, извлеченных мною из моих памятных книжек и хранящихся у меня писем. Надеюсь, что они прочтутся с некоторым интересом и окажутся небесполезными, как материал для характеристики.

Я познакомился с В. Г. Короленко в Н.-Новгороде зимой 1891 года. Он зашел ко мне, как к «лукояновцу», разузнать о «голодных делах» [1]. Я обещал собрать сведения и через несколько дней отправился к моему новому знакомому, жившему тогда в конце окраинной Канатной улицы. Зима «голодного года» была суровая и снежная. Канатная была занесена сугробами и даже узкая дорога посреди улицы была изрыта ухабами.

— Владимир Галактионович дома?

— Снег расчищает в саду, — ответила женщина, отворившая дверь.

Чрез несколько минут вошел сам расчищатель снега. Его усы и окладистая борода были покрыты инеем. Он бодро потопал ногами, отряхивая с сапог примерзший снег.

— Здравствуйте.

— И холодно же сегодня, а вы в одном пиджаке и без шапки... — укоризненно сказал я.

— Ничего: в движении тепло.

Разговор быстро перешел на «злобу дня» — на голод. Мой собеседник энергично и бодро изложил целый «план кампании»: необходимо поднять шум в печати, немедленно следует ехать туда — на место, нужно организовать сбор пожертвований, столовые и т. д. и т. д.[2].

Бодрость, даже жизнерадостная бодрость В. Г. Короленко удивляла не меня одного. Многие нижегородцы до знакомства с ним ожидали увидеть в человеке, долго сидевшем в тюрьмах и испытавшем якутскую ссылку, признаки надломленности, озлобления и усталости. Но эти естественные ожидания не оправдывались. Как «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат»[3], так и все испытания не раздробили сил здорового и крепкого организма В. Г. Короленко, не убили в нем ни добродушия, ни юмора, ни бодрости, ни веселости, ни энергии. Один только след перенесенного скоро бросался в глаза: В. Г. Короленко с особенной чуткостью «реагировал» на отрицательные факты жизни. Однако эта черта никогда не переходила в что-либо напоминающее тяжелые типы «униженных и оскорбленных».

— Заходите вечерком: будут Анненские и еще кое-кто.

Часто по вечерам маленькая квартира в конце Канатной у «Трех Святителей» наполнялась гостями. Здесь встречались люди из самых разнообразных слоев нижегородского общества: земцы, врачи, пароходные капитаны, чиновники, учителя, учительницы, судьи, адвокаты, «братья писатели», люди, ищущие работы, и пр. и пр. Все себя чувствовали хорошо и просто: хозяин всех объединял. И замечательно: эта маленькая квартира имела необыкновенное свойство — вызывать наружу лучшие черты людей.

Здесь была какая-то особенная атмосфера, в которой оживлялось и крепло все хорошее в человеке. Скупой здесь решался быть добрым, трусливый — смелым, хитрый — прямодушным. Один мой знакомый, К., не раз говаривал мне:

— Когда я вижу Короленко, меня охватывает стыд моего собственного существования...

Появлялся самовар. Вынимался из шкафа в иных случаях и графинчик с водкой, но он плохим почетом пользовался у «Трех Святителей»: хозяин не обращал на него никакого внимания; заражались равнодушием к нему и гости.

Очень скоро квартира Короленко получила значение «культурного центра» в нижегородской жизни. Наряду с самыми разнообразными общими вопросами здесь обсуждались все выдающиеся факты местной жизни, и с уверенностью можно сказать, что многие деятели здесь решали, чего им следует держаться в земстве, в думе, в собраниях разных обществ и даже на поприщах чиновничьей службы. Здесь же заложено было основание местному кружку «трезвых философов», которые периодически собирались, читали рефераты и обсуждали «очередные вопросы». С приездом В. Г. Короленко Н.-Новгород заметно разбогател людьми. Приехали сюда Анненские, С. Я. Елпатьевский, стали наезжать столичные гости — Г. И. Успенский, Н. К. Михайловский и многие другие. Но, что, может быть, важнее этого, завелся в местной жизни новый фермент, успешно вступивший в борьбу с весьма старозаветным укладом города.

Читающая Россия знает, как пишет В. Г. Короленко, а знакомым его, кроме того, еще известно, что он также хорошо и рассказывает. Некоторые из этих рассказов я привожу здесь, но, к сожалению, могу гарантировать лишь точность содержания: форма не поддается воспроизведению.

В начале 80-х годов В. Г. Короленко по воле судьбы пришлось жить в Починках — маленьком захолустном селении, на самом севере Глазовского уезда Вятской губернии [4]. С целью «наполнить время» и ради заработка Владимир Галактионович превратился здесь в сапожника.

— Дело это весьма интересное, и я им увлекался. Это увлечение, между прочим, поддерживалось и честолюбием: в Починках я справедливо считался первым сапожником. Мой единственный конкурент погубил свою репутацию пристрастием к вину, я же, вопреки традициям профессии, отличался трезвостью и шил очень крепкие сапоги, прославившиеся в селении [5]. Впоследствии я был наказан за излишнее самомнение. Это случилось после моего переезда в Пермь [6]. Здесь я тоже хотел продолжать шитье обуви и без всяких колебаний взялся изготовить пару ботинок из какой-то материи, данной мне заказчиком. Первая половина работы прошла благополучно, но когда я снял ботинки с колодок, они вдруг съежились... Произошло это потому, что я разрезал ма-

терию без внимания к направлению ниток основы и утка. [...]

В Починках Владимир Галактионович разочаровался в некоторых наивных взглядах народничества, вынесенных им из столиц.

— Переселившись в это глухое захолустье, я скоро заметил, что здесь вообще замки не в употреблении. Изб и амбаров не запирают и краж не боятся. Я приписал все это девственной простоте и неиспорченности жителей. Но весьма скоро я увидал, что краж в Починке нет только потому, что нет возможности сбывать краденое; здесь всякий житель знает все имущество соседей, как свое собственное. Пожил еще и увидал, что «девственная простота и неиспорченность» вовсе не мешают хитрому плутовству, грубости и даже жестокости нравов.

В Якутской области[7] Владимиру Галактионовичу нравилось земледелие и даже скотоводство. Но способностями хозяина наш писатель не отличался. Общим планом работ заведовал один из сожителей В. Г. Короленко, П[апин], сам же он с охотой и прилежанием трудился над землей, как простой работник, а не как распорядитель. Особенно любил Владимир Галактионович время сенокоса. Его радовали леса, поля, луга, сочная трава и вся природа, оживающая после бесконечно долгой сибирской зимы. Он наслаждался и чистым воздухом зеленеющих пространств, и чистою водою величавых рек, и свежестью растительности. Лишь время от времени это настроение сменялось другим, навеянным сознанием, что годы короткой жизни бегут и что шить сапоги на починковских крестьян и косить якутскую траву все же не самое лучшее дело...

В одиночной камере петербургской «предварилки» В. Г. Короленко написал свой известный рассказ «В дурном обществе»[8].

— Кажется, мне никогда не писалось так легко,— говорил он.

Эта камера зарисована Владимиром Галактионовичем в его памятной книжке. Узенькая комнатка с одним окном; у стены низкая кровать; под окном стол и табуретка[9]. В этой же книжке зарисована якутская юрта, где долго жил В. Г. Короленко. Зимой оконные стекла заме-

нялись толстым слоем льда. После каждой топки очага кто-нибудь из обитателей по очереди должен был одеваться и лезть на крышу, чтобы закрывать трубу. Замена льдом стекол при якутских морозах являлась необходимостью: стекла слишком холодили, потели и покрывались инеем. Лед служил лучше и только весной протаивал и оказывался негодным.

— Володя пишет.

Эти слова знакомые В. Г. Короленко часто слышали от его жены при входе в квартиру у «Трех Святителей».

— Пишет... так, значит, нельзя его видеть?

— Да... Ведь вы и сами знаете, что пока он не кончит, он все равно не способен понимать посторонних предметов.

Это свойство всем хорошо было известно, и ему безропотно покорялись. Конечно, в комнату Владимира Галактионовича войти было возможно, но ничего хорошего из этого не выходило: прерванная работа продолжала владеть всем его вниманием, он отвечал невпопад и все время поглядывал на свои листы с единственным желанием — опять приняться за писание.

Пишет В. Г. Короленко легко, скоро и с удовольствием. По его словам, ему трудно только начать, но когда первая фраза «в нужном тоне» написана, продолжение уже льется само собой. Беллетристику он всегда сам переписывает, и при этом со значительными изменениями. Другие статьи он пишет прямо начисто, но в печать они попадают с многими поправками на полях и между строк.

— Когда я что-либо описываю, я ясно вижу всю картину. Однажды, работая над очерками Сибири, я вдруг заметил, что перестал писать и рисую пером тот пейзаж, о котором шла речь. [...] [10]

Взгляд В. Г. Короленко на нищенство изложен в главе «Христовым именем» его книги — «В голодный год». Верный этим взглядам, он неизменно шарил по своим карманам, когда встречался с протянутыми руками, и на рацеи знакомых о поощрении лености, тунеядства и попрошайничества обыкновенно отвечал шутками:

— Вы говорите — «пропьет»... На то, что я ему дал, не много выпьет.

— Несимпатичный?.. Да и монета, которую он получил, не бог весть какая симпатичная.

Часто происходили и такие разговоры:

— Что это, Владимир Галактионович, на каком отвратительном извозчике вы приехали?

— Плохой, совсем плохой, но ведь ему и не поправиться, если его не будут брать.

Мы прозвали В. Г. Короленко «банкиром». Это название он заслужил своей страстью «выручать из беды». Очень часто касса «банкира» оказывалась пустой, ссуды приостанавливались, и он отправлялся отыскивать кредиты. Ходатайства «банкира» обыкновенно увенчивались успехом; он слишком хорошо доказывал необходимость помощи рядом соображений: положением нуждающегося, его желанием «встать на ноги» и т. д. и т. д.

Клиентов «банкира» брали на места, давали им и денег и платья. Если клиент доверия не оправдывал, «банкир» убежденно говорил, что следует его «еще раз испытать».

У меня сохранилась следующая записка — типичный представитель циркуляров «банкира»:

«Л. вопиет о 35 рублях, — а я собрал уже свои поскребушки у В. А. Горинова и теперь не имам. Не пошлете ли?

В. Короленко» [11].

Весьма понятно, что такой отзывчивый человек, как В. Г. Короленко, не может быть только жрецом «чистого» искусства. И действительно, мы видим, что он постоянно вмешивается в жизнь с ее борьбою и ее противоречиями. В 70-х годах В. Г. Короленко увлекает волна «хождения в народ» и другие течения тогдашнего времени. В 90-х годах он — деятель «голодного года», защитник мултанских вотяков [12] и т. д., — это, так сказать, крупные этапы, но интересны и более мелкие.

Нижегородские земцы, дворяне, судьи и городские гласные часто видели «корреспондента Короленку», внимательно слушающим прения собраний, дебаты думы и судоговорения.

— Когда у меня перо в руках, — говорил не раз Владимир Галактионович, — я не знаю жалости.

И это подтверждалось фактами. Вскоре после «визитов» появлялись корреспонденции, которые сыграли

большую роль в развитии нижегородского самосознания. До В. Г. Короленко о нижегородских делах писал лишь А. С. Гацисский [13], но по многим причинам ему не удалось создать «нижегородской публицистики». Эту задачу выполнил Владимир Галактионович, и нужно было иметь его талант, его меткость и его чувство меры, чтобы превозмочь все трудности пионерства. Он дал тон, он показал, в какой форме возможно обсуждение многих не тронутых печатью общественных вопросов. С его легкой руки «корреспонденты расплодились» на родине Минина, и теперь, кроме двух больших местных газет, нижегородскую жизнь освещают многочисленные сообщения в столичную печать. Это, конечно, нисколько не порадовало любителей «доброй старины», когда все было шито-крыто, и недаром один из таких господ пустил крылатое слово:

— Короленко, как раскольничий епископ: появился здесь и основал целую секту корреспондентов.

— Когда вы пишете обличения, господа, — говаривал «епископ» своему «причту», — воображайте себе, что все это вы говорите покойно и открыто в лицо обличаемому. Если вы почувствуете, что все вами написанное вы и сказать можете в глаза, — значит, и тон и мера соблюдены.

— Будьте чрезвычайно точны с фактической стороны, — продолжал он, — потому что люди забудут сотни ваших истин и заслуг и придерутся к самой маленькой ошибке.

И сам Владимир Галактионович строго придерживался этих правил. Его корреспонденции в «Русских ведомостях», в «Волжском вестнике», в «Самарской газете», в «Русской жизни» и в других газетах вызывали шум «задетого муравейника», но возражения оставались обыкновенно лишь в проектах. А между тем обличаемыми бывали и зубастые люди, и сильные учреждения, как, например, компания «Дружина», директора Александровского банка [14], губернский предводитель Зыбин, действительный статский советник Андреев, «знаменитый» губернатор Н. М. Баранов и мн. др. [...]

В. Г. Короленко — «певец провинции»; большие города, непрерывные, каменные стены громадных домов, земля, скрытая под мостовой, зелень, видимая лишь на

окнах цветочных магазинов, солнце, задернутое вуалью фабричного дыма, «умные» разговоры, сложные характеры столиц, кружки, где царствует словопрение, — все это не его сфера — не то, к чему лежит его сердце. Он любит наблюдать, как играет река, как шумит лес, как по пыльному проселку идет за иконой народная толпа, как мчатся сани по белому покрову льда и снега. Он любит людей, не оторванных от природы, простых и непосредственных. Много раз друзья уговаривали его написать роман с типами нашей новой интеллигенции, со сложной психологией героев и героинь нашего времени. Но советы эти пропадали даром: «певца провинции» привлекали бытовые картины простого народа, к ним он всегда возвращался с особенным удовольствием. Однажды, решившись описать течения студенческой среды, Владимир Галактионович все же не мог не поставить на первом плане сторожа Прохора...[15] Остроумный приятель В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненский по этому поводу говорил:

— Вам, Владимир Галактионович, мешает нравственность: романист должен испытывать разную разность — и вино, и любовь, и вообще пороки... а вы думаете лишь о добродетели. Это никуда не годится. [...]

Во второй половине 1895 года В. Г. Короленко переехал из Н.-Новгорода в Петербург[16].

— Года идут, и мне пора в большой центр, — говорил он по этому поводу.

Главная причина переезда лежала в журнале «Русское богатство». Повлияли, вероятно, и советы Н. К. Михайловского, очень старавшегося подобрать яркую редакцию. Однако «измена» провинции продолжалась не очень долго: в 1900 году Владимир Галактионович перебрался на жительство в тихую Полтаву. К столичной жизни он оказался не совсем приспособленным: Петербург заедал его время. С утра и до ночи являлись разного рода люди со всевозможными делами и делишками. Приходили депутации с просьбами «читать», приходили авторы с рукописями и за советами, приходили «сложные характеры» с бесконечными «умными» разговорами и т. д. и т. д. Владимир Галактионович оказался вовлеченным в многочисленные комиссии, комитеты, собрания

и заседания, и в итоге он увидел, что у него вовсе нет своего собственного свободного времени. Он пробовал бороться и, между прочим, ко входной двери своей квартиры прибил бумагу с указанием дней и часов «приема». Но это объявление оказалось лишь тщетной попыткой: на расписание не обращали внимания, раздавались звонки, и люди хотя и с оговоркой — «на одну только минутку» — но входили, а «минутки» удлинялись...

— Не умею я, — говорил В. Г. Короленко, — распоряжаться своим временем, как другие.

А для беллетристики Владимиру Галактионовичу именно и было необходимо то, чего у него не было, — «свободного» времени. Ему нужно было свободное время, чтобы «настроиться», а потом — чтобы писать. Между тем перерывы и всякие отвлечения, — а они являлись в Петербурге ежечасно, — не только мешали работать, но мешали даже и начинать.

Думается мне также, насколько я понимаю характер В. Г. Короленко, что столица не давала ему тех впечатлений и тех материалов, к которым лежит его писательское сердце. Столичная жизнь и ее типы — не жанр нашего художника: он любит цельные, простые характеры на естественном для них провинциальном фоне, а столица давала совсем иное. [...]

Для характеристики отношения В. Г. Короленко к начинающим писателям и с целью показать, как много труда он вкладывает в указания и советы, я приведу некоторые выдержки из его письма от 20 августа 1896 года. Это длинное письмо на почтовом листе большого формата, кругом исписанном, является ответом одному автору, имя которого упоминать нет надобности.

«...Скажу вам откровенно: мне эта ваша работа совсем не нравится. Вообще вам предстоит еще очень много поработать над описательным стилем и еще более над разговорным, которым пока вы еще совсем не овладели. И в предыдущей статье заметно сильное однообразие разговорных приемов: «А что — беден ведь этот народ?.. А что — город этот беден?..» И за этим неизменно: «Но отчего же это происходит?.. Но почему же это?..» Это постоянное повторение вопросов придает изложению какую-то деревянность, обращает повествовательный очерк в какое-то интервью или даже протокол

вопросов, на которые ответы уже разумеются сами собой»[17]. [...]

Один знакомый упрекнул Владимира Галактионовича в «дворянском неумении устраивать свои дела». Это обвинение вызвало следующий ответ в письме от 23 апреля 1903 года:

«По поводу «дворянства». Собственно, я себя скорее причисляю к разночинцам: дед и отец — чиновники, прадед — какой-то казачий писарь. Крепостных у нас никогда не было, земельных владений — тоже. Что касается до «неумения устраивать свои дела», то это, может быть, и правда, хотя тоже с ограничениями. Я никогда не был особенно в моде и никогда по возможности не допускал в свою душу мыслей о соперничестве в популярности. Мне хотелось и хочется сказать кое-что, что было бы моим собственным и что я считаю нужным. Есть еще много этого, невыполненного, и предо мною еще вереница планов. Вопросы денежные всегда стояли для меня на втором и даже на третьем плане. Впрочем, книги мои идут не хуже, чем в первые годы, и это, конечно, мне приятно»[18]. [...]

Заметки мои вышли отрывочными. Да послужит мне извинением то, что целью моей были только штрихи и факты, а не характеристика или биография.

С. Протопопов

О НИЖЕГОРОДСКОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ В. Г. КОРОЛЕНКО

(январь 1885 г. — январь 1896 г.)

> Вы не представляете себе, как мы здесь все вспоминаем о Нижнем. Для детей — это какой-то потерянный рай, да и я теперь вижу, что никогда уже не буду окружен такой дружеской атмосферой.
>
> *Из письма В. Г. Короленко от 3 декабря 1896 г.* [1].

Для каждого растения есть подходящая почва. Так и для людей. Один человек расцветает в провинции и вянет в городе. Другой — наоборот. Четверть века тому назад, когда Короленко жил в Нижнем, вопрос о почве, ему подходящей, был еще неясен. Петербургские друзья видели, что он тратит много времени на нижегородские общественные дела, часто отвлекается от чистой беллетристики, старается обзавестись своей собственной газетой. И в Петербурге сложилось мнение, что в интересах литературы надо уговорить Короленко переехать в столицу. «Мы насилу вытащили его из Нижнего, где он прирос к местным делишкам, и на днях ждем в Петербург», — писал Михайловский Якубовичу[2]. И Короленко переехал. Ему казалось, что переселиться из провинции в столицу все равно, что выйти из залива в открытое море. Но жизнь не подтвердила предположений. С первых же дней переезда в Петербург он начинает чувствовать что-то неладное. «Что сказать вам о себе? — пишет он, — трудно въехать в колею». Через несколько месяцев Короленко пишет, что постоянно вспо-

минает о Нижнем. Еще через некоторое время спустя он пишет: «Очень меня удручают разные общества, заседания, прения и пр., и пр.»[3]. Еще немного — и Короленко с огорчением констатирует, что не может приспособиться к петербургской жизни, что не может здесь распорядиться временем, как бы ему хотелось. И складывается убеждение, что опыт переезда в столицу не удался, что надо опять поселиться в провинции, но только не в Нижнем: сюда возвращаться как-то неприятно после торжественных проводов. И выбор падает на Полтаву.

Еще до опыта переезда в Петербург Короленко инстинктивно чувствовал, что его сердце лежит к провинции. Эта инстинктивная склонность прекрасно выражена Короленко в его известном очерке, где он пишет, что избирает путь по реке Ветлуге, «чтобы избавиться от железных дорог, от этих правильных, проторенных путей, по которым летишь без отдыху, сломя голову... Я, признаюсь, предпочитаю проселочные дороги, тихо плетущуюся лошадку, наивный разговор ямщика под шум березок, захолустные, лесом поросшие речки... Меня тянет на уездные тракты и проселочки, по которым так привольно, так мягко идти с котомкой за спиной...»[4]

Конечно, «есть жизнь и в столице, кипучая и интересная! Но... то, что в столице является по большей части идеей, формулой, отвлеченностью, — в провинции мы видим в лицах, осязаем, чувствуем, воспринимаем на себе... Что в столице является борьбою идей, в провинции принимает форму реальной борьбы живых лиц и явлений... Да, провинция затягивает!»[5]

В Нижний Короленко приехал из ссылки тридцати двух лет, здоровый, бодрый, веселый, оживленный и переполненный планами и замыслами. Сила и энергия проявились во всем. Без устали ходил Короленко пешком. Зимой, в трескучие морозы, работал на дворе, одетый как в комнате. Подолгу купался, плавал; ел самую простую и грубую пищу. Часто, увлекаясь работой, а то и разговорами, не спал ночи напролет. И, глядя на него, казалось, что этот необыкновенно прочный человек, на котором тюрьмы и Якутка не оставили следа, проживет долго, долго, как скала... Один американский репортер-интервьюер так описал внешность Короленко: он — «кра-

сивый мужчина небольшого роста, крепкого телосложения и по наружности способный переносить большие физические лишения... Густая, курчавая, каштановая борода обрамляет лицо Короленко. Волосы густые, слегка вьются, глаза светло-карие. Черты лица мягкие. На лбу у него никогда не разглаживающиеся морщины, что придает ему вид постоянно погруженного в глубокие мысли» [6].

Таким приехал Короленко в Нижний. Багажа с собою он почти не привез никакого. Надо сказать, что и до конца своих дней Короленко не обременял себя имущественными тяжестями. Переменив сначала несколько неудачных комнат и квартир, Короленко вскоре обосновался, уже женатым, в доме Лемке у «Трех Святителей» и здесь прожил до переселения в Петербург.

С половины 80-х годов, завоевав известность «Сном Макара» и другими рассказами [7], Короленко стал довольно много зарабатывать, но это не увеличивало его расходов на себя.

— Я люблю, чтобы моя комната была маленькой — окна в два и чтобы моя кровать стояла недалеко от письменного стола.

Это было нужно Короленко, чтобы ночью, когда зароятся мысли, встать и писать. Из мебели он завел только самое необходимое, ни одной дорогой вещи, ни одного предмета роскоши. Посуда самая дешевая и такой же гардероб. По всему было видно, что здесь едят, чтобы жить, а не живут, чтобы есть. Ригоризм, строгость к себе обращали на себя внимание. И эта черта была прирожденной, естественной, отнюдь не выдуманной или напускной, а потому она и казалась легкой, присущей и неотъемлемой.

Конечно, все время, пока Короленко жил в Нижнем, он был под наблюдением начальства. Губернаторствовал тогда Баранов — бывший моряк, «герой», потопивший турецкое военное судно. Бойкий, даже талантливый, Баранов находил интересным иметь под своим надзором такого человека, как Короленко. Есть храбрые люди с оттенком авантюризма, которых занимает брать бомбу в руки: дескать, всем понятно, как это опасно, а я вот не боюсь и обращаться умею. Вероятно, это чувство заставило Баранова пригласить Короленко в «голодный год» к участию в продовольственном деле. Но об этом ниже.

Совершенно иной человек был Познанский — нижегородский жандармский генерал. Он был неглуп и чужд фантазий и увлечений. Он отлично понял, что Короленко «их» враг, и с этой точки зрения смотрел на него. В своих донесениях по начальству он писал: «...Короленко очень подозрителен в политическом отношении, но так умен, хитер и осторожен, что изобличить его в чем-либо очень трудно. Квартира Короленко в Нижнем-Новгороде служит как бы станцией для всех ссыльных, возвращающихся из Сибири, и сборным местом для неблагонадежных лиц, проживающих в Нижнем-Новгороде» [8].

В русской провинции во все времена церемоний было, конечно, меньше, чем в столицах, где все-таки желали не показаться дикарями перед Европой. Не церемонились и агентики генерала Познанского, наблюдавшие за Короленко и его квартирой. Эти агенты подходили к извозчикам, расспрашивали их — кого и откуда они привезли, а иногда заглядывали, уже без всякой церемонии, на кухню Короленко и старались вступить в разговоры с прислугой. Это дало повод Короленко писать Познанскому «прошения», чтобы агентам было запрещено «проникновение в кухню», так как надзор негласный, а еще и потому, что иногда из кухни... после незаконных посещений исчезают ложки [9].

В 1889 году Александр III, после прочтения одного из рассказов Короленко, потребовал о нем справку. В этой справке Дурново, между прочим, сообщил:

«...В настоящее время Владимир Короленко проживает в Нижнем-Новгороде и занимается литературным трудом, который доставляет ему средства к существованию. Литературные произведения Короленко помещаются, главным образом, в московском журнале «Русская мысль» [10]. Сочинения Короленко пользуются большою известностью в обществе и охотно принимаются всеми периодическими изданиями. Лучшие произведения Короленко, независимо от помещения в журналах, издаются отдельно, и некоторые из них выдержали уже три издания. Сюда относятся очерки и рассказы: «В дурном обществе», «Сон Макара», «Лес шумит», «В ночь на светлый праздник», «В подследственном отделении», «Старый звонарь», «Очерки сибирского туриста» и «Соколинец». Все эти рассказы и этюд «Слепой музыкант» изданы редакцией «Русская мысль».

Александр III на докладе написал: «... Личность Короленко весьма неблагонадежная, а не без таланта» [11].

Губернатор Баранов и жандармский генерал Познанский жили недружно — как два медведя в одной берлоге. Оба хотели первенствовать. Губернатор докладывал в Петербург, что Познанский бестактен, не умеет обращаться, когда неблагонадежным является такой незаурядный человек, как Короленко, на которого он, Баранов, нахвалиться не может. «Короленко так же опасен, как был опасен последние годы Достоевский, и вражду генерала Познанского к Короленко надо объяснить не опасностью Короленко, а остротою его сарказмов, относящихся не до правительства, а до самого генерала» [12].

Аналогичная история произошла, когда разыгралась во время голодного года «Лукояновская история» [13]. Лукояновские дворяне стали «отвергать голод», а Короленко в союзе с либералами (в числе их был и Гучков) стал доказывать необходимость самой широкой помощи. Либералы склонили на свою сторону губернатора Баранова, а консерваторы-лукояновцы — князя Мещерского с его «Гражданином». И, может быть, несдобровать бы Короленко, если бы не война губернатора с князем: Баранов заявил публично, в заседании губернского продовольственного комитета — губпродкома, как бы теперь сказали, — что «вся неурядица Лукоянова есть плод усердного чтения «Гражданина», а «Гражданин» — подмостки зловредного фигляра, и знамя его не дворянское, о роли которого, как в общей жизни государства, так и в симпатичнейшей из наших исторических событий — эмансипации — он не знал или забыл. Знамя князя Мещерского — это есть бутафорская тряпка из его собственного балагана». Можно представить, какую сенсацию произвели эти слова губернатора, напечатанные через несколько дней в отчетах о заседании комитета. До этого же думали, что князя Мещерского касаться опасно, да и прямо нельзя, что он близок ко двору, беседует с государем... Дерзкие слова губернатора подхватила печать, столичная и провинциальная, и крылатые слова пошли гулять повсюду. Короленко был возбужден и очень рад этому инциденту [14].

Короленко виделся и разговаривал и с Познанским и с Барановым. Из этих разговоров с жандармским генералом ничего не выходило: Познанский был уже пожилой, окаменелый человек, а с Барановым — «выходило». Этот «электрический», как его потом назвал Дорошевич, генерал оживлялся с Короленко. Баранов любил встречаться и беседовать с Короленко. Это не обрывалось даже ядовитыми порой корреспонденциями в «Русских ведомостях» об ярмарке и проч., в которых наносились чувствительные царапины и нижегородской губернаторской власти.

Только с тактом Короленко можно было в качестве поднадзорного быть в добрых отношениях с губернатором, пользоваться его защитой от жандармов и отмечать в обличительных корреспонденциях разные черные стороны губернской жизни. Эти корреспонденции писались Короленко так убедительно, что трудно было с ними не соглашаться. И Баранов проглатывал пилюлю за пилюлей не без пользы для себя, а главное, для населения.

Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме... Может быть, и это чувство влекло Короленко к провинции. Тут не в честолюбии суть, а в возможности овладевать делами или положениями.

Короленко за одиннадцать лет довольно-таки основательно исходил и изъездил Нижегородскую губернию. Он идет в толпе за иконой, живет в Лукояновском уезде в голодный год, выезжает из Нижнего на затмение, плавает по Ветлуге, по Керженцу и т. д. и т. д. Короленко наблюдает, как играет река, и слушает, как шумит лес. Он простаивает ночи среди толпы, где ведутся религиозные споры, и посещает молельни и скиты, где доживают последние могикане когда-то воинствовавших староверов, которых так талантливо и описывал и пощипывал Печерский-Мельников [15].

Несмотря на то что мы подошли к периоду электрификаций и Нижегородская губ. разрезана и перерезана линиями железных дорог, все же в ней еще много девственных углов, дремучих лесов, захолустных деревень и не тронутых скептицизмом XX века религиозных умов. Как историк отыскивает «клады» и «золотые россыпи» среди древних архивов, так и Короленко отыски-

вал свои клады в этих еше не проветренных уголках Поволжья.

В нижегородский период жизни Короленко печатает свои лучшие произведения — те, которые наиболее его прославили [16]. Не все они являются обработкой нижегородских впечатлений, здесь получил свою отделку и сибирский материал, но важно отметить, что в Нижнем Короленко работается хорошо, продуктивно. Здесь он достигает своего сорокалетнего возраста и переваливает через него. А после нижегородского периода идет петербургское четырехлетие, которым он сам остался недоволен. Полтавский период — это уже вечер. Письма Короленко из Полтавы пестрят жалобами на ослабление деятельности сердца и на болезни вообще. Зенит работы остался позади, и Полтава видит поседевшего Короленко, отлучающегося в Наугейм и Ессентуки.

Итак, нижегородский период — это короленковская кульминация. Но об этом — ниже; а сейчас я хочу остановиться на экскурсиях Короленко «по проселкам» Нижегородской губернии. Он путешествует совершенно так же, как ботаники, зоологии и геологи экскурсируют за своими материалами. Он провожает с толпой Оранскую божию матерь и набирает материал для «За иконой». Из Лукояновского края вывозится «В голодный год». Из Павлова получается очерк кустарной промышленности [17] и т. д. Впечатления, наблюдения и разговоры заносятся в записную книжку. Нередко, по словам Короленко, приходилось ему записывать особенные обороты и выражения, но делать это надо было так, чтобы собеседник не замечал. В таких случаях записная книжка не вынималась из кармана, и заметки нацарапывались кое-как, на клочке газеты или даже на доске.

Любимая манера Короленко для набора своих материалов — это ходить пешком «с котомкой на спине». Здоровье и неприхотливость позволяют легко переносить и усталость, и дожди, и ночлеги самые неудобные. По Ветлуге Короленко поднимается на пароходике, не знающем расписания, а по Керженцу Короленко спускается в лодочке со своими родственниками-мальчиками. Костры, бивуаки, ночи среди берегового леса — все это приносит только удовольствие. Зато в записную книжку уловлены Тюлины и пр. и пр. типы любимых публикой рассказов. Таков метод наблюдений Короленко.

Записная книжка приносилась в Нижний и некоторое время оставлялась в покое. Короленко говорил, что пока еще болят мозоли от ходьбы и спина не отдохнула от лямок и котомки, писать еще рано: «надо дать впечатлениям немного отодвинуться и образовать картину». [...]

Короленко, конечно, обладал совершенно выдающимися стилистическими способностями. Эта черта была семейной, и Владимир Галактионович часто вспоминал, что у его брата Юлиана это дарование было еще более ярким. А писателя из Юлиана все-таки не вышло: чего-то немного недохватило. Короленко находил, что после двадцати пяти лет уже поздновато начинать вырабатывать свой слог, что этим надо заниматься с юности, что это дело и очень трудное, и очень продолжительное.

О стиле Короленко высказано было много мнений. Широкой публике его стиль чрезвычайно нравится. Он соответствует чувству романтизма и поэтическому вкусу, он трогает сам по себе, даже независимо от содержания. Чехов называл слог Короленко изысканным, Мережковский — приподнятым [18], а Чернышевский через Иллариона Короленко, с которым переводил «Историю» Вебера [19], советовал Владимиру Галактионовичу «писать проще». Даже корреспонденции выходили у Короленко особенными. Однажды какая-то прокламация была приписана перу Короленко. При разговоре о ней с директором департамента полиции Зволянским Короленко услышал:

— И я думаю, что не вы это писали: я бы узнал вас по стилю.

Чтобы понять местную общественную жизнь, Короленко усердно посещал земские собрания, городскую думу, дворянские собрания, сессии окружного суда, ярмарочные собрания, камеры мировых судей и т. д. До Короленко в Нижнем все эти учреждения не видывали у себя корреспондентов. Как щедринский губернатор косился на шкаф с законами [20], так и нижегородские деятели косились на «корреспондентов».

В Нижегородском суде того времени сессии вел обыкновенно член суда Бер, друживший с аристократами и черносотенцами. Видным товарищем прокурора был И. Г. Щегловитов, впоследствии — 5 сентября 1918 го-

да — расстрелянный, как царский министр. Когда Короленко впервые пришел в суд в сопровождении еще двух товарищей, Бер посмотрел на них с неприязнью. Он любил и покрикивать и острить: так разве приятно через несколько дней прочитать об этом в казанской или в московской газете!.. И Бер задумал вытеснить «писак», лишив их даже стульев, что и было поручено ловкому судебному приставу. Но за «представителей гласности» заступился Щегловитов, тогда молодой и либеральный:

— Я полагал бы дать представителям гласности не только стулья, но и стол!.. — заявил он в заседании. И Беру пришлось уступить. Он стал воздерживаться от словечек; прокуроры и адвокаты стали стараться заслужить газетную похвалу. В учреждениях Фемиды стал чувствоваться свежий воздух.

Подтянулись и мировые судьи. До Короленко они нередко и на часик и больше запаздывали в заседания и приходили, после ночей в клубе, после винца и картишек, в неважном настроении. И тоже покрикивали не хуже Бера. Но вид «корреспондентов» подействовал и на них.

Особенно не рады бывали «газетчикам» в дворянском собрании. Дворяне владели в то время большим общественным пирогом под названием Нижегородский александровский дворянский банк. Акулы сословия — Зыбины, Панютины, Демидовы, Аверкиевы, Андреевы и проч. — закладывали в банке имущество по чрезмерным оценкам и по десяти полугодий не платили процентов. Банк разорялся, акулы лакомились. Короленко повел «кампанию»: получил от дворянской либеральной оппозиции обличительный материал и напечатал в казанском «Волжском вестнике» ряд корреспонденций. Прокуратуре пришлось начать дело о хищениях... [21]

Теперь, когда все это отошло далеко-далеко назад, нижегородские события 80-х и 90-х годов кажутся скромными, но тогда мы страшно волновались, не спали по ночам, совещались, бегали, собирали сведения, писали и постоянно ожидали мести, обысков и даже арестов. Лидером нашим был, конечно, Короленко.

Надо сказать, что в то время в Нижнем жили Анненские, Елпатьевские, Иванчин-Писарев, Богданович и другие более молодые и менее известные «неблагонадежные» силы. Наезжали Успенский, Михайловский. Аннен-

ский заведовал статистикой земства и подобрал чуть не два десятка прямо выдающихся работников. Сюда примкнуло все «склонное к прогрессу» из местной интеллигенции. Образовался кружок «трезвых философов», читались доклады, рефераты, велись дебаты. Молодая жизнь била ключом.

Новые, народившиеся, наплодившиеся корреспонденты пробовали свои силы. Почта приносила иногородние газеты со статьями нижегородцев. Конечно, Короленко задавал тон и был регентом хора. Корреспонденции читались на собраниях и обсуждались «трезвыми философами». Это была настоящая школа. И в экскурсии Короленко часто брал с собой кого-нибудь из «начинающих» и обучал его собиранию материала [...]

Вот выписка из одного письма Короленко, которое было направлено к члену совета министерства внутренних дел — Деспот-Зеновичу.

«...Несколько лет назад благодаря печати раскрыты были возмутительнейшие хищения некоего г. Андреева, бывшего предводителя дворянства... Хищения эти производились много лет совершенно открыто, и только когда в печати вещи были названы их собственными именами, г. Андреев удалился от должности. Растраты его были совершенно незаконно покрыты, чтобы только замять дело, из дворянского банка. Зачем это было сделано, стало ясно, когда та же печать, а затем и прокурорский надзор, раскрыли целый ряд вопиющих хищений и воровства в самом банке. До чего доходила эта оргия, видно из того, что губернский предводитель Зыбин закладывал уже погашенные банком вкладные билеты в свою пользу. Совершенно понятно, что за Андреева, знавшего все это, поторопились заплатить и его растраты. Банк, втянутый в эти операции, рухнул. Дело о Зыбине в сенате. Один из директоров умер в тюрьме. Другой под судом. Остался сух и чист один Андреев... Андреевское наследство осталось во всех развращенных им учреждениях. В книгах земской управы оказались вырванные листы, подлоги, подчистки. Кроме опекунских, оказались раскраденными училищные, страховые и библиотечные деньги. А до какой наглости доходил этот господин, видно из того, что некоего Бутурлина он сделал умершим только для того, чтобы заживо получить его наследство в опеку и растратить. ...Недавно уличен в воровстве го-

родской голова Губин, и дума назвала это не воровством, а позаимствованием. И всюду в разговорах слышишь ссылки на Андреева. Очевидно, это становится обычным явлением, и у всех, пытающихся бороться с хищениями, опускаются руки.

...Но из-за хронического зла я бы не потревожил Вас. Наша нижегородская болезнь приняла острую форму... Один из моих знакомых... подал на Андреева жалобу в сенат: ...Что же оказывается? Из сената жалобщик получил извещение, что его жалобе дан ход, а чрез прокурора — приказ от министра юстиции взять жалобу обратно. При этом — не прямом, впрочем, — приказе сообщается, что поступок жалобщика «не согласен с видами правительства». Представьте себе теперь, что происходит у нас в провинциальном обществе, узнающем, что раскрытие явного воровства, оглашенное, сопровождаемое *печатными* документами, не согласно с видами правительства, и что за него даже угрожают какие-то последствия не тому, кто воровал, а тому, кто принес на воровство открытую, законную, доказательную жалобу. Последствия понятны. Нужно заметить, что уже давно среди нижегородского общества пущен слух, что будто где-то есть высочайшее повеление о том, чтобы Андреева не тревожить. Разумеется, нельзя верить этому слуху, так как нигде напечатано оно не было. Это во-первых; во-вторых, законы, повелевающие бороться с воровством и подлогами, тоже — верховная воля, и невозможно, чтобы в верховной воле по этому предмету было какое-либо противоречие. В-третьих, ныне царствующий государь ясно, особенным манифестом [22], призывал всех к борьбе с хищениями. Что из всего этого несомненно, и чему мы должны следовать? Вопрос, не допускающий сомнений и колебаний. Несомненно, что не покрытие воровства, а борьба с ним должна быть согласна с верховною волей» [23].

Борьба велась по вопросам гораздо более широким, чем простое воровство. Короленко никогда не вмешивался в дела о мелких хищениях, учиненных мелкими, несчастными людишками, «неблагоразумными разбойниками», как он их любил называть. Разбойники очень благоразумные, хищные, высокопоставленные — вот что его интересовало. И в этих делах с первых же шагов обнаруживалась уже борьба с гнилыми сторонами

строя — с протекциями, с привилегиями. Хищения были лишь поводом, чтобы вскрывать вопросы о произволе, о безнаказанности сильных мира сего. За предводителя Андреева заступался министр внутренних дел Дурново, а министр юстиции Манассеин не только не давал отпора, но сервильно заминал начатые дела. Борьба, таким образом, переносилась в столицу и получала широкое, принципиальное, всероссийское значение. Короленко был глубоко и непоколебимо убежденный противник всех изъянов минувшего строя и понимал, что бить его надо фактами. Он не очень старался, чтобы похищенные тысячи были взысканы с виновных, чтобы преступник непременно попал в тюрьму. Все это казалось Короленко «справедливыми мелочами». Ему нужно было добраться до какой-нибудь теневой стороны русского уклада и через печать обратить на нее всеобщее внимание. Луч света в темном царстве — вот всегдашняя цель Короленко. Решаясь сменять Нижний на Петербург, он надеялся при помощи столичной редакции получить большой рупор для обличения зла.

Обличительные материалы Короленко получал от нижегородской либеральной оппозиции. Представители этого слоя — земцы, адвокаты, доктора, учителя, чиновники, статистики, студенты — часто посещали квартиру Короленко. Сюда шли по влечению сердца. Шли иные и по влечению моды. Постоянный кружок Короленко имел, несомненно, социалистическую окраску. Это не исключало возможности хороших отношений с очень умеренными земскими либералами. Терпимый, с широкими взглядами на разнообразие человеческих мнений, истинно беспартийный — Короленко всегда старался отыскивать сходства в идеях и стремлениях, старался соединять и примирять, а не ссорить и разобщать. Когда какие-нибудь люди, по существу очень друг другу близкие, слишком горячо между собою спорили и уверяли, что их «разделяют пропасти и бездны», Короленко любил припоминать слова нижегородского земца Савельева:

— Какие у нас тут партии и программы?.. Просто одни воруют, а другие довольно тщетно стараются им в этом помешать. Вот вам наши консерваторы и либералы.

Я сейчас перелистал «Журналы собраний Нижегородской губернской продовольственной комиссии» начала 1892 — «Голодного года». Тут и знаменитый доклад Короленко, и поучительный перечень людей, с которыми Короленко рука об руку работал. Тут и губернатор, и прокурор Безе, и миллионеры-хлеботорговцы Башкиров и Бугров, и земские начальники, и представители бирж и пароходства, и чиновники, и земцы, и купцы... Какая удивительная смесь и неожиданная компания. И Короленко не только с ними работает, он даже «задает тон». У него цель: помочь голодающим и сломить «лукояновцев»-реакционеров. И вот он подбирает союзников на это определенное, очередное, неотложное дело. Его не смущает, что, может быть, в недалеком будущем он будет бороться с кем-нибудь из сегодняшних союзников... Ведь все на свете временно. И Короленко с необыкновенным тактом устраняет вопросы, которые могут разъединить его компанию, и выдвигает то очередное главное, что немедленно должно быть сделано.

«...Я решаюсь утверждать[24], — заявил Короленко в комиссии, — что уездная лукояновская продовольственная комиссия как будто принимает все меры не к тому, чтобы выяснить истинное положение, а скорее к тому, чтобы самые грустные явления не могли беспокоить ее слуха. Вот примеры. Я выбираю только те, которые оставили следы в официальных бумагах... Отрицание тифозных заболеваний даже в селе Наруксове...» и т. д. и т. д.

Короленко превращает своих слушателей в своих сторонников и добивается того, что в этой комиссии, в сущности очень правой, генерал Баранов назвал «Гражданин» подмостками зловредного фигляра, а знамя князя Мещерского — бутафорской тряпкой из балагана.

Короленко перевоспитывает губернские нижегородские верхи. Все эти чиновники, дворяне, купцы и т. д. слышат вещи совершенно для них новые. Короленко убеждает их, что подачки унижают голодающих крестьян, что народ имеет *право* на государственную помощь, что при неурожае хлеб *должен* быть дан...

— Нас не унижает, — говорит Короленко, — только то, что мы получаем по праву. Не унижает плата за труд, не унижает кредит, истекающий из кредитоспособности берущего, или страховая премия... Но достаточно вдуматься в значение теперешних обысков в амбарах,

избах, подпольях и даже в печах. Крестьянин рассматривался не как полноправный хозяин... а как попрошайка, который прежде всего подлежит подозрению в утайке имущества, с целью вымогательства... Несомненно, что отношения, возникающие на этой почве, не достойны ни русского крестьянства — основного зерна нашего народа, которое только клевета может обвинять в огульной порочности, ни представителей ближайшей власти. Несомненно, что такая постановка глубоко симпатичного и необходимого дела помощи — деморализует и тех и других [25].

И комиссия внимает этим речам, несмотря на то что «курс» русской жизни в то время был очень реакционный: мировые судьи были только что заменены земскими начальниками, власть дворянских предводителей была усилена, и мужика решено было подтянуть. Но такова уже сила таланта. Короленко идет против течения и увлекает, казалось бы, не очень-то подходящих для этого людей.

«Мне самому приходилось видеть, — докладывал Короленко в комиссии, — мужиков и подростков с нетвердой, шатающейся походкой, с лицами землистого цвета, с особенным характерным подергиванием губ. В селе Шутилове мне известен уже случай, когда ребенок (в семье Николая Игнашина), долго и напрасно просивший у матери есть, искусал у нее руки. В Саваслейке называют крестьянина, умершего от истощения (долго голодал, поел и умер), и другого, спасенного стараниями частных благотворителей. Задавшись целью сделать до распутицы все, что возможно, я не имел времени проверить все подобные случаи на местах, но умолчать о них счел себя не вправе... Я никогда не забуду нескольких часов, проведенных мною в Логиновке и особенно в Пралевке за составлением списка для столовой. Здесь происходил ожесточенный спор из-за каждого места. Больные, изможденные упорной лихорадкой хозяева, оспаривающие места у нищих женщин, с плачем кидающиеся к ногам, общие жалобы, стоны и вопль — вот слабое описание картины, которую я видел в деревне, указанной мне самим земским начальником, и куда я вошел со своей микроскопической помощью. Здесь с особенной ясностью испытал я горькое чувство полнейшего бессилия благотворительной деятельности там, где общая система пра-

вительственной помощи извращена в такой сильной степени, что в качестве причины отстранения от столовой приводилась следующая, записанная мною с буквальною точностью, фраза: «хотя не евши сидят, а все-таки еще в силе». И стоило посмотреть на эти изможденные лица, на лихорадочные глаза, на больных, опускавшихся в бессилии на пол, чтобы понять, что это не простая фраза, а горькая истина» [26].

Правительственный курс в это время был очень правый, реакционный. На верхах старались «поправить» уступки и увлечения «эпохи великих реформ», и Короленко было особенно трудно идти против течения. Конечно, Короленко шел только против официального, поверхностного течения. Настоящее, глубокое, народное течение было иное, и Короленко его чувствовал. Он всем говорил, что правительство опрометчиво воздвигает плотины, преступно прекращает выходы для пара из котла. Это приводит ко взрывам.

«Провинцию сравнивали как-то с водоемом, — говорил Короленко. — Идеи, зарождающиеся в столицах, проникают в провинцию, откладываются здесь, накопляются, растут... Есть известная глубина, до которой не достигают колебания, происходящие на поверхности... Чувствуешь, что это жизнь и что источники этой жизни никогда не иссякнут, какие бы порой иссушающие веяния ни шли «из центров» [27].

Иссушающие веяния из Петербурга все усиливались. Свободу слова душили Феоктистов с Адикаевским, и губернаторам вменялось — особенно следить за местной печатью. Но Короленко настойчиво стал пробиваться и в этом направлении. Ему неудобно было не иметь своей газеты в Нижнем, а постоянно пользоваться печатью других городов — Казани и Москвы.

В Нижнем были, не считая официозов, две газеты: Жукова (впоследствии «Волгарь») и «Листок справок и объявлений» Милова [28]. Обе газетки были маленькие, бедные, пустые и жалкие. Губернаторские чиновники обращались с издателями и редакторами как с лишенными прав и вечно виноватыми. На цензурных гранках писались замечания, как пишут иные учителя свои внушения на полях ученических тетрадей. Короленко все это

знал и все-таки решился попробовать иметь свою газету. Он находил, что нижегородские «газетчики» не так ведут дело, как следует, и себя ведут не так, как следует: народ измятый, запуганный... Легко нашлись средства. О выгоде, конечно, никто не думал: на такие вещи не обращали внимания в кружке Короленко, пропитанном его духом... «Вопросы денежные, — писал впоследствии Короленко, — всегда стояли для меня на втором и даже на третьем плане» [29].

Приторговали у Милова его «Листок справок и объявлений» и откомандировали меня в Петербург добиваться разрешения и на газету и на типографию. Короленко очень увлекся газетной идеей, хотя и допускал, что губернатор Баранов, может быть тайно, но затормозит дело: ведь ему ясно, что с газетой Короленко будет нелегко справляться. Но Баранов не оправдал наших опасений и подозрений. Когда революция открыла все тайные архивы, мы убедились, что губернатор писал в Петербург то, что говорил открыто в Нижнем. Он искренне «увлекался» Короленко и помогал ему в его издательских домогательствах. Затормозили дело Феоктистов и Адикаевский в силу «иссушающих веяний» центра. Короленко получил отказ [30].

О кружке Короленко надо сказать хоть несколько слов. В Нижнем Короленко женился на Евдокии Семеновне Ивановской, с которой познакомился в Петербурге на Казанской площади, когда там была засуличевская демонстрация [31]. Авдотья Семеновна происходила из «чрезвычайно неблагонадежной» семьи: брат ее — доктор «Петро» [32] бежал в Румынию, сестра Прасковья [33] отбывала каторгу на Каре. Рядом с квартирой Короленко жили Лошкаревы — сестра Владимира Галактионовича, ее муж — бравый волжский капитан, тоже бывший в ссылке, и их дети. Сестра Короленко была такая же веселая и общительная, как и сам он, и когда все бывали в сборе, остроты, смех и говор не умолкали. Но особенно всех оживлял Анненский Николай Федорович. Человек он был прямо обаятельный. Добрый, чрезвычайно остроумный, всегда оживленный, он был ферментом нижегородского кружка, как, впрочем, и всех кружков, где он бывал. Его жена, урожденная Ткачева — сестра извест-

ного эмигранта Петра, — была при муже как регулятор при машине. У бездетных Анненских воспитывалась их племянница Татьяна, что давало повод Короленко говорить, что Анненских — троица: он, она и оно. Писатель доктор Елпатьевский, его семья, Иванчин-Писарев, Илларион Короленко, именовавшийся между своими «Перчиком». Мать Короленко Эвелина Осиповна с необыкновенно красивым и приятным лицом, ее сестра — «баба Лиза», или «цитуня дрога» *, и т. д. и т. д. Целая колония, умноженная еще многими местными «перебежчиками», которые побросали свои лагери под влиянием магната — Короленко.

Сейчас, когда я набрасываю эти строки, все эти люди представляются мне как живые, а их уже почти всех нет «на земле». Кружок Короленко вспоминается мне, как нечто прямо изумительное. Правда, люди подобрались незаурядные, но, главное, все они были охвачены каким-то непрерывным порывом к добру, к бескорыстию, к человеколюбию, к лучшим духовным интересам. Верующие чувствуют себя подобно этому в день причастия. «Я... вижу, что никогда уже, вероятно, не буду окружен такой дружеской атмосферой»[34], — писал Короленко, переехав из Нижнего в Петербург.

Совсем иначе все вышеописанное отражалось в кривом зеркале нижегородского жандармского генерала Познанского. Он доносил в столицу:

«...В Нижнем Короленко успел втереться в дома многих влиятельных нижегородцев, считающих за честь быть знакомыми с такой современной знаменитостью и даже заискивающих в нем. Вследствие этого Владимир Короленко не только удобно устраивает в Нижнем прибывающих сюда на жительство бывших политических административно-ссыльных, но и лично сам стал влиять на некоторые общественные дела. Около него группируются положительно все поднадзорные Нижегородской губ., и все, что он им высказывает, — для них закон. Сверх всего этого, Владимир Короленко и его жена доставляют временный приют проезжающим чрез Нижний неблагонадежным в политическом отношении лицам и ле-

[1] Дорогая тетечка (*польск.*).

том устраивают их на пароходе, которым командует их зять, Николай Лошкарев, и на пароходах Зевеке, благодаря находящемуся на службе в конторе Зевеке Иллариону Короленко»[35]. В другой раз Познанский доносил: «...Я имел уже честь доносить не раз, что В. Короленко составляет центр, около которого группируются почти все без исключения подозрительные личности, проживающие в Нижнем. У него же в доме, без всякого сомнения, изгоняемая из высших учебных заведений молодежь получает первые уроки нигилизма и социализма. Участие Короленко в издании ежедневного печатного органа даст ему возможность расширить свою агитаторскую и в то же время крайне скрытную деятельность»[36].

Ясно, кто помешал Короленко обзавестись в Нижнем своею собственной газетой.

Выше было приведено письмо Михайловского о том, что Короленко «прирос к нижегородским делишкам». Много, много раз приходилось Короленко и лично выслушивать подобные дружеские и доброжелательные укоры. И, конечно, он призадумывался. Он любил Михайловского, верил ему и уважал его. Этот больной вопрос до конца жизни беспокоит Короленко, и он к нему возвращается и возвращается. С одной стороны — не надо разбрасываться, не надо отвлекаться от беллетристики в область практических дел. Только тот уходит далеко, кто идет по одной дороге. Но с другой стороны — пример Золя, вмешавшегося в дело Дрейфуса[37]. А уж, кажется, Золя умел утилизировать свое время. С одной стороны, американское правило об одной специальности, с другой стороны, «поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан»[38]. И т. д. и т. д. В рассуждениях тут запутаешься. Но Короленко человек цельный и в важных вопросах поступает не по указанию головы, а по требованию сердца. Незадолго до смерти, подводя итоги и вспоминая всю свою жизнь, как Старый Звонарь[39], Короленко опять, и уже в последний раз, подумал и о том, не раскаивается ли он, что отрывал время от беллетристики? И на это Короленко ответил себе, что нет, не раскаивается, нисколько не раскаивается[40].

Интересно отметить, что большинством речей на прощальном обеде[41], которым нижегородцы чествовали отъ-

езжавшего в Петербург Короленко, подчеркнута была, главным образом, его общественная деятельность. Доктор Позерн обрисовал Короленко «как живого общественного деятеля, группировавшего вокруг себя все порядочные элементы общества». Присяжный поверенный Ланин сказал: «Привет Вам, могучему борцу за благо общественное». Статистик и писатель Плотников сказал: «Справедливость — вот что написано на знамени Владимира Короленко, как писателя и общественного деятеля. Везде и всюду он встает перед нами как рыцарь справедливого дела». Присяжный поверенный Фрелих оттенил «крупную, выдающуюся роль, которую играл Короленко в нижегородской общественной жизни». Член городской управы Богоявленский сказал: «Живя среди нас и разделяя с нами наши невзгоды, вы тем самым уменьшали их по меньшей мере наполовину. С другой стороны, своим чудным словом... вы умеряли силу давления на жизнь существующего у нас гигантского гидравлического пресса». И т. д.

То, что из Петербурга казалось «делишками», в Нижнем рисовалось подвигами.

В 1893 году Короленко собрался в Чикаго на выставку. Но, конечно, выставка сама по себе являлась только одною из целей: хотелось посмотреть Англию, Францию, Америку и потолковать по душе с русскими эмигрантами — товарищами и друзьями. На иностранных языках Короленко не говорил и потому был рад моей компании. В июне мы тронулись в путь из Нижнего на Москву и Петербург, чтобы через Финляндию, Швецию и Данию попасть сначала в Лондон и затем уже, после отдыха, плыть через океан.

Теперь, когда революция открыла и архивы департамента полиции, мы знаем, что отъезд Короленко в Америку озаботил начальство: губернатор сносился по этому поводу с Петербургом шифрованными телеграммами. То же делал и жандармский генерал Познанский. Охрана решила, что русские эмигранты в Америке «непременно воспользуются приездом Короленко для различных противоправительственных демонстраций»[42], а потому было решено, предупредив русского консула Оларовского, поручить американскому тайному агенту рус-



М. Г. Лошкарева, сестра писателя (1888)

ской охраны Сергееву наблюдать за Короленко возможно зорко. Сергееву это было легко выполнить: он был своим человеком среди наших эмигрантов в Нью-Йорке, где ни о чем не подозревали и относились к Сергееву с полным доверием. Сергеев даже порою заведовал конторою «Free Russia»... Этот человек встретил нас в день нашего приезда и с тех пор, можно сказать, от нас не отходил, пока мы не уехали из Нью-Йорка. Донесения Сергеева довольно точны и объективны [43]. Мы его совсем не опасались, так как доверяли рекомендации наших эмигрантов.

Но я забежал вперед и должен вернуться в Нижний, к моменту нашего отъезда «за океан». Следующие данные я заимствую из моей записной книжки.

23-го июня мы отбыли из Нижнего с вечерним поездом на Москву — в Петербург [44]. Провожали родные и друзья — человек пятнадцать. Многие, и особенно Анненский, старались быть веселыми, но Короленко задумывался: разлука всегда его огорчала, а путь предстоял и далекий, и продолжительный... мало ли что может случиться?.. И действительно случилось: в Чикаго Короленко узнал, что умерла его дочь [45].

В Гельсингфорсе мы повидали Игельстрома, тоже бывшего ссыльного. Он глубокий знаток Финляндии и очень любит эту страну. С Игельстрома начались наши общения с «неблагонадежными элементами».

Из Гельсингфорса мы отплыли в Стокгольм, с письмами и адресами, припрятанными довольно искусно под ленточками шляп и в других подобных местах, но благодаря добрым отношениям Игельстрома с финляндцами мы сели на пароход даже без досмотра и без предъявления паспортов.

В Стокгольме Короленко читал шведские газеты, не зная языка, и много понимал по созвучиям с немецкими корнями. Я это отмечаю, как доказательство его редких лингвистических способностей.

В одном счете мы обнаружили несколько лишних крон.

— Не будем с ними спорить и расстраиваться, — сказал Короленко, — ведь мы сюда приехали не затем, чтобы исправлять здешние нравы.

Короленко намеревался дать себе отдых: не будет постоянно заносить в записную книжку все мало-

мальски подходящее. «Так нищие прячут в свои мешки всякие находки». Но привычка брала свое, и он очень часто и подолгу записывал. При этом он жаловался, что дело не клеится. В России, особенно в провинции, записывается легко, а здесь совсем иной материал, незнакомый, непонятный, не знаешь, что брать и что из него делать.

— Я смотрю здесь на человека и не знаю, к какому типу он относится... Не отличу извозчика от министра... Представьте себя вдруг в каком-нибудь австралийском лесу: и извольте-ка собирать грибы, которые вы видите впервые в жизни...

От Дании до Англии нас сильно качало. Короленко много раз старался «пересилить Нептуна» — наблюдать море и волны с палубы, — но качка давала себя знать.

Англия рисовалась Короленко как страна, населенная типами Диккенса, Вальтера Скотта и других любимых английских писателей. Короленко знал, что это не оправдается, что типов много, и жизнь не подведешь под литературные образцы, но все-таки повсюду искал своих «знакомых». Конечно, мы были и в парламенте и во многих музеях, галереях, театрах и т. д. Слушали Гладстона, Чемберлена и других ораторов, но Короленко не «загорался» и порой имел даже озабоченный вид.

— С годами, — говорил он, — утрачиваешь бескорыстную любознательность: и читаешь, и собираешь, и наблюдаешь только нужное для работы, то, что знаешь, как использовать. А в здешних впечатлениях так трудно разобраться...

Как бы на выручку, явились наши эмигранты, и Короленко стал уделять им много времени. Семья Кравчинских, Волховской, Чайковские, Кац и многие другие ежедневно нас навещали, и в Лондоне Короленко стал себя чувствовать как бы в уголке России. Особенно Короленко заинтересовал Кравчинский. Он с увлечением говорил о литературе, о манерах писать, о политике вообще и о России в частности, но никогда не упоминал о Мезенцеве, которого убил на Михайловской улице, да и о покушениях вообще он не любил говорить. Кравчинский перевел несколько рассказов Короленко на английский язык [46] и имел в Лондоне довольно много знакомых. Эти джентльмены и леди, узнав из газет о приезде Короленко, попросили Кравчинских познакомить их с автором «Слепого музыканта», который выдержал в Англии

несколько изданий [47]. Незнание английского языка очень стесняло Короленко, но вечер прошел оживленно. Леди, да и джентльмены тоже, поочередно подсаживались к Короленко и через переводчиков разговаривали с ним. Англичане недоумевали, почему Короленко идеализирует людей некультурных, как будто он не сторонник цивилизации...

Короленко относился к нашим эмигрантам очень сердечно, часто задумывался, как бы тому или другому помочь; жалел, что они оторваны от родины, что им среди чужих и трудно и одиноко. На эту сторону жаловался даже такой твердый человек, как Кравчинский. Его жена говорила, что не будь социалистов, они, Кравчинские, на первых порах прямо бы погибли. А Кравчинский добавлял, что долго не мог освоиться среди англичан. Надо было изучить язык, понять нравы, запомнить обычаи.

— Не скоро научился я понимать англичан... Сводит меня судьба с человеком, а я не могу понять, что он за тип, что из себя представляет, хороший или плохой, вульгарный или наборот, и так далее. Своего рода наука товароведения...

Короленко подтверждал верность этих слов и прибавлял, что поэтому не нарастает у него материал в записной книжке.

— Я чувствую себя здесь выбитым из колеи, не в своей тарелке. Окружающая жизнь и эти люди мне непонятны, я не знаю их характеров, как не знаю и их языка.

И тем охотнее расходовал Короленко свою общительность на милых его сердцу эмигрантов. Все наши крошечные запасы — русский чай, сахар, кое-какие русские книжки, папиросы и т. п. — быстро были розданы. Короленко, возвращаясь в нашу комнату, подолгу разговаривал об эмиграции, о тяжелых сторонах ее жизни и о том, что необходимо всячески помогать людям, отдавшим себя общественному делу — свержению самодержавия и водворению свободы в России.

Конечно, это настроение отразилось на всем характере пребывания Короленко за границей. Он перестал посещать театры, плохо осматривал музеи и галереи и за границей работал над делом, увлекавшим его и на родине: обсуждал вопросы издательские, обдумывая, какие брошюры могли бы принести пользу, как бы лучше ввозить в Россию «Фри Рöша» и т. д. [48].

Из Ливерпуля мы отплыли в Америку на громадной «Урании». Среди сотен пассажиров нашлась барышня, обошедшая палубы с просьбой — писать ей что-нибудь в альбом на своем родном языке. Этим было обнаружено, что нас ехало не дванадесять языков, а вдвое больше, то есть двадцать четыре языка. Среди них только мы двое были русские. Короленко чувствовал себя очень одиноким и развлекался только морем, наблюдая подолгу за волнами с палубы. Свои впечатления в этом смысле он изложил в «Без языка».

Дня через три Короленко все же начал разговаривать с некоторыми из наших спутников. Нашлись читавшие, — конечно, в переводах, — его рассказы. У датчанки, г-жи Линдер, нашлись даже книжки Короленко, что его заинтересовало. Немного по-французски, немного по-немецки и по-английски Линдер объяснила, что была тронута до слез, когда впервые прочитала «Старого звонаря». Еще чрез день многие уже знали о Короленко и заговаривали с ним, но беседы затруднялись отсутствием общего языка.

Кравчинский сообщил в Нью-Йорк Гольденбергу, который заведовал американским отделением «Фри Рöша», о приезде Короленко. Эмигрантская колония была взволнована и поделилась своими ожиданиями кое с кем из нью-йоркского репортажа. Поэтому «Урания» была встречена несколькими юркими интервьюерами, и на другой же день в газетах появились заметки о «несчастной жертве русского правительства»... [49] В конторе «Фри Рöша» Короленко встретили Гольденберг, Дебагорий-Мокриевич, Фурер и др. Между ними был и Сергеев — агент русской охраны.

Тон, взятый газетами, не сулил нам ничего особенно хорошего по возвращении на родину, а поэтому решено было поскорее уехать из Нью-Йорка в Чикаго.

Американские впечатления отразились в повести Короленко — «Без языка» [50]. Сравнение этой вещи с рассказами из русского быта вскрывает трудности, которые находит писатель при подборе материалов за рубежом. Русские богатые люди охотно ездили за границу потому, что проводили там время в театрах, в ресторанах и в магазинах. Но роль писателя совсем иная: он здесь не отдыхает, а только утомляется. Он как будто читает ве-

ликую и прекрасную книгу, но на чужом языке, все время прибегая к лексикону.

В Чикаго Короленко занялся было внимательным осмотром интернационального художественного отдела выставки [51]. Но известие о смерти дочки опрокинуло все его планы, и он поторопился к семье. Конечно, не все обошлось при этом гладко: по поводу газетного шума о «жертвах царя» и о «жертве русского правительства» пришлось держать ответ [52]. Донесения Сергеева были, как теперь видно, фактически правдивы, но откуда-то охрана была осведомлена, будто Короленко в Америке произносил зажигательные речи перед толпами народа... Короленко рассказывал потом, что опроверг эти обвинения ссылкою на свое незнание английского языка: ведь зажигательность на непонятном наречии вряд ли может быть...

Для Короленко очень характерна одна, так сказать, «отрицательная» черта: пробел в области «личных романов».

— Вы и романов не пишете потому, — шутил Н. Ф. Анненский, — что неопытны в этом смысле. — «Личных романов» он не допускал, не допускал и ухаживаний. О половых отношениях разговаривал всегда прямо и просто. По его мнению, литература будущего заговорит об этих вещах — естественных и хороших — языком откровенным, недвусмысленным и здоровым. Личный романический эпизод был у него в якутской ссылке. Вернувшись в Россию, он несколько месяцев справлялся у оставшихся в ссылке товарищей о случайно пересекшей линию его жизни женщине-якутке. Убедившись, что роман не имел последствий, Короленко успокоился.

Вот единственный мне известный факт из этой области. При мне о нем рассказал сам Короленко, рассказал просто и серьезно. Было ли еще что-нибудь в этом роде — не знаю. Но не думаю.

Очень жаль, что Короленко не вполне успел написать о нижегородском периоде в «Истории современника». В письме от 7 февраля 1921 года [53] об этом он писал следующее;

«...Что касается вашего настояния относительно нижегородского периода моих воспоминаний (и дальше, до последнего времени), то, конечно, это — и мое намерение. Но последние сведения из «Задруги» очень неутешительны. Я вам уже писал, помнится, что я уже не только написал, но и прокорректировал том четвертый [54]. Но получил известие из Москвы, что частные издательства (в том числе и «Задруга») сливаются в одно «казенное издательство» [55], и дальнейшая судьба моей «Истории современника» неизвестна. Мне остается еще одна часть — Якутская область, а затем возвращение и нижегородский период» [56].

В январе 1896 года закончился одиннадцатилетний нижегородский период жизни Короленко. Отъезжавшего в Петербург чествовали обедом. Собралось около ста пятидесяти человек. Цель обеда — дать людям возможность высказаться. Короленко, между прочим, сказал:

— Если бы удалась попытка моя и моих друзей относительно газеты, я стал бы окончательно работником провинциального печатного слова [57].

И Короленко оттолкнул свой жизненный челн от волжского берега, чтобы пристать к невскому. С этого момента звезда Короленко, яркая и прекрасная, стала плавно чрез Петербург и Полтаву склоняться к закату. Повсюду Короленко любили, но нижегородские чувства превзойдены не были и не могли быть превзойдены, так как на их долю выпало то, что не повторяется, — молодость. Короленко называл себя «почти нижегородцем». Если бы Волынь, Полтава, Якутка, Петербург, Москва и Нижний заспорили о своих правах на Короленко, то все бы увидели, какую маленькую величину представляет из себя осторожное «почти» в приведенной фразе. Но Нижегородский край с радостью отступится от своего спора, если вопрос будет поставлен о принадлежности Короленко всей России. И даже шире: пусть цивилизованный мир скажет, что Короленко интернационален, как редкий пример всесторонне одаренного и обаятельно прекрасного человека.

А. Д. Гриневицкая

НА БЕЛЕЦКОМ ХУТОРЕ

(По личным воспоминаниям)

«Прелестное яркое утро 3 марта застает меня на Белецком хуторе. Расположенный на «вершинке», под лесом, хутор весь занесен снегами... На хуторе, принадлежащем г-же Ненюковой и управляемом ее родственником П. А. Гориновым, меня встретили очень радушно, и я сразу почувствовал себя точно дома. Моих «лукояновских» сомнений и неприятного ощущения одиночества как не бывало. Здесь на дело смотрят просто, готовы оказать всякую услугу...»

Так В. Г. Короленко описывал начало своей деятельности по борьбе с голодом в Лукояновском уезде в очерке «В голодный год» [1].

На этом Белецком хуторе мне — тогда девочке-подростку — выпало счастье познакомиться с Короленко.

Белецкий хутор В. Г. избрал себе «штабом», из которого он вел борьбу и с голодом, и с лукояновскими «общественными деятелями» [2]. Упоминаемый здесь Петр Адрианович Горинов — брат моей матери, очень добрый человек, холостяк, — жил с моими родителями за одну семью и управлял Белецким, принадлежавшим очень богатой, но и очень скупой тетушке. Всех нас — бедных родственников — она презирала и считала неполноценными людьми, но, к счастью, на хуторе она не жила и даже за всю жизнь ни разу его не посетила.

Опытный сельский хозяин, отлично знавший всех окрестных крестьян и их материальное положение, дядя

охотно взялся оказывать В. Г. всемерное содействие. Мать моя, кроме управления по дому, помогала брату, наблюдая за молочным и «куриным» хозяйством. Мы, дети, в свою очередь, по мере сил помогали матери. Все были связаны между собой взаимной дружбой, любовью и уважением.

В нашей семье не только не было отрицания голода, но, наоборот, голод являлся постоянной скорбной темой для разговоров. О голоде нельзя было забыть потому, что каждый день с раннего утра на хутор тянулись по тропам и дорогам из соседних и дальних деревень толпы изможденных, измученных голодных людей (преимущественно ребят), чтобы получить кусок настоящего хлеба. Десятки тяжелых караваев черного хлеба специально выпекались ежедневно на хуторе и раздавались большими ломтями этим невольным нищим.

Такова была обстановка и настроение на Белецком, когда впервые приехал туда В. Г. из Лукоянова, где «правящие сферы» уезда утверждали, что никакого голода нет.

Вполне понятно, что на этом хуторе, занесенном глубокими снегами «почти вровень с крышей», человек, приехавший за сотни верст из «губернии» с целью оказать помощь населению, был встречен радушно и радостно. А то, что этот человек к тому же еще и писатель — порода людей, дотоле в тех краях совершенно невиданная, — придавало прибывшему особую значимость.

С первых же моментов пребывания в нашей семье В. Г. стал родным и близким для всех окружавших его. Это, конечно, зависело прежде всего от обаяния личности самого гостя, от его уменья подходить к людям с открытой душой.

Днем В. Г. ездил с дядей по окрестным селам и деревням, выявляя степень нужды, составлял списки нуждающихся, а к вечеру обычно возвращался домой. Писал преимущественно ночью.

Дядя — любитель лошадей — вырастил себе из хуторского молодняка прекрасную «выездную» тройку гнедых. С особой гордостью любителя возил он на этой тройке с бубенцами и колокольчиками В. Г. по селам и деревням. Но когда В. Г. приходилось посещать свои столовые одному, то он категорически отказывался от

«выездных» лошадей и очень убедительно просил дать ему какую-нибудь «смирную» лошадку из рабочего табуна. Дядю очень огорчало, что В. Г. отказывается от его тройки, но все же исполнял его просьбу, и В. Г. подавали «смирную» лошадку, запряженную в маленькие санки (или дрожки), на которой он полегоньку ехал один, без кучера... В ближние же деревни он чаще всего ходил пешком. Нам — молодежи, любившей быструю езду на тройке, — тогда было непонятно, почему наш гость отказывается от этого удовольствия. И только позднее, прочтя очерки «В голодный год», мы поняли, что наша сытая тройка в чуткой душе писателя вызывала чувство укора к самому себе: в то время когда у крестьян деревенские кони падали от голода и представляли из себя скелеты, «господа» мчались по селу с бубенцами на бешеных от сытости лошадях... «В голодном годе» у В. Г. мы нашли такие строки: «И в самом деле, какими великолепными должны мы казаться этим «нежителям» с нашими здоровыми лицами, дохами, шубами, *с этими сытыми лошадьми, нетерпеливо бьющими копытами землю...»* [3] (Курсив мой. — *А. Г.*)

В. Г. действительно имел исключительно цветущий вид: румяные щеки, курчавые буйные волосы пепельного цвета, пышная борода, открытый белый лоб и лучистый взгляд карих глаз — вот внешний облик Короленко того времени. От всей его невысокой, коренастой, широкоплечей фигуры веяло силой, здоровьем и бодростью. Несмотря на свои тридцать девять лет, он тогда выглядел совсем молодым. Зачастую в трескучие морозы, в одном пиджаке, с раскрытой головой, он подолгу простаивал на нашем хуторском крылечке, любуясь закатом солнца или слушая и наблюдая бурные порывы мартовской вьюги; его шевелюра покрывалась обильными хлопьями снега, и это его только радовало, а мы поражались его «отчаянным» поведением и очень опасались за его здоровье. В ответ на наши опасения он весело смеялся своим бархатным грудным смехом и уверял, что не боится холода и что мороз и вьюга ему только на пользу... И тут же рассказывал эпизоды из своего детства о том, как закалял его отец, обливая каждое утро ледяной водой...

В. Г. страстно любил природу. Он много времени проводил на балконе, выходившем в сад: весной, любуясь

пробуждением природы, он чутко прислушивался к чему-то и как бы впитывал в себя мелодию ее звуков; летом он не мог усидеть в комнатах во время грозы; заслышав первые раскаты грома, стремительно выбегал на балкон и стоял там вдохновенный, зачарованный, а налетевший ураган рвал его платье, трепал и путал его волосы. Опять мы — ребята — поражались его храбрости. Мы обычно безумно боялись грозы, — заслышав первые удары грома, бежали к своим кроватям и зарывались головами в подушки. Пример Короленко излечил нас от этой дурной привычки...

С увлечением В. Г. занимался всякими физическими упражнениями. Весной и летом он с нами — подростками — с каким-то особым задором, заливаясь смехом, бегал в горелки, играл в мяч и лапту, катался на лодке, энергично работая веслами.

Меня не было на Белецком, когда там появился Короленко. Я жила временно в Арзамасе, где училась. О пребывании В. Г. на хуторе узнала случайно в пути, когда ехала домой на пасхальные каникулы. Дорогой кормили лошадей в Лукоянове у друзей моих родителей — Лукиных. За чаем я с любопытством расспрашивала у хозяев, которые часто бывали на хуторе, что делается у наших.

Среди прочих новостей хозяин дома мне сообщил, что у нас живет писатель [...]

Наконец-то я дома.

Приветствия, поцелуи, объятия.

После первого момента радостного свиданья с бессвязными перекрестными вопросами и ответами я стала среди окружающих искать его, но, не находя, не выдержала и спросила:

— А правда, что у нас живет писатель?

— Правда, но его сейчас нет дома. Он уехал по столовым.

Сердце усиленно забилось, — значит, все-таки я его увижу!

Сестры подхватили меня под руки. Побежали по дому. Все без перемен. Только в кабинете по-другому — письменный стол передвинут ближе к окнам, да поставлена кровать по стене, на полу небольшой дорожный чемоданчик.

— Здесь живет Владимир Галактионович,— заявили мне сестры.— У него очень трудное отчество — мы насилу запомнили.

— А какой он? — спросила я.

— Очень, очень хороший!

Приблизились к письменному столу. На нем несколько листов бумаги, большинство чистых, на двух обрывочках несколько недописанных строк. Стали бережно перебирать бумажки и разглядывать — какой у него почерк. Очень понравился — убористые высокие буковки, простые, разборчивые, без всяких завитушек.

Я обратила внимание на то, что высокие подсвечники, которые обыкновенно находились на подзеркальнике и ставились на ломберный стол во время игры в карты, теперь стояли с обгоревшими свечами на письменном столе.

— Это зачем? — спросила я.

— Он пишет по ночам, когда мы все спим. Днем он ходит или ездит в деревни, или к нему являются разные люди, а ночью он пишет.

Тоже — так необычно. Наши хуторяне ложились с петухами и никогда не обременяли себя ночными работами.

День прошел в оживленной болтовне. К вечеру вернулся и сам Владимир Галактионович.

Вошел в освещенную висячей лампой столовую, свежий, веселый, бодрый. Я замерла...

Подошел ко мне (со всеми остальными в этот день он виделся) и крепко, приветливо пожал руку, как старый знакомый. Был готов ужин. Сели за стол. Я так привыкла, что «большие» к нам, «маленьким», относились совершенно невнимательно и безучастно. Обычно при гостях накрывался даже отдельный стол для детей, чтобы мы не запачкали чистой скатерти на большом столе, не мешали «большим» разговаривать и не слушали «чего не надо». А потому и теперь, хотя я была уже не совсем «маленькой» и сидела за общим столом, я думала, что буду незамеченной и смогу за ужином наблюдать и слушать этого нового и особенного человека. Но, к великому моему смущению, он, этот особенный человек, несколько раз останавливал на мне свой ласковый взгляд и в конце ужина обратился ко мне с вопросом о том, в котором классе я учусь, много ли

у нас учениц и т. д. Было ясно, что он считал меня равноправным членом семьи, которую он уже знал, и желал познакомиться и со мной...

Его внимание было так для меня неожиданно, что я, обычно бойкая на язык, смутившись до последней степени, давала несвязные и неясные ответы.

После ужина В. Г. долго беседовал с окружающими. Отодвинувшись немного от стола, закинув свою пышную голову, он вдохновенно рассказывал много интересного. Меня зачаровала его манера говорить. Он говорил необычайно музыкально. Получалась дивная гармония ярких художественных образов с мягким задушевным голосом. Самые незначительные факты в его устах приобретали выпуклость и яркость. Едва уловимый украинско-польский акцент придавал особую прелесть его речи.

Такие беседы происходили всегда в те вечера, когда В. Г. ночевал дома.

В. Г. описывал свое пребывание на Дальнем Севере, суровые зимы, жизнь в юрте... Говорил, что ему приходилось там зарабатывать себе пропитание сапожным ремеслом, с милым юмором вспоминая, какие курьезные эпизоды происходили у него с заказчиками. «Но, — с гордостью заявил В. Г., — недоразумения с заказчиками происходили лишь только первое время, впоследствии мое сапожное ремесло сделало меня весьма популярным среди местного населения...»

Во время рассказа о трудностях передвижения по глухой тайге тень грустного воспоминания на миг омрачила его ясный взгляд. «До сих пор, — сказал В. Г-ч., — я жалею об одной потере. Однажды, во время долгого пути по тайге верхом на лошадях (при переезде с одного места на другое), темной ночью поднялся сильный снежный буран, во время которого я обнаружил, что привязанный к моей лошади мешок оторвался, возвращаться и искать его было делом бесполезным. Пришлось лишь констатировать факт... А в этом мешке было много моих рукописей, которыми я очень дорожил и которых мне теперь не восстановить...»

Кто-то из присутствующих задал В. Г-чу вопрос: как и зачем он попал в такую глушь и даль?

С грустной улыбкой В. Г-ч ответил, что его сослали на Дальний Север, как политического преступника. Ко-

гда он студентом жил в Москве, однажды ночью пришли к нему на квартиру жандармы, сделали обыск, ничего не нашли, но его арестовали и впоследствии выслали[4].

Все это он рассказывал без тени раздражения на людей, изломавших лучшие годы его жизни и причинивших ему и его семье столько неприятностей и горя...

Я была поражена этим мягким тоном и спокойствием, с которым он говорил о своих врагах. Этот вечер, первый вечер в обществе «политического преступника», перевернул все мое миропонимание. С этого момента я поняла, что «политические» — люди действительно особенные, но люди светлые, перед которыми можно преклоняться и благоговеть. Теперь меня уже не удивляло соединение в одном человеке писателя и «политического».

Хотелось бы без конца слушать этого человека, сидящего за столом с гордо закинутой головой, служить ему и благоговейно просить его научить, как нужно жить...

Теперь наша сытая хуторская жизнь, наполненная одними хозяйственными интересами и заботами, показалась такой убогой и ненужной.

Вот он приехал сюда открывать столовые, кормить голодных, работает здесь день и ночь совершенно бескорыстно, не жалея себя. Бросил для этого и свою семью, и свои дела.

Как безмерно я была бы счастлива хотя чем-нибудь помочь ему.

Поздней ночью разошлись. Мы пошли спать, а он заявил, что «немножко поработает»...

Когда на следующий день, утром, мы вышли к чаю, В. Г. уже кончил чай и собирался уезжать в одно из соседних сел, где должен был налаживать столовую.

Чувство восторга наполнило все мое существо, когда, уходя, он обратился к нам — молодежи — с просьбой «не в службу, а в дружбу» помочь ему в одном деле, а именно — составить списки столующихся в организованных им столовых.

Он принес списки жителей нескольких сел, из которых мы должны были переписать в небольшие синие тетрадочки отмеченных крестиком лиц.

Наскоро напившись чаю, мы поспешили приняться за работу. Дело было спешное — к вечеру списки должны быть закончены.

Молодежь, состоявшая из двух моих сестер, меня и жившего на хуторе (на практике) студента-агронома, работала наперебой. Я была в отчаянии от своего полудетского не установившегося еще почерка. Хотелось исполнить работу чисто, красиво и сделать не меньше других. В кабинете на окне нашла пузырек с красивыми фиолетовыми чернилами и решила для красоты писать ими.

Работала усердно, не сходя с места, счастливая сознанием, что и мне удалось чем-то помочь ему в его святом деле. Волновалась, что застывшие чернила очень плохо сходят с пера.

Наконец один список закончила. Решила просмотреть его. Но... каково же было мое огорчение, когда странички тетрадочки, на которой я писала, оказались склеившимися между собой, а когда я их разъединила, то увидала, что строчки одной страницы отпечатались на строчках другой, уже исписанной. Получилась невообразимая мазня!

Оказалось, что я писала не чернилами, а краской для штемпелей...

Отчаянию моему не было конца. Для вторичной переписки не было ни времени, ни (главное) запасной тетрадочки.

Расстроенная, принялась писать (уже обыкновенными чернилами) другой список, с трепетом ожидая возвращения В. Г.

Как и накануне, он возвратился лишь к вечеру. Работа наша кипела и уже близилась к концу. Все мы сидели за одним большим столом, освещенные яркой лампой. Он взошел, как и вчера, бодрый и ясный.

— Ну, а как работает моя канцелярия? — спросил он.

Сердце мое оборвалось. Сейчас я должна обнаружить свой позор — показать свою несчастную работу. Я поднялась и дрожащими руками протянула В. Г. свой мазаный список, прося дать мне другую тетрадочку, чтобы переписать его снова.

В. Г. внимательно просмотрел поданную мной тетрадочку и спокойно и ласково заявил, что переписывать не надо, так как имена разобрать можно, а ему этого достаточно.

Тяжелая гора свалилась с моих плеч. Но все же сознание, что работа сделана плохо, омрачало настроение.

За ужином снова были интересные разговоры. В. Г. делился впечатлениями от своей сегодняшней поездки. Описывал картины голода, которые приходилось ему наблюдать. Негодовал на местных «деятелей» — Струговщикова, Пушкина и др., которые утверждали, что никакого голода нет и что в уезде все обстоит благополучно [...]

В. Г. весь отдавался работе, забывая себя. Он сильно волновался и беспокоился о том, что наступающая распутица помешает открытию его столовых. И, рискуя своим здоровьем, почти вплавь пробирался по рушащимся дорогам к намеченным пунктам. Приближалась пасха — праздник, который особо чтился сельским населением. Учитывая это, В. Г. прилагал все старания, чтобы столовые были снабжены на время бездорожья достаточным количеством провианта. Но, приехав, вернее, «приплыв» в начале апреля в Лукоянов по самому последнему пути, В. Г. узнает, что деревушка Тетюши, отстоящая верстах в шести от города, оказалась разлившимися оврагами отрезанной, и столовые ее, вовремя не снабженные запасами, уже два дня живут без обедов. Заволновался Короленко. Был канун праздника, — он никак не мог допустить, чтобы его «питомцы» голодали на праздник. Не говоря никому ни слова, он спешно закупил все необходимое для столовых и, взяв лошадку, решил сам лично «на риск» отвезти эти запасы в Тетюши. На его счастье, вода в оврагах схлынула, и В. Г. добрался до деревни. Снабдив столовую припасами на несколько дней, он с большими трудностями возвратился в Лукоянов после полуночи, когда «благочестивые» граждане под звон колоколов шли к пасхальной заутрене. Ничего не подозревавшие друзья В. Г. были обеспокоены его внезапным исчезновением. Наконец все разъяснилось: поздней ночью явился он в высоких сапогах, усталый, но радостный, сияющий и довольный: он своим голодающим устроил праздник...

Чем больше работал В. Г., чем глубже изучал положение продовольственного дела на месте, тем сильнее страдал он при виде окружающего бедствия. Все чаще

и чаще возвращался он из своих поездок расстроенный и глубоко потрясенный. Очень тяжело пережил он сцены, виденные в Пралевке, — нервное состояние его было так тяжело, что мы серьезно беспокоились за его здоровье.

Считая свою помощь «каплей в море нужды», В. Г. в конце марта срочно выехал в Нижний, где поднял тревогу о катастрофическом положении Лукояновского уезда. Доклад Короленко в благотворительном и продовольственном комитетах вызвал поездку губернатора по Лукояновскому уезду. И сам В. Г., пробыв в Нижнем не более недели, возвратился опять к работе по организации столовых и оказанию другой помощи населению в уезде.

Он давно уже понял, как жестоко ошибался, рассчитывая пробыть на «голодной кампании» не более месяца. Работа затянула, и В. Г. не мог бросить ее до нового урожая, то есть до средины лета.

Среди местного крестьянского населения его появление вызвало массу разнообразных толков. Из уст в уста передавались легендарные рассказы о каком-то таинственном «Королёнке» (королевиче), который кормит голодающих людей, раздает им бесплатно лошадей. В практическом уме деревенского мужичка никак не укладывалось сознание того, что все это делалось бескорыстно, из единственного побуждения помочь страдающему человеку, — надо было найти поступкам этого «чудного» барина какое-нибудь объяснение...

Любящий отец, нежный, заботливый семьянин, он очень тосковал и о семье, и о том, что она оставлена им «на произвол судьбы», так как единственный источник к существованию — авторский гонорар Короленко — с его отъездом прекратился: занятый обследованием уезда и организационной работой, он около двух месяцев не мог приняться за литературную работу. Но служение обществу он ставил выше личного благополучия. Зная, что семья без денег, он шлет жене «ободряющие» письма и уверяет, что он о них помнит.

Несмотря на усталость и желание быть поскорее дома, у В. Г. созревает план из Лукояновского уезда пойти домой пешком. По этому поводу он утешает жену такими соображениями: «Не сердись, — мои впечатления необходимо закончить «снизу». До сих пор я был «его благородие», разъезжал и благодетельствовал, при-

чем мужики неудержимо снимали шапки, как ни старался я их убедить, что я не начальство. Теперь я погляжу и послушаю в качестве простого наблюдателя... Итак, голубушка, — немного терпения...»[5]

Не помню почему, но это путешествие пешком В. Г. не удалось осуществить.

Деятельность в Лукояновском уезде Короленко окончил в июле. Закрыв свои столовые, 27 июля В. Г., по собственному его выражению, «мчался» в Работки, где на даче жила его семья[6].

С отъездом Короленко стало темно и уныло на Белецком хуторе. Сам благородный, чуткий, чуждый житейских мелочей и дрязг, он своим влиянием и окружающих людей делал лучше и чище. Общение с В. Г. было светлым счастьем и для взрослых, и особенно для молодежи, — оно на всю жизнь оставило неизгладимый след в наших юных сердцах...

Н. В. Короленко-Ляхович

[ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ]

1. Нижний-Новгород

Первые мои воспоминания об отце связаны с моей болезнью. Мне вспоминается полутемная комната ночью, я — на кроватке у стены, папа — возле меня на какой-то лавке. Я знаю, что папа устал и хочет спать, что его не нужно беспокоить, и мне кажется, что я терплю очень долго, но потом не выдерживаю и окликаю его: «Папочка, поносимся!» Он встает, заворачивает меня в одеяло и ходит по комнате, которая пятнами полутеней рисуется и сейчас перед моими глазами. Мне делается легче, он кладет меня в кроватку и ложится сам. А я лежу и стараюсь подольше терпеть, потом опять окликаю его, и папа встает... и так тянется длинная ночь.

Я ясно помню, как я старалась терпеть и подольше его не будить, и меня потом удивляло, когда папа говорил, что я будила его постоянно и он не спал всю ночь. Думаю, что мы оба были правы по-своему. Мое терпение, которое мне дорого стоило, может быть исчислялось минутами, и ночь действительно была очень трудной для уставшего за день отца. Папа говорил потом, что у меня было тяжелое воспаление легких и что он меня «выходил». Он считал, что ношением он принес мне большую пользу, объясняя ее постоянной сменой воздуха вокруг меня. Думаю, что тут играл роль и другой, психический момент: я помню особенное чувство успокоения, которое испытывала на руках у отца.

Это было в 1892 году,[1] в деревне Чиченино, близ Нижнего, где мы, дети, жили с мамой на даче во время работы отца на голоде. Оттуда он приезжал к нам ненадолго летом и потом в августе, после окончания голодной кампании. У мамы тогда была уже третья девочка — Лена — нескольких месяцев, и потому, вероятно, ночи со мной проводил папа. Долго после болезни у меня было выражение «запакетуй меня», что значило — заверни меня так, чтобы нигде не дуло. Потом я вижу себя на плечах у отца, когда мы идем все вместе гулять. И очевидно, на замечание кого-то, что тяжело таскать такую большую девочку — отец смеясь, говорит: «Ничего, своя ноша не тянет!» Мне в этом году (1 августа) исполнилось уже четыре года, но обычная жизнь вся исчезла из памяти, кроме одного яркого и солнечного дня, который рисует мне комнатку нашего дома в Чиченино.

Вероятно, бедность ярких воспоминаний была связана с моей болезненностью, чем я объясняю и мою слабую память о раннем детстве. Я любила отца страстно, но мои воспоминания о нем остались больше в области чувств, к которым я была очень склонна, а не событий.

Кроме того, отец много времени проводил вне дома, так что мы подолгу его не видали. Так, в 1892 году работа в голодных местах отделила его от семьи. Зато, когда он бывал дома, он всегда уделял нам много времени, конечно свободного от работы. Вставши утром рано, он обыкновенно выходил на воздух, и физическая работа в течение получаса-часа служила ему как бы зарядкой на его трудовой день. Главным образом это была или чистка снега, которую он брал всегда на себя, или рубка и колка дров, пользовавшаяся его особенной любовью. Когда мы с сестрой подросли, он приучал и нас к своим физическим занятиям, и, главным образом чтобы сделать ему удовольствие, я пилила и колола с ним дрова и даже полюбила это дело.

Размявшись и надышавшись воздухом, он приходил домой и некоторое время работал в кабинете, потом выходил к чайному столу, часто с пачкой написанных писем в руке, иногда раздвигая их, чтобы похвастаться количеством. Это были главным образом ответы авторам, которые он старался не задерживать. Самая работа

начиналась после чая и продолжалась до обеда. Кабинет себе отец выбирал всегда в комнате наиболее удаленной, чтобы звуки семейной жизни и возня детей не отвлекали его внимания. Когда работа была особенно серьезна, он говорил жене: «Дунюшка, меня сейчас нет для семьи», — и мама строго соблюдала его наказ. Вообще же хотя отец работал почти весь день, но мы это мало замечали, так как он просто скрывался в кабинете, и это был его привычный образ жизни. Зато мы очень чувствовали промежутки, когда он отрывался от работы и выходил, чтобы отдохнуть. По большей части мы были тут с ним вместе. Он был так же очень доступен для приходящих к нему, и не было человека, которого бы он не принял. Если было нужно, то он отрывался и от работы.

Мы, дети — я и сестра [2], — успели очень привязаться к Нижнему, в котором мы родились и где провели все детство, я — семь, а сестра девять лет своей жизни. Воспоминания наши связаны с жизнью во втором доме, на Канатной улице, хозяином которого был архитектор Лемке. Вся наша семья занимала отдельный флигель. В нижнем этаже жила семья Лошкаревых, с Эвелиной Иосифовной, папиной матерью, которую семейные звали «Вавочкой». В верхнем этаже жили мы. Таким образом отец был, насколько только мог, близок к своим родным, и общение между нами и «нижними» было постоянным. Возле нашего флигеля с террасками был хороший сад, который нам, детям, казался громадным, полным сказочного и фантастического. Когда мы попали в него уже взрослыми, он показался нам совсем другим, прежде всего ограниченным забором, который бросался в глаза.

Семья Лемке, большая и многодетная, занимала главный дом, казавшийся нам, детям, громадным и роскошным. Отношения с домохозяевами были у нашей семьи самые дружеские.

Между нашим домом и хозяйским в саду была большая площадка с различными гимнастическими приспособлениями на солидных столбах с перекладиной: лестницы, шесты для лазанья, кольца, качели и т. д. Мы, детвора, больше лазили по лестницам, взрослые, и отец в том числе, любили заниматься гимнастикой. Вообще, в этом отношении отца можно назвать увлекающимся

человеком. Всякую игру, с которой он сталкивался, всякое упражнение вызывало его интерес и потом влекло к совершенству. Коньки, велосипед, игра с детьми в столбик, в мяч, в крокет, в теннис... Всегда зрители этих игр видели отца воодушевленным и увлекающимся.

Одно время отец увлекался игрою в карты, и самые веселые вечера в петербургский период нашей жизни были часы, когда они садились с Николаем Федоровичем Анненским за преферанс. Другими их партнерами неизменно были: жена Анненского Александра Никитишна и тетка отца — Елизавета Иосифовна Скуревич, жившая с Нижнего с нами. Игра с Николаем Федоровичем была всегда полна экспрессии, шуток друг над другом и смеха. Это были часы полного отдыха и беспечности.

Шахматами папа увлекался мало и играл случайно и редко. Его партнером, уже в Петербурге, был С. Н. Южаков, который считал себя хорошим игроком, а к отцу, как игроку, относился со снисходительным пренебрежением. Мне вспоминается только случай торжества отца, который он много раз и очень юмористически рассказывал: Южаков, приступая к партии, предлагал сначала разные преимущества, которые должны были, по его мнению, несколько сравнять силы, а потом, после папиного отказа, поставил на шахматной доске крест и заявил, что на этом месте даст папе мат. Этот крест долго сохранялся на доске, и отец, показывая его, с удовольствием рассказывал, что Южаков не только не дал ему мата, но сам получил его, хотя и не точно на этом месте. Помнится, что Южаков считался прекрасным шахматистом, и тем больше значила победа над ним. Вероятно, у отца были способности к шахматной игре, но он их совсем не развивал и играл очень неровно, временами плохо, временами делая блестящие ходы.

Отец вообще больше любил подвижные игры и физические упражнения.

Но возвращаюсь к нашей нижегородской жизни.

В том же доме Лемке, о котором я только что рассказывала, родилась и третья наша девочка — Леночка — 10 января 1892 года. В это время отец писал рассказ, задуманный им уже давно, под заглавием «Груня». Он был очень увлечен рассказом, работа шла хорошо, и уже шутили: кто раньше выпустил на свет свое дитя —

мама или отец «Груню». Но как это у отца часто случалось, что-то помешало, и «Груня» осталась незаконченной в его бумагах. Только небольшой отрывок «На Волге», выделенный и напечатанный отцом еще в 1889 году, напоминает об его замысле[3].

Вероятно, закончить рассказ помешал надвинувшийся на приволжский край голод, так как уже 25 февраля отец выехал в Лукояновский уезд, один из самых неурожайных, где с небольшими перерывами работал до августа месяца. В результате этой работы, кроме непосредственной помощи голодающим, появилось его произведение «В голодный год».

Всей этой большой работы отца мы, дети, конечно не могли знать. Вскоре мы опять разделились: мама с нами, старшими детьми, уехала к брату — эмигранту в Румынию, а отец остался и, закончивши свою долгую работу над «Голодным годом», с младшей девочкой Леной и ее бывшей кормилицей поехал в Саратовскую губернию, к маминой сестре, Александре Семеновне Малышевой. Там он оставил Леночку на лето, до своего возвращения из путешествия в Америку[4]. План поездки к брату матери в Румынию явился в связи с моей тяжелой болезнью 1892 года, после которой я могла хорошо поправиться только на юге, где мы провели лето на берегу моря у виноградника. Леночка же была крепкая, здоровая девочка, и чтобы не подвергать ее длинному путешествию, решили отправить ее в деревенские условия к тете Саше. Может быть, тетя Саша со своей стороны уговаривала наших. У нее давно, еще в ссылке, погибла девочка-первенец, что она в свое время переживала очень тяжело, и, наверное, Леночка вызывала в ней особенно нежное чувство. Деревенские условия казались прекрасными. Это убедило родителей...

Лето, которое мы с мамой проводили в Румынии, уже оставило у меня много ярких воспоминаний. Там, в Тульче, мы узнали своего дядю по матери — Василия Семеновича Ивановского — и горячо полюбили его. Он жил в Румынии эмигрантом, и все называли его просто «доктор Петро». Он был действительно врач и очень оригинальный человек. Очень высокого роста, в толпе низкорослых румын он был на голову выше всех. Жил он очень просто, в маленьком домике, куда входил согнувшись. У него работала одинокая пожилая женщина,

преданная ему за то, что он вылечил ее от дурной болезни, и не хотевшая его оставить. В домике было прохладно и уютно, а маленькая стеклянная галерейка выходила в солнечный садик, весь полный простых, ярких и душистых цветов. На стене комнаты висела маленькая фотография молодой женщины, как нам потом рассказала мать — это была Людмила Волкенштейн, одно время жившая в Румынии и ставшая близкой дяде Петру. Общая жизнь их продолжалась недолго: года через три она вернулась в Россию к своей революционной деятельности, была арестована и после процесса Веры Фигнер и других посажена в Шлиссельбургскую крепость, отделившую ее от мира на тринадцать лет. С ее отъезда дядя жил одиноким. Он лечил главным образом бедноту, многих бесплатно, и пользовался большой популярностью среди простых людей. Когда мы гуляли с ним по улицам Тульчи, дядя беспрерывно должен был отвечать на приветы, и нередко его зазывали посидеть в открытом кафе и распить за разговором кружку «пеленки» (водки), а нам, детям, подавался шербет или вода с дульчацей (вареньем).

Яркие краски юга, красивые места, новая обстановка навсегда врезались в память и привязали нас к Румынии. Помню, как в Тульчу приходили матери письма от отца из его путешествия, а нам с сестрой он присылал еще особо открыточки с яркими видами мест, посещаемых им. Он очень тосковал в Америке и хотя добросовестно изучал Чикагскую выставку и с любопытством впитывал в себя заграничные впечатления, но потом, когда я читала его переписку того времени — меня поразила его тоска по родине и по нас, семье. Уже на обратном пути, в Париже, на него обрушился неожиданный удар: в ответ на свою телеграмму, с запросом о здоровье Лены, он получил ответ от своей сестры, Марии Галактионовны Лошкаревой, что девочка умерла.

В тяжелом состоянии отец ехал к нам в Румынию. Он очень нежно любил Леночку, а в последнее время и во время поездки к Малышевым особенно сблизился с нею. Девочка была к нему очень привязана и горько плакала при прощании, так что он даже вернулся к ней опять, «чтобы показать и себе и ей, что, уезжая, можно и вернуться». «Бедная моя девочка, — я сам своими руками увез ее, слепой, не зная, что везу ее на смерть.

И она так плакала, прощаясь, так цеплялась ручонками». «Больная, она меня вспоминала и до конца звала папу...» (из дневника) [5]. Все это вспоминалось отцу и мучило неотвязной болью его сердце. Вопросы жизни и смерти реально вторглись в его душу, и по дороге к нам в Румынию он записал свои мысли и чувства в дневник. Выразить, записать то, что у него на душе, было непреодолимой потребностью отца и, по-видимому, приносило ему облегчение. Я это замечала в его жизни много раз и позднее.

Отец еще не знал Петра и говорил потом, что был сердит на него за то, что он не подготовил мать к известию о смерти Лены. Но когда он увидал его на пристани (где узнал его по росту), с первого объятия он простил ему все и полюбил сильно, на всю жизнь. Отец полюбил его цельную и самобытную натуру и вывел его в рассказе «Наши на Дунае». После смерти дяди отец написал статью «Памяти замечательного русского человека». Дядя Петро отвечал отцу такой же беззаветной любовью. Он был одиноким человеком и привязался ко всей нашей семье, но в отношении отца его любовь имела еще какой-то другой оттенок — глубокого уважения и восхищения.

Мы с мамой жили в то время в местечке Сарикой, в маленьком домике среди виноградника. Здесь нас устроил дядя Петро, у которого было много связей с населением. Он был хорошо известен как врач, доступный для бедных людей, и мы встречали везде неизменно хорошее отношение к нему: распространялось оно и на нас. Так мы попали к хозяйке этого виноградника. Для нас это был маленький рай, где мы знали только ближайшие места, тропинку, по которой ходили с осликом за водой, наш виноградник с гроздьями винограда всех цветов и лужайку со старым развесистым ореховым деревом. Когда отец приехал, наш кругозор расширился. Мы стали гулять с ним и с дядей, посещали тамошних крестьян и их маленькие винодельни, где в больших чанах мужчины давили виноград прямо ногами. Тогда как раз наступил сбор винограда, и население все было занято этой работой.

Но непосредственного живого веселья в этих прогулках я не помню, вероятно, потому, что папа приехал в горе, которое он скрывал от нас, детей.

Нам о смерти Лены отец сказал уже в Нижнем. Я особенно любила ее и никак не могла примириться с мыслью, что ее нет. Было много слез, горьких слов и мыслей, которые, вероятно, были ему особенно тяжелы в устах детей. Для нашего утешения он прибег даже к религиозной легенде о боге и другой жизни. Но меня это не утешало, и я твердила свое: не хочу, чтобы она была неживая... она хочет к нам... она маленькая...

Горе мое не находило ни в чем утешения, отец в своем дневнике записал наши детские разговоры того времени [6] и нашел у меня задатки материализма, а у сестры Сони — идеализма. Я горевала о Леночке долго и сильно. Мне она запомнилась лежащей на ковре в нашей комнате, с бумагой и карандашом, рисующей что-то. Родители тоже вспоминали, что это было ее любимое занятие.

1893 год закончился тяжело нашими болезнями и болезнями в семье тети Мани. Отец навещал их все время, причем из боязни занести к нам скарлатину, которой болел старший сын тети Мани Борис, папа переодевался на холодной террасе. Через несколько дней, 23 декабря Боря умер. «Конец этого ужасного года!!» — записал папа [7]. Вскоре он сам заболел тяжелой формой инфлюэнци (как тогда называли грипп), которая осложнилась воспалением уха, и у него на всю жизнь осталось ослабление слуха.

Это ущербление восприятий звучащего мира было очень тяжело для отца.

Семья тети Мани с бабушкой — в середине следующего 1894 года — переехала в Москву. Так наши семьи, жившие до сих пор почти вместе, разделились навсегда. Отец стал иногда посещать Москву, а проезжая ее, всегда заезжал к Лошкаревым. Папа очень любил свою мать, а тетя Маня была его любимой сестрой, близкой ему по возрасту. До сих пор на Патриарших прудах, невидимый с улицы, спрятавшись во дворе за новым громадным домом (теперь Малая Бронная, дом № 32), еще стоит небольшой деревянный домик, в верхнем этаже которого жили Лошкаревы. Этот домик часто видел отца. Тогда он был чистым и приветливым и из его окон открывался вид на Патриаршие пруды с садом. «Патриаршие пруды, д. Вишнякова» — многие годы надписывал свои конверты папа матери и сестре...

В этой квартирке было всегда как-то по-семейному уютно и красиво, хотя в то же время многолюдно — и от большой семьи и от приходящих. Тетя Маня, живая и остроумная, была по натуре общественным человеком и разделяла интересы отца. Отец любил бывать у нее и иногда задерживался, даже работал там. Он очень любил ее трех дочерей. Мои детские воспоминания о Москве и семье тети Мани относятся к самым светлым и безмятежным.

С тех пор как наши семьи разъехались, мы стали соединяться с Лошкаревыми на летние месяцы в деревне Растяпино, близ Нижнего. Это была небольшая, чисто русская деревенька, с широкой зеленой улицей и с двумя рядами домиков по ее сторонам. Домики были с маленькими палисадниками на улицу и с огородами сзади. С двух сторон улица кончалась околицами, за одной из которых начинался сосновый лес. Тропинка от околицы вела через лес до обрывистого берега Оки, для купанья в которой нужно было сбегать по глубокому белому песку. Здесь проходили пароходы, поднимавшие волны, доплескивавшиеся до берега. Мы очень любили эти места.

Отец приезжал к нам в Растяпино, хотя и не жил в нем так подолгу, как мы. Помню, как отец рассказывал, что он спрыгнул с поезда, который не останавливаясь проходил мимо Черного. Он сначала сбросил чемоданчик, вслед за ним прыгнул и сам. В этом маленьком чемоданчике он привозил с собой работу. Кажется, тот раз он привез рукопись «Маруся», которую спешно кончал [8]. Один раз отец взял меня с собою, когда шел в соседнюю деревню, в избу, где находился человек на цепи. Я в избу не заходила и ждала его возле дома. Этот случай с ненормальным на цепи папа описал в рассказе «Смиренные» [9]. В Растяпине, как и везде, отец принимал участие в нашей жизни, играл с нами в крокет, в колышек, иногда мы играли под мелким дождем, что было еще веселее. Помню, как мы, не дождавшись хорошего дня, ходили в лес за грибами тоже под дождем. Вероятно, это был так называемый «грибной дождь», то есть перемежающийся с солнцем, а иногда даже вместе с солнцем. Помню, как мы стояли в лесу под елью и заметили грибок, который при нас вылез на свет из травы. Мы с папой увлекались сбором грибов

и рыжики солили сами в глиняной банке. Помню, как мы с отцом зарисовывали грибы. Иногда он сам рисовал какой-нибудь уголок в деревне, а мы смотрели. Это было как бы уроком для нас, детей. Некоторые из этих его рисунков сохранились в альбомчиках до сих пор.

В 1892 году отец поместил в журнале «Русское богатство» рассказ «Ат-Даван», из сибирских воспоминаний. «Ат-Даван» явился первым шагом вступления отца в этот журнал. Раньше все свои художественные произведения он помещал в «Русской мысли». В том же году он присутствует на собрании редакции «Русского богатства» в Петербурге, а в 1893 году печатает в нем свои статьи «В голодный год». В «Русском богатстве» он нашел место не только для художественных произведений, но и для своей публицистики, что он очень ценил. Отец и разошелся с журналом «Русская мысль» потому, что Гольцев неохотно печатал в нем его статьи.

В мае 1894 года отца постигла в Нижнем неудача. Он со своим кружком собирался приобрести газету «Нижегородский листок» и подал в Петербурге просьбу об утверждении его редактором. Работа в чужих газетах стала ему тяжела. Теперь только мы узнали, в каком количестве пропадали статьи Короленко в недрах редакторских и цензурных архивов. Отец хотел иметь «свою» газету, не закрывая глаз на то, что она будет работать в общих условиях бесправного и подцензурного времени. Он хотел руководить газетой. Но в июне получился отказ, и покупка «Нижегородского листка» не состоялась. Это сильно «ушибло» отца, как он выражался, и подорвало его интерес к жизни в Н.-Новгороде. Незадолго перед тем из Нижнего в Петербург уехал его ближайший друг Н. Ф. Анненский, чтобы непосредственно работать в редакции «Русского богатства». Отъезд из Нижнего Николая Федоровича явился личной утратой для отца, с ним порывалась еще одна нить, связывавшая его с Нижним, а Петербург и «Русское богатство» приобрели в лице Анненского ревностного ходатая за переезд отца в столицу.

Этим же летом, 5 сентября 1895 года, в нашей семье родилась четвертая девочка, Ольга, которой тоже не суждено было жить. Это была хорошенькая, больше всех похожая на отца девочка, и по письмам родителей друг к другу видно, что ребенок развивался хорошо.

«О какой новой «гениальности» Лельки ты можешь мне сообщить...» [10] — пишет маме отец. Но эту прелестную девочку отцу пришлось видеть очень мало.

Он узнал о беде мултанских вотяков, обвинявшихся в человеческом жертвоприношении, и 25 сентября уехал в Елабугу на вторичное разбирательство дела в качестве корреспондента. Глубоко потрясенный впечатлениями суда и вторичным обвинительным приговором, уверенный в том, что весь процесс фальсифицирован и что подсудимые являются жертвами прокурорского честолюбия, отец после процесса поехал в с. Мултан, чтобы расследовать дело на месте совершения убийства, в котором обвиняли вотяков, и, только собравши точный материал, вернулся в Нижний (8 октября).

Дело это благодаря страстной настойчивости отца получило тщательное освещение в печати и стало широко известно. Впоследствии невиновность мултанских вотяков стала азбучной истиной. Но не так это было тогда, когда отец вернулся из Мултана. В обществе и печати, даже близких отцу по убеждениям, версия о виновности вотяков была очень сильна. Правда, при этом говорилось об их некультурности, в которой обвинялось правительство, но факт считался возможным. «Чувствую, что, вероятно, и вы против меня», — пишет отец своему другу Н. Ф. Анненскому. «Увы! Моя родная сестра, Мария Галактионовна, тоже против меня...» [11] Но несмотря на шутливый тон, — отцу это было тяжело...

8 октября отец возвратился из Елабуги в Н.-Новгород, а 14 октября он уже в Петербурге, в ожидании редакционного собрания в журнале «Русское богатство». Ненадолго вернувшись в Нижний, 5 ноября он уехал опять в Петербург, где поселился в семье Анненского. С этих пор это его постоянное местопребывание при посещении Питера. Небольшая кушетка, на которой он у них спал, носила шутливое название «кушетка для коротких приятелей». Впоследствии, когда наша семья переехала из Петербурга в Полтаву, откуда отец раза два в зиму ездил по редакционным делам в Петербург, он всегда стремился к Николаю Федоровичу, и только у него в семье он чувствовал себя в своей атмосфере. Мама сама очень любила Анненских, но она не сочувствовала намечавшемуся переселению отца в столицу. Она понимала, что отцу с его натурой трудно будет работать в столице.

В этом отношении два ближайших друга — Николай Федорович и отец — были диаметрально противоположными людьми. Анненский был урожденец Петербурга. «Его родина — Офицерская улица города Петербурга!» — писал отец в некрологе Анненского [12]. Высокообразованный, блестящий и остроумный, Николай Федорович всегда тяготел к центру культурной жизни, к столице и, по-видимому, не мог понять другого тяготения. Его влияние на отца было велико, тем более что и значительные интересы отца влекли его тоже в Питер.

«...Мне пока кажется, что в Петербурге я буду работать живее и больше: здесь атмосфера, возбуждающая и мысль и воображение. Но во всяком случае — пока я обещал лишь приехать на два критических месяца, и во всяком случае — окончательное решение примем уже сообща...» — писал отец жене в Н.-Новгород [13].

Из писем того времени видно, что вопрос уже решился в пользу Петербурга и отъезд из Нижнего-Новгорода неизбежен.

6 января 1896 года Короленко простился с Нижним. А в начале мая уехали туда и мы с матерью.

Мы остановились в Петербурге в какой-то чужой квартире (кажется, Александры Аркадьевны Давыдовой, с которой родители очень сблизились впоследствии). Мне душно в перине на большой кровати. Я смотрю из нее на затемненную комнату, на маму, которая ходит с Лелечкой на руках взад и вперед по комнате. Лелечка начинала заболевать коклюшем, которым заразилась в дороге.

14 мая отец перевез нас с мамой в Финляндию в Куоккалу к самому берегу моря, 21 мая отец уехал в Мамадыш на третий процесс удмуртов, и пока он там напрягал все душевные силы на защиту подсудимых и целой народности, мать оставалась с угасающим ребенком на руках. 29 мая Лелечка умерла, о чем отцу сообщили уже после того, как он произнес в конце процесса две заключительных речи. 4 июня процесс закончился оправданием всех подсудимых. От речей отца не осталось записей, так как стенографистки, увлеченные речами, забыли свои обязанности и не записали их [14]. После речей ему дали телеграмму о смерти Лели. Папу надломил этот удар. Радость за оправдание удмуртов и горе в своей личной жизни оказались такой «ядовитой

смесью» (по выражению отца), которая нарушила равновесие его нервной системы, и он заболел жестокой бессонницей, оставшейся у него в разной степени на всю жизнь...

Мы встретили отца, выйдя навстречу к нему в Куоккале. В доме уже Лелечки не было. Осталась одна фотография: спящая под одеяльцем девочка. И в личике мне видится сходство с отцом.

Мне кажется, что папа не успел полюбить так сильно Лелечку, как любил первую умершую девочку, Лену. Та была уже старше и сама его любила... Мне кажется, что отца особенно мучило, что он должен был оставить маму одну в период болезни и смерти ребенка...

2. *Петербург*

Мы прожили в Куоккале до конца августа и переехали в Петербург, в найденную для нас друзьями отца квартиру. Это был деревянный домик, с флигелем, в котором мы заняли нижний этаж. И тогда он уже, по-видимому, был редкостью для Петербурга и должен был смягчать для провинциала Короленко петербургские условия жизни. Перед домиком, через улицу, за железной оградой зеленел сад греческой церкви. Это делало нашу «3-ю линию Песков» тихой и уютной.

Мне это время вспоминается светлым и радостным, как начало чего-то нового, хотя я недавно еще горевала о смерти нашей маленькой Лелечки. Помню, как сообща ставились некоторые вещи. Тут же с нами был и Николай Федорович Анненский, папин ближайший друг с давних пор. Он жил и в Нижнем, но это время я плохо помню.

Здесь же в Петербурге, когда мы устраивались на новой квартире, против Греческого сада, среди семейных мне уже ясно рисуется фигура Николая Федоровича, жившего недалеко от нас на Лиговке и часто бывавшего у нас. Часто и отец заходил к ним, иногда беря для прогулки нас, детей.

У Анненского была крупная, мешковатая фигура, но очень подвижная, и часто он входил с песней и прибауткой. Николай Федорович не был ни моложав (в то время ему было за 50 лет), ни красив, небольшие серые глаза и крупный нос первыми бросались в глаза. Наруж-

ность не объясняла его обаяния, которому поддавались все после знакомства с ним. Оно заключалось в каком-то постоянном внутреннем оживлении, которое исходило от него. Иногда это было просто веселое, радостное восприятие жизни, которое Николай Федорович умел передавать даже угрюмым, мрачным людям, но в серьезные моменты это был подъем, с которым он реагировал на современные ему события, и тогда он делался центром окружающего его общества. Николай Федорович был прирожденным оратором, у которого воодушевление заменяло все ораторские приемы, а о себе в это время он забывал совершенно. Дружески подсмеивались над его манерой во время речи подтягивать брюки, без всякой нужды к тому. Умный и твердый в своих прогрессивных убеждениях, Николай Федорович живо переживал все общественные события того времени и смело шел на возможность правительственных репрессий. За это он и был любим молодежью и прогрессивною частью общества. Прогрессивный Петербург того времени хорошо знал Николая Федоровича, а его меткие выражения жили потом долго своей жизнью.

Мне кажется, что его любили все (из нашего круга, конечно). Мы с сестрой, еще детьми, под его простотой и жизнерадостностью инстинктивно чувствовали и большую образованность и глубокую культуру, и из всех других, посещавших наш дом, людей часто с большими достоинствами, мы одного Николая Федоровича считали равным своему отцу — оценка, выше которой у нас не было. И действительно, у них было так много общего, что, любя отца, мы почувствовали и полюбили Анненского, как родного. Отец был моложе Николая Федоровича на десять лет, но разница в возрасте между ними не чувствовалась, и часто отец бывал даже солиднее своего старшего друга.

Были между ними, конечно, и различия: например, Анненскому было легко говорить и очень трудно писать. Бывали у него в связи с этим тяжелые полосы уныния, когда он никак не мог кончить статью, прекрасно обдуманную и составленную (именно «кончить»). Отец немного юмористически жалел его и временами помогал. Это называлось, что у Николая Федоровича «ущемлен хвост». Отец же несравненно легче писал, чем говорил. Для речи он обыкновенно составлял краткий конспект,

и хотя потом и говорил хорошо, но всегда ему это стоило большого труда.

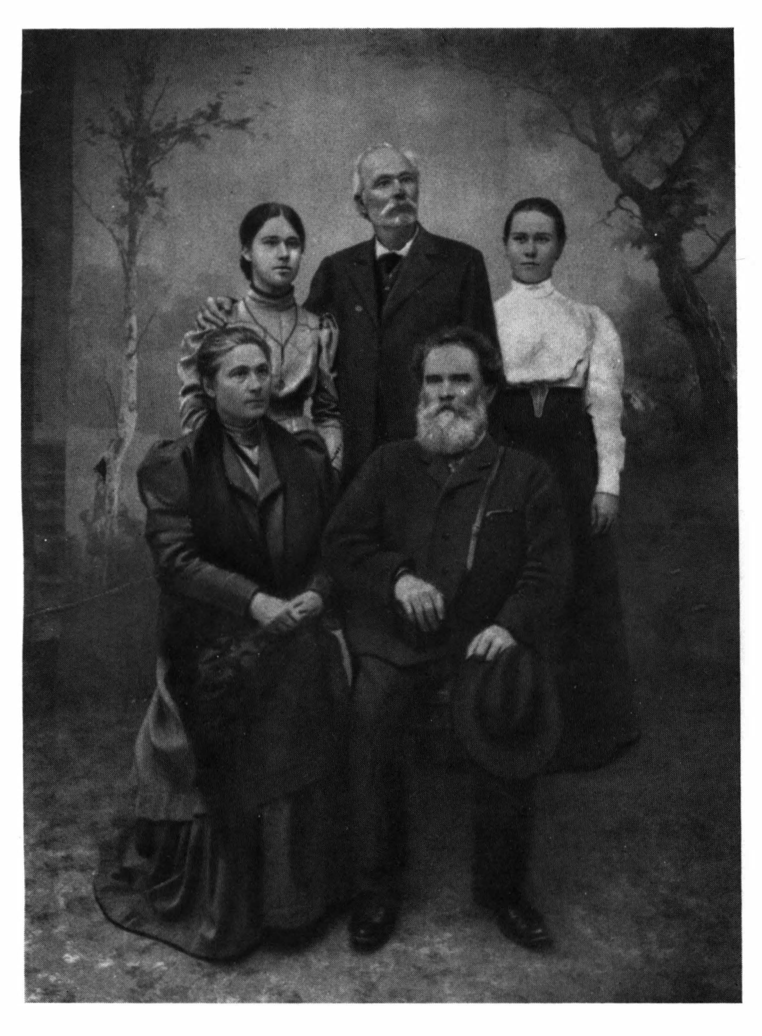
Для меня несомненно, что отец и Николай Федорович были друг для друга самыми близкими людьми в нижегородский и петербургский периоды их жизни. Крепкая любовь к Николаю Федоровичу, связанная со всем самым дорогим в душе отца — с его взглядами и с его работой, — не прерывалась потом всю жизнь.

Тогда же, при вступлении в петербургский период жизни, я помню и Федора Дмитриевича Батюшкова, который познакомился с отцом еще в 1895 году [15], во время его жизни здесь без нас. Во время нашего переселения из Куоккалы в Петербург он уже был среди нас, как добрый знакомый.

Мне нравился Федор Дмитриевич. Даже в моих детских глазах, которые всех видели старше, он казался молодым и привлекательным. Федор Дмитриевич по происхождению был из аристократической среды, и вся внешность его и манеры были человека хорошего тона. Он был не нашей среды, но хотел себя чувствовать нашим. Он полюбил папу страстно. Впрочем, он любил и уважал и маму; в длинных письмах к ней он изливал свою любовь к отцу, несколько сентиментальную. Мама отвечала ему искренней симпатией и огорчалась иногда отношением отца. Он тоже любил Батюшкова, только, как я понимаю, хотел изменить его отношение к себе, сделать его проще, спокойнее.

В Петербурге отец больше проводил с нами времени, или мне это так казалось, потому что память сохранила мне больше воспоминаний. В квартире отец привесил кольца для гимнастических упражнений, в пользу которых он очень верил. Мы с удовольствием на них упражнялись, и я достигла того, что подымалась на мускулах и кувыркалась. Невдалеке от нашего дома был большой каток, и отец научил нас кататься на коньках. Один раз я очень упала на неровном краю, и у меня было легкое сотрясение мозга. Но кататься мы выучились и делали с отцом это довольно регулярно, по-видимому, для здоровья не только нашего, но и его.

Помню, что на этом же катке я пережила чувство ревности к отцу. Оно относилось к молодой девушке, которая просила папу научить ее кататься. Мне казалось, папа слишком подолгу с ней катается, и она мне



В. Г. Короленко в кругу родных
Сидят: Е. С. Короленко, В. Г. Короленко.
Стоят, слева направо: Н. В. Короленко, В. С. Ивановский,
С. В. Короленко. Румыния (1907)

стала неприятна. Я стала нервничать. Папа заметил это и сказал мне, что так принято на катке и не надо за это сердиться. Папа катался хорошо и умел делать круги правой и левой ногой и ходил «гигантскими шагами». Но полного совершенства он не достиг: вероятно, недостаточно для этого катался.

В Петербурге я заболела сильным брюшным тифом, который продержал меня в постели около полугода. Когда я начала поправляться, папа стал читать мне ежедневно вслух Жюля Верна «80 000 верст под водой» и этим принес мне много радости. Чтение его слушали и все наши, и оно тянулось долго.

В нашей гостиной, отгораживая угол, стоял небольшой диванчик. Я за ним в углу сделала себе убежище, где проводила много времени, даже и тогда, когда на нем сидели гости. Уже при переезде из Петербурга в Полтаву папа нашел в порванном месте за обивкой мои листочки и записную книжку, которые служили мне в моем уединении. Это я начинала писать стихи в разочарованном духе все испытавшего человека. Помню, папа спрашивал, чьи они, и на мое признание и просьбу вернул мне их не читая.

В Петербурге мы начали заниматься с учительницами, подготовляясь к гимназии. У Сони была одно время учительницей Надежда Константиновна Крупская [16], у меня — Юлия Ивановна Герд.

В домике на Песках мы прожили всю свою петербургскую жизнь, кончая весной 1900 года. Деревянный домик недолго пережил нас. На фотографии, снятой перед нашим отъездом, за ним видны уже высокие леса новой постройки, которая потом поглотила наш домик. На месте его поднялись ровной стеной большие каменные дома. Садик и церковь постарели и подряхлели, но еще держатся на своих местах.

Мне кажется, что Николай Федорович в значительной степени своим влиянием привлек отца в Петербург.

Если бы не смерть Лелечки в самом преддверии Петербурга, может быть у отца не было бы жестокой бессонницы, которая с самого начала питерской жизни так тяжело налегла на него, — может быть, тогда он бы легче переносил столичную жизнь. Но все равно, все-

таки она была не по нем, и двумя-тремя годами позже случилось бы то же самое — он сбежал бы в провинцию.

Когда он писал маме из Петербурга, что столичная жизнь возбуждает мысль и воображение, что он много работает тут, все это относилось к его работе публициста (он был тогда занят Мултанским делом). Но когда в нем проснулся художник, он увидал, что он не может писать в Петербурге. Это, я думаю, и было главным мотивом за оставление столицы. К этому присоединялась его бессонница и моя слабость после тяжелого брюшного тифа, но главное — талант влек его к уединению, и он выбрал Полтаву, глухой и сонный город, в котором самая скука должна была пойти ему на пользу, как художнику-беллетристу.

Тяжело ему было порывать жизнь с Николаем Федоровичем. Но в данном случае художник взял в отце верх над публицистом и над его личными привязанностями.

3. Полтава

В Полтаве по субботам или одно время по четвергам у нас вечером собирались знакомые. Это было сделано для того, чтобы не создавать наплыва к нам людей каждей день, то есть чтобы папа мог спокойно работать. Но и сам Владимир Галактионович был человек очень общительный, и вечера были созданы не только для «приходящих», но и для него самого.

Это не исключало того, что каждый день мог прийти к нам кто-то, и даже утренние рабочие часы нередко нарушались, если кто-либо имел надобность видеть отца. Строгости в этом отношении не было.

Но, с другой стороны, часто бывало, что отец по вечерам и вообще сплошь бывал занят какой-нибудь работой. Это не мешало ему выйти в четверг к собравшимся посидеть, поговорить. Но при этом он иногда внезапно уходил в кабинет и работал. Вечера носили семейный характер, и все знали и считались с папиной работой и настроением. Потом иногда шутили над его рассеянностью или какими-нибудь курьезами, связанными с тем, что, сидя в обществе, он наполовину отсутствовал и был занят своими мыслями.

Когда же он чувствовал потребность отдохнуть и отвлечься, он охотно шел к людям и был, конечно, душою нашего маленького полтавского общества.

Во вторую половину дня вообще рабочее время кончалось, и Владимир Галактионович отдавался другим занятиям: ездил купаться на речку, ходил гулять, на почту, колол дрова, разгребал снег. Иногда садился раскладывать пасьянс, что он под старость любил делать для отдыха.

Отец не любил слабости и распущенности. Как мне вспоминается, он строже относился к интеллигентным людям, чем к простым. Мы знаем, как добродушно и любовно он описал Тюлина, горького пьяницу, и мне вспоминается по контрасту, как он не мог простить этой слабости у Николая Васильевича Яцевича. Он избегал его видеть, когда тот приходил выпивши, и в такие минуты отзывался о нем как-то недобро и пренебрежительно.

Меня тогда это даже поражало. Николай Васильевич, бывший политкаторжанин, попал на каторгу совсем молодым юношей, с большими способностями. Жизнь его была изломана, и мне казалось, что следовало его больше жалеть, чем осуждать. Но жалости я не чувствовала у отца в отношении него. Николай Васильевич оставался очень хорошим человеком, но стал запойным пьяницей, и Владимир Галактионович не мог этого простить интеллигентному человеку.

Владимир Галактионович не был ригористом, и в дни каких-нибудь семейных праздников, например в свой день рождения, он всегда выпивал со своими друзьями и близкими. На нем это отражалось повышенным весельем и остроумием, и такие праздники были особенно приятны. Не знаю, был ли он когда-нибудь пьяным. Я этого не видела и не представляю себе.

Еще Владимир Галактионович очень не любил обжорства и вообще «чревоугодия». У него в семье эта черта была. В известном возрасте его братья и сестры полнели выше среднего. С младшей сестрой Эвелиной Галактионовной был удар еще на сороковом году жизни. Брат Юлиан был настоящим тучным толстяком и тоже кончил ударом.

Владимира Галактионовича это больно поражало, как какое-то искажение человеческой личности. Он сам тоже обладал хорошим аппетитом, и еда доставляла ему удовольствие. Но он редко просил или, вернее, со-

глашался на прибавку и как-то, вставая из-за стола, сказал: «Я ведь никогда не наедаюсь досыта. Я встаю из-за стола всегда таким, что еще бы поел. Иначе я бы растолстел, как Юлиан».

Это воздержание изо дня в день — один из примеров его выдержки и настойчивости.

Во время отдыха его тянуло взять котомку и идти в народную гущу, для общения с народом. Он легко находил с ним общий язык. Я вспоминаю, как в 1914 году он жил у меня во Франции в деревне под Тулузой. Началась война, и в деревне остались только женщины и дети. Для французов в деревне он не был ни писателем, ни известным человеком. А между тем все его любили и все знали. Он знал обстоятельства каждой семьи — кто на фронте, сколько детей.

Этот интерес к людям был неизменен, был ли отец в якутской деревне, или в Полтаве, или во Франции.

Моему ребенку я часто слышала пожелания французских крестьянок «быть такой, как твой дедушка».

Папа не любил излишней, по его понятию, брезгливости и страха заразы. Он подводил нас, детей, к общему бочонку с водой около станции и пил из общей кружки, сполоснув ее края.

Моя мать вспоминала уже впоследствии один случай, когда мы всей семьей ехали куда-то, и поезд стоял на станции. Она увидела отца, который нес с кем-то мальчика, очень красного, с сыпью на лице. Она, к своему ужасу, увидала, что он несет его в наш вагон. Нам, детям, еще не были сделаны какие-то прививки.

— Уведи их, — сказал он про нас. — Пойми, что и другие не пускают в свои вагоны. Что же им делать?

Мать почувствовала справедливость его слов и замолчала.

И так на каждом шагу я видела этого полного жизни человека, всегда внимательного ко всему, что было у него на пути.

Не понимая исключительности его как человека, мы считали его взгляды, его поступки, его жизнь — естественными, натуральными, должными, как свет солнца днем. Отсюда мы с легкостью судили других людей, часто находя их неумными или поступки их неправильными. Отчасти это было и по молодости лет: юность, не имея для этого оснований, особенно категорична в своих

мнениях. Отец же был очень терпим к людям и к особенностям каждого.

— Вы не правы, так легко критикуя и осуждая людей, — не раз говорил он нам. — Вы окружены людьми не совсем обычными, выше уровня средних людей. Нельзя мерить этим образцом всех людей и требовать, чтобы они подошли под эту мерку. Надо ценить в человеке то, что в нем есть хорошего, и не требовать того, чего нет. У вас многие — глупые, неинтересные или плохие люди. Это совсем неверно.

Эта терпимость вытекала из его непосредственной любви к человеку, причем чем непосредственнее, натуральнее был человек, тем более он ему нравился. Люди самолюбивые, книжные или с самомнением — этими чертами отталкивали его от себя, несмотря на другие свои достоинства. Поэтому он больше любил людей простых или приближающихся к ним по своей натуре.

Я помню, с каким раздражением как-то папа сказал, что он не хочет, чтобы ему указывали, с кем ему следует и с кем не следует быть знакомым.

— Я сам выбираю себе знакомых и не хочу, чтобы мне указывали. Мне не нужны «достойные меня» люди.

Я любила отца очень сильно, хотя и не думала никогда, что он большой человек. Но он был выше критики для меня, он для меня был безупречен. Его мнения, мысли стали моим достоянием с самого детства. Все, что он делал, — было хорошо. Все, как он думал, — было правильно. Я его считала безупречно прекрасным.

Когда-то в разговоре я высказала это ему. Не то, конечно, что он прекрасен, но то, что он всегда поступал хорошо. Он посмотрел на меня как-то грустно и внимательно и сказал, что я ошибаюсь, что у каждого человека есть, о чем пожалеть в прошлом, и что у него есть поступки, о которых он жалеет. Его слова о себе остались мне непонятны, но мне запомнился этот момент и особенно его внимательный с грустью взгляд...

Отец никогда не поучал нас, никогда не подавлял нашей воли. Но я вспоминаю два-три раза его глубокий взгляд на меня, когда я сделала или сказала что-то нехорошо, и этот взгляд я помню до сих пор.

В «Истории моего современника» Владимир Галактионович чудесно дает образ своего отца, и вот мне кажется, что я вижу в нем самом некоторые его черты. Он

описывал, как отец, нуждаясь в собеседниках, не раз обращал к ним, детям, свои вопросы и рассуждения, очень мало доступные им, — о боге, науке и некоторые философские вопросы.

Так было и у папы с нами, детьми. Он много говорил с нами на серьезные темы. В его порядке дня была вечерняя прогулка перед сном. Это был его способ борьбы с мучившими его часто бессонницами. Так как он (так же, как и его отец) иногда задумывался насчет нашего слабого здоровья, особенно моего, то он настаивал, чтобы я тоже гуляла перед сном.

Мы обыкновенно выходили вечером под руку вдвоем и, гуляя, обходили часто один и тот же круг по темным и пустынным полтавским улицам. Обычно мы шли по маленькой Садовой уличке и, дойдя до угла, поворачивали направо вдоль ограды большого городского сада. Рука с рукой мы шли неторопливо под сенью склонившихся деревьев, то темных, то освещенных редкими фонарями. Иногда вместо них в небе светила луна, или все было бело от снега...

Мы то молчали, отдаваясь отдыху и красоте ночи, но часто папа, занятый, как обыкновенно, какими-то своими мыслями, много говорил серьезного и задушевного. Иногда, только что оставив работу, он говорил о ее продолжении, развивал дальнейший ход начатого беллетристического рассказа или его конец. Все, что занимало его в законченном дне, все обыкновенно как-то отражалось в разговорах нашей вечерней прогулки. Если бы я была более зрелым человеком тогда и если бы у меня была лучше память, многое могло бы сохраниться в моих воспоминаниях. Теперь же оно потонуло в трепете темных вечеров этих ежедневных прогулок.

Мне кажется, что отец очень много любил и очень щедро давал. У него есть в якутской тетради в нескольких строках тема для рассказа. У какого-то животного золотой хвост. И вот часто являются просители. Что стоит ему дать несколько волосков. Постепенно хвост делается меньше и меньше. Потом остается в кисточке несколько волосков. Но и их выдергивают, и животное умирает [17]. Мне почему-то эта тема кажется символической. Не так ли В. Г. давал от своей здоровой любящей души, постоянно, на всяком месте, каждому обиженному и по каждому поводу. Горели его сердце, и ум, и вооб-

ражение. Всякая жизнь есть трата, но у такого человека — это пожар.

Но, отдавая себя, он и получал. Жизнь его все же была счастлива. Все его таланты были в действии. Он щедро любил, но какая волна ответной любви неслась к нему — это показывали его праздники, в которые он получал сотни горячих, любящих писем, адресов и телеграмм. Теперь, перебирая его архив и читая некоторые письма, я вижу, что были люди, которые любили его не меньше, чем мы, родные, а мне казалось, что любить его больше, чем я, невозможно.

Кем же он был? Очень разносторонне одаренным человеком, у которого самое большое была — душа, руководившая всеми его талантами. Он любил жизнь, людей, все живое.

Он больше любил людей добрых, простых, работающих. Любил и умел входить с ними в общение, был ими неизменно любим. Помню по Полтаве, что он любил сапожников, почтальонов и вообще почтовых служащих, извозчиков. У него в дневниках часто встречаются записи о разговорах с извозчиками, причем он ценит их мнения.

Вообще, мне кажется, Короленко был демократ в самом лучшем и глубоком значении этого слова. Он глубоко понимал равенство людей и как человек: для него был совершенно равноценен рабочий или якут Макар и ученый, интеллигентный человек. Это не было ни натяжкой, ни убеждением, — это было его живое мироощущение. Достаточно вспомнить его «Сон Макара», чтобы это понять.

Я вспоминаю, как он заботился о справедливости в самых, казалось бы, мелочах. Но они не казались ему таковыми. Он очень не любил и осуждал институт «прислуги». Но он понимал, что, отказавшись от нее для себя и своей семьи, он никому этим не поможет. И он старался о возможно лучшем отношении к домашним работницам в своей семье. Было известно его твердое мнение, что «прислуги» должны есть все то же самое, что и мы, что они должны пользоваться свободой в нерабочее время. Он очень тревожился, если кто-нибудь из них болел. Он относился к ним как к членам семьи. И у нас работницы жили подолгу и были привязаны к нашей семье.

Он не понимал и не признавал никакого превосходства одного человека перед другим. Отсюда его осуждение всякой расовой нетерпимости, его защита мултанских вотяков от обвинения в ритуальном убийстве, защита евреев и борьба за их равноправие, защита крестьян, которых карательный отряд поставил на колени и истязал коленопреклоненных. Он хотел поднять их в моральном отношении с колен. Добивался суда над их истязателями. Всякое поругание человеческого достоинства, кого бы это ни касалось, находило в нем горячего защитника всю жизнь и до самой смерти.

«Человек родится с глазами, открытыми для всего доброго». «Человек родится для счастья, как птица для полета» [18]. И если люди идут разными путями, одни к нищете и воровству, другие к достатку и честной жизни, то не всегда люди сами определяют свой путь.

Надо улучшать социальные условия жизни, надо стремиться к справедливости, неуклонно и неустанно, — так думал и так жил Короленко. Это мы, его дочери, наблюдали у него во всем и всегда. Я помню, как мы с ним приехали на глухой и снежный хутор к родным в рождественские праздники. Он мечтал о беллетристической работе, для которой он привез свой начатый рассказ из крепостного права «Обычай умер». Но приходят крестьяне и рассказывают об истязании, устроенном богачами над бедняками-крестьянами, и он собирает сведения, пишет корреспонденцию «В успокоенной деревне», которой добивается суда над урядником и стражниками [19], а «Обычай умер» остается незаконченным [20]. В другой раз продолжение его оборвали сведения о бойне студентов на казанской демонстрации... [21] Так в архиве и лежит эта незаконченная вещь, о которой он иногда рассказывал в семье с таким увлечением.

А между тем он очень ценил свою художественную работу. «Если бы я это написал, — говорил он иногда, — эти же идеи сидели бы теперь живыми образами в головах людей». Но иначе он не мог. И, как говорил он в конце жизни, он не жалеет, что уходил с художественной тропы на дорогу публициста или на путь непосредственной помощи, была ли то работа в помощь голодающим или борьба против смертных приговоров и т. д. Кто может взвесить, что было важнее и кто может подвести итог?

М. Н. Лошкарева

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

В своих воспоминаниях о моем дяде, Владимире Галактионовиче Короленко, мне хочется — не касаясь его литературной и общественной жизни — передать некоторые черты облика этого большого, близкого мне человека так, как они запечатлелись в моей памяти.

В конце 1884 года, вернувшись из ссылки, Владимир Галактионович с семьей поселился в Нижнем-Новгороде. В январе 1885 года туда же переехала его сестра — моя мать, Мария Галактионовна Лошкарева, с мужем, бабушкой Эвелиной Осиповной и двумя детьми. Они возвратились из Сибири ранее дяди и жили некоторое время в Петербурге. Впоследствии и младший брат Короленко, Илларион Галактионович, также жил с нами.

Воспоминания о Нижнем-Новгороде сохранились в моей памяти главным образом по рассказам моей матери и дяди, которые всегда особенно тепло и радостно вспоминали время, проведенное там. Жилось тогда более чем скромно: заработки у мужчин были скудные, а семья большая, и всегда еще кто-нибудь подолгу гостил из приезжих знакомых. Но все они были молоды и здоровы, и материальные затруднения переносились легко.

Я помню деревянный двухэтажный дом Лемке, тенистый сад, казавшийся нам тогда очень большим, с

высокими качелями и гигантскими шагами. В верхнем этаже дома жила семья Короленко, в нижнем — наша.

Квартира дяди обычно служила пристанищем для возвращавшихся из Сибири политических ссыльных. Бывало у него много молодежи и начинающих писателей, которым Вл. Гал. никогда не отказывал не только в совете, но и в материальной помощи.

Заинтересовавшись кем-либо из попутчиков во время своих пешеходных путешествий по Нижегородской губернии, дядя нередко приводил их с собой. Помню, мама рассказывала: «Поднимешься наверх и видишь — у печки греется какой-нибудь странник с котомкой за плечами. И всякий раз другой». Особенно часто, со смехом, вспоминали некоего Алмазова, бывшего семинариста, с которым дядя познакомился за крестным ходом с иконой Оранской божией матери. Пришел он голодный, оборванный, босой. Накормив, дядя одел его в свой старый костюм и снабдил деньгами на приобретение «инструмента» для какого-то ремесла, которым он якобы собирался заняться. На некоторое время Алмазов исчез, а затем появился вновь... в прежнем виде. Дядя снова помог ему — и опять с тем же результатом. Так повторялось несколько раз. Наконец он стал приходить сильно выпивши. Еще далеко от дома слышался его густой «семинарский» бас: «Где тут живет Владимир Галактионович Короленко? Жажду слова Владимира Галактионовича Короленко!» Завидев сидящую у окна бабушку Эвелину Осиповну, он, к ее великому ужасу, сорвав с головы разодранный картуз и театрально раскланиваясь, гремел на всю улицу: «Матушка Владимира Галактионовича? Позвольте поцеловать руку женщине, давшей миру такого человека!»

В конце концов дяде пришлось прекратить эти посещения довольно энергичным образом.

Много смеялись и острили над такими попытками «исправления», смеялся и сам дядя, но все-таки продолжал их.

В сочельник, 24 декабря по старому стилю, в день именин бабушки Эвелины Осиповны, внизу, в нашей квартире, устраивалась огромная елка. Нарядно убранная блестящими стеклянными шарами, золочеными орехами и всевозможными лакомствами, она привлекала внимание ребятишек с улицы. Густо облепив окна, при-

плюснув к заиндевевшим стеклам покрасневшие носы, они с жадностью любовались ею. Кончалось тем, что дядя Володя выходил и приводил их с собой. Быстро освоившись, они включались в общие игры, в которых дядя Володя и дядя Перчик принимали самое живое участие. Шум и возня поднимались невероятные! Напившись чаю и получив с елки незатейливые игрушки и мешочки со сластями, ребята расходились по домам, оживленно делясь впечатлениями о том, как они неожиданно побывали на елке у «Короленки».

Зимой, устроив во дворе большую ледяную гору, собрав своих и хозяйских детей, дядя Володя с увлечением катался на санках, а летом в саду высоко взлетал на качелях под оглушительный визг ребят. Коньки, езда на велосипеде также всегда были в обиходе семьи Короленко.

Дядя придавал большое значение физическому труду. Он говорил впоследствии, что только благодаря тому, что всю жизнь занимался им, он мог так интенсивно работать умственно. Каждый день и зимой и летом дядя по нескольку часов колол или пилил дрова, разметал дорожки в саду, убирал снег. Бывало, чувствуя недомогание и не желая поддаваться ему, отказавшись от чая и уговоров лечь и принять лекарство, он шел во двор и принимался за колку дров. Через некоторое время, разогревшись, румяный и бодрый, дядя возвращался в столовую, еще с порога объявляя встревоженной бабушке: «Ну, мамахен, теперь давайте есть — пить, я выздоровел!» И действительно, болезнь как рукой снимало.

Все Короленки отличались большим чувством юмора, умением в разговоре вставить меткое словцо, «поддеть» собеседника. Особенно изощрялся в этом дядя Илларион, любивший остро подшутить, «подпустить перцу», за что и был прозван в семье «Перец». Мы, дети, звали его «дядя Перчик», а комната его, где всегда царил невообразимый беспорядок, называлась «перечницей». Вообще, как впоследствии вспоминали взрослые, в доме всегда царила атмосфера веселой, беззлобной шутки. А с приездом в Нижний-Новгород Николая Федоровича Анненского — живого, подвижного, как ртуть, человека — атмосфера эта, так сказать, еще более «сгустилась».

Но к концу пребывания в Нижнем жизнь семьи омрачилась двумя смертями: летом 1893 года, когда дядя

Володя был в Америке, умерла его маленькая дочь Леночка, а в конце декабря того же года от скарлатины умер мой старший четырнадцатилетний брат Борис. Заразившись от него, сначала захворала сестра Вера, а затем и я.

Скарлатина в те времена считалась страшной болезнью и очень заразительной. Общение между этажами прекратилось. Удрученная горем, моя мать очень тяжело переживала эту изоляцию. И всю жизнь потом она с глубокой благодарностью вспоминала, как дядя Володя ежедневно подходил к нашему окну и переговаривался с ней через форточку. Эти непродолжительные беседы с близким человеком вливали в нее силы и бодрость, так необходимые ей в то тяжелое время.

После смерти сына моя мать не захотела оставаться в Нижнем, и в конце 1894 года мы переехали в Москву. А в 1896 году и семья Короленко перебралась в Петербург, куда настойчиво звал дядю уехавший раньше Ник. Фед. Анненский.

В Москве мы недолгое время жили на бывш. Долгоруковской ул., в доме Збук, а затем на Спиридоновке (теперь ул. А. Н. Толстого), в доме Бойцова, где впоследствии жил А. П. Чехов с О. Л. Книппер. В 1897 году мы переехали на Малую Бронную, против Патриарших прудов, в дом Вешняковой — в небольшой, трехэтажный флигель, стоявший в глубине двора. В этом доме мы прожили до осени 1912 года.

Приезжая в Москву — сперва из Петербурга, а затем из Полтавы, дядя Володя всегда останавливался у нас.

С его приездом все в нашем доме оживало. В передней беспрерывно раздавались звонки, с утра до позднего вечера приходили знакомые — наши, дядины, общие. В столовой по-праздничному раздвигался большой обеденный стол, за которым происходили многолюдные обеды и чаепития, с живыми рассказами дяди, смехом, шутками. Помню радостное, будто молодевшее в эти дни, лицо моей матери, с такими же лучистыми глазами, как у дяди Володи.

Будучи еще в младших классах гимназии, мы с сестрой Надей невольно разделяли это «праздничное» настроение: нас не гнали сразу после обеда садиться за

уроки, мама не сердилась за порванное платье. Иногда, еще в передней, нас встречал вкусный запах жареной малороссийской колбасы, — значит, на этот раз дядя приехал вместе с тетей Дуней. Тогда нас с сестрой переводили в комнату матери, а дядя с тетей селились в нашей.

Однажды за чаем шел оживленный разговор о декадентах. Содержание самого разговора не сохранилось в моей памяти, помню только, что дядя, лукаво поблескивая глазами, «пушил» их. В результате им было написано стихотворение-пародия:

БИОГРАФИЯ ДЕКАДЕНТА

Морщил клювом, двигал веком,
Был он, был он человеком

Г. Чулков.

Он родился, не рождаясь,
Насыщался, не питаясь.
Кушал ухом, слушал брюхом
И гордился острым слухом.

Думать он умел ноздрями,
Обонял всегда глазами,
Различал цвета печенкой,
Изъяснялся селезенкой.

Все в нем было необычно,
Декадентски фантастично,
Точно вечер спозаранку
Или разум наизнанку.

Умудрялся он незнаньем,
Наслаждался лишь страданьем.
Тишина ему гремела,
Темнота пред ним светлела.

Светской жизнью жил в пустыне,
Груши рвал он на осине
И, влюбившись в бегемота,
Убежал за ним в болото.

Там жилось ему не сладко,
Сапоги варил он всмятку,
«Расставаясь, оставался»,
С дядькой в Киеве встречался.

Гиппиус он звал папашей,
Мережковского мамашей,
Бабушкой считал Бальмонта,
Род свой вел от мастодонта.

Раз, не целясь, промахнулся,
Лежа, как-то спотыкнулся,
На воде под лопухами
Забеременел стихами.

«На деревьях — древеницы»,
А в стихах все небылицы.
Но в восторге все болото:
«Смысла нет — зато есть «что-то»! [1]

Вл. Короленко.

Иногда, устав от многочисленных посетителей, один из вечеров проводили в своей семье и с наиболее близкими знакомыми. Тогда дядя Володя читал что-либо новое, привезенное с собою, или они с мамой начинали вспоминать различные эпизоды из раннего детства, вошедшие в «Историю моего современника». Чаще же всего дядя что-нибудь рассказывал. Рассказчик он был изумительный. Помню, как однажды он передал нам только что вышедший рассказ Л. Андреева «Большой шлем». Рассказ ему нравился, и в его передаче он был так интересен, что, когда позже я прочла эту вещь, она разочаровала меня.

А вот другой пример.

Как-то в один из приездов дяди в Москву мне случилось пойти с ним в Художественный театр на новую тогда постановку пьесы Ибсена «Бранд» [2]. Я уже не говорю о себе, но и дядю (который Ибсена вообще не любил), по-видимому, взволновала талантливая игра артистов. Наблюдая за ним исподтишка, я видела, как он несколько раз вынимал из кармана платок. Но, придя домой, дядя подверг резкой критике пьесу и так юмористически передавал ее содержание, что все хохотали. Не могла удержаться от смеха и я, несмотря на то что пьеса произвела на меня большое впечатление.

Бывало, что усталость от дел, гостей и проч. доходила до того, что являлась настоятельная потребность «рассеяться» — и мама с дядей садились играть в пикет. Это было настоящим праздником для нас, детей. Игра беспрерывно прерывалась шутками, остротами, обвинением друг друга в плутовстве, а иногда и небольшими ссорами, так как оба партнера сильно горячились. При этом они почему-то переходили на польский язык: «О, матка бозка, ченстоховска!» — патетически восклицал дядя, когда ему не везло.

В Москве мы с сестрой Надей учились в частной гимназии Потоцкой. Гимназия эта по тем временам считалась либеральной. Она была основана коллективом преподавателей, из которых кто-либо (в то время — учительница французского языка, В. В. Потоцкая) официально наименовался «начальницей». В гимназии не было ни отметок, ни классных дам, обязательных в других учебных заведениях. В ней часто устраивались спектакли и литературные вечера с приглашением артистов или же силами самих учениц. Как-то, узнав о приезде В. Г. Короленко в Москву, меня стали просить привести его на один из таких вечеров. Дядя не отказался.

Гимназия в то время помещалась на углу Петровки и Богословского пер. (ныне ул. Москвина), в старинном барском особняке Самариных. Вместе со зданием к гимназии перешел и старый швейцар Самариных, живший тут же под лестницей. Это был важный, осанистый старик, с длинными седыми бакенбардами, одетый в ливрею с серебряными пуговицами. Звали его Адам Яковлевич. Узнав, что на вечер ожидается «почетный гость», которого ученицы с нетерпением выбегали встречать на лестницу, он торжественно встал у парадных дверей.

Дядя всегда был очень прост в обращении с людьми «всех чинов и рангов», и я помню, как Адам Яковлевич удивленно и вместе с тем растроганно говорил на следующий день: «Я думал, уж не Иоанна ли Кронштадтского ждут? А тут барин, такой простой: я ему пальто подаю, а он мне руку протягивает».

На этом вечере дядя читал «Огоньки», а потом, за чайным столом в зале, долго беседовал с учителями и ученицами старших классов. Приветливость и «доступность» Короленко произвели большое впечатление на учениц, — и мне завидовали: «Какая ты счастливая! Какой у тебя замечательный дядя!»

Лето мы обычно проводили под Нижним-Новгородом, в деревне Растяпино (ныне г. Дзержинск), куда часто приезжали и Короленки. А в 1903 году (если не ошибаюсь) там жили и Юлиан Галактионович с женой, и семья младшей сестры Короленко, Эвелины Галактио-

новны. В Растяпине же на лето из Нижнего-Новгорода селились некоторые друзья и знакомые дяди и моей матери по ссылке. Помню двух сестер (урожд. Рубанчик) — Евгению Яковлевну Козлову и Ольгу Яковлевну Андржейкович, врача-писателя Серг. Яковл. Елпатьевского и д-ра Нифонта Ив. Долгополова с многочисленными детьми, именуемыми дядей «долгополята».

Деревня была богатая, большая, около ста домов, расположенных по обеим сторонам широкой улицы. Большинство домов были двухэтажные, из которых верхний сдавался дачникам. Против каждого дома, на расстоянии нескольких шагов, во избежание пожара, для дачников были построены летние кухоньки-сарайчики. Около дома — небольшой палисадник с незатейливыми кустами сирени, бузины и акации. А сзади — «на задах», как там говорили, — тянулись огороды с густыми кустами малины, красной и черной смородины, с огромными золотистыми шапками подсолнечников. На огороде пчельник и баня. А дальше сплошной стеной стояли великолепные сосновые и еловые леса, изобиловавшие грибами и ягодами.

В жаркую погоду леса эти часто горели. Все тогда заволакивалось густым черным дымом, сквозь который тускло пробивалось солнце, от гари першило в горле, трудно было дышать. По деревне ходили с «крестным ходом», молебствуя о дожде, обходя с иконами дома, скотные дворы и огороды.

Дядя Володя присоединялся к молебствующим, стараясь из разговоров с крестьянами выяснить причины этих пожаров. У меня сохранился любительский фотоснимок части такого «крестного хода», с фигурой дяди на переднем плане.

Почти треть деревни были старообрядцы, «столоверы», как их называли. Они держались несколько особняком, дач не сдавали, к соседям в гости ходили со своей посудой. Женщины-старообрядки одевались в темные косоклинные сарафаны, голову повязывали, спуская концы платка на спину. Остальные женщины носили уже «европейское» платье: яркие зеленые или синие юбки, розовые кофты, густо отделанные кружевами и позументом. Особенно рядились в праздники на гулянье. Девки переодевались по нескольку раз на дню. Особым

шиком считались привязные косы, и, даже имея свою неплохую косу, деревенская модница ухитрялась нацепить себе на голову привязную, часто не в цвет своих волос.

Парни выходили на гулянье в жилетках поверх красных или розовых, часто шелковых, рубах, и обязательно в новых калошах, невзирая на жаркую погоду. Но летом парней было мало, так как большинство из них служило на пароходах.

В то время, о котором я пишу (конец 90 — нач. 900-х гг.) в Растяпине — вероятно, вследствие близости города — уже не водили хороводов, не плясали «русскую». Гулянья проходили очень чинно и по видимости скучно: девицы, взявшись за руки, прохаживались посередине улицы, а за ними шли парни, меланхолически растягивая мехи гармонии. Так продолжалось до вечера, когда, на закате, раскрывалась изгородь «околицы» и в деревню, под громкие удары пастушечьего кнута, входило огромное деревенское стадо.

Зрелище было поистине величественное. Впереди шел великолепный «общественный» бык, свирепо роя землю, за ним не торопясь следовали рыжие и черные «Милки» и «Звездочки», а сзади, суетясь и сбивая друг друга, бежали бараны и овцы. Навстречу, раскрывая ворота крытых скотных дворов, выходили хозяйки с ломтями густо посыпанного солью хлеба и загоняли скотину. А на деревенской улице долго еще стояла пыль и слышалось унылое блеянье заблудившейся овцы...

Когда спадал зной и становилось легче дышать, все собирались на крылечке нашей дачи, куда выходили и хозяева, и тут начинался обмен новостями, полученными из писем и газет, и оживленные, горячие споры «на злобу дня». А затем на широкой лужайке перед домом дядя Володя и другие мужчины с увлечением играли в «козла», лапту и чехарду с деревенскими ребятами.

В деревне, до которой от станции «Черное» надо было ехать четыре версты в тряском тарантасе по пыльной открытой дороге, селилась главным образом малоимущая интеллигенция, часто бывшая под гласным или негласным надзором. И нередки бывали неожиданные налеты и «похищения» того или другого из мирно отдыхающих дачников. Еще за околицей слышен был колокольчик урядника или станового, и когда в деревню

лихо влетала пролетка, запряженная парой, все выбегали смотреть, около какой дачи она остановится. Однажды такая пролетка подъехала к дому рядом с нашим, где жила бывшая ссыльная Евгения Яковлевна Козлова. Я и ее племянница, Леля Андржейкович, играли в это время на улице. К нам быстро подошла мама и, сунув нам под переднички две связки бумаг, тихонько сказала: «Бегите на «зады» и не возвращайтесь, пока за вами не придут». Мы бросились бежать.

Усевшись на толстых бревнах, приготовленных для постройки новой избы, боясь шевельнуться, чтобы не рассыпать бумаги, мы — хорошо понимая важность возложенного на нас поручения — терпеливо ждали. Чутко прислушиваясь к тому, что происходило в деревне, мы слышали, как прошло стадо, как вновь прозвенел колокольчик — и затем все стихло. Смеркалось, а за нами все не шли. Нам стали рисоваться всякие ужасы: что арестовали не только Евг. Яковл., но и наших матерей, что за нами никто не придет и нам придется провести ночь в лесу. Действительно, в суматохе о нас забыли и вспомнили, только когда пришла пора ложиться спать...

Приблизительно в километре от деревни протекала Ока, полноводная, светлая, с необыкновенно белыми песчаными берегами, поросшими мать-мачехой. Вплоть до самой реки тянулся густой сосновый лес. Обычно большой компанией шли купаться. Никаких купален или «кабинок» для раздевания на берегу не было: просто расходились — мужчины в одну сторону, женщины — в другую, разделяемые, как острил дядя, «мысленной линией».

В особенно жаркие ночи, когда от духоты и обилия комаров в доме невозможно было уснуть, с вечера уходили на реку, захватив с собою одеяла и подушки. На берегу разводили костер, пекли картошку, и в разговорах и воспоминаниях о годах ссылки, проведенных вместе, взрослые встречали восход солнца. Если в компании были мой отец, обладавший довольно сильным и приятным голосом, и Ольга Яковлевна Андржейкович, с особенным чувством певшая украинские песни, составлялся недурной хор. Мы же, дети, натаскав из леса большие пласты мягкого зеленого моха, устраивали из него постели и скоро засыпали, убаюканные темнотой и тихими всплесками волн. А по реке шли пароходы,

тянулись баржи, красными и белыми огнями мигали бакены...

15 июля (по старому стилю) — день рождения дяди, и 22 — день именин моей матери — всегда справлялись очень шумно и празднично. С вечера молодежь отправлялась в лес, откуда приносили огромные охапки еловых веток, хвоща и папоротника, плели гирлянды и украшали ими крыльцо и терраску. Обедать в эти дни уходили на «зады», в перелесок, где прямо на земле расстилалась скатерть и на ней расставлялись обильные яства. Младшие из детей читали поздравительные стихи собственного сочинения или изображали в лицах какую-нибудь басню. Особенно памятно мне одно «представление», когда мне, как самой маленькой, дали роль Вороны в басне Крылова «Ворона и Лисица» и, накрыв большим черным платком, посадили на дерево... прямо на сук!

В конце лета большой компанией отправлялись за несколько верст в лес за грибами. Следом ехал тарантас, в который время от времени присаживался кто-нибудь из детей. Но грибов набирали такую массу, что тарантас наполнялся доверху, и на обратном пути мужчинам приходилось тащить нас «на закорках».

Предпринимали также далекие прогулки по Оке. Из них запомнилась мне поездка в старый, заброшенный монастырь со странным наименованием «Дудин», развалины которого живописно высились на крутом берегу. Помню, как вместе с дядей Володей ходили в недалекую деревню Колодкино, где в одной из изб много лет содержался, прикованный к цепи, помешанный крестьянин. Мрачный, заросший густым лесом спутанных волос, он производил очень тяжелое впечатление. Не решаясь войти в избу, мы со страхом заглядывали в окна, пока дядя разговаривал с его родными. Впоследствии дядя описал его в рассказе «Смиренные». [3]

Через год после смерти бабушки Эвелины Осиповны, в 1904 году, решено было всем ее детям с семьями собраться на Кавказе, в именьице дяди Иллариона Джанхот, в сорока верстах от Новороссийска.

Это был прелестный уголок. В широком ущелье между невысоких гор, сплошь покрытых лесом, протекала

небольшая быстрая речка, по сторонам которой лежали зеленые поляны. Дом дяди — из дикого камня, двухэтажный, с большой террасой, выходящей на море, стоял в полугоре. Кроме него, в ущелье было еще два дома, приблизительно в полутора километрах друг от друга. За домом — небольшой виноградник и фруктовый сад. Когда виноград поспевал, шакалы, большие до него лакомки, спускались с гор и близко подходили к дому. В темные ночи, среди кустарников, видны были желтые огоньки их глаз. Они кричали тонкими человечьими голосами, в ответ им выли собаки; громко трещали цикады, в кустах роз ночная птица «сплюшка» протяжно выводила свою «сплю-сплю», а в воздухе, как подвешенные фонарики, мерцали летающие светящиеся жучки — тогда казалось, что попал в какую-то фантастическую страну из книжки Майн Рида. До ближайшего культурного центра, Геленджика, представлявшего тогда собою небольшое и недорогое курортное местечко, было около двадцати пяти верст по неудобной горной дороге.

От дома узкая тропинка среди густой заросли кизила, алычи и ожины вела к морю. Ходьбы по ней было минут двадцать. Место было такое дикое, что нередко на тропинке можно было встретить семейство черепах или клубком свившихся змей, гревшихся на солнышке; только при приближении к ним вплотную они, шипя, медленно уползали в заросли.

Море — спокойное, темно-синее, с белыми барашками пены, лежало в неглубокой бухточке. У самой воды, на берегу — большая турецкая лодка-фелюга. Ранней весной из Трапезунда приезжали турки-рыболовы, арендовавшие у владельцев участков берег. До глубокой осени они занимались рыбной ловлей, уплывая далеко в море. На берегу для них была выстроена небольшая хатка, в которой старый одноглазый турок — «куфарка» занимался хозяйством, а несколько молодых, ловких, стройных, в живописных костюмах, с красными фесками на голове, целый день возились около фелюги. В лунные ночи они выезжали в море на ловлю. Изредка и мы присоединялись к ним. До сих пор моя память сохранила эти ночные прогулки. Яркая луна особенно рельефно оттеняет скалистый берег, вдоль которого легко скользит большая лодка, оставляя за собой широкий серебряный след. Полная тишина (разговаривать нельзя,

чтобы не распугать рыбу) нарушается только всплесками волн да изредка доносящимся криком проснувшейся птицы. Все как будто замерло в очарованном сне...

Народу в то лето на Джанхот съехалось много. Из Москвы приехали старший брат Юлиан Галакт. с женой и наша семья. Из Полтавы — Короленки и семья д-ра Будаговского, в доме которого они жили. С ними же приехал и близкий знакомый Короленко Мих. Ив. Селитренников, статистик Полтавск. губ. управы. Кроме того, бывало еще много приезжавших погостить ненадолго. Дом был большой, поместительный, но все же места в нем не хватало, и около дома ставили палатки, в которых спали мужчины.

Среди такого многолюдства и сутолоки дядя регулярно работал. Он выбрал себе маленькую комнатку — чердачок с балкончиком, выходящим на море. С утра он уходил туда, и все знали, что беспокоить его нельзя. На этом чердачке, при получении известия о смерти Чехова, дядей были написаны воспоминания о нем [4].

К обеду и вечернему чаю все собирались на террасу за большим столом, и тут уж разговорам, шуткам и смеху не было конца!

Склонный к полноте, дядя был очень неприхотлив и умерен в еде. Он говорил, что есть следует столько, чтобы, встав из-за стола, можно было вновь приняться за еду. Особенно дядя воздерживался от жидкостей — его порция чаю была два стакана. Но, выпив их незаметно в увлечении разговором, он то и дело подвигал свой стакан к самовару, каждый раз предупреждая: «Только, пожалуйста, половинку!» Мы, молодежь, в обязанности которой входило хозяйничать за чайным столом, как-то подсчитали, что он выпил тринадцать половинок!

Ввиду того, что своего хозяйства у дяди Иллариона тогда еще не было, а в ближайшей деревне Прасковеевке можно было достать разве только яйца и масло, — накормить всех собравшихся на Джанхоте представлялось делом весьма трудным. Для посылок в Геленджик на базар был нанят молодой парень Афанасий, не очень расторопный и смышленый по кулинарной части. Частенько он возвращался, не выполнив — или выпол-

нив не так — и половины данных ему поручений. Вспоминается курьезный эпизод, над которым впоследствии много смеялись, особенно в передаче его дядей.

Однажды вечером, когда все сидели за чаем, на террасу стремительно вбежала Елена — кухарка-хохлушка, привезенная Короленками из Полтавы. «Що ж це таке? — быстро заговорила она, потрясая куском мяса. — Що ж ми будемо їсты? Ахванасий привез саму баранину, та сам хвіст!» Действительно, мяса было недостаточно, и вопрос с обедом на следующий день осложнялся. Хозяйки расстроились.

Во избежание таких неприятных неожиданностей, дядя Володя взял на себя заботу о доставке провизии. И бывало, мы еще только сходились на террасу к утреннему чаю, а он уже подъезжал верхом, возвращаясь из Геленджика, куда отправлялся с рассветом. От всей его невысокой, коренастой фигуры, ловко и даже красиво сидящей в седле, от лица с живыми, искрящимися глазами веяло здоровьем и бодростью, невольно заражавшими и других.

Весть о том, что на Джанхоте живет писатель Короленко, быстро распространилась по Геленджику, и оттуда началось настоящее паломничество. Большими компаниями приезжали морем, на лошадях, приходили пешком. Сначала дядя Володя выходил и беседовал с приезжающими, но затем это стало надоедать, мешало работе, и он стал прятаться. Совершенно бесцеремонно «гости» располагались невдалеке от дома, вытаскивали привезенную с собою провизию и проводили целые часы в надежде хотя бы увидать «знаменитого писателя». Тогда пустились на хитрость: на чердачке, где обычно работал дядя, около стола ставили стул, на который вешали пиджак, располагая его таким образом, что казалось, будто за столом, нагнувшись, сидит пишущая фигура, и назойливым посетителям показывали «работающего писателя», которому нельзя мешать. А дядя на это время спускался вниз.

Бывали случаи, когда Владимира Галактионовича путали с его братом Илларионом, очень похожим на него. Тогда происходили забавные сценки. Дядя Перчик, застигнутый где-нибудь около дома, с серьезным видом выслушивал комплименты и изъявления удовольствия по поводу знакомства с писателем Короленко, а

затем, с присущим ему юмором, признавался, что он — собственно не он, и что все это должно относиться не к нему, а к его брату.

15 июля на Джанхот съехалось много народу из Геленджика и с соседних хуторов. И как обычно в этот день, был устроен небольшой «спектакль». На этот раз передавался отрывок из «Русских женщин» Некрасова: диалог кн. Трубецкой с губернатором. Губернатора изображала Софья Владимировна, Трубецкую — моя сестра Надя.

Нередко мужская компания, упростив насколько возможно костюм, повязав головы полотенцем наподобие чалмы и вооружившись длинными кизиловыми палками, отправлялась в горы. Путешествия эти были не только затруднительны, но и небезопасны: пробиваться сквозь кусты так называемого «чертова дерева», покрывавшие горы, было делом нелегким. Как-то, возвратившись с одной из таких прогулок, дядя очень живо и образно рассказал, как уже по дороге к дому они потеряли Мих. Ив. Селитренникова. Долго кричали и аукались, и наконец на зычный оклик дяди: «Михаил Иванович, где вы?» — из дальних кустов послышался слабый голос: «В ко-лю-чках сижу». Необычайно острые колючки «чертова дерева» так вцепились в свою жертву, что дяде пришлось вернуться и пустить в ход нож.

Устраивались и общие дальние прогулки — или поездки на длинной арбе — на Михайловский перевал, на Лысые горы, в Фальшивый Геленджик. Свое название последний получил благодаря тому, что в осенние туманные ночи с моря его небольшую бухточку часто путали с геленджикской. В большинстве случаев дядя Володя бывал инициатором и душой этих прогулок — несмотря на некоторую полноту, он был очень подвижен и прекрасный ходок.

25 ноября (по ст. ст.) 1915 года на Джанхоте внезапно умер дядя Илларион. Получив телеграмму, мы с матерью тотчас же выехали из Москвы. В Ростове-на-Дону мы встретились с дядей Володей, приехавшим из Полтавы со своей старшей дочерью, Софьей Владимировной. Переночевав в Ростове у старого знакомого дяди, Китаева, на следующий день мы вместе с ним

выехали в Новороссийск, а оттуда, на лошадях, в Геленджик и на Джанхот. Несмотря на конец ноября, погода была на редкость теплая. Горы были покрыты яркими цветами, море, густо-синее, радостно сверкало на солнце. Все это так не вязалось с представлением о смерти...

На следующий день после нашего приезда состоялись похороны. Народу на похоронах было немного: двое-трое соседей с ближайших хуторов и несколько крестьян из деревни Прасковеевка. Дядя Илларион был похоронен невдалеке от дома, в полугоре, откуда открывался чудесный вид на море; он сам, еще задолго до смерти, выбрал это место. При прощании с покойным моя мать громко заплакала. Дядя болезненно поморщился: «Маня, милая, не надо!» — и, низко нагнувшись над гробом, тихонько произнес: «Прощай, Перчина!» Всю жизнь сердечно просты, чужды всякой аффектации, были отношения между братьями. Так же просто было и последнее прощание...

С тяжелым сердцем вернулись в дом: кроме потери близкого человека, заботил вопрос, как будут жить оставшиеся вдова и двое маленьких сыновей. Самый тяжелый день для семьи усопшего — это день похорон. И вот благодаря дяде Володе вечер этого дня превратился в вечер воспоминаний, посвященных Иллариону Галактионовичу. За чаем дядя стал рассказывать о детских годах в Ровно, о сибирской ссылке, о совместной жизни всей семьи в Нижнем-Новгороде. В разговор невольно втянулась моя мать, воспоминания оживились, все стали припоминать шутки, острые словца дяди Перчика, на которые он был такой мастер, — и под конец стало казаться, что мы не расстались с ним только что навсегда, а что он, живой, присутствует между нами...

Весной 1917 года умерла моя мать. Я очень тяжело переживала ее смерть. В это же время я начала терять слух, осталась без работы и без всяких средств. По временам мне казалось, что жизнь для меня уже кончена. В таком состоянии я дотянула до лета 1918 года, когда Софья Владимировна, проезжая через Москву, почти силой увезла меня в Полтаву. В дороге я заболела «испанкой» и приехала совсем больной. Вся семья Короленко встретила меня очень тепло и сочувственно.

Дядя, сам страдая глухотой (в молодости он простудился и потерял слух на одно ухо), особенно участливо отнесся ко мне, расспрашивал о симптомах моего заболевания, делился своими ощущениями шума в ушах, головокружения и проч.

Оправившись, я выучилась машинописи и поступила на службу. Позднее дядя подарил мне пишущую машинку, и я стала помогать ему в работе, переписывая его рукописи.

Украина в то время переживала трудное время, подвергаясь захвату то немцев, то деникинцев, то Петлюры. Эти частые смены властей влекли за собой произвол и насилие, особенно тяжело отзывавшиеся на еврейской части населения. Имя Короленко было очень популярно в Полтаве: его знали как защитника угнетенных, борца с бесправием и произволом. И со всеми своими горями и бедами шли к нему. В моем воспоминании сохранилась целая вереница людей, ищущих у него приюта, защиты, совета или просто слова участия. До поздней ночи у подъезда раздаются звонки, дядя отрывается от работы, выходит из-за обеденного стола, чтобы принять, выслушать и тут же отправиться хлопотать, часто спасая от неминуемой смерти. У него усталое, измученное лицо, он только что вернулся с одной из таких поездок, но он никогда не отказывает, во все вникает, всем волнуется. И люди, пришедшие к нему в полном отчаянии, уходят успокоенные, с уверенностью, что он действительно сделает для них все, что может, все, что в его силах.

Вот на этой способности дяди — прийти на помощь в трудную минуту, найти нужное слово ободрения, воскресить надежду, — мне хочется остановиться подробнее.

В Полтаве я жила со своей маленькой племянницей,[5] дочерью моей покойной сестры Нади. Дядя очень привязался к девочке. Они вместе ходили на почту, гуляли в городском саду. Живая, непоседливая, она часами просиживала в кабинете около стола, за которым работал дедушка, роясь в ящике с обрезками кожи, гвоздиками и другими сапожными принадлежностями. Обучившись еще в сибирской ссылке сапожному мастерству, дядя до последнего времени чинил обувь своим домашним и близким знакомым. Временами ему прихо-

дилось отрываться от работы, чтобы выслушать и ответить на пытливые вопросы ребенка.

Летом 1920 года девочка тяжело заболела. Врачи не надеялись на выздоровление. Особенно памятна мне одна ночь, когда казалось, что конец неизбежен и уже близок. Потеряв последнюю надежду, измученная бессонными ночами, я вышла из комнаты больной и в коридоре столкнулась с дядей. Он обнял меня, поцеловал и сказал тихим, но твердым голосом: «А я верю, верю, что она будет жить!» И была в его словах такая уверенность и сила, что я почувствовала себя спокойнее и ко мне вернулась надежда. И действительно, ночь эта оказалась переломной, и девочка выздоровела.

Раньше я уже упоминала о том, какую поддержку находила моя мать в общении с дядей во время тяжелой болезни и смерти сына.

Тут же мне хочется сказать об отношении Короленко к детям. В моей памяти образ дяди неизменно встает окруженный детьми, с которыми он умел ладить и находить общий язык. В Растяпине это были деревенские ребятишки, в Полтаве — дети из соседних дворов. В нашем детстве мы всегда видели со стороны дяди исключительное внимание к нашим интересам и «переживаниям» и нередко прибегали к его авторитету в своих «конфликтах» со взрослыми.

Вспоминается один из таких конфликтов во время приезда Короленок в Москву всей семьей. Мы, дети, устроили спектакль: сочинили пьесу, распределили роли и в один из вечеров пригласили родителей и домашних на «премьеру». По ходу пьесы Наташа Короленко должна была снять со стола, покрытого турецким платком, стоявшую на нем керосиновую лампу и, закутавшись в этот платок, произнести трагический монолог. Только что она приступила к этому действию, как из первых рядов «партера» раздался взволнованный голос: «Нет, этого я не могу позволить!» — и, широко шагнув на сцену, тетя Дуня выхватила из рук Наташи тяжелую, чугунную лампу. Эффект пропал, спектакль был сорван, актриса разрыдалась. Мы все напали на тетю Дуню. Тетя, сконфуженная, сначала оправдывалась, а потом не на шутку рассердилась. Дело принимало уже серьезный

оборот. Кончилось тем, что мы прибегнули к «третейскому суду» в лице дяди Володи, который очень внимательно и беспристрастно отнесся к нашей жалобе и вынес тете Дуне порицание за недостаточно чуткое отношение к «артистам».

Не могу не поделиться также маленькой сценкой, впечатлительно ясно сохранившейся в моей памяти.

В Полтаве у Короленок долго жил черный пудель Карко. В 1918—1920 годах, когда я жила там, он был уже очень стар, глухой, грязный, весь в репьях. За неопрятность и непрезентабельный вид его гнали из комнат. Он был очень привязан к дяде, и когда тот шел гулять, Карко, еле передвигая ноги, плелся за ним. Как-то, выйдя рано утром на кухонное крылечко, я застала там дядю — в ногах у него Карко. Дядя, склонившись, осторожно чешет свалявшуюся шерсть, терпеливо вытаскивает репьи и тихонько ласково разговаривает с ним. Карко блаженствует...

За последний год моей жизни в Полтаве дядя Володя стал заметно слабеть. Он очень похудел, лучистые глаза его потускнели, всегда бодрая походка стала затрудненной. Но он старался ни в чем не изменять своего прежнего образа жизни: все так же рано вставал и, пока в доме еще спали, шел во двор разметать дорожки и пытался даже колоть дрова. Но чаще всего в эти утренние часы теперь его можно было застать за письменным столом, склоненным над рукописью. Чувствуя, что силы, вместе со здоровьем, уходят с каждым днем, он торопился закончить «Историю моего современника». За вечерним чаем он обыкновенно прочитывал написанное в кругу родных и близких.

Временами казалось, что дядя, сидя с нами за столом, как бы «отсутствует». Только что он принимал участие в общем разговоре, переспрашивая недослышанное, и вот его уже нет среди нас: он весь сосредоточен в своем внутреннем мире. Иногда он внезапно вставал и шел в кабинет, чтобы записать только что возникшую мысль. И такой «уход» от окружающей жизни в жизнь душевную за последнее время наблюдался все чаще и чаще...

Осенью 1920 года я решила возвратиться в Москву. Дядя очень сетовал, что некому будет переписывать его рукописи. Он привык к моей помощи и всегда удивлялся быстроте, с какой я работала. Я предложила выучить его писать на машинке. Мне удалось дать ему только несколько уроков, но я взяла с него слово, что он будет писать мне письма на машинке, чтобы я могла видеть, какие он делает успехи. Дядя обещал и сдержал свое обещание.

21 ноября 1920 года он пишет мне:

«Дорогая Марусенька.

Как видишь, исполняю твое желание и пишу на машинке, чтобы показать тебе успехи престарелого дяди на этом новом для него поприще. Положим, ты не можешь еще увидеть очень важного обстоятельства: скорости. Ну, да в этом отношении я за тобой и не думаю угнаться. Я мечтаю только о том, о чем мечтала когда-то Александра Никитишна Анненская, приступая к изучению стенографии: буду писать медленно, но четко. Все-таки и в отношении скорости сделал уже некоторые успехи: вчера, например, переписал целую статью о Толстом для толстовского вечера, на котором она и была прочитана (не мною) [6]. А главное, могу уже писать и думать одновременно...»

Большинство писем дяди, полученных мною после отъезда из Полтавы, написаны на машинке. Он писал мне довольно часто [7], интересуясь, как я устроилась с девочкой в Москве, давал советы относительно ее воспитания, справлялся о наших общих знакомых.

Затем письма от него стали приходить реже; вместо них я стала получать все более и более тревожные сведения о его здоровье в письмах тети и двоюродных сестер и, наконец, пришло извещение о смерти.

Как ни была я подготовлена к этому известию, я долго не могла свыкнуться с мыслью, что, приехав вновь в Полтаву, я уже не найду там дяди — больного и слабого, но до конца сохранившего свое любящее, для всех открытое сердце.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД

А. Н. Баранов

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МУЛТАНСКОМ ДЕЛЕ[1]

Выступление В. Г. Короленко, вместе с другими писателями нашими, с энергичным протестом против дикого обвинения евреев в ритуальных убийствах, упорно повторяемого истинно русскими погромщиками по поводу убийства мальчика Ющинского, заставило меня вспомнить о другом деле, в котором тоже обвинялась целая народность в человеческом жертвоприношении и в котором огромное значение имела энергичная защита В. Г. Короленка.

Я говорю о Мултанском деле[...]

После сенатского решения мы рассчитывали, что вторичный разбор этого дела в Елабуге будет происходить в более нормальной обстановке и при лучших условиях, чем это было в Малмыже. Но вдруг мы узнали, что в распорядительном заседании сарапульского окружного суда, в котором совершенно незаконно принял участие и председательствовавший на суде в Малмыже, суд вновь отказал защите в вызове как свидетелей, так и П. М. Богаевского, долго изучавшего в Сарапульском уезде, смежном с Малмыжским, быт и верования вотяков и отрицавшего существование у них человеческих жертвоприношений. Вместе с тем суд вызвал в качестве эксперта проф. Смирнова, допускавшего возможность таких жертвоприношений. Кроме того, со стороны обвинения были вызваны новые свидетели. Такие распоряжения суда ясно показывали, чего могли ожидать вотяки от суда в Елабуге[...]

Да, мы уже поняли, что опять ожидает бедных вотяков в Елабуге. Необходимо было поэтому привлечь к участию в этом вопиющем деле какого-нибудь крупного писателя, чтобы возбудить внимание всей читающей России, вызвать более широкий отклик со стороны ученых — юристов, этнографов, медиков. Необходимо было, чтобы такой писатель громко и горячо, со всей силой таланта, крикнул: «Да посмотрите же сюда, в этот глухой, далекий угол; ведь здесь творится ужасная, жестокая, возмутительная несправедливость — здесь гибнут совершенно невинные люди!.. Помогите!..»

Я невольно вспомнил о В. Г. Короленке, с которым я встречался в Нижнем-Новгороде раза два-три и о чуткости и отзывчивости которого я знал. Послав ему печатный материал, какой тогда имелся по поводу Мултанского дела, я сделал краткую характеристику этого дела и всех обстоятельств, при каких оно протекало. Не получая от него ответа, я вновь написал ему[2], приложив к письму еще кое-какие газетные вырезки. Оказалось, что с моей посылкой случилось недоразумение. «Вчера получил ваше письмо, которое, признаюсь, меня очень удивило, — писал мне В. Г. 6 августа[3]. — Оно очень кратко, очевидно имеет связь с другими вашими письмами, не дает вашего адреса и кончается словами: «теперь у вас находится уже весь материал, и больше об этом деле ничего нет». В том-то и дело, что у меня не находится весь материал и что это письмо, с заметкой Мандельштама, есть первое, от вас полученное (после двух или трех нашей прежней переписки). Что это значит? Правда, у нас тут перлюстрация в полном ходу и письма пропадают часто, — так вот разве этим можно объяснить эту странность. Но кому же и для чего могли понадобиться заметки о человеческом жертвоприношении? Во всяком случае, будьте добры, сообщите, когда и что именно посылали». В постскриптуме было приписано: «У меня кое-что есть об этом деле, но нет самого важного: полного судебного отчета, печатавшегося в «Казан. телеграфе».

После моего ответа Влад. Галакт. письмом от 24 августа[4] сообщил: «Спешу уведомить вас, что газеты и письмо ваше я получил. Очень благодарен и очень жалею, что не получил посылку ранее, тогда можно было бы послать статью еще в «Русское богатство». Повестка

пролежала у меня несколько дней, но я думал, что эта посылка — какая-нибудь из многочисленных, посылаемых мне рукописей, и только ваше последнее письмо заставило меня поторопиться ее получением. Посмотрю, что можно сделать». Постскриптум: «Боюсь, что газетных источников недостаточно, а времени уже немного». Разбор Мултанского дела в Елабуге был назначен на 29 сентября.

И наконец я получил следующее письмо Влад. Гал.:[5] «Пишу вам с парохода, на пути из Нижнего в Казань. Из Казани, как вы, вероятно, и догадываетесь, я еду в Елабугу, чтобы присутствовать на заседании суда по делу мултанских вотяков. Мне казалось, что присутствие на суде и предстоящий отчет в столичной прессе принесет делу, пожалуй, большую пользу. Ввиду этого я и решил ехать на заседание. Приеду за день до суда и постараюсь ознакомиться с новым обвинительным актом. Данные защиты читал и продолжаю читать на пароходе. Дело глубоко возмутительное, и я, вероятно, напечатаю его, кроме газеты, в «Русском богатстве». Приехав в Елабугу накануне суда, я застал уже Влад. Галак. в тесном и убогом номерке Вениковой. И когда я заговорил с Влад. Галак., то первыми его словами были: «Мрачное дело!..»

Судебный зал был тесен. Сенсационное дело привлекло немало публики. Число присутствующих еще увеличилось, когда город облетела весть о приезде Владимира Галактионовича.

Об истязаниях говорили на суде и посторонние русские люди, напр., псаломщик Б[огоспасаев][6]. О медвежьей присяге[7] пристав Ш[мелев] в Елабуге не только не пытался рассказать что-нибудь, но, напротив, на вопрос по поводу ее со стороны защитника с достоинством ответил: «Это зачем? У нас для присяги есть священники». Председатель суда тотчас же пришел на выручку пристава, запретив расспрашивать его об этом обстоятельстве.

Но у подсудимых и у свидетеля Т[итова] все-таки проскользнуло несколько слов об этой «присяге».

— Чучело привозил... свеча ставил, горит... — с грустной, покорной усмешкой передавали они. — Три раза

тяпнит, под дугой лезит, под дугой нас ташшил. Говори: «Я грека не знаю», — тяпни три раза...

Защитник. Подсудимые плохо выражаются. Я считаю с своей стороны очень важным выяснить картину этого допроса.

Председатель. Так как это касается неправильных действий полиции и не имеет никакого отношения к делу (?), то дальнейших прений по этому вопросу я допустить не могу.

Товарищ прокурора Р[аевский] горячо защищал своих сотрудников.

— В настоящее время Т[итов] отказался от своих показаний и говорит, что не помнит о них потому, что пристав, этот изверг рода человеческого, подвешивал его на два часа, бил, обливал водой и стрелял в него из револьвера. Возможно ли все это, господа? — спрашивал иронически Р[аевский] и развязно шутил. — Есть способ лечения подвешиванием, это правда, но не на два же часа. Ныне выдвигают еще какое-то чучело, на котором будто бы вотяки приводились к присяге приставом Ш[мелевым]. Согласитесь, что это такое, как не нелепость, выдвинутая с единственной целью опорочить действия полиции, производившей дознание.

С медицинской экспертизой произошел удивительный казус. Врач М[инкевич], производивший вскрытие, имел мужество признаться на суде, что он прежде «был предубежден» и «ошибся», давая прежнее свое заключение о прижизненном обескровливании Матюнина. Это обескровливание могло произойти после смерти: «труп ворочали, кровь могла излиться. Затем было давление в брюшной полости от разложения, а при давлении в брюшной полости происходит давление на все мягкие части и на сосуды». До вскрытия суд. следователь предупредил меня, что тут было жертвоприношение, почему я и обратил особенное внимание на десять пятен в нижней части живота». Теперь М[инкевич] категорически заявил, что это были надрезы, не следы уколов, а следы какой-то сыпи.

Председатель. Вы дали заключение, что кровоподтек (на голенях) от подвешивания?

Уездный врач. Да, но ведь если бы он при жизни был подвешен за ноги, то отекли бы, конечно, стопы, а не отекли бы ноги повыше лодыжек. И я вы-

сказываю, что анатомических данных для заключения о подвешивании нет...

Таким образом, М[инкевич] совершенно разрушал ту картину жертвоприношения с прижизненным подвешиванием, подкалыванием, обескровливанием, какую рисовал обвинительный акт.

Товарищ прокурора, разумеется, никак не мог примириться с этим и продолжал словесно пытать эксперта:

— Позвольте вам напомнить, что в протоколе вы говорите об отеках, что они могли произойти от подвешивания. Вы даже выразились так: «если бы к тому встретилась надобность, как, например, при жертвоприношениях вотских».

Уездный врач. Я заключил, что Матюнин мог быть подвешен. Это ошибка: таких заключений мне делать не следовало, не имея фактических данных. (Волнуется.) Да, я допустил ошибку. Но, что я узнал на суде, заставляет меня, по долгу присяги и совести, отступить от своего прежнего мнения.

Наконец за М[инкевича] должен был вступиться председатель суда:

— Доктор объяснил уже достаточно, почему он счел себя обязанным отказаться от первоначального мнения.

Но если врач, производивший вскрытие трупа, отказался от первого своего заключения, выраженного под влиянием и внушением следственной власти, то два другие эксперта, захолустные врачи К[рылов] и А[ристов], из которых один дожил уже тогда до Мафусаиловых лет, нашли возможность на основании того же самого протокола вскрытия подтвердить все положения обвинения.

Эксперт-этнограф — дьякон Верещагин, сам вотяк, — решительно заявил, что «вообще вотские боги не требуют человеческой жертвы. Курбона вовсе нет». О богах Аптасе и Чупкане даже не слыхал. В родовых шалашах при молениях не могут участвовать вотяки-чужеродцы, как это рисуется в обвинительном акте.

Но вот выступает профессор Казанского университета И. Н. Смирнов. Во время оно, путешествуя по Вятской губернии, он написал книгу «Вотяки». Не зная вотского языка, он не имел возможности вынести ничего действительно ценного из своей беглой экскурсии в вотский мир и ограничился изложением того, что было

сказано до него. Оригинальным явилось только одно — утверждение, что вотяки «в недалеком прошлом» приносили человеческие жертвоприношения. Это мнение почтенного ученого, по его собственным словам, было встречено другими учеными-этнографами «с недоверием». Но это не смутило г. Смирнова, и на суде он с легким сердцем изложил свою идею. На основании «предания» о жертвоприношениях, рассказанных в этнографической литературе гг. Соловьевым и Фукс[8], а также на основании черемисской сказки о мальчике, которого зарезала мачеха, — г. Смирнов заявил: «Отвечаю положительно — в литературе есть указания на человеческие жертвоприношения вотяков, а обстановка нахождения трупа дает черты жертвоприношения. Матюнин лишен крови, головы, внутренностей. В этом рисуется полная картина жертвоприношения». Между тем сам г. Смирнов, начиная свою речь, должен был признать, что, «переходя к вопросу, находятся ли в условиях убийства Матюнина такие признаки, которые указывали бы на обряд жертвоприношения, он наталкивается на целую цепь противоречий, недомолвок и недоразумений» (жертвоприношение в родовом шалаше с участием чужеродцев, наем резака и проч.). «Этого нельзя допустить с точки зрения веры. Но тут мы вступаем в область гаданий, так что я затрудняюсь дать ответ». И тем не менее г. Смирнов не колеблясь признал в убийстве Матюнина «полную картину жертвоприношения»!

Напрасно защитник в своей речи указывал, что вся воздвигнутая обвинением вотская мифология рухнула, и боги, требующие будто бы человеческих жертв, оказались несуществующими. Напрасно он ссылался на представленную в суд работу г. Луппова, который просмотрел более шестисот дел вятской консистории за прошлое столетие, в которых миссионеры доносят о состоянии новокрещенных вотяков. Священники обвиняют вотяков в суеверии и языческих обрядах, говорят подробно, кто и что приносил в жертву, — но ни разу даже не упоминают о человеческом жертвоприношении. А уж духовенству ли не знать, что делается в приходе.

— Эксперт Смирнов, — воскликнул защитник, — говорит нам, что уже с сороковых годов в литературе сообщаются факты о человеческих жертвах. Но какие же

это факты? Некто Соловьев сделал на археологическом съезде сообщение, будто, по преданию, некогда вотяки привязывали приносимых в жертву людей и метали в них стрелы. Но тут же знаток инородческого быта Золотницкий опроверг это известие, и ученое общество отнеслось к сообщению Соловьева с крайним недоверием. Далее г-жа Фукс[...] сообщала, будто у вотяков самый старый человек в деревне приносил некогда себя в добровольную жертву. И это, по ее словам, всегда было в одном и том же доме, из одной и той же семьи. Эти-то два предания дали профессору Смирнову основание для его заключений. Да еще сказка, и притом черемисская. Мы лучше послушали бы вотских сказок... Но и у нас есть сказки о бабе-яге, которая варит детей в смоле, и о Кощее, тоже охочем до человечины...

Профессорское слово, подтверждавшее темный предрассудок, оказалось, однако, ближе к пониманию присяжных. Свидетелей защиты, которые могли бы опровергнуть многое из показаний полицейских и других, суд не допустил. И несчастным вотякам был вторично вынесен страшный обвинительный приговор.

Просидев в тюрьме уже три с половиной года, обвиненные вотяки были приговорены: четверо — к десятилетней, двое — к восьмилетней каторге, один — к ссылке в отдаленнейшие места Сибири. Нечего и говорить о том, что испытывали семьи осужденных. Их хозяйство было разорено вконец.

А над мирной и трудолюбивой вотской народностью было вторично закреплено судом тяжкое обвинение...

Таким приговором был, видимо, удручен и проф. Смирнов. Возвращаясь со мной из клуба, где мы обедали, он задумчиво, как бы про себя, спросил:

— Неужели мое заключение могло так повлиять?

Я пожал плечами.

Тяжкий приговор и все, что развернулось на суде, глубоко потрясло В. Г. Короленка. Было решено, что мы, корреспонденты, вместе прочитаем свои записи, в которых мы старались записывать все, происходившее в суде, слово в слово, и таким образом сведем наши записи в один отчет[9]. Энергично принявшись за работу уже в номерах, мы продолжали ее на пароходе, вместе

с нашим сотрудником Суходоевым — местным земским служащим, писавшим иногда корреспонденции. Таким образом мы доехали до Чистополя. А так как В. Г. решил сам побывать в Мултане, то мы все трое сели на вятский пароход, шедший уже на зимовку; в нем не было даже буфета. Провизии, которою мы запаслись в Чистополе, скоро не хватило. Пароход не приставал к попутным пристаням. И мы, единственные пассажиры парохода, оказались в положении голодающих. К счастью, пароход наконец остановился у с. Вятские Поляны, где нас уже поджидал О. М. Жирнов.

Не стану описывать, как мы побывали в Мултане, осматривали шалаш, где произошло будто бы жертвоприношение, и тропу, где был найден труп Матюнина. Стояла уже глухая осень. Было хмуро, серо, угрюмо. Особенно жутко чувствовалось на том месте, где найден труп. Узкая, вьющаяся тропа была тесно сжата густым темным ельником, в перемежку с болотистой низкорослой березой. Настланный бревенник погружался под нашими ногами в топкую почву; ржавая вода чавкала и хлюпала от наших шагов. Безмолвно было в этом гнилом, болотистом лесу, схоронившем в себе тайну убийства Матюнина. Что происходило здесь? Какая кровавая драма разыгралась на этом самом месте? Где скрываются действительные преступники? Лес не выдаст страшной тайны. Мы тихо стояли в стороне. Влад. Галак. молча набрасывал эту тропу в своей записной книжке (наброски тропы и шалаша, сделанные В. Г., помещены в книжке г. Богаевского «Мултанское дело в свете этнографических данных») [10].

Обратно возвращались мы темной ночью, по сплошному еловому лесу. Сухой шелест огромных елей, стоящих по обеим сторонам дороги сплошной черной стеной, навевал что-то тяжелое, тревожное.

Действия полиции, о которых много сообщалось нам вне суда, произвели на В. Г. Короленко такое сильное впечатление, что он опасался даже оставлять без присмотра чемоданчик, в котором хранились наши записи. Общую редакцию было решено передать Влад. Галак., который и увез с собой считанный и проверенный отчет. Вскоре появились его статьи о Мултанском деле в «Русских ведомостях» и в «Русском богатстве» [11]. Эти статьи произвели огромное впечатление. Они, как камень, бро-

шенный в стоячее болото, заставили встрепенуться всю печать. О Мултанском деле заговорили все органы печати, пораженные теми ужасами, которые творились с несчастными вотяками. Просматривая теперь отчет о «Деле мултанских вотяков» (отдельное издание вышло в Москве в феврале 1896 г.), невольно поражаешься, сколько должен был потратить труда на редактирование этого отчета и на примечания к нему Владимир Галактионович. Изучить все производство, все документы, сличить содержание их с тем, что заявлялось свидетелями, а также судебными властями во время судебного разбора, отметить все противоречия — работа поистине огромная! Он выступил, сверх того, с докладом о Мултанском деле в Антропологическом обществе при Военно-медицинской академии [12], выступил с опровержением измышлений разных доморощенных этнографов, повторявших «по слухам» обычный вздор о вотяках. С своей стороны я поместил в приволжских газетах целый ряд статей по поводу Мултанского дела. Но судебные и полицейские деятели встретили сильную защиту в лице местной цензуры. Некоторые статьи в «Кам.-Волж. речи» [13] выходили или слишком обрезанными, — один раз даже без второй половины, — или не пропускались вовсе. Вскоре состоялось чье-то таинственное распоряжение не пропускать в печати ничего, что так или иначе касается Мултанского дела. В Малмыже, в уездном городишке, нельзя вообще сохранить тайну своего корреспонденчества, а я вдобавок полностью подписывался под своими статьями. Самые видные «деятели» по Мултанскому делу открыто грозились «съесть» меня и О. М. Жирнова. И если бы все это происходило нынче, мы, несомненно, скоро очутились бы где-нибудь «в отдаленных местах». Но тогда председателем Вятской губ. земской управы был незабвенный для каждого вятича А. П. Батуев, широкообразованный и развитой, глубоко гуманный, с широким и энергичным размахом в общественной деятельности. Он всегда горой стоял за своих сотрудников — земских служащих. Он имел огромное влияние на губернатора, и потому угрозы разных господ по нашему адресу являлись бессильными и беззубыми...

Между тем целый ряд специалистов и вообще сведущих людей выступил с докладами в ученых обществах

(кроме П. М. Богаевского и С. К. Кузнецова, П. Н. Луппов — в географическом обществе по отделению этнографии, В. С. Малченко — в Московском юридическом обществе, доктор Ансберг — в Цюрихе). В печати выступили такие знатоки этнографы, как Д. А. Клеменц, В. М. Михайловский (тов. председателя Московского этногр. отдела общества любителей естествознания), этнографы Верещагин, Магницкий и др. Совершенно отрицательно отнеслись к обвинению вотяков многие другие ученые-юристы, общественные деятели, напр. проф. В. С. Серебренников, родившийся и выросший среди вотяков, проф. Н. П. Ивановский, о. С. Н. Слепян — профессор С.-петерб. духовной академии, проф. Д. А. Хвольсон. Все эти лица решительно утверждали, что все данные науки, а также и данные Мултанского дела, свидетельствуют лишь о том, что у вотяков не может существовать человеческих жертвоприношений.

На вызывающее письмо проф. Смирнова, единственного этнографа, поддерживавшего в печати обвинение против вотяков, по адресу упомянутого этнографа В. М. Михайловского («Волж. вестн.», № 73) последний дал в открытом письме достойный ответ [14]. «В сочинениях о черемисах, вотяках, пермяках и мордве, — писал он в том же «Волж. вест.», — ваши личные наблюдения, столь ценные в каждой этнографической работе, специально посвященной отдельной народности, отодвинуты на второй план, исследование также почти отсутствует, и потому каждая из монографий, написанных вами, имеет вид компилятивной работы. Вследствие стремления к литературной законченности, вы увлекаетесь теориями некоторых западноевропейских исследователей и стараетесь подвести факты из быта русских инородцев под формулы, добытые на совершенно другой почве. Отсюда возникают некоторые излюбленные вами теории, которые не дают вам возможности заняться спокойным осторожным исследованием. Такой теорией является, напр., ваш взгляд на существование в недалеком прошлом человеческих жертвоприношений у изучаемых вами русских инородцев». В заключение письма, по поводу незнания г. Смирновым вотского языка, г. Михайловский писал: «Можно заниматься этнографией вообще и не обладая подобным знанием языков, но только нужно принимать тогда в расчет этот фактор при по-

стройке теорий и с большей осторожностью делать выводы, особенно когда эти выводы касаются не обсуждения той или другой научной гипотезы, а решают судьбу человеческой жизни».

Вместе с этнографами, выяснившими полную несостоятельность «излюбленной идеи» г. Смирнова, выступили с докладами в печати и в ученых обществах и медики: преподаватель Харьковского университета Э. Ф. Беллин, профессор того же университета Патенко. Они отметили полную несостоятельность медицинской экспертизы гг. А[ристова] и К[рылова] — двух врачей, о которых мы упомянули, и первоначального заключения врача М[инкевича]. Уже после третьего разбора дела профессор суд. медицины Казанского университета Леонтьев, присутствовавший на разборе дела вместе с приват-доцентом Казан. университета Неболюбовым, 16 ноября 1896 года сделал в Казанском обществе врачей доклад, в котором пришел к выводу, что экспертиза по данному делу не могла дать ничего определенного, так как судебно-медицинское исследование трупа Матюнина было произведено слишком поздно и без достаточной основательности. Предположительно дело объясняется так: рана была нанесена в шею покойному Матюнину, а затем уже, по наступлении смерти, снята голова, вырублен позвоночник и вынуты внутренности. При этом проф. Леонтьев познакомил публику с письмом проф. Патенко, который на месте, в Мултане, изучал дело, а затем на трупах производил опыты с удалением внутренностей, как это было сделано с Матюниным, после чего пришел к следующим выводам: a) убитый Матюнин не был в селе Мултане, где будто бы было совершено убийство, а находился в восьми-девяти верстах от Мултана; b) голова отрублена (как полагает и Леонтьев) уже на мертвом; c) причина смерти Матюнина — припадок падучей; d) органы грудной полости извлечены недели три спустя после убийства, в промежуток времени между первым и вторым отрытием трупа; e) с вероятностью можно заключить, что осквернение трупа произведено в видах мести вотякам с. Мултана со стороны соседних русских крестьян.

Что внутренности были вынуты из трупа несколько недель спустя после убийства, к такому заключению

пришел и приват-доцент Беллин. На третьем разборе дела выяснилось, что труп был извлекаем из земли, где он хранился до приезда уездного врача, очищался, опять закапывался и т. д.

Ввиду всего этого доктора Беллин, Патенко, Ансберг и др. пришли к выводу, что в данном случае имела место симуляция, подделка под жертвоприношение. К такому же выводу пришел и В. Г. Короленко, делая доклад в Антропологическом обществе при Академии.

По словам С. К. Кузнецова, в Мултанском деле ритуал вотского жертвоприношения воспроизведен не на основании фактов, а по измышлениям урядника С[оковикова] и других лиц. Только благодаря этим своеобразным этнографам могла получиться невозможная в действительности картина человеческого жертвоприношения, в которой всякое действие религиозного характера исполнено с нарушением веками установленного порядка. Поэтому г. Кузнецов считает все проделанное с трупом Матюнина грубою подделкою под вотское жертвоприношение.

Между тем 22 декабря 1895 года в уголовном кассационном департаменте сената была заслушана жалоба вторично осужденных вотяков.

После обстоятельного доклада сенатора А. А. Арцимовича и блестящего заключения обер-прокурора А. Ф. Кони[15], сенат признал существенное нарушение судом прав защиты и, отменив решение присяжных и приговор сарапульского суда, передал дело для нового рассмотрения в казанский окружный суд.

Казалось, что вторичное решение высшей в России судебной инстанции обязательно для коронного суда. Казалось, что теперь Мултанское дело будет извлечено из захолустья, будет освещено и рассмотрено беспристрастно и всесторонне, чего только и требовала печать. Но тут случилось нечто неожиданное, возможное только у нас.

В крае стали циркулировать слухи, что председатель сарапульского суда ездил с объяснениями по поводу Мултанского дела в Петербург, к министру юстиции, и что оттуда будто бы были даны суду какие-то многозначительные обещания.

Местные судебные власти постоянно ездили в Казань, устраивали какие-то совещания. Полиция всяких рангов продолжала рыскать по Малмыжскому уезду, живмя живя в Мултане, разыскивая новых свидетелей и «доказательств». При этом она так старалась, что, по сообщению даже официальных «Вятских губ. ведомостей» (25 мая 1896 г., № 41), один вотяк, десятник, не вынес и повесился...

Но это нас не особенно беспокоило. Мы еще верили в силу сенатских указаний. Защитник просил назначить слушание дела в Казани. После решения сената никто и не сомневался, что именно там, вдали от местных предрассудков и влияний, дело и будет рассмотрено.

Однако скоро началось что-то странное. Прежде всего, в местной печати цензура на основании какого-то таинственного распоряжения не стала пропускать ни строчки о Мултанском деле, о чем мы упоминали выше. Мы лишены были возможности даже перепечатывать те статьи и доклады, которые явились тогда по поводу этого дела в более отдаленных органах печати. Наконец пронеслась весть, что суд по-прежнему отказал защите в вызове всех ее свидетелей, тогда как товарищ прокурора Р[аевский] вызывает массу новых свидетелей, всего более пятидесяти человек; что точно так же отказано защите и в вызове новых экспертов; что, наконец, дело назначено к слушанию в самом захолустном, самом глухом городишке Казанской губернии — в Мамадыше, совершенно некультурном, где нет даже библиотеки, номеров, извозчиков, и — что самое главное — где темный предрассудок особенно крепок в невежественной обывательской среде.

Сначала мы не поверили этому слуху. «Не может быть! После того, как сенат дважды указывал...»

— Э-э, батенька, сенат! Когда тут высшее начальство аванс выдало: добьетесь и в третий раз обвинения — и благо вам будет, — говорили нам опытные люди. — Победителей не судят... И карьера будет блестяще сделана... «Правосудие, правосудие»!.. Наивно все это, батенька!.. Борьба-с, как и везде.

И действительно, в казанских газетах появилось краткое сообщение, что Мултанское дело будет рассматриваться именно в Мамадыше. Что суд, чувствуя

за собой какую-то мощную поддержку, пошел напролом — сомневаться в этом было уже нельзя.

Разумеется, я тотчас же послал об этом телеграмму В. Г. Короленке, послал краткую заметку о действиях казанской судебной палаты. На это Влад. Гал., между прочим, писал мне: «Неужели опять и так явно решаются играть на обвинение?» В другом письме Вл. Гал. сообщал, что «административно-судебные сферы наиболее раздражены именно вмешательством прессы». Вместе с тем, сообщая о том, что защиту вотяков согласился взять на себя Н. П. Карабчевский, Вл. Гал. выражал надежду, что «и при этих условиях (созданных судом) мы теперь сильнее и отобьем невинных людей»...

Как к последней защите, я решил обратиться еще к Л. Н. Толстому, послав ему весь печатный материал, имевшийся по Мултанскому делу, и прося Льва Николаевича обратить внимание на это вопиющее дело, в котором правда глушилась так открыто, в котором гибли совершенно невинные люди...

Но вот наступил день суда. Крошечный зал переполнен публикой. За столом защитников видна характерная голова В. Г. Короленка, бритое, энергичное лицо Карабчевского. На скамье теснятся с тетрадочками корреспонденты. Сидят две стенографистки, приглашенные нами. Суд во всеоружии. На помощь г. Р[аевскому] назначен товарищ прокурора суд. палаты. Позади их сидит сам прокурор судебной палаты. Председательствует сам председатель окружного суда.

Защита вновь заявляет ходатайство о допущении, в качестве экспертов, нарочно прибывшего из Томска этнографа С. К. Кузнецова и профессоров суд. медицины: Харьковского университета — Патенко и Казанского — Леонтьева. Суд отказывает в этом, как отказал и в вызове всех свидетелей защиты.

И вот начинают опять проходить длинной вереницей свидетели — урядники, пристава, земские начальники и др. Все эти «чины» отвечают на первых порах как по писаному, как будто повторяют отлично выученный обвинительный акт. Но при вопросах защиты бойкость сразу теряется; свидетели сбиваются, путаются, впадают в противоречия и наконец начинают прямо грубить защите. Один из свидетелей за грубость был даже оста-

новлен председателем, который пригласил его одинаково спокойно отвечать и прокурору и защите.

Всеведущий Дм. М[урин] на вопросы Карабчевского грубо оборвал:

— Чего ты меня путаешь, не путай! Чего знаю, сам расскажу, а ты не путай!

Или раздраженно говорил, вместо ответа:

— Знаю, знаю, на что вы намекаете, что подразумеваете.

Но умелая защита делала свое дело, постепенно отрывая темные лоскутья лжи, которою было опутано дело. Противоречия полицейских-свидетелей заставляли иногда только пожимать плечами.

— Ну, расскажите же, как все это было? — спрашивал пристава Ш[мелева] председатель. — Ну, привезли чучело... ну, прилепили свечу... А колоколец под дугой был?.. А дуга на что?..

Бравый, «талантливый» пристав краснел, потел, не зная что́ сказать. Он уже не говорил, с видом оскорбленной невинности, что его оклеветали корреспонденты.

— Я слышал, что у вотяков есть такой предрассудок... хотел проверить... — бормочет пристав.

— Так что вы производили это с этнографической целью? — пришел к нему на помощь Карабчевский.

— Так точно, с этнографической, — радостно откликнулся Ш[мелев], вызвав общий смех.

Выяснилось, что с трупом обращались весьма бесцеремонно: в течение месяца, в ожидании врача, — о чем мы уже говорили, — он вытаскивался из ямы и очищался от земли, которою его засыпали; в яму подсыпали снегу, чтобы труп меньше портился и т. д. В конце концов вместо «массы запекшейся крови» в отверстии (обрезе) шеи — что запротоколил пристав Т[имофеев] — оказалось широкое, зияющее отверстие, через которое исчезли внутренности, отсутствия которых никто при первоначальном осмотре трупа не заметил...

Оказалось, что перекладина, на которой будто бы был подвешен Матюнин, так низка, что Матюнин уткнулся бы горлом прямо в землю; что нищий ночевал на 4 и 5 мая в Кузнерке, а следовательно, не мог ночевать одновременно в Мултане, в шалаше М. Дмитриева.

Не станем шаг за шагом следить за тем, как сшитое на живую нитку дело мало-помалу расползалось по всем швам. Фактическая часть обвинения рушилась, как карточный домик. Обвинение поэтому налегло на «достоверных свидетелей». В качестве этнографов перед судом опять продефилировали урядник, земский начальник и др.

По поводу крови на корыте земский начальник Л[ьвовский] поделился с судом замечательным открытием:

— Я говорил, что корыто и полог не нужно было посылать в департамент: нужно было дать их собаке, — если бы она не стала лизать, то это значит, кровь была человечья. Это я знаю по опыту.

А затем целых тринадцать новых свидетелей, вызванных обвинительной властью, выходят один за другим и сообщают: по Мултанскому делу я, собственно, не знаю ничего, но... — и каждый из них рассказывал какую-нибудь невероятную историю о том, как ему, в свою очередь, кто-то рассказывал, что вотяки приносят в жертву людей.

— По Мултанскому делу я ничего не знаю, — тоном опытного сказочника начинает, напр., земский начальник Н[овицкий][16]. — Но от дедушки я слышал следующее. Приехал дедушка в одну вотскую деревню за ругой, а в ней ни души. Привязал он лошадь, а сам пошел по деревне. Идя, он вдруг заметил в одном дворе дым, подошел к забору и заглянул в щель... И видит (голос рассказчика многозначительно понижается) — много вотяков; сидят вокруг стола, сделанного из досок, положенных на обрубки дерева и (голос рассказчика доходит чуть не до шепота)... и точат большие ножи... А среди них сидит, одетый в белый саван, черный брюнет, бледный как полотно... Дед, увидав это, понял, что дело неладно, со страху даже присел тут (у рассказчика соответствующее движение)... А потом задним ходом побежал к лошади... Но не успел он сделать нескольких шагов, как услыхал нечеловеческий крик...

— А затем? — спрашивает председатель.

— Это все, больше ничего, — отвечает самодовольно свидетель.

И льются, льются эти бабушкины и дедушкины сказки. Кажется, что подсудимые, которые тоже с лю-

бопытством прислушиваются к этим сказкам, совсем забыты на своих скамьях... [...]

Наконец начались испытания экспертов.

Врач М[инкевич] опять чистосердечно подтвердил, что он, составляя заключение при вскрытии трупа, ошибся, находясь под влиянием внушений пристава и следователя. Определенного заключения он, врач, и не мог, собственно, дать ввиду того, что исследовать труп ему пришлось месяц спустя: о подвешивании нельзя говорить потому, что отеки были не на стопах, а на голенях, и несомненно трупного происхождения; никаких ран от подкалывания на животе не было, а были лишь пятнышки — следы какой-то сыпи; что не было и прижизненного обескровливания, и пр. Другие два врача, А[ристов] и К[рылов], по-прежнему держались совершенно противоположных мнений и подтверждали всю картину, нарисованную в обвинительном акте. Показания их вызывали то и дело недоумевающее пожатие плечами со стороны присутствующих профессоров.

Вообще, это было редкое зрелище; заключение давали не действительные представители науки, а какие-то захолустные служаки, много лет протрубившие в лямке уездного или земского врача, растерявшие в глухой уездной жизни и свои старые обрывки знаний. Они должны бы были сами ходатайствовать перед судом, по долгу совести, чтобы суд дал высказаться действительно сведущим, действительно ученым людям... Но они с апломбом, развязно повторяли свои утверждения, ссылаясь даже на свидетельство каторжника Г[олова]. А бедные профессора должны были безгласно сидеть за спинами этих господ и «приходить в ужас» — по выражению одного из профессоров — от их показаний. Это профессора и отметили в своих работах, упомянутых нами выше, по поводу Мултанского дела.

Затем началась этнографическая экспертиза.

Выступил опять г. Смирнов. Если в Елабуге обстановка мултанского жертвоприношения представляла перед ним «целую цепь противоречий, недомолвок и недоразумений», то теперь, год спустя, г. Смирнов уже не сомневался ни в чем. Черпая доказательства из обвинительного акта, он стал доказывать, что все данные обвинения с несомненностью устанавливают, что мултанские вотяки действительно принесли в жертву нищего..

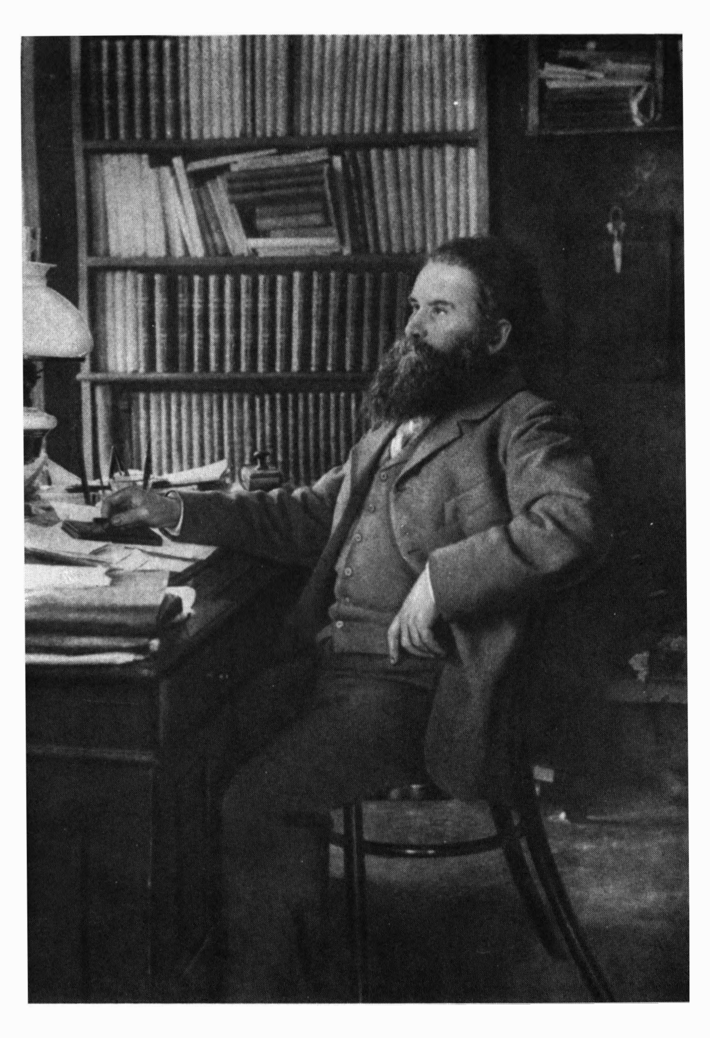
— Вы призваны не в качестве обвинителя, а в качестве эксперта, который должен сказать, что ему известно о человеческих жертвоприношениях, — останавливает наконец увлекшегося профессора председатель суда.

Относительно человеческих жертвоприношений у г. Смирнова вообще не оказалось никаких сомнений: такие жертвоприношения существуют у вотяков и ныне, а не только существовали «в недалеком прошлом», как он думал прежде... Когда В. Г. Короленко, приведя цитаты из сочинений г. Смирнова, обратился к нему с вопросом, чем же можно объяснить противоречия настоящих объяснений профессора с его же собственными прежними взглядами, г. Смирнов ответил: «Прежде я думал так, но из данного процесса я убедился, что человеческие жертвоприношения существуют и ныне». Таким образом, почтенный профессор почерпнул свои доказательства из того самого процесса, осветить который данными науки он был призван...

Но зато спокойную, объективную и в высшей степени содержательную речь произнес другой эксперт, о. Верещагин. Заявив, что в Мултанском деле все противоречит вотскому обычаю, вотскому ритуалу, вотским верованиям, о. Верещагин решительно отрицал возможность человеческих жертвоприношений у вотяков. При этом о. Верещагин допускал возможность, что труп Матюнина был изуродован, напр., с какой-нибудь суеверной целью (леченье, кладоискательство, воровство и конокрадство[...]).

Судебное следствие было закончено. Начались речи сторон. Товарищем прокурора Р[аевским], разумеется, было сделано все, что только возможно, для обвинения вотяков. Театрально повышая и понижая голос, он рисовал картину, как Матюнина вели в шалаш, подвешивали, кололи... Рассчитывая, очевидно, на темноту присяжных заседателей, г. Р[аевский], сам врач по образованию, сравнивал человека с водопроводной трубой: повесил его за один конец — за ноги, отрезал нижний конец — голову, и кровь выбежит, как вода из трубы...

И вот во время этой речи случился маленький эпизод, который смутил оратора и заставил его на миг прервать свое обвинение. В открытое окно, из которого



В. Г. Короленко в своем кабинете
Петербург (конец 90-х гг.)

сияло голубое небо и лился поток ярких весенних лучей, в залу суда влетел голубь, плавно сделал несколько кругов над судейским столом — и снова вылетел на сияющий простор... И в сгустившейся от извращений правды, от потока «темных» слухов и мрачных сказок атмосфере человеконенавистничества этот голубь показался каким-то символом сияющей, вечной, высшей справедливости, которую не заглушить никакой неправдой. И казалось, чтобы напомнить об этой справедливости, и влетел сюда светлый голубь...

И бледны, и мертвы вышли речи обвинителей. Но бой был упорен. Прокуроры выступали по два раза. Много было сказано ими такого, чего не позволил бы себе более чуткий судебный деятель.

Речи защитников были ярки и проникновенны. Высокий, с могучей фигурой, с гривою густых волос, Карабчевский, «аки лев рыкающий», накинулся на жалкие доводы обвинителей, беспощадно разбивая их один за другим. Как опытный, талантливый оратор, он говорил, разумеется, прекрасно, с подъемом; но все-таки в его речи сказывались профессиональный навык и некоторая театральность. Но вот выступил В. Г. Короленко. Задушевным, проникновенным голосом, с глубокой искренностью и сердечностью заговорил он — и сразу же приковал внимание всех. Такова была сила этой речи, что все мы, корреспонденты, и даже стенографистки положили свои карандаши, совершенно забыв о записях, боясь пропустить хотя одно слово. От этих проникновенных, захватывающих слов обнажалась и рушилась вся неправда, которою так возмутительно окутывались измученные, исстрадавшиеся вотяки. От этих слов веяло глубоким негодованием против обнаруженных истязаний, извращения правды, нарушений самой элементарной справедливости, против систематических нарушений правосудия, против дикого, мрачного предрассудка.

«...Благословенный, великий боже, всевышний свет и белизна, неприкосновенным хлебом и неприкосновенными яствами мы тебя чтим и поминаем, — взволнованным голосом читал Влад. Галакт. трогательную молитву вотяков, молитву не «Курбону», а единому великому богу. — Великий, милый боже, всевышний свет, небесную воду дающий и дождем землю оплодотворяющий,

не сердись на нас и не гневайся: мы, как маленькие дети, ничего не знаем, ничего не понимаем. Да будет тебе угодно все то по твоей воле, великий, светлый боже». Волнение Влад. Галакт. все росло. Наконец он не мог справиться с ним, — заплакал и вышел из залы... Все были захвачены, потрясены...

Речь Влад. Галакт., очевидно, сильно повлияла и на судей [17]. И после его ухода длилось несколько минут молчание...

После беспристрастного резюме председателя присяжным был вручен вопросный лист — и они удалились в совещательную комнату.

Наступил жуткий момент...

Защитники и мы, корреспонденты, ожидали решения присяжных на квартире защитников. Говорили мало. Обменивались кратко наблюдениями над присяжными заседателями. Они почти все были крестьяне.

Все восемь дней судебного разбирательства они с удивительным вниманием и сосредоточенностью следили за происходившим на суде. Иногда они обращались к суду за разъяснениями. В последние дни они как будто вполне разобрались в деле и уже пришли к какому-то решению...

Но к какому?.. Об этом-то мы и думали теперь напряженно.

Но вот бежит судейский сторож:

— Пожалуйте, скоро выйдут...

Мы все спускаемся за ним. В зале движение. Усаживаются судьи. Занимают места защитники. В зале водворяется глубокая тишина. Из двери вереницей вышли присяжные и стали тесной группой.

— Виновен ли такой-то, что в ночь на 5-е мая... — начал читать старшина присяжных.

Все замерли...

— Нет, не виновен! — твердо произнес он.

Пронесся вздох облегчения, как будто камень свалился с груди... Кто-то слабо вскрикнул. Всем стало ясно, что несчастные вотяки спасены, что правда восторжествовала...

И действительно, семь раз повторялось это твердое «нет, не виновен», потрясая всех...

Напряженные нервы не выдержали: многие из публики — и мужчины и женщины — плакали...

Освобожденные вотяки целовали руки своих защитников... Вдруг я почувствовал, что кто-то крепко стиснул и мою руку. Это был один из обвинявшихся. Вотяки пробрались к столу корреспондентов и горячо жали нам руки. Что-то светлое, истинно человеческое осветило всех — и лица стали так радостны и мягки. Все смешались в одну группу, как братья.

Присяжным сердечно жали руки совсем незнакомые люди, как бы поздравляя с каким-то радостным, светлым праздником...

И это был действительно прекрасный праздник — праздник правосудия.

А спустя полчаса я видел на квартире защитников, как дедушка Акмар, семидесятилетний старик, переодетый уже из арестантского халата в домотканый кафтанчик, маленький, седенький, с наивными, как у ребенка, глазами, обнимал Владимира Галактионовича и, растроганный, со слезами, трепал его любовно своей старческой рукой по плечу. И этот-то милый, детски простосердечный старик был дважды приговорен к десятилетней каторге!

А в Мултане, вероятно, и до сих пор живы воспоминания о Владимире Короленке. «Говорил-говорил судьям Короленко, — рассказывали потом Жирнову вотяки, — рассердился, бросил книгу — не хочу больше говорить — и ушел». И собирались заказать и поставить в церкви образ святого Владимира, в память о Короленко [18].

Приехав домой, в Малмыж, я застал там письмо от Л. Н. Толстого [19].

«Милостивый государь А. Н., — писал он. — Я получил ваши письма и материалы по Мултанскому делу. Я и прежде знал про него и читал то, что было в газетах. Не думаю, чтобы мое мнение по этому делу могло повлиять на судей или присяжных, в особенности потому, что оно таково, что несчастные вотяки должны быть оправданы и освобождены независимо от того, совершили они или не совершили то дело, в котором они обвиняются. Кроме того, надеюсь, что с помощью тех разумных и гуманных людей, которые возмущены этим

делом и стоят за оправдание, оправдание это состоится или уже состоялось. От души желаю вам успеха и прошу принять уверение в моем уважении и симпатии.

Лев Толстой.

29 мая 1896 г.».

Несчастные мученики-вотяки были тогда действительно уже оправданы стараниями «тех разумных и гуманных людей», о которых я писал Льву Николаевичу.

Ф. Д. Батюшков

ИЗ КНИГИ «В. Г. КОРОЛЕНКО, КАК ЧЕЛОВЕК И ПИСАТЕЛЬ»

Пребывание в Петербурге (1896—1900)

Короленко поселился по приезде в Петербург (1 августа 1896 г.)[1] в деревянном домике на 5-й Рождественской, против Греческой церкви. Домика этого уже больше не существует: он заменен большим каменным домом, в котором Короленко, вероятно, почувствовал бы себя весьма неуютно. А деревянный домик — особняк, одноэтажный, с мезонином, со светлыми, на солнечной стороне окнами, с деревянным забором и служебными постройками на дворе, — напоминал ему все еще милую его сердцу провинцию. Но жизнь потекла совсем другим темпом. Все же в первое время связь и сношения с Нижним еще были очень сильны.

Два лета подряд (в 1898 и 1899 гг.) Короленко уезжал с семьей в Нижегородскую губернию, где жил с родными и приятелями в деревне Растяпино, недалеко от Нижнего, на берегу Оки.

После сильного напряжения, которое потребовалось для завершения Мултановского дела (в мае 1896 г.) и под впечатлением недавней утраты одной из дочерей[2], которая скончалась во время отлучки Владимира Галактионовича, переезд в Петербург не принес Короленко нового подъема сил. Наоборот, он как-то захирел, стал страдать бессонницами; суетливый, свойственный петербуржцам строй жизни, при котором, как остроумно

кто-то выразился, прежде всего каждому человеку все «некогда», что не мешает всем и всюду поспевать, пришелся не по характеру Владимиру Галактионовичу: в провинции, наоборот, у каждого слишком много свободного времени. Занятия в редакции, заседания, участия в разных литературных обществах — в только что возникшем тогда и столь короткое время продержавшемся союзе писателей [3], особенно в составе суда чести при союзе, в комитете Литературного фонда, наконец постоянные приглашения выступать на литературных вечерах, прием всевозможных посетителей, необходимость работать по ночам, чтобы успеть что-нибудь сделать, — все это не создавало благоприятных условий для творчества. А главное — длительная нервная болезнь, требовавшая систематического лечения, спокойствия и правильного образа жизни, трудно достижимого при создавшемся положении.

Я познакомился с Владимиром Галактионовичем через год по его приезде в Петербург [4], на почве чисто литературных отношений. Первым поводом послужило обращение к нему, как и ко многим другим писателям, сотрудничать в русском отделе журнала «Космополис», который я в ту пору редактировал. Несмотря на предупреждения, что Короленко теперь ничего не пишет, что обращаться к нему бесполезно, я все-таки сделал эту попытку, и Короленко, расспросив о цели и характере издания, ответил не только согласием, но и обещанием вскоре дать статью.

Другой повод — приезд одной американской писательницы miss Lilian Bell, которая хотела непременно познакомиться с Владимиром Галактионовичем, так как знала о том, что он побывал в Америке, и очень интересовалась его личностью и «идеями». Любопытно, что, по словам г-жи Лилиан Белль, американские читатели редко справляются даже с именем автора, когда читают беллетристические произведения, но если у писателя есть «идеи», которые он проповедует, то его имя сразу становится популярным. И Толстого они почти исключительно знают как проповедника «идей», причем большинство публики не читало его художественных произведений, а если и прочло, то не отождествляют их автора с «проповедником идей», о котором достаточно знать, что он писатель...

Я сообщил В. Г. Короленко о желании госпожи Белль и получил от него следующий ответ:

«Среди этого шального праздничного времени * просто не сообразишь, когда можно выбрать время. Хотел сообразить, отменить кое-что из предстоящей программы действий, так как мне всего приятнее было бы видеть вас и miss Bell у себя. Но ввиду ее скорого отъезда, придется помириться на свидании в редакции. Завтра (в пятницу) и в субботу я буду там от 2—4 часов. Боюсь, что свиданье будет для г-жи Белль мало интересно; я не говорю по-английски и плохо объясняюсь по-французски. Надежда на вас и на ваше посредничество» [5].

Оказавшись, таким образом, случайным соучастником этого «интервью», я кстати и сам познакомился впервые с разными обстоятельствами жизни Короленко, которые и меня сильно заинтересовали. Владимир Галактионович постепенно разговорился, иногда впадая в шутливый тон, причем предупреждал меня: «Вы не все ей переводите, зачем ей все знать». Меня сразу захватило обаяние личности Владимира Галактионовича, и это было началом отношений, которые вскоре приняли тесный дружеский характер.

Возобновилось знакомство несколько месяцев спустя: я случайно встретил Владимира Галактионовича ехавшим на велосипеде по одной из улиц в Петербурге: он спешился, подошел ко мне и стал расспрашивать о делах журнала, осведомившись, почему я не напоминал ему об его обещании дать статью. Я должен был сознаться, что издатель, француз г. Ортманс, накануне полного разорения, что иностранные отделы журнала уже прекращают свою деятельность, а русский мы доведем до конца года, так как за него отвечает фирма Меллье, перешедшая к А. Ф. Цинзерлингу, который желает лояльно рассчитаться с подписчиками, но вряд ли будет расчет с сотрудниками за последнюю книжку. Как же я мог напоминать об обещании, когда положение так изменилось? Но Короленко возразил: «Вот тут-то я и мог бы вам пригодиться. Заходите ко мне, буду ждать вас завтра, потолкуем — может быть,

---

* Кажется, это было в пасхальное время или на страстной.

и дам вам что-нибудь для последней книжки вашего «Космополиса».

В результате беседы на другой день я получил два очерка: «Чудна́я» и «Искушение», которые по условиям цензуры тогда немыслимо было печатать, но Владимир Галактионович предоставил мне хранить рукописи впредь до более благоприятных времен, когда изменятся обстоятельства и в России будет предоставлено больше места свободному слову. Он верил, что это должно наступить. Как известно, эти очерки появились в «Русском богатстве» после революции[6].

Посещая от времени до времени Владимира Галактионовича по его радушному зову, я был невольным свидетелем изнурявшей его бессонницы и, конечно, не мог не принять участия в изыскании способов ему помочь. Лечился он тогда у доктора Черемшанского, к которому ездил в больницу на 11-й версте по Московскому тракту, ездил преимущественно на велосипеде, и эти поездки доставляли ему и сами по себе некоторое облегчение. Кроме того, в Короленко и самостоятельно была жилка спортсмена, которой и я сочувствовал, так что весной и осенью мы совершали вместе большие экскурсии на велосипедах, а зимой катались с ним на коньках, по соседству с домом, где он жил. Другим развлечением и отвлечением от хандры, сопряженной с болезнью, были занятия рисованием. Владимир Галактионович, как уже указано, с детства тяготел к живописи, прибегал к рисованию не раз и во время ссылки, а теперь по совету докторов я предложил ему заняться копированием красками с масляных картин, чтобы освоиться с некоторыми приемами техники. Некоторые авторитетные художники, видевшие рисунки Короленко, находили, что из него мог бы выработаться хороший живописец, если бы в свое время он занялся серьезно этой отраслью искусства. Теперь, при «сеансах копирования» с лечебной целью от нервного переутомления, главный интерес заключался в бесконечных разговорах об искусстве, о задачах живописи, о разных течениях и направлениях художников новейшей формации, об отношениях импрессионизма и модернизма к классическому искусству и к прежней полосе, когда у нас господствовали «передвижники» и т. д. Владимир Галактионович относился не без предубеждения к новым те-

чениям и немножко застыл в рано усвоенных формулах. Он ценил больше всего законченность в картине и обращал особое внимание на сюжет. Посещали мы вместе выставки, и я замечал, как мало-помалу Короленко отступал от прежних взглядов и стал втягиваться в понимание нового искусства. Но многое его все-таки отпугивало. Камнем раздора у нас служил особенно Врубель, на которого Короленко пытался изображать даже карикатуры. Нужно сказать, что в редакции «Русского богатства», очень прогрессивной в своих политических и социальных воззрениях, установился изрядный консерватизм в вопросах искусства [7]. Короленко отчасти подчинялся взглядам своего кружка. Но вот однажды он встретился у меня за завтраком с И. Е. Репиным. Отнюдь не подозревая, что этот испытанный «реалист» в живописи склонен поддаваться каким-либо новшествам, Владимир Галактионович стал нападать на импрессионистов, продолжая спор со мной. Репин очень решительно сказал, что в импрессионизме есть несомненная правда и что трудность только в соблюдении этого принципа в большом масштабе. Короленко стал прислушиваться. Репин говорил горячо и убежденно, так что в конце концов Короленко как будто начал сдаваться и решил, что надо еще обсудить. Но эксцессы импрессионизма все-таки его отталкивали от направления.

Впрочем, он любил рассказывать, что, будучи противником и символистов как в живописи, так и в литературе, он все-таки подошел к новым формам в своем «Слепом музыканте» и ему передавали, что Верлэн, прочитав этот рассказ, кому-то высказал: пока мы еще спорим о символизме, а вот молодой русский писатель дал уже готовый образец. К символизму в поэзии он относился вообще с большим сочувствием [8]. [...]

В отличие от жизни в Нижнем, как ее описывает С. Д. Протопопов [9], в Петербурге Короленко жил более замкнуто, принимая посетителей по преимуществу в помещении редакции. Конечно, многие заходили к нему и на дом, но, ссылаясь на необходимость режима, вследствие продолжающейся бессонницы, Владимир Галактионович по возможности избегал сторонних посетителей или предупреждал, что может принять лишь на самый короткий срок. Исключение делалось только для

близких, и в первую очередь «своим» называл он Ник. Фед. Анненского, с которым его связывала самая тесная дружба. Всегда веселый, живой, остроумный, горячий спорщик и неугомонный «кипяток», Н. Фед. вносил живую струю в любое общество. Его жена Александра Никитишна, урожденная Ткачева, сестра известного революционера[10], сама пользовавшаяся известностью своими повестями и рассказами для детей, наоборот, отличалась чрезвычайной сдержанностью и самообладанием. Владимир Галактионович, величавший ее в шутку «тетко», неизменно прибавлял — «медленно, но четко». Своим человеком в семье Короленко был и А. И. Богданович, женатый на племяннице и воспитаннице Н. Ф. Анненского; несколько угрюмый по темпераменту, неоценимый работник и талантливый публицист, он как-то особенно благоговел перед Владимиром Галактионовичем, который в тяжелую минуту жизни еще в Нижнем-Новгороде сумел благотворно повлиять на него. Мягкую струю женственности и уменье завести и поддержать литературный разговор вносила Татьяна Александровна, жена Богдановича, впоследствии выдвинувшаяся как умелый и способный работник в области журналистики. Хозяйка дома, ко всем приветливая и внимательная, создавала какую-то особую атмосферу уютливости и радушия. Дочери Влад. Гал., тогда еще подростки, дополняли картину этой дружной семьи наподобие английского home *, и даже незамужняя сестра матери Короленко, жившая неразлучно с племянником, своей хозяйственностью и любезностью содействовала общему впечатлению ласкового радушия, которым отличался этот гостеприимный дом. Собирались часто и у Анненских, сохранивших привычку более широких приемов и поддерживающих обычай jour fixe'ов. Впрочем, и у Короленко еженедельно (помню — по четвергам) обедал С. Н. Южаков, и Владимир Галактионович неоднократно звал умножить «четверговую компанию». У него в доме впервые познакомился я с Мельшиным, по его возвращении из Сибири; встречал там С. Я. Елпатьевского, в его наезды в Петербург; виделся у Короленко и с Горьким, с которым недавно перед тем познакомился[11]. Перечисляю этих «завсегдателей», ибо

* Домашнего очага (*англ.*).

в общем их было немного, и Владимир Галактионович стал дорожить некоторой замкнутостью приемов у себя, чтобы высвободить себе время для работы.

Понемногу здоровье его восстановлялось; избрание в почетные академики [12] содействовало даже некоторому подъему настроения в том смысле, что признание его литературных заслуг со стороны избранной коллегии побуждало его продолжать работу в том же направлении художественного творчества, от которого он временно как бы отошел; заверения некоторых его почитателей вернули ему веру в себя и в свои силы; но интенсивно работать в Петербурге он все же не мог. [...]

Вернувшись к литературной работе, Короленко стал, по мере выздоровления, все более втягиваться и в общественные вопросы и всматриваться ближе в поднимавшуюся у нас волну марксизма. Примыкая к общему направлению «Русского богатства», Владимир Галактионович отнюдь не замыкался в теории народничества и стремился к более широким взглядам, обнимающим разные течения. У него же встречался я с двумя тогдашними вождями молодежи в направлении марксизма: П. Б. Струве и Мих. И. Туган-Барановским. Споры были горячие, но отношения самые дружественные. Свою точку зрения Короленко под впечатлением этих бесед высказал в статье «О сложности жизни» («Русск. бог.», 1899, № 8). А затем он выражал такого рода опасения: как бы теперешние марксисты не повторили ошибки прежних народников, только в другом направлении? Народники считались только с крестьянством, совершенно не интересуясь рабочим вопросом, марксисты все основывают на рабочем классе, игнорируя крестьянство. Нужно-де думать о тех и о других. [...] [13]

Короленко очень отчетливо помнил разные моменты своего духовного развития, когда, при каких обстоятельствах, где именно открылась ему та или иная мысль, которая потом крепко в нем засела. Словоохотливым он становился лишь при рассказах о разных внешних эпизодах своей жизни. Рассказчик он мастерской; казалось, что он видит воочию то, что передает, хотя бы то были воспоминания за много, много лет назад. Одушевляясь, он вскакивал и представлял в дей-

ствии то, что рассказывал. И даже не раз то, что потом появлялось в печати из его рассказов, казалось бледнее, чем его изустное изложение. «Уж это я давно знаю, — говаривал Владимир Галактионович, — когда мозг словно горит и в голове все так ясно, рельефно, — примешься писать, и многое постепенно меркнет, стирается, всего не передашь и не так передашь; всякая запись неполная и неточная передача того, что ощущаешь и что видишь своим воображением».

Когда Вл. Гал. почувствовал, что ему стало лучше, бессонницы прошли, жажда работать усиленно возродилась, он решительно стал готовиться к отъезду из Петербурга. «Не тот климат, — шутя говорил он, — не те условия, не та обстановка. Мало красоты кругом, природы не вижу...» И после некоторых колебаний он остановил свой выбор на Полтаве, откуда родом был его отец. Что-то влекло его именно в Малороссию, к красивым берегам Псла, к родным «хибаркам», к простым отношениям среди простых людей. Были, конечно, и некоторые личные отношения и знакомства. Едва ли не главную роль при выборе Полтавы сыграл тов[арищ] головы М. И. Сосновский, хороший приятель Владимира Галактионовича... Но раньше окончательного переселения в Полтаву Короленко совершил поездку в Уральск, где провел лето 1900 года. [...]

Летняя поездка в Уральск (1900). — «У казаков»

Еще во время пребывания в Нижнем-Новгороде, в одну из своих экскурсий в Поволжье, В. Г. Короленко набрел на уцелевшие следы пугачевщины. Помнится, он рассказывал, что это было в его заезд в Бугуруслан Самарской губернии[14]. Мысль взять сюжетом для романа описание этого народного движения, в котором столько было и стихийного и социально-бытового, и на этом фоне вывести представителя интеллигенции, воспитанного в духе просветительной философии XVIII века, запала ему в голову. Об этом замысле писателя неоднократно упоминалось и в печати. Его заинтересовало и вообще явление «самозванщины», которое он сперва проследил в современных ее формах. Так, еще

в 1896 году* были напечатаны его очерки о «Современной самозванщине», выяснение бытовых и психологических условий появления у нас «мнимых сборщиков, странников, калик», «самозванцев гражданского ведомства» — мнимых путешественников и всякого рода типов, с той или другой целью присвоивших себе «чужую личность и чужое звание». Автор при этом высказывает мнение, что самозванство — специфическая русская черта, и прибавляет: «Всякий раз, когда я думаю о несчастном человеке, дерзновенно принявшем на себя звание царя Петра Феодоровича и потрясшем Россию смятением и ужасом, — я невольно вспоминаю о том, как тщательно этот человек, державший в своей руке громы и смерть, должен был скрывать от приближенных свою несчастную спину, навсегда исполосованную кровавыми рубцами плетей во время прусского похода...» [15]

Это уже был прямой подход к Пугачеву. Матерьялы к роману подбирались исподволь, и раньше переселения в Полтаву Короленко захотел побывать в местностях, где было основное гнездо пугачевщины, и проследить путь Пугачева, чтобы напечатлеться видами местности, в которой более века назад развернулись грозные события. Он решил провести лето в Уральске, бывшем яицком городке, приказом Екатерины II переименованном, дабы не оставить среди жителей воспоминаний о народном возмущении. Первое письмо из Уральска датировано 21 июля 1900 года: [16]

«Пишу вам несколько слов из Уральска. В Саратовской губернии загостились мы дольше, чем предполагали, и только 18 числа приехали в Саратов, с великими усилиями переправились за Волгу и двинулись из Покровской слободы в степи. Почти сутки тянулись по узкоколейной дороге: пара узеньких рельсов на низкой насыпи, линия телеграфных столбов, кое-где маленький станционный домик, — затем степь и степь, ровная или слегка бугристая, но совершенно однообразная. Так до Уральска. Зато здесь — мы в садах. В трех саженях от нашей хибарки — река Деркул, в которой я уже купался раза три. За рекой (чудесная речонка, в плоских зеленых берегах, с белесым ивняком, склоняющимся к воде) тоже луга и сады, с колесами водокачек и желобами

* «Русское богатство», № 7 и 8.

для орошения. Тепло, даже, вернее, жарко, тихо, уютно.

На всех нас первый день нашего пребывания произвел отличное впечатление. А для меня вдобавок среди тишины этих садов и лугов бродит еще загадочная тень, в которую хочется вглядеться. Удастся ли — не знаю».

Итак, на первых же порах — «загадочная тень» Пугачева, которая и заманила Короленко в этот ныне мирный уголок, столь поэтично им описываемый. В дальнейшем даются сведения о семье Каменских, у которых Владимир Галактионович поселился с женой и дочерьми, и разные поручения по велосипедной части, так как и в степи Владимир Галактионович экскурсировал на велосипеде. Другой забавой, к которой он пристрастился, была любительская фотография. Но в этой области он не особенно преуспевал.

Немного спустя произошел такой инцидент: в Петербург прибыли трое казаков-старообрядцев из окрестностей Уральска, в розысках «Беловодского царства». Это было таким любопытным пережитком средневековой старины, что академик С. Ф. Ольденбург позвал меня побеседовать с этими пришельцами чуть не XV века и общими усилиями убедить их в фантастичности того маршрута с легендарными городами и странами, которыми они думали руководствоваться для достижения заповедного царства[17]. Переубедить их вряд ли удалось, но все же казаки собрались домой, и я дал им поручение разыскать у себя на родине В. Г. Короленко, которому они могли послужить любопытным этнографическим матерьялом. Для верности я дал им небольшую посылку, чтобы потом удостовериться, что они лично были у Короленко. Оказалось, что посылку они передали, а Владимира Галактионовича не застали. Немного спустя я получил от него следующую записку (21 июля 1900 г.):[18]

«Я сообщал вам, что вашу посылку получил, но при ней казаков не оказалось. Теперь спешу сообщить, что и казаки обнаружились, и притом явным произволением божиим: вчера с Н. А. Бородиным мы путались на одной станице, не застав дома ни одного из его знакомых. Увидя у ворот кучку казаков и казачек, я предложил поехать прямо к ним и попросить гостеприимства. С первых же слов мы начали переговариваться

и шутить, после чего один, присматриваясь ко мне, спросил: «Чей я буду?» Узнав, что петербургский, — он спросил: «А не вам ли был «посылочек» от «Батюшкина»?» Узнав, что «посылочек» был именно ко мне, казак быстро раскрыл ворота, ввел наших лошадей и стал очень радушно хлопотать. Оказался Кудрявцев. Потом мы поехали к Сармину (у которого знаменитая грамота), набилась полная изба казаков, в шапках с красными околышками, в валенках и в «азямах», вроде бухарских халатов. Одним словом, вышло превосходно. Станица, в которой живут ваши приятели — Круглоозерная, в просторечии называемая Свистун, самая заматерелая — «злые раскольники»... Я получил доступ в войсковой архив и некоторое время еще пороюсь в нем».

В результате этой встречи и знакомства получилась брошюра, изданная В. Г. Короленко в «Записках имп. Русского географического общества» по отделению этнографии, т. XXVIII, вып. I (1903): «Путешествие уральских казаков в «Беловодское царство» Г. Т. Хохлова», с предисловием В. Г. Короленко.

Из другого письма, тоже полученного из Уральска, выписываю следующую фразу в стиле афоризма, не касаясь случайных и малоинтересных обстоятельств, которыми она вызвана:

«И прежде всего человек, сам познавший, что такое мысль, навсегда останется терпимым к чужой мысли».

Этим убеждением неизменно руководствовался Вл. Г., поэтому всегда так легко знакомился и сходился с людьми совсем особого склада мысли, даже верящими в «Беловодское царство», и умел внушать к себе доверие и расположение, заглядывая к ним глубоко в душу.

В начале сентября получил я следующее письмо, все еще из Уральска: [19]

«...Я по уши загряз здесь в «матерьялах». Прочитал и сделал выписки из 8 огромных архивных дел (по 500—600 страниц) и побывал в нескольких «пугачевских местах», в том числе совершил одну поездку по верхней линии до Илека, шатался по хуторам, был в Киргизской степи; недавно еще — не без некоторого, признаться, волнения — стоял на той самой пяди земли, где был знаменитый «умет» (на Таловой). Как вся русская история, умет был сделан из весьма непрочных материалов. Впрочем, в начале еще этого столетия его

развалины одиноко стояли, размываемые дождями, на самом берегу речки. Теперь там — целый поселок, и я снял его строение (не то что пугачевского, а прямо скифского стиля), снял умет в степи, снял внутренность такого умета (посмотреть, так и не разберешь, что это такое. Так и в натуре!). Одним словом, оглядываясь назад, вижу, что и архивного и натурального матерьяла набрал не мало. Лето для моей задачи не потеряно: узнал казаков (порой тоже скифского периода) и, главное, все мелочи, все сколько-нибудь выдающиеся «происшествия» за несколько лет до Пугачева, во время и после, — теперь у меня как на ладонке.

Очень интересные данные об участии в этой борьбе киргиз, до сих пор, кажется, почти нетронутые. Интересно: прежде всего, оказывается, что гуманное российское начальство вызвало их само и посоветовало кинуться на улусы калмыков, приставших к Пугачеву — «дочерей взять в наложницы, а жен в есыри» * (буквально). Киргизы хлынули на зов и буквально затопили Уральскую линию и места между низовьями Волги и Урала. На желтых листах архивного дела читается целая трагедия: сначала частые тревожные рапорты с форпостов, потом просьба о помощи, потом молчание... И уже в это время вмешиваются пугачевцы. Потом, лет через 5—6 еще начальство не могло рассчитаться с последствиями своего политического шага: на требование выдачи обратно «русских есырей» — хан и солтаны отвечали, что они действовали по приказу, из усердия к ее величеству, и разбирать им было трудно. Сколько мне кажется, эта страничка истории пока не была еще разработана. Когда-нибудь я напечатаю этот материал, а пока берегу его для своей работы.

В Полтаву еду завтра. Третьего дня около часу ночи досмотрел и кончил выписки из последнего дела, имеющего прямое отношение к моему предмету. Теперь уезжаю из сада под Уральском в самый Уральск. Здесь я «дорабатывал» под чисто осенний шум деревьев. Сегодня у нас температура градусов 7. Уже был иней...

В приписке: Принес я большие жертвы тени Пугачева: жена и дети в унынии на новом месте... а я все здесь. Ну, да теперь лечу! Недоимок по журналу тоже

---

* Пленные холопы *(татарск.)*.

куча, как у одного из героев Успенского[20]. Недоимок и надо мною и круг меня сажени на три, да еще и в землю на три сажени вросли... Между прочим, я теперь — коневладелец. «Маштака» (местное выражение), на котором совершал поездки, только завтра сдам. Возил он меня все лето рублей за 15 (разница в покупке и продажной цене) ...»

Пока все еще «загадочная тень» покоится в портфеле Короленко. Мы не знаем, насколько подвинулась его работа над романом[21], отдельно главы которого им, кажется, уже написаны, но поездка в Уральск во всяком случае прошла не даром: через год появились мастерские очерки «У казаков», которые представляются одними из лучших в серии повествовательно-бытовых описаний нашего автора. Вообще этот род описаний, художественно-реальных, одна из удачнейших форм творчества Короленко. Он напоминает качества письма Пьера Лоти, сохраняя всю индивидуальность собственной манеры писать. В очерках неоднократно мелькает тень «Пугача», которого описан «дворец», рассказана судьба его второй жены, Устиньи, и приведены отголоски былых воззрений на его роль у современных «стариков». Нельзя не отметить в этих очерках, параллельно сообщениям об экономической и социальной жизни, превосходное описание природы в степной местности и мастерская бытовая картинка в трактире «Плевна»: столкновение двух поколений, «отцов и детей», соревнование в пении, неудачливое вмешательство русского, — все это очерчено сочно, правдиво, рельефно и может быть причислено к лучшим образцам художественно-описательной литературы.

Короленко в Полтаве. — Экскурс в «лабораторию творчества»

«Полтава — славный город, — писал В. Г. Короленко вскоре по приезде (письмо от 8 октября 1900 г.), — тепло, довольно сухо, нет (почти) фонарей на улицах, а в квартирах, по завету Акима Простоты, нет удобств... Мне лично это все напоминает мое «Ровно» и потому нравится. Читать меня еще ни разу не просили (по крайней мере прямо), знакомых пока мало, квартира

удобная (д. Старицкого на Александровской улице), чувствую себя отлично и почему-то уверен, что прихварывание моих девиц и жены — временное недоразумение...»

Итак, сразу по приезде Владимир Галактионович чувствовал себя бодро и хорошо, заранее предугадав, что его стоянка в Полтаве будет длительная — может быть, на всю жизнь. Месяц спустя, он опять повторял: «Полтава мне продолжает нравиться, хотя осень уже вступила в свои права — пасмурно, холодно, но зато сухо». Но на этот раз Владимир Галактионович жалуется, что, помимо него, об его участии на разных литературных вечерах объявляют и в Харькове, и в Киеве, и в самой Полтаве, несмотря на его категорические отказы. Он обещает твердо выдержать характер.

Выражая удовлетворение, что ему удалось освободиться от петербургской суеты, Короленко все же интересуется живо всем, что происходит в столице, особенно в литературном мире, и просит обо всем его осведомлять: «Что и как у вас происходит в Петербурге? Жить в Петербурге не люблю, а знать все о Петербурге хочется. Пишите».

В конце декабря в ответ на зов Короленко я приехал в Полтаву, встретив там и Новый год. Уже вокруг Владимира Галактионовича стали собираться местные жители, земские и городские деятели, представители интеллигенции, и у него, как в Нижнем, завелись приемные дни.

Однако по возможности он все же ограждал себя от чрезмерного наплыва посетителей и вел наивозможно правильный образ жизни. По утрам колол дрова, согласно данному ему совету кем-то из врачей, затем работал до раннего обеда, гулял, по вечерам же охотно проводил время в беседе, удаляясь к себе, лишь когда его захватила начатая работа, которой он весь отдавался, пока не закончит хоть некоторую ее часть. Как раз во время моего пребывания в Полтаве он писал свой рассказ «Мороз», еще по сибирским воспоминаниям.

Закончив первую часть, он прочел нам ее вслух, а затем заверял, что с окончанием он справится легко. Однако спустя несколько дней получил я от него следующее письмо, уже по моем возвращении в Петербург (от 6 января 1901 г.):

«После вашего отъезда я несколько опять впал в бессонницу, на которую так рассердился, что, встав среди ночи, затопил в гостиной камин, поставил у камина стол и принялся кончать известный вам очерк «Мороз». Вы были правы: конец занял гораздо больше, чем я предполагал, точнее — пришлось написать несколько больше, чем уже было написано, и я поставил точку уже в середине дня. Утром, еще в сумерки, знакомая вам горничная Дуняша вошла в гостиную убирать и смертельно испугалась, неожиданно наткнувшись на зрелище: огонь в камине, свечи и кто-то сидит. Она чуть не закричала; к счастью, я вовремя повернулся к ней...

Конец очерка уже отослал. Значит, на январь все, и я от этого срока отбился... Во дворе у нас почти готов каток и т. д.».

Далее следует целая страница о том, как приготовлялся каток, и предвкушение удовольствия от возможности бегать на коньках у себя на дворе. Душевное напряжение от творческой работы разрешилось почти детской радостью сознания, что сбыл к сроку очередную работу, и хоть на несколько дней можно чувствовать себя свободным и беспечным. Но любопытна и другая черта для психологии творчества: в рассказе «Мороз», как читатели, конечно, помнят, с удивительной силой передано ощущение холода, такого холода, что у человека даже «совесть замерзла» (в черновике рукописи эта фраза в нескольких местах записана, как лейтмотив рассказа). И что же? Для того, чтобы вызвать в воображении эти, вероятно, пережитые раньше ощущения, Короленко воссоздает их по противоположным чувствованиям: затопил камин, придвинул к нему стол, и в жаркой истоме у пылающих дров он описывает пронизывающий человека холод, на 40-градусном морозе. И при этом автор достиг поразительной силы описания, так что при чтении очерка вас самого пробирает дрожь.

Вообще, недаром указывается, что для творческой работы надо отдаление от предмета наблюдений. [...] Чехов тоже писал, что нужно профильтровать впечатления раньше, чем передавать их[22]. Непосредственно, «по натуре», писать нельзя. А тут выходит, что прояснению образа помогают даже радикально противоположные ощущения.

В Джанхоте у Короленко

(Летом 1901 и в 1902 г.)

В двадцати верстах от Геленджика, где некогда жил, по возвращении из ссылки в Якутскую область, декабрист А. А. Бестужев, более известный под своим псевдонимом романиста — Марлинский, и жестоко страдал там кавказской лихорадкой, есть горное ущелье, с выходом в небольшую морскую бухту. Называется оно Джанхот. Ныне условия жизни в Геленджике совершенно переменились: о лихорадках уже не вспоминают, и город обратился в курорт. Джанхот стал тоже населенным дачным местом, но двадцать лет назад колонизация только началась, и одним из первых пионеров в этом деле был брат Вл. Гал. — Илларион Гал. Короленко. К нему-то Вл. Г. и поехал провести лето в 1901 году. Постройка дома на участке Ил. Г. только еще началась, так что семья Короленко поселилась по другую сторону ущелья, в д. Протопопова, через речку.

Местечко красиво, и из дома Протопопова открывался широкий вид на горы, леса, и узкой лентой на горизонте виднелось море. У Влад. Гал. какое-то инстинктивное влечение к красивым ландшафтам, и он природу чувствует ежечасно, и в разговоре, и в письмах, передавая свои ощущения в метких, коротких, но выразительных замечаниях.

«Случилась «оказия», — писал В. Г. через некоторое время по приезде в Джанхот[23], — и я пишу вам маленький ответ на ваше письмецо... «Оказия» — это я, Соня и Наташа (дочери В. Г.), придравшие в Геленджик из Джанхота пешком. Это первое отдаленное путешествие их пешком, и я очень рад. Добавьте горы, ущелья, леса, заплетенные лианами, и отчасти — опасность промокнуть... Одним словом, девицы мои в восторге. Теперь мы в Геленджике, в гостинице почтенного немца Кордеса, отдыхаем от пути и пишем письма. В открытое окно видно море и, увы! — пароход, уходящий в Новороссийск, который мог бы отвезти это письмо, если бы я поспел ранее.

Пока еще только привыкаем к месту (Джанхот); наша щель узка, внизу речка, вся заросшая, в овраге, представляющем нечто вроде корзины, наполненной гу-

стой зеленью. Были дожди, днем жарко — и эта горячая сырость с примесью морских испарений расслабляет. Неделя прошла вся в лени и истоме. Правда — вечера свежи...»

«Здесь хорошо», — пишет через некоторое время Вл. Г., освоившись с обстановкой [24].

Непрестанно расспрашивая в своих письмах о разных новостях, Вл. Г. прибавлял: «Мой горизонт закрыт горой св. Нины с одной стороны, Щербининским склоном — с другой. А между двух склонов, как в чашке, синий кусок моря... Жарко, томно, лениво...» [25]

Приехал я в Джанхот уже в начале августа [26].

Любимое времяпровождение днем — купанье в бухте, купанье, длившееся иногда три-четыре часа, с лежаньем на берегу, на мелком гравии, плаваньем по бухте и опять лежаньем, пока ленивая волна окатывала теплой влагой распаленное на солнце тело. В один день и я, по примеру других, наполовину обратился в краснокожего. Это не мешало беседе о разных событиях общественной жизни, и спорам об искусстве, и размышлениям на самые отвлеченные темы, при всей легкости костюмов, в которых велись эти беседы. Я приехал в августе, за два дня до того, как и вся семья Короленко, и гостивший у них доктор Б[удаговский] с женой собирались уже в обратный путь, в Полтаву. Предстояло выкупаться в последний раз, но погода изменила: дул сильный ветер с моря, покрывшегося барашками, и довольно внушительные волны набегали на побережье. Местные жители нас предостерегали от купанья в такую погоду, но, несмотря на ветер, было так душно и море так манило, что все-таки все пришли на пляж. Дамы расположились в некотором расстоянии, а Владимир Галактионович твердо заявил: купаться можно, только с выдержкой — не отплывать далеко от берега и в особенности избегать того места, где гравий сменялся крутыми скалами, с большими камнями у подножья. Я поступил несколько легкомысленно: увлекшись приятностью плаванья против волн, то поднимаясь на гребень, то как бы летя в пучину, и полагаясь на то, что ветер с моря, стало быть, хотя бы я и уплыл подальше, но волны сами принесут к берегу, я сделал несколько сильных взмахов, не оглядываясь, думая, что отплыл всего несколько сажен. Когда оглянулся, то, к удивле-

нию, увидел, что берег далеко. Я повернул назад, но меня все уносило дальше в море. Оказалось, что в бухте образовалось двойное течение, как в воронке: по сторонам оно шло к берегу, в середине уносило в море. Я понял, что, увы, попал в среднее течение, и меня могло занести бог знает куда. Однако, взяв наискось, я попал наконец в то течение, которое заметно стало приближать меня к берегу, но так как я отошел в сторону, то передо мной был уже не плоский пляж, с мягким гравием, а высились скалы и камни, о которые неминуемо разбило бы волной. Высоко взлетали брызги, а когда волна отходила назад — оголялись совершенно неприступные скалы. Я должен был опять отплыть, с трудом уже борясь с противным течением, не смея подплыть к берегу. Как я узнал потом, на берегу в это время произошел полный переполох. Собрались соседи, служащие на виноградниках, турки-рыболовы. Одному из них предложили за «премию» пуститься за мной на доске, за полным отсутствием лодок в бухте. Он уже стал привязывать веревку, прельщенный наградой, но потом заявил: «Лучше пусть один человек погибнет, чем два человека, а спасти нельзя». Турецкая фелюга была вытащена на берег из опасения, что ее может разбить, но при противном ветре нельзя ею было и пользоваться. Владимир Галактионович не потерял присутствия духа. Он заметил мой поворот, догадался, что я попал в обратное течение, и стал следить лишь за тем, куда оно меня направит, приготовившись встретить меня. Он намотал длинную бечевку кругами и, когда убедился, что хватит до меня, ловким движением кинул мне один конец, как раз в то время, когда я показался на верху гребня волны. В этом была вся суть дела. Когда я ухватил конец брошенной веревки, Владимир Галактионович с братом и доктором, державшими ее другой конец, оттянули меня от опасного места и, как рыбу, вытащили на плоский берег[27].

Утром мы всей компанией двинулись пешком в Геленджик. Когда я сел на пароход, который повез нас в Новороссийск, пассажиры мне рассказывали о «происшествии», сообщенном и в местной газете: опасно купаться, когда волнение на море; вот, дескать, накануне утонул какой-то приезжий «профессор» из Петербурга; хотел его спасти В. Г. Короленко, но чуть и сам не по-

гиб; и неизвестно, куда тело утопленника принесет... Я поспешил отрекомендоваться как живой «утопленник» и указал на сидевшего невдалеке В. Г. Короленко, который выручил меня из беды. «Но как мог он это сделать, когда турки, опытные плаватели по этим берегам, заверяют, что нет возможности спасти, если подхватит течение». Да, турки не сумели этого сделать, а Владимир Галактионович сделал очень просто, не слушая их, а сам, догадавшись, что надо было сделать, проявив лишь присущие ему качества — самобладание, выдержку и находчивость...

Через год я снова побывал в Джанхоте. Вл. Гал. жил уже тогда во вновь отстроенной даче своего брата, которая, при всех удобствах большого помещения, лишена была одного преимущества дачи Протопопова: широкого вида*. Дом был весь окутан высокими деревьями и примостился к скале у горы св. Нины с одной стороны, а с другой купола деревьев заслоняли вид на противоположный берег речки. Моря совсем не было видно. Короленко переехали на новоселье уже в конце лета, а июнь и июль они провели еще в доме Протопопова.

«Вот в какую глушь мы наконец забрались, — писал В. Г. (16 июня 1901 г.)[28]. — Письмо ваше от 2-го июня имеет штемпель «Геленджик, 12»! А получил я его «с оказией» 15-го. Теперь сажусь отвечать опять «до оказии». Когда вы получите его — бог знает.

Живем все в том же, знакомом вам, протопоповском доме. У Иллариона еще штукатурят, кладут полы и т. д. Впрочем, и здесь хорошо. Гостят у нас теперь Гориновы из Нижнего. Помещаемся отлично.

Погода чудесная, особенно к вечеру: прохладно, звездно, и среди темной зелени вереницами и хороводами летают светляки. Образ жизни ведем легкомысленный и даже в одеждах соблюдаем легкость; дома почти все ходим босяком. В остальном все по-старому, как было при вас. И даже серый жеребец не изменил основных свойств своего характера: в тележке не ходит. Впрочем, это явно идет ему на пользу. Девочки заклю-

* Только с вышки, в третьем этаже, был более открытый вид. Впоследствии Короленко там поселился, как он в шутку писал, — «на чердак». Но без открытого горизонта он не мог работать в охотку.

чают, что он не хочет признать себя рабом человека, и относятся с некоторым сочувствием к его протесту...»

Особых происшествий в этот приезд не было. Совершали мы большие экскурсии в горы, причем присоединялся к нам одновременно со мной приехавший молодой беллетрист и публицист Е. А. Ганейзер; по соседству была Толстовская колония*, с представителями которой у В. Г. завязались отношения, он он несколько скептически относился к их организации. Был поселок крестьян-колонистов из Полтавской губ., с которыми В. Г. вел длительные беседы. Как бы резюмируя свои впечатления общественных явлений за лето, Короленко писал мне из Джанхота в этот год: «Все особы разъезжают по свету при общем затишье и благополучии...

Заинтересовал меня только циркуляр о прекращении статистических исследований: разумеется, в такие «опасные» времена прежде всего надо закрыть глаза и не смотреть на опасность. «В «Моск. вед.» напечатана прекрасная статья, доказывающая, что крестьянство разорено совершенно. Но, конечно, это не за тем, чтобы приняться за улучшение этого положения. Очевидно, начинается поход против «экономической политики», против Витте. Любопытно, что по этому поводу пишет Мещерский?..» [29]

Короленко всей душой стоял за «зрячесть» и по каждому поводу приходил в негодование, когда усматривал проявление системы закрывать глаза на действительное положение дел, замалчивая либо факты, либо значение явлений, пряча головы, как страус. И сколько последующих бедствий можно было бы предотвратить, если бы тогдашние власть имущие прислушивались к предостережениям этого скромного, но дальновидного «корреспондента», еще устами Сократа в «Тенях» настойчиво твердившего: «Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, афинский народ». Но неугомонный «искатель правды» в свое время дорого поплатился за свою стойкость и «бодрствование». Теперь он вкушал заслуженный отдых, ощущая, что «все сие теперь от меня да-

---

* Известная «Криница» Еропкина. См. о ней книгу Г. Василевского «Интеллигентная земледельческая община Криница. К истории исканий общественных форм идеальной жизни», Кн-во «Посев», СПб. 1908.

леко», но в то же время набираясь сил для новых выступлений, поводов к которым оказалось даже слишком достаточно в русской действительности.

Возвращаясь к своему прежнему замыслу о Пугачеве, Короленко писал мне в то же лето из Джанхота:[30]

«В Оренбург еще не еду. Здесь я сделал меньше, чем предполагал (как всегда летом, да еще в такую жару), и теперь возлагаю надежды на оставшиеся две недели и на «секрет» в Полтаве (то есть что не узнают об его возвращении). В Оренбурге ничего и зимой, тем более что ведь, в сущности, там дело происходило именно зимой».

Однако поездка эта не состоялась; запросы активной жизни отвлекли в другую сторону, а к этим запросам Короленко был особенно чуток.

Исключение Горького из почетных академиков

[...] В большей мере взволновал его инцидент с Горьким по поводу неутверждения его в звании почетн. академика при разряде изящной словесности Академии наук. С А. М. Пешковым-Горьким у Короленко были давние отношения, еще по Нижнему-Новгороду.

Начинающий писатель «из босяков», с задатками яркого дарования, но еще «не нашедший себя», не справлявшийся с формой и в содержании высказывавший свойственную многим молодым талантам неуравновешенность, привлек внимание Короленко, который руководил его первыми опытами. Горький впоследствии и сам признал значение Короленко в его литературном воспитании[31]. Один из ранних удачных очерков Горького — «Челкаш» был принят Короленко для «Русс. богат.», несмотря на то что идеи автора не совсем вязались с общим направлением журнала. Но художественные достоинства рассказа брали верх над «тенденцией» писателя. Горький оценил и те замечания и поправки, которые были предложены Короленко. Личные отношения не играли, впрочем, никакой роли перед фактом кассированных выборов «автономной коллегии» по царскому приказу[32]. Короленко не мог пассивно отнестись к акту совершенного произвола. Он телеграфировал мне с запросом, как реагирует академия, прежде всего же-

лая сговориться с коллегами. Вслед за телеграммой шлет письмо (11 марта 1902 г.):

«Поразило меня (газетное известие об инциденте с Горьким) черт знает как. Прежде всего — «дознание» не есть законный повод для неутверждения каких бы то ни было выборов. Значит, это незаконное вмешательство «административного порядка» со всем его произволом в дела уже академии. Я убежден, что то чувство, какое испытал я, разделяют и многие академики, и значит, будет экстренное собрание. Если да, то я, по получении известия, немедленно еду в Петербург, чтобы участвовать в заседании. Конечно, нужно ждать более подробного сообщения... но... Господи, какая это большая глупость! Как будто нарочно, чтобы придать факту как можно больше огласки и шума. Почета, оказанного Горькому выбором, все равно не устранишь; но к этому прибавлено мелочное раздражение «правительства», незаконный акт и оскорбление всем нам, выбиравшим...

Одним словом, вышло черт знает что, и, по-моему, заседание академии необходимо. Неужели его не будет? Мне сейчас, по моим делам, ехать неудобно, но я решил все бросить и ехать, как только получу известие о заседании. В противном случае — придется подумать о том, как же выйти из этого глупого положения уже сепаратно».

То, что правильно квалифицировал Вл. Г. как прежде всего «глупость», а потом и хуже, представлялось в ту пору довольно обыденным явлением нашей внутренней политики. С другой стороны, характерна была и та пассивность, с которой даже высшие представители образованного класса общества относились вообще ко всяким актам административного произвола, в частности такое же отношение проявили академики и к данному случаю. Никакого экстренного заседания не состоялось. Короленко написал обстоятельное письмо академику А. Н. Веселовскому[33], доказывая его необходимость, но запрос остался без ответа. В этом письме Владимир Галактионович, главным образом, напирал на два аргумента: во-первых, писал Короленко, «участвуя в выборах, я имел право быть приглашенным также к обсуждению вопроса об их отмене, если эта отмена должна быть произведена от имени академии. Тогда

я имел бы возможность осуществить свое неотъемлемое право на заявление особого мнения»; во-вторых, «мы рискуем, что нам могут быть диктуемы те или другие обязательные взгляды и что о перемене наших взглядов на те или другие вопросы (жизни и литературы) может быть объявляемо от нашего имени, совершенно независимо от наших действительных убеждений...» Аргументация не помогла, и оставалось только действовать «сепаратно». Но он не хотел дешевой демонстрации и предварительно пытался испробовать все средства, чтобы отстоять «достоинство» разряда изящной словесности при Академии наук. Он приезжает в Петербург, видится с сочленами по отдел. русского языка и словесности, пытается убедить Веселовского, но академики утвердились на позиции игнорирования акта об исключении Горького и решительно отказывались от какого бы то ни было публичного заявления. Короленко возвращается в Полтаву, еще медля действовать единолично *, а затем на пасху едет в Ялту на свидание с Чеховым и с Толстым.

«Я съездил в Ялту, — пишет Владимир Галактионович от 28 мая 1902 г., — частью, чтобы повидаться с Чеховым, частью по телеграмме брата. Был у Толстого. Поездкой чрезвычайно доволен. Чехов, вероятно, отложит свое заявление до осени, и это, по-моему, хорошо. Я «выйду» на днях, это дело, по многим причинам, необходимое. А академии все-таки придется еще вернуться к вопросу. С Толстым об академии почти не говорили (я этого не хотел), но очень интересно провели часа три[...]»

Последовавшие затем заявления Короленко и несколько позже Чехова об их выходе из состава почетных академиков общеизвестны.

Возвращаемся к некоторым событиям общественной жизни в Полтаве, за эту зиму 1901—1902 г., о которых сообщает Короленко в своих письмах.

---

* Несколько позже (в апреле) Короленко, получив уведомление о торжественном заседании II отделения Академии наук в память Жуковского и приглашение участвовать в нем, писал мне: «Прикрыть маленькое публичное заушение лачком торжественного собрания и — конец! Чехов пишет, между прочим, что совершенно согласен с моим заявлением. Значит, нас двое, во всяком случае, будет» [34].

В начале января он принимал деятельное участие в организации чествования памяти Гоголя в Полтаве, будучи избран председателем комиссии по устройству этого празднования. «Ладья сего чествования двигалась между двумя полюсами», — писал по этому поводу Короленко (22 января 1902 г.):

«Дума хотела устроить «для школьников». Я возразил, что Полтаве неудобно сделать из годовщины Гоголя только школьный праздник. Со мной согласились. Тогда чех — учитель Коваржик предложил пригласить представителей «славянских земель». С ним тоже все согласились. Тогда я со вздохом позволил себе обратить внимание на то, что ведь *пригласить* значит и *принимать*. А в распоряжении комиссии на все — 1075 руб. (от города, от губ. и уездн. земств). Второе заседание случайно состоялось без меня, и там опять вернулись к чисто школьному празднику, причем для расширения его значения решено (как было предположено и раньше) пригласить несколько ученых для прочтения лекции...»

О самом чествовании Короленко рассказал в печати *, поэтому мы на этом эпизоде не останавливаемся.

Между прочим, хотя Владимир Галактионович, как уже не раз указано, держал себя в стороне от революционного движения и ни в каких «конспирациях» в ту пору не принимал участия, за ним устроена была «слежка» и некоторое негласное наблюдение[35]. Еще в Петербурге даже ко мне заходили какие-то загадочные лица, справлявшиеся о нем (в один из своих приездов в Петербург Короленко останавливался у меня). Так, приходила какая-то девица, очень путано и сбивчиво рассказавшая мне, что ей очень, очень нужно видеть Вл. Г., и не хотела верить, что его в данное время не было в Петербурге. Я посоветовал ей обратиться в редакцию «Русск. богат.», но на всякий случай записал адрес и фамилию. По проверке и то и другое оказалось вымышленным (адрес был дан в Новую деревню!). Приходил еще какой-то молодой человек, в цилиндре, который сидел на нем, как седло на корове, и, подмигивая мне какие-то выразительные знаки, внушал,

* «К гоголевским дням в Полтаве», «Русск. ведом.», 1902, № 52.

что я, конечно, знаю, где скрывается (?) Короленко и что это останется «между нами»... Разумеется, я его выставил без всяких объяснений. Об этих случаях вспоминал Короленко в своих письмах, сообщая слухи о его мнимом аресте и о пропаже многих писем. Даже, оказывается, у дверей его дома приставлен был городовой, который записывал приходивших к В. Г. гостей в его приемные дни по субботам, вечером. Короленко вступил в объяснение с городовым и собирался по этому поводу поговорить с кем-нибудь из «властей», чтобы они свой «тайный надзор» производили потоньше. «Когда-то, по поводу таких же историй в Нижнем, я говорил с директором департамента полиции (тогда был Дурново), и это устранили. Теперь история начинается снова, и так будет, вероятно, до конца моих дней...»

Между тем в эту пору Короленко стремился действовать во всем вполне лояльно и открыто, и его «вина» заключалась лишь в том, что он ясно видел ошибки и порой преступные погрешности системы управления в России и предугадывал результаты, к которым это неизбежно должно было повести.

«Юбилейный год» (1903). — «Огоньки». — Кончина матери В. Г. — Разъезды и «хождения» Короленко. — Чествования в Петербурге и в Москве

В феврале 1903 г. Короленко решился поехать в Петербург на более долгий срок, с заездом в Лохвицу и в Москву. Тоскливое чувство, испытанное им осенью, желание узнать подробнее о том, что происходит в столицах, наконец очередные редакционные дела — все это в совокупности побудило его расстаться временно с Полтавой, которую ранее он только расхваливал. Здоровье его было не совсем удовлетворительно, и пришлось полечиться. Между тем уже начинались разговоры, отчасти проникшие в провинциальную печать, об устройстве юбилея, то есть ряда чествований в разных местах по случаю 50-летия его рождения летом. Влад. Гал. не приписывал себе лично того значения, которое придавали его имени, но, так сказать, готов был уступить, чтобы дать возможность людям собираться и вы-

сказывать пожелания и надежды, имеющие общественный смысл, формально привязываясь к его имени. Он против этого не возражал и если дал точную справку о дате рождения, то скорее из простой добросовестности, когда чествования начались с весны в разные сроки.

Действительно, нужно признать, что в данный момент имя Короленко служило общим лозунгом для всех прогрессивно мыслящих людей без различия партий. И особую роль сыграл в этом году его коротенький очерк «Огоньки», облетевший всю Россию и повторяемый бесчисленное количество раз почти всей прессой. Любопытно напомнить, что эта страничка, передававшая в поэтическом образе задушевные чаяния автора и его светлый оптимизм, была первоначально написана в 1900 году просто в альбом одной писательницы (Мар. Вал. Ватсон) и, стало быть, носила характер интимного признания, не для печати. Но оно вскоре попало в печать, и оказалось, что Короленко чутьем угадал настроение огромной массы русских интеллигентов. Заключительный возглас очерка — «все-таки... все-таки... впереди огни» — стал быстро крылатым словом. В тоне настроения того времени был и его другой очерк «Мгновение».

Пока В. Г. относился пассивно к приготовлениям чествования и только твердо решил на время «исчезнуть с горизонта»; только в Петербурге осенью ему не удалось избежать юбилейного банкета, о чем речь ниже.

Между тем в эту весну ему пришлось перенести тяжкое горе — смерть матери. Я побывал у Короленко в Полтаве на пасхе и застал Эвелину Иосифовну, когда, видимо, дни ее были сочтены. Вл. Гал-чу казалось, что, может быть, она еще поправится, хотя вскоре и он дал себе отчет в неизбежном приближении конца. С наступлением теплых дней ей действительно было как будто лучше, но при горловой чахотке эти симптомы, как известно, очень ненадежны. Ее вывозили ежедневно в сад, в большом кресле на колесах, и Вл. Г. писал мне, после моего отъезда из Полтавы (24 марта):

«Я ее сажаю в кресло, как ребенка... Часа по четыре она проводит в саду. А погода у нас чудесная, жарко, тихо, не пыльно, сад распустился, достаточно тени — и яблони все в цвету. Нет сомнения, что все это хоть от-

части действует на ее настроение, хотя силы все падают».

И Вл. Г. работает, усаживаясь рядом с дорогим ему человеком:

«Забираю с собой чернильницу, портфель с бумагами и ухожу в сад, вывозя туда же и мамашу. У меня есть там отдельный стол, в тени, работать отлично. Наши все сидят обыкновенно тоже в саду за круглым столом. Все было бы хорошо, если бы не состояние матери: силы падают, боль горла, слабость, вообще жизнь гаснет... хотя сама она не сознает своего положения».

Эвелина Иосифовна скончалась 30 апреля, ранним утром, скончалась «тихо, точно заснула», как сообщал мне Влад. Гал., присутствовавший при ее последнем вздохе. Ее засыпали цветами и венками, и тело предано земле в Полтаве, ставшей почти что родным городом Владимира Галакт. и его семьи.

Прошло около трех недель, и Вл. Г. все еще находился под впечатлением тяжелой утраты. Он пишет (от 20 мая 1903 г.):

«Все, связанное со смертью матери, теперь уже как бы ликвидировано, только осталась и, думаю, на всю жизнь с одинаковой свежестью, болящая пустота. Конечно, мы были подготовлены, и горечь этого сознания, распределенная на продолжительное время, притуплялась. Но только когда все это кончилось, я почувствовал, сколько горя в этом, ставшем совершенно неизбежном конце. Я удивлялся, как могла она дорожить этой мучительной жизнью, но теперь часто, глядя на ее кресло, которое и теперь стоит в ее комнате, я чувствую острое сожаление, что не могу опять поднять ее исстрадавшееся, измученное, тело, посадить в кресло и везти в сад... И теперь, кажется, готов бы вернуть хоть эту степень жизни, хоть на несколько месяцев, чтобы еще договорить с ней многое, что осталось недосказанным...

Теперь приходится только заканчивать похороны, то есть ставить решетки, памятник и т. д.».

В эту пору Вл. Г. все же усиленно работал и над «Путешествием казаков», и над очерком «Феодалы», законченным им лишь осенью, и над рядом публицистических статей. Но работу он скоро прервал, чтобы ехать через Бендеры в Кишинев.

Известие о происшедшем там еврейском погроме сильно взволновало его, и он захотел осмотреть лично следы происшедших событий. В результате поездки получился очерк «Дом № 13», на конкретном выразительном примере передающий весь ужас погрома. Но корреспонденция Короленко на эту тему и в «Русск. вед.» и в «Русск. богат.» не могли быть напечатаны по условиям тогдашней цензуры. «Хотя я, таким образом, — писал Вл. Г., — убил зря 2½ недели дорогого времени, польза одна: я все равно не мог ни о чем свободно думать, пока не отдал эту — малую и плохую — дань болящему вопросу» *.

Почти все это лето провел Вл. Г. в разъездах и переездах, возвращаясь в Полтаву и снова уезжая. В самой Полтаве состоялся его переезд на другую квартиру (д. Будаговского), на крутом обрыве, покрытом садом, в конце города, с широким видом на Псел [37], что так ценил Короленко, для которого красивая местность — почти необходимое условие для жизни и творчества. И в это же лето он приобрел участок близ Миргорода — в Хатка̀х, тоже соблазненный красивым местоположением, и стал на нем строиться. А пока происходили его чествования по разным городам, Владимир Галактионович, с котомочкой за плечами, совершал «хождение» по Тамбовской губ., привлеченный картиной скопления народа по случаю открытия мощей Серафима Саровского. С пути еще, добираясь до места по железной дороге, он пишет открытку: «Зной стоит тропический. В вагоне 30°, несмотря на открытые окна. К своему удивлению, я не особенно страдаю от жары и не испытываю одышки. Может быть, благодаря заступлению св. Серафима и благочестивой цели моего путешествия...» [38] Но вот наконец он спешился и пишет из Дивеева, «куда пришел вчера с двумя товарищами»:

«Чтобы еще точнее определить свое местопребывание, скажу, что в данную минуту нахожусь на сеновале у одного из дивеевских жителей. Это четвертый день нашего пешеходного путешествия. Сегодня сделал себе дневку, главным образом потому, что я набил себе жестоко мозоль, благодаря неудобному сапогу. В осталь-

---

* Очерк был напечатан отдельной брошюрой в Харькове два года спустя [36].



В. Г. Короленко среди родных и друзей

Слева направо: Н. Ф. Анненский, Ф. Д. Батюшков, В. Г. Короленко, Е. С. Короленко, С. В. Короленко, Н. В. Короленко, Е. О. Скуревич. Петербург (1900)

ных отношениях чувствую себя превосходно и путешествием очень доволен. Некоторые моменты оставили во мне глубокое впечатление. Ночевал то в монастыре (Понетаевском), то в попутных деревнях и селах. Идем втроем: со мной еще муж А. С.[39] и случайный спутник — мелкий торговец из Аткарска, человек очень непосредственный и богомольный. 15 июля провел в дороге[40]. Сначала под палящим зноем, потом ливнем в в поле, наконец в небольшой деревушке в избе, наполненной мужиками из «охраны». Завтра идем в Саров ранним утром, чтобы к вечеру выбраться оттуда: там пришлось бы ночевать под открытым небом, а мы очень налегке. Ночи же холодные...»[41]

Из Тамбовской губ. Короленко отправился снова в Румынию, где любопытным образом «заблудился», попав не в то место, куда ехал, однако, разумеется, в конце концов добрался до цели. Только в сентябре, вернувшись в Полтаву, он принимается за просмотр «юбилейной литературы» и очутился «среди хаотической кучи телеграмм: их более трехсот, кроме писем и адресов», — сообщил Влад. Гал. Особенно его тронуло приветствие Чехова, который, «кроме общей телеграммы с «Русской мыслью», прислал еще особо от себя три строчки, задушевных и хороших. Я его очень люблю, и это была одна из тех телеграмм, которые я отнес не только к писателю-юбиляру, но и лично к себе. Вообще же, — не мало есть искренних и задушевных, читая которые видишь, что люди писали не фразы... И становится немного страшно: заслужил ли и заслужишь ли?..»[42] И тут же кстати Вл. Г. сообщает, что своими «корреспондентскими поползновениями обидел некоторых из полтавских думцев, с головой во главе, — указанием на постыдную боязнь слов «самодеятельность» и «самоуправление»[43]. «Этой корреспонденцией я сунул палку в колесо своим полтавским друзьям, собиравшимся как раз в это время поднять в думе вопрос о моем «чествовании»... Ну и конечно поднялась маленькая буря... считаю себя, впрочем, совершенно правым». Разумеется, Вл. Г. был прав, и очень характерно, что он устроил этот «скандал», как он выразился, именно в то время, когда сочувствующие ему благоприятели хотели устроить чествование. Он напомнил, на какой позиции он сам стоит, чем дорожит и как высоко ценит права и обязанности независимой,

свободной личности, ни перед чем не поступающейся своим достоинством.

Имя Короленко, как мы говорили, стало лозунгом для всей передовой интеллигенции того, чем должен быть и к чему стремится всякий гражданин, в лучшем значении слова: вскоре в нем признают и наилучшего выразителя требований общественной совести. Пускай идеалы эти во многом элементарны, но в этических вопросах суть не столько в отвлеченных принципах, как в умении согласовать слова и дела, в цельном человеке, действующем и мыслящем согласно душевным побуждениям, верящим в человека и знающим, к чему эта вера обязывает. Вот что в особенности, помимо чисто художественного значения произведений Короленко, привлекало к нему сочувствие представителей самых различных профессий и объединяло всех престижем высокого нравственного характера и безупречной деятельности.

Обо всем этом пришлось Короленко услышать на банкете, устроенном в его честь в Петербурге, в октябре, где, по формальному поводу, чествование было приурочено к дате 25-летия литературной деятельности. Объявленное дневное заседание в зале Тенишева не могло состояться, по внезапной отмене этого чествования распоряжением полиции. Но публика собралась в ресторане Контана: кроме трехсот лиц, записавшихся на банкет, было, пожалуй, не меньше число тех, которые шли на дневное заседание, но пришли в ресторан послушать речи и приветствия, ибо, к счастью, распоряжения не было дано закрыть ресторан. Не догадались... Празднование все же состоялось, без ведома и участия полиции. И в общем какое-то удивительно бодрое и светлое чувство оставляло это собрание, на котором, так же как и в телеграммах, о которых писал Владимир Галактионович, искренние чувства брали решительно верх над часто шаблонными и надуманными юбилейными фразами. По-видимому, искренность тоже заразительное чувство[44].

В ноябре (29) чествование Владимира Галактионовича состоялось в Москве, в Литературн.-худ. кружке, с участием В. Ф. Комиссаржевской, В. И. Качалова, П. И. Вейнберга, М. М. Подарина и друг., — даже Собинова и Тартакова. Оно носило более артистический ха-

рактер, а общественный элемент был предусмотрительно отстранен распоряжением администрации, выключившей из программы всех ораторов, которые могли и должны были оттенить общественные заслуги Короленко.

Человек и писатель

В своем очерке о Гл. И. Успенском[45] Короленко, между прочим, высказал следующее общее замечание о взаимоотношении человека и писателя: «Нужно с грустью признаться, что реальная личность писателя, художника, артиста, редко совпадает с тем представлением, какое мы составляем по их произведениям. Во время творчества идей, звуков, образов мы становимся несколько выше нашей средней личности. Мы как бы уходим в маленькую горную часовенку, отгороженную от наших будней. А затем, «когда не требует поэта к священной жертве Аполлон»[46], мы опять спускаемся с этих вершин, которые, — велики ли они или малы, — все-таки составляют высшие точки нашего личного существования. Иной раз этот обычный уровень очень удален от вершин». «Но бывают дорогие и редкие исключения», — продолжает Влад. Гал., переходя к оценке Гл. Успенского уже как «реальной личности».

К таким «исключениям», — буде приходится признавать их таковыми, — несомненно, должен быть причислен Короленко, моральный образ которого как человека вполне покрывается идеальным представлением о личности писателя. О человеке мы судим по делам его, а за Короленко слишком много именно таких «дел», так что вполне возможно по ним судить об его душевных качествах человека и ощутить значение его заслуг, как общественного деятеля и гражданина. И трудно сказать, — хотя автор и называет вершины «творчества» высшими точками нашего (писателей) личного существования, — где эти «вершины» в жизни Короленко; там ли, когда он создавал беллетристические произведения, или когда осуществлял в жизни внушения «категорического императива» высших запросов этики.

Его натура, требовавшая активного вмешательства в дела жизни, не удовлетворялась созерцательностью художника. Мы видели, что еще в первой, весьма,

однако, плодотворной полосе деятельности писателя, он заявлял, что не желал бы жить литературой как «единственной профессией»[47]. Его привлекала жизнь сама по себе, и с разных сторон он хотел бы к ней подойти, отзываясь более непосредственно на запросы действительности, вмешиваясь в самую гущу жизни. Творчеству художественному он отдавался как бы урывками, часто отрываясь от беллетристических замыслов, оставляя многие из них совсем невыполненными; зато он доводил до конца именно начатые «дела», — будь то изобличение злоупотреблений, судебный процесс или борьба с какой бы то ни было неправдой в жизни. Его гражданские заслуги огромны, и уже одно это обеспечивает ему надолго благодарную память потомства и ставит его в первые ряды исторических деятелей в освободительном движении нашей родины.

К. Л. Зелинский

А. СЕРАФИМОВИЧ О В. КОРОЛЕНКО

Вот идет по дорожке сада мне навстречу человек в сапогах, брюках вподбор и в черной рабочей куртке с выпущенным наружу белым мягким воротничком. Держится он крепко, осанисто. Круглая голая голова его открыта солнцу, а глаза глядят с победной усмешечкой. Но тяжелые, чуть нависающие веки говорят, что ему уже много, много лет. За восемьдесят. Невольно вспоминается: «кремневый человек». Так любил его называть Дмитрий Фурманов.

Сам о себе Серафимович выражался усмешливо:

— У меня натура рабочая, да и казацкая одновременно. Жизнь меня огнем и водой пытала, а вот врос в свою землю и стою!

Таков был человек, который шел мне навстречу по дорожке сада на его даче в Переделкино. Я пришел к Серафимовичу на этот раз по делу: * надо было уточнить один вопрос из истории советской литературы. Я попросил его рассказать, как летом 1918 года он был исключен из литературного общества «Среда» за то, что вступил в партию большевиков [1].

Оказалось, однако, что этот эпизод не произвел в свое время особого впечатления на Серафимовича и не очень удержался в его памяти.

— Помню, было такое дело. Но чему ж тут удивляться? Тогда, после Октябрьской революции, многие из писателей, которые срослись со старой буржуазной Россией, испугались народа, отвернулись от него. Но ведь

---

* Это было летом 1948 года.

те, кто ушел от народа за границу, позасохли, как ветки поломанные.

— А Бунин? — спросил я. — А Куприн?

— Бунина я знал. Большой мастер. У него слова, как яблоки антоновские. Крепкие, а пахнут осенью. От него почему-то всегда веяло холодом. А Куприн — русский человек. Без России бы жить не смог. А потому хоть помереть, но все же домой вернулся.

Мы прошли в дом. На книжной полке в его комнате я увидел книжку рассказов Короленко.

— Вот кого я люблю, Владимира Галактионовича, — сказал Серафимович. — Замечательный был наставник для нас, молодых тогда писателей. Бывало, бороду свою склонит над рукописью, насупит брови и карандашом слегка постукивает. Глаз его не видно. А ты смотришь и ждешь, как он на тебя посмотрит. Потом голову поднимет, и сразу точно огонек из глаз брызнет. Все тут — и интерес к тебе, и требовательность, и забота.

— Вы, Серафимович, скажет он, бывало, не увлекайтесь пейзажем. Надо вам сказать, что я в своих ранних вещах любил рисовать северную природу. Когда жил в ссылке на Мезене, то природа была моим главным собеседником. Бывало, выйдешь зимней ночью из избы, — а небо все в звездах, словно посыпано солью, сосны стоят строем и гудят. Долго я стоял и слушал этот сосновый гул, и мне хотелось нарисовать словами красоту северной природы. Я сказал об этом Короленко. А он мне: «А все-таки природа без людей не живет. Вы слушайте, и что люди говорят».

— Это правильно Короленко толкал: слушать людей. Потом он очень любил, когда я рассказывал ему о людях. Я был непоседа. Я всю жизнь провел среди разных людей. Рыбаки, шахтеры, рабочие на заводах, плотогоны, ткачи, слесари, стрелочники — этот народ я знал. Меня к ним всегда тянуло. Когда я писал свой рассказ «Под землей», а потом роман «Город в степи», я поселился среди донецких шахтеров.

Серафимович задумался.

— Вот вы говорите, Бунин. Бунин, конечно, тоже мог глубоко писать людей. Но точно со стороны. А Короленко не просто писал людей. Он жил со своими героями. И вы знаете, он любил их. Я это всегда чувствовал. Не помню, кто сказал про него — светлый художник,

Все, кто с ним приходил в соприкосновение, это чувствовали. Вот еще Чехов был таким же человеком ясной и благородной души. Признаюсь, я тайно учился у Короленко не только его акварельной словесной живописи. Мне хотелось выработать и ту гармонию души, которая была у Короленко. Но сердце его было так велико, что порой мешало ему видеть плохое в жизни. Вернее, это плохое у Короленко как-то очищалось поэтическим восприятием мира. Вспомните его сибирские рассказы — «Убивец» и другие. Казалось бы, какая страшная натура, а как обо всем прозрачно рассказано, как в сказке или легенде народной. Я этого, признаюсь, не умел. Во мне все кипело от обиды, когда я видел, как тяжело живется рабочему человеку. Я любил краску класть гуще. Но Короленко меня хорошо понял с самого начала и первый поддержал меня в печати. Я на всю жизнь полюбил Короленко не только за эту поддержку (начинающий писатель всегда первую похвалу, первую поддержку хорошо помнит, как и первый свист). Нет, я полюбил Короленко за то, что в моем представлении он был таким, каким, по-моему, вообще должен быть писатель. И человек и писатель в нем были наравне, как в Глебе Успенском. И, по-моему, без этого не может быть настоящего писателя.

Серафимович опустился в глубокое кресло, стоявшее у большого окна, выходившего в сад.

— Помню, меня поразила статья Короленко об одном нижегородском литераторе[2]. Фамилию его я теперь позабыл, кажется, Гацисский. В этой статье или очерке Владимир Галактионович рассказывал, как он вошел в комнату этого нижегородского литератора после его смерти. Он разбирал его рукописи, вырезки из газет, весь огромный ворох, который оставил после себя — в папках, в делах — этот рядовой журналист-литератор. Сколько написал этот человек! Сколько он потрудился! И все как-то по мелочам. Сотни, а может, и тысячи всяких статей. Но все это разбросано, не собрано, не переиздано, погребено в комплектах старых газет. Дунет ветром жизни, пожгут в печке его вырезки, — и не останется человека. А вот Короленко все это почувствовал и сумел так рассказать об этом литераторе, что, вы знаете, я его до сих пор помню. Образ остался, хотя фамилию и забыл. Образ чего? Образ нашего литераторского

труда. И прекрасного и каторжного, как называл его покойный Лев Николаевич[3]. Уж как хотите его назовите, но для Короленко этот труд прямыми нитями был связан с его сердцем, с его совестью, со всей его жизнью как человека.

Так чего же вспоминать, как меня Бунин из союза исключал? Давайте вспоминать хорошее. Я жалею, что все как-то не дошли у меня руки написать о Короленко. А я бы его высоко поставил. Очень высоко. Рядом с нашими самыми великими.

В. В. Вересаев

В. Г. КОРОЛЕНКО И Н. Ф. АННЕНСКИЙ

«15 марта 1913. Полтава, М. Садовая, 1.

Дорогой Викентий Викентьевич!

Позвольте мне так называть Вас в память тех немногих, правда, наших встреч, когда мы с Вами бродили в пределах Песков и Невского, разговаривая о нарождавшихся тогда «новых запросах» молодежи. Много с тех пор воды утекло, и тогдашняя молодежь стала «мужами опыта», и мы с Вами с тех пор не встречались или встречались лишь редко и мимолетно, но память об этих немногих и недолгих встречах у меня осталась очень хорошая и живая.

Теперь о Вашем предложении. Отношусь к нему с полным сочувствием, но боюсь, что оно останется платоническим. И вот почему. Сейчас я почти болен: прошлый год был для меня очень тяжел — усталость и физическая и нервная. Товарищи (Мякотин и Пешехонов) сидели в крепости. Анненский хворал. Приходилось тянуть лямку в уменьшенном составе. Кончилось это тем, что Анненский умер. Это меня ушибло двусторонне, и я уехал из Петербурга с смертельной усталостью. Не обратил на нее должного внимания и теперь вынужден лечиться. Таким образом прошлый и этот год (частью) для меня, то есть для моих собственных работ, — пропали. Теперь начинаю чувствовать себя лучше и, пожалуй, более или менее скоро выберусь из этой полосы. Но тогда передо мной стоят две задачи: издать следующий том (или томы) своих рассказов[1] (для меня это всегда значительная

работа) и — «Русское богатство», которому я должен отдавать то, что у меня будет. А будет немного... Я и всегда писал немного, уходя с беллетристической дороги на разные запутанные проселки, публицистические и иные, — и теперь все еще разрываюсь между разными влечениями. Стремлюсь погрузиться в свое, а зовет и многое чужое. Впрочем, черт его знает, что мое и что чужое. Разболтался я с Вами. А к делу это имеет то отношение, что при всем сочувствии и Вам лично и товарищам Вашим в этом деле, и даже при желании самом искреннем принять в нем участие, — обещать боюсь и сильно сомневаюсь в возможности этого участия...

И все-таки я хотел бы, чтобы Вы мои слова о сочувствии не считали фразой: действительно, нужно простое, здоровое течение, ясно отгораживающееся от всех кривляний, признающее простоту, то есть прямое и честное отношение к слову, образу и мысли, — основным требованием искусства.

Крепко жму Вашу руку и от души желаю Вам успеха.

Вл. Короленко».

В то время наше писательское товарищество (Книгоиздательство писателей в Москве) решило издавать беллетристические сборники, редактором избрало меня, а приведенное письмо Короленко — ответ на мою просьбу принять участие в наших товарищеских сборниках. Лозунги наши были: ничего антижизненного, антиобщественного, антиреволюционного; стремление к простоте и ясности языка; никаких вывертов и кривляний.

Встречи наши, о которых вспоминает Короленко, происходили в 1896 году. Я тогда сотрудничал в «Русском богатстве»[2], журнале Михайловского и Короленко, бывал на четверговых собраниях сотрудников журнала в помещении редакции на Бассейной. Короленко в то время жил в Петербурге, на Песках; я жил в больнице в память Боткина, за Гончарною; возвращаться нам было по дороге, и часто мы, заговорившись, по нескольку раз провожали друг друга до ворот и поворачивали обратно.

Беседы, долгие и горячие, шли о марксизме. Тема в то время была самая боевая, «Русское богатство» занимало по отношению к марксизму весьма враждебную

позицию, а я уже был марксистом. Вскоре я из-за этого ушел из «Русского богатства», при весьма враждебном ко мне отношении Н. К. Михайловского и других руководителей журнала. У Короленко ни тени не было этой враждебности[3]. Он возражал, выспрашивал, и, видимо, ему было важно одно: понять психологию этого совершенно ему непонятного нового революционного течения. Живые молодые силы толпами уходят в ряды приверженцев этого течения. Товарищи Короленко по журналу оценивали этих приверженцев как оголтелых людей, забывших о «заветах» и отказывающихся от революционного «наследства». Жизненное художественное чутье Короленко говорило ему, что тут «опять вера в жизнь и веяние живого духа»[4]. Вспоминая о впечатлении, произведенном на него одним из первых русских легальных марксистов, Н. В. Водовозовым, Короленко в некрологе его писал в 1896 году: «Хочется верить, что родина наша не оскудела еще молодыми силами, идущими на свою очередную смену поколений для трудной работы, намеченной лучшими силами поколений предыдущих»[5].

Помню Короленко и его споры о марксизме и в последующие годы. В то время как другие сотрудники «Русского богатства» с раскольничьей нетерпимостью сторонились марксистов и избегали с ними частых, не публично-боевых встреч, Короленко и его друг Н. Ф. Анненский, напротив, пользовались всяким случаем, чтобы поговорить и поспорить с марксистами, и очень часто их можно было встретить на журфиксах М. И. Туган-Барановского, где собирались все тогдашние представители легального марксизма — П. Б. Струве, В. Я. Богучарский, П. П. Маслов, М. П. Неведомский, А. М. Калмыкова и др. Умница он был, Владимир Галактионович, доводы его били в самые больные точки, и не раз специалисты по общественным и экономическим вопросам пасовали перед возражениями дилетанта-беллетриста.

Манера говорить у них была разная: Анненский говорил быстро, страстно, захлебываясь; Короленко — медлительно, спокойно, никогда не теряя самообладания; глаза смотрят внимательно, и в глубине их горит мягкий юмористический, смеющийся огонек. Сам — приземистый, коротконогий, с огромною курчавою головою, на которую он никогда не мог найти в магазине шляпы впору — приходилось делать на заказ.

Рассказывали, что в редакции «Русского богатства» очень косились на Короленко с Анненским за их общение с филистимлянами.

Из записей моих того времени:

29 февраля 1896 г.

Мы возвращались вечером из редакции «Русского богатства» с В. Г. Короленко и В. Л. Серошевским. Заговорил с Короленко по вопросу: насколько вправе беллетрист выводить в своих рассказах живых людей? В общем ведь в большинстве случаев происходит так: центральные лица представляют некоторое обобщение, определенного объекта в жизни не имеют; лица же второстепенные в подавляющем большинстве являются портретами живых людей, которым, однако, автор приписывает то, чего эти люди в жизни не совершали. Все их узнают, получается жестокая обида. А как обойтись без этого? Ведь кругом нас, куда ни взгляни, живьем ходят чудеснейшие типы, что-нибудь изменять в них — только портить.

Короленко: Наблюдений, конечно, неоткуда черпать, как не из жизни; нужно стараться изображать не единичного человека, а тип; совершенно недопустимо делать так, как делают Боборыкин или Иероним Ясинский, — сажать герою бородавку именно на правую щеку, чтоб никакого уж не могло быть сомнения, кто выведен. Но общего правила дать тут нельзя, в каждом случае приходится сообразоваться с обстоятельствами.

Были случаи, когда я совершенно не стеснялся выводить живых людей и даже желал, чтоб их узнали. Например, то, что рассказано в очерке «Ат-Даван», — истинное происшествие; настоящая фамилия Арабина — Алабин. Я сначала даже прямо хотел его вывести под настоящей фамилией. Посылал я об описанном факте корреспонденции, — ни одна газета не решилась напечатать. Тогда я прибег к форме беллетристического рассказа. Этот Алабин теперь умер. Последнее время он жил в Петербурге. Когда «Ат-Даван» был напечатан, он явился в редакцию «Русского богатства», кричал, выхватывал шашку, требовал моего адреса, чтоб меня убить.

— Жаль, что не сообщили ему, — с улыбкою сказал Короленко. — Интересно было бы встретиться!.. Единственное, что я мог бы тут сделать, — это предложить ему исправить в рассказе фамилию и напечатать ее в подлинном виде [6].

Алабин, между прочим, говорил в редакции:

— Человека я убил, это верно, а прогоны я всегда платил, это Короленко врет!

Он сам помещал рассказцы в иллюстрированных изданиях...

Живое лицо также герой «Сна Макара»: его зовут Захаром. Он знает о рассказе Короленко и с гордостью заявляет: «Я — сон Макара!» В рассказе «Река играет» сохранена даже фамилия перевозчика — Тюлин.

— Не мог придумать никакой другой подходящей фамилии, не мог ни единого звука изменить в фамилии. Закроешь глаза, — так и слышишь, как по реке издалека несется: «Тю-у-у-у-ли-и-ин!»

На Ветлуге рассказ Короленко быстро стал известен, и пароходы останавливались у описанного перевоза, чтоб дать возможность пассажирам посмотреть на прославившегося Тюлина. Он знает, что его пропечатали. Когда ему прочли рассказ Короленко, он, помолчав, поглядел в сторону и, подумав, сказал:

— Так ведь меня же в тот раз не били!

— Если бы я знал, — прибавил Короленко, — что рассказ дойдет до него, я, конечно, переменил бы фамилию.

Еще из разговоров о его произведениях.

Чудесный рассказ «Тени», где Сократ ведет спор с Зевсом и остается победителем, написан Короленко в Крыму, под впечатлением крымской природы. Там ему попали в руки два тома сочинений Платона в переводе Карпова [7]. Платон сильно увлек его.

— Теперь наука, конечно, ушла далеко вперед, но в нынешнее время трудно найти такую поразительную диалектику, такое умение логически развить свою мысль, ни на шаг не уклоняясь в сторону.

Короленко тогда самого мучили религиозные сомнения, и «Тени» — выражение мыслей его о законности скептицизма и свободного подхода к религиозным вопросам.

Разговор вообще перешел на религию и, в частности, на вопрос о религиозном элементе в воспитании детей.

Этот элемент, по мнению Короленко, необходим, его требует сама природа ребенка. Сын Чернышевского воспитывался совершенно вне религии, и вот, в том уже возрасте, когда мы начинаем сомневаться и терять веру, он стал верующим [8].

— А как вы в этом отношении с вашими детьми?

— На их вопросы о боге я отвечаю: «Не знаю». Но я стараюсь вложить в них то, что есть у меня самого: благоговейное ощущение чего-то великого и возвышенного, вне нас находящегося.

В середине марта 1896 года Короленко был болен инфлуэнцею, температура доходила до сорока. Несколько дней он не читал редакционной корреспонденции. Начал поправляться, взялся за почту. Письмо одного начинающего автора: пишет, что если не получит ответа до 14 марта, то застрелится. А было уже семнадцатое. Короленко сильно встревожился. Сам еще больной, лихорадящий и кашляющий, он немедленно поехал к автору на Вознесенский проспект и... застал его укладывающим чемоданы: он получил место где-то на Амуре и ехал туда [9].

Не могу себе представить ни одного другого редактора, который на такое письмо бросился бы отыскивать автора. Какое трепетно-бережное отношение к человеческой жизни!

Когда он рассказывал что-нибудь смешное, говорил он так же медлительно и спокойно, как при споре; все кругом хохотали, а он был серьезен, и только в глубине глаз дрожали юмористические огоньки.

Из его рассказов:

В начале девятисотых годов издавалась в Симферополе газета «Крым». Редактором ее был некий Балабуха, личность весьма темная. Вздумалось ему баллотироваться в гласные городской думы. Накануне выборов в газете его появилась статья: во всех культурных странах принято, что редакторы местных газет состоят гласными муниципалитетов, завтра редактор нашей газеты баллотируется, мы не сомневаемся, что каждый наш читатель долгом своим почтет и т. д.

На следующий день Балабуха является на выборы. Подходит к одному известному общественному деятелю,

— Вы мне положите белый шар?
— Нет.
— Почему?
— Потому, во-первых, что вы шантажист.
— Ах, что вы шутите!
— Во-вторых, что вас в каждом городе били.
— В каких же это городах меня били?
— В Симферополе.
— В Симферополе?.. Ну... Один раз всего ударили. А еще?
— Еще — в Карасубазаре.

Редактор торжествующе рассмеялся.

— Ну вот! В Карасубазаре! Какой же это город?

Другой рассказ. Владимир Галактионович клялся, что это правда.

В одной одесской газете, при описании коронации, — не помню, Александра III или Николая II, — было напечатано:

«Митрополит возложил на голову его императорского величества воро́ну».

В следующем выпуске газеты появилась заметка:

«В предыдущем номере нашей газеты, в отчете о священном короновании их императорских величеств, вкралась одна чрезвычайно досадная опечатка. Напечатано: «Митрополит возложил на голову его императорского величества *ворону»,* — читай *«корову»* [...]

А. П. Чапыгин

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ МОЯ»

...Бедро мое продолжало болеть, требовалась по счету пятая операция[1]. Перед тем как идти в больницу, я написал большой рассказ «Две свадьбы». Рассказ я читал у Саккетти, он всем понравился. В гостях у профессора[2] была А. М. Померанцева, лично знавшая Шелгунова, Михайловского и Глеба Успенского. Она стала просить рукопись, чтоб показать ее Михайловскому. Я пообещал дать рукопись через неделю — принести сюда же:

— Надо исправить орфографию! [...]

Через неделю принес рукопись к Саккетти. Анна Михайловна снесла ее Михайловскому, и я нетерпеливо стал ждать, когда позовет.

Ровно через неделю получил письмо от Михайловского.

«Необходимо поговорить о вашей рукописи, поторопитесь... скоро думаю уехать в Москву.

Спасская, д. 5
Н. Михайловский».

Я пришел к Михайловскому часам к одиннадцати утра. Вышел среднего роста седобородый худощавый человек, предложил:

— Садитесь! — Придвинул большой ящик с папиросами, прибавил: — Курите!

— Я не курю!

— Видите ли, батенька! Рукописи вашей у меня нет, она у Короленко. Короленко хочет с вами познакомиться и подробно поговорить. Я же — критик и технически не могу помочь вам. Я вижу, чего в ней слишком много, а чего и недостает, указать на эти места — укажу; как сделать — указывать не моя специальность. Считаю себя не вправе указывать. Ваша работа — это дорогой камень, только совсем неотшлифованный. Я знакомлю вас с Короленкой затем, что он поправит рукопись. Тогда она, по-моему, произведет большое впечатление, теперь же много в ней нецензурного и вообще неумелого [3].

Михайловский дал адрес Короленко, Короленко жил недалеко от Спасской улицы, у Греческой церкви, в деревянном коричневого цвета доме, на углу дома была вывеска сапожника. Теперь на том месте построен дом многоэтажный, большой, бывший городского училища.

Прощаясь, Михайловский сказал:

— Если Короленко не будет переделывать рукопись, то ее получите в редакции «Русского богатства» у Иванчина-Писарева.

Дня через два я пошел к Короленко. В. Г. встретил меня приветливо, завел в кабинет, там мы долго сидели и говорили о жизни, наблюдениях и технике литературной, в которой я был еще очень слаб.

Я сказал В. Г., что начал со стихов.

— Стихи, — сказал Короленко, — требуют особой изощренной формы, а она-то у вас и слаба... стихи писать труднее. В вашей технике и наблюдениях мне не нравится крайний реализм. Я тургеневской школы, у вас же чувствуется большое влияние Толстого. Вот одна сцена в вашем рассказе: «Женщина рожает, падает и рожает на полу в темноте, где спят приведенные пьяницей мужем пьяницы. А сам он, пьяный, безнадежно блуждает по мокрым улицам, ищет акушерку и, конечно, ничего не находит. Одного из пьяниц тянет выйти вон, он натыкается на лежащую в бесчувствии роженицу, падает и попадает на что-то мокрое, пищащее. Скупой свет фонаря в окно со двора...» И все это у вас написано грязью и кровью... — Он подумал, потрогал густую окладистую бороду большой белой рукой, добавил: — Достоинство ваше в этой безобразной сцене то, что кажется, что это так и было [4].

Впечатление мое от этих двух писателей таково.

Михайловский, несмотря на простоту и суровую ласковость, все же казался страшным, может быть, как авторитет.

Короленко просто, ласково и очень близко умел подойти к душе начинающего писателя. Я чувствовал, что Короленко мне как родной и, главное, ясный, естественный человек, профессия писателя не наложила на него никакой печати. Простой, хороший, приветливый человек.

Я засиделся долго, пригласили пить вечерний чай. Познакомился с семейством Короленко — с женой и двумя дочками; я помню, что одну из них звали Наташей.

За чаем сидел в грязном, оборванном по подолу и рукавам сюртуке какой-то очень разговорчивый человек с длинными волосами. От него попахивало выпивкой, он лез через весь стол с ножом за маслом, ронял булки и вилки, и вообще предметы, тесно сгруппированные на столе, ему мешали.

Прощаясь с Короленко, я спросил:

— Кто этот человек?

— Это замечательный человек! Сильчевский...[5] Он, если вы заговорите с ним о войне, то знает все войны от Греции, Рима и до наших дней, приведет сотни изречений всяких историков и выложит цифры лет, когда какая война была. Так же по литературе и другому всему.

К Короленко я часто заходил, он сказал мне:

— Михайловский хочет, чтоб я переделал вашу рукопись, но у меня совсем нет для этого времени... и вообще с печатанием вам торопиться не следует... пишите еще.

Я писал, приносил Михайловскому, он всегда говорил:

— Протокольно написано... печатать нельзя.

После первой работы другие ему не нравились, он с сожалением говорил:

— Жаль, что Короленко не хочет поправить вашу первую работу[...]

Узнав, что я болен, Саккетти сказал жене:

— Александра Николаевна! Ты, кажется, знакома с женой Склифосовского?

— Да, как же. Очень знакома.

— Надо нашего друга устроить в клинике Елены Павловны[6]. Ты поговори об этом.

Склифосовский, древний старик, был директором этой клиники.

Жена Саккетти повезла меня туда. В клинике записали меня кандидатом, мест было мало.

Я все же готовился уйти в больницу[...]

Мне пришло извещение из клиники. Я пришел туда в приемные часы в амбулаторию на Кирочную, против Таврического сада. Меня приняли. Дело было зимой после нового года[...]

Я был помещен в общей палате — клиника была платная: в общей за кровать в месяц платили десять рублей, в отдельной комнате сто пятьдесят рублей в месяц. Меня, благодаря хлопотам Александры Николаевны Саккетти, поместили бесплатно.

На другой день пришел ко мне доктор Ауэ, сказал:

— Вы подождите, полежите месяц до операции. Нужно сделать операцию платным больным, потому что каждый месяц им стоит денег.

В клинике было много сиделок, клиника была чистая, и не было запаха йодоформа, как в других больницах. Мне здесь нравилось больше, чем где-либо.

Прошла неделя, стало скучно лежать. Зашел навестить меня В. Г. Короленко, принес мне свои книги с подписью, это меня очень обрадовало, прощаясь, сказал:

— Николай Константинович тоже подарит Вам свои книги, как только выйдете из больницы. Его книги еще печатаются.

Чтоб не было скучно лежать, я написал письмо на квартиру. Мне принесли мои тетрадки и записную книжку, в которой значилось: «штрихи». Это были частью придуманные мной истории, частью подслушанные. Я стал по порядку заносить из книжки и переделывать записанное когда-то наскоро[...]

Года полтора, а то и больше валялась у меня одна рукопись «Зрячие». Я ее не очень любил, очерк «Зрячие» также не понравился Михайловскому. В. Г. Короленко им почему-то заинтересовался.

Я одно время ходил по всяким притонам, бывал даже в «Вяземской лавре» на Сенной[7], спал в банном флигеле не раз. Записывал из жизни босяков слова и сцены, изучал воровской жаргон. Очерк «Зрячие» написан

как раз после того, когда я ночевал однажды перед рождеством на огородах за Нарвской заставой в копне соломы. В копне были нарыты норы, в такой норе мы с приятелем, полубосяком, спали, вернее, дремали и дрожали от холода. Утром до свету пришли в чайную пить чай. Туда же приходили люди, обработанные дочиста на подобных ночлегах.

Очерк Короленко поправил, особенно тронул снежный пейзаж. Некоторое время писал в других вещах пейзажи я, слегка подражая тому, который выправил Владимир Галактионович[8].

Очерк дал Трачевскому. Как раз приближалось рождество 1904 года[9]. Через несколько дней получил из редакции «Биржевых ведомостей» краткое извещение:

«Придите к нам по делу рукописи».

Придя, назвал фамилию.

Ко мне вышел толстенький румяный человек, чисто одетый, с лицом, отражавшим важность редакторских обязанностей. Сказал фамилию, она мне напомнила слово из «Бурсы» Помяловского: «Сбондили! лафа, брат!»[10]

Редактор был строг, начал с того, что «очерк ваш есть подражание Горькому... Слово «Зрячие» неправильно понято... Зрячий — человек с паспортом, без паспорта — слепой... У вас же наоборот...»

Спорить я не хотел, зная, что слово зрячий у бродяг — двустороннее, слышал сам, как в одном из притонов некий бродяга хвастал:

— Я, брат, зрячий! Меня не поймаешь, а поймаешь, ништо возьмешь. По всей Расее прошел, во всех тюрьмах бывал...

Разумея его слова, я и назвал очерк «Зрячие».

Короленко тоже ничего не сказал о заглавии, понимая, что слово это двустороннее.

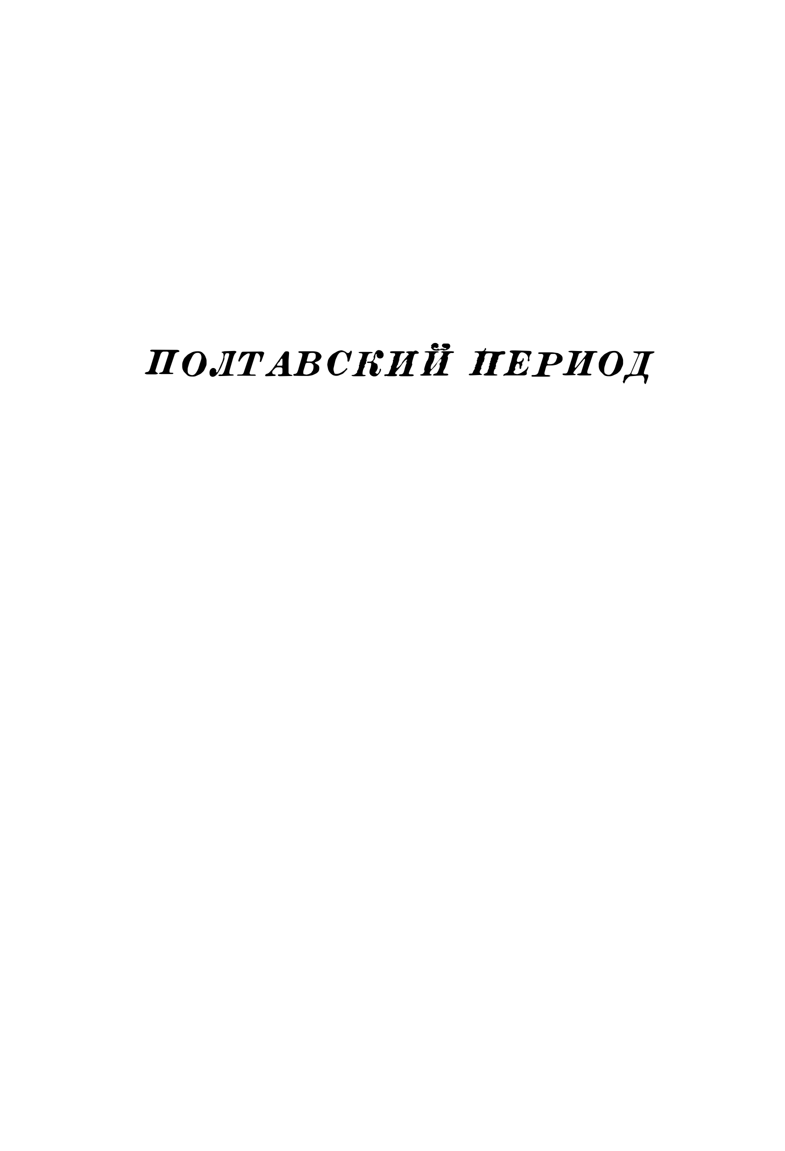
Я спросил:

— Будет очерк в печати?

— Да... пойдет в приложении к «Биржевым» в рождественском номере[11].

Я от радости готов был и не то простить редактору. Пусть бы даже он ругал меня и мою работу.

Напечатали. Я получил деньги, где и сколько, не помню. На радостях купил много номеров газеты[...][12]



ПОЛТАВСКИЙ ПЕРИОД

Викт. Оголевец

ВСТРЕЧИ С В. Г. КОРОЛЕНКО

В год переезда В. Г. Короленко в Полтаву, он познакомился с моим отцом.

Мои встречи с Владимиром Галактионовичем начались в 1904 году и стали более частыми с 1910 года, когда семья моего отца начала выезжать летом в Хатки́ Миргородского уезда, Полтавской губернии, где жила на даче и семья Короленко.

Несмотря на большую разницу в годах, общение с писателем, умевшим приблизить себя к людям разного возраста, развития, положения, было легко и естественно.

И сейчас с теплым чувством вспоминаю, как, встречая меня в окружении сестер и братьев, он приветливо протягивал мне широкую, плотную ладонь, улыбался своими ясными глазами и ласково говорил:

— Оголевцо̀в, что̀ песку морского...

Мать с улыбкой протестовала против этой гиперболы, а он, продолжая пожимать всем нам руки, снова повторял:

— Ну, просто что̀ песку морского...

Некоторые встречи с писателем врезались мне в память; как живой, возникает передо мною образ давно ушедшего человека, я вижу блеск его глаз, добрую улыбку, слышу его голос.

Я хорошо помню Полтаву того времени. Раскинувшаяся на высоком гористом берегу реки Ворсклы, вся в зелени, с характерными белыми домиками, придавав-

шими ей особый облик и какой-то уют, она была очень живописна. Улицы ее были обсажены тополями, белыми акациями, каштанами, масличными деревьями, всюду из-за заборов виднелись вишневые и фруктовые сады. Полтава была, пожалуй, одним из наиболее типичных украинских городов.

Городское благоустройство стояло в Полтаве на крайне низком уровне. Водопровод был проведен далеко не во все районы, канализация отсутствовала. Не все улицы имели тротуары и мостовые. Окраины не освещались. На улицах, примыкавших к центру, горели тусклые, мигающие керосиновые фонари и лишь в центральной части — электрические дуговые лампочки.

Но культурная жизнь города достигла по тем временам значительного развития. Такие учреждения, как краеведческий музей, общественная библиотека, сельскохозяйственное общество, общество физического воспитания детей, губернская архивная комиссия, отделение русского музыкального общества, комиссия народных чтений, физико-математический кружок,— свидетельствовали о большой активности местной прогрессивной интеллигенции. Последняя одержала блестящую победу над реакционной городской думой, добившись после продолжительной борьбы постановления о строительстве театра. Открытие его состоялось в ноябре 1900 года.

Новый трехъярусный театр, рассчитанный на тысячу мест, внес заметное оживление в культурную жизнь Полтавы. В нем помимо сезонных трупп выступали выдающиеся актеры — Комиссаржевская, Савина, Садовский, Саксаганский, Карпенко-Карый, Заньковецкая, Кропивницкий, Фигнер, Орленев и другие, давал спектакли Московский театр Корша, проходили симфонические концерты под управлением дирижера Д. В. Ахшарумова, талантливого популяризатора в провинции классической русской и зарубежной музыки.

В рядах прогрессивной интеллигенции Полтавы были выдающиеся деятели: основоположник украинского реалистического романа Панас Мирный, инициатор передвижных художественных выставок академик живописи Г. Г. Мясоедов, петрашевец старик Д. Д. Ахшарумов, бывшие политкаторжане П. С. Ивановская, А. П. Прибылева-Корба, М. П. Орлов, адвокаты, врачи.

В годы, предшествовавшие первой русской револю-

ции, здесь, как и во многих городах России, создавались социал-демократические и другие революционные организации, которые втягивали в свой состав рабочих, интеллигенцию, учащуюся молодежь.

Революционные и прогрессивные круги Полтавы радушно встретили появление в своих рядах писателя-гражданина. Поселившись в Полтаве, В. Г. Короленко вскоре объединил вокруг себя местную передовую интеллигенцию, представители которой постоянно собирались у него по субботам. Желанными гостями Владимира Галактионовича были все, кто стремился к освобождению страны от самодержавного гнета.

15 июля старого стиля 1903 года прогрессивная общественность Полтавы вместе со всей Россией отмечала пятидесятилетие со дня рождения Владимира Галактионовича.

В городском театре состоялся торжественный вечер. Над сценой выделялись составленные из еловых ветвей слова: «Все-таки, все-таки — впереди огни...» — взятые из стихотворения в прозе Короленко «Огоньки».

На чествование писателя собрались его друзья, знакомые, почитатели, все те, у кого он снискал любовь и уважение.

Среди публики, несмотря на запрещение гимназического начальства, было немало учащихся. На этом вечере, вместе с товарищами, был и я.

Владимир Галактионович от чествования уклонился. Приветствия и поздравления принимала из ложи его тетушка Елизавета Иосифовна Скуревич.

Первая моя близкая встреча с Владимиром Галактионовичем состоялась при следующих обстоятельствах.

Неутомимый велосипедист, Владимир Галактионович часто в летние вечера совершал велосипедные прогулки по живописным окрестностям Полтавы — на реку, на Шведскую могилу или вдоль линии железной дороги.

В этих поездках его компаньонами были полтавские общественные деятели — Сосновский, Селитренников, Зиновьев и мой отец.

Однажды летом 1904 года Владимир Галактионович со своими спутниками заехал к моему отцу, приглашая его отправиться за город. На этот раз отец взял и меня.

Я, тогда еще подросток, был горд своим участием в прогулке с известным писателем, но в то же время испытывал смущение и некоторую неловкость в его присутствии.

Однако неловкость скоро прошла. Владимир Галактионович относился к людям мягко и просто, со всеми был приветлив и доброжелателен.

Стоял светлый, тихий вечер, когда мы выехали из дому. Верстах в шести от города нашу дорогу пересекал рельсовый путь, через который был перекинут мост. По предложению Владимира Галактионовича мы остановились, чтобы полюбоваться природой. Прислонив велосипеды к перилам моста, мы обернулись лицом к западу, где по широкому небосклону играла вечерняя заря, и молча смотрели на догоравшие краски летнего дня.

В природе был полный покой. Тишину нарушал лишь немолчный стрекот кузнечиков в отдыхающих от дневного зноя полях.

— Хорошо... — задумчиво сказал Владимир Галактионович, — для того, чтобы увидеть эту красоту, стоило потрудиться...

Я стоял рядом с ним и взглянул на него.

Он снял шляпу. Его лицо дышало восторгом, глаза светились, под усами играла улыбка, его пышные густые волосы слегка шевелились от набегавшего временами легкого ветерка...

Здесь я впервые увидел близко глаза Владимира Галактионовича. Освещенные отблеском зари, они горели внутренним огнем, говорили о неустанной душевной работе писателя, высоком благородстве его души. В выражении его лица, и особенно глаз, была такая внутренняя обаятельность, которую не может передать ни один портрет, как бы он ни был близок к облику писателя.

Со времени этой, памятной для меня прогулки и началось мое знакомство с Короленко, продолжавшееся до конца его жизни.

И я испытываю чувство живейшей радости от сознания, что жизнь дала мне возможность личного общения с этим замечательным человеком.

В 1903—1905 годах по всей черте оседлости покатилась волна еврейских погромов.

В октябре 1905 года Полтава переживала тревожные дни бешеной погромной агитации.

Агентами полиции и «Союза русского народа»[1] был вызван наружу темный, малосознательный и отсталый элемент населения Полтавы и ее пригородов. Эти люди и примкнувшие к ним уголовники в течение многих дней наводняли базар, готовые по первому сигналу ринуться на зверскую расправу с беднейшим еврейским населением.

С целью умиротворения этих подонков прогрессивные общественные деятели Полтавы во главе с В. Г. Короленко вышли на базар. Они вливались в толпу, расчленяли ее на обособленные небольшие группы, вели с ними и даже с отдельными людьми разъяснительные беседы, выступали перед всей толпой с речами. Кроме того, по совету Владимира Галактионовича городской управой были приняты меры к разгрузке города от уголовного элемента.

Я хорошо помню эти мрачные дни, когда наши семьи целые вечера и до глубокой ночи с тревогой и трепетом ожидали возвращения домой отцов, вполне сознавая тот риск, которому они подвергали себя среди разбушевавшейся стихии низменных страстей. Как молотком ударяло каждое биение маятника часов и ожидалось что-то страшное...

Полтава в числе немногих городов на Украине избежала погрома.

В конце 1905 года в Миргородском уезде произошли кровавые события; называли имя Филонова, «карательная экспедиция» которого произвела расправу с беззащитными и безоружными крестьянами, убив и изувечив многих из них.

Но в условиях тогдашней цензуры и сыска в полтавском обществе говорили об этом лишь тихо и неуверенно.

И вдруг в газете «Полтавщина» появляется открытое письмо Владимира Галактионовича, в котором писатель обвинял Филонова и требовал его наказания[2].

В бесстрашном, написанном с потрясающей силой письме предстали перед общественностью России зло-

деяния Филонова. С каким гордым достоинством и уничтожающим презрением Короленко закончил письмо:

«За всем сказанным, вы поймете почему, даже условно в конце этого письма я не могу, господин статский советник Филонов, засвидетельствовать вам своего уважения».

Письмо быстро облетело страну, его знали все передовые люди России. Негодующую и страстную реакцию вызвало оно и в среде молодежи. Я помню гневные речи, которыми мы, не боясь нашего реакционного гимназического начальства, обменивались в перерывах между уроками, обсуждая неслыханные факты насилия над простыми людьми.

Моральное и общественное значение выступления Короленко, не побоявшегося прямо и открыто бросить вызов в лицо Филонову, было в то мрачное время огромно.

Полтавское передовое общество горячо приветствовало писателя. Не прекращался поток посетителей, которые стремились к нему, чтобы лично поблагодарить за мужественную защиту простых людей, чьи права оказались раздавленными грязной пятой царского сатрапа через два месяца после манифеста 17 октября, провозгласившего «свободы»...

Так прошло шесть дней...

18 января новое событие: на улице Полтавы убит Филонов[3]. Убийца скрылся.

Безудержная свистопляска началась среди полтавских черносотенцев, которые немедленно же обвинили Владимира Галактионовича в подстрекательстве к убийству.

Однако скоро стало известно, что этот акт индивидуального террора совершен независимо от письма Короленко.

И вот теперь началась настоящая «короленковская страда». Не прошло двух дней, как в черносотенном «Полтавском вестнике» появилось подложное, наспех составленное «Посмертное письмо Филонова писателю Короленко». Черносотенцы, прикрываясь именем Филонова, решили свести счеты с писателем.

Началась разнузданная кампания против Владимира Галактионовича. Черносотенцы открыто грозили ему убийством.

Одновременно с этим одно за другим следовали ано-

нимные угрожающие письма. Надвигалась реальная опасность: над любимым писателем был занесен нож, каждую минуту готовый сразить его.

В это время из редакции «Русского богатства» шли телеграммы, вызывавшие Короленко в Петербург. Но мужественный и гордый Владимир Галактионович ничего и слышать не хотел, когда друзья уговаривали его уехать из Полтавы. Бежать с поля боя не было в его принципах.

Однако полтавское общество, опасаясь за жизнь писателя, приняло радикальные меры, чтобы сломить его благородное упорство.

Это в конце концов удалось. И до самого Питера Владимира Галактионовича сопровождал один из его молодых друзей. В Полтаве семью Короленко взяли под охрану железнодорожные рабочие, установившие круглосуточные дежурства пикетов по всей Мало-Садовой улице и у квартиры писателя и державшие под постоянным контролем вооруженных патрулей улицы всего района[4]. Когда писатель вернулся в Полтаву, черносотенцы уже утихомирились.

Полноводная река Псел. По одну сторону ее простираются луга, по другую, за горой, раскинулись широкие украинские степи, синевой уходящие в безбрежную даль.

На берегу реки, в восьми верстах от родины Н. В. Гоголя — местечка Большие Сорочинцы, приютилась деревня Малый Перевоз, в просторечии — Хаткѝ, с белыми хатами, вишневыми садами, ветряками на горе, старинной церковью на склоне оврага.

Рядом с Хатками — берег, террасами спускающийся к реке, покрыт густым лесом, носившим название «Виноград». По преданью, на этом месте возделывались виноградники соседнего монастыря. Монастырь давно исчез с лица земли, и о нем напоминало лишь наименование урочища «Монастырище», лежавшего в трех верстах от «Винограда».

В начале девятисотых годов в «Винограде» возник небольшой дачный поселок, которому окрестные жители также присвоили название Хатки.

Сюда со всей семьей стал приезжать на лето Владимир Галактионович Короленко. Здесь проводили лето и

семьи полтавских общественных деятелей — врача А. А. Волкенштейна, М. Н. Горбачевской, О. Н. Селиховой, моего отца, московского профессора Б. А. Кистяковского, петербургских адвокатов братьев Вл. В. и М. В. Беренштам. У Владимира Галактионовича постоянно гостили друзья из Петербурга.

Его дача стояла у границы «Винограда» над рекой, которая в этом месте подходит почти вплотную к горе. С балкона просторной дачи, рассчитанной не только на семью писателя, но и приезжавших к нему друзей, открывается широкий вид на поросшие лесом и перелесками луга, сливающиеся на горизонте с небом.

Владимир Галактионович работал в мезонине, изолированном от происходивших внизу неизбежного шума и сутолоки.

Жизнь в Хатках проходила оживленно и интересно. Большое общество часто собиралось вечерами то на одной, то на другой даче, поводами для чего служили литературные чтения, музыкальная самодеятельность, дни рождений.

Много людей собиралось на «дежурных дачах» в так называемые «почтовые дни», когда в Хатках получалась почта. Ближайшее от Хаток почтовое отделение находилось в Больших Сорочинцах, куда дачники по очереди посылали за корреспонденцией. Когда бывала очередь «дачи Короленко», Владимир Галактионович нередко ездил на велосипеде в Сорочинцы и сам привозил оттуда почту.

Он бывал непременным участником многих вечеров, купаний в реке, общих игр. Со всеми он был неизменно ласков, ко всем внимателен. Всех привлекала к нему его общительность, светлый, оптимистический взгляд на жизнь.

Сидим, бывало, вечером на террасе, при свечах, прикрытых от ветра стеклянными колпачками. Ведутся обычные за чаем разговоры. Вдруг появляется, как бы выплывая из темноты, знакомая фигура Владимира Галактионовича в соломенной шляпе, в белом чесучовом пиджаке. Его приход вызывает общее оживление: поднимается гул приветствий. Владимир Галактионович занимает место за столом и становится центром внимания. Каждому хотелось услышать его, ничего не пропустить из его рассказов, запас которых у него был неисчерпаем.

Обладая превосходной памятью, он делился с нами воспоминаниями о событиях своего детства и недавнего прошлого, о скитаниях по Сибири, о голодном годе, о Мултанском деле, — останавливаясь на отдельных эпизодах и встречах.

Его рассказы свидетельствовали о громадном таланте литературной импровизации. Он редко повторялся в сюжете повествования и никогда — в его стиле. Образные, остроумные, яркие рассказы Владимира Галактионовича были богаты содержанием, тонкой наблюдательностью, глубоким проникновением в психологию человека. Он умел так живо воспроизводить всю обстановку и ее детали, что слушатель как будто присутствовал при том происшествии или эпизоде, о котором говорил Владимир Галактионович. Сам он в это время оживлялся, глаза светились, лицо покрывалось румянцем, речь дышала чувством и энергией. Жалко бывало, когда он вставал из-за стола и прощался. Он уходил раньше других, так как соблюдал строгий режим.

Я слышал не только рассказы Владимира Галактионовича, но и его чтение. Всем нам редкое удовольствие доставляла мастерская передача писателем юмористических миниатюр Чехова и Аверченко. Особенно художественно читал он Чехова: природный юмор помогал ему. Иногда его чтение продолжалось допоздна и прекращалось лишь после настойчивых напоминаний Евдокии Семеновны, что ему давно пора спать.

Теплыми вечерами, выйдя после трудового дня на воздух, Владимир Галактионович любил поиграть в теннис, для которого около дома была расчищена часть двора. Здесь собиралась молодежь.

Далеко за рекою еще горит заря. В воздухе разливается прохлада наступающего вечера. Готовясь ко сну, щебечут птицы. Где-то льется задумчивая украинская песня... А на шумной теннисной площадке, среди быстро двигающихся молодых игроков, виден и Владимир Галактионович; он ловко отбивает ракеткой мячи противников. То и дело слышатся его веселые возгласы. И какой радостью, бывало, наполняется его взгляд, когда ему удается одержать победу.

Нередко мы видели Владимира Галактионовича в нашем обществе на реке, где он бывал почти каждый день. Он с удовольствием купался, плавал, нырял,

грелся на солнце. Когда он появлялся на берегу со своей «босоногой командой», там воцарялось необыкновенное оживление.

Владимир Галактионович охотно проводил часы своего досуга и отдыха с детьми. Он глубоко понимал их запросы и интересы, умел занимать их, говорить с ними на понятном им языке. Они видели в нем своего старшего товарища и отвечали ему искренней любовью.

Ко дню рождения Владимира Галактионовича — 15 июля по старому стилю — в Хатки съезжалось много гостей из Петербурга и Полтавы. В этот день у Короленко собирались и все дачники Хаток, чтобы лично приветствовать писателя, выразителя чаяний свободолюбивой России.

Когда я вспоминаю Владимира Галактионовича, я вижу рядом с ним его жену Евдокию Семеновну.

Статная, высокая женщина с величественной осанкой, невозмутимая и немного строгая, Евдокия Семеновна была радушна и очень проста в обращении с людьми. Ее отличали большая доброта, отзывчивость и сердечность. Она зорко следила за покоем и здоровьем Владимира Галактионовича, была его верным другом и спутником жизни.

В 1940 году, после долгого отсутствия, я заехал в Полтаву. Первым моим побуждением было навестить Евдокию Семеновну. Больная и ослабевшая, она сидела в глубоком кресле на террасе так знакомого мне дома. Увидя меня, она протянула ко мне обе руки и долго смотрела мне в глаза. Она знала меня еще мальчиком, и мое посещение как будто всколыхнуло у нее ряд воспоминаний. Евдокия Семеновна оживилась и стала расспрашивать меня о тех, кто окружал нас при жизни Владимира Галактионовича, сама рассказывала. Прощаясь, она обняла меня и тепло поцеловала, как будто чувствуя, что мы больше не увидимся. В том же году осенью ее не стало.

Запомнилось мне несколько высказываний Владимира Галактионовича об искусстве.

Как-то, уже несколько лет спустя после нашей совместной жизни на даче, я приехал в Хатки. Погода

была прекрасная. Я отправился в окрестности деревни, где написал небольшой этюд на берегу реки.

Придя с прогулки к Владимиру Галактионовичу, я был встречен его приветливым возгласом:

— Покажите, покажите, что вы намалевали...

— В вашем этюде есть большой недостаток, — сказал он, внимательно рассмотрев рисунок. — В каждом даже небольшом произведении искусства должен быть основной мотив. Нельзя писать безразлично, просто, что видишь, копировать природу. Мы ищем в каждом художественном произведении его внутреннее содержание, как говорится, его «лейтмотив». В живописном произведении тоже должно быть свое содержание — центр изображения. У вас я не вижу этого центра и не пойму, каково ваше отношение к тому, что вы изобразили. В общем правдиво. Верю, что оно так и есть в действительности. Но природа взята у вас отвлеченно. А мне кажется, что в живописи природу надо брать в ее отношении к человеку, который все же — основной элемент и в литературе и в искусстве... Кроме того, хотелось бы больше неба. Ведь небо — это самое светлое и самое радостное, что есть в природе... [5]

Поводом для другого высказывания Короленко послужила моя юношеская проба пера.

Я был студентом Петербургского университета. В Петербурге на Бестужевских курсах в это время учились и дочери Владимира Галактионовича. На Васильевском острове они снимали небольшую квартиру, где часто собиралось наше молодое общество.

Приезжая в Петербург по делам «Русского богатства», Владимир Галактионович останавливался у дочерей, и мы часто видели его среди нас. А когда, бывало, я заходил к Софье Владимировне по делам Полтавского землячества, он нередко своим участием помогал правильному разрешению обсуждавшихся нами вопросов.

Весной 1911 года мы с товарищем сочинили «легенду» с довольно фантастической фабулой и решили передать ее Владимиру Галактионовичу «для отзыва».

Через несколько дней в получасовой беседе с нами

он подробно проанализировал сюжет и его разработку, отметил неточности и ошибки, дал ценные указания: что и как писать. Помнится, говорил он, примерно, так:

— Вы назвали ваше произведение «легендой», но под таким наименованием обычно разумеется нечто близкое к преданью старины, переходящему из рода в род и носящему явные признаки народного творчества. У вас этого нет. Назовите его «сказкой» или «фантазией». Повелителя всех морей, то есть морского царя, вы неправильно называете «водяным»... В русских народных сказках под именем «водяного» изображается живущее в воде сказочное существо, наподобие лешего в лесу. Он сидит себе где-нибудь в омуте под корягой и иногда выходит из воды, чтобы покуролесить и попугать людей. Он, как видите, не особенно высокого ранга и ничего общего с царем морей не имеет, морями не повелевает и на троне не сидит, как это изображено у вас.

— В основу произведения всегда берите настоящую, подлинную жизнь, — продолжал Владимир Галактионович, — она очень многообразна и может дать вам богатейший материал, если вы будете постоянно и внимательно наблюдать и изучать ее. Пишите с натуры и на ее основе создавайте обобщенные образы. Не гонитесь сразу за большими сюжетами. В жизни есть много мелких, но интересных для писателя явлений. В литературном произведении главную роль должен играть обыкновенный, простой человек с его запросами, интересами, психологией, который вместе с тем является и гражданином: цените человека и гражданина, показывайте его борьбу за жизнь и за счастье... Конечно, можно писать и сказки, но для этого нужно изучить и постичь как форму, так и самый дух народного эпоса, народного творчества, чтобы не допускать грубых ошибок, как это было с вами...

На вопрос, следует ли нам вообще продолжать литературные опыты, Владимир Галактионович ответил:

— Так вопроса ставить нельзя. Писать надо, если душа того требует, если вы чувствуете к этому влечение. Писатель не может не писать. Конечно, ничто не дается сразу и без труда. Надо делать опыты и нельзя унывать перед неудачами. Но никогда не забывайте, что писа-

тель ни при каких условиях не может быть безразличен к тому, что пишет. Он должен всю душу, все сердце вложить в свое творчество. Тогда и читатель проникнется вашей идеей, поймет вашу мысль и переживет вместе с героями вашего произведения их радости и печали...

Всю беседу с нами Владимир Галактионович вел в таком простом, дружеском тоне, что мы не испытывали ни неловкости, ни смущения и с признательностью видели в нем человека, готового помочь нам[6].

28 августа 1911 года в Больших Сорочинцах состоялось открытие памятника Н. В. Гоголю.

На многолюдном собрании выступил Владимир Галактионович[7], встреченный долгими приветствиями.

Его образная и яркая речь, произнесенная с большим подъемом, запечатлелась в моей памяти, как призыв к свободе, любви к родине, братству народов. Он между прочим отметил, что дело не в том, на каком языке пишет писатель, а в том, как он понимает душу народную, как он создает и раскрывает образы своих героев, как он выставляет «выпукло и ярко на всенародные очи» пороки людей, как он любит свою родину и как служит ей своим пером. «Да и по существу, не все ли равно, русский ли, украинец ли? Ведь все мы сыновья и дочери одного и того же отечества, которое мы должны любить и которому должны служить. Все мы сыновья и дочери одного и того же великого народа, которому принадлежит будущее...»[8]

В июле 1918 года культурно-просветительная организация Петрограда «Культура и свобода» отмечала 65-летие В. Г. Короленко. В газетах появилось сообщение, что чествование будет проводиться в воскресенье 28 июля, днем, в зале бывшего Тенишевского училища. Все ожидали выступления М. Горького с воспоминаниями о Владимире Галактионовиче.

Я заблаговременно приобрел билет, что, при ожидавшемся наплыве публики, было не легко сделать.

Действительно, помещение училища было набито до отказа. На эстраде в президиуме я уже издали заметил

одетую в скромный серый пиджак высокую, слегка сутулую фигуру Максима Горького, с ежиком волос на голове и папиросой в зубах. Его присутствие на утреннике увеличивало интерес к чествованию, и собравшиеся только выражали искреннее сожаление, что сам Владимир Галактионович не был среди нас: события отрезали Украину, где тогда жил писатель, от России.

Заседание открыл Горький. После короткого доклада критика А. Г. Горнфельда Алексей Максимович при затихшем зале поделился с присутствующими интересными воспоминаниями о Короленко, которого назвал своим учителем.

Речь Горького с характерным волжским «оканием», произнесенная неторопливым, размеренным, громким голосом, произвела глубокое впечатление; перед нами, как живой, возник образ Короленко. И понятны были те громкие, горячие аплодисменты, которыми зал дружно благодарил Алексея Максимовича[9]. Публика долго не отпускала его и, собравшись у эстрады, пожимала его руку, желала новых встреч с Владимиром Галактионовичем.

После торжественной части состоялся концерт с участием артистов «Передвижного театра» Гайдебурова. Были прочтены открывки из произведений Короленко. Особенно запомнился мне «Старый звонарь» в исполнении артиста Лебедева. И сейчас вижу его лицо, наполненные слезами глаза, когда он читал проникновенные строки этого небольшого отрывка, и слышу громкие, потрясшие зал слова: «Эй, посылайте на смену: старый звонарь отзвонил»...

Последний раз я видел Владимира Галактионовича летом 1921 года.

Я шел по Мало-Садовой улице, на которой жил писатель. День клонился к закату. Навстречу из-за угла показалась знакомая и такая близкая мне и родная фигура, освещенная лучами заходящего солнца.

Владимир Галактионович был без шляпы. Его волосы уже значительно поредели и поседели. Но в глазах светились прежние живость и доброта, и в лице его я

видел былое приветливое выражение. Он вел за руку свою маленькую внучку.

Увидев меня, он улыбнулся и уже издали, в знак привета, замахал мне рукою. Приблизившись, он тепло пожал мою руку и как-то особенно проникновенно посмотрел мне в глаза, как будто хотел сказать что-то. Но ничего не сказал: речью он уже не владел.

С нежностью во взгляде он показал глазами на внучку и вскоре скрылся за углом...

Е. Д. Саков

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

I

Мое личное знакомство с Владимиром Галактионовичем произошло зимою 1905 года «в дни свобод» [1].

В квартире А. С. Ладонко собралась группа лиц, стоявшая близко к газете «Полтавщина», активное участие в которой принимал и Владимир Галактионович. Туда же пришел В. Г., как мне показалось, чрезвычайно возбужденный и обратился к нам со словами: «Вот кстати, среди вас много юристов; я хочу знать, какие последствия могут быть от напечатания моего открытого письма к ст. сов. Филонову по поводу зверств, учиненных им над жителями местечка Сорочинцы» [2].

В. Г. прочитал нам известное письмо к Филонову. Письмо это, написанное очень сильно, в чтении Вл. Гал. произвело на нас исключительное впечатление. Мы слушали его с захватывающим интересом. Когда В. Г. окончил чтение письма, он высказал нам свои соображения и цель, которую он преследует, печатая письмо. Он полагает, что против него будет возбуждено судебное преследование, но что он идет на это, чтобы путем судебного разбирательства заклеймить позором лиц, учинивших зверские насилия над жителями местечка Сорочинцы.

Через несколько дней после появления письма в печати Филонов был убит.

Нужно было видеть, как повлияло на В. Г. это убийство. «Непрошеное вмешательство, — говорил он, — рас-

строило мои планы. Худшей услуги не мог оказать мне враг мой». И действительно, вместо позорного столба, к которому В. Г. хотел путем гласного судебного процесса пригвоздить в лице Филонова всю тогдашнюю систему управления страной, в глазах известных кругов, под влиянием черносотенной агитации, Филонов окружался ореолом мученичества. Тут же началась травля В. Г. в местной газете «Полтавский вестник», а в день похорон Филонова некоторые активные черносотенцы являлись на квартиру В. Г. с бранью и угрозами по его адресу. Друзья В. Г., опасаясь за жизнь его, настояли на временном выезде его из Полтавы. Мне пришлось проводить его на вокзал и помочь ему выехать в Петербург.

Переживания В. Г. в эти дни были, по-видимому, чрезвычайно тяжелые; он мало говорил и только изредка отрывочными фразами определял свое удрученное состояние.

Впоследствии Вл. Гал. ясно и определенно высказался, «что выстрел, погубивший Филонова, разрушил также то дело, которое было начато независимою печатью. Сколько бы ни предстояло еще потрясений и испытаний нашей родине на пути ее тяжкого обновления и какие бы пути ни вели к этой цели, — все-таки окончательный выход из смятения лежит в той стороне, где светит законность и право, для всех равное: и для избитого на сорочинской площади человека в сермяге, и для чиновника в мундире, для рабочего одинаково, как и для министра»[3].

Но полтавская администрация не оставила своим вниманием Вл. Гал. и вскоре после его возвращения в Полтаву вновь стала причинять ему беспокойство. Летом 1907 года я встретился с В. Г. у доктора Яцевича, куда он зашел попрощаться перед отъездом за границу. Тут же были получены сведения, что квартира Влад. Г. окружена полицией и что не исключена возможность его ареста. Вл. Г. решил пойти к себе на квартиру, но предварительно написал телеграмму на имя министра юстиции, которую передал мне и просил послать ее, если его арестуют. Телеграмма эта сохранилась у меня: «Петербург министру юстиции. Сейчас меня известили, что моя квартира оцеплена полицией. Уверенный, что не подал ни малейших поводов к законному аресту, — имею основание смотреть на эти меры как на административное

возмездие за мои писания. Жду вмешательства закона. Владимир Короленко. Полтава». По счастью, Вл. Г. не был арестован и вскоре уехал за границу.[4]

II

В начале марта 1913 года Вл. Г. зашел ко мне вечером посидеть. Здоровье его к этому времени уже пошатнулось. Вид усталый, самочувствие плохое. На мой вопрос, что болит, Вл. Г. сказал: «Болезнь моя — старость, шесть десятков прожил. Есть на свете две болезни у человека; одна — молодость, которая, к сожалению, очень скоро проходит, другая — старость — затяжная». Постепенно, однако, он оживился и много и интересно рассказывал о прошлом из жизни своей в Нижнем-Новгороде при ген.-губ. Баранове. Баранова характеризовал как человека способного, но дурного по натуре, враждебного к культурным начинаниям земства и вместе с тем заискивающего у литераторов. Вспоминая полтавских губернаторов, Вл. Г. остановился на Князеве, с которым ему приходилось встречаться в 1906 году. Об этих встречах своих с В. Г. губернатор Князев рассказывал Е. И. Сияльскому, и, передавая ему свое приятное впечатление от них, Князев сказал: «Вот бы таких сотрудников иметь, как Короленко». Когда я передал В. Г. мнение Князева о нем, В. Г. заметил: «Ну что же, буду ждать назначения меня полицеймейстером». Всегда живые, прекрасные глаза Вл. Г., которые поражали своим проникновенным и участливым взглядом, как-то особенно оживились, и казалось, что человек с такими глазами будет долго, долго жить.

III

При следующей встрече через несколько дней Вл. Г. жаловался опять на усталость, говорил, что врачи находят у него невроз сердца и что он думает, что дни его сочтены. На мое замечание, что такое состояние здоровья результат сильных и сложных переживаний всей его жизни, начиная с юношеских лет, ссылки и по настоящее время, он ответил: «Нет, из ссылки я вернулся здоровым и сильным, как дикий зверь. А вот журнальная работа

измучила меня. В прошлом году, например, приехал я в Петербург: собрались обсудить протест против кровавого навета на евреев. Составление его возложили на меня. Работа сложная, требующая большой подготовки, а между тем это совпало с болезнью и смертью Н. Ф. Анненского[5]. Приходилось разрываться на части. А тут еще привлечение в качестве обвиняемого по литературным делам тоже расстраивает нервную систему. Вот во время речи по последнему процессу (дело по обвинению Вл. Г. за напечатание «Федора Кузьмича» Л. Н. Толстого)[6], говорят, я был спокоен, а между тем пульс у меня был бешеный». И снова глаза его засветились особым светом, так привлекавшим к нему.

При нашем расставании в ответ на мои слова утешения, что пройдет «невроз» и что не нужно поддаваться унынию, Вл. Г. бодро и решительно ответил: «Ну, унывать — это последнее дело!»

И это, как я убедился впоследствии, не были только слова. Действительно, Вл. Гал. не предавался унынию. С тех пор прошло восемь лет, и каких лет, в особенности в жизни такого человека, как Вл. Гал., с таким изумительным душевным укладом. Сколько пережил он тяжких испытаний, свидетелем каких исключительных событий он был и как скорбел душой. И все же, мне кажется, он не предавался унынию. В одной из наших бесед, когда речь зашла о царском режиме в области национального вопроса, политики к окраинам, было высказано мнение, что в конце концов такая политика может привести к полному упадку и распаду страны, как это, например, имело место в истории Турции. Вл. Гал. с особенным воодушевлением стал доказывать, что с Россией этого не случится: «Русский народ — мировой народ. Россия не Турция! Скажите, в Турции был Толстой?»

Даже в последние месяцы своей многострадальной жизни всегда при посещении его я слышал все тот же вопрос: «Расскажите, что делается, как налаживается жизнь». Он твердо верил, что жизнь должна устроиться, что русский народ заживет лучшей жизнью, и с этою верою он ушел, оставив в нас свой светлый образ чистоты душевной.

А. Б. Дерман

[ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. КОРОЛЕНКО]

С Владимиром Галактионовичем я познакомился в 1902 году. С 1903 по 1907 год я жил в Полтаве и довольно часто с ним встречался. Потом встречи эти происходили реже, при поездках моих в Полтаву, однако знакомство наше не прерывалось до смерти писателя и продолжалось, таким образом, в общей сложности около двадцати лет.

Его отношение ко мне было по-настоящему хорошее, обращение со мной, как и со всеми, простое, прямое и непринужденное. Но мое обращение к нему я не могу назвать простым, особенно же — непринужденным: мне мешала непобедимая робость. Откуда приходила она ко мне при встречах с Короленко, я не мог понять очень долго.

С людьми значительными и даже большими судьба сводила меня не раз, но робости в отношениях с ними я не испытывал, — значит, не в этом лежала причина. После смерти Владимира Галактионовича я более года прожил у него в семье в Полтаве, участвуя в подготовке к печати полного собрания сочинений писателя. Его вдова часто и подолгу беседовала со мной о В. Г. Уже и тогда я догадывался, а теперь вполне уверен, что нередко она с умыслом знакомила меня с теми или иными страницами жизни Короленко: она знала мою глубокую любовь к нему, знала, что я литератор по профессии, и полагала, что то или другое из ее рассказов уцелеет от забвения. Сама она была до такой степени преувеличен-

но скромна, что о писании ею каких бы то ни было мемуаров нечего было и думать.

В одну из таких бесед как-то пришлось к слову, и я сказал Авдотье Семеновне вот об этой моей робости. Она была удивлена и несколько огорчена.

— Владимир Галактионович с вниманием всегда об вас говорил... — недоумевала она.

А я не умел ей объяснить, потому что само ощущение было вполне определенное, а причина — неясна.

Теперь, мне кажется, я ее понимаю. При каких бы условиях ни происходили наши встречи, — случайно на улице или у него на дому; в обстановке вечеринки для знакомых или в кабинете писателя за его рабочим столом; в веселую или, напротив, в драматическую минуту; когда он работал или отдыхал после работы; когда он был спокоен или возбужден; когда был свеж и полон сил или слаб, истощен болезнью, — все равно: при этих встречах передо мной всякий раз был человек в том состоянии духовного подъема, которое мы привыкли называть вдохновением.

Само собою, что я разумею здесь вдохновение в самом широком смысле слова, включающем в себя узкопрофессиональное, «литераторское» значение лишь как один из видов вдохновения.

Таково было и самое первое мое впечатление от Короленко, для которого я не могу прибрать другого эпитета, как поразительное.

Я пришел к нему впервые с одним вопросом личного порядка. Дверь отворила высокая девочка в гимназической форме — дочь писателя — и, узнав, что я к Владимиру Галактионовичу, пошла сказать отцу, оставив меня одного. Не прошло и минуты, как за дверью послышались шаги, и в комнату словно с разбегу влетел крупный, приземистый человек, с громадной головой на широких плечах, увенчанной обильными кудрями, с большой бородой, с сияющими, как бы чуть влажными глазами — самыми прекрасными глазами, какими может обладать человек. И лицо и фугура дышали необычайной жизненной насыщенностью, так и рвавшейся наружу. А я, и без того волновавшийся предстоящим свиданием, заробел от этого напора жизненности.

Из комнаты, откуда вызвали для меня писателя, он унес с собою что-то веселое, радостное, трепетавшее в

его глазах. Но когда он увидел меня, заробевшего, лицо его мгновенно преобразилось: улыбка сбежала и в сразу посерьезневших глазах появилось то пронизывающее, *яростное* внимание, какое с гениальной силой схвачено и передано Репиным в его портрете Короленко [1], — передано в самой позе писателя, столь хорошо знакомой его собеседникам: весь подавшись вперед, он — мало сказать «слушает», он как бы заглатывает то, что ему сообщают, как бы переселяется в душу своего собеседника.

Отвлекаясь в сторону, не могу не добавить еще несколько слов о том же портрете. Дочь В. Г. говорила мне, что для самих членов семьи писателя словно что-то по-новому раскрылось в его облике при помощи этого портрета — нечто такое, что они чувствовали, но не вполне отчетливо осознавали.

Возвращаясь к этой интенсивности внимания Короленко, необходимо сказать, что порою она сталкивалась с другой, не менее характерной особенностью его духовного склада, оставившей глубокий след во всем творчестве писателя: я имею в виду его свойство целиком и безраздельно отдаваться во власть завладевшей им мысли, настроения, стремления к определенной цели и т. д.

Это его свойство мне приходилось наблюдать неоднократно. Оно бросилось мне в глаза уже при третьем или четвертом посещении Короленко. В то время я уже проживал в Полтаве и вступал на стезю «начинающего писателя». К моему первому литературному опыту (в беллетристическом роде) В. Г. проявил интерес, опубликовал его впоследствии в «Русском богатстве» [2], предложил доставлять ему, если еще что-нибудь напишу, и пригласил приходить к нему запросто.

Вот на это приглашение я и явился к Короленко. В гостиной (она же зала и столовая) я застал у него молодую, очень красивую даму, пришедшую, очевидно, незадолго передо мной, с которой он меня познакомил. Из двух-трех фраз, которыми они обменялись, я понял, что дама привезла ему откуда-то с севера (кажется, из Вологодской губернии) привет, письма и фотографии от каких-то старых друзей или добрых знакомых В. Г.

То, как беседовал и вообще держал себя В. Г. с этой гостьей, меня очень удивило. Надо сказать, что, как ни свежо было наше знакомство, я уже успел заметить простое, но истинно деликатное обращение писателя с посе-

щавшими его людьми, причем, если это была женщина, у него появлялся какой-то оттенок особенной учтивости, если хотите — галантности в манерах, — несомненные следы воспитания в определенной среде. В данном случае это был визит дамы, любезно выполнившей поручение каких-то близких Короленко людей. А между тем беседа у них явно не клеилась. В. Г. ни о чем не расспрашивал, на вопросы отвечал односложно, иногда тяжело вздыхал, фотографий не рассматривал, а лишь перебирал в руках. Когда гостья поднялась, он и попытки не сделал удержать ее и поднялся вслед за нею. Когда, проводив ее, он вернулся в гостиную, у меня как-то само собой вырвалось:

— Вы нездоровы, Владимир Галактионович?

Трудно передать экспрессию благодарности Короленко за этот вопрос.

— Да нет, — воскликнул он, вздохнув с глубоким облегчением и прижимая к груди руки, — я совершенно здоров, но можете себе представить: кончаю рассказ и ничего, ничего не понимаю, не слышу, что мне говорят. Ради бога, простите! Заходите, пожалуйста, всегда буду очень рад, но сейчас я решительно никуда не гожусь!

Это не была та рассеянность, которая составляет необходимую принадлежность классической профессорской биографии. Рассеянностью Короленко ни в малейшей степени не страдал. Напротив, это было нечто ей противоположное — полнейшая сосредоточенность на том, что захватило внимание.

С проявлением у В. Г. этой черты я затем встречался не раз[...]

Я думаю, что у Короленко это свойство безраздельной самоотдачи какой-то одной мысли, одной цели, одному стремлению было своего рода инстинктом самосохранения, без которого он, при своей внимательности к людям и отзывчивости, был бы вообще лишен возможности быть писателем. Поглощая его духовную энергию почти без остатка, текущая работа тем самым сохраняла ее от рассеяния, воздвигала преграду против ежедневного вторжения для всего иного, для отвлечения в сторону. Надо лишь сказать, что действие этого инстинкта было далеко не безгранично, что под напором отзывчивости писателя этот инстинкт самосохранения художника в конце концов сдавал. Общеизвестно, что

вышеуказанного рода вторжения составляют в творческой биографии Короленко наиболее характеристическую особенность. Общеизвестно, что он оставил после себя десятки незавершенных произведений, то оборванных в середине, то почти доведенных до конца; что произведение, которое он считал делом своей жизни, — «Историю моего современника», — он также довел едва ли до середины замысла, хотя работал над нею, с большими, правда, перерывами, около двадцати лет.

Я даже думаю, что тот жанр, который стал господствующим в творческом наследии Короленко и который обязан ему огромным обогащением и глубокой разработкой, явился своего рода равнодействующей двух сил: творческой потребности взыскательного и строгого художника и исключительной отзывчивости публициста. Это жанр, который можно определить как подлинно художественное изображение фактической действительности, давал о себе знать в творчестве Короленко, начиная с 90-х годов. Достаточно назвать такую его книгу, как «В голодный год», особенно же высокохудожественные, но строго точные со стороны фактической «Павловские очерки». А в «Истории моего современника» этот жанр получил уже полное господство в литературной деятельности Короленко. При этом необходимо самым резким образом подчеркнуть, что, говоря о равнодействующей двух сил, мы имеем в виду силы равного напряжения.

Взгляд на Короленко как на писателя, в творчестве которого требования художника имели лишь служебное и подчиненное значение для публицистических целей, — не более как старое заблуждение, живучее в силу того, что явление это само по себе встречается довольно часто. Но если дать себе труд углубиться в факты, то на бесконечной веренице примеров мы убедимся, что Короленко ни как автор в отношении своих собственных произведений, ни как редактор в отношении чужих произведений не поступался строгими требованиями художника.

В этом мне, как начинающему писателю, пришлось убедиться сначала по линии редакторской деятельности Короленко, которую я не могу назвать иначе, как очень суровой. Отзывы свои о рукописях — кто бы ни был автор — он решительно ни в чем не смягчал ни в отно-

шении содержания, ни в отношении формы, и они нередко бывали чрезвычайно резки. Когда на один такой резкий его отзыв о моей рукописи[3] я отозвался пессимистическим письмом и выразил сомнение в целесообразности с моей стороны дальнейших литературных попыток, В. Г. тотчас ответил, что своих отзывов он принципиально не смягчает, особенно если речь идет об авторе, на которого он возлагает известные надежды. Это последнее замечание я счел за простое утешение. Но впоследствии я убедился в своей ошибке: работая в архиве писателя, я обнаружил десятки подтверждений именно такой практики писателя.

Никакие сторонние соображения, никакие ссылки на тяжкие обстоятельства не в состоянии были поколебать его и заставить покривить душой при оценке произведения. Нередки бывали случаи, когда автору, указывавшему, что он находится в безвыходном положении и что все его надежды связаны с судьбой рукописи, Короленко посылал денежную помощь и тут же возвращал рукопись, указывая при этом, что, решая судьбу рукописи, он не может выступать из рамок чисто литературной ее оценки.

Были даже случаи, когда авторы, посылая рукопись, заявляли, что они ставят на карту свою жизнь: если вещь будет отвергнута, это равносильно смертному приговору ее автору.

В одном подобном случае, о котором рассказал мне В. Г., получилась сложная ситуация: рукопись, которая пришла без сопроводительного письма, Короленко прочел и послал автору положительный о ней отзыв (кажется, с указанием на необходимость доработки произведения). А когда письмо его было уже отослано, получилось письмо от автора, где он сообщал, что в случае отклонения рукописи он покончит с собой. Тотчас же Короленко написал автору вторично, где указывал, что, получи он письмо с угрозой самоубийства вместе с рукописью, он вернул бы ее автору, не читая, потому что давать отзыв о произведении под давлением подобного рода угрозы невозможно.

Поучительны бывали устные беседы Короленко с авторами. Возвращая одному такому автору его произведение, В. Г. указал на его важнейший минус: неправдоподобно. Автор горячо запротестовал.

— Владимир Галактионович! — воскликнул он обиженно, — ну как вы можете это говорить, когда я честным словом вас заверяю, что списал с натуры все точно, как было.

Разговор происходил в гостиной Короленко, под висевшим на стене большим портретом Владимира Галактионовича.

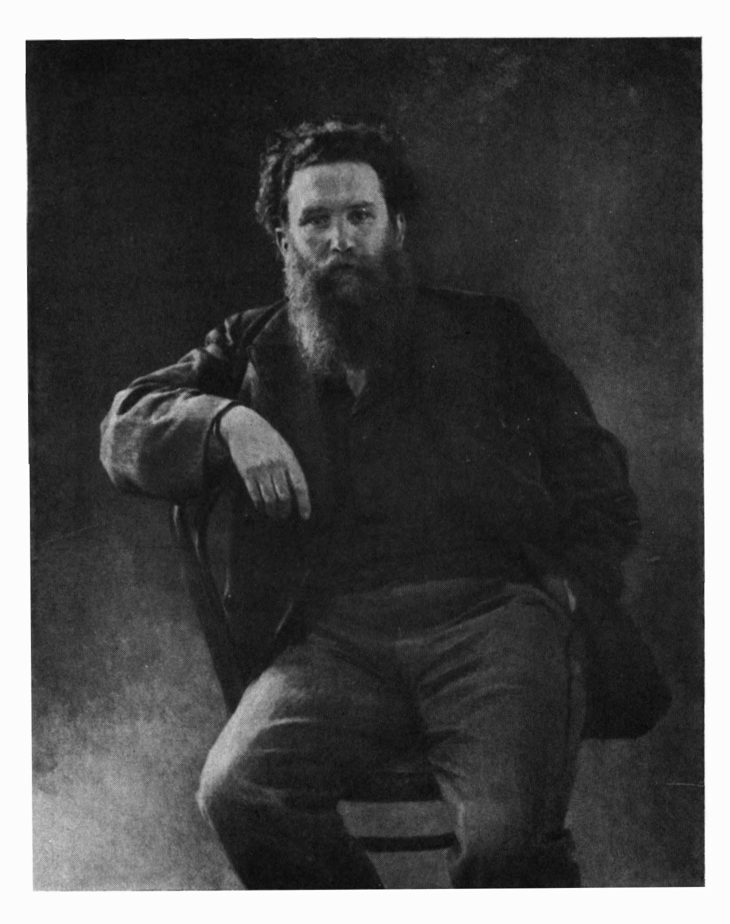
— Посмотрите, — сказал писатель, чуть-чуть усмехаясь одними глазами, — это портрет с натуры. Его писал с меня известный художник Ярошенко[4]. Правда, не плохой портрет? А теперь на минуту вообразите, что не Ярошенко с меня, а я с Ярошенко написал портрет. Это тоже был бы портрет с натуры. Но боюсь, что он был бы гораздо хуже написан. Как вы полагаете?

Автор рассмеялся и примирительно махнул рукой.

В его отношении с писателями-самоучками была строгая система, складывавшаяся долгие годы и глубоко продуманная. О ней я говорил подробно в своей книге «Писатели из народа и В. Г. Короленко»[5] и повторять здесь не буду. Отмечу лишь, что в основе этой системы лежало глубокое участие к этим писателям и громадное чувство ответственности за их судьбу. Настоящее негодование вызывало в нем безоглядное и безответственное поощрение и захваливание начинающих писателей (писателей из культурной среды также, но особенно писателей из народа), которое, по его наблюдениям, порой разбивало жизнь людям, толкая их на путь ложного призвания со всеми драматическими его последствиями. Обладая громадной памятью, он в беседах о таких писателях нередко цитировал примеры литературной беспомощности из присылаемых ему рукописей, часто очень смешные, вызывавшие смех у слушателей. Смеялся и сам Короленко, но почти всегда смех его был пополам с грустью.

Но что вызывало в этом деликатнейшем из людей резкое и нескрываемое раздражение — это проявление неряшества, лени в литературной работе. Этого он не прощал.

Помню один эпизод из данной области, о котором он мне сам рассказал. Знакомая писательница, поэтесса, стихи которой уже появлялись в «Русском богатстве», принесла В. Г-у., как редактору последнего, большое стихотворение.



В. Г. Короленко
С портрета Н. А. Ярошенко (1898)

— Взял я листик, — передавал Короленко, — взглянул: бумага помятая, какие-то пятна... Развернул, — помарки, что-то сбоку прилепила, что-то перечеркнула и надписала: «надо». Возьмите, говорю, вашу рукопись, стихотворение не будет напечатано. Она уставилась на меня удивленно. «Почему?» — говорит. «Потому, что оно плохое». — «Позвольте, Владимир Галактионович, но ведь вы ж его не прочли!» — «И не стану читать: оно не может быть хорошим, вы его писали без любви, неряшливо. Нет, нет, я не стану его печатать. Литературное произведение, сделанное без любви, хорошим быть не может».

Он осуждал небрежный, неразборчивый почерк у авторов, видя в этом неуважение и к труду наборщика, и к своему произведению. В его письмах к начинающим писателям не редкость встретить жалобу на этот грех и указание, что такой почерк мешает воспринять художественную вещь, рассеивает впечатление, притупляет чувство непосредственности при чтении. Вспоминаю одно такое письмо к молодой девушке [6], где В. Г. давал рисунки «изувеченных» ею букв. Сам он — редчайшая черта в писательской биографии — в молодости писал менее разборчивым почерком, чем в пожилом возрасте и в старости, и мы, работая в его архиве, если приходилось устанавливать дату рукописи, безошибочно относили ее к раннему или позднему времени вот по этому признаку меньшей или большей разборчивости.

Вообще область литературного творчества, *как трудового процесса,* была им продумана и разработана до мельчайших деталей и в личной практике организована до подлинного совершенства, что и давало ему возможность выполнять поистине необозримое количество работы. Он состоял в сношениях с сотнями, если не с тысячами людей, но о каждом из них он мог в любую минуту навести справку в своем собственном архиве и напомнить себе о всех предшествующих этапах своих отношений с данным лицом. На все получаемые письма он обязательно отвечал собственноручно, причем никогда его ответ не страдал казенным лаконизмом, вроде «Ваша рукопись не подходит для журнала» и т. п. Почти всегда, — чего бы письмо, обращенное к В. Г-у, ни касалось, — он отвечал не только сообщением своего решения по тому или иному вопросу или просьбе, но и моти-

вировкой решения. А в иных случаях, если речь шла о присланном произведении, эта мотивировка решения разрасталась в краткую критическую статью. Таковы, кстати сказать, и все без исключения отклики В. Г. на те рукописи, которые я ему посылал: очень прямо, очень сурово и непременно мотивированно. Добавляю: помимо мотивировки своего решения в письме к автору, более краткую он заносил в свою рабочую редакторскую тетрадь. Получив от автора рукопись, он, таким образом, мог просмотреть рисунок его предшествующей работы по записям в своей тетради и составить суждение о том, растет ли он или остается на месте[7].

Азбукой писательского труда он считал уменье наблюдать окружающую жизнь, и можно сказать, что редкая беседа его с автором, — личная или письменная, заочная, — обходилась без указания на необходимость развивать в себе способность наблюдения. Не менее важное значение придавал он упорству в процессе обработки произведения. Вспоминаю его выражение, когда мы беседовали по этому предмету: «Слово — что дикий конь: его надо обуздать!» Сам он, как я впоследствии убедился, изучая его рукописи, работал с поразительным упорством. Пять, шесть, семь вариантов какого-либо произведения или отдельной его главы — обычное явление в его творческой практике, причем в иных случаях в двух смежных вариантах отличия весьма малочисленны, на первый взгляд — несущественны, и это свидетельствует о том, конечно, что достигнутый результат в целом уже удовлетворял писателя и что он кропотливо, упорно шлифовал детали, обуздывал «дикого коня».

Вообще говоря, его эстетическая восприимчивость, не бросавшаяся в глаза, была очень глубока. Вспоминаю моменты, когда случайно оброненная им фраза или слово словно раскрывали перспективу в гармонический строй его души, в его живое и светлое ощущение прекрасного.

Однажды мы сидели с ним вдвоем на балконе его дачи в деревне Хатки близ Сорочинец. В течение происходившей у нас беседы я стал замечать, как на лице Владимира Галактионовича появилось какое-то новое выражение: в глазах что-то чуть-чуть затеплилось, стало

разгораться, и вот все лицо засияло невыразимо прекрасным светом восторга. Вдруг он прервал себя:

— Обернитесь, Абрам Борисович. Что за красота!

Прямо против балкона над померкнувшим садом всплывала громадная пепельная туча с зловещими рваными краями, грозная и яркая.

Вспоминаю другой момент. Вскоре после того как я поселился в Полтаве, умерла мать Короленко, Эвелина Иосифовна. Мне не довелось видеть ее живой, я только слышал о ней необычно теплые отзывы тех, кто ее знал. С одним товарищем мы пошли в костел на отпевание, а оттуда на кладбище.

О горячей любви писателя к матери мне было известно со слов близко знавших его людей, но до самого конца погребения он не проронил ни слезинки, только какая-то взволнованная печаль была разлита по его лицу. Когда могилу засыпали, он стоял с минуту молча, обводя взглядом вокруг себя, потом сказал, обращаясь к жене:

— Посмотри, Дуня, какая чудесная полянка.

Мне бы кстати хотелось тут сказать, что ничего не может быть ошибочнее иногда приписываемой Короленко сентиментальности. Ни я, ни другие более близкие к нему люди никогда не видели слез на его глазах, и только однажды, незадолго до своей кончины, уже сломленный смертельной болезнью, он раз заплакал от волнения, причем очень этим огорчился и даже попросил извинения у окружающих. Мне кажется (говорить с ним об этом не доводилось), что слез, особенно мужских, он не любил, а к сентиментальности вообще, в частности — в литературе, относился неприязненно, что вполне естественно, потому что сентиментальность — это фальшивая разновидность чувства, а фальшь, в чем бы она ни проявлялась, была ему глубоко враждебна. Я помню, как в разговоре с ним его собеседник пытался смягчить резкую характеристику, которую Короленко дал одной их общей знакомой. В. Г. как-то поморщился: чего-либо конкретного он не мог противопоставить защитнику этой особы, между тем она ему была неприятна. И вдруг у него как-то победно вырвалось:

— Голос у нее фальшивый!

Источник, которым питалась версия о сентименталь-

ности Короленко, заслуживает всяческого внимания. Я уверен, что то был непривычный для современного ему общества характер доброты. И как жестоко заблуждаются те, кто представляет его себе этаким добрым дедушкой, обильно расточающим направо и налево мелкую разменную монету грошового утешения, безразличной ласковости, жалкой помощи и т. п. Они и не подозревают, как далеки они от действительности...

Да, Короленко был добр. Но его доброта была качественно новым явлением, едва ли возможным в более ранние периоды исторической жизни и предвещающим новый будущий тип человека. Потому что это была не только доброта большого сердца, — сердца в два обхвата, как его называли, — это само собой. Нет, в самом составе его доброты присутствовал громадный ингредиент живого ощущения человечества, как реальности[...]

Общеизвестно, что он был подлинный русский патриот, что он был пламенный народолюбец. Прочтите его письма, которые он посылал к родным из Америки[8]. Его тоска по родине во время этого американского путешествия возрастает с каждым днем. И тема и фон всех его американских произведений — это та же тоска по родине. Его последние размышления на борту увозившего его из Америки парохода — это сиротство кинутых на чужбину русских людей, пришедших его провожать. Русский народ... Отечество для него — величайшая святыня.

Но этот горячий и глубокий русский патриотизм не мешал ему чувствовать и чужеземца как брата, как сочлена в коллективе, именуемом человечеством[9].

Он был боец по натуре, к учению о непротивлении злу насилием он относился враждебно, полемизировал с ним и в своем художественном творчестве («Сказание о Флоре-римлянине»)[10]. Он знал, что такое гнев и ярость. В 1919 году к нему в дом явились налетчики и, угрожая оружием, потребовали выдать хранившиеся там деньги, принадлежавшие Лиге спасения детей, почетным председателем которой был Вл. Гал. Меньше всего, вероятно, налетчики ожидали, что этот больной старик бросится с голыми руками на одного из них! Явно опешив, они, выстрелив и промахнувшись, кинулись наутек,

а Короленко за ними вдогонку. Его дневниковая запись об этом инциденте дышит глубоким удовлетворением не только потому, что удалось сохранить «детские деньги», но и тем, что никто из его семьи не выказал овечьей трусости, не поддался панике, что насильникам дан был отпор [11].

Лично мне пришлось однажды видеть его в гневе: в октябрьские дни 1905 года, когда черносотенные элементы пытались учинить в Полтаве погром. Я помню речь писателя в городской думе, в которой он призывал встать перед насильниками и не дать в обиду безоружных. И я помню это пламя гнева на его прекрасном лице с выражением глубокой печали.

Нет, это не был «добрый дедушка» из детской сказки. Но это был человек, никогда ни к кому не относившийся с равнодушным безразличием. Человека, относительно которого было бы возможно сказать, что он не имеет права претендовать на внимание со стороны Короленко, я себе представить не могу и думаю, что такого человека не было. Иное дело — колорит этого «внимания»: к одним он мог относиться с самоотверженной любовью, к другим с глубокой враждебностью, но пройти мимо человека, не уделить ему внимания, проявить к нему равнодушие — этого быть не могло.

Противник не переставал быть для него человеком. Его любимый девиз был: мужество в бою, великодушие к побежденному [12]. Литературный противник точно так же сохранял в представлении Короленко определенные права. Прежде всего, конечно, это требование точности в фактах, когда дело касалось обличения кого-либо в чем-либо. В. Г. гордился тем, что за все время своей литературной деятельности, в составе которой было весьма много всякого рода обличений, ему ни разу не пришлось вносить какие-либо исправления в фактические обоснования своего обвинения. Затем о форме и тоне обличительных статей. Брань в этих случаях претила ему. Молодым литераторам, и мне в том числе, он говорил: резкая отчетливая мысль лучше действует, чем резкое слово, а часто резкое слово заменяет, в сущности, расплывчатую мысль. Сам он оставил поистине классические образцы страстных обличений без резких слов: достаточно вспомнить его «Открытое

письмо к Филонову» или статьи, связанные с Мултанским делом[13], книгу «Бытовое явление» и т. д.

В молодости я питал склонность к задорной полемике. Не скажу, чтобы В. Г. удерживал меня от этого. Мне даже казалось, что ему это нравилось. Но и тут у него были характерные «короленковские» правила, касавшиеся тона. Не то чтобы он их навязывал, этого он вообще избегал. Он лишь указывал, как сам он в подобных случаях поступает. Он говорил: когда я пишу полемическую статью, то стараюсь мысленно представить, что лично беседую со своим противником. Если воображение мне подсказывает, что я в беседе употреблю те выражения, которые употребил в статье, — я их в ней оставляю; если я чувствую, что в беседе я бы их смягчил, — я смягчаю их и в статье[14].

Своим авторитетом писателя он дорожил, как общественной ценностью, и охотно пускал его в ход, если речь шла о поддержке чего-либо справедливого, нужного, полезного. Но в сфере чисто личного обихода, ради каких-либо льгот или из честолюбивых соображений он никогда не прибегал к помощи веса своего имени. Между прочим, его друзьям только потому и удалось убедить его согласиться на празднование своего 50-летия, что этому был придан характер общественного чествования определенных политических принципов. Так это было и в последующие юбилейные чествования Короленко — по случаю 60-летия, потом 65-летия. Но и в этих случаях он резко накладывал veto, как только чувствовал привкус искусственного подогрева в юбилейных приготовлениях. Случайно мне довелось в 1913 году быть свидетелем характерной сценки в этом смысле. Я сидел у него наверху в светелке дачи в Хатках, служившей писателю рабочим кабинетом, когда принесли почту. Мы стали просматривать полученные газеты, как вдруг Вл. Г. побагровел и, стукнув по столу кулаком, отбросил от себя газету с возгласом:

— Черта с два!

Оказывается, газета сообщала, что на предстоящее празднование 60-летия со дня рождения писателя Короленко приглашены в Петербург такие-то, такие-то писатели из-за границы. Почему-то особенно возмутило В. Г. приглашение Анатоля Франса[15].

— Ну, что ж такого? — сказал я. — Вас переводят, любят...

— Оставьте, пожалуйста, — прервал он меня. — Знаю я эти штуки: накинут на старика петлю и потянут из Парижа в Петербург справлять юбилей писателя Короленко, которого он ни строки не прочел... Я понимаю, если б речь шла о Толстом, а мы... Не-е-ет, черта с два!

Я думаю, что в этом эпизоде проявилась не только глубокая скромность, но и гордость Короленко: он отказывался принимать воздаяние выше своих заслуг, и это была скромность; но попытка раздуть его славу вызвала в нем возмущение, и это была гордость, это был протест чувства собственного достоинства. Сочетание этих двух черт всегда в нем чувствовалось.

Тот, кто не понимал в нем этого сочетания, становился порою жертвой заблуждения в оценке поведения Короленко. В одной книге, например, где описывалось свидание его с Львом Толстым, автор, бывший очевидцем этого свидания, с некоторым недоумением отметил, что Короленко держал себя с Толстым очень почтительно, но в то же время вполне независимо, высказывался совершенно свободно и вообще оставался самим собой. Между тем обычно рассказчик наблюдал противоположное: новый человек при свидании с Толстым как бы попадал в плен его духовной мощи. Автор книги склонен был объяснить это тем, что Короленко недостаточно проникся величием Толстого[16].

Достаточно, однако, прочесть то, что писал Короленко о Льве Николаевиче, чтобы увидеть, как глубоко заблуждается автор книги. Отношение его к Толстому, при всем расхождении с философским учением последнего, нельзя назвать иначе, как преклонением. Но даже в малейшей степени он при этом не утрачивал ощущения своей собственной личности, не растворялся в Толстом. Это было «преклонение» в кавычках, метафорическое, а не подлинное; восторгаясь и восхищаясь, он сохранял при себе всю свою критическую трезвость. Ее я чувствовал в беседах с Короленко всегда, о ком бы эти беседы ни происходили.

Что-то свежее, подкупающее было во внешних формах его обращения с людьми, но в чем оно заключалось — трудно было сразу определить. Только после

долгого знакомства я понял, что это исходило от необыкновенно естественного демократизма писателя. Вообще говоря, в его обращении с разного рода людьми такого рода вещи, как положение, происхождение, знатность, чины, бедность или богатство и т. д., — почти не играли роли. Говорю «почти», потому что легкая отрицательная сдержанность у него все-таки замечалась, если перед ним был то, что называется «сильный мира сего». Но различия в обращении Короленко с писателем или с мужиком из деревни, с политическим деятелем или с извозчиком не было совершенно. Его почти не было и в обращении со взрослыми или со школьником. Со всеми он был одинаково прост и внимателен. Помню, стояли мы с ним раз в Хатка̀х на высоком берегу Псла, когда подошла кучка ребятишек. Были тут и местные, деревенские, и дети дачников. Белобрысая девчонка лет шести или семи, Надежка, как ее называли ребята, некрасивая и, правду сказать, с мокрым носиком, почему-то привлекла внимание В. Г., может быть понравилась ему своей бойкостью. Он бросил шутку по ее адресу, она ее ловко подхватила, между ними завязалась игра: она укрылась за деревом, а он стал подкрадываться, чтоб поймать ее. Однако Надежка ловко увертывалась и дразнила своего партнера. Потом девочка присоединилась к ребятам, а В. Г. продолжал смотреть на нее. На лице его лежала полная любви мягкая, нежная ласка. Он любовался этой сопливенькой Надежкой, как отец своим ребенком.

И вот тридцать пять лет прошло с того дня, я пытаюсь неуклюжими словами передать эту сцену — цветения человеческого сердца, равного которому я не знал, и чувствую свое бессилие...

Вспоминаю встречу Нового года в доме Короленко. В. Г. был весел, много шутил. Когда приблизилась полночь, гости стали вынимать часы. Как всегда в таких случаях, получился разнобой: у того без трех минут, у другого без минуты и т. д. В. Г. вынул из кармана свои и сказал:

— Нет уж, давайте по хозяйским.

Помахав часами-луковицей, он добавил с усмешкой:

— Жениховские. От Авдотьи Семеновны подарок, когда невестой была... Ведь вот — глупая рыба и на худую наживку идет.

Наступила минута, начались поздравления, тосты, взаимные приветствия. Потом вижу: В. Г. взял свою рюмку, наполнил другую и, подойдя к домашней работнице, протянул ей.

Мне не слышно было их разговора, но его нетрудно было читать на их лицах: женщина с какою-то благодарной надеждой смотрела Владимиру Галактионовичу в лицо, а он что-то внушал ей — твердо, спокойно. И было видно, что речь идет о чем-то серьезном для нее и трудном, и он это понимает и ее в чем-то поддерживает, укрепляет. Потом она растроганно улыбнулась — всем, всем лицом — подняла рюмку, и они чокнулись. [...]

Девиз Короленко был: мужество в борьбе, великодушие к побежденному. Но ведь тут есть переходы от одного состояния к другому, и у Короленко, конечно, была тенденция к преждевременному амнистированию врага. В этом смысле прав был Луначарский, когда писал, что свое полное звучание творчество Короленко получит в будущем, в том строе, когда исчезнет необходимость в беспощадных формах борьбы [17]. [...]

И все же борьба была его подлинной стихией. Та репутация заступника за несправедливо обиженных, с которой он вошел в историю, будет существенно неполна, если мы не учтем своеобразия форм его заступничества. Конечно, бывали случаи, когда «подзащитный» Владимира Галактионовича был силою вещей обречен на пассивное ожидание результатов усилий и хлопот своего заступника. И Короленко, разумеется, радовался, если эти усилия увенчивались успехом. Но я уверен, что подлинным торжеством бывали для него случаи иного порядка, когда ему удавалось вдохнуть мужество в сердце угнетенного человека, помочь ему разогнуться под бременем причиненной несправедливости и самому вступить на путь борьбы с обидчиком. Для Короленко это было равнозначаще второму рождению, полному преображению человека.

Я помню необычайно выразительные в этом отношении перипетии знаменитой истории с истязателем крестьян Филоновым [18]. Это дело протекало у меня на глазах с самого начала до конца, потому что я в ту пору был постоянным работником в газете «Полтавщина»,

куда первоначально стекались сообщения о зверствах Филонова и где затем появилось знаменитое открытое письмо к нему Короленко. Не будет преувеличением сказать, что он горел на этом деле, — горел даже физически. Он похудел, черты его широкого лица обострились, выражение гневной скорби не сходило с него. После появления письма он с нетерпением ждал и — скажу — жаждал привлечения его, как автора письма, к суду. Из села, на которое Филонов обрушил свою свирепую экзекуцию, к Короленко являлись и потерпевшие, и сторонние люди с предложением выступить свидетелями, если его будут судить, с обещанием говорить всю правду, несмотря ни на какие угрозы. Короленко предвкушал борьбу поверженных и запуганных людей за свои права, за свое поруганное человеческое достоинство, он предвидел широкие и плодотворные отголоски этой борьбы по всей стране.

И вдруг всему этому положил конец выстрел террориста, убившего Филонова и, по сути дела, облагодетельствовавшего высшую губернскую администрацию, загнанную было в тупик письмом Короленко. Сразу Филонов из преступника, с которым администрация не знала как поступить, превратился в «верного царского слугу», ставшего жертвой своего служебного усердия, а его неумолимый и страстный обличитель — в подстрекателя к «убийству из-за угла».

Тотчас после убийства Филонова мне не довелось видеть Владимира Галактионовича, потому что по настоянию друзей он был вынужден уехать на время из Полтавы, где обнаглевшие черносотенцы совершенно открыто угрожали его жизни. Но даже много позднее, когда он вернулся в Полтаву, глубочайшая скорбь прозвучала в его словах, когда мы, увидевшись, заговорили о филоновской истории.

— Да, сотни людей лежали ниц на земле, как растоптанные, а потом поднялись, готовились бороться, отстаивать свою честь... И вот со стороны пришел дядя, пальнул из пистолета, и поезжайте, поглядите: все смолкло, протесты утихли, люди попрятались по углам...

Борец сказывался в нем и в том, что всякая паника вызывала у него чувство, близкое к презрению, а страха

за себя он просто не знал. Помню, как однажды глубокой осенью, поздно вечером, когда у Короленко сидели обычные посетители его суббот, с улицы раздались крики «Караул! Спасите!» В то же мгновение Владимир Галактионович, как стоял, без слов кинулся в коридор и оттуда на непроглядно темную улицу, причем кинулся с такой быстротой, что в первую минуту за ним никто не успел последовать. Это был просто естественный рефлекс, которому не предшествуют никакие колебания, раздумья. Вскоре он вернулся, — с ног до головы весь в жидкой грязи! Младшая дочь писателя, гимназистка, расхохоталась, взглянув на его измазанное лицо, на что В. Г. с веселой укоризной огрызнулся в ее сторону:

— Дрянь! Над старым отцом издеваешься!

Тогда и все кругом засмеялись. А в общем разыгралась веселая сценка, и едва ли кто тогда подумал, что как-никак а В. Г. кинулся куда-то навстречу ночному происшествию, характер которого мог обернуться совершенно по-иному.

Мои встречи с В. Г. становились с течением времени все чаще, но в 1907 году я был подвергнут административной высылке из Полтавской губернии, и общение с Короленко таким образом было у меня прервано. Однако незадолго до высылки мне довелось вынести одно из наиболее глубоких впечатлений от Владимира Галактионовича.

Это было летом. Я работал тогда в редакции полтавской газеты, название которой не раз менялось и потому позабылось. В редакции приходилось засиживаться допоздна, в ожидании поступающего материала.

Однажды, в субботу, репортер принес мне поздно вечером информацию о заседании военно-полевого суда, вынесшего обвиняемому смертный приговор. В Полтаве это было начало деятельности столыпинской военно-полевой юстиции. Прямо из редакции я, несмотря на поздний час, отправился к Короленко, у которого, как я уже указывал, по субботам собирались знакомые.

Еще из передней я услышал звонкий голос хозяина, что-то рассказывавшего с веселым смехом, а когда я вошел в гостиную, все многолюдное общество хохотало, а В. Г. весело сиял глазами. Не успел я поздо-

роваться, как В. Г., знавший, что я из редакции, воскликнул:

— А-а! Ну-ка, ну-ка, какие новости? Выкладывайте!

Было мгновение замешательства, потом, делать нечего, я сообщил о приговоре. Короленко отшатнулся на спинку стула так, как если бы ему был внезапно нанесен удар кулаком в грудь. И сразу стало тихо. Потом он сказал:

— Неужели и у нас это будет?

Перед нами был другой человек, и все мы это почувствовали и поняли, что сейчас при нем попросту невозможно заговорить о чем-либо постороннем, но и о том, что сию минуту грозным током пронзило его, — тоже нет нужных слов. И когда поднялся один, за ним последовали и остальные, и мы разошлись.

Вскоре мне пришлось уехать. Изредка до меня доходили слухи, что Короленко собирает материалы для работы о столыпинской эпидемии казней, и сам я тоже послал ему однажды такие материалы из Крыма, где я поселился. А когда затем появилась серия его статей «Бытовое явление», у меня осталось такое чувство, — конечно, обманчивое, — что первое зерно этой мучительной работы было суждено именно мне бросить в его великое сердце, всегда раскрытое для человеческих трагедий.

Мне доводилось при посещении дома Короленко встречаться у него с людьми самыми разнообразными. Иногда — но далеко не часто — бывало, при этом замечаешь, что присутствие «знаменитости» словно лишило человека простоты и естественности, что он старается казаться умнее, интереснее, лучше, чем он есть, — и, конечно, становится при этом хуже себя обычного. Несравненно чаще, однако, наблюдалось иное: человек действительно становился в присутствии Короленко духовно краше, лучше, значительнее, подымался на какую-то высшую ступень.

Был однажды такой случай. К известному в то время профессору литературы Ф. Д. Батюшкову, редактору журнала «Мир божий», пришел писатель К.[19] в очень нетрезвом состоянии и в буйном настроении. Мягкий и деликатнейший Ф. Д. Батюшков всячески старался его умиротворить, чем-нибудь занять и т. д., но все было

тщетно: К. становился все агрессивнее, оскорбил бывших у Батюшкова гостей, бранился, угрожал, требовал вина и вообще вел себя крайне непристойно.

— Знаете что? — неожиданно обратился Батюшков к К-у. — Поедемте сейчас к Короленко.

К. застыл на мгновение, задумался, потом решительно тряхнул головой:

— Идет. Едем!

— Что вы делаете, — улучив удобную минуту, в ужасе шепнул Батюшкову один из его гостей, — ведь он там наскандалит!

— Я знаю, что делаю, — твердо возразил тот.

На другой день, встретясь с этим человеком, он рассказывал, что К. до такой степени овладел собой и преобразился в доме Короленко, что, кроме него, Батюшкова, никто, вероятно, и не заметил, что он пьян. Он был внимателен, деликатен, не только с интересом слушал рассказы Короленко, но и сам живо, умно, колоритно передавал различные эпизоды своей разнообразной, бурной жизни.

И тут я должен вернуться к тому, с чего я начал свои воспоминания о Вл. Гал. Мне кажется, что и моя странная робость в его присутствии, и это преображение буйного К., и то поднятие на высшую ступень почти каждого человека, входившего в соприкосновение с Короленко, о чем я выше говорил, — я думаю, что все это были лишь различной формы реакции на одно и то же: на присутствие человека, находящегося постоянно в полной мобилизации своей духовной личности.

Я стремлюсь здесь найти наиболее точное выражение для своей мысли, чтобы не ввести читателя в заблуждение. Речь идет здесь о чем-то бесконечно далеком какой-либо риторике, какому-либо приподнятому пафосу или чему бы то ни было в этом роде. Нет, мы просто видели перед собой человека, в повседневном и повсечасном жизненном обиходе которого начисто исключены обывательские будни, их мелочные интересы, жалкие цели, ничтожные соображения, пошлые мысли — все то, что уходит от человека, когда его посещает вдохновение. Владимир Галактионович постоянно находился в состоянии морального вдохновения. А то, что при этом он был сам простота и безыскусственность, — шутил, ворчал, смеялся, отдавался текущей повседневной оза-

боченности, — не только не ослабляло впечатления от этого необычного явления, но, напротив, усиливало его покоряющий характер, подчеркивая бессилие будней над ним.

В последний раз я виделся с Короленко в 1918 году в Полтаве, куда я дважды приезжал[20] специально затем, чтобы привлечь его к участию в литературном сборнике, затевавшемся в Крыму. Полтава в то время входила в территорию, находившуюся под гетманской властью, с которой Короленко открыто не ладил.

Первый раз я с трудом нашел пристанище в какой-то жалкой гостинице, где меня обокрали. Во второй приезд Короленко оставил меня у себя.

Для сборника он дал мне главу из подготовленного к печати тома «Истории моего современника» — главу, которой он придавал значение своего Profession de foi*, — «На Яммалахском утесе»[21], и сам мне прочитал.

Весь день прошел в беседе о текущих великих событиях, потрясавших страну. Короленко был настроен серьезно, но бодро. За сравнительно небольшой промежуток времени между двумя моими посещениями его тогда еще не вполне установленная болезнь сделала явные успехи: он как-то побелел с лица, оно мне показалось несколько одутловатым. Суровее стали условия жизни. В квартире было холодно, хотя на дворе стояла еще осень, лишь начинало по ночам морозить. Когда я попросил у В. Г. всю рукопись приготовленного тома «Истории моего современника», чтобы почитать ее в постели, он сказал: «Озябнете читать», — однако рукопись дал, но укрыл меня поверх одеяла тулупом. И опять, с сомнением покачав головой, сказал:

— Озябнете.

Я долго читал. В доме наступила тишина. Наконец и я загасил свет. Но не успел заснуть, как услыхал крадущиеся шаги, остановившиеся у дверей моей комнаты. Тогда я притворился спящим и стал прислушиваться. За дверью происходила какая-то осторожная возня...

---

* Исповедания веры (*франц.*).

Вскоре я понял: не видя света в моей комнате и полагая, что я заснул, В. Г., надев валенки или мягкие туфли, затопил печь, чтобы к утру мне не озябнуть. От печи ли или от ласки этого редкого человека, только мне не было холодно в ту ночь...

Утром, после завтрака, Короленко пошел меня проводить. Времени было достаточно, и мы еще зашли на горку, откуда хорошо открывается живописная Полтава. Постояли, помолчали. Потом обнялись — и разошлись в разные стороны [...]

И. И. Старцев-Шишкарев

ВОСПОМИНАНИЯ ПОТЕМКИНЦА

В начале июля 1905 года наша плавучая республика на броненосце «Князь Потемкин Таврический» прекратила свое славное существование [1]. Прибыв в Румынию, я сошел с корабля на чужой берег. На революционном корабле развевались лозунги: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В борьбе обретешь ты право свое! Все за одного — один за всех!» Эти и другие плакаты были написаны мной, и я знал, что за них царское правительство жестоко покарает меня [2]. Я стал политическим эмигрантом.

Высадившиеся в Констанце около семисот матросов-потемкинцев были полны решимости бороться с царским самодержавием до победного конца. Матросы героического «Потемкина», расселившись большими и малыми группами в разных городах и селах Румынии, работали и учились. В горячих политических спорах и беседах шлифовалось наше мировоззрение.

Большой известностью и популярностью пользовался среди потемкинцев, как и среди других русских политэмигрантов, доктор Петро Александров из Тульчи, несколько раз привлекавшийся царским правительством к ответственности за революционную пропаганду и в конце концов эмигрировавший в Румынию. Могу без преувеличения сказать, что, пожалуй, не было ни одной группы потемкинцев, живших в разных местах Румынии, которые бы не слушали страстных, даже несколько резковатых речей этого русского богатыря-великана. Он про-

сто, понятно рассказывал основное из учения К. Маркса и Ф. Энгельса, разъяснял нам, чем отличаются друг от друга программы различных партий.

За два года пребывания в Румынии мне пришлось работать в Констанце, Бухаресте, Плоешти и в других городах.

Осенью 1906 года, приехав в Плоешти, я встретился со своими друзьями-потемкинцами. Один из них, Кирюша (фамилию забыл), познакомил меня с русскими политическими эмигрантами, жившими в этом городе. Мы собирались у потемкинца Кузьмы Михайловича Перелыгина и вели политические споры. К нам часто приходила Прасковья Семеновна Ивановская. Ей в свое время смертный приговор был заменен бессрочной каторгой. Для меня было неожиданностью, когда я узнал, что Прасковья Семеновна — родная сестра доктора Петра Александрова, настоящее имя которого было Василий Семенович Ивановский.

Прасковья Семеновна, или тетя Паша, как многие из нас звали ее — она была лет на тридцать старше нас, — принимала активное участие в политических спорах, пела с нами революционные и русские народные песни, много рассказывала нам о жестокостях в царских тюрьмах и ссылках, сообщала вести с родины, снабжала нас русскими книгами и журналами [3].

Весной 1907 года в г. Кымпина потемкинец Лысак попал в трансмиссию и умер мучительной смертью [4]. Я поехал проводить своего товарища в последний путь. Похороны потемкинца превратились в мощную демонстрацию. Революционные песни, речи, красные флаги — все это воскресило в моей памяти сходки и маевки в Севастополе, похороны Григория Вакулинчука в Одессе, и я решил выехать в Россию для проведения революционной агитации.

Рассказав тете Паше о похоронах, я высказал ей свое желание.

— Я этого уже давно ожидала, — сказала Прасковья Семеновна. — Решение правильное. Вы здесь гость, а там, в России, нужны люди продолжать то дело, за которое боролась команда «Потемкина».

Было решено, что я поеду в Россию с потемкинцем Михаилом Волобуевым, который недавно возвратился из Петербурга и имел уже некоторый опыт. Несколько

недель ушло на подготовку к поездке: изготовлялись паспорта на другие фамилии, добывалась приличная одежда, деньги...

В день отъезда Прасковья Семеновна говорила нам:

— Будьте осторожны в дороге, не проговоритесь, а то погубите себя и других. Поедете через Галац на Рени, а потом в Полтаву. Запомните: «Полтава, Мало-Садовая, 1». В калитку не стучите. Зайдите прямо во двор, стукните два раза в дверь. Кто бы ни вышел, спрашивайте: «Нам нужно видеть Короленко». Если вам ответят отрицательно и укажут, когда снова прийти, скажите: «Мы не можем уходить, у нас письмо от тети Паши». Вас пригласят в комнату, и там вы отпорете борт пиджака и найдете письмо.

— А кто такой Короленко? — поинтересовался Волобуев.

— Владимир Галактионович, известный писатель, — ответила Прасковья Семеновна.

— Так мы поедем с явкой к писателю Короленко?! — с удивлением воскликнул я.

Имя этого писателя мне было известно. Я не так давно прочитал с большим интересом «Слепого музыканта», «Сон Макара», «Огоньки» и другие его произведения.

— А вы не удивляйтесь. Ведь сам Короленко находился несколько лет в ссылке, да почти все его близкие побывали там же. Кроме всего, Евдокия Семеновна, жена Владимира Галактионовича, — моя родная сестра. Все будет в порядке. Лишь бы вы доехали благополучно.

Рассказывая о Короленко, Прасковья Семеновна показала нам несколько фотографий Короленко, его жены и дочерей.

Мы двинулись в путь. Без всяких приключений пересекли границу и добрались до Полтавы. Легко разыскали Мало-Садовую улицу. На наш стук вышла женщина. Говорили мы так, как инструктировала Прасковья Семеновна. Вошли в комнату.

— Давайте письмо. Я жена Короленко, а тетя Паша моя сестра.

— Сейчас, — проговорил я, показывая Волобуеву на левый борт моего пиджака, где было зашито письмо. Волобуев тотчас начал его распарывать. Каково было наше изумление, когда письма на месте не оказалось...

— Оставьте наш дом. Никакой тети Паши я не знаю, — строго сказала Евдокия Семеновна, открывая дверь.

— А где живет доктор Будаговский? — пролепетал Волобуев. — Нам о нем говорила тетя Паша.

— Не знаю, — ответила Евдокия Семеновна, но, видя нашу растерянность и волнение, проговорила: — Вот там, — и указала рукой на флигель в глубине двора.

Нас встретил сам доктор Будаговский. Мы рассказали о своей печали.

— Прежде всего не волнуйтесь. Выпейте чайку. А письмо найдем, коль его зашивала тетя Паша.

Мы сели, несколько успокоились.

— Давайте отпарывать второй борт, а если не найдем и в нем письма, то у вашего товарища есть еще два борта, — усмехаясь, говорил Будаговский.

И, конечно, в правом борту моего пиджака мы нашли небольшой кусочек полотна, а на нем несколько слов:

«В. Г. Это потемкинцы. Помогите им устроиться на работу. Паша».

— О! Да вы, оказывается, герои-моряки. Это интересно, — говорил доктор Будаговский. — Владимир Галактионович будет рад с вами встретиться и поговорить. А сейчас отдыхайте и собирайтесь с мыслями.

Мы остались одни. Уснуть не смогли: нас волновала предстоящая встреча с известным писателем. Часа через два пришел Будаговский, а с ним плотный, среднего роста старик с большой окладистой бородой и с шапкой вьющихся волос с проседью на голове. Это был Владимир Галактионович Короленко. Он крепко пожал нам руки[5].

— Ну, славные черноморцы, рассказывайте, как доехали, как чувствует себя Прасковья Семеновна?

Сначала несколько волнуясь и робея, а потом все смелее и увереннее, мы рассказывали то, что интересовало Владимира Галактионовича. Он внимательно слушал и интересовался всеми подробностями восстания на «Потемкине». Когда говорили, как нас хотели офицеры кормить червивым мясом, Короленко с гневом воскликнул:

— Мерзавцы!

Владимир Галактионович расспрашивал о смерти и похоронах Г. Вакулинчука, о работе судовой комиссии и А. Матюшенко[6], о настроении команды корабля во время восстания. Когда мы рассказывали, что потемкинцы в Румынии живут спаянной, крепкой семьей, работают и учатся, Владимир Галактионович с радостным восторгом проговорил:

— Молодцы черноморцы!

До самого вечера мы беседовали с В. Г. Короленко. Он делал какие-то пометки. Не знаю, сохранились ли они[7].

Прощаясь, он сердечно благодарил нас:

— Только из уст очевидцев и непосредственных участников[8] я имею представление о героической эпопее потемкинцев, а официальная пресса обманывает общественное мнение на каждом шагу.

Владимир Галактионович также нам сказал, что гимназист Валериан Горбачевский отведет нас к М. П. Орлову, бывшему политкаторжанину.

— Поживете немного в Полтаве, пока я вам подыщу подходящую работу, — говорил Короленко.

М. П. Орлов, у которого мы прожили несколько дней, не выходя из комнаты, определил нас на квартиру к Ольге Ивановне Акимовой (у ней мы жили под видом дальних родственников). Мы, как нам рекомендовал В. Г. Короленко, освобождались от заграничного духа и привыкали к российской действительности. Ходили и знакомились с молодежью в Жуках, Тахтаулово, Яновцах, незаметно оставляли книжки «Конек-скакунок»[9], «Липочка-поповна»[10] и др.

Примерно через месяц М. Волобуев отправился в Ставрополь, а через несколько дней выехал и я на станцию Гоголево, где хозяин постоялого двора Третьяков направил меня в Сорочинцы к небогатому помещику Моргуну, у которого я снова встретился с В. Г. Короленко[11].

— Я вас ждал еще вчера, — говорил он. — Беспокоился, не случилось ли в дороге какой-либо неприятности. Сегодня же вы поедете в с. Барановку к помещику В. Г. Иванову. Будете охранять лес. Это будет для вас безопасно. Если в чем-нибудь будете нуждаться, сообщите Горбачевскому. Не забывайте о конспирации. Помните, что вы потемкинец, не проговоритесь.

В течение почти двух лет я прожил в лесу, часто встречаясь с В. С. Горбачевским, от которого получал литературу и разные задания по подпольной работе. Живя в лесу, я часто бывал в окрестных селах — Перевозном, Шишаках и других, где знакомился с молодежью, а потом создавал кружки из пяти — десяти человек, которым читал газеты, делая свои комментарии. Распространял брошюры из революционной библиотечки. Брошюры, листовки я передавал знакомым учителям Кириллу Мефодиевичу, Алексею Ивановичу Убийсобака из Ересек, Симаку из Миргорода.

Несколько раз в разное время в Хатках я встречался с В. Г. Короленко, но о чем говорили, не помню. Да и сами встречи были мимолетны.

Хорошо запомнилась последняя встреча с В. Г. Короленко в 1909 году. В это время в Барановке была, если память не изменяет, ярмарка. Там я столкнулся лицом к лицу с Короленко. Но прошел мимо, делая вид, что не знаю его. Через час я снова встретил его на мосту. Короленко возвращался к себе на дачу.

— Осторожность умеете соблюдать, — сказал он мне. — Завтра приходите ко мне обедать.

В назначенное время я был на его даче. За столом было много народу.

Вскоре после этого ко мне в лес приезжает В. Г. Иванов и сообщает, что становой пристав, бывший у него в гостях по случаю дня рождения кого-то из членов его семьи, проговорился, что он знает, кто сторожем у него в лесу. Иванов поспешно отвез меня на ст. Гоголево, откуда я направился в Полтаву.

В Полтаве О. И. Акимова познакомила меня с невысокого роста учителем (фамилии не помню). Он дал мне адрес матери В. С. Горбачевского, которая перед моим приездом уехала в Крым. Прожив около месяца в Алупке, я получил явку и выехал для проведения подпольной работы в Луганск.

Хотя мало я встречался и еще меньше разговаривал с Короленко, но мне на всю жизнь запомнился светлый образ писателя, его душевная забота и теплое внимание, которое проявил Владимир Галактионович к нам, потемкинцам. Он помог нам укрыться от глаз полиции, обеспечил безопасное место работы, а этим самым создал

условия для подпольной работы среди крестьян Полтавщины.

Мне также известно, со слов Н. П. Рыжего, бывшего минного машиниста с «Потемкина», что В. Г. Короленко, приезжая в 1907—1911 годах в Румынию, всегда останавливался у своего родственника, доктора Петра Александрова, у которого в течение многих лет жил кочегар-потемкинец Андрей Андрианов. В. Г. Короленко подробно расспрашивал А. Андрианова о восстании «Потемкина», о жизни матросов-эмигрантов в Румынии. Через А. Андрианова В. Г. Короленко познакомился и с другими потемкинцами, посещавшими доктора Петра Александрова в Тульче[12].

Если эти мои короткие воспоминания в той или иной степени внесут маленькую частицу нового в жизненную биографию В. Г. Короленко, помогут раскрыть полнее политический образ замечательного русского писателя, я буду вполне удовлетворен.

С. П. Подъячев

ИЗ КНИГИ «МОЯ ЖИЗНЬ»

Приехав из работного дома[1] полубольной, я нашел дома бедность, недостатки[...]

Под свежим впечатлением пережитого в работном доме, я горячо принялся за описание этого пережитого.

В избе у нас было холодно. Не было зимних рам, а морозы стояли лютые. За ночь, под утро, намерзали на стеклах слои инея — снега. Жена скребком соскабливала его со стекол в небольшую лоханку, наполняя ее доверху. Изба сама по себе холодная, ибо сделана была из плохого восьмиаршинного леса и осесть хорошенько еще не успела. Из на скорую руку промшенных пазов во многих местах дуло. С вечера поставленная в ведрах у порога вода под утро замерзала. Писать, сидя за столом, было холодно, и я с вечера забирался на печку и там, подставя себе под нос маленькую коптилку — лампочку, лежа писал свои «Мытарства» в работном доме. Писал горячо и с особым, так сказать, сердечным трепетом, со слезами. Окончив (а написал я их залпом, скоро), переписал набело, и передо мной стал вопрос: куда послать написанное?

И вот, помню, жена ходила в лавочку и принесла оттуда завернутый в газетную бумагу фунт мыла для стирки. Дело было вечером, при огне. От нечего делать я, помню, взял посмотреть принесенный кусок мыла, развернул газетный лоскут, и мне сразу бросилось в глаза крупными буквами напечатанное объявление об

издании (на такой-то и такой-то год) ежемесячного журнала «Русское богатство». Я прочел адрес редакции и тут же решил послать в этот журнал свои «Мытарства»[2].

Раньше журнал этот читать мне не приходилось, я не имел о нем понятия и послать туда «Мытарства» решил только оттого, что попалось на глаза объявление этого журнала, а не другого. Попадись объявление о каком-либо другом журнале, и я, недолго думая, поместил бы свои очерки там, ибо для меня в те времена разницы в журналах не было...

Запечатав наглухо пакет самодельным клеем (разведенная в горячей воде мука), «клейстером», по выражению жены, я встал пораньше утром и понес его в город на почту за двадцать верст. Можно было бы пакет отправить и не ходя так далеко, просто послать с «барского двора», откуда посыльный на станцию ездил с сумкой два раза в неделю. Но мне противно было идти к управляющему, заведующему отправкой почты, который, я знал это, не преминул бы после со злорадством и хамской подлостью «донести господам» о том, что: «Ха, ха, ха! Представьте, писатель-то посылает сочинение свое в редакцию в Петербург... ха, ха, ха!»

Отнес я рукопись, толстенный пакет, в город, на почту, отправил... и пакет этот точно в «тучку канул». Месяц прошел, другой, третий, а о нем ни слуху ни духу. Никакого ответа. Письмо в редакцию с запросом я не посылал, просто-напросто махнул рукой, думая, что не отвечают мне потому, что посланная вещь ни к черту не годится и отвечать по пустякам нечего. Автор мог авось и сам догадаться, почему ему нет ответа.

На этом я порешил и, повторяю, махнул на это дело в конце концов рукой и успокоился. [...]

И вот, как сейчас помню, в ноябре, в тоскливый осенний вечер, пришла к нам из села, с «барского двора», где была, как я уж и раньше упоминал, почта, девушка Анюта Токмакова и принесла мне письмо. Письмо было от В. Г. Короленко. (К великому горю, оно пропало.) Он писал, что мои «Мытарства» приняты, что пойдут они в ближайших книжках и что я скоро получу деньги[3].

Прочтя письмо, я не выдержал и, не стыжусь сказать этого и теперь, заплакал. Такие минуты бывают

раз в жизни и не забываются. За них можно простить все[4].

Вскоре пришли деньги. Стало дышаться легче[...]

Письмо Короленко, деньги, успех «Мытарств» — все это окрылило меня, подняло энергию и навело на долгий, мучительный писательский путь, который я вот уже кончаю, и впереди, недалеко вижу то место, где ждет меня вечная остановка — покой...

Когда пришла книжка «Русского богатства» с началом моих «Мытарств», напечатанных на первых страницах, я не верил глазам своим и думал, что это не действительность, а какой-то сладкий волшебный сон. Пришли и деньги. Полистная плата за «Мытарства» была мне положена по семьдесят пять рублей. Деньги пришли не все сразу, но все-таки такой суммы, какую я получил, у меня «отродясь» не бывало. То-то было радости у нас и ликованья! Как-то и избенка наша просветлела, стала глядеть по-другому, по-весеннему[...][5]

После «Мытарств» я вскоре написал другую вещь — «По этапу», которую также принял в свой журнал Короленко[...][6]

...После того как повесть была помещена в «Русск. богатстве», по поводу ее мне пришлось слышать и лично и через других, что вещь эта будто бы одна сплошная ругань и ничего больше.

А Короленко по поводу этой вещи писал из Полтавы Михайловскому:[7] «Есть у меня еще рукопись Подъячева «По этапу». Его «Мытарства» вызвали очень много разговоров, а в Москве они — целое событие. «По этапу» не так ярко, но думаю — надо поместить, тем более что это будет отчасти ответом московской администрации[8], воспользовавшейся «Мытарствами» как материалом для нападения на городское самоуправление. Рукопись просматриваю и исправляю».

[...]Написал «Среди рабочих». Писалась эта вещь зимой по ночам или, вернее сказать, ранними утрами. Материально я в это время жил, как уже и было сказано, лучше и имел корову.

С удовлетворением вспоминаю, как теленок, которого принесла нам эта корова, бывало, во время моего писания, просыпался позади меня в своем огороженном досками углу, вставал на ноги, протягивал морду и, пой-

мав губами подол моей рубашки, принимался дергать ее и чмокать.

Сидишь, бывало, один, а жена с ребятишками спит вповалку на полу — ступить негде. За оконцем слышно, как шумит ветер, как трескаются от морозов бревна, как мяукает по ту сторону двери кошка, просясь в избу. Пишешь, бывало, с увлечением, с какой-то особенной дрожью в теле, не замечая, как бежит время.

Редактор «Русск. богатства» Короленко, вообще скуповатый на похвалы, в письме ко мне по поводу «Среди рабочих» хвалил эту вещь [9]. Написана она мною с особенною любовью и увлечением. Я считаю эту вещь одной из своих любимых повестей, которая и теперь заставляет дрожать мое сердце и напоминать мне то далекое время, когда я жил вместе со своими героями-рабочими, в имении князя Оболенского.

По поводу этой вещи в разное время было немало отзывов, одинаково благоприятных для меня [10].

С Короленко завязалась у меня переписка. Много добра мне сделал этот человек и своими советами и материальной поддержкой. Лично же видеться и беседовать с ним мне не пришлось ни разу, а много писем, которые я получал от него, пропали... [11]

По совету Короленко я учился, много читал. Книги я доставал через одного человека из барской библиотеки и где придется. Нелегко мне давалось мое писание! Нет! Мне говорили, что у меня талант. Пусть так. Но одного таланта мало. Надо еще большое терпение, настойчивость и много (ох, много!) труда, чтобы нести имя писателя [12].

А. Неверов

ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ

Воспоминания о В. Г. Короленко

Мне не пришлось познакомиться с В. Г. Короленко лично, но я имею письма, особенно ценные для его характеристики как редактора в отношении к начинающим авторам.

Осенью 1909 года в пору первых своих литературных шагов, послал я в «Русское богатство» рассказ «Серые дни» [1], из жизни сельских учительниц. Сам я в то время тоже был сельским учителем, в деревне Камышевке, Ставропольского у[езда]. Не помню теперь, как тяжело тянулись для меня дни ожидания ответа. Помню только, что вообще дни ожидания редакционных ответов были самыми тяжелыми днями в моей жизни.

Прошло несколько месяцев. Наконец узнаю, что рассказ принят. Радость, конечно, трудно было измерить. 4 февраля 1910 года получаю письмо в узеньком конверте с совершенно незнакомым мне почерком — четким, ровным, немного заостренным. Долго думаю — кто пишет? Смотрю на почтовый штемпель — «Полтава». Сердце бьет тревожно. Разрываю конверт. В конце письма стоит подпись — Вл. Короленко. Я не ждал такой радости. Чем же было вызвано письмо маститого писателя к молодому начинающему автору? Как малоопытный новичок, я, как припоминается мне теперь, нуждался в поддержке, в признании моих литературных способностей и, кроме того, вероятно, как это бывает

с новичком, пожаловался на деревенскую жизнь, признавался, что недурно было бы попасть в Петербург, пожить, поучиться там. Вот все это я послал вместе с рассказом. Письмо попало в руки Владимиру Галактионовичу, и чуткое сердце его не преминуло откликнуться [2], ободрить и предупредить меня от возможной опасности. Я, как понял он из письма, мог переоценить первый литературный успех, покинуть раньше времени деревню, переехать в столицу с надеждой на будущие литературные успехи и, чего доброго, совершенно пропасть благодаря слабому, еще неокрепшему дарованию.

Вот что писал он тогда.

«Милостивый государь. Кажется, от П. Ф. Якубовича Вы уже получили ответ относительно Вашего рассказа «Серые дни». Он будет напечатан в «Русском богатстве». В этом уже в известной степени заключается ответ и на тот общий вопрос, который Вы поставили в Вашем письме в редакцию. Как видите, — пытаться дальше стоит. Мне хочется только предостеречь Вас от слишком решительных *практических* выводов из этого первого успеха. Всякую дальнейшую Вашу работу мы встретим с интересом, но не советую пока бросать учительства и ехать в столицу в надежде на литературную работу (о чем, судя по Вашему письму, Вы мечтаете). Это нужно делать весьма осмотрительно, став твердо на ноги. Одного опыта мало.

Желаю успеха.

Вл. Короленко

23 янв. 1910 г.»

Я не поехал в Петербург, но первый успех все-таки ослепил меня, и настолько, что я впал потом в грубые ошибки и потерпел литературное поражение. Вскоре, после рассказа «Серые дни», написал рассказ «Преступники», уверил себя, что он хорош, и послал опять в «Русское богатство». П. Ф. Якубович ответил, что рассказ по своим литературным достоинствам стоит ниже первого рассказа, но в нем чувствуется дарование, и он будет напечатан. В самый разгар своей радости, когда я окончательно решил переехать из деревни в город, чтобы пополнить свое образование, получаю огромный пакет со штемпелем редакции журнала «Русское богатство».

Больно застучало сердце. Что же такое? На письмо не похоже. Наверное, что-нибудь случилось В конверте оказался корректурный оттиск «Преступников» и довольно большое письмо Владимира Галактионовича. Рассказ отвергался. Но чувствовало доброе сердце Короленко, как тяжел будет для меня этот удар, и он постарался смягчить его, внушить мысль, чтобы я не падал духом, и вместе с тем указал на целый ряд моих ошибок, как на продукт недодуманности и чрезвычайной спешки, с какой я погнал свою молодую литературную лошадку.

«Милостивый государь.

Мне очень неприятно писать это письмо, которое должно Вас огорчить. Дело вот в чем: при огромном количестве поступающих в редакцию рукописей всегда возможен некоторый процент ошибок в ту или другую сторону. Такую ошибку допустила редакция по отношению к Вашему рассказу «Преступники», который оказался принятым. Должен Вам сказать откровенно, что рассказ этот очень слаб и, как для журнала, так и для начинающего автора, гораздо лучше его не печатать. Основной недостаток — чрезвычайно слащавый сентиментальный тон. Точно речь идет не о взрослых мужиках, а о милых детках, которых злой староста обидел, увел *коровку,* лишил *кашки* и т. д. Даже там, где мужики высаживают дверь в кутузке, — впечатление такое, точно расшалились милые в сущности мальчики: бледно, лишено энергии, выразительности, силы. Если это не представляет Вам неудобства, — мы Вам вышлем бандеролью оттиски Вашей статьи. Вы увидите, какие старания были приложены, чтобы исправить изложение, сделать его более простым, правдивым и трезвым. Но ничего все-таки не вышло: тот же тон сквозит между строк, и, по обсуждении в редакции, мы решили, что напечатать этот очерк мы не можем. Это, конечно, наша ошибка, и редакция (по обычаю) сочтет себя обязанной оплатить Ваш принятый труд.

Всякую Вашу дальнейшую работу редакция «Русск. бог.» встретит с интересом. Необходимо только отрешиться от этого сентиментального, как бы приноровляющегося к детскому возрасту, тона (Микеша, порхающий мотыльком по страничкам хорошенькой кни-

жечки, — право, напоминает какую-то пародию на сентиментальное народолюбие. Как можно связать в один образ *неграмотного* мужика и порхание над страничками?!).

Не обижайтесь резкостию этого моего отзыва. Но один Ваш рассказ был уже напечатан. Быть может, у Вас что-нибудь выйдет, и мне хочется Вас предостеречь от совершенно неверных приемов.

С уважением

Вл. Короленко.

29 июля 1910 г.»

Тяжело было тогда читать суровые строки[3], равносильные изгнанию из редакции (так казалось в первые минуты), но как я благодарил потом Владимира Галактионовича за правдивое слово. Оно заставило меня призадуматься, отрезвиться, глубже заглянуть в сущность литературного творчества и из бессознательного отношения к нему перейти в более сознательное. Я стал видеть свои ошибки, которые раньше не видел, и не одно спасибо послал потом доброму далекому учителю.

Даже теперь, перечитывая письма, меня поражает в них необыкновенная доброта, как будто на первый взгляд суховатый тон. Нет ничего тяжелее, как сказать правду по поводу неудачного произведения, и сказать так, чтобы не обидеть автора, не убить в нем остаток веры. Для этого нужно иметь необыкновенное чувство — понимать чужую душу. Этим свойством в высокой степени обладал Владимир Галактионович. На первых порах своей литературной деятельности мне не раз приходилось получать официальные ответы редакций, напечатанные на бланках для всех неудачников — «М. г., к сожалению, вашей рукописью воспользоваться не можем. Благоволите прислать почтовых марок на обратную пересылку. С совершенным почтением — Редакция журнала» (такого-то).

Пошлешь, бывало, рассказ в столицу, в письме на имя редакции разоткровенничаешься о своем одиночестве, расскажешь, как живешь, как трудно писать, не имея около себя людей, понимающих литературу, и чуть не на коленях молишь редакцию указать твои недостатки, помочь советом, и получишь в ответ печатный листок «к сожалению, не можем», и долго, долго ду-

маешь над ним. Почему же не приняли? Владимир Галактионович чувствовал трагическое положение начинающих одиночек, знал, как мучительно переживаются ими литературные неудачи и, несмотря на массу редакционных, общественных и лично своих литературных дел, все-таки находил время и желание послать добрую разъясняющую отсрочку неопытным авторам, приобретающим литературные знания лишь путем многочисленных ошибок. Такое отношение, конечно, было не только ко мне. Много писем разбросано Владимиром Галактионовичем и по городам, и по глухим деревушкам, где в одиночестве [б]илась живая творческая мысль, взявшаяся за перо еще неумелой рукой. Мы удивляемся иногда обилию печатного слова, но ни одна редакция не подводила итогов тому, сколько прошло через нее слова непринятого, по тем или иным причинам отвергнутого. И думается, что не одному мне придется помянуть с любовью и благодарностью ушедшего писателя. Конечно, правы и редакторы, когда они на обложках своих журналов предупреждают, что «редакция ни в какую переписку с авторами по поводу непринятых рукописей не вступает», но чем же виноваты авторы, которым нужен совет и указание. Эту тягу к литературе, к художественному слову крестьянских и рабочих слоев, не имеющих литературной школы, прекрасно понимал Владимир Галактионович и по мере сил шел им навстречу. У меня нет полного материала, рисующего редакторскую чуткость покойного писателя, но если бы можно было собрать его, он бы прибавил еще несколько светлых страниц к характеристике этого замечательного человека, чутко откликающегося не только на горе общественное, но и на горе отдельных лиц, обращавшихся в редакцию к нему со своей, быть может и маленькой, но тяжело переживаемой печалью.

М. Ф. Николева

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Владимир Галактионович Короленко, приезжая в Петербург по делам «Русского богатства», часто останавливался у своего друга Николая Федоровича Анненского.

Дружба этих двух замечательных людей была исключительной: в основе ее лежали единомыслие и единодушие в общественном и моральном их отношении к жизни и к людям.

Владимир Галактионович называл Николая Федоровича Анненского Станкевичем 90-х годов или политической совестью передового общества.

Николай Федорович отличался высокой одаренностью, огромной эрудицией, живой, блестящей формой речи. Он готовился в студенческие годы к профессуре по истории, но борьба с самодержавием повела его по другому пути. Он принял участие в нелегальной работе, был сослан в Сибирь. По пути в Сибирь, в пересыльной тюрьме, Владимир Галактионович познакомился с Николаем Федоровичем, и они стали навсегда друзьями [1].

Семья Анненского, которую Владимир Галактионович любил, как родную, в которой он тоже был родным, самым дорогим человеком, была небольшая. Жена Анненского — Александра Никитична, — сестра известного революционера анархиста Петра Ткачева [2], детская писательница 80—90-х годов. Ни один ребенок из культурных семей не рос в те годы без ее «Зимних вечеров». Характерной чертой ее было спокойствие и выдержка во

всем: в тоне, в манере держать себя, говорить. Какой бы горячий спорный разговор ни поднимался, она спокойно, тихо высказывала свое мудрое слово, в то время как Николай Федорович был в принципиальных спорах пламенен, горяч.

Детей у них не было. Они воспитали с младенческих лет, как дочь, племянницу Александры Никитичны — Татьяну Александровну Богданович. После смерти мужа — редактора «Мира божьего» она жила у Анненских с четырьмя детьми.

Я училась на Бестужевских курсах вместе с Татьяной Александровной и была с ней очень дружна. До переезда стариков из Нижнего в Петербург мы жили с ней на одной квартире.

В марте 1896 года, когда Анненские уже поселились в столице, я была выпущена из дома предварительного заключения и некоторое время жила у Татьяны Александровны. Затем мне пришлось покинуть Петербург. Когда в 1908 году я вернулась в Петербург, мне опять посчастливилось несколько лет прожить в чудесной семье Анненских.

В этой семье на протяжении многих лет я часто встречалась с В. Г. Короленко.

Приговоренный

Приезд Владимира Галактионовича к Анненским был для всей семьи большим праздником. Одно известие о его приезде вызывало общую радость: о нем вспоминали, много говорили.

Однажды Короленко приехал в Петербург утром и вскоре отправился в редакцию журнала «Русское богатство». Мы, домочадцы, ждали Владимира Галактионовича к обеду. Наконец из передней послышался мягкий, приятный голос. В ярко освещенную столовую вошел твердой, прямой походкой бодрый, крепкий Владимир Галактионович. Лицо его было очень приветливо. Глядя на него, всем стало весело. Поздоровавшись, Владимир Галактионович поговорил с Александрой Никитичной, пошутил с детьми и стал, улыбаясь, что-то рассказывать Николаю Федоровичу, который острил по поводу его рассказа. Все смеялись.

Видимо, Владимир Галактионович отдыхал душевно в окружении близких людей, в общении с другом, глубоко и тонко понимавшим его. Приветливая улыбка не сходила с его оживленного, разрумянившегося лица.

Обед подходил уже к концу, когда горничная открыла из передней дверь и сказала: «Владимир Галактионович, вас к телефону».

Владимир Галактионович быстро встал и, отходя от стола, улыбаясь, сделал шутливое замечание по поводу сказанного Николаем Федоровичем. Мы все рассмеялись. Из передней у телефона послышалось: «Да, это я... приехал сегодня утром...» Потом наступило долгое молчание. Все затихли. Наконец послышался голос Владимира Галактионовича: «Хорошо, сейчас постараюсь сделать все, что можно, и позвоню вам; записываю ваш телефон».

Александра Никитична тихо сказала: «Что-то недоброе... и как это так скоро узнали о его приезде!» Николай Федорович так же вполголоса ответил: «В вечерней газете было уже сообщено, что он приехал».

Через минуту к столу подошел Владимир Галактионович. Перед нами был уже не тот человек, который только что так весело беседовал с нами: он побледнел, как будто осунулся, искрившиеся глаза потухли и остановились на одной точке, — он был глубоко взволнован. Изменившимся, глухим голосом Владимир Галактионович сказал: «Получено телеграфом известие о приговоренном к смертной казни. Просят помощи. Об этом мне была послана телеграмма в Полтаву, но она уже не застала меня...» «Я полагаю, — обратился он к Николаю Федоровичу, — сию минуту позвонить к Щегловитову, попрошу его принять меня сейчас же, буду настаивать, чтобы немедленно остановил исполнение приговора и передал бы дело приговоренного на пересмотр... Ах, не поздно ли?» — сказал он с таким выражением страха и печали, что словами передать нельзя.

Владимир Галактионович позвонил сейчас же. Судя по репликам, Владимир Галактионович говорил с секретарем министра. Он просил немедленно доложить министру о крайней необходимости видеть его неотложно. Наступило долгое напряженное молчание...

Быть вполне уверенным в благоприятном ответе Щегловитова не мог даже Короленко. Щегловитов,

тогдашний министр юстиции, был из консерваторов консерватор. Но общественный авторитет Короленко был так велик, что даже и у такого махрового реакционера не хватило духу отказать в его просьбе. Через несколько напряженных минут Владимир Галактионович получил согласие на прием, торопливо оделся и уехал. Долго мы ждали его. Наконец Владимир Галактионович возвратился с более спокойным, удовлетворенным лицом и сообщил, что Щегловитов при нем дал от своего имени телеграфное распоряжение не приводить в исполнение приговора до его пересмотра.

Ближайшие дни Владимир Галактионович был всецело озабочен этим делом.

Насколько мне помнится, хлопоты увенчались успехом [3].

Извозчик

В другой раз Владимир Галактионович приехал в Петербург вместе со своей женой Евдокией Семеновной. Это внесло в семью Анненских еще больше радости.

Евдокия Семеновна была женщина незаурядная. Ее сблизила с Короленко общая идейная работа.

Их знакомство началось еще в юные годы на студенческих сходках. Первое впечатление при встрече с ней — какая простота и естественность во всем, начиная с костюма! Темное, строгого фасона платье, с белым отложным воротничком. Совершенно гладкая прическа, с толстой косой, заколотой на затылке. Лицо спокойное, нелегко меняющее выражение, но необычайно мягкое, вдумчивое. Глядя на нее, я невольно говорила сама себе: «Вот женщина, которая никогда, ни в чем, ни ради чего не покривит душой, не скажет праздного или неискреннего слова». Она смотрит на людей как бы из глубины души благожелательным взглядом и понимает всех. Думалось, что люди могут сказать ей все о себе и найти в ней поддержку и утешение во всех своих бедах.

Раз мы очень долго ждали Владимира Галактионовича к обеду. Прошел час, другой, а его все нет. Детей накормили отдельно, а из нас, взрослых, никто не хотел обедать без Короленко. С недоумением поглядывали на часы. Позвонили в редакцию «Русского богатства». Ответили, что ушел около двух часов назад.

Что же это значит?

— Кого-нибудь из давних знакомых встретил, и его затащили к себе, — сказала Александра Никитична.

— Нет, в таком случае он позвонил бы, что-то другое... — тревожно заметила Евдокия Семеновна.

Наконец звонок. Является немного смущенный Владимир Галактионович. Торопливо садится за стол и трогательно, виноватым тоном, просит извинить, что задержал; огорчился, что ждали его.

— Где же вы были?

Владимир Галактионович просто, задушевно рассказал, что его задержало.

После работы Владимир Галактионович ехал на извозчике домой. Был уже на полпути, как вдруг упряжь расстроилась: хомут на лошади стал расходиться. На козлах сидел молодой паренек в огромном извозчичьем кафтане, с огромной шапкой на голове. Парнишка соскочил с козел, стал поправлять сбрую, но от неумения ли или от слабых сил не мог сладить с хомутом. Владимир Галактионович вышел из пролетки, затянул хомут. Парнишка от смущения за свое плохое извозчичье искусство раскраснелся, а глаза покрылись влагой, нежное лицо его исказилось горестной гримасой. Владимир Галактионович утешил его и хотел расспросить, что заставляет его так рано браться за работу — нужда ли или отец посылает, — как вдруг он заметил, что у мальчишки, когда он взбирался на козлы, мелькнуло из-под полы кафтана что-то длинное, розовое. Владимир Галактионович удивился и стал расспрашивать юного извозчика о нем самом. Оказалось, что на козлах — жена извозчика, а в те времена женщина на такой работе — явление небывалое. Ее муж — извозчик — тяжко болен, лежит в больнице, дома остались трое малых ребят запертыми, а она выезжает зарабатывать кусок хлеба. Конечно, Владимир Галактионович тотчас велел ехать к ее дому, куда-то на окраину города. Когда женщина отперла дверь, раздался дружный рев ребят. Картина открылась перед глазами Владимира Галактионовича жалкая: убогая обстановка, душный сыроватый воздух. На столе горшок с кашей, разбросанные ложки и лужа воды из опрокинутой кружки. Очевидно, тут только что происходила битва.

Конечно, после встречи с Владимиром Галактионовичем женщине не пришлось больше ездить в роли извозчика.

После обеда Владимир Галактионович подошел к Евдокии Семеновне, которая стояла рядом со мной, и что-то тихо ей сказал. Евдокия Семеновна так мягко, нежно положила свою руку на его руку и тоже тихо ответила: «Не беспокойся, Володя, завтра все сделаю». Жест, тон, выражение лица этой женщины говорили так ясно, что она готова не только исполнить это небольшое поручение, но перенести на себя все тяжести, какие упали бы на него.

Эту тихую, в послеобеденной суете никем не замеченную сценку забыть нельзя.

На другой день было воскресенье. Я по привычке вышла к чаю рано. Владимир Галактионович сидел уже в столовой с кипой рукописей в руках. Мне так хотелось выразить ему свое вчерашнее восхищение Евдокией Семеновной, что я не побоялась ни коснуться дорогой для него стороны жизни, ни помешать его работе, и высказала свое впечатление.

— Вы правильно отметили, — быстро ответил Владимир Галактионович, приветливо улыбаясь, — Евдокия Семеновна — замечательный друг. Вчера был повод незначительный, — я вам расскажу случаи огромной важности для меня. Когда бы я ни вспомнил о них, сердце переполняется радостным сознанием, что я счастливый человек.

И он начал охотно и взволнованно рассказывать. Был такой случай. Цензура угрожала редакции «Русского богатства» закрытием журнала за статью о Финляндии, написанную Короленко и Анненским [4]. Если бы журнал закрыли, издателям его пришлось бы выплатить подписчикам большой долг. И доля, падающая на Короленко, поглощала все, что имел Владимир Галактионович. У Короленок никогда не было лишних денег. Все, что зарабатывал Владимир Галактионович, уходило из рук при самых скромных собственных потребностях. Короленки всегда помогали множеству людей. Но в конце 90-х годов, после издания его рассказов, Короленко получил сразу какую-то большую сумму, и Евдокия Семеновна была довольна, что у них появился запас на «черный день». После Мултанского дела Короленко был

тяжело болен, работал с трудом. И вдруг долг журнала отнимет у них все.

— У меня не было никаких колебаний, — сказал Владимир Галактионович, — что долг необходимо было бы погасить. Но меня очень волновала мысль, что я огорчу Евдокию Семеновну. Придя домой, я даже сразу не сказал ей о беде журнала. Но она тотчас же заметила мое состояние и стала спрашивать, что случилось. Я рассказал. Она ответила мне так ласково, бодро, что вот прошло несколько лет, а слова ее звучат в моем сердце: «Ну, что же ты волнуешься? Ведь у нас есть сейчас, чем заплатить долг! Делай так, как подсказывает тебе совесть, а о нас не думай, не пропадем... Девочек работать научим. Самое важное, чтобы ты был собой доволен и чтобы ты был здоров».

По лицу, по тону, каким Владимир Галактионович рассказывал об этом случае, видно было, что, вспоминая о нем, он переживал глубокое чувство удовлетворения, даже счастия.

Прошло несколько недель. Короленки уехали в Полтаву. Наша жизнь без них вошла в свою обычную колею. Как-то в воскресенье на звонок открывают парадную дверь — являются: молодая женщина небольшого роста, миловидная, бедно, но аккуратно одетая, с ней высокий мужчина, худой, бледный, как восковой. О таких лицах говорят: «краше в гроб кладут». Оказалось, это пришла жена извозчика с выписавшимся из больницы мужем поблагодарить Владимира Галактионовича и Евдокию Семеновну за участие к ним. Александра Никитична встретила их приветливо. Подали самовар, закуску, пирог, только что испеченный. За столом женщина охотно разговаривала. Расспрашивала, кто такие Короленки. Сказала, что, получив поддержку от Короленко, она поспешила пойти в больницу к мужу, чтобы успокоить его. Она рассказала ему, какого пассажира им послала судьба. «Он чуть дыхал, — говорила женщина, — у него голова пылала, он про детей ничего не спросил, а тут сказал: «Есть же на свете такие люди, я от этого одного, Нюша, поправлюсь!» И заплакал». В то время как жена с волнением это рассказывала, извозчик сидел словно оцепеневший, к еде еле прикасался, словно чем-то удручен был,

Или он не вполне еще вернулся к жизни после тяжелой болезни, или был очень огорчен, что не застал «господина», так много им сделавшего. Скорей — последнее. Он раза три прерывал беседу вопросами, не идущими к разговору: «Они давно уехали? А когда они еще приедут?.. А можно почитать, что он пишет?»

Уходя, просил написать Короленко, что очень хотел его поблагодарить, просил передать ему низкий поклон и пожелание много лет здравствовать; передать, «что они век его не забудут».

Александра Никитична на прощанье снабдила их узелком с угощением для детей и дала книжку рассказов Короленко.

Что бы ни требовало участия Владимира Галактионовича — общественное ли дело или нужда отдельного человека, его вмешательство никогда не бывало мимолетным. Чужие несчастия всегда волновали его; он не мог не помочь чужой беде и делал это просто, без слов, как самое обыкновенное дело[...]

Переселенцы

Однажды вечером Владимиру Галактионовичу нужно было поехать на Московский вокзал сдать телеграмму и заказное письмо. Я попросила у него позволения поехать с ним, так как мне хотелось посоветоваться с ним по некоторым вопросам моей педагогической работы.

Был тихий зимний вечер.

На вокзальной площади началась уже страшная людская суета. Едва можно было проехать. Было время прихода и отхода поездов. Внутри вокзала, по тому коридору с выходом на перрон, в котором находилось почтовое отделение, тянулся непрерывный поток бегущих пассажиров с узлами и пакетами, носильщиков с чемоданами... толкотня, говор, шум. Ясно было, что поговорить мне не удастся, пока не выберемся из этой гущи людской. Я утешила себя тем, что обратно пойдем пешком, и тогда поговорю с ним о том, что меня интересовало. Владимир Галактионович стал в очередь перед окошечком почты, а я села на диван у противоположной стены. Оставалось смотреть на бегущую взад и вперед публику. Владимир Галактионович по мере прибли-

жения к окошечку нет-нет да все поглядывал налево в конец коридора, к выходу на перрон.

«На что это он все смотрит?» — подумала я и тоже очень внимательно посмотрела в ту же сторону, но ничего, кроме бегущей толпы, не заметила.

Отправив письма, Владимир Галактионович сказал: «Пройдемте к выходу, я вижу необычайную фигуру».

«Кого же это он усмотрел? Никого не вижу», — опять подумала я.

Когда подошли ближе, вижу, у двери стоит мужик в овчинном полушубке, одной рукой непрерывно открывает дверь, а в другой держит овчинную шапку, опрокинутую дном вниз. В шапке лежало несколько монет. Открытой головой, перевязанной через уши пестреньким платочком, мужик беспрестанно кланялся проходящим, прося милостыню. Владимир Галактионович стал его расспрашивать. Мужик оставил свой пост и повел нас в зал 3-го или 4-го класса. Картина предстала перед нами сердце сжимающая. В углу на полу расположилось несколько крестьянских семей: женщины с удрученными лицами, закутанные в теплые платки, на руках у них орущие грудные дети, завернутые в грязные тряпки. Около них копошилась куча ребят разных возрастов, из них неугомонные мальчишки дрались, несмотря на шлепки сердитой бабки. В центре табора, на мешке, сидел дряхлый старик, кашлял, кряхтел, со стоном покачивал головой, — видно было, что жизнь для него — одна тягота. Другая бабка, тощая, изможденная, совала плачущей девочке лет шести-семи вареную картошку и укладывала ее спать. Только одна девушка лет шестнадцати выделялась на этом жалком фоне загнанных, пришибленных судьбой людей. Чудесными, большими темными глазами она смотрела на все окружающее, и никакое недовольство, никакая печаль и нужда не отражались на ее нежном личике. Худенькая, но свеженькая — она цвела наперекор тяжкой судьбе. Рядом с ней сидела девочка лет девяти, положив голову к ней на колени, очень похожая на нее, с такими же длинными ресницами, но бледная и грустная.

Оказалось, это переселенцы из Тамбовской или Воронежской губернии, возвращающиеся из Сибири к

своему старому месту после неудачных попыток осесть на новой земле. Почти все свои запасы они проели. В Петербурге они задержались, чтобы собрать милостыню на дальнейший путь. Два мужика ходили по улицам и просили подаяния, а третий придумал занять место швейцара при выходной двери на перрон.

Владимир Галактионович попросил меня поехать домой и передать его просьбу Александре Никитичне приготовить чай. Он хотел дождаться возвращения мужиков, собиравших милостыню на улице, привести их к Анненским и, разузнав у них все обстоятельства их дела, помочь им.

Через некоторое время они вчетвером пришли к Анненским. Мужики сначала стеснялись, сели на краешки стульев и не знали, куда руки девать. Но через несколько минут от приветливой простоты обращения хозяев посмелели, от закуски и чаю согрелись и рассказали длинную эпопею своей нужды, надежды на переселение и горького разочарования, пережитого в Сибири. Они знали, что мучения их не скоро кончатся по возвращении на родину, что водвориться им на старое место будет очень трудно. Прекрасно знали это и Владимир Галактионович и Николай Федорович. В этом они и хотели помочь переселенцам. Николай Федорович через Вольноэкономическое общество, в котором он был председателем[5], Владимир Галактионович путем переписки с земством — помогли им войти в старую общину, вернуть свои наделы земли, получить от земства ссуду на покупку лошади, коровы — словом, завести кое-какое хозяйство. Подробностей их хлопот я не помню, но знаю, что они очень облегчили и сократили мучения этим разорившимся крестьянским семьям. Я сама читала весной письмо, написанное под диктовку этих трех мужиков и подписанное их каракулями с выражением бесконечной благодарности.

В этом эпизоде меня с самого начала интересовала даже не конкретная помощь Короленко, в успехе которой не было никакого сомнения, а та душевная стихия, которая постоянно влекла его к истоку человеческих бедствий, та его необыкновенная чуткость, которая помогала сразу постигать то, чего не видели равнодушные глаза большинства людей, и бросаться на помощь[...]

Голодная весна

В 1912 году Владимир Галактионович приехал в Петербург в апреле месяце. Старики Анненские были за границей. Николай Федорович был очень болен. Владимир Галактионович в этот приезд был занят журнальной работой больше, чем когда-либо[6].

Как-то у Владимира Галактионовича выдался вечер немного посвободнее, никого из посторонних не было — и Владимир Галактионович довольно долго беседовал за вечерним чаем с Татьяной Александровной и со мной. Разговор пошел о страшном бедствии — о голоде в средневолжских губерниях. Весной и летом 1911 года была сильная засуха. Посевы погорели с весны, так что не могли снять их даже на корм скоту. После опыта страшного голода 1891 года все передовое общество: студенчество, интеллигенция, рабочие — собирали деньги на столовые с гораздо большей отзывчивостью. Прогрессивная молодежь, особенно медицинская, уезжала в деревни на организацию столовых и на борьбу с эпидемиями. О голоде не хотели слышать только аристократия, буржуазия и чиновничество. На имя Владимира Галактионовича шли пожертвования из многих мест России.

Дочь Владимира Галактионовича Софья Владимировна со своей подругой — другом всей семьи Короленко, Марией Леопольдовной Кривинской вели борьбу с голодом в Бузулукском уезде Самарской губернии: они открыли столовые, врачебные пункты. Обе они отдались этому делу беззаветно. От Владимира Галактионовича поступали к ним регулярно пожертвованные средства, и население получило от них огромную поддержку: столовые обеспечивали всех нуждающихся, выдавались ссуды. Дети ходили в школу, среди населения уменьшились заболевания. Владимир Галактионович был в курсе их дел, умудренный собственным опытом, он помогал им советом, но, конечно, полной картины о их деятельности, об их отношениях с населением он не мог иметь: они писали ему о деле, об условиях работы, а не о себе. Поэтому Владимир Галактионович с огромным интересом слушал рассказ Татьяны Александровны о них, передаваемый ею со слов литератора, побывавшего в голодных местах. Он пробыл на месте работы С. В. Короленко и М. Л. Кривинской несколько дней, видел, как шла их жизнь с утра

до ночи, изо дня в день. Свидетеля их работы умиляло и восхищало, как две молодые девушки отдали все свои силы и все свое время тяжелой работе и всем нуждающимся в них. Его восхищали энергия и бодрость, с какой они неутомимо работали, их приветливость и участие к каждому, кто обращался к ним. А обращались к ним со своими нуждами и горестями все: мужики, женщины, старики. Писатель, рассказывая о их отношении к населению, передавал и отзыв народа о них. Все голоса сходились на том, что «таких барышень нет больше на свете». И сам рассказчик прерывал себя часто словами: «Какая же это красота! Как это прекрасно!»

А если прибавить к этому впечатлению от богатой духовной красоты в их работе еще и то, что Софья Владимировна была очаровательна по внешней привлекательности, миловидности, а Кривинская была в строгом смысле красавица, то понятно, что восхищение перед ними было бесконечно.

Надо было видеть радость на лице Владимира Галактионовича, когда он слушал рассказ о их работе. Улыбка не сходила с его лица, глаза сияли.

Между прочим, Татьяна Александровна сказала Владимиру Галактионовичу, что за последнее время стали уменьшаться взносы пожертвований в газету «Современное слово», воскресным приложением к которой она ведала. Даже пожертвования рабочих «Треугольника», вносившиеся до сих пор очень аккуратно, стали меньше: все думают, что с наступлением весны положение голодающих улучшилось. Татьяна Александровна просила Владимира Галактионовича написать небольшую заметку к следующему номеру приложения.

— Одна ваша строчка, Владимир Галактионович, будет иметь такое большое значение!

— Да, надо написать, напишу! [7]

Оживленное выражение лица уже не вернулось к нему. Он замолчал. Какая-то дума овладела им. Он вскоре ушел к себе в кабинет.

На другой день утром, когда я вошла раньше других в столовую, Владимир Галактионович сидел уже за столом, просматривал газеты. Рядом лежали исписанные листы. «Не заметка ли? вот интересно!» — мелькнуло у меня в голове. Он, верно, заметил мой любопытный взгляд и сказал:

— Я написал по поводу вчерашнего нашего разговора не заметку, а небольшой рассказ.

— Рассказ?.. Когда же вы успели написать его? верно, ночь не спали...

— Нет, под утро уснул, спал немного. Писал я недолго, а обдумывал долго... выбирал сюжет... Много картин из голодного года пронеслось перед моими глазами, наконец остановился на одном образе... Если хотите, прочтите...

Я с восторгом схватила поданные им листы[...][8]

Рассказ поразил меня сжатостью, простотой и глубиной содержания.

Позволю себе привести некоторые свои незначительные вопросы и соображения, обращенные мною тогда к Владимиру Галактионовичу, так как они дали повод ему высказать свои мысли, освещающие процесс создания этого рассказа. Понять хотя бы некоторые моменты в развитии образа и сюжета художественного произведения интересно большинству читателей.

— Вы, Владимир Галактионович, слышали этот рассказ священника еще в голод 1891 года, а как вы превосходно его помните! Речь, тон, манеру рассказчика — так и слышишь и видишь его перед собой, как живого.

По лицу Владимира Галактионовича промелькнула едва заметная улыбка.

— Или, может быть, все это вы придумали?

— Ни то, ни другое, — сказал Владимир Галактионович, и лицо его сразу оживилось.

— А образ Григория — поразительный! Какая стойкость в нем, какое героическое преодоление голода ради мечты о лошади! Вы встречали такого Григория?.. Или вы объединили черты многих?

Владимир Галактионович мягко и оживленно ответил:

— Вас, видимо, интересует, как сложился у меня этот рассказ?

Он встал и пошел в свою комнату, через минуту принес маленькую карманную книжечку и показал мне мелко исписанные странички.

— Я взял с собой эту старую записную книжку, так как знал, что здесь будут разговоры и о голоде тысяча

восемьсот девяносто первого — девяносто второго годов... Эта запись послужила толчком к рассказу.

Я с благоговением взяла в руки книжечку. Ей двадцать лет! В ней отражены впечатления одного из самых тяжких годов в жизни народа!

Вот эта запись от 15 апреля 1892 года:[9]

«После обхода больных мы поехали дальше в Михалков Майдан. Знакомство с священником Василием Павловичем Веселитским и его семьей произвело на меня своеобразное впечатление.

— Мы живем в стороне от мира, — говорил мне батюшка. — Газет не получаю, довольствуюсь епархиальными ведомостями. Не позволяют средства. Как-то давно приезжаю в Нижний, посетил родственника, тоже из духовного звания. Слышу, говорят о войне между Германией и Францией. «Да разве, говорю, воевали?» — «Что вы, говорят, где же вы живете?» (Лукавит, очевидно...) «А в Михалковом Майдане, говорю, там у нас это неизвестно. Эй, сынок, — перебил отец Василий свой рассказ, — поди-ка ударь в колокол. Раз, два и до пятку ударь...»

— Это, батюшка, зачем?

— А это я таким способом призываю сторожа, а его мы пошлем к сельским властям, чтобы собрали сходку.

— У вас, кажется, нужда поменьше других мест?

— Ох, большая!

— Большая, — подтверждает и матушка, — а в прошлом годе была еще больше. Изнуждался народ. Сухарики хлебные подавали мы ребятам, так верите, на заре, бывало, выйдешь на крыльцо коров доить, а уж они, ребятенки, ждут, дрогнут у крыльца. Что вы этакую рань, — мол? А что делать, известно, не спится голодным. На хутор тоже бегали. Налетят, как галчата. Приказчик Иван Степанович, человек жалостливый, тоже давал, да разве напасешься! Вот, говорят ребята эти, потерпите, у попа горох созреет, мы к вам бегать не станем... И правда, посеяли гороху грядки две. Думали: вот созреет, будет чем семинариста нашего в город проводить. Куда! И двух мер не намолотили с грядки. Так вот, как галчата, с утра на плетне и сидят.

— Вы, видно, не очень на них и сердитесь, — говорю я, глядя на соболезнующее выражение матушкиного лица.

— Что с ними поделаешь? Голодные.

— Да вот вам пример лучше всего, — прибавляет батюшка. — Приказчик, Иван Степаныч, едет по сенокосу. Глядь, мужик Егор лежит, не косит. «Что ты, говорит, лежишь?» Тот молчит, а другие за него уж говорят: «Что ему не лежать, поесть нечего. Ел все время козлеца... Трава такая желтым цветом расцветает, — а теперь и козлец перезрел. Брюхо-то вовсе пусто». Взял он его на хутор, накормил щами, хлеба дал. Вечером все ушли с покосу, глядь, кто-то при луне косой машет. Подходит ближе: «Егор! Что ты это?» — «А что ж, говорит, ноне я поел. Надо косить, пока сила не ушла. Завтра, чай, опять оголодаю...»

— Владимир Галактионович, эта запись — первое ваше непосредственное впечатление, давшее толчок к рассказу, подверглась такой глубокой переработке! Запись несложного факта — Егор, ослабевший от голода, лежит под кустом, а подкрепленный пищей, косит, — привела вас к созданию такого сильного образа, как Григорий. Между толчком к рассказу и его завершением — такое огромное расстояние! Как вы прошли этот путь? И почему вы рассказ вложили в уста священника, а не приказчика Ивана Степановича, который первый обратил внимание на Егора? Вы много встречали таких гордых мужиков, как Григорий? Как сильно выражена в нем черта, так свойственная нашему крестьянину: любовь к основе его хозяйства — лошади. Да и правда, что за жизнь мужика без лошади? — вечный батрак!

— Да... но не все в этом... Любовь к лошади — это уже следствие...

Владимир Галактионович задумался, помолчал минуту, потом продолжал:

— Каждый художник обладает в большей или меньшей степени не только накопляющей, но и избирающей памятью. В момент творчества его память сразу извлекает из накопленных впечатлений необходимый материал для художественного оформления основного замысла. Я долго думал сегодня ночью, как показать одну из определяющих черт русского народа, которую я давно чувствую в нем и люблю ее. Вековая связь мужика с землей, труд его на ней выработали в крестьянине сознание своего значения, несмотря на вековой же социальный и политический гнет над ним. Он сознает, что

труд его, хлеб, им добываемый, — основа благосостояния государства. Сознание такого значения его труда выработало в крестьянине чувство своеобразной гордости.

Образ Григория не сразу определился в моем воображении. Предо мной прошли вереницей многие лица крестьян, виденных мною в разное время и в разных местах. Во всех них, в большей или меньшей степени, жила эта черта, которую можно обобщить, как сознание своего трудового достоинства.

— Но рядом со скрытой гордостью вековой общественно-политический гнет породил в нашем крестьянстве такую приниженность, покорность... — заметила я. — И это гораздо сильнее сказывается в нем... перед каждым урядником издали шапку снимает, кланяется...

— Как бы сильно крестьянин ни чувствовал ту низкую ступень социальной лестницы, на которую он поставлен, сознание значения его труда живет в нем, — возразил Короленко. — Это скрытое чувство чести я часто наблюдал в голодный год. Голод являлся испытанием, жестоким испытанием и для народной гордости, и многие выдерживали его. Заметьте, ссуду крестьяне брали, как свое добро: с них собиралось зерно, им и возвращалось оно в годы бедствий. И на почве дележа ссуды происходили часто и споры и столкновения. Но совершенно иное отношение было у крестьян к столовым, организуемым на пожертвованные деньги. Это значило, по их мнению, пользоваться подаянием «Христа ради». Многие распухали, ели лебеду, а от столовых отказывались. Приходилось усердно разубеждать их.

Эту гордость трудового человека крестьяне не всегда ясно осознают, поэтому Григорий и определяет ее словами: «такой у меня карахтер».

— Ваши слова, Владимир Галактионович, осветили мне угнетенных наших мужиков совсем иным светом...

— К сожалению, немногие понимают с этой стороны наших крестьян. Поэтому я дал рассказ от лица священника, благожелательного, сочувствующего бедствию крестьян, но совершенно не понимающего «чудодея» Григория и наставляющего его проповедями. Григорий чувствует это непонимание и так решительно отвергает его наставления. Но «рассуждающий» мужик Сысой, которому эта внутренняя независимость родственна, понял Григория и, тоже по-своему, определил его: «из такого

карахтерного семейства, подохнет, а за «Христа ради» не возьмет». Это основной мотив. Ну, а детали рассказа легко подсказываются и воображением, и воспоминаниями о разбросанных во времени частных впечатлениях.

На этом наша беседа с Владимиром Галактионовичем о «Голодной весне» закончилась.

Все характерные черты Короленко, как художника и человека, отразились в этом маленьком рассказе, как лучи солнца всеми цветами радуги в капле росы.

Невольно является сожаление, что Горький не знал этого рассказа. Он присоединил бы его к тем произведениям Короленко, о которых он писал: «Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать» [10].

Номер 20 «Недели «Современного слова» от 23/IV — 1912 года, в котором был напечатан рассказ Короленко «Голодная весна», разошелся быстро, выполнив свое злободневное назначение — пожертвования на голодающих в Петербурге повысились и не спускались до конца лета, до нового урожая.

Рассказ с тех пор нигде не печатался. Владимир Галактионович о нем семье ничего не говорил.

Редактор приложения «Недели «Современного слова» Т. А. Богданович, перегруженная работой, совершенно забыла о нем. Автограф его не сохранился. В печати о нем никто не вспоминал. Под сильным впечатлением разговора с Владимиром Галактионовичем по поводу этого рассказа я положила номер приложения в тетрадь, в которую записывала высказывания Владимира Галактионовича, и рассказ пролежал благополучно в ней десять лет до смерти Владимира Галактионовича. В 1922 году я передала этот номер с напечатанным в нем рассказом «Голодная весна» Софье Владимировне Короленко. Неожиданное появление забытого рассказа было праздником для всей семьи Короленко.



В. Г. Короленко в кругу писателей

Слева направо: Н. Ф. Анненский, Р. Ф. Якубович, С. Я. Елпатьевский, П. Ф. Якубович, Е. С. Короленко, А. И. Куприн, Л. И. Елпатьевская, В. Г. Короленко, А. Н. Анненская. Куоккала (1901)

К. И. Чуковский

КОРОЛЕНКО В КРУГУ ДРУЗЕЙ

I

Дом, в котором поселился Короленко, был переполнен детьми. Дети были отличные: Шура, Соня, Володя и Таня. Я знал их уже несколько лет и с удовольствием водил их купаться, катал в рыбачьей лодке, бегал с ними наперегонки, собирал грибы и т. д.

— Странно, — сказала мне однажды их мать. — Я большая трусиха, вечно дрожу над детьми. А с вами не боюсь отпускать их и в море и в лес.

— Не усмотрите здесь, пожалуйста, аллюзии *, — сказал Короленко, обращаясь ко мне, — но когда мы были малышами, мама преспокойно отпускала нас купаться с одним сумасшедшим.

Потом помолчал и прибавил, как бы утешая меня:

— Сумасшедший был совсем безобидный, и мы его очень любили.

Это было сказано так благодушно, что, конечно, я нисколько не обиделся, тем более что сам Короленко, при всякой возможности, тоже брал с собою на взморье всю эту четверку детей — Шуру, Соню, Володю и Таню.

Там, на взморье, у него было любимое дело: он отыскивал на берегу плоский камушек и так искусно забрасывал в море, что прежде чем кануть на дно, камушек, скользя по воде, подскакивал не меньше двенадцати

* Намека. (Я впервые услыхал тогда слово «аллюзия».)

раз. У меня, как я ни старался, он подскакивал раз пять или шесть, а «дядя Володя» пошепчет над ним какое-то волшебное слово, разбежится и так зашвырнет его в воду своей сильной, короткой рукой, что тот, словно и впрямь заколдованный, летит рикошетом и ни за что не хочет погружаться на дно.

В том же году, чуть ли не в день рождения «дяди Володи», дети поднесли ему в подарок один из его излюбленных камушков с привинченной серебряной пластинкой, на которой гравированная надпись именовала его чемпионом рикошетного спорта.

Вообще многое в нем казалось детям необычным, чарующим. Как-то во время дождя они выбежали в сад и стали со смехом показывать пальцами на окошко во втором этаже, откуда высунулась его голова, кудлатая, густо намыленная: «дядя Володя» мыл голову прямо под летним дождем без помощи умывального таза, и вместе с дождевыми струями на землю стекала белая мыльная пена.

Дети видели здесь дерзновенное новшество, разрушающее ненавистную им рутину общепринятого мытья головы, и с упоением глядели в окно, словно там совершалось веселое чудо.

Очень насмешила их всех встреча «дяди Володи» с бродячим фотографом, который настиг его в переулке, неподалеку от дачи и, не спросив разрешения, стал целиться в него аппаратом. Аппарат был громоздкий, допотопной конструкции.

— Чуть только фотограф приготовится щелкнуть, — рассказывала мне на следующий день детвора, — дядя Володя поднимет портфель, закроет им все лицо, даже бороду.

Это проделывалось раз пять или шесть. Под прикрытием того же портфеля Короленко ускользнул в боковую калитку, и фотограф остался ни с чем.

Дело происходило в 1910 году, когда в России расцвела буйным цветом так называемая желтая пресса, которая ради дешевой сенсации публиковала интимнейшие фотоснимки с известных и полуизвестных писателей, изображавшие их то на пляже, то в дачном гамаке, то в бильярдной, то за бутылкой вина. Под снимками были игриво-развязные, вульгарные подписи. В этой пошлятине Владимиру Галактионовичу виделось растление

писательских нравов, и он самым решительным образом отваживал бесцеремонных репортеров.

Здесь, в Куоккале, ему так хорошо удалось защитить себя от всякой публичности, что даже соседние дачники и те не могли догадаться, что этот коренастый, кудрявый, седобородый человек в люстриновом потертом пиджачке, торопливо шагающий с набитым портфелем мимо их балконов и окон к станции дачного поезда, есть знаменитый писатель, имя которого с давнего времени окружено величайшим почетом.

Ездил он в город в определенные дни, и, когда вместе с толпой пассажиров ожидал поезда на станционной площадке, он ничем не выделялся из толпы, и я не помню, чтобы хоть один человек узнал его и сказал бы другому:

— Боже мой!.. Ведь это Короленко!

И было невозможно не вспомнить, что в нескольких километрах отсюда, по этой же Финляндской железной дороге, жил очень мучительной жизнью другой знаменитый писатель, Леонид Николаевич Андреев, и как был не похож его быт на жизненный стиль Короленко! Даже нарочно не выдумаешь такого контраста. Андреев был жертвой своей собственной славы. Его имя беспрестанно трепали газеты. Газетные репортеры ежедневно осаждали его: прельстившись их громкой шумихой, он уже не мог обойтись без нее и страдал, если она замолкала.

Короленко же, приехав в Куоккалу, как-то сразу завоевал себе право жить неприметно и тихо, вдали от всяких газетных сенсаций, ходить по субботам в баню, а порою в свободное время — когда работница была занята — брать заплатанную старую кошелку и — чаще всего в сопровождении детей — отправляться в ближайшую лавку за овощами и хлебом, а также за фунтом неказистых и липких конфет для Шуры, Сони, Володи и Тани — самых простых карамелек в красных, синих, зеленых бумажках. Дети были небалованные и очень радовались его карамелькам. После вечернего чая их отправляли спать. Но они умоляли взрослых оставить их за чайным столом хоть немножко, так как именно в эти часы Короленко был особенно оживлен, разговорчив и рассказывал самые интересные вещи.

Целые дни он работал у себя наверху или уезжал в город дачным поездом, тоже на целые дни, и единствен-

ной передышкой в его тогдашних трудах было для него вечернее чаепитие на дачной террасе, в кругу самых близких друзей. Чаепитие продолжалось часа два или три, и когда он бывал в ударе, его голос звучал неумолчно.

Жена и дети Владимира Галактионовича, насколько я помню, в то время отдыхали на юге [1]. А здесь, под Петербургом, на даче вместе с ним проживали его лучшие друзья: старик публицист Николай Федорович Анненский (родной брат Иннокентия Анненского) и его жена Александра Никитична. Их обоих Короленко любил как родных. Их племянницу, Татьяну Александровну Богданович — мать этой четверки детей, — он знал еще маленькой девочкой. Семья была дружная, работящая, спаянная, и в ней ему было так хорошо, что, сколько бы он ни пережил тяжелых часов при каждой поездке в город, к вечеру, за общим столом, он становился благодушен и радостен, и за все это время я ни разу не видел его в дурном настроении.

Приезжая в Питер, он обычно останавливался на квартире у Анненских и, если это случалось летом, поселялся вместе с ними на даче.

Жизнь на даче шла тихо и мирно. Никого не смущало, что уже третью неделю в редком березняке, неподалеку от дома, околачивался какой-то унылый блондин, от которого (хотя он был в мягкой, якобы артистической шляпе) так и разило полицейским участком.

Помню, как радовалась насмешница Шура, когда этого пинкертона укусила оса.

II

Судя по записям в моем дневнике, летом 1910 года я виделся с Владимиром Галактионовичем одиннадцать раз. 20 июня мы много бродили с ним и с Татьяной Александровной по вечерней Куоккале. 24 июня он был вместе с ней у меня, после чего я провожал их до самого дома. 5 июля я катал его в лодке, 7 июля мы побывали у Репина, который долго упрашивал Короленко позировать ему для портрета («один сеанс, не больше!»), но писатель в ту пору был вынужден «отклонить от

себя эту честь», — подлинные его слова, — ссылаясь на то, что ему придется покинуть Куоккалу в ближайшие дни.

Насколько я мог заметить в это короткое время, у Владимира Галактионовича была особая манера разговаривать: всякая его беседа с другими людьми сводилась к сюжетному повествованию, к рассказу.

Правда, он не завладевал разговором, как это свойственно многим даровитым рассказчикам. Напротив, он склонен был терпеливо и долго слушать рассказы других, прикладывая для этого к уху ладонь (с годами у него испортился слух) и давая своим собеседникам полную волю говорить что им вздумается, а сам вставлял только редкие реплики.

Но чуть только собеседники его умолкали, он принимался рассказывать им. Вообще, его разговор почти никогда не дробился на мелкие вопросы и ответы. Любимая форма речи была у него именно рассказ, просторный, свободный, богатый людьми, приключениями.

Умело изображал он всевозможных людей — не то чтобы перевоплощался в них, этого не было: он никогда не воспроизводил ни их физиономий, ни походок, ни жестов, ибо, не превращаясь в актера, всегда оставался рассказчиком, автором устных новелл. В большинстве случаев эти новеллы были невелики: исчерпывались в десять — пятнадцать минут, но каждая была так чудесно рассказана, что я, бывало, бегу поскорее домой записать их, пока они сохранились у меня в голове со всеми своими горячими красками. Но именно красок я и не мог передать — оставались какие-то бледные схемы, которые были так мало похожи на подлинники, что в конце концов я прекратил свои записи.

И теперь, воспроизводя кое-какие из них, я заранее предупреждаю читателей, что здесь не передано главное — очарование юмора.

Почти всегда он рассказывал что-нибудь из своей жизни, и хотя в его застольных рассказах чаще всего фигурировали обыски, ссылки, аресты, жандармы, железные решетки, сибирские этапы, урядники, кандалы, часовые, — основной тональностью всех его воспоминаний был тот особенный, мягкий, непритязательный короленковский юмор, какой слышится во многих его книгах, особенно в «Истории моего современника»[2]. В ту пору

существовала лишь первая часть этих мемуарных записок. Вторую он еще не успел дописать, а третья и четвертая даже не были начаты. Можно себе представить, с каким интересом мы слушали его рассказы о тех эпизодах, которым еще предстояло войти в будущие главы его ненаписанной книги.

Первый рассказ, который я слышал от него, был о «Капитале» Карла Маркса. Строгий смотритель тюрьмы, в которую был заключен Короленко, ни за что не пропустил бы эту крамольную книгу в тюрьму, но какой-то хитроумный арестант догадался убедить его в том, что «Капитал» есть руководство для тех, кто хотел бы стать капиталистом, разжиться деньгами.

— Полезнейшая книга, — сказал он, — учит, как приобретать капитал.

Это озорное истолкование марксизма вполне удовлетворило тюремщика, и самая революционная книга из всех когда-либо существовавших на свете получила беспрепятственный доступ в камеры царской тюрьмы, куда не допускались даже романы Тургенева [3].

Подобных эпизодов Короленко сохранил в своей памяти множество и, когда впоследствии они встречались мне на страницах его мемуаров, я не мог отрешиться от мысли, что в устном его изложении они были еще ярче, художественнее...

— В молодые годы, — рассказывал Владимир Галактионович в другой раз, — я служил корректором в газете Нотовича «Новости» [4]. «Новости» издавались без предварительной цензуры, и вдруг разнесся слух, что газете назначили цензора, который будет заранее просматривать весь материал и вычеркивать, что ему вздумается.

Возмущенный таким беззаконием, я решил встретить незваного гостя в штыки. И вот поздно вечером является к нам приземистый, угрюмого чиновничьего вида мужчина с большим картузом в руках и требует, чтобы ему немедленно выдали один из рассказов Лескова. В «Новостях» как раз в это время печатались серией лесковские «Мелочи архиерейской жизни» [5], и в них было немало такого, на что цензура могла наложить свою лапу.

— Дайте же мне «Мелочи» Лескова! — нетерпеливо повторил свое приказание чиновник.

— Не дам!
— То есть как это не дадите?
— Очень просто. Скажу наборщикам, и вы не получите оттиска.
— Почему? На каком основании?
— Потому что газета у нас бесцензурная, и вмешательство цензуры...
— Да ведь я не цензор. Я — Лесков.

Даже в этой комической схватке юнца Короленко с воображаемым представителем цензурного ведомства сказалась боевая натура будущего автора «Бытового явления».

О Нотовиче, редакторе-издателе «Новостей», Короленко рассказывал:

— Этот Нотович, как, впрочем, и многие другие издатели, не любил платить своим сотрудникам. Один провинциальный литератор (кажется, Слово-Глаголь), долго не получавший от него гонорара, прислал ему сердитое письмо: «Вы эксплуататор, паук, из-за вашего кровопийства я живу в нищете, у меня нет ни хлеба, ни дров...» и т. д.

Издателю так понравилось это письмо, что, ловко изъяв из письма все личные обращения к нему, он тотчас же тиснул его у себя в «Новостях» под сентиментальным заглавием: «Тяжкое положение провинциальных работников печати»[6].

Но гонорара так и не выслал *.

...Однажды зашел разговор о свирепствовавших тогда смертных казнях, и кто-то заметил, что для приговоренных к повешению самое страшное — точное знание даты, когда им предстоит умереть.

— Верно, — подтвердил Короленко и рассказал по этому поводу такую легенду.

Странствуя по белорусской земле, зашел как-то Иисус Христос к мужику ночевать. Он очень устал, хотел есть. Но у мужика не оказалось ни хлеба, ни щей. В избе даже присесть было негде: страшная грязь,

---

* Этот эпизод впоследствии был обнародован самим Короленко в «Истории моего современника». Но я считаю нелишним сохранить его здесь в том виде, как он был рассказан мне Владимиром Галактионовичем 24 июня 1910 года[7].

паутина, печь развалилась и вместо крыши — сплошная дыра.

Христос рассердился:

— Почему ты не позаботился ни о дровах, ни о пище?

— Ну вот еще! — ответил мужик. — Стану я заботиться о таких пустяках, если мне доподлинно известно, что я сегодня вечером помру.

В те времена каждый человек в точности знал день и час своей смерти.

Тут понял Иисус Христос, что такое знание вредит человеку, и тотчас же отменил этот вредный порядок вещей. С той поры люди стали охотнее жить и работать.

Выше я упомянул, что 7 июля того же года Короленко посетил «Пенаты» Репина[8]. Народу было мало: художник Гржебин, какая-то молчаливая дама, кто-то из дачных соседей — и только. После обеда гости поднялись в мастерскую, и Репин, которому я незадолго до того прочитал несколько вещей Короленко, в том числе знаменитый рассказ «Река играет», стал расспрашивать Владимира Галактионовича об этом рассказе.

— Все списано мною с натуры, — отвечал Короленко. — Перевозчика так и звали: Тюлин. Когда рассказ появился в печати, кто-то прочитал его Тюлину. Тюлин прослушал рассказ с удовольствием, причем не без злорадства припомнил, что дал мне самый поганый челнок. И внес от себя лишь небольшой корректив: «Это он врет: били меня в другой раз, не в этот».

— Тюлин жив до сих пор, — продолжал Владимир Галактионович, — а вот «бедный Макар» уже умер. На самом деле его звали Захаром, но он так и рекомендовался: «Я — «Сон Макара», за что ему порой давали пятиалтынный...

О писателях Короленко говорил много и часто. Нередко упоминал он и о художниках. В моем дневнике под 24 июня 1910 года записано, что после того, как он побывал у меня и я провожал его к дому, он всю дорогу рассказывал о Луговом, о Бальмонте, о Мачтете, о Гольцеве, а также о передвижниках и о Врубеле. Но, к великому моему огорчению, я понадеялся на свою память и не расшифровал этой записи, а теперь не могу вспомнить ни единого слова.

III

Все это время я не переставал удивляться, что он оказался таким уравновешенным, спокойным и благостным. Я так привык с самого раннего детства видеть в нем бойца, партизана, грудью защищающего угнетенных и слабых, что меня на первых порах поразил его мирный, идиллический быт с долгими беседами за чайным столом, со взрывами веселого смеха при каждой шутке остроумного Анненского.

Но вскоре мне пришлось убедиться, что первые мои впечатления были неполны и неверны.

Произошло это так.

10 июля я весь вечер провел у Анненских. Короленко, как всегда во время вечернего чая, был оживлен и рассказал нам несколько эпизодов из своей студенческой жизни, о которых впоследствии я прочитал в его «Истории моего современника».

Прощаясь с ним в тот вечер, я не думал, что через два-три часа мне посчастливится увидеть его снова.

Придя домой, я стал перечитывать его статью «Бытовое явление», которая после опубликования в журнале должна была выйти на днях в виде отдельной брошюры [9]. Гранки этой брошюры я принес от Короленко с собой, так как собирался написать для газеты статью о его последних вещах [10]. Теперь «Бытовое явление» по-новому взволновало меня: здесь без всякого пафоса, деловито и просто Короленко рассказывал на основании документальных свидетельств, как каждую ночь — и вчера и сегодня — в десятках российских застенков палачи спокойно удушают на виселицах так называемых смертников. Страшнее всего было то, что такое палачество, писал Короленко, стало будничной, повседневной, заурядной рутиной. Особенно потрясла меня глава «Как это делается?» — о тех незамысловатых, давно уже вошедших в привычку приемах, при помощи которых тюремщики ежедневно убивают людей.

Прочтя эту главу, я увидел, что мне не заснуть, и выбежал, — по своему тогдашнему обыкновению, без шляпы, босиком — на безлюдную, сонную улицу и вскоре — не помню как — очутился на взморье, километра за два от дома. Море было тихое и теплое. В воде, возле берега, плескались рыбачьи лодки, привязанные цепями

к столбу. Я сел в одну из них, все еще растревоженный чтением, и вдруг заметил вдали, на песчаном пригорке, невысокую фигуру Короленко, медленно и как-то понуро шагавшего к морю.

Почему-то его появление сильно удивило меня, словно я и не знал, что он живет тут, за углом. Я кинулся к нему и неожиданно для себя самого стал бессвязно, с какими-то всхлипами, говорить о его потрясающей книге. «Неужели, — заключил я нескладную речь, с мучительным стыдом ощущая всю риторичность своих восклицаний, — неужели найдется хоть один человек, который, прочтя вашу книгу, может лечь и спокойно заснуть?»

Он пристально и как-то отчужденно поглядел на меня и ничего не ответил. Я смутился и хотел убежать, но он взял меня под руку, подвел, как больного, к ближней купальне, усадил на влажную скамью и таким голосом, каким говорят только ночью и какого я прежде никогда не слыхал у него (словно это был другой Короленко, совсем не тот, какого я видел сегодня у Анненских), сказал, что он и рад бы не писать об этих ужасах, что его тянет к «художественному», но ничего не поделаешь: писательская совесть заставляет его погружаться с головой в публицистику. Всякий раз, когда он бросает искусство и принимается за писание статей, вроде «Бытового явления», на него нападают бессонницы, которые не дают ему ни жить, ни работать. Особенно сильно они донимали его, когда он боролся за жизнь мултанцев [11], и потом, когда обличал изувера Филонова, истязавшего украинских крестьян [12].

Оказалось, что и сегодня он не спит по такой же причине: разворошил у себя на столе собранные им материалы для новой статьи, которая будет еще пострашнее «Бытового явления»: в ней он расскажет те нередкие случаи, когда по приговорам военных судов власти вешают *невинных* людей [13].

Мы пошли по безлюдному пляжу, и он стал рассказывать дело одного из повешенных, ставшего жертвой судебной ошибки. Он помнил это дело до мельчайших подробностей: перечислял (как всегда во всех своих устных рассказах) имена и фамилии, точные даты, названия мест.

Не только писать об этом деле, но даже перелистывать свои материалы о нем значило для Короленко не

заснуть до утра. Недаром в последних строках своего «Бытового явления» он сделал такое признание:

«Читать это тяжело. Писать, поверьте, еще во много раз тяжелее».

И теперь мне впервые по-настоящему стало понятно, каким героическим подвигом было для Короленко писание каждой статьи, где он, не жалея себя, вступает в единоборство с ненавистным ему порядком вещей.

Такой крепыш, в самом расцвете физических сил, сегодня ночью он кажется мне утомленным и старым: нажил себе эту злую бессонницу, которая так не идет ко всей его широкоплечей фигуре и к кудрявым молодым волосам.

Мы долго шагаем молча, а потом я решаюсь заговорить с ним об одном своем плане, который не дает мне покоя уже несколько дней. Владимир Галактионович слушает меня очень внимательно, то и дело прикладывая к уху ладонь, так как я от волнения говорю почти шепотом. План у меня очень простой: обратиться к самым замечательным людям России, чьи имена авторитетны для всего человечества, с просьбой, чтобы каждый из них написал хоть несколько строк, гневно протестующих против кровавого террора властей. Мне почему-то думалось, что, если голоса знаменитых во всем мире людей сольются в одно дружное проклятие столыпинским виселицам, этому разгулу палачества будет положен конец. Пусть только в один и тот же день на странице одной из самых распространенных газет появятся сразу негодующие строки Льва Толстого, Горького, Короленко, Репина и других знаменитостей, корреспонденты тотчас же оповестят об этом все зарубежные страны, и всемирное общественное мнение обуздает озверелых насильников.

Владимир Галактионович отнесся к моему плану с величайшим сочувствием и не только согласился написать просимую мною статью, но тут же дал мне несколько ценных советов («Непременно обратитесь к Леониду Андрееву... Горькому я напишу от себя...» [14] и т. д.).

Тотчас же по отъезде из Куоккалы он написал для меня «Один случай», о чем и сообщил Татьяне Александровне в письме с дороги от 6 августа 1910 года:

«Когда увидите Корнея Ивановича, скажите ему, пожалуйста, что я не надул. Набросал в поезде заметку

(тему Вы знаете). Только сомневаюсь, годится ли: не уложился меньше 80—100 строк. А это, кажется, не то, что нужно по его замыслу. До Полтавы, может, еще придумаю что-нибудь более краткое и афористичное, а Вы все-таки спросите, пожалуйста, у него, явится ли такой размер препятствием, и черкните мне об этом в Хатки» *.

Но все это случилось потом, а тогда, в ту памятную ночь, я проводил его до самой калитки и по огоньку засветившейся лампы в окне его комнаты понял, что, воротившись к себе, он так и не прилег отдохнуть, а тотчас же сел за стол, растравляя свои усталые нервы трагедиями «ошибочно» казненных людей.

IV

Внизу у Анненских тоже горел огонек: у Николая Федоровича в эту ночь было, как впоследствии выразилась Александра Никитична, «что-то неладное с сердцем».

Сам Анненский терпеть не мог жаловаться на свои недуги и хвори.

Вообще это был один из самых жизнерадостных и мудро беззаботных людей, каких я когда-либо знал.

Случись вам познакомиться с ним где-нибудь в гостях или в поезде, вам и в голову не могло прийти, что этот смеющийся, веселоглазый, подвижной, краснолицый, общительный, седой человек, так и сыплющий остротами, — замечательный общественный деятель, бестрепетный публицист оппозиционного лагеря, много лет протомившийся в ссылках и в тюрьмах.

Вечно он напевал про себя какие-то бравурные арии — французские, итальянские, русские, — даже во время изучения самых запутанных статистических цифр, даже читая корректуры научных статей. У него была хорошая музыкальная память: стоило ему однажды услышать какой-нибудь новый мотив, и он мог воспроизвести этот мотив через многие годы.

---

* В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 10, Гослитиздат, М. 1956, стр. 454—455.

Для Шуры, Сони, Володи и Тани у него было всегда наготове такое множество каламбуров, загадок, скороговорок, считалок, шарад, что дети буквально изнемогали от смеха. Часы, проведенные с ним, были их лучшими праздниками.

Не то чтобы он был присяжный остряк, профессиональный забавник. Этого в нем и тени не было. Он часто ходил молчаливый, задумчивый, очень много читал по своей специальности на трех языках и, бывало, за чайным столом целыми часами не проронит ни слова, увлеченно слушая рассказы своего знаменитого друга. Но внезапно бросит какую-нибудь короткую реплику, все засияют улыбками, а он сидит как ни в чем не бывало и опять умолкает надолго, продолжая прихлебывать чай.

Еще до того как я близко познакомился с Анненским и стал его дачным соседом, в петербургском Литературном кружке (или обществе?) я сделал под его председательством какой-то доклад, с которым он был в корне не согласен. Это свое несогласие он высказал в сокрушительной речи, которую можно было бы назвать прокурорской: так беспощадно он расправился со мной и с каждым тезисом моего сообщения. В качестве докладчика я сидел рядом с ним, лицом к публике, очень огорченный, подавленный — и вдруг он наклонился ко мне:

— Странно!.. Вон в третьем ряду... поглядите-ка...

Я поглядел и ничего не увидел.

— Всмотритесь хорошенько! — настаивал он.

Но сколько я ни всматривался, я не видел ничего примечательного. Оказалось, что в третьем ряду уселись рядком литераторы, фамилии которых, по странной случайности, имели прямое отношение к обуви:

— Смотрите: Калошин, Лаптев, Башмаков, Каблуков... А вон там, подальше Георгий Чулков с Николаем Носковым! А сбоку, у самого края — Сапожников! Но почему же, скажите на милость, не пришел Голенищев?

И умолк, погрузившись в бумаги, словно и не говорил ничего.

Эта неожиданная шутка подбодрила и даже как бы приласкала меня. По непривычке к устным словопрениям, я чувствовал себя уязвленным речами враждебных ораторов — а враждебны были почти все до единого —

и жаждал возразить им с безоглядной запальчивостью, но Николай Федорович своими «Башмаковым» и «Лаптевым» сразу утихомирил меня, показав самым тоном своего обращения ко мне, что резкие нападки моих оппонентов, в том числе и его самого, отнюдь не обусловлены личной враждой.

Дискуссия по докладу была очень бурной и длительной. Когда она кончилась, Анненский вышел на улицу вместе со мной и, насколько я помню, с профессором Ф. Д. Батюшковым. Речь зашла о только что выступавших ораторах. Анненский на минуту задумался.

— Как по-вашему, — сказал он серьезным голосом, — если женить Боцяновского на мадам Колтоновской, родилась бы у них мамзель Ганжулевич?

Боюсь, что современный читатель не оценит этой меткой эпиграммы: Ганжулевич из тогдашних критиков была самая юная, но, к сожалению, столь же шаблонная, как и те достопочтенные авторы, с которыми так внезапно породнил ее Анненский. Она действительно была их духовная дочь.

Я с благодарностью оценил подтекст его шутки, опять-таки направленной к тому, чтобы хоть несколько облегчить то тяжелое чувство, которое мне пришлось испытать в этот вечер.

Взяв своего спутника под руку, он зашагал по опустелому Невскому фланирующей, беззаботной походкой. И, помню, я тогда же заметил, что пальто было на нем порыжелое, мятое.

Но так импозантна, осаниста была его красивая фигура, столько изящества было во всем его облике, что невзрачное его одеяние совсем не казалось убогим, а, напротив, придавало ему еще больше внушительности.

Он не был писателем по призванию и страсти. Самый процесс писания был ненавистен ему. Статьи, которые он писал для журнала, иногда совместно с Короленко (под псевдонимом О. Б. А., то есть «оба»), не отражали всего обаяния его талантливой и жизнерадостной натуры. Короленко не раз сокрушался о его нелюбви к писательству:

— Эх, Николай Федорович, если бы вы записали, что говорили сейчас, какая чудесная вышла бы статья!

Я, конечно, не вправе судить о его многочисленных трудах по статистике, но от людей понимающих я неод-

нократно слыхал, что в этой области у него немало бесспорных заслуг. В одном посвященном ему некрологе сказано, что он занимал «выдающееся место в ряду исследователей, изучающих экономический быт народа» *. В другом его зовут «знаменитым специалистом», «научными трудами которого создана целая школа, с именем которого связана целая эпоха в истории русской статистики» **.

На статистические данные Анненского, как известно, ссылался Ленин.

Судьба свела Короленко и Анненского еще в 1880 году в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме.

«В нашу камеру, — впоследствии вспоминал Короленко, — он вошел с улыбкой и шуткой на устах и сразу стал всем близким. Какая-то особая привлекательная беззаботность веяла от этого замечательного человека, окружая его как бы светящейся и освещающей атмосферой» ***.

Там, в тюрьме, Николай Федорович был постоянным зачинщиком всевозможных развлечений и забав, казалось бы немыслимых в ее мрачных стенах. Мне было весело видеть (в 1910 году) этих двух седобородых друзей, со смехом вспоминающих, как больше четверти века назад они играли в коридоре тюрьмы в чехарду или, взобравшись друг другу на плечи, затевали турниры с другими столь же могучими «всадниками».

Теперь жизнь крепко связала их снова нерасторжимою связью: они вдвоем редактировали «Русское богатство», которому повседневно отдавали много трудов и забот. Вообще, я не помню дня, когда бы они не возились — и на даче и в городе — с чужими рукописями, с корректурными гранками.

Одинаковость их мыслей была поразительна.

— Не помню, — говорил Короленко, — чтобы за всю жизнь у нас было хоть маленькое разногласие с ним.

Замечательно, что, несмотря на дружескую многолетнюю близость, между ними не было никакой фамильярности. Они говорили друг другу «вы» и неизменно величали друг друга по имени-отчеству. Со стороны их отно-

* «Русское богатство», 1912, № 8, стр. XV.
** Там же, стр. XII.
*** В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 7, стр. 106.

шения могли показаться даже чересчур церемонными, чопорными. Оба, как сказал где-то Горький (не о них, а о ком-то другом), равно питали большую «брезгливость к излишествам лирики». Именно из глубочайшего уважения друг к другу они никогда не демонстрировали своей взаимной приязни, и здесь мне виделся суровый закал шестидесятых — семидесятых годов.

V

Жена Анненского, Александра Никитична, которую Короленко и в письмах и в личном общении звал почему-то «тёточкой», — отличалась необыкновенным спокойствием.

Нельзя было и представить себе, чтобы она рассердилась, вспылила или хотя бы повысила голос. Рядом с ней ее муж, как это свойственно многим талантам, часто казался каким-то невзрослым, сохраняющим до последних седин свою детскость.

В былые времена, рассказывал мне Короленко позднее, им порою случалось «ссориться» — всегда по поводу каких-нибудь возвышенных принципов. Например, о наиболее справедливом распределении крестьянских земельных участков — тотчас же после того, как произойдет революция. В этих спорах Николай Федорович был очень горяч и порою доходил до неистовства. Она же всегда противопоставляла ему свое ледяное спокойствие. Чуть только он выйдет из себя, она сейчас же в свою комнату — и на ключ.

— Открой! — И он набрасывается на дверь с кулаками.

— Зачем?

— Я хочу сказать тебе, что я тебя ненавижу!

— Ну вот ты мне и так сказал.

Не проходило и часа, как Николай Федорович, вдоволь наволновавшись у запертой двери, громко выражал свое раскаяние, дверь открывалась (конечно, не сразу!), и спор о будущих судьбах крестьянства оказывался полюбовно решенным.

Из-за житейских, бытовых мелочей у Анненских никогда не было никаких столкновений. Спорили они обо всяких идейных — главным образом социальных — во-

просах и, конечно, невзирая на все эти бурные распри, дня не могли прожить друг без друга. Нужно ли говорить, что Александра Никитична следовала за своим мужем повсюду, куда бы царские власти ни ссылали его. Смолоду она была связана с революционным подпольем, участвовала в женском движении шестидесятых — семидесятых годов и уже тогда завоевала себе почетное имя как передовая писательница для детей и подростков: ею написано большое количество книг, проникнутых идеями той великой эпохи, которая сформировала ее духовную личность *.

Уже познакомившись с нею, я случайно узнал — и это заинтересовало меня больше всего, — что она родная сестра Петра Ткачева, известного в свое время публициста и критика, одного из самых ярых максималистов народничества, какие когда-либо существовали в России.

Его недаром звали якобинцем: ради того, чтобы революция могла произойти сейчас, а не завтра, он предлагал простое и радикальное средство: срубить головы всем без исключения жителям Российской империи старше двадцати пяти лет. Вообще, читая его грозные статьи в легальной и нелегальной печати и зная, что он был связан с Сергеем Нечаевым, я считал его одним из самых свирепых фанатиков и очень удивился, когда Александра Никитична поведала мне, что трудно было найти более мягкого, незлобивого и даже кроткого человека, чем он, покуда дело не касалось его убеждений **.

Слушая ее рассказы, я, помнится, тогда же подумал, что в ней самой сочетаются те же противоречивые черты ее брата: я уверен, что ее внучки (Соня — в Ленинграде и Таня — в Москве) вспоминают о ней как о самой добросердечной и любящей бабушке, но все же чувствовалось в ней что-то крутое, непреклонное, как и в ее брате Ткачеве. В другом месте мне уже случалось рассказывать, что она была убежденная противница сказок и, воспитывая Танюшу, свою племянницу и при-

---

* Из ее произведений мне запомнились повести: «Брат и сестра», «Гувернантка», «Надежда семьи», «Чужой хлеб». Ей принадлежат биографии Франклина и Нансена. В демократически настроенных кругах эти книги пользовались большой популярностью.

** Это подтверждается и воспоминаниями Анненской «Из прошлых лет», «Русское богатство», 1913, № 1, стр. 63.

емную дочь *, всячески оберегала ее и от «Гусей-лебедей», и от «Конька-Горбунка» [15] и читала ей, семилетней, главным образом научные книги по зоологии, ботанике, физике **.

В этом деле она не знала никаких компромиссов.

Но мне хочется тут же прибавить, что во всем остальном она обнаружила большой педагогический такт. Благодаря ей Татьяна Александровна стала одной из образованнейших женщин: превосходно знала языки, превосходно изучила русскую и мировую историю. Она тоже написала много книг и, уже в советское время, к концу своей жизни, создала ряд исторических романов для юношества.

Был у Александры Никитичны еще один воспитанник, Иннокентий Анненский, впоследствии поэт и ученый. Он остался сиротой в раннем детстве и вырос в семье своего старшего брата. Александра Никитична относилась к нему с материнской заботливостью.

Теперь они редко встречались, и когда я увидел их вместе (это было всего лишь однажды), мне показалось, что он, заслуженный писатель, пожилой человек, стесняется, робеет перед нею, как школьник. Не знаю почему, она редко говорила о нем, и лишь впоследствии, лишь из его книги «Кипарисовый ларец» я узнал, что он посвятил ей задушевные строки, где с большим поэтическим чувством вспоминает то далекое время, когда он был ее учеником и воспитанником [16].

VI

Несмотря на бессонницу, Короленко в последние дни своего пребывания в Куоккале упорно с утра до вечера работал над той статьей, которая так волновала его: о бесчеловечии военных судов.

Но вот всему дому каким-то образом стало известно, что в ближайшее воскресенье к Короленко собирается приехать с визитом его знаменитый сосед — Леонид Николаевич Андреев. В ту пору Андреев был все еще на высоте своей славы. «Красный смех», «Черные маски»,

* Татьяну Александровну Богданович.

** Подробнее см. в моей кинге «От двух до пяти», М, 1961, стр. 193—194.

«Царь-Голод» были, как говорится, у всех на устах. Незадолго перед этим появился его бьющий по нервам «Рассказ о семи повешенных» [17], который был воспринят читателями как гневный протест против столыпинских виселиц.

Короленко, насколько я помню, любил ранние произведения Леонида Андреева, но к позднейшим относился скорее враждебно: слишком уж разные были у обоих писателей темпераменты, литературные вкусы, сюжеты, цели. Леонид Николаевич хорошо это знал и сам не питал к Короленко особенно сильных симпатий, но у него до конца его жизни бывали внезапные приливы любви к самым неожиданным людям, перед которыми он жаждал излить всю свою тоску одиночества.

Помню, как он увлекся однажды профессором С. А. Венгеровым, кропотливым книголюбом, начетчиком, не имевшим, казалось бы, ни одной точки соприкосновения с ним, а в другой раз — язвительно-ироническим А. Г. Горнфельдом, остроумным лингвистом и насмешливым критиком. Приходил к ним с порывистой, искренней и пылкой почтительностью, задавал им жадные вопросы о самых первоосновах их верований, произносил перед каждым длиннейшую речь, своего рода «исповедь горячего сердца», длившуюся иногда часа три, и, вызвав у каждого недоумение, смущение, растерянность, внезапно уходил, чтобы уже никогда не вернуться.

С такой же силой потянуло его теперь прилепиться душой к Короленко, с которым он недавно познакомился [18], и вот 20 июля с утра скромная куоккальская дача стала готовиться к приему знаменитого гостя. В ближайшей лавчонке была закуплена новая партия знакомых конфет — в синих, зеленых и красных бумажках. Татьяна Александровна испекла два незатейливых пирога — один с капустой, другой с яблоками. У калитки сами собою возникли фотокорреспонденты, газетчики, узнавшие о предстоящем литературном событии. У забора на пыльной дороге появились разодетые дачницы, явные поклонницы Леонида Андреева. Даже Шура, Соня, Володя и Таня чувствовали, что сегодня какой-то особенный день.

Утром приехал по литературному делу с сыном и племянником писатель Елпатьевский, Владимир Галактио-

нович и Анненский приняли его очень радушно. Для них это был свой человек. Они тотчас же уединились с ним в комнате Анненского, долго читали какую-то рукопись, потом сошли в сад, где, по случаю прекрасной погоды, был приготовлен стол для чаепития.

Обещал Леонид Николаевич приехать к чаю. Но вместо него примчался на финской тележке потный, растрепанный, волосатый студент, учитель его сыновей, и, запыхавшись, сказал, что у Леонида Николаевича разыгралась мигрень и он вынужден отложить свой визит.

Не успел Короленко выразить свое сожаление, как примчался другой гонец:

— Леониду Николаевичу лучше, и он все же постарается приехать.

— Вот и чудесно! — сказал Короленко и хотел возобновить разговор, но в калитку протиснулись два репортера и возбужденно сообщили:

— Он едет!

Короленко молча воззрился на Анненского. У Николая Федоровича был магический талант выпроваживать незваных гостей. В обращении с ними он становился особенно учтив и покладист и мягко, деликатно, без шуму выполнял свою многотрудную миссию. На этот раз не прошло и минуты, как он выставил пришельцев за калитку, улыбаясь им самой приветливой улыбкой.

Потом вбежала какая-то пунцовая дама и, не знакомясь ни с кем, сообщила:

— Приехал! Уже вышел из вагона... здесь... на станции!

— Очень рады, — сказал Короленко. И никогда еще я не видел так явственно, чтобы суетной, суетливой и мучительно тягостной жизни Леонида Андреева была противопоставлена такая спокойная здоровая душевная ясность.

Ожидая Андреева, я нервничал больше всех и, сам того не замечая, механически брал со стола карамельки и глотал их одну за другой, так что у моей чайной чашки выросла гора разноцветных бумажек.

Николай Федорович всмотрелся в нее и сказал мне задумчивым голосом:

— Вот вы скушали все «Черные маски» и весь «Красный смех», а ему оставили... «Царь-Голод»!

Короленко засмеялся от души. Он любил каламбуры остроумного друга.

Стал накрапывать дождик. Мы перешли на террасу. Вместо пяти часов Леонид Николаевич, томный, эффектно-красивый, больной, приехал в начале седьмого.

С первой же минуты я понял, что никакого сближения между ним и Короленко не будет.

В сущности, Андреев очутился во вражеском лагере. Дело было даже не в том, что и Короленко и Анненский возглавляли журнал, где в последнее время сурово осуждалась андреевщина;[19] оба редактора были значительно шире узкой программы руководимого ими журнала. Но вся обстановка сложилась не та, какую рассчитывал найти Леонид Андреев.

Он жаждал нервических, надрывных излияний, длинных ночных монологов, обнажающих его «тайное тайных» во вкусе Мити Карамазова или Раскольникова. А его усадили за общую семейную трапезу рядом с Елпатьевским, который говорил о чем-то своем, потом Короленко, как любезный хозяин, счел долгом рассказать несколько интереснейших случаев из своей жизни в Румынии. Рассказывал он, как всегда, превосходно, со множеством колоритных деталей, но Андреев, слушая его, очень скоро увидел, что в такой обстановке не будет никакого простора для его излюбленных ночных излияний, сразу заскучал и нахмурился, стал прикладывать пальцы к вискам и, почувствовав новый припадок мигрени, поторопился уехать к себе в Ваммельсуу...

— ...Нет, он все-таки хороший человек, — сказал Короленко, словно возражая кому-то. — Очень, очень хороший... и милый.

— Но странно, — сказала Татьяна Александровна, — вот он и знаменитый, и молодой, и красивый, а жалко его почему-то.

И все заговорили о другом.

VII

Провожая Андреева вместе с хозяевами к ожидавшей его финской тележке, я успел на ходу рассказать ему в кратких чертах о плане протеста против столыпинских виселиц.

Он после первых же слов обещал мне живое содействие.

Дальнейшая история этого дела такая.

24 октября 1910 года я наконец отважился написать письмо Льву Толстому, которое, как я недавно узнал, хранится в толстовском архиве и напечатано полностью в комментариях к его дневникам.

«С этим своим планом, — говорил я в письме, — я обратился к Владимиру Галактионовичу Короленко, и он, одобрив мою мысль, прислал мне из Полтавы превосходный набросок «Один случай», где рассказывает о суде над Васильевым, которого спасло вмешательство швейцарского правительства... Илья же Ефимович Репин вчера мне прислал свое красноречивое и пылкое осуждение виселице, — и это дает мне смелость обратиться и к Вам, Лев Николаевич, с такой же мольбой: пришлите мне хоть десять, хоть пять строчек о палачах и о смертных казнях, и редакция «Речи» с благоговением напечатает этот единовременный протест лучших людей России против неслыханного братоубийства, к которому мы все привыкли, которое мы все своим равнодушием и молчанием поощряем. Любящий Вас К. Чуковский» *.

Теперь я написал бы это письмо по-другому, но ведь оно написано полвека назад! Толстой откликнулся на мое письмо небольшой статьей «Действительное средство». Закончить ее в Ясной Поляне ему не пришлось, он совершал тогда свой знаменитый «уход», но и в эти трагические предсмертные дни не забыл о мучительной теме, взял с собой начатую рукопись и закончил ее в Оптиной пустыни — по пути в Шамардино и Астапово. Эту небольшую статью — последнее произведение Льва Толстого — я получил в самый день его похорон от Черткова (в деревне Телятинки).

Таким образом, у меня на руках оказались подлинные рукописи трех всемирно известных людей, я приобщил к ним горячий памфлет Леонида Андреева и поспешил доставить их в редакцию «Речи», с тем чтобы в ближайшем же номере были напечатаны все четыре статьи.

---

* Цитирую это письмо по последнему тому «Дневников и писем Л. Н. Толстого», М. 1935, стр. 560—561.

Но — чего я никак не предвидел! — редакция в последнюю минуту испугалась и без долгих колебаний отвергла собранные мною статьи. «Напечатать четыре «прокламации» сразу, на одной полосе — да ведь за это штраф, конфискация номера! — заявили мне заправилы газеты. — Отдельно, порознь — это, пожалуй, возможно, да и то через большие промежутки, но в один и тот же день — ни за что!»

Сунулся я было в другие редакции, и там услышал такой же ответ. Пришлось печатать и Толстого, и Короленко — отдельно [20], а от статьи Репина и совсем отшатнулись: она была еще резче других. Нецензурной показалась боязливой редакции и статья Леонида Андреева.

VIII

Однажды, воротившись к Анненским вместе с детьми после далекой прогулки, я увидел на террасе за чайным столом моложавого, красивого, полного, необыкновенно учтивого гостя, которого вся четверка детей приветствовала как старого друга. Он встал со стула и галантно поздоровался с ними — каждому сказал несколько благоволительных слов, потом с какими-то затейливыми, чрезвычайно приятными круглыми жестами, выражавшими высшую степень признательности, принял от хозяйки чашку чаю и продолжал начатый разговор.

Это был профессор Евгений Викторович Тарле, и не прошло получаса, как я был окончательно пленен и им самим, и его разговором, и его прямо-таки сверхъестественной памятью. Когда Владимир Галактионович, который с давнего времени интересовался пугачевским восстанием, задал ему какой-то вопрос, относившийся к тем временам, Тарле, отвечая ему, воспроизвел наизусть и письма и указы Екатерины II, и отрывки из мемуаров Державина, и какие-то еще неизвестные архивные данные о Михельсоне, о Хлопуше, о яицких казаках. .

А когда Татьяна Александровна, по образованию историк, заговорила с Тарле о Наполеоне III, он так легко и свободно шагнул из одного столетия в другое, будто был современником обоих столетий и бурно участвовал в жизни обоих: без всякой натуги воспроизвел

наизусть одну из антинаполеоновских речей Жюля Фавра, потом продекламировал в подлиннике длиннейшее стихотворение Виктора Гюго, шельмующее того же злополучного императора Франции, потом привел в дословном переводе большие отрывки из записок герцога де Персиньи, словно эти записки были у него перед глазами тут же на чайном столе.

И с такой же легкостью стал воскрешать перед нами одного за другим тогдашних министров, депутатов, актеров, фешенебельных дам, генералов, и чувствовалось, что жить одновременно в разных эпохах, где теснятся тысячи всевозможных событий и лиц, доставляет ему неистощимую радость. Вообще для него не существовало покойников: люди былых поколений, давно уже прошедшие свой жизненный путь, снова начинали кружиться у него перед глазами, интриговали, страдали, влюблялись, делали карьеру, суетились, воевали, шутили, завидовали — не призраки, не абстрактные представители тех или иных социальных пластов, а живые, живокровные люди — такие же, как я или вы.

Я слушал его зачарованный. И, конечно, не только потому, что меня ошеломила его необычайная память, но и потому, что я никогда не видал такого мастерства исторической живописи. Прислушиваясь к беседам Короленко с Тарле, я впервые увидел, каким глубоким знатоком старины был Владимир Галактионович: русский восемнадцатый век он знал во всех его мельчайших подробностях не как дилетант, а как настоящий ученый исследователь, и в этой области его эрудиция, насколько я мог судить, была не ниже эрудиции Тарле.

Для того чтобы так подробно говорить, например, о пугачевском восстании, как говорил о нем он, нужно было многолетнее изучение рукописных и печатных архивных источников.

— Вот напишите-ка историю Волги, хотя бы за последние четыреста лет, — говорил он Евгению Викторовичу, — это и будет история русских народных движений, тут и раскольники, и Разин, и Емельян Пугачев.

И было видно, что ему самому эта тема дорога и досконально известна.

Кроме Тарле, из тогдашних посетителей куоккальской дачи, где жил Короленко, мне запомнились также «Редьки́», то есть инженер Александр Мефодьевич Редько с

женой Евгенией Исаковной: оба они были связаны с «Русским богатством», так как помещали там свои критические статьи и рецензии, сочиняемые ими вдвоем. Это были превосходные люди, бывшие ссыльные. Владимир Галактионович относился к ним дружественно и всякий раз молчаливо поддерживал их, когда они затевали со мной баталии по поводу Блока, Метерлинка, Сологуба, Валерия Брюсова и многих других модернистов, которыми я тогда увлекался.

В качестве рьяного поклонника «новой поэзии» я делал немало напрасных попыток пропагандировать ее среди обитателей дачи, и теперь мне даже совестно вспомнить, с каким мальчишеским азартом, что называется закусив удила, я набрасывался на несокрушимых «Редько̀в», неизменно подстрекаемый к бою колкими «зоилиадами» Александра Мефодьевича, окрашенными украинской флегмой. Пропаганда моя не имела никакого успеха.

Николай Федорович, хотя и был родным братом Иннокентия Анненского, огулом высмеивал любимые мною стихи модернистов при помощи всевозможных эпиграмм и пародий.

О, не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски,
Не то смотри, как леопарды мщенья
Острят клыки! [21] —

напевал он на мотив какой-то оперетки.

Редько̀ противопоставлял модернистам поэзию Лермонтова, Гейне, Некрасова, Курочкина.

Я же был не способен понять, почему нельзя в одно и то же время любить и Блока и Лермонтова, почему один исключает другого, почему восхищение Некрасовым препятствует мне восхищаться хотя бы «Незнакомкой» и «Балаганчиком» Блока. В комнате Анненского, над самым его изголовьем, я написал тушью на низком потолке:

«Николай Федорович! Блок замечательный русский поэт!»

Во время наших споров Короленко молчал, но я чувствовал, что его симпатии не на моей стороне.

Наши вечные разногласия и споры не помешали мне и Александру Мефодьевичу сильно привязаться друг к

другу. Мы и наши семьи тесно сблизились на долгие годы.

Кажется, тем же летом (а может быть, и позднее, не помню) я как-то привез к Владимиру Галактионовичу с его разрешения группу молодых «сатириконцев»: Аверченко, Ре-Ми и кого-то еще. Как произошло их свидание, я почему-то забыл.

Запомнился мне лишь один эпизод. Когда я знакомил Короленко с талантливым карикатуристом Ре-Ми, Владимир Галактионович сказал ему:

— Мы уже с вами встречались... в поезде Финляндской железной дороги.

Ре-Ми покраснел и признался, что, желая нарисовать для «Сатирикона» карикатурный портрет Короленко и узнав от меня, в какие дни и часы писатель возвращается на дачу из города, он стал пробираться в вагон, где сидел Короленко, и устраиваться на противоположной скамье, дабы возможно лучше запечатлеть в своей памяти его волосы, брови, глаза.

— Эти «сеансы» повторял я не раз. Хотелось покрепче запомнить каждую черточку на вашем лице, — закончил свое признание Ре-Ми.

— Вот потому-то, — сказал Короленко, — мне и запомнилась каждая черточка на вашем лице. Только (извините, пожалуйста), заметив, что вы всякий раз норовите устроиться поближе ко мне и потом всю дорогу не спускаете с меня своих въедливых глаз, я подумал (только не сердитесь, пожалуйста), что у вас *другая* профессия.

В то время вагоны буквально кишели шпиками, и мудрено ли, что Владимир Галактионович принял за одного из них молодого художника, пожиравшего его глазами с такой жадностью?

В одном из номеров «Сатирикона» можно отыскать тот портрет Короленко, который исполнен Ре-ми на основе вагонных «сеансов»[22]. Это шарж, не только не обидный, но даже, пожалуй, почтительный. Помню, он понравился И. Е. Репину и артистизмом исполнения и сходством. Дочь Короленко Софья Владимировна говорила мне (через несколько лет), что Владимир Галактионович тоже очень одобрял этот шарж.

IX

В 1911 году Владимир Галактионович заехал ко мне в Куоккалу ранней весной — 1 апреля. Борода у него стала рыжеватой от каких-то лекарственных мазей, слышал он гораздо хуже, чем в прошлом году, но его обветренные крепкие щеки показались мне гораздо свежее. Приехал он со станции в санях, вместе с Татьяной Александровной, — поискать для Анненских в Куоккале дачу на лето. По дороге сани потерпели аварию: налетели с разбегу на тумбу. Остановив их у нашей калитки, финн-извозчик принялся хлопотливо возиться с поломанным полозом. Владимир Галактионович взял у меня гвозди, топор и бечевку и стал так искусно ремонтировать полоз, словно это было его специальностью. Во всех его быстрых и мастеровитых ухватках была какая-то крестьянская сноровка, и сам он сделался похож на крестьянина.

Мы всей семьей вышли из дому на блестевшую весенними лужами улицу — полюбоваться его спорой работой.

Увидев детей (моих и соседских), тесно обступивших его, он дал каждому из них по апельсину.

Вообще в тот день он был как-то особенно словоохотлив, добродушен и весел. Дачу удалось снять очень скоро, — кажется, прежнюю дачу, и с наступлением лета я опять мог возобновить свою дружбу с Шурой, Соней, Володей и Таней.

Отец этой четверки детей был известный критик Богданович, приятель Короленко по Нижнему-Новгороду. У него было редкое имя — Ангел: Ангел Иваныч. Поэтому Короленко называл его детей: «ангелята». Однажды, сидя в лодке и собираясь отплыть, я увидел, что Владимир Галактионович гуляет с «ангелятами» над Финским заливом и — как это часто бывало — тешит их своим дивным искусством забрасывать в море прибрежные камушки так, чтобы те прыгали по воде, как лягушки. Но вот «ангелят» увели домой по какому-то делу (кажется, пить молоко), а Владимира Галактионовича я пригласил к себе в лодку. В море нас встретили мелкие, но сильные волны. Ветер весело накинулся на люстриновый пиджак Короленко, заплясал в его кудрях и бороде, а сверкающий под солнцем кронштадтский собор запрыгал то вверх, то вниз, и как-то само собою вышло, что

я, радуясь солнцу и ветру, неожиданно для себя самого стал громко читать нараспев стихи моих любимейших поэтов. Среди них замечательную балладу Шевченко:

У тієї Катерини
Хата на помості, —

после нее куски из «Неофітов», из гениальной «Маріи», потом перешел на Некрасова — и не заметил, что нас относит все дальше на север и что Короленко ухватил какой-то обломок весла и, умело орудуя им, сильными руками направляет нашу лодку прямо к берегу, где был наш причал. Таким он и запомнился мне: ладный, ухватистый, крепкий — на морском просторе, с открытой ветрам головой.

О прочитанных мною стихах он тогда не сказал ничего, но через несколько дней неожиданно вспомнил о них и, как это ни странно, попрекнул меня ими.

Это было вечером; мы возвращались со станции и присели отдохнуть на полпути у колодца. Зашел почему-то разговор обо мне, и Короленко сказал без обиняков, напрямик, что я иду по неверной литературной дороге, отдавая все свои силы газетным статьям-однодневкам. Что я пишу слишком звонко, задиристо, с «бубенцами и блестками». Что многие мои парадоксы производят впечатление фейерверков: «Но ведь фейерверк взовьется и потухнет, и кто же варит себе пищу на фейерверках!»

— Добро бы вы были записной фельетонщик. Тогда и разговаривать не о чем. Но вот вы любите Некрасова, Шевченко, а между тем...

— Может быть, — продолжал он, — мой совет покажется вам тривиальным, но другого пути у вас нет: если вы хотите сделаться серьезным писателем, вы должны взвалить на себя какой-нибудь длительный, сосредоточенный, вдумчивый труд, посвятить всего себя единой теме, которая была бы насущно нужна широчайшему кругу людей.

Говорил он не теми словами, которые я здесь привожу по памяти, — полвека спустя, — но смысл его речи был такой [23].

Так как все, что он говорил, я давно уже чувствовал сам, я разволновался и долго не находил слов для ответа.

Он же глядел на меня выжидательно. Но через несколько минут, угадав, что отвечать мне мешает взволнованность, вновь заговорил, на этот раз мягче и дружественнее. Кончилось тем, что я тут же, у колодца, поведал ему все мои писательские замыслы, из коих он одобрил лишь один — посвятить себя изучению Некрасова (который в ту пору был совсем не изучен) — исследовать его эпоху, его жизнь, его мастерство и во что бы то ни стало восстановить те пробоины, которыми с давних времен исковеркала произведения поэта цензура.

Эта тема пришлась ему по сердцу, и его поощрительные слова так распалили меня, что мне захотелось сейчас же, не теряя минуты, бежать к себе, к своей старой чернильнице, чтобы, не дожидаясь рассвета, взяться за работу, для которой увы, у меня еще не было ни нужных материалов, ни навыков[24].

Почему-то впоследствии, встречаясь со мной, Короленко никогда не вспоминал о нашем ночном разговоре, и я, из понятной застенчивости, так и не решился сказать ему, что этот «разговор у колодца» я считаю одним из важнейших событий всей своей писательской жизни.

X

...В 1912 году Владимир Галактионович жил в Питере, и я заходил к нему изредка. Особенно запомнилась мне встреча с ним 15 мая. Никогда я не видел его таким переутомленным, изнервленным Два его ближайших сотрудника по журналу были арестованы и сидели в тюрьме, а больной Анненский уехал за границу лечиться, так что вся работа свалилась на плечи Владимира Галактионовича почти целиком. За напечатание в журнале «крамольных» статей его, как редактора, незадолго до этого несколько раз привлекали к суду, и в ближайшие дни предстояло еще три или четыре процесса, грозивших ему заключением в крепость.

Болезнь Анненского страшно волновала его: перед тем как Николая Федоровича увезли за границу, Короленко ухаживал за ним по ночам: расстилал свой тюфячок по полу у кровати больного, чтобы вовремя подать ему лекарство («Кто ни пройдет — наступит»).

К тому же он должен был выкраивать время, чтобы помогать и советом и делом Татьяне Александровне, которая чуть ли не в этом году начала редактировать какой-то еженедельный журнальчик[25]. Для ее журнальчика Короленко (я хорошо это помню) собственноручно начертил географическую карту «голодающих местностей» и отдал этой карте немало часов. Кроме того, написал для того же издания три очерка на тему о голоде. (Весь номер так и назывался «голодный».)[26]

Чтение чужих рукописей — порой чрезвычайно обширных — тоже было его ежедневным занятием, равно как и переписка с обидчивыми и зачастую бездарными авторами этих увесистых опусов.

Не мудрено, что он чувствовал изнеможение, усталость. И все же, когда подали чай, попытался пошутить, как бывало:

— Хотите, Корней Иванович, знать верное средство от бессонницы? Поезжайте на велосипеде. Мне помогло: я сломал себе ногу — уложили в кровать, и бессонница мало-помалу прошла.

Но не успел он допить свою чашку, как зазвонил телефон. Телефон был в прихожей. Короленко шагнул к нему — грудью вперед. Оказалось, какая-то женщина получила увечье, работая за фабричным станком. Она подала в суд, и ей (должно быть, увечье было достаточно тяжкое) присудили шестьсот рублей. Но выступавший в суде адвокат содрал с нее четыреста рублей гонорара.

Короленко немедленно начал звонить в три или четыре инстанции — и к адвокату Грузенбергу, и к какому-то другому адвокату.

— И так каждый день! — сказала мне Татьяна Александровна.

«Создалась, — справедливо заметил он в позднейшем письме, — такая традиция, что бы ни случилось — беги к Короленку!» *

Эта «традиция» больно отзывалась на нем, но он и не думал положить ей предел.

Его чай давно уже остыл. Ему налили новую чашку. Он снова присел к столу и стал рассказывать, как после

---

* В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 10, М. 1956, стр. 591.

долгих хлопот ему посчастливилось спасти одного человека от виселицы — в самый Новый год, добившись того, чтобы генерал-губернатор Сибири смягчил приговор [27].

Но тут в прихожей снова зазвонил телефон, и Владимир Галактионович, внимательно выслушав длинную телефонную речь, достал из наружного бокового кармана блокнот, сделал в нем несколько беглых заметок, потом поспешил к телефону и стал названивать каким-то влиятельным лицам:

— Говорит писатель Короленко. Я только что узнал возмутительный факт...

Чтобы не мешать ему, я тихонько ушел, не прощаясь, — и странное дело, хотя он показался мне изнуренным до крайности, хотя его осунувшееся лицо говорило о том, как нелегко давалось ему это суматошливое житье в Петербурге, я чувствовал, что такое житье ему по сердцу, что здесь он в своей стихии, что изо дня в день защищать бесправных и безгласных людей, ставших жертвой «возмутительных фактов», есть его насущная потребность, призвание. И что еще страннее: во всей этой сутолоке он все же оставался спокоен и совсем не производил впечатление затормошенного ею. И я понял, что те куоккальские вечера, когда я встречался с ним чаще всего, были краткими часами его отдыха и что его подлинный быт — в этом неустанном и многообразном вмешательстве в кипящую вокруг него действительность. Не забудем, что в те самые дни, о которых я сейчас говорил, Владимир Галактионович при всей своей занятости и страшной усталости начал с увлечением готовиться к защите еврея Бейлиса, который царским черносотенным судом был ложно обвинен в ритуальном убийстве [28].

И летом ему не пришлось отдохнуть. Николай Федорович (5 июля) вернулся из-за границы, смертельно больной, и вскоре по приезде в Куоккалу умер. Накануне вечером за чаем «был — по словам Короленко, — весел, радостен, остроумен и то и дело пытался петь. В 11¼ часов попрощался и ушел в свою комнату, опять тихо напевая. Так под песню за ним и закрылась дверь».

А утром (26 июля) Короленко вошел в его комнату и увидел, что «все кончено». Николай Федорович «ушел,

как жил: полный неостывших умственных интересов и веселой бодрости» *.

Хоронили Николая Федоровича на Волковом кладбище. По словам ленинской «Правды», «над свежей могилой первым заговорил сквозь слезы Короленко. Он обрисовал покойного как человека, который везде и всегда благодаря своему хорошему сердцу, большому уму и честной мысли являлся центром, притягивающим к себе всех окружающих...» [29]

В Куоккале жили в то время дочь и жена Короленко, люди очень близкие ему по всему своему душевному складу. Они окружили его нежнейшей заботой. И все же он тяжко тосковал по отошедшем товарище. После похорон тотчас же принялся писать о нем статью для журнала, страницы которой (как рассказывала мне тогда же Татьяна Александровна) не раз орошал слезами. Вдова Анненского Александра Никитична буквально не находила себе места от горя, хотя старалась держаться возможно бодрее. Шура, Соня, Володя и Таня надолго притихли по разным углам.

XI

Прошло недели три. Первая боль притупилась. Короленко по-прежнему впрягся в работу. В августе И. Е. Репин, с которым я виделся почти ежедневно, попросил меня передать Владимиру Галактионовичу его горячую просьбу — посетить возможно скорее «Пенаты». Он все еще не оставил мечты написать портрет Короленко **.

И приготовил для портрета свой особый, крупнозернистый, так называемый «репинский» холст.

Но Короленко и на этот раз долго отказывался.

— Повторяю, — говорил он, — для меня это великая честь, но я очень занят, работы прибавилось втрое, и вообще сейчас у меня не то настроение.

---

* Вл. Короленко, О Николае Федоровиче Анненском, «Русское богатство», 1912, № 8, стр. III.

** Еще в 1910 г. И. Е. Репин писал мне: «...Я намереваюсь взять другую методу: писать только *один сеанс,* как выйдет, так и баста. Если посчастливится писать с Короленко — один сеанс» [30].

В конце концов все же нашел в себе силы позировать Репину. Мне и художнику Исааку Израилевичу Бродскому было поручено Репиным «эскортировать» Короленко в «Пенаты».

Репин встретил его шумно и радостно и тотчас же, в первые десять минут, усадив его на поставленное боком невысокое креслице, нашел для него очень экспрессивную, непринужденную позу и с обычной своей творческой страстью стал быстро лепить на холсте и его курчавые волосы, и его маленькие, пронзительные, необыкновенно живые глаза. Не в застылой академической позе возникал перед нами писатель на «крупнозернистом» холсте, — нет, он был весь в движении: казалось, он присел на минуту рассказать о чем-то увлекательном, но расскажет и встанет и снова пойдет, куда хочет, — сильный, волевой человек, такой, каким мы представляем его себе по его книгам и письмам, непоседа, странник, пешеход, неутомимо шагающий с дорожной котомкой из деревни в деревню для дружески внимательного общения с народом. Сейчас он присел ненадолго, и в динамическом наклоне всего корпуса, в выражении рук и лица чувствуется, что он не один, что его окружают люди, которые слушают его с живейшим сочувствием.

Добиваясь типичности, Репин отмел, как случайные, следы утомления и грусти, которые были в то время на этом лице. На портрете лицо бодрое, без тени уныния.

Весь этот чрезвычайно выразительный и очень похожий портрет был написан сразу, в один день, — широкой, размашистой, уверенной кистью, но, к сожалению, художник стал переделывать его, добиваясь гармонии красок, и после каждой новой переделки портрет становился все хуже: в конце концов мазки кое-где утратили свою лаконичность, стали раздребезженными, вялыми, что очень огорчило Короленко, который с самого начала от души полюбил созданный Репиным образ.

Вместе с Репиным тогда же, в его мастерской написал Владимира Галактионовича и Бродский [31].

После первого сеанса писателю пришлось еще раза три в этот месяц посещать «Пенаты» и снова позировать Репину, жаждавшему «дорабогать» портрет, который, повторяю, был, в сущности, совершенно закончен. И не

было случая, чтобы, возвращаясь от Репина, Короленко не восхвалял его удивительной скромности:

— Скромность невероятная и совсем для меня неожиданная!

Владимир Галактионович не знал, что то же самое — и теми же словами — говорит о нем Репин после каждого свидания с ним.

Через много лет престарелый художник, заговорив в одном из писем ко мне о некоторых вещах Короленко, вспомнил то время, когда писатель позировал ему для портрета.

«Какая гениальная вещь его «Тени», — восхищался Илья Ефимович в письме. — Удивительно, непостижимо! Как мог он так близко подойти к святая святых язычества!.. И подумать только: это сделал наш простоватый полтавец — чудеса! А его же мелкие жанры! Вот откуда вышел Горький. А помните наши сеансы здесь? — он образец скромности и правды» *.

* Письмо от 31 января 1926 г.[32].

С. А. Богданович

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО В СЕМЬЕ АННЕНСКИХ-БОГДАНОВИЧ

Наша семья

Владимир Галактионович был связан многолетней дружбой с моими близкими. Память о нем для меня неразрывна с памятью о других дорогих мне людях. Поэтому мне надо рассказать о нашей семье.

Николай Федорович и Александра Никитична Анненские были дядей и тетей моей матери, но она воспитывалась у них с полутора лет, и они любили ее, как единственную дочь. Для нас, детей, они были «настоящие» бабушка и дедушка. Маминого отца мы называли между собой «мамин папа», выражая этим разницу в отношении.

В марте 1907 года умер мой отец — Ангел Иванович Богданович.

Последние годы отец был тяжело болен и нас — четырех детей, из которых старшей сестре Шуре к моменту смерти отца было восемь лет, а младшему брату Володе еще не исполнилось двух, — редко выпускали из детской. Маму мы видели мало, и с ее лица почти не сходило грустное выражение. Тень надвигающегося несчастья лежала на нашей детской жизни.

После смерти отца мы поселились с бабушкой и дедушкой.

Мы были слишком малы, чтобы по-настоящему горевать, да и отвыкли от отца за долгую его болезнь.

Постоянная близость с любимыми бабушкой и дедушкой и беготня по большой квартире, где все двери были открыты, совершенно отвлекли нас от грустных воспоминаний.

Мама тоже понемногу отходила от перенесенного горя. Да и нельзя было оставаться несчастной возле дедушки.

В. Г. Короленко в своих воспоминаниях об Н. Ф. Анненском пишет:

«...была благодать жизненной радости, светившаяся в каждом его слове, жесте, движении, отражавшаяся отблесками на самых хмурых и нерадостных лицах. И в этой радости, освещенной глубокой мыслью и благородным чувством, была тайна его обаяния».

И дальше рассказывает, как, когда одному из близких знакомых Анненского должны были делать серьезную операцию, хирург попросил: «Нельзя ли было бы хоть на полчаса перед операцией пригласить того господина, которого я у вас видел вчера? Его присутствие как-то особенно... озонирует нравственную атмосферу» [1].

Это чувствовал каждый, входящий в наш дом. А ходило к нам много народу. Особенно в те дни, когда дедушка принимал, как секретарь Литературного фонда [2]. В передней то и дело раздавались звонки. Входили какие-то ветхие старушки и старички, бледные дамы в трауре, мужчины неопределенного возраста с подозрительно красными носами Бойка, коричневой масти песик — «дворянского происхождения», по определению дедушки, — сердито рычал из-под стола. Посетитель, робко оглядываясь, стаскивал странного вида шинель или плюшевый салоп. Но дверь кабинета сейчас же открывалась. Дедушка улыбался такой приветливой, радостной улыбкой, таким гостеприимным жестом приглашал войти, что просители сразу же приободрялись. Когда дедушка провожал их, они смеялись его шуткам, с горячей благодарностью жали его руки и уходили посветлевшие, утешенные.

А дедушка прогуливался по квартире, напевая:

Салдату́шки
Бравы ребяту́шки...

Заглядывал в детскую, где Володя деловито выстраивал по диагонали всех своих лошадей, от роскош-

ной лошади-качалки до пятикопеечной лошадки с уже обломанными ногами.

— Ипподром работает. Скачки начинаются,— говорил дедушка.

Потом гладил по голове Шуру, которая, застыв от напряженного интереса, поглощала «Сто рассказов об уме и нравах собак»[3], и декламировал:

А старшая сестрица Катя
Все с умной книжкою сидит...

Заглядывал в столовую, где мы с Танюшей, младшей сестрой, забравшись с ногами на тахту, резались в «дурака».

— А, таверна уже открыта!

И каждому из нас было приятно его шутливое внимание.

В радостную атмосферу нашего дома бабушка вносила уютную положительность. Маленького роста, очень полная, с круглым добрым лицом и маленькими мягкими руками, спокойная и неторопливая, даже как будто медлительная, она повсюду поспевала и обо всем заботилась. Распоряжалась по хозяйству, всех нас учила, по вечерам, раскладывая бесконечные пасьянсы, рассказывала нам, «как она была маленькая», а уложив нас, до глубокой ночи правила корректуры или писала свои повести, по которым мы учились читать.

Мама была для нас высшей властью, не всегда доступной: «Мама занята», «Мама ушла в редакцию», «Мама отдыхает»...

Но был такой час после обеда, когда мы осторожно пробирались в ее кабинетик, где она читала, полулежа на кушетке.

— Мамочка, ты для работы читаешь или для себя?— спрашивала я — самая смелая из всех.

Если следовало: «Для работы», — мы безмолвно удалялись. Если же она, улыбаясь, говорила: «Для себя», — мы уютно устраивались возле нее на кушетке и просили:

— Почитай нам, мамочка.

Она читала нам Пушкина, Толстого, Чехова. Целый мир красоты, поэзии, правды открывался перед нами.

Я страстно любила маму. Ее живой, проницательный взгляд, ее умную улыбку, ее мягкие каштановые волосы,

ее прекрасные, необычайной белизны и нежности руки... Даже ее нарядные, струящиеся капоты с длинными откидными рукавами, которые она носила дома.

Дядя Володя

Скоро в круг этих горячо любимых людей прочно вошел «дядя Володя».

Не то чтобы он появился так — вдруг, он был и раньше, он был всегда. Но пока мы жили отдельно от бабушки с дедушкой, он изредка появлялся в детской, смотрел на нас веселыми глазами, и его крепкие руки подбрасывали нас высоко в воздух. У него была очень интересная борода — широкая, серебристо-коричневая, плотная. Мы любили, сидя у него на коленях, перебирать пальцами жестковатые, пружинящие волосы и заплетать их в косички.

Потом он исчезал надолго. Мама говорила: «Уехал в Полтаву».

Теперь «взрослые» постоянно говорили о дяде Володе. Мы узнали историю его дружбы с дедушкой. Это было давно-давно, когда мама была маленькая.

Мы с нетерпеньем ждали, когда он приедет к нам, чтобы работать с дедушкой.

Ох, уж скорей бы!

И наконец настает день, когда вся наша семья толпится в передней, а дядя Володя, свежий, точно только что умытый, пахнущий морозом, обнимая дедушку, широко улыбается маме:

— Ну, как ваш клан — в порядке?

— Все мелкобесье в сборе!

«Мелкобесье», то есть мы — дети, прыгает от нетерпенья, ожидая своей очереди поцеловаться с дядей Володей.

Он наклоняется к «малышам»:

— Мой тезка вырос! Танюшу перегнал!

И сильным молодым движением высоко подбрасывает Володю.

И кажется, что чистый бодрящий воздух распространяется не от его темного пальто и каракулевой папахи, а струится из его карих смеющихся глаз и звенит в его особенном говоре с чуть заметным украинским акцентом.

Когда в большой дружной семье появляется новое лицо, по-своему дорогое и близкое каждому из ее членов, жизнь семьи особенно оживляется. Присутствие гостя поднимает настроение, и старые шутки звучат по-новому.

Вот за столом дедушка, попробовав суп, отчаянным жестом протягивает руку и патетически восклицает:

— Дайте мне челнок дощатый![4]

И дядя Володя, лукаво поглядывая на нас, передает ему соль. Мы смеемся, радуясь, что это привычное восклицание знакомо и дяде Володе.

Бабушка, раскладывая второе, предлагает на выбор котлеты и жареное мясо. Дедушка переглядывается с дядей Володей, и они говорят хором:

— Мне нравятся больше обои![5]

— Или, — говорит дедушка...

— как сказал однажды семинарист, — подхватывает дядя Володя,

— И та́го и друга́го и по полной тарелце, — заключает дедушка.

В том, как они обмениваются шутками, в каждом их слове и взгляде чувствуется давняя дружба и неиссякаемый живой интерес друг к другу. И мы, дети, еще больше любим дядю Володю за то, что он как бы все время любуется дедушкой. Любуется его красноватым седобородым лицом с добрыми голубыми глазами, его словечками, его вниманием ко всем и к каждому.

Если кому-нибудь из нас мама делает замечание вроде: «Не горбись», «не клади локти на стол», — дедушка выпрямляется, принимает позу Бойки, когда он «служит», и, пошевеливая кистями рук, заявляет:

— Умные девочки должны сидеть так.

И «умные девочки», смеясь, поглядывают на маму.

Светловолосая, бледненькая Танюша — «белая мышка» — сидит рядом с дедушкой. Она безуспешно трудится над мелко нарезанными кусочками мяса и с тоской смотрит на дедушку. Он незаметно, не прерывая разговора, берет кусочек и бросает его Бойке, бессменно «служащему» возле стола. Постепенно Танюшина тарелка пустеет.

— «Случай ли выручил, Бой ли помог, —

Ты не спешила печальным признаньем»[6], — вздыхая, говорит дедушка.

— Опять спасительный Бой, — с удовлетворением замечает дядя Володя. Мама только безнадежно машет рукой:

— Ну, что с дядечкой поделаешь?

Когда после обеда, как обычно, мама предлагает нам поиграть в дедушкином кабинете, мне не хочется уходить. «Малыши» убегают, чтобы на свободе покувыркаться на широкой тахте и порыться в корзине для бумаг, стоящей под письменным столом. А я пристраиваюсь возле мамы, тихонько играя золотым браслетом на ее белой руке. Меня не особенно интересуют разговоры «взрослых», мне просто приятно смотреть на их милые лица, прислушиваясь к звукам их голосов, когда они уютно сидят за послеобеденным самоваром. Дядя Володя говорит как-то очень положительно, говор у него мягкий и в то же время четкий и звучный. Дедушкина речь быстрая, живая, пересыпанная острыми словцами, от которых бабушка вдруг начинает трястись в беззвучном смехе.

— Теточка опять закипела! — смеясь, восклицает мама.

Мне очень нравится, что дядя Володя тоже часто называет бабушку «теточкой». Я чувствую, сколько почтительной ласки вкладывает он в это словечко. Друг к другу дедушка и дядя Володя обращаются на «вы», по имени и отчеству, и это мне тоже как-то приятно. В те годы я, не понимая, угадывала ту немного старомодную вежливость и взаимное уважение, которые были в этом официальном обращении.

Но бывали дни, когда дядя Володя как бы отсутствовал. Взгляд его, обычно живой и острый, читающий мысли собеседника, становился тяжелым и неподвижным. Казалось, он смотрит в себя, не видя ничего окружающего. Он делался молчалив. Не слышал вопросов. Отвечал невпопад.

Дедушка, присмотревшись к нему, говорил:

— Дядя Володя
Спит сидя и хóдя, —

и переставал к нему обращаться, оберегая ту особую атмосферу, которая его окружала.

В один из таких дней пришел к нам в гости старинный знакомый дедушки и Владимира Галактионовича — Федор Дмитриевич Батюшков. Это был мягкий, добродушный человек, но несколько чопорный и немного обидчивый. К Владимиру Галактионовичу он относился с обожанием.

— Прямо влюблен, — говорил дедушка.

В тот раз Владимиру Галактионовичу, вероятно, не легко было оказать гостю должное внимание. Но вот визит окончился и хозяева вышли в переднюю провожать гостя.

— Заходите почаще, Федор Дмитриевич, пока у нас Владимир Галактионович гостит, — любезно говорил дедушка.

Батюшков кланялся и улыбался, влюбленными глазами смотря на Короленко. И вдруг Владимир Галактионович медленно и веско сказал:

— За семь верст киселя хлебать!..

Бедный гость весь как-то сжался и молча скрылся за дверью.

— Вы что же, хотели его обидеть или меня? — сердито сказал дедушка и не выдержал: расхохотался.

Владимир Галактионович с удивлением посмотрел на него:

— Почему же обидеть? я просто так, пословицу... к месту пришлось.

— Вот уж действительно, — к месту, — хохотал дедушка.

Тут Владимир Галактионович словно проснулся.

— А ведь и вправду нехорошо получилось, — смущенно сказал он и хотел бежать за Батюшковым, чтобы извиниться за невпопад сказанную фразу. Дедушка удержал его.

Писатель

Дядя Володя приезжал к нам каждый год, гостил у нас подолгу. Мы привыкли к нему Очень его любили. Он был нам ближе кровных дядюшек В те месяцы, когда его не было с нами, о нем постоянно говорили, от него часто приходили письма. В каждом письме он спрашивал, как поживает «Ваш клан», посылал приветы

«мелкобесью». И «мелкобесье» его не забывало. Он казался таким «своим», таким понятным... И вдруг мы узнали о нем поразительную новость: наш дядя Володя — писатель Короленко!

К писателям у меня было совершенно особое отношение. Они мне казались существами необыкновенными и недоступными. К тому же они почти все уже умерли.

Бабушка — это другое. Мы очень любили ее детские повести, но инстинктивно чувствовали разницу между ее произведениями и произведениями тех писателей, которых нам читала мама.

А дядя Володя — писатель Короленко — из «тех». Он «настоящий». И он живой! Приезжает к нам в гости. Обедает с нами. Позволяет теребить свою бороду. Называет «мелкобесье». Это было поразительно! Я была горда и счастлива. И это чувство еще усиливалось оттого, что сестры, особенно Танюша, испытывали то же самое.

Я не слушала, я впитывала в себя и переживала каждое слово, когда мама читала нам рассказы Короленко «Ночью», «В дурном обществе» и первые главы из «Истории моего современника».

Все в этих чудных вещах меня глубоко волновало. Дождливая и шумная ночь, бушующая за стеклами уютной детской, с оплывающей в медном тазу свечой. Ощущение чего-то таинственного и непонятного, врывающегося в обыденную жизнь детей. Печаль и поэзия и тонкий юмор — все это захватывало. Но особенно близок и дорог был мальчик, который думал, действовал, жил в каждой повести. Мечтательный Вася Голован с его страхами и фантазиями из рассказа «Ночью». Стойкий, верный и правдивый Вася из повести «В дурном обществе». И герой «Истории моего современника», пляшущий дикий танец в комнате отвратительного Уляницкого и молящийся звездной ночью о крыльях. И это же, конечно, сам дядя Володя, когда он был маленьким. Это не выдумано. Это пережито и правдиво и прекрасно рассказано писателем Короленко.

Теперь я по-новому видела дядю Володю. С его бородатого лица, из-под его высокого лба, обрамленного седыми кудрями, смотрели на «мелкобесье» глаза Голована.

В Куоккале

Каждую весну мы переезжали на дачу в Финляндию, обычно в Куоккалу*. Никто так не привержен к традициям, как дети. Ежегодный ритуал переезда был полон для нас неизъяснимой прелести. В столовой и в детской стоят большие, тяжелые ящики и огромные скрипучие корзины. На всю квартиру чудесно пахнет рогожами. Дверь из передней на лестницу настежь распахнута, и по коридору топают дворники, выносящие вещи. Наконец наступает момент наивысшего блаженства: нас, детей, погружают в карету — ландо. Великолепную пароконную черную лакированную карету, в которой ездят только на вокзал.

А приезд на дачу! Желтые дорожки сада, еще не засаженные цветами черные клумбы, вся пронизанная солнцем стеклянная терраса... Бойка с отчаянным лаем кругами носится по лужайке перед домом. Мы уже сбросили тяжелые галоши — непременную принадлежность путешествия — и бежим на море вслед за подводой, на которой дачный хозяин везет дощатую будку. А за нами спешит наша няня Оля с кучей вязаных кофточек.

Как я любила это бледно-голубое, мелкое финляндское море с тенью кронштадтского собора на горизонте, и обрамляющие берег, искривленные ветром старые сосны, и белый тонкий песок пляжа. Начинается лето — бесконечный ряд чудесных дней свободы, купанья, походов за черникой и грибами.

Обычно первую половину лета мы жили на даче с мамой, потому что бабушка с дедушкой уезжали весною за границу лечиться.

Мама не была любительницей купанья и прогулок. Возвращаясь с моря или из леса, мы заставали ее, в сереньком «дачном» сарафанчике, лежащей с книжкой в гамаке, немного усталой, немного грустной.

Но в памятное мне лето 1910 года мамина дачная жизнь совершенно изменилась: у нас гостили дядя Володя и близкий друг мамы Маргарита Федоровна Николева.

Утром, когда взрослые еще сидели за самоваром, мы с Олей отправлялись на море. В эти ранние часы

---

* Ныне — Репино.

пляж принадлежал нянькам в белых платочках, чинно сидящим перед будками, и детям в полосатых купальных костюмчиках, копошащимся в песке.

Но вскоре на берегу появлялась высокая полная фигура в неизменной синей юбке и белой кофточке с бесчисленными заглаженными складочками и ослепительным крахмальным воротником: Маргарита Федоровна шла купаться.

— Оля, следите, чтобы детям головы не напекло, — на ходу бросала она и исчезала в будке.

Оля обиженно поджимала губы, а мы, бросив свои лопатки и сачки для ловли рыбок, усаживались на песке, не сводя глаз с будки. Ждать приходилось долго.

Наконец дверь широко распахивалась, и Маргарита Федоровна выходила, облаченная в длинную, почти до щиколоток, темно-зеленую шерстяную рубашку с небольшим вырезом у шеи.

Решительными шагами шла она в воду и, дойдя до места поглубже, начинала приседать, похлопывая руками по воде, ее водонепроницаемая рубашка вздувалась огромным зеленым пузырем, а серьезное румяное лицо выражало глубокое удовлетворение. Мы бежали за ней и барахтались вокруг нее, как дельфины вокруг броненосца. И напрасно Оля, стоя у воды с надувшейся как парус простыней, кричала:

— Дети, выходите, пять минут прошло, я маме пожалуюсь.

Только когда Маргарита Федоровна прикрикивала на нас:

— А ну, вылезайте! Сейчас же! — мы нехотя плелись к берегу.

Выкупавшись, Маргарита Федоровна опять надолго скрывалась в будке.

Обычно в это время мама с дядей Володей приходили на пляж. Я издали замечала знакомый белый кружевной зонтик.

Вот они идут по плотному сырому песку возле самой воды. Их фигуры четко рисуются на прозрачно голубом фоне. Мама в белом платье, стройная, молодая, пышноволосая. Дядя Володя чуть выше ее, широкоплечий, прямой, подтянутый. Его седеющая кудрявая голова слегка откинута назад. Они так ладно шагают в ногу. Оба оживленные, веселые, красивые.

— А Маргарита Федоровна где? — спрашивала мама, подходя к нам.

Оля молча кивала на будку.

— Маргарита, скоро ли? Мы за тобой пришли, — звала мама.

Будка молчала. Мама, вздыхая, садилась на песок, дядя Володя прилаживал парус к Володиной лодочке.

Я оглядывалась, надеясь увидеть на лицах многочисленной публики почтительное удивление, но нянюшки по-прежнему болтали между собой, детишки рыли колодцы в сыром песке, а в теплой воде проносились стайки крошечных рыбок корюшек.

Когда мамино терпение уже приходило к концу, появлялась Маргарита Федоровна, снова затянутая в свою синюю юбку и блузку с крахмальным воротничком, гладко причесанная, румяная и немного смущенная.

— Не сердись, Таня! И Владимира Галактионовича заставила ждать, — говорила она, сокрушенно покачивая головой.

Мама смеялась, дядя Володя дружески улыбался ей, и они все трое уходили[7].

Теплыми и светлыми июньскими вечерами мы всей компанией отправлялись на море. «Малышей» дядя Володя сажал себе на плечи, и они с высоты гордо поглядывали на нас с Шурой. На Танюшином серьезном худеньком лице я читала: «Меня несет сам писатель Короленко». А дядя Володя шагал так легко и уверенно, точно на его плечах сидели не двое детей, а две маленькие птички.

Солнце медленно опускалось к темной полоске леса. Море — зеркальное, молочно-белое, чуть плескалось у берега. На пляже было пустынно и тихо. Мама садилась на теплый камень у воды. Мы бегали по плотному сырому песку, смотря, как следы наших босых ног постепенно заполняются водою. Маргарита Федоровна медленно прогуливалась по берегу. А дядя Володя с увлечением «пускал рикошеты». Выбрав плоский камешек, он бросал его быстрым и ловким движением, как-то снизу, и камешек летел, подпрыгивая по воде, как по льду. Обучал он и нас этому искусству. Но мы с Танюшей «по-девчонски» бросали камни сверху вниз, и они сразу зарывались в воду. У Володи получалось лучше, но он был еще слишком мал и слаб. Способнее всех

оказалась Шура. У нее вообще были мальчишеские ухватки, и ее рикошеты по нескольку раз касались воды.

— Молодца, Шурочка, молодца! — хвалил ее дядя Володя.

Я ей немного завидовала.

Однажды, как это иногда бывает на Финском заливе, море отступило. На несколько десятков метров обнажилось ребристое дно со стелющимися по песку темными прядями водорослей. Из мелкой воды вынырнуло много камней. Ближе к берегу камни были уже просохшие, серые, а дальше черные и блестящие, как тюленьи спины.

Мы с визгом прыгали по торчащим из воды камням.

— Осторожнее, — кричала мама, — не оступитесь.

Дядя Володя некоторое время молча наблюдал за нами, потом быстро пробежал по ребристому дну и тоже стал скакать по камням. Если бы мама или Оля стали прыгать с нами, мы, вероятно, очень бы удивились, но что дядя Володя с увлечением вступил в нашу игру, казалось нам вполне естественным, только придало игре особый спортивный интерес. Каждому хотелось уйти по камням как можно дальше в море.

Дядя Володя решительными, уверенными шагами перескакивал с камня на камень, а мы отстали. На просохших камнях легко удержаться, но прыгать по скользким, мокрым — страшно.

А дядя Володя уходил все дальше, хотя он, обутый, мог легче поскользнуться, чем мы — босые. Мы смотрели на него с восхищением. Его движения были ловки и рассчитанны. От одного камня он только отталкивался ногой, на другом чуть задерживался, красиво балансируя руками. Но чем дальше от берега, тем больше становилось расстояние между камнями. Наконец он сделал огромный прыжок, но сорвался, взмахнул руками и со всего роста упал в воду. Туча брызг взметнулась высоко вверх. А он быстро поднялся, стоя по колено в воде, отжал полы пиджака и спокойно пошел к берегу.

— Что, мелкобесье, — весело сказал он, поравнявшись с нами. — Смеетесь теперь над дядей Володей. Однако я вас здорово обогнал.

Действительно, вид у него был довольно смешной. С обвисшего пиджака струйками бежала вода, брюки прилипали к ногам... И мы, конечно, смеялись, но больше

гордились им: вот как далеко запрыгал, кому за ним угнаться!

Мама тоже смеялась и немного сердилась:

— Что это, Владимир Галактионович, — хуже маленького! Ведь могли ушибиться... Я так испугалась. А все ваши увлечения...

И тут, пока мы спешили за дядей Володей, направившимся к даче, чтобы переодеться, она рассказала нам такой случай: возвращаясь из Петербурга в Нижний-Новгород, он хотел сойти с поезда на дачной станции, где в то время жила его семья. Но оказалось, что скорый поезд на этой станции не останавливался. Тогда недолго думая Владимир Галактионович сбросил под откос свой чемодан и вслед за ним спрыгнул сам.

— И даже не ушибся. И как раз к чаю поспел, — с торжеством прибавил дядя Володя, оборачиваясь к нам. — Однако — это не для подражания, — серьезно добавил он.

Как-то после обеда, когда мы, дети, сидели с мамой на террасе, а дядя Володя поднялся в свою комнату немного отдохнуть, — разразилась страшная гроза. От надвинувшейся тучи стало совсем темно. После минутной, полной ожидания, тишины сверкнула молния, обрушился гром, ветер рванул кусты у террасы, и хлынул ливень. Мама задвинула окна и, любуясь вместе с нами яркими вспышками молний, учила нас определять по количеству отсчитанных секунд между молнией и громом, удаляется или приближается гроза.

Вдруг сверкнуло так ослепительно, что все мы зажмурились, и сейчас же оглушительно треснуло над самым домом. Все вскрикнули. Но это был последний удар. Гроза кончилась. Ливень не прекратился, но из-под уходящей тучи брызнули косые солнечные лучи и радостно засверкали водяные струи, мокрые кусты и огромные лужи у крыльца. Мама отодвинула раму и, прикрывая голову руками, высунулась в окно.

— Что это! — закричала она, — откуда-то дым! Дача загорелась!

Мы все, забыв о дожде, выскочили в сад, чтобы посмотреть, где горит. Но, подняв голову, мы увидели зрелище, поразившее нас больше, чем поразил бы пожар,

Окно комнаты дяди Володи, находившейся во втором этаже, было настежь распахнуто, он до половины высунулся наружу, потоки дождя лились ему на голову, покрытую шапкой белой мыльной пены, горячие солнечные лучи били прямо в него, и от его головы поднималось облако пара. А он с наслаждением, обеими руками взбивал пену и ополаскивал волосы дождевой водой. А из соседнего окна выглядывала Маргарита Федоровна, и лицо у нее было необыкновенно: от ее обычной суровости не осталось и следа — она смеялась, прямо захлебывалась смехом, вытирая глаза рукавом своей белейшей кофточки.

— Дядя Володя голову моет! Дядя Володя голову моет! — неистово визжали мы, прыгая по лужам.

— Ничего нет приятнее и полезнее, как мыть голову в дождевой воде, — сентенциозно сказал дядя Володя.

О да! — мы были с ним вполне согласны, конечно при условии, что дождевая вода льется прямо с неба.

Осенью из Полтавы пришло письмо:

«...мне хочется опять написать Вам, — писал дядя Володя маме. — Что? — и сам еще не знаю. Впрочем, знаю, — потому что передо мной лежит еще коробочка с «рикошетом», а в столе письмецо от Володи и потом приписочка на бланке от Шуры. Как это хорошо, какие они милые и какая Вы славная, потому что, конечно, и Вас тут есть очень много. Это, право, так хорошо, что я до сих пор чувствую от этого хорошую радость. Такой славный отголосок милых куоккальских дней»[8].

А мне эти «милые куоккальские дни» светят из далекого прошлого, как одно из лучших воспоминаний жизни. Так по-молодому радостно озаряло северное солнце седую голову дяди Володи.

Мелкобесье

1912 год был тяжелым и трудным для нашей семьи. В январе у дедушки, страдавшего болезнью сердца, сделался сильнейший сердечный припадок. Когда он начал поправляться, бабушка, еще задолго до весны, увезла его за границу лечиться.

Пусто и скучно после их отъезда стало в нашей большой квартире, а на маму навалилось много новых

забот. Бабушка сама готовила меня ко второму классу гимназии, теперь заниматься со мной было некому, и маме пришлось среди года определять меня в первый класс. Когда вопрос с моим учением был улажен, подоспели другие сложные дела. Надо было менять квартиру и устраивать нас на лето. В этом году предстояло ехать не на дачу, а в деревню, в имение одного недавно умершего родственника.

В это трудное время Владимир Галактионович деятельно помогал маме во всех ее больших и малых заботах.

Помню светлый весенний вечер. Через несколько дней мы уезжали в деревню. У мамы хлопот было выше головы, и она попросила Владимира Галактионовича свести Володю и Танюшу в парикмахерскую постричь. Лет до десяти нас каждую весну стригли под машинку, чтобы волосы лучше росли. Меня уже года два не стригли, но я увязалась с дядей Володей за компанию.

Когда головы «малышей» превратились в светлые плюшевые шарики, меня кольнула острая зависть. От скольких неприятностей они теперь избавлены: причесываться не нужно, вымыть голову одна минута, а главное — легко!

— Дядя Володя! Велите и меня постричь, пожалуйста, — взмолилась я.

— Что ты, Сонюшка, у тебя уже такие коски славные, целых три, — уговаривал дядя Володя.

Он и не подозревал того, что попал в самое мое больное место.

У меня были еще короткие, но очень густые волосы, и их никак не удавалось заплести в традиционные две косички. Снаряжая меня в первый раз в гимназию, не боявшаяся оригинальности мама соорудила из них три косы, украсив каждую большим бантом. Эти три косы стали трагедией моей жизни новоиспеченной гимназистки.

— Дядя Володя, три косы ни у кого не бывают, — чуть не плача, сказала я, — на меня девчонки каждый день на доске карикатуры рисуют.

— Уж если карикатуры — придется остричь, — решил дядя Володя.

Парикмахер равнодушно пожал плечами, и машинка застрекотала на моей голове.

— Ну, попадет нам с тобой от матери, — говорил дядя Володя, когда мы возвращались домой.

Мама ахнула, увидев, как меня «оболванили». Но дядя Володя веско сказал:

— Имелись серьезные основания.

И мама только вздохнула, проведя рукой по моему мягкому ежику.

Вскоре мы уехали в деревню, а Владимир Галактионович остался в Петербурге, но его заботы о нашем благополучии продолжались.

На это лето мама решила взять нам гувернантку — француженку.

Ей порекомендовали бывшую институтку — смолянку, «которая знает французский язык лучше русского», — Александру Евстафиевну Семенову. Она почему-то не выехала вместе с нами. Ее отсутствие волновало маму, и на Владимира Галактионовича было возложено «торопить» ее.

«Сейчас был у Семеновой. Не застал. Будет в 4 часа. Поговорю и потороплю. Прислуга говорит, что собирается 1-го или 2-го. Может ускорить», — сообщал Владимир Галактионович в открытке, и в тот же день в письме: «Был у Александры Евстаф. Она собралась уезжать в Сивцево 1-го в пятницу. Я просил, нельзя ли немного ускорить, и она обещала «поторопиться» выехать 31-го, но не уверена, справится ли к этому дню. Не позже, однако, субботы будет у вас. Человек она, повидимому, хороший и надежный... Кстати, Семенова спрашивает, если ли у Вас домашняя аптечка. Она, кажется, немножко маракует. Если нет — телеграфируйте тотчас по получении письма: она, может быть, успеет захватить»[9].

Уезжая, бывшая «смолянка» просила Владимира Галактионовича непременно достать какие-то «Dictées» *, составленные госпожою Миллер и необходимые для нашего совершенствования во французском языке. Предполагалось, что «Dictées» можно достать в василеостровской гимназии, где оная госпожа Миллер учительствовала.

Владимир Галактионович написал нам по этому поводу следующее письмо-новеллу:[10]

---

* Диктовки *(франц.)*.

«...Посылаю «Dictées». Это по поручению Александры Евстафьевны. Скажите ей, что я заслужил ее благодарность, так как исполнить ее поручение было не так-то просто. Сегодня я наконец собрался и, соединяя приятное с полезным, отправился на Васильевский на велосипеде. Гимназия пуста, нашлось только одно (должно быть, швейцарское) семейство. Мне объяснили, что «Dictées» надо просить лично у автора, г-жи Софьи Фед. Миллер, Большой пр. 24, — 13. Нашел в очень дальнем углу двора. Пришлось подвязать велосипед на цепь к водосточной трубе, чтобы не убежал. Подозреваю, что в это время автор «Dictées» увидела меня из своего окна, и это не расположило ее в мою пользу. Долго пришлось звонить. Наконец послышался из-за двери голос: «Кто там?» — «Я...» (Что мне было сказать, в самом деле.) «Кто я?..» — «За книжкой...» — «За какой книжкой?» — «Сударыня, отоприте, пожалуйста, я тогда объясню». — «Как отоприте?.. Я вас не знаю...» Пришлось врать: «Сударыня. У меня есть маленькая дочь. Учится в гимназии. Мне нужно «Dictées». Дверь отворяется чуть-чуть. Почтенная старая дама выглядывает в щелку и вместо родителя маленькой девочки видит седобородого велосипедиста. Быстро закрывает дверь. Молчание. Через некоторое время дверь опять приоткрывается. Их уже две: хозяйка и кухарка (есть ли у кухарки кочерга — не знаю). Дама немного смелее и прямо спрашивает: «Как ваша фамилия?» Я покорно говорю: «Короленко». — «А? Коваленко. Я что-то слышала». — «Сударыня. Ей-богу, это не я... Если вы это насчет Ковенского переулка, так это другой *, а может, и другого не было». — «Что вы хотите?» — «Ей-богу, ничего, — только «Dictées». — «Ну... извините, постойте здесь одну минуту... Извините... столько теперь...» (Из вежливости не договаривает.) «Сударыня, я понимаю... Пожалуйста, оставьте меня здесь (на лестнице), я могу посидеть на ступеньках... Вы мне книгу подадите в са-а-мую узкую щелочку...»

Она запирает дверь на два спуска и затем, после некоторого таинственного молчания, дверь опять приоткрывается, выглядывает кухарка, потом сама. Видя, что в руках у меня не револьвер, а приготовленные тридцать

---

* Намек на преступление, совершенное в те дни, как предполагалось, неким Коваленко.

копеек, она смягчается и даже снимает цепочку. Мы совершаем обмен и раскланиваемся. Вот как в углу дома № 24 по Большому проспекту 6 июня беседовали два автора: русский и французский. Надеюсь, это не испортит в глазах «мелкобесья» репутацию ни того, ни другой и не помешает усвоению превосходных proverbes et pensées morales * из посылаемой книжки. Я чувствую, что она превосходна. Я только проехал с ней на велосипеде с Васильевского до Кирочной и уже чувствую желание написать мелкобесью хорошенькое французское письмецо...»

Это прелестное послание написано в том шутливом духе, который был характерен для нашего семейного тона. Чувствуется, что «русского автора» вдохновляло желание посмешить «мелкобесье», способное оценить его юмор. «Седобородый велосипедист», который, «сдвинув шляпу на затылок... шныряет меж трамов и автомобилей» (из приписки к следующему письму), тот же куоккальский дядя Володя, прыгавший с нами по камням и мывший голову прямо под дождем. «Взрослые», вроде г-жи Миллер, относятся к нему подозрительно, но для «мелкобесья» он — свой. И «мелкобесье» отлично разберется в тех маленьких преувеличениях, которые сделали рассказ о визите к «французскому автору» таким забавным: «...найдите в письме... что приврал в своем разговоре с г-жой Миллер (есть чуть-чуточку)», — прибавляет Владимир Галактионович в приписке к следующему письму.

«Хорошенькое французское письмецо», по-видимому, составлено по рецептам «Dictées» г-жи Миллер. Оно безукоризненно выдержано в стиле сентиментальной «красивости», в каком должен писать благонамеренный дядюшка своим благонравным племянницам. «Французский автор» остался бы им совершенно доволен, а «мелкобесье» эта новая шутка очень развеселила. В ней было что-то общее с дедушкиными «умными девочками», которые держат ручки, как собачки, когда «служат».

«Милое мелкобесье! **

Я представляю себе, какие невинные и чистые удовольствия вкушаете вы, добрые деревенские жители!

---

* Пословиц и нравственных изречений *(франц.)*.

** Подлинник написан по-французски.

Свежая тень предохраняет вас от летнего зноя; ручейки предлагают свои прозрачные воды, чтобы утолить вашу жажду... Маленькие птички поют вам свои самые радостные песенки, и ваша добрая Фекла готовит для вас умеренные яства. Напишите мне, мои маленькие друзья, качает ли вас мамаша на коленях и убаюкивает ли, обещая вам не дорогие игрушки, но самые прекрасные плоды сада (когда они созреют, разумеется).

Я хотел бы преподнести вам несколько нравоучительных пословиц и превосходных нравственных изречений, но... если вы будете послушны и внимательны, вы найдете их в этой книге, которую я одновременно посылаю вам.

Целую всех вас и почтительно приветствую вашу матушку и вашу уважаемую наставницу (не показывайте ей это письмо, полное глупостей и ошибок).

Ваш преданный диадиа *Володиа*».

Однако жизнь в деревне состояла не только из «невинных» и «чистых» радостей, описанных во «французском письмеце». Мы-то — дети — конечно, спокойно наслаждались всевозможными, новыми для нас, деревенскими удовольствиями, но мама была в страшной тревоге: в деревне, расположенной по соседству с Сивцевом — имением, где мы жили, — началась эпидемия скарлатины. Мама хотела сейчас же забрать нас и вернуться в Петербург, но предварительно решила посоветоваться с Владимиром Галактионовичем.

Из деревни в Петербург, где в то время Владимир Галактионович жил с Авдотьей Семеновной, посыпались письма. Владимир Галактионович немедленно отвечал на них.

Его письма чрезвычайно характерны и для него самого, и для его отношения к нашей семье. Очень чутко и внимательно разбирался он в маминых тревогах, но совершенно не поддавался ее паническим настроениям. По вопросу о «заразе» у него было свое мнение, которое он отстаивал мягко, но решительно. Стараясь успокоить волнение матери, он заботливо оберегал интересы «мелкобесья».

«Обсудили мы сейчас Ваше тревожное письмо с Авд. Сем., и я пишу под непосредственным впечатлением. Вы поймете, как тут трудно советовать, но так как все-таки

решать нужно, то мы свое мнение высказываем. Ехать не нужно. Бог знает, где можно захворать, а встревожить всех детишек — это плохо предрасполагает...» [12]

И еще:

«...Сколько мы ни думали с Авд. Семеновной, — остаемся при первом мнении: не уезжайте. И в том и в другом случае, конечно, возможны неожиданности, но хуже тревога, торопливость, подавленное настроение детей... Значит, привезете Вы их сюда, сами начнете метаться в поисках, они — в духоте и пыли петербургского ремонта. Нехорошо» [13].

И самые характерные:

«Решаясь на отъезд... примите в соображение следующее обстоятельство. Вам сейчас кажется, что это Вам *на сей раз* приходится проделать все это для уклонения от экстренно сложившихся обстоятельств данного лета. Это не так. Это Вы, значит, обрекаете и себя и детей на всегдашнюю систему действий, на то, чтобы до полного возраста они никогда не могли рассчитывать спокойно пожить в деревне. Сохрани бог превратить семью в вечных бегунов от болезней.

...Примите все предосторожности, дайте точные инструкции, но постарайтесь не внушить детям страха перед болезнями.

...Нужно, чтобы по возможности не было прямых соприкосновений с больными, но не надо, чтобы дети пугались каждой девчонки из деревни, где есть больные. И пусть весело проживут свое лето в Сивцеве.

...Мы с Авд. Сем. решили было, что в понедельник мы могли бы выехать к вам на денек; посмотрели бы вместе и вместе бы разобрались во всех этих страхах...» [14]

И они приехали. В летнюю жару проделали они довольно длительное путешествие (восемнадцать — двадцать часов в одну сторону), чтобы провести с нами один-два дня, успокоить маму и посмотреть на мелкобесье в новых условиях деревенского приволья [15].

Помню, с какой радостью показывали мы дяде Володе наши владения. Старый, казавшийся нам огромным, сад с березовой и липовой аллеями и с могучим, в три обхвата, дубом, по преданию, посаженным бабушкиным отцом в день ее рождения. Обильный, поросший ряской пруд, к которому нам не разрешалось подходить, потому что в нем, тоже по преданию, когда-то утонул

человек. Длинный, осевший сарай — каретник, где хранилось древнее сооружение из холста и рогожи, именуемое возком...

Шура, одетая в шаровары и красную русскую рубашку, демонстрировала свое искусство в верховой езде на тридцатилетнем гнедом мерине, отданном в наше полное распоряжение.

Одним словом, нам было чем поделиться с дядей Володей.

Авдотью Семеновну — тетю Дуню, как мы ее называли, — редко приезжавшую в Петербург, мы немного стеснялись. Ее худощавая прямая фигура, серьезное, бледное лицо и низкий голос внушали нам непривычную робость. Но когда это ее «строгое» лицо вдруг озарялось, при взгляде на нас, необыкновенно доброй улыбкой, — на душе теплело. Хотелось подойти к ней, приласкаться или хотя бы постоять рядом, прислушиваясь к ее неторопливому разговору и вдыхая дым ее постоянных тоненьких папиросок.

Очень запомнились мне они оба — такие разные и такие подходящие друг к другу, — на крылечке деревенского дома, выходящего на поросший травой широкий двор.

Бледное, немного усталое, лицо тети Дуни, ее темно-русые, зачесанные назад волосы, ее платье песочного цвета, и седая кудрявая голова дяди Володи, его молодые веселые глаза и широкие плечи. И между ними — мама, нервная, взволнованная... И чувствовалось, как от доброй улыбки тети Дуни, от мягкого юмора дяди Володи рассеивались мамины страхи.

Она успокаивалась, веселела.

Приезд Короленок в Сивцево решил нашу судьбу: нас не увезли из деревни. Но «весело прожить свое лето в Сивцеве» нам не пришлось.

В начале июля мама уехала встречать дедушку и бабушку, возвращавшихся из-за границы, и устраивать их на даче в Куоккале, где они поселились вместе с Короленками. А 26 июля 1912 года дедушки не стало.

С его смертью заканчивается лучший период моего детства, тесно связанный с дорогим образом дяди Володи.

В. Ф. Булгаков

[В. Г. КОРОЛЕНКО У ЛЬВА ТОЛСТОГО]

6 августа [*1910 г.*]

Когда Лев Николаевич отдыхал после прогулки, явился В. Г. Короленко. Он пришел пешком с Засеки, где сошел с поезда, не зная, что там нет ямщиков. Я первый встретил Владимира Галактионовича и провел в зал. Сейчас же пришла туда и Софья Андреевна, извещенная о приезде гостя.

В. Г. Короленко — почтенный седой старик, невысокого роста, коренастый. Благообразное, спокойное лицо, с окладистой бородой и добрыми глазами. Движения неторопливы, мягки, определенны. Чисто и просто одет в темную пиджачную пару.

Перед обедом вышел Лев Николаевич.

— Я приготовил фразу, что вы напрасно не известили нас о приезде, — говорил, здороваясь с гостем, Лев Николаевич, — напрасно истратили три рубля на ямщика... Знаю, знаю! А вы пешком со станции пришли...

— Счастлив видеть вас здоровым, Лев Николаевич! — говорил Короленко.

Как и можно было ожидать, Лев Николаевич сразу заговорил о статье Владимира Галактионовича о смертных казнях («Бытовое явление») [1]. Короленко указал, что благодаря письму к нему Льва Николаевича об этой статье она действительно получила огромное общественное значение. Лев Николаевич говорил, что если это случилось, то в силу достоинств самой статьи.

Сели обедать. Тут во время разговора обнаружилось, что Короленко глуховат. После он объяснил, что недавно был болен и ему заложило уши от хины.

Заговорили о декадентстве в литературе и в живописи. Короленко хочет найти более глубокую причину его появления, чем простое манерничанье или оригинальничанье. Рассказывал о знакомом художнике, намеренно в живописи употреблявшем «синьку», то есть скрывавшем определенные контуры и тона картины под темными пятнами, — нарочно, как он говорил, чтобы не показывать богачам, которые покупают его картины, натуру красивой.

— Н-не знаю! — нерешительно восклицает Толстой. — Восхищаюсь вами, вашей осторожностью, с которой вы относитесь к декадентству, — восхищаюсь, но сам не имею ее. Искусство всегда служило богатым классам. Возможно, что начинается новое искусство, без подлаживания господам, но пока ничего не выходит...

Говорили о музыке.

Лев Николаевич:

— Настоящее искусство должно быть всем доступно. Теперешнее искусство только для развращенных классов, для нас. Как я ни люблю Шопена, а я думаю, что Шопен не останется жив, умрет для будущего искусства.. Настоящего искусства еще нет.

Говорили о законе 9 ноября[2]. Короленко высказывался как-то осторожно. Лев Николаевич определенно высказал свой взгляд на землю, как на предмет, не могущий быть частной собственностью[...]

После обеда и кофе Лев Николаевич некоторое время занимался у себя в кабинете. Короленко разговаривал с Софьей Андреевной.

Подали чай. Вышел Лев Николаевич. Собрались все, в том числе вызванный из Телятинок Гольденвейзер, и снова завязался оживленный разговор.

Короленко оказался очень разговорчивым вообще и, кроме того, прекрасным рассказчиком. Материал для рассказов в изобилии давали ему воспоминания его богатой событиями жизни. Куда не забрасывала его судьба! То он в ссылке в Пермской губернии, то «послан дальше» — в Якутскую область, то он в Америке, на выставке в Чикаго, то в Лондоне, то, с тросточкой в руках, пешком с одним «товарищем» (Короленко все

говорит: «с товарищем, мои товарищи», что отчасти рисует его мировоззрение) он бродит по России, по самым глухим ее уголкам, монастырям, среди сектантов и т. д.

Лев Николаевич с особенным интересом слушал рассказ Короленко о том, как он видел Генри Джорджа.

— Это было на выставке в Чикаго. Устраивались всевозможные конференции, и вот одна из них была конференция Генри Джорджа — о едином налоге. Происходило это в огромном помещении, была масса публики. Джордж? Да, он был уже седой старик. И вот во время чтения один человек из публики задает вопрос Джорджу: «Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на вопрос о том, допускать или не допускать китайцев-рабочих в Америку?» (Лев Николаевич: «Да ну, и что же он?») Джорджу, видимо, вопрос этот был неприятен, и ему не хотелось отвечать. Но потом он обращается к тому, кто спрашивал, и говорит: «Хотя это к делу не относится, но если вы хотите знать мое личное мнение, то я думаю, что наплыв китайцев в Америку следует регулировать...» (Лев Николаевич: «Эх, не ожидал!») Тогда вскакивают трое — последователи Генри Джорджа: «Учитель, мы не согласны!» (Лев Николаевич: «Молодцы!») И начинают доказывать противоречие только что сказанного Генри Джорджем с его теорией, которая имеет универсальное значение и которую он недостаточно ценит... (Лев Николаевич: «Прекрасно!»)

К сожалению, Владимир Галактионович не помнил, или ему было неясно, как он сказал, что ответил своим ученикам Джордж и как он отнесся к их выступлению. Льва Николаевича это очень интересовало.

— Наверное, согласился! — говорил Лев Николаевич. — Он был религиозный, истинно гуманный, свободный человек, и потому это меня удивляет... [3]

Приведу еще рассказ Короленко о том, как он ходил на открытие мощей Серафима Саровского [4].

— Так как ехал царь, то со всех деревень набрали мужиков-охранников и расставили по всей дороге. Мы шли вдвоем с товарищем [5]. Подходим к нескольким таким охранникам. Поздоровались. «Что вы здесь делаете?» — спрашиваем. «Караулим царя». — «Да что же его караулить?» — «Его извести хотят». — «Кто же?» — «Да скорей вот такие же, как вы, картузники!» А я заметил, что на одном из мужиков тоже был картуз, и с козырь-

ком, разорванным пополам. Я ему и говорю: «Да ведь на тебе тоже картуз, да у меня еще с одним козырьком, а у тебя ведь с двумя!» Так шуткой все кончилось, стали смеяться... Какое же у них представление о том, кто хочет извести царя? По их мнению, по России ходят студенты с иконой и все добиваются, чтобы царь приложился к иконе. Раз он было чуть не приложился и уже перекрестился, да батюшка Иван Кронштадтский говорит: «Стой! Солдат, пали в икону!» Солдат взял ружье, хотел палить, вдруг из-за иконы выскочил татарин... Я говорю мужикам: «Что вы, какой татарин?» Но они объясняют, что татарин с двумя ножами, в той и в другой руке; его студенты посадили в икону: как царь стал бы прикладываться, он бы его так с обеих сторон ножами и убил бы. Я тогда и говорю своему товарищу, — добавил Короленко, — о каких мы говорим конституциях, о каких реформах, когда в народе такая темнота?..

— Совершенно верно! — вставил Лев Николаевич и добавил что-то о невежественности народа и о недоступности для его сознания всякого просвещения, которого ему и не нужно.

— Я с вами не согласен, — степенно возразил Короленко. — Я тогда привел своему товарищу одно сравнение и позволю себе и здесь его привести. Когда идет маленький дождик, и вы идете под ним, то это ничего, но если вы станете под водосточную трубу, вас всего обольет. Так и здесь: ведь собрался в одно место со всех концов самый суеверный люд... Ведь все эти места — это сброд всякого, самого нелепого, суеверия!..[6]

— Совершенно верно! — проговорил Лев Николаевич...

Рассказывал еще Короленко очень подробно о том, как он выступал защитником по обвинению вотяков в принесении богам человеческих жертв, около пятнадцати лет тому назад, в г. Мамадыше[7], затем, так же подробно, о религиозных собраниях в июне на берегах озера у «невидимого града» Китежа, в Нижегородской губернии[8]. Из последнего рассказа Льву Николаевичу понравилось, что собирающиеся на берегу озера, в лесу, богомольцы за «видимым», телесным, представляют себе «невидимую», духовную, сущность.

Удивительно то, что Короленко в Ясной сумел удержаться на своей позиции литератора. Остался вполне

самим собой, и даже только самим собой. Обыкновенно Лев Николаевич всех вовлекает в сферу своих интересов, религиозных по преимуществу; между тем Короленко, кроме того, что сосредоточил общее внимание на своих бытовых рассказах и вообще разных «случаях» из своей жизни, но еще и ухитрился вызвать Льва Николаевича на чисто литературный разговор, что редко кому бы то ни было удается [9].

Разговор литературный возник в конце всех разговоров и уже поздно, перед тем, как разойтись.

— Один молодой критик говорит, — начал Короленко, — что у Гоголя, Достоевского есть типы, а у вас будто бы нет типов [10]. Я с этим, конечно, не согласен, во-первых, потому, что и типы есть, но кое-что есть в этом и правды. Я думаю, что у Гоголя характеры взяты в статическом состоянии, так, как они уже развились, вполне определившиеся. Как какой-нибудь Петух, который, как налился, точно дыня на огороде в постоянную погоду, так он и есть!.. А у вас — характеры развиваются на протяжении романа. У вас — динамика. Как Пьер Безухов, Левин: они еще не определились, они развиваются, определяются. И в этом-то, по-моему, и состоит величайшая трудность художника... [11]

— Может быть, — сказал Лев Николаевич. — Но только главное — то, что художник не рассуждает, а непосредственным чувством угадывает типы. В жизни какое разнообразие характеров! Сколько существует различных перемещений и сочетаний характерных черт! И вот некоторые из этих сочетаний — типические. К ним подходят все остальные... Вот когда я буду большой и сделаюсь писателем, я напишу о типе... Мне хочется написать тип... Но... я уж, как этот мой старичок говорил, «откупался» [12].

— Знаете, Лев Николаевич, — возразил Короленко, — есть легенда о Христе. Будто бы он вместе с апостолами пришел к мужику ночевать. А у того у избы крыша была дырявая, и Христа с апостолами промочило. Христос ему и говорит: «Что же ты крыши не покроешь?» А мужик отвечает: «Зачем я ее буду крыть, когда я знаю, что я в четверг умру?» И вот, говорят, с тех пор Христос сделал так, чтобы люди не знали дня своей смерти. Так и вы, Лев Николаевич. Что загады-

вать? Живут люди до ста двадцати лет. Так вот, может, вы и напишете этот свой тип...

— Когда я писал раньше художественные произведения, — сказал еще Лев Николаевич, — то как это было трудно! Теперь все это кажется так легко, потому что не надо исполнения. Я знаю это и потому отношусь так легкомысленно.

7 августа

Короленко, ночевавший в Ясной Поляне, ездил сегодня с Александрой Львовной к В. Г. Черткову в Телятинки, где его, разумеется, информировали о всех фазах болезни или злонамеренного поведения Софьи Андреевны, а затем в три часа отправился в Тулу, чтобы оттуда ехать по железной дороге домой. Лев Николаевич не преминул оказать ему любезность и доброту. По его плану, я верхом и с Дэлиром в поводу выехал на тульскую дорогу вперед. Он же поехал с Короленко попозже. Потом они догнали меня. Обернувшись, я увидел в подъезжавшей пролетке сидящих рядом двух стариков с белыми бородами, и первое время не мог разобрать, где Толстой, где Короленко...

Когда пролетка поравнялась со мной и остановилась, Лев Николаевич вышел из нее, попрощался в последний раз с Короленко, я тоже раскланялся с ним, и экипаж покатил в Тулу, увозя Владимира Галактионовича [13].

Н. М. Ростов

ТРИ СТАТЬИ ВЛАДИМИРА КОРОЛЕНКО

Воспоминания

Разгром революции 1905 года сопровождался вопиющими жестокостями в отношении участников революционного движения. Разгул репрессий нарастал постепенно, по мере того, как укреплялись позиции царского правительства.

Военные суды с их скорострельной практикой заполняли тюрьмы огромным количеством политических каторжан. Существовавшая дотоле каторга в Сибири оказалась не в состоянии вместить всех заключенных. Правительству пришлось срочно увеличить количество каторжных тюрем. Для этого в пределах Европейской России многие исправительные арестантские отделения были преобразованы во «временные каторжные тюрьмы» или, как их тогда называли, «каторжные централы». Знаменитая Шлиссельбургская крепость, упраздненная в 1906 году, была снова восстановлена в старой роли. Тогда же на большом дворе крепости было приступлено к сооружению новой огромной тюрьмы. По указанию министра юстиции Щегловитова, для содержавшихся в централах был установлен особый режим. Ранее лица, осужденные за политическую деятельность, содержались отдельно от уголовных. По новым правилам политических каторжан стали помещать в общих камерах с уголовными. Это был первый тяжелый для нас удар.

За первым последовал второй, самый чувствительный удар. В каторжных тюрьмах администрация полу-

чила право применять телесные наказания. Этими мерами царское правительство надеялось морально раздавить своих врагов, сломить их волю к дальнейшей борьбе.

В конце 1908 года открылась временная Псковская каторжная тюрьма. Двести активных участников революционного движения 1905—1907 годов были помещены в одних камерах с шестьюстами уголовных.

Начальником каторжной тюрьмы был полковник Петр Иванович Черлениовский. Офицер конвойной команды, он стал начальником каторжной тюрьмы исключительно из карьеристских побуждений. Его мечтой были жирные генеральские эполеты. Черлениовский сразу учел политическую обстановку и те способы, какими можно зарекомендовать себя в глазах высшего начальства. Для этого надо было быть откровенным черносотенцем и сколько возможно глумиться над революционерами, которые очутились в пределах его власти.

В январе 1909 года в Псковскую каторжную тюрьму прибыла из Петербурга первая партия политических каторжан. Все они были активные революционеры, много среди них было участников крупных боевых выступлений, военных восстаний, громких террористических актов. С большим достоинством они вели себя на следствии и перед военным судом. Все говорило за то, что эти люди, смотревшие на себя как на прямых наследников Народной воли, пойдут по стопам своих героических предшественников. Но вышло иначе.

Черлениовский знал, что весь будущий режим каторжной тюрьмы будет определяться поведением первой партии политкаторжан. Поэтому он сразу взял твердый курс. От новоприбывшей партии он потребовал соблюдения воинской субординации, точно они были солдатами его команды. Началась борьба, завершившаяся массовой поркой. Шестнадцать человек были наказаны, — остальные вскоре подчинились. «Петрушка» (как прозвали заключенные Черлениовского) почувствовал себя победителем. Об этой победе он торжественно возвещал вновь прибывавшим партиям.

А побежденные... они, конечно, чувствовали себя плохо. Для всех ясны были последствия этого поражения.

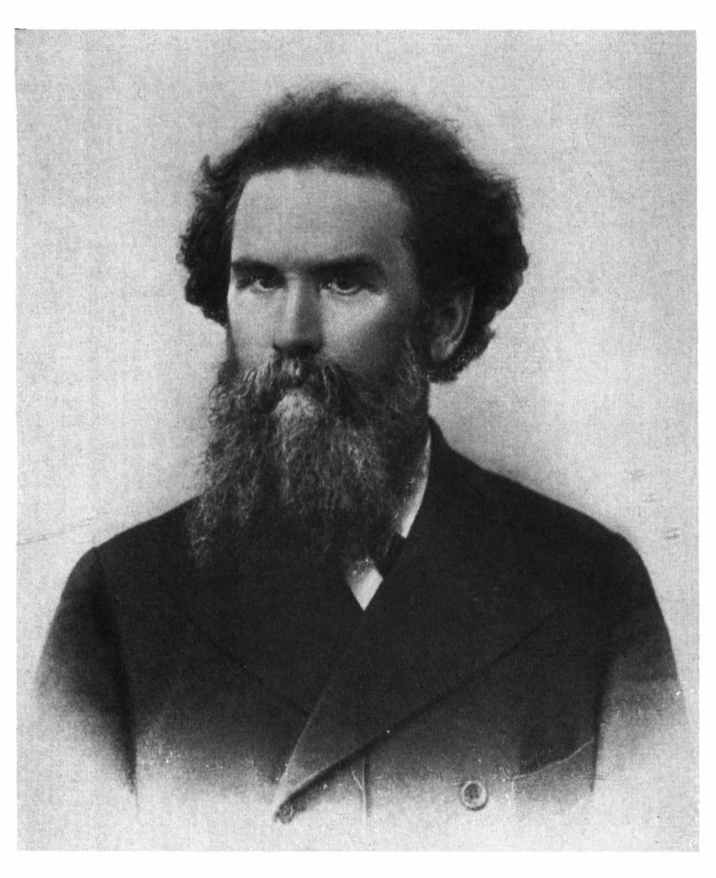
В феврале 1909 года, немного времени спустя после порки, прибыла в централ наша партия. И сразу трагедия политической каторги предстала перед нами во всем своем ужасе. Сознание невольно обратилось к тем трагическим событиям, которые неизменно сопровождали применение розог к революционерам. Вспомнились героини-мученицы Кары, обращение Бобохова...[1] Теперь самим пришлось стать перед возможным фактом быть наказанными. Что же делать? Как быть? Эти вопросы неотступно преследовали нас. А «Петрушка», казалось, потерял всякое представление о пределах своей власти. Розга стала явлением совершенно обыденным. Ее свист заглушал стоны истязуемых, их крики отчаяния. Губернские власти покровительствовали «Петрушке», гарантировали ему абсолютную безнаказанность. Псковский централ стал настоящим застенком, где кровь лилась чуть ли не каждый день.

Псков не был исключением. Во всех каторжных тюрьмах с разными вариациями режим произвола и насилий царил безраздельно. Казалось, самая активная часть революционного движения была навеки похоронена в этих централах. Но это было не так.

При первых симптомах оживления на воле изменилось и настроение политической каторги. Не сразу, но мысль о необходимости решительной борьбы появилась в нашей среде.

Группа сторонников активной борьбы решила организовать в нашем централе массовый протест против порки. Таковым могла быть голодовка. В процессе обмена мнениями между камерами выяснилось, что голодовка может быть эффективной только при наличии известной помощи находящихся на воле, ибо начальство всегда сможет задавить протестующую группу, изолированную от внешнего мира. Чтобы добиться успеха, надо было создать на воле благоприятную для протестующих атмосферу, раскрыть перед всем обществом условия жизни в централе, заклеймить тюремный режим, при котором были мыслимы творившиеся там преступления. И мы решили добиваться этого двумя способами: обратиться с воззванием к социалистическим партиям Европы и опубликовать ряд статей о порядках в централе и о тюрьмах вообще в русской легальной печати.

Проникнуть на страницы легальной оппозиционной



В. Г. Короленко. Полтава (1903)

печати можно было только при помощи человека, чей моральный авторитет в общественном мнении страны был особенно высок. Только такой человек мог открыть для нас страницы газет, мог приковать внимание общества к нашей борьбе. Этого человека нам искать не приходилось. Мы знали его, к его голосу прислушивалась страна. То был Владимир Галактионович Короленко, великий писатель и трибун, властитель дум целых поколений, человек, которого страна называла совестью народа. Изумительная моральная чистота, неослабное мужество, глубокая принципиальность, верность своим идеалам — все это делало Короленко единственным и неповторимым в среде русских писателей и общественных деятелей.

Герой рассказа В. Короленко «В подследственном отделении» Яков видел все свое жизненное призвание в обличении «неправедных начальников». За эти обличения Яков в конце концов попал в тюрьму, где его всячески тиранили, стремясь выбить из него дух протеста. Но все было напрасно. Стоило только в тюремном коридоре появиться какому-нибудь начальству, и Яшка немедленно начинал стучать в двери, протестуя этим против неправды в жизни.

Таким был и В. Короленко. Он никогда не мог спокойно или равнодушно пройти мимо неправды, произвола, насилия, угнетения, чтобы не возвысить свой протестующий голос. А так как неправдой и произволом была полна вся тогдашняя дореволюционная жизнь, то не удивительно, что Короленко мы видели вечно протестующим, разоблачающим, гневно клянущим носителей всех этих язв в жизни страны. И никакие гонения, угрозы расправой и даже убийством не оказывали на него ни малейшего влияния, не заставили умолкнуть беззаветно мужественного человека.

Борьба Короленко носила конкретный характер. Он всегда боролся за кого-нибудь, за чьи-либо попранные права. И раз начав борьбу, он ее доводил до конца, никогда не останавливался на полдороге.

Обличительные статьи В. Короленко были блестящи и по содержанию и по форме. Они производили огромное впечатление и находили живейший отклик не только на родине, но и за ее пределами.

К нему-то мы и решили обратиться в безысходные дни наши конца 1911 года.

В тогдашних тюрьмах всегда находились люди, готовые — одни из сочувствия к нам, другие за деньги — вынести на волю наши нелегальные письма. Так было и в Псковском централе, где мы имели нескольких «почтальонов». Один из них находился в тюремной больнице. Я же в это время содержался в одиночке, откуда писать письма, а главное — отправлять было очень трудно. Пришлось сказаться больным, и с помощью служителей больницы — наших товарищей — я был там. После вечерней поверки я засел за письма к В. Г. Короленко. Писать можно было карандашом на бумаге, предназначенной для завертки порошков.

Письмо Владимиру Галактионовичу писалось под впечатлением бывшего в этот день массового побоища в камере бессрочных, завершившегося чудовищной, даже по псковским нравам, поркой. Менее всего тогда думалось о форме, стилистике. Хотелось одного — рассказать все, что накопилось в сознании за долгие годы пребывания в централе. Рассказать все, ничего не утаивая, не прикрашивая, рассказать одну правду, как бы горька она ни была.

Короткая тюремная ночь уже закончилась, когда я заклеивал конверт. Еще до утренней смены наша «почта» уходила. Писать прямо на имя В. Г. Короленко было рискованно. Письмо могло не дойти. Поэтому я отправил его знакомой курсистке Психо-неврологического института Анне П. [2]. Я просил лично вручить письмо Владимиру Галактионовичу:

«Уважаемый Владимир Галактионович! Вам, вероятно, сначала покажется странным факт получения этого письма от неизвестного Вам автора. Но Вы, конечно, поймете мотивы, руководящие мной, когда я обращаюсь именно к Вам. Мне хочется немного дополнить материал к той бытовой картине, которую вы нарисовали [3]. В русской жизни тюрьмы являются той голгофой, где распято немало честных борцов. Но неслыханные зверства только в последнее время стали «бытовым явлением». Я не касаюсь отдаленного прошлого. Но я на собственном опыте испытал условия Сипягина, Плеве, Горемыкина. И в самые жестокие периоды реакции мы не видели и десятой доли того, что творится теперь. Иногда бывают страдания у людей, о которых тяжело говорить. Тогда

предпочитаешь молчать и где-либо в холодной темной глотать свои собственные слезы. Конечно, мы раньше знали, что нас ожидают издевательства и жестокие глумления. Но как-то трудно было вообразить себе все это. И когда эти кошмары обрушились со всей своей тяжестью, хотелось молча сносить эти удары. Но всему бывает конец... Я сижу в Псковской каторге два с половиной года. Я попытаюсь вырвать отдельные черты бытового явления. Описать всю нашу жизнь тяжело и трудно. Первое слово, которое я услышал здесь, это было «сто ударов». Вначале мы не поняли, о чем идет речь. Это был только момент. Уже утром мы узнали, что шестнадцать политических наказаны розгами за отказ говорить «здравия желаем» и т. д. Это было первое истязание, первые стоны и первая кровь, пролитая из мести. Месть побежденным! Этот мотив даже не скрывался. Начальник буквально сказал: «Вы убивали на воле браунингами, а я буду бить розгами». Первый шаг сделан. Это был момент розового утра реакции, и маленький диктатор отпраздновал первую победу над группой закованных невольников. А затем, затем началась оргия истязаний, и свист розог превратился в арию торжествующего победителя. Вы поймете меня, Владимир Галактионович, как тяжело говорить о ранах, полученных людьми от грязных рук в грязном застенке. Беспримерные ужасы, обрушившиеся на ту часть общества, которая достойно отстаивала свои требования, как-то притупили общественную чувствительность. Хрип людей, которых давят ежедневно, стал бытовым явлением. Нет поэтому ничего удивительного, что телеграмма из Пскова о порке шестнадцати политических прошла совершенно незамеченной. Ее мимоходом отметил Мякотин [4] и еще пара газет, и этим ограничилось. Это молчание придало им бодрости. А поощрения сверху укрепили администрацию на занятой позиции. Так началась кровавая месть за свой вчерашний страх. Били и бьют с остервенением, с какой-то дьявольской жестокостью. Бьют за малейшие проступки, бьют совершенно без причин, бьют за расстегнутую пуговицу, бьют, ибо жажда мести должна быть удовлетворена. Земского учителя выпороли за фразу «нельзя ли повежливей»; это было сказано им в ответ на гнусные оскорбления, которыми начальник осыпал статистика М[алашкина]. За проглоченный кусок

исписанной бумаги П[етров] получил сто ударов! И каких ударов. После истязания он буквально истекал кровью. Многих бьют до тех пор, пока начинают кричать, и горе тому, кто мужественно выносит истязания. Они умеют вырвать стоны у своей жертвы. За посланные письма пороли целую группу заключенных. Один после истязания проговорил: «напились крови». Этого было достаточно для помощника Сляского повторить пытку. У тов. Н. нашли анкетный листок. В итоге порка. Стоит ли перечислять все эти факты? Достаточно сказать, что число наказанных — сотни, число ударов — многие тысячи. Годы, проведенные под тяжестью этого кровавого кошмара, представляются сплошной цепью стонов истязуемых, свиста розог... Скученные в одних камерах, без перемен, многие надоедают друг другу. Особенно резко это выражено в камерах бессрочных. В такой камере (№ 20) многие десятки раз заявляли администрации о необходимости их рассадить. Но начальник нарочно этого не делал. Один латыш Т. даже голодал трое суток, требуя перевода. Но все напрасно. Наконец разразилось столкновение между несколькими вечниками, а один уголовный даже пустил в ход нож, легко ранив одного. Это было достаточно для начальника, чтобы перепороть *всю камеру*. Это было 8 октября. Их пороли в бане, и первой партии дали по сто ударов. Пол бани и стены были захлестаны кровью. Из окон неслись отчаянные крики. А розги все свистели. Тов. П. в качестве машиниста был внутри бани. Он только слушал. Когда все кончилось, ему удалось выскочить из бани и направиться в свою камеру. Неестественно озираясь, дрожа всем телом, он ошеломил камерную публику своим видом. На все вопросы он только мог отвечать: «Слышите? слышите? Они кричат, кричат, слышите?» И только наутро он опомнился и пришел в себя. «Они кричат! Слышите?» Но никто этого не слышит. И так каждый раз бьют розгами, бьют и наслаждаются кровавыми стонами... И не видно сквозь мглу кровавого тумана проблесков надежды. Холодное отчаяние овладевает при мысли, что нет исхода. Неужели протест против этого зверства совершенно невозможен? Неужели нет того голоса, который мог бы громко прокричать об ужасах застенков «обновленного строя»? Неужели для этого мы должны сначала разбивать свои головы о грязные

тюремные стены? Неужели только принятый яд или глотки, перерванные тупыми железками, могут служить аргументами безысходности нашей, аргументами протеста? Неужели забыта борьба, которую мы вели, теми, кто пользуются хоть остатками наших побед. Но пора вспомнить, что мы отдали нечто большее, чем жизнь, ибо как счастливы те, кто нашел себе смерть, смерть хотя бы от руки палача. Когда годы жизни превращаются в нить сплошных глумлений, искренне завидуешь тем товарищам, которым не пришлось быть собственным палачом.

Три года секут в тюрьмах политических заключенных, три года сквозь окна бесчисленных тюремных бань «они кричат» нечеловеческими голосами. Затем они приходят в свои камеры и сгорают от ужаса отчаяния, как погиб у нас тов. Браун, после беспричинной порки заболевший скоротечной чахоткой. И нет для них ни слов утешения, ни лучей надежды. И немало слез видели немые стены темных карцеров, как немало крови пролито на тех узких нарах, где поротые проводят первые дни.

К чему, в сущности, я все это пишу? Кажется, трудно ответить. Может ли что-нибудь сделать при данных условиях голос честной общественной мысли? Хочется верить, что — да. И как-то невольно хочется вынести на свет хоть крупицы нашей жизни, может быть, потому, что невмоготу становится молчание. Я изложил частицу бытового явления. Я уже не говорю о других бесчисленных издевательствах, которым подвергаются здесь заключенные. Описать все это — не хватило бы ни бумаги, ни возможности. Но Вы поймете, как благодарны мы были бы Вам, если бы Вы возвысили свой голос, заклеймив эти варварские методы мести и издевательства. Может быть, Вы найдете случай передать в группу крайне левых, дабы они использовали трибуну Г[осударственной] д[умы]. Материала, разумеется, найдется достаточно... Поднятый мною вопрос не есть чисто местный: он касается тысяч политических заключенных, которых зверская тактика победителей еще не успела вогнать в могилу. Они с чувством удовлетворения выслушают Ваше слово.

Уважающий Вас *Н. Р.*».

Было начало декабря. Стоял легкий мороз, падал мелкий снег. Анна П. зашла в редакцию «Русского бо-

гатства». Ей указали рабочую комнату Короленко. Владимир Галактионович, стоя у высокой конторки, работал над рукописями. Вошедшая сообщила содержание полученного поручения и передала письмо[5]. Короленко взял листки, стал читать.

Анна впервые так близко увидела любимого писателя, которого хорошо знала по многочисленным снимкам. Она заметила, как волнение охватило Короленко по мере чтения письма. Вдруг он неожиданно закрыл лицо руками, опустился на стоявшую рядом кушетку и зарыдал...

Потрясенная Анна растерялась, не зная что делать. Увидя приоткрытую дверь, она тихонько вышла в коридор, затем на улицу. Не успела она сделать и десяти шагов, собраться с мыслями, как услышала за собой:

— Барышня, барышня! Вернитесь!

Оглянувшись, она увидела взволнованного Короленко без пальто и шапки. Вернув ее к себе, Владимир Галактионович просил сообщить мне, что все возможное будет им сделано, чтобы нам помочь. Обещание это было выполнено.

Через несколько дней я получил ответ от Анны, в котором она подробно описала свою встречу с Владимиром Галактионовичем. Содержание письма быстро стало известно по камерам и сыграло очень большую роль в тех решениях, которые были вскоре приняты нами.

Ответ В. Г. Короленко открыл перед нами новые перспективы. Это была серьезная связь с Петербургом. Вслед за письмом мы послали Владимиру Галактионовичу еще два нелегальных пакета. В первом была послана «Анкета Псковской каторги». Анкета эта явилась результатом двухкратного опроса почти всех политических каторжан, которых в июне 1911 года было 230 человек. Данные этой статистики позволяют делать очень интересные выводы об участниках революционного движения эпохи первой революции, очутившихся в каторжной тюрьме. Помимо множества обычных вопросов, один вызвал всеобщее изумление на воле. Это — пункт о телесных наказаниях в каторжной тюрьме. Хотя подсчет общего количества розданных розог был неполным, тем не менее цифра 5854 поразила всех. Правительство пы-

талось опровергнуть эти данные, называя их преувеличенными, но делалось это столь неубедительно, что никто не поверил опровержению.

Анкету В. Г. Короленко передал известному литератору В. Базилевичу, поместившему в газете «Речь» большую статью[6], использовав данные этой анкеты[...] Во втором пакете мы послали В. Короленко воззвание «Ко всем социалистическим партиям России и заграницы» от имени группы социалистов Псковского централа. Рассказав об издевательствах, которым мы подвергались, мы заключали воззвание следующими словами: «Помогите же нам восстановить порванную связь с жизнью. Пусть голос вашего протеста проникнет в стены нашего и других застенков и раздует потухающее в наших сердцах пламя святой ненависти и борьбы... Пусть ваше негодование покажет нам, что мы не отверженные парии, которых можно убивать безнаказанно, но что мы члены единой, великой армии труда, временно разбитой, но не побежденной. Лишь ваш отклик, товарищи, может вернуть нам бодрость и вновь побудить к борьбе... Над нами веет дыхание смерти. Быть может, к тому времени, когда к вам дойдет это воззвание, у нас повторится трагедия Горного Зерентуя[7]. Поэтому распространите возможно шире его, чтобы не дать правительству своими лживыми разъяснениями извратить истину».

Воззвание это получило широкое распространение в заграничной русской и иностранной прессе. Посланное в русские журналы и газеты, оно напечатано полностью не было[8] по цензурным соображениям. Но о Псковском централе наконец заговорили. Впоследствии это воззвание явилось чуть ли не главным козырем в борьбе реакционной печати против В. Г. Короленко.

Статья В. Базилевича была перепечатана «Псковской жизнью»[9], положив этим начало для систематического появления в газете заметок о каторжной тюрьме. Дело не ограничилось псковской газетой. Статьи о нравах в каторжной тюрьме стали печататься во многих других газетах. Так, номер «Одесских новостей» с выдержками из нашего воззвания был конфискован, многие газеты, в том числе и «Псковская жизнь», были оштрафованы в административном порядке. Все это никого не удивляло в условиях тогдашней действительности. Важно было другое — лед тронулся, о каторжной тюрьме заговорили

в печати, и это было бесспорной заслугой В. Г. Короленко. Появление в «Речи» статьи В. Базилевича могло произойти только при его, Короленко, участии, поскольку материал для статьи был послан ему.

Газетная кампания против режима в каторжной тюрьме и, следовательно, против положения вообще в каторжных тюрьмах, не на шутку встревожила и местную власть, и высшие правительственные органы.

Кампания эта явилась для Петрушки полнейшей неожиданностью, а главное — он не знал, как бороться с этим явлением. Первые шаги его в этом направлении обнаружили всю его беспомощность. Он начал с того, что лишил тюрьму тетрадей и карандашей. Об этом факте немедленно напечатано было в газетах. Тогда Петрушка стал искать «почтальонов», но и здесь серьезных успехов не добился. Зато все его мероприятия немедленно освещались в газетах. Молчание, окружавшее тюрьму, было нарушено, и все изумлялись тому, как долго никто не имел понятия об ужасах в царстве полковника Черлениовского. Следствием этих выступлений был приезд в централ начальника главного тюремного управления С. С. Хрулева. Два дня он обследовал тюрьму, допросил многих заключенных и уехал, оставив все по-старому. Теперь мы сами должны были высказаться. И мы твердо решили в ближайшие дни объявить голодовку, ибо лучшего момента представить себе нельзя было.

П. И. Черлениовский сумел завоевать себе некую популярность в местном обществе. Он был членом общественного клуба, председателем музыкального кружка, умел говорить на литературные темы и даже уверял, что где-то когда-то встречался с поэтом Надсоном. Тщательно скрывая свою деятельность в централе, Петрушка всюду выставлял себя гуманным администратором.

Появление первых заметок в печати о положении в централе для многих явилось неожиданностью. А статья Базилевича в «Речи», перепечатанная «Псковской жизнью», раскрыла глаза даже тем, кто еще продолжал защищать начальника. Внимание местного общества явно было приковано к централу. 11 декабря мы объявили голодовку. Настроение у всех было необычайно приподнятое. Никогда в тюрьме не было такого

оживления. «Чем все это кончится?» — думалось каждому. Несмотря на массу благоприятных факторов, трудно верилось в победу. Но все были уверены, что борьба будет трудной и, возможно, потребует от нас не одну жертву.

В ответ на голодовку Петрушка пустил в ход розги. Но эффект получился противоположный — количество голодавших увеличивалось, а возмущение в городе варварскими методами усмирения стало всеобщим... от него все отвернулись, все в один голос стали его осуждать и чернить.

На маскараде в местном клубе, где обыкновенно собирались чиновники и интеллигенты и где, наверное, не мало было вчерашних знакомых Черлениовского, явилась маска: «Каторжная тюрьма». Костюм оригинальной маски состоял из серого арестантского халата, на руках и ногах маски были надеты кандалы. К костюму были пришиты пучки розог. Маска эта, конечно, немедленно была выведена полицией. Но что интересно: старшины клуба после долгих споров присудили первый приз именно этой крамольной маске. Когда об этом было объявлено собравшимся, разразились аплодисменты, длившиеся около получаса.

Морально это был конец Петрушки. Он засел в своей квартире и никуда за тюремную ограду не выходил, пока получил отпуск и тайком уехал в Петербург.

Вопрос об отставке Черлениовского был решен главным тюремным управлением. Там признали невозможным его дальнейшее пребывание в Пскове. Даже официальная «Россия» и та признала, что Черлениовского «по нашему общему мнению, надо перевести. Положение слишком тяжелое, и с этим приходится считаться».

«Псковская жизнь» давала ежедневно сведения о ходе голодовки, перепечатывавшиеся множеством других газет. Как писал потом проф. П. С. Коган, «весь цивилизованный мир был взволнован слухами о том, что происходило в Псковской каторжной тюрьме». Как раз в этот момент выступил В. Г. Короленко [10]. Уже одно название его статьи — «Истязательская оргия» — приковывало к себе внимание читателей.

Блестяще использовав присланный нами материал, Владимир Галактионович нарисовал жуткую картину деяний Черлениовского.

«...В статье Базилевича были обрисованы «порядки», царящие в Псковской каторжной тюрьме, — писал Короленко. — То, что отчасти описал г. Базилевич, глухо доносилось и ранее из-за мрачных стен этой тюрьмы, и наконец ужасающий режим разразился «естественными» последствиями: сто пять человек объявили голодовку, а начальство приняло против этого акта отчаяния свои обычные меры».

Приведя несколько фактов из практики Петрушки и «ревизии» Хрулева, Короленко продолжал: «И вот после «ревизии» господина Хрулева сто пять человек решаются голодать, а тюремный начальник напутствует их... розгами... Жестокость всегда цинична!»

Короленко привел несколько высказываний правой псковской газеты «Правда» [11], в которых редакция обвиняла Черлениовского «в жестокости и полной бессердечности».

«Итак, — продолжал Короленко, — весь Псков знал о том, что жестокость тюремной администрации давно вышла за пределы «разумной строгости», что в тюрьме с заключенными обращаются не как с людьми, а как «с тварями». Ужасы псковского застенка, просачиваясь сквозь его стены, возбуждали в городе осуждение и негодование... [...]

Теперь Псков является ареной захватывающей и потрясающей трагедии. 15 декабря в «Псковской жизни» писали, что «голодовка в тюрьме продолжается. Некоторые из голодающих проявляют большую слабость...» Этот ужас продолжает, значит, висеть над городом, объединяя общество в одном чувстве. Но что может сделать общество? Растерянная администрация предоставляет местной прессе кидать свои страшные обвинения... А в это время сто пять человек пытаются умереть, и тюремная администрация, быть может, опять стремится розгами возбудить в них охоту к жизни...

Верхотурье, Вятка, Пермь, Вологда, Зерентуй... [12] Теперь Псков! Что это за ужасная «автономия истязательства» за этими каторжными стенами!..»

Статья эта, напечатанная в «Речи» 18 декабря 1911 года, произвела огромное впечатление не только на родине. Десятки газет в России и многие за границей перепечатали ее целиком или частями. Перепечатала эту статью и «Псковская жизнь» [13]. Псковского губернатора

задела фраза о «растерянной администрации», и он оштрафовал газету еще раз на триста рублей за статью, легально напечатанную в столице. Этот штраф лишний раз показал, что губернатор действительно растерялся.

Несмотря на все ухищрения и угрозы администрации, голодовка продолжалась. При этом количество голодавших почти не уменьшалось. Люди держались стойко, чувствуя, насколько все это было важно перед лицом событий на воле[...] В этих условиях властям пришлось дать указания Черлениовскому прекратить голодовку ценой уступок, что тот и поспешил сделать. Он пришел в камеры голодавших и предложил заключить мир. К розгам он больше прибегать не будет. Соглашался и на некоторые другие уступки. Одно лишь он поставил условие — разрешить ему наказать меня за нанесенную ему «личную обиду». При этом он подчеркнул, что речь идет, конечно, не о розгах. С моего согласия условия были приняты, и голодовка закончилась. Я был снова закован в кандалы на год.

Окончанию голодовки В. Г. Короленко посвятил вторую статью — «Ликвидация псковской голодовки»[14]. Протестуя против штрафа, наложенного на «Псковскую жизнь», Владимир Галактионович утверждал, что «голодовка полуторых сот человек и единодушное разоблачение в печати» режима каторжной тюрьмы не могли не оказать влияния на изменение этого режима. «Тюремные стены как бы раскрылись, обнаруживая годами таившиеся за ними драмы... Свыше полуторых сот человек принялись голодать, Черлениовский принялся сечь «зачинщиков». До чего бы это могло дойти, если бы не газета... И даже бездушный закон нимало не потревожен. За что же было карать газету?»

Страстность В. Г. Короленко будила не только сочувствие к политической каторге. Она вызвала бурю ярости и ненависти к великому писателю в правящем лагере. Правительство прекрасно понимало роль, сыгранную В. Г. Короленко в этом событии. Превратить голодовку политических заключенных каторжной тюрьмы в большое общественно-политическое событие мог только он один. И капитулировать пришлось начальству, ко-

нечно, не перед нами, а перед той волной общественного негодования, которая последовала за разоблачением порядков, царивших в каторжных тюрьмах. Только этим и можно объяснить факт появления на страницах официального органа «Россия» статьи «Прокламационная литература», направленной против В. Г. Короленко и переполненной ложью и клеветой [15].

«Известный писатель В. Г. Короленко, — писал г. Б. в рептильной газете, — соблазненный успехом, который выпал на его долю в деле советника полтавского губернского правления Филонова, убитого революционным подпольем сейчас же после статьи г. Короленко, выступил в «Речи» со статьей против начальника Псковской каторжной тюрьмы полковника Черлениовского».

Цитируя приводимые В. Г. Короленко факты из деятельности Черлениовского, г. Б. указывает, что эти факты взяты из «революционной прокламации «Ко всем социалистическим партиям России и заграницы», и, следовательно, выступление Короленко — это новая «попытка отстоять революционные задачи, попытка тем более возмутительная, что она сознательно ставит себе целью обмануть общественное мнение». В дальнейшем г. Б. голословно опровергает приводимые в печати факты и, главное, отрицает факт массового применения розог. «Утверждать, как это делает В. Короленко, — пишет г. Б., — что наказывали за отказ христосоваться с начальником тюрьмы, или, как сообщает революционная «анкета», за неправильно произнесенное слово «капуста»... утверждать это, значит, сознательно идти на обман. Ничего подобного никогда не было в действительности». И он заканчивает свою статью: «Ни одно из обвинений, предъявленных подпольной литературой, не оправдалось. Г. Короленко это знает».

На этот выпад казенного журналиста В. Г. Короленко ответил третьей статьей — «О «России» и о революции» [16], в которой писал: «Официозному органу угодно было поставить меня в центре этой ужасной литературы и еще более ужасной революционной интриги...»

Перечислив источники, которые он цитировал в своей статье, Короленко отметил, что все это — свидетельские показания, опубликованные в прессе. И в этих показаниях «речь идет о самом элементарном бесчеловечии... Это крик возмущения, и «официозу» было бы небеспо-

лезно научиться наконец отличать такие крики от революционных призывов».

«Однако, — продолжал Короленко, — раз уже «Россия» упомянула о «прокламации», которую якобы я воспроизвел буквально, то и мне приходится обратиться к этому документу. В нем политические заключенные говорят, что, «оторванные от родной стихии революционной борьбы»... изолированные не только от внешнего мира, но и друг от друга, они «теперь думали только об одном: об устранении всяких с своей стороны поводов для применения розог». Чувствуя приближение назревающей катастрофы, авторы просят[17] по возможности сделать известным их заявление и перечисляют разные случаи беспричинных наказаний, которых мы здесь воспроизводить не станем»

«Так вот это и есть «революция»?..» — спрашивал Короленко.

«Только революционеры могут восставать против бесцельных жестокостей... Так хочет нас уверить официозная «Россия» своими киваньями на революционные прокламации, мечтающие только... об «избежании розог»... На первый взгляд это может показаться своего рода «программой», и даже довольно удобной. Мечтали о республике — пусть теперь помечтают о простом человеческом обращении без розог... Задачи «революции» сужены и отогнаны от настоящей политики в область элементарнейших вопросов. Да... Но зато посмотрите, как расширяется количество «революционеров».

И Короленко совершенно правильно указывал, что методы «России» создают впечатление, что всякий протест против зверств и беззаконий — революция.

В заключение Владимир Галактионович коснулся вопроса об убийстве Филонова. «Россия», — писал он, — повторяет уже в третий раз эту низкую клевету, которой одно время были полны десятки «правых» газет...»[18] Короленко напоминает, что судебное расследование доказало, что все, что «я писал в своем открытом письме, была правда, и ее только подтвердили показания свидетелей... Подтвердило ее и постановление суда... И если был голос, напоминавший о законе... то это был только мой голос».

Выступление против Короленко не ограничилось статьей в «России». Попытку опровергнуть сообщения

Короленко, реабилитировать Петрушку сделало и главное тюремное управление, то есть тот же С. Хрулев. На основании закона о печати оно заставило газеты напечатать «опровержение», в котором он писал, что «при посещении Псковской каторжной тюрьмы им был констатирован отличный внешний общий и по хозяйственной части порядок...», что «применение начальником каторжной тюрьмы телесного наказания производилось по долгу службы и в пределах предоставленной ему законом власти». Все сообщения Короленко и вообще прогрессивных газет, утверждал Хрулев, «имели целью лишь возбуждение общественного мнения в пользу политических заключенных, в видах ослабления режима».

Итак, и Короленко и вся оппозиционная пресса поведали миру ложную информацию. Об этом писал С. Хрулев в своем «официальном опровержении». «Полковник Черлениовский если и не ангел, то во всяком случае безукоризненный служака». Это писалось Хрулевым для общественного мнения страны [19][...]

Потрясенный выступлениями печати, в особенности статьями В. Г. Короленко, Петрушка решил уйти из тюремного ведомства. Он обратился к товарищу министра внутренних дел Курлову с письмом, прося его о назначении полицмейстером. Вице-директор департамента полиции Харламов обратился к Хрулеву с письмом, спрашивая его мнения о Черлениовском и о действительных причинах его желания перейти в министерство внутренних дел.

13 февраля Хрулев «совершенно секретно» ответил Харламову: «Полковник Черлениовский за время своей службы в должности начальника Псковского исправительного отделения отличался безукоризненными нравственными качествами, примерным усердием в исполнении своих обязанностей... К сожалению, однако, полковник Черлениовский не обладает уравновешенным характером и в стремлении к поддержанию строгой дисциплины среди арестантов неоднократно, вопреки полученным от главного тюремного управления указаниям, подвергал телесному наказанию целые группы арестантов...»

Таким образом, в этом письме Хрулев полностью опровергает собственное официальное «опровержение», подтверждая обвинения В. Г. Короленко.

Департамент полиции все же сделал попытку выручить Петрушку. По приказу ген. Курлова Харламов обратился к губернаторам саратовскому, витебскому, казанскому и адмиралу Вирену в Кронштадт. В своих ответах губернаторы отказались от любезного предложения. Петрушка покорился и уехал в Кострому. Умер Черлениовский 13 апреля от паралича сердца. Как сообщил полковник Бабушкин департаменту полиции, «покойный прибыл в Кострому в угнетенном состоянии, непрестанно жаловался на несправедливый перевод его из Пскова». К этому Бабушкин прибавил: «Подозревать злоумышление нет данных». На этот раз обвинять В. Г. Короленко уж никак нельзя было.

Как ни бесновалась реакционная пресса, как ни лгала она об исходе голодовки, ее результаты сказались уже через месяц. 18 января 1912 года был издан секретный циркуляр главного тюремного управления о телесных наказаниях, находившийся в теснейшей связи с событиями в Псковском централе. «Телесные наказания, — говорилось в нем, — применяются к арестованным в случае совершения ими выдающихся проступков против тюремной дисциплины, причем по соображению не только с тяжестью вины арестанта, но и его личными особенностями, уровнем его образования и умственного развития, степенью его нравственной чувствительности». При этом циркуляр предлагал предварительно применять к провинившемуся арестанту другие меры исправления с предупреждением, что «в крайнем случае он будет подвергнут телесному наказанию».

Если здесь еще не было отмены розог, то ограничение этого института было налицо. В замаскированной форме политические каторжане были почти освобождены от телесных наказаний. Это, конечно, не значит, что над ними вообще прекратились издевательства. В распоряжении тюремной администрации осталось достаточное количество средств глумления, которыми она и пользовалась до революции 1917 года, когда каторга была уничтожена.

Таков был финал голодовки в Псковском централе. И тогда и впоследствии, обращаясь к борьбе 1911 года, мы с величайшим благоговением вспоминали имя Владимира Галактионовича Короленко.

Н. М. Фролов

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. КОРОЛЕНКО

В мае 1910 года я обратился за медицинской помощью к доктору Будаговскому. Я знал от соседей, что в его доме проживает со своей семьей писатель-демократ Владимир Галактионович Короленко.

И вот когда я зашел во двор дома, то возле штабеля дров, лежавших у сарая, увидал знакомого по описанию и фотографиям Владимира Галактионовича. Я остановился у ворот и стал наблюдать за ним. Владимир Галактионович силился один поднять бревно на козлы. Видя, что это ему не по силе, я предложил свою помощь.

Владимир Галактионович с благодарностью принял мое предложение. Когда вслед за этим он взял пилу для резки, я также включился в эту работу. Владимир Галактионович начал протестовать, говоря, что неудобно отнимать личное время каждого; но когда я напомнил ему, что сегодня воскресенье и я свободен, то он еще раз с благодарностью принял мою услугу и заявил:

— Ну, а теперь, давайте познакомимся. Я — Короленко, а вы кто такой? — Я назвал себя. — Ну вот и отлично. Будем знакомы. Украинец и русский. Вы, Николай Матвеич, с Волги?

Вот так, с резки дров, и началось мое знакомство с Владимиром Галактионовичем, продолжавшееся до последних дней его жизни. Приходил я к нему на квартиру в свободное время. Принимал он меня запросто, всегда радушно. В часы беседы вспоминали о прошлых и настоящих злодеяниях царского правительства. Угнетение трудящихся Владимир Галактионович воспринимал болезненно и гневно.

Рассказывал мне о карательном отряде Филонова, как он избивал и издевался над крестьянами, показывал

мне свою обвинительную статью в газете — «Открытое письмо Филонову».

Вспоминал Короленко часто, как он жил в ссылке и работал сапожником. Он научился шить кожаные сапоги и показывал мне образец своей сапожной работы.

Любимым местом отдыха Короленко была украинская хатка в деревне Хаткй Миргородского уезда, где Короленко проводил лето. Я ремонтировал эту хату и часто присутствовал по вечерам на беседах местных крестьян с Владимиром Галактионовичем. Короленко подробно расспрашивал их о жизни, и крестьяне рассказывали ему про свое горемычное житье. «У вас много детей школьного возраста, а они не учатся», — говорил Короленко. «Школы нет», — отвечали мужики. «Составьте список, сколько у вас детей от семи до девяти лет, и пишите прошение в Полтавскую земскую управу, просите, чтобы выстроили школу. Выберите ходоков потолковее, пусть снесут прошение. Нельзя детей оставлять неграмотными. Неграмотного легко обмануть. А грамотный будет читать газеты, будет знать, что и как, где правда, а где кривда. Учиться необходимо. Есть книги по сельскому хозяйству, написанные учеными: как улучшить посевы хлебов, как выращивать и кормить скот, ухаживать за ним. Россия — страна очень большая, а людей, которые побывали в каждом ее уголке, мало. В книгах же рассказано о таких местах, как Крым и Кавказ, где внизу цветы растут, а на горах лежит вечный снег, что за сторона Сибирь. Из книг можно узнать, какие на земном шаре есть горы, моря и реки, как в какой стране живут люди».

В 1912 году крестьяне выхлопотали земскую школу. Школу выстроили. И когда я приехал в Хатки вместе с Короленко, я слышал, как крестьяне и особенно дети благодарили его.

Во время беседы с Владимиром Галактионовичем всегда хотелось его слушать, хотелось жить и бороться за правду. Как ясно и здраво рисовал он будущую жизнь без царей, палачей и помещиков.

В 1917 году после февральской революции Владимир Галактионович на митинге, увидав меня, сказал:

— Ну вот, Николай Матвеевич, дождались наконец. Пришли нам светлые дни. Правда кривду поборола.

В. В. Селихов

В ХАТКАХ

(Из воспоминаний о В. Г. Короленко)

Я знал Владимира Галактионовича Короленко в последние десять лет его славной жизни, но особенно хорошо помню его перед войной 1914 года, в годы своей юности.

В это время В. Г. жил в Полтаве, а на лето выезжал отдыхать на дачу, в деревню Хаткѝ, недалеко от села Сорочинцы, Миргородского уезда. Дача Короленко была расположена на одной из террас степной возвышенности, круто обрывавшейся в долину реки Псел. С этих мест открывался чудесный вид на широкую долину с зелеными лугами, лесами и перелесками, среди которых извивался Псел. Вдали на горизонте виднелось большое село — родина Н. В. Гоголя [1]. Вся природа этих мест в летние звездные ночи, казалось, дышала образами и видениями «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Местность эта у старожилов деревушки носила еще другое название — «Виноград», так как, по преданию, здесь когда-то были монастырские виноградники. Дача Короленко была небольшая, деревянная, с верандой и мезонином, где помещался рабочий кабинет писателя. Вниз, в сторону реки, спускался небольшой сад, а с другой стороны дачи росли столетние деревья одичавших яблонь и груш, широко раскинувшие свои ветви, образуя тенистую площадку.

По вечерам на даче собирались друзья и знакомые семьи Короленко, приходили местные жители-крестьяне поговорить о своих нуждах и бедах.

Днем В. Г. усидчиво и много работал, но в ежедневном распорядке дня было уделено время на прогулку и купание в реке.

Два раз в день, в 12 часов и под вечер, около семи часов, возле усадьбы писателя собиралась целая ватага ребятишек, ожидавших В. Г., чтобы вместе идти купаться. Короленко очень любил детей, и мы, в то время ребята в возрасте от восьми до тринадцати лет, понимали это своим особым детским чувством, очень отзывчивым на всякую искреннюю дружбу старших.

Собирались мы аккуратно, ожидали недолго, скоро к нам прибегала черная курчавая собака-пудель Карко, а затем показывался из дома и сам Владимир Галактионович. Широкоплечий, с большой шевелюрой слегка кудрявых седых волос, с каким-то особенно высоким красивым лбом и с умными, проницательными глазами, он бодрой походкой подходил к нам и ласково отвечал на наши приветствия.

Так как все ребята, — а их было человек десять — двенадцать, — ходили босиком, то всю эту молодую компанию Короленко называл «босоногой командой», а себя величал командиром босоногой команды. Надо сказать, что командиром он был строгим, но справедливым.

С криками, шутками, с безудержным детским весельем отправлялись мы купаться к реке. Сначала по дороге круто спускались вниз, а затем шли вдоль реки по тропинке, среди зарослей ивняка, бузины, шиповника и чернолесья. Место купанья было расположено на небольшой песчаной прогалине, среди густых кустов ивы. Здесь вся босоногая команда раздевалась, грелась на солнце и ожидала от командира разрешения бросаться в воду. Без команды можно было только немного смочить ноги и освежить водой лицо и руки. Наконец, минут через пятнадцать — двадцать, раздавалась команда: «В воду, раз, два, три», — и все с разгону бросались в реку. Владимир Галактионович хорошо плавал, но и мы не отставали от него и часто устраивали соревнование на быстроту плаванья. Перед окончанием купанья В. Г. организовывал «пирамиду». Самый меньший из нас становился по горло в воде; затем под него нырял другой, постарше, и усаживал первого к себе на плечи; под эту пару ребят нырял В. Г., держа их несколько секунд у себя на плечах, а затем сбрасывал за спину, в воду. Пе-

ревернувшись в воздухе, ребята исчезали под водой, но скоро появлялись, фыркая и хватая воздух[2]. После команды «Из воды, раз, два, три» все должны были быть на берегу, а за нарушение беспощадно карались: не имели права купаться в течение двух-трех дней. После купанья В. Г. обычно шел домой отдыхать[3].

Недалеко от деревни Хатки, в Сорочинцах, жил слепой кобзарь Михаил Кравченко. Он ходил по базарам и ярмаркам, из села в село, со своим поводырем-мальчиком. Раза два-три за лето приходил он и в Хатки. Короленко любил слушать старого кобзаря. Вся семья писателя собиралась вокруг слепого музыканта, и все внимательно и чутко прислушивались к мелодичным звукам струн старинной бандуры. Старчески дребезжащим голосом кобзарь пел думы про славного козака Морозенко[4], погибшего в боях за родную Украину, про гетмана Сагайдачного, что променял «жинку на тютюн та люльку»; пел и веселые украинские песни и прибаутки. Но особенно большое впечатление оставляла на всех дума про Сорочинскую трагедию 1905 года, сочиненная самим кобзарем Кравченко[5]. Дума рассказывала о том, как в пятом году, во время крестьянских волнений в Сорочинцах, стражники и урядники стреляли в безоружных крестьян, и было много убитых и раненых. Как известно, Короленко принимал активное участие в разоблачении виновников расстрела и истязания крестьян. Когда звуки умолкали и кобзарь заканчивал свою думу, все сидели молча, и каждый переживал по-своему то, о чем пел старый слепой музыкант.

Е. П. Леткова

СЛЕПЫЕ И ГЛУХИЕ

(Из записанных «Встреч и разговоров»)

Это было 27 февраля 1914 года. Короленко приехал в Ниццу[1] навестить Фроленко (шлиссельбуржца), который жил в русском отеле «Родной угол». Я тоже остановилась в «Родном углу», у моей сестры, с которой приехала повидаться из Швейцарии.

После многих месяцев жизни вне родины, в чужой природе на Альпах, среди чужих и чуждых мне людей я, увидя Владимира Галактионовича в саду нашего отеля, обрадовалась несказанно. Среди пальм, цветущих мимоз, на фоне синего моря — Короленко показался мне необыкновенно своим, родным, русским. И я точно в первый раз увидала, до чего он, со своей окладистой бородой, довольно длинными волосами и взглядом из-под бровей, — похож на крестьянина какой-нибудь Калужской или Смоленской губ. И сразу мне стало уютно с ним.

В этот же день из Ментоны приехал навестить меня мой друг П. Д. Боборыкин. И после завтрака, то есть часа в два, мы собрались в саду, под громадным деревом мимозы, обсыпанным желтыми гроздьями. Было так хорошо, как только может быть хорошо под горячим солнцем, да еще ранней весной. А мы сейчас же заговорили все о том же, о чем говорят русские интеллигенты за границей: о нашей несчастной родине, об ее бедах, о диких расправах, о бесчисленных жертвах... Владимир

Галактионович, всегда мягкий, был на этот раз до жесткости суров. Из Петербурга вести были мрачные: чувствовалось, что тучи нагромождаются все тяжелее и ниже, и издали было до ужаса очевидно, что «дальше так идти не может». О войне еще никто не думал, но уже чуялась катастрофа. Пылкий Боборыкин горячился, негодовал, и Короленко особенно сочувственно поддерживал его, что придало беседе дружелюбный характер. Мы забыли и про Ниццу, и про цветы, и про пальмы, а говорили о стачках, об арестах и высылках.

Вдруг Короленко задумался и точно ушел куда-то. Мне стало больно, что и здесь, куда он приехал отдохнуть, поправить немного здоровье, не было отдыха его душе.

Я предложила пойти к морю. И там настроение сразу изменилось. Уж очень было хорошо! Мы долго сидели молча, только Короленко изредка произносил: «Чудесно! Как хорошо!»

П. Д. Боборыкин вдруг посмотрел на часы, поднялся и стал прощаться. Я знала это свойство Петра Дмитриевича: при всей пылкости и горячности — никогда никуда не опаздывать и никогда не терять чувства времени.

— Куда вы? — с изумлением спросил В. Г., — здесь так прекрасно!

— В Монте-Карло. На дневной концерт...

— Ну, пропустите... Лучше, чем все это, — не найдете.

— Не могу... Я ни одного дневного концерта не пропускаю. Сегодня Берлиоз... Не могу!

И он не торопясь ушел на вокзал, условившись со мною, что через день я приеду к ним, в Ментону, завтракать.

В. Г. долго молчал. Мне не хотелось спугивать его настроения, и я не начинала разговора. Да вообще Короленко не любил «разговаривать». Встречи с ним были беседами — или интимно-дружескими, или на общественные темы. Он любил рассказывать — и рассказывал художественно, не стесняясь отступлениями, подробностями, сознавая, что каждое слово его необходимо в рассказе. И всегда все кругом слушали его с искренним сочувствием и доверием; всегда — помимо художественных эмоций — его рассказы вызывали умиленное восхи-

щение нравственным обликом рассказчика, его хрустально-прозрачной чистотой.

— Как хорошо! — опять сказал он, — а вот Петр Дмитриевич уехал и будет сидеть в душной зале, в искусственном освещении, среди искусственных душ, и не видеть ничего этого! Давно ли его на Берлиоза потянуло? Я в его произведениях что-то не замечал этого.

— С тех пор как потерял глаз и узнал, что и второму грозит та же участь... То есть, что он может совершенно ослепнуть.

— Ах, бедный, бедный! — сказал В. Г. так тепло, что стал мне еще милее.

— Да, бедный! Для него это, как мне казалось, было бы особенно трагично.

— Для него?! Я думаю — для всех...

— Но для Петра Дмитриевича зрительные впечатления, если судить по его вещам, были первенствующими... А он так геройски смирился с возможной слепотой. И, кажется, отчасти благодаря музыке... Он в ней открыл новый источник эмоций, новое богатство впечатлений.

— Да разве могут звуки заменить все это?

И он обвел рукой полукруг.

— Он добродушно говорит, что в течение своей долгой жизни вобрал в себя так много впечатлений, что может жить на этот капитал...

— Да это невозможно... Как невозможно наесться на всю жизнь!.. Вообще, что же может быть ужаснее слепоты?

— Глухота хуже, — ответила я.

— Что вы говорите?! — горячо воскликнул Короленко. — Глухота — большая гадость, но потеря зрения ни с чем не сравнится.

— Я тоже так думала прежде... После того, как у меня ослеп отец — у меня явилась такая боязнь ослепнуть, что я специально стала наблюдать за ослепшими... Я говорю не о слепорожденных, а ослепших... то есть уже знающих радость видеть... И сравнивала их с оглохшими, то есть потерявшими слух. И оказалось, что звуки в жизни имеют гораздо большее значение, чем зрительные впечатления, и что оглохнуть страшнее.

— Что вы?! — почти с негодованием сказал В. Г. — И вы говорите это здесь?! Взгляните!

Он произнес это так горячо; я так привыкла верить в правильность его впечатлений, что мне вдруг мои слова показались кощунственными, и вся моя теория относительно глухих и слепых словно провалилась. Если бы в моей жизни я не могла видеть ни Рима, ни Таорминэ, ни Монреаля, ни Золотого Рога! А произведения искусства, музеи?! А вечно меняющиеся красоты неба, бесконечное разнообразие выражений лиц близких и милых людей! Я почувствовала, что не имела права говорить так, и не хотела возвращаться к нашей теме.

Но Владимир Галактионович ни к какой беседе не относился поверхностно — и тут опять сам вернулся к этому разговору.

— Конечно, глухота — большое несчастье... Конечно!.. И звуки имеют громадное значение... Вдруг ничего не слышать! Ничего!.. Видеть и не слышать...

— Смотрели вы когда-нибудь через закрытые окна бал... Музыки не слышишь, а видишь, как танцуют... Удивительное впечатление... Совершенно другой смысл появляется во всех движениях, в этой работе до поту, в каких-то нелепых скачках. Мне кажется, так и вся жизнь, если не слышишь ее...

— Это, может быть, верно, — значительно сказал Короленко. — Вроде сидения в колоколе водолаза: все видишь, а ничего не слышишь... Жутко!

Мне сразу вспомнилось, какое громадное значение имеют в беллетристике Короленко все звуки. Он отмечает мельчайшие из них, и у него, как и у Тургенева, например, — человеческая психология неизменно сплетается или с говором природы, или с песней, вообще со звуками. Бодрый шум леса, ленивый шепот сада, ласковый плеск воды, тихое щебетанье пташек сквозь дружеский шорох листьев, всплески зыби... Он все слышал и отмечал.

— Об этом стоит подумать. Надо подумать...

Подошла моя сестра, с которой, собственно, я и приехала в Ниццу повидаться, и, услыша, о чем мы говорим с Вл. Г., сейчас же приняла горячее участие в разговоре.

— Какие могут быть сомнения?! Из ста человек — девяносто девять скажут, конечно, что ослепнуть го-

раздо страшнее, чем оглохнуть... Может быть, один чудак найдется и согласится с моей сестрой.

— А почему же все глухие такие мрачные, подозрительные? Вспомните, кого вы знаете из оглохших и ослепших... Глухие раздражительные; слепые добродушные, благожелательные, очень часто веселые...

— Потому что, — сказал В. Г., — их все жалеют, все к ним относятся с участливым вниманием... Осторожно!..

— Вот это, вероятно, и нужнее всего для ощущения радости жизни! Человеческое участие, сознание, что окружен «людьми», а не зверьем... Глухой не ощущает этого... Он видит! Он видит, что над ним часто смеются, видит, как часто он раздражает даже самых близких людей... Какое уж тут ощущение радости жизни... Вот почему я и утверждаю, что глухой несчастнее слепого... Помимо того что для него весь мир — немой, еще и окружающие жестоки к нему...

— Особенно это бросается в глаза в деревне, — сказал Короленко. — Там «глушня» — общее посмешище... А на сцене?! Глухой — всегда комический тип! И мы все смеемся... Жестоко!.. Да, жить глухому тяжело!.. Но и с ним жить не легко...

Сестра звала нас в дом пить чай, но я видела, что Владимиру Галактионовичу не хотелось уходить, что он должен что-то додумать до конца, и мы остались на берегу.

— Да! Тяжело!.. Тяжело! — сказал он, точно продолжая свои думы. — Я сам разошелся с одним приятелем с тех пор, как он оглох...

И В. Г., как всегда при дружеских беседах, заговорил тихо-тихо:

— Не мог! У меня с ним отношения были душевные; привык я, что он шепот мой улавливал, каждый вздох понимал... Бывают мысли или, вернее, чувства, которых никак не выкрикнешь. А ему кричать надо было! Придет ко мне; я усталый, измученный... Начну говорить с ним по душе. А у него была еще такая слабость (как почти у всех глухих) не признаваться, что не слышит. Я говорю, а он делает вид, что слышит, и когда уже все скажешь, всю душу выворотишь — он вдруг задает самый неподходящий вопрос: «Ну и что же?» Разозлюсь!

Для чего было выбрасывать на ветер тысячи слов? Он, бедный, обидится... Я чувствую себя виноватым... Ну, и стал невольно уклоняться от разговоров с ним, а потом и от встреч... Так наше приятельство и расползлось, разлезлось, как истлевшее полотно... И только из-за его глухоты! Это жестоко!

— Со слепым, вероятно, этого бы не произошло.

Владимир Галактионович сидел на песке, очень близко к волнам, обхватив руками колена и закрыв глаза.

Мы долго-долго молчали.

И странное выражение лица было у него. Вероятно, у Петра — слепого музыканта — бывало такое выражение. Никогда до тех пор я не видела его таким. Правда, что условия, в каких мы встречались прежде, совсем не походили на то, что было здесь. Накуренная комната, литературные споры, редакционные дела, общественные вопросы... Известия о новых арестах, материальная нужда товарищей... Здесь — громаднейший лазурный свод, бесконечные синие волны — и никаких людей. Я молчала, точно не существовала для В. Г., и он весь ушел, окунулся куда-то. Сидел с закрытыми глазами, склонив немного голову на правое плечо, и точно прислушивался левым ухом к чему-то. И вдруг мне стало ясно, *как* он слышит природу. Сразу вспомнилось, как он провел ночь у берегов «Святого озера» [2] у «невидимого, но страстно взыскуемого народом града»... [3] И как он слышал многоголосный говор толпы, пение нищих-слепцов, бесплодную схоластику религиозных споров...

Так он слушал и слышал, как лес шумит, — ровно, протяжно, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем.

Короленко хорошо знал, как дерево говорит. Осина все что-то лопочет (боится!). «Сосна на берегу в ясный день играет — звенит, а чуть подымется ветер, она загудит и застонет...» [4] А потом дуб заговорит...

Слышал он и шепот сухой травинки, и звенящие удары церковных колоколов, «поющие и плачущие, летящие к горнему небу и припадающие к бедной земле...» [5]

Все произведения Короленко пронизаны тончайшими впечатлениями говора природы и человеческих пережи-

ваний; соловей, рассыпавшийся по молчаливому саду неистовой трелью, легкие шаги любимой девушки, новые ноты в смягченном любовью голосе, сдержанные вздохи, горячие слова о счастье, о просторе, — все одинаково ярко запечатлелось в нем.

Я смотрела на него и думала, — что слышит он теперь в этом, казалось бы, равномерном и таком привычном рокоте волн?

Короленко открыл глаза и полушутя сказал:

— Я не спал... А может быть, и вздремнул...

Я знала, как В. Г. был далек от всякой рисовки, и поняла, что он сказал это именно для того, чтобы я не истолковала как-нибудь его молчание и закрытые глаза. И сейчас же — как с ним часто бывало — стал рассказывать «комическое» из своей жизни.

— Знаете, в юных годах мне очень хотелось петь... А не было никаких данных: ни голоса, ни слуха... Но я все-таки записался в гимназические певчие... Вероятно, отчасти чтобы пользоваться теми льготами, какие даются певчим... Пение у меня не пошло, и скоро регент заметил, что я только открывал рот.

— Короленко! Пой! — закричал он.

Я молчал. Тогда регент подошел ко мне вплотную и сказал:

— Ну, возьми la!..

Я такое la ему взял, что он сейчас же выгнал меня из хора.

Я вспомнила, что ровно два года перед этим, после вечера Литературного фонда в память Н. Ф. Анненского[6], Владимир Галактионович рассказывал нам этот эпизод из своей жизни. Очевидно, он придавал ему какое-то значение.

— А вот когда я стал глохнуть в Якутске... — начал В. Г.

— Как? Вы?

Я замечала, что Короленко туговат на ухо, но мне и в голову не приходило, что разговор о глухоте может коснуться лично его, иначе, конечно, я никогда не начала бы его...

— Да! И я боялся оглохнуть... Но не придавал этому такого громадного значения... А это действительно ужасно страшно... Вот сейчас я сидел и представлял себе, что я ничего не слышу! Жутко! И вспомнил, как,

бывало, в лесу лежу с закрытыми глазами и слушаю! Какое наслаждение! И не то что какие-нибудь особенные звуки, а все! Жизнь слышишь!

И вдруг после минуты молчания проговорил странным, изменившимся голосом:

— Вы правы! Страшнее всего оглохнуть!

Мне не хотелось быть правой, страшно было быть правой, и я, как мне казалось, искренне стала опровергать себя. Почему же все всегда ответят, что ослепнуть страшнее? Вероятно, правда в этом случае на стороне большинства. И когда мы встали, чтобы идти в отель, я еще раз указала на красоту моря, далей, всего, что нас окружало.

Владимир Галактионович понял, может быть, мою наивную хитрость и с доброй улыбкой сказал:

— Да и у нас не хуже! Сколько красоты! Одна Волга, с ее несмолкаемой жизнью — что стоит! Вся движется, вся сияет или рокочет... Я мог целыми часами сидеть на откосе и смотреть... На небо, на синеющие дали, на воду... Смотреть и думать. И как хорошо бегут мысли на таком фоне!.. А тут еще с плота откуда-то грустная-грустная песня... Так за душу и схватит...

— Песня?!

Но я сейчас же остановилась. Ни за что не хотела возвращаться к прежнему разговору после того, как В. Г. упомянул о своей глухоте.

Он, должно быть, понял, ласково улыбнулся и сказал:

— Мы с вами еще поговорим об этом... Надо разобраться. Может быть действительно, не слышать — самое большое несчастье...

— А может быть, и нет... Глухой по крайней мере не слышит глупостей и подлых гадостей, которые говорят кругом, — пошутила я. В. Г. улыбнулся грустной улыбкой.

Когда мы вошли в сад нашего отеля, с его яркой зеленью, с громадными цветами, засыпавшими клумбы, Владимир Галактионович остановился и сказал:

— Да! Это уже все мое! Я все унесу с собою, увезу к себе, в Полтаву! И волны, и цветы, и вот это дерево!.. Ах, какая красавица эта мимоза! И все мое! Вот какой я Вандербильдт!

Он шутил, но что-то грустное и в голосе и в глазах смущало меня.

Я обещала, что заеду к Короленко через день, на обратном пути из Ментоны. Но мне не привелось выполнить это. При выходе из отеля, отправляясь на вокзал, я получила телеграмму. Доктор сообщал мне из Давоса, что у моего сына поднялась температура, и я, не возвращаясь в отель, отправилась с тем же поездом, вместо Ментоны и Болье, прямо в Швейцарию. Из Бордигеры — границы Италии и Франции — я послала записку Владимиру Галактионовичу. И получила от него чудесное письмо *, полное сочувствия по поводу болезни моего сына. Но там была одна фраза: «Я согласен с вами насчет глухих!..»

Больше я не видала Владимира Галактионовича. Но этот разговор с необычайной ясностью вспомнился мне, когда я узнала, что он стал плохо слышать и что это мучило его. Конечно, не могло не мучить именно его, привыкшего к такому богатству впечатлений. Когда я позже перечитывала Короленко, я уже не могла не отмечать, как он все слышал, все воспринимал, и воспринимал как-то особенно, по-короленковски. Помните, в «Слепом музыканте»:

«...Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение... Тоска? Но отчего же она так приятна? Радость?.. Но зачем же она так глубока, так бесконечно грустна?..»

И он был обречен расстаться с этим расширяющим сердце ощущением, вызываемым таинственным говором природы, должен был лишиться этой глубокой, бесконечно грустной радости!..

И когда я узнала, что В. Г. оглох [7], мне вдруг стало страшно, показалось, что уже тогда, в Ницце, в 1914 году, он предчувствовал, а может быть, и знал, что его ждет...

---

* К моему большому огорчению, оно погибло с большей частью моего архива вместе с библиотекой в нашем имении в Калужской губернии.

К. А. Тренев

АВТОБИОГРАФИЯ

(Отрывок)

Любопытные, совершенно противоположные роли сыграли в моей литературной судьбе Короленко и Горький.

Однажды среди газетной работы я удосужился написать рассказ, который мне показался не хуже многого из того, что печатается в «Русском богатстве», и я дерзнул отправить его Короленко. Увы, ответ получился сдержанно-отрицательный. Главное, по своей сухости непохожий на обычные ответы Короленко, исключительно внимательного к начинающим авторам. Я принял его как приговор и надолго наложил на себя искус воздержания.

Но... гони природу в дверь — она в окно. Прошел год-другой, и на свет появился запретный плод — пьеса, которую я прочитал по секрету случившемуся на этот грех приятелю-журналисту. Приятель, конечно, вскочил, обнял, поздравил. Потом пришел на другой день, заявив, что он, как водится в таких случаях, ночь не спал. При этом потребовал, чтобы я немедленно послал пьесу Горькому на Капри, угрожая, в противном случае, запить на погибель своему туберкулезному организму. Ибо что такое гибель туберкулезного организма по сравнению с гибелью таланта!

Пьеса полетела на Капри, и очень быстро получился ответ Горького, чрезвычайно лестный и для пьесы, и для автора, просьба переслать экземпляр для Станиславского и прочее.

После этого от Горького последовал ряд писем, навсегда прикрепивших меня к литературе. На его предложение дать рассказ я ответил «Владыкой».

Два слова об одобренной Горьким пьесе и о забракованном Короленко рассказе[1].

Пьеса, хоть и напечатана была в «Заветах», оказалась дрянь. Таково мое убеждение, подкрепленное общим мнением о ней. Я давно постарался забыть о ней, и никто, даже грозивший запоем приятель, из деликатности не вспоминает о ней.

Рассказ же, отвергнутый Короленко, всегда сочувственно отмечался критикой. Я люблю его гораздо больше, чем те свои рассказы, которые потом очень охотно печатались в «Русском богатстве»[2].

Летом 1917 года был у меня в Крыму Горький. Мимоходом справился о судьбе пьесы. Я весьма сконфуженно пролепетал что-то вроде:

— Хотя, признаться, пьеса не признана, но я признателен...

Тем же летом семнадцатого года я был в Полтаве у Короленко. Неизбежные в те дни волнения очень отражались на его больном сердце. Но он долго ходил со мной по городу, интересуясь тем, что я видел на Украине, делясь собственными впечатлениями. Потом зашел ко мне в номер, несколько успокоился. Много говорил о причине своего «ухода» от художественной работы. А когда опять мы вышли на улицу, он взял меня под руку и, заглядывая в лицо своими изумительными глазами, сказал:

— Вы — мой редакторский грех. У меня два редакторские греха: вы и N (назвал известного беллетриста)[3].

Оказалось, он точно помнит и несчастный рассказ, и свой ответ мне, который он теперь считает ошибкой. А времени прошло уже около десяти лет...

— Вообще же мое правило — большая осторожность в обнадеживании начинающих. Не возбуждать тщетных надежд.

Я с большой горечью ответил Владимиру Галактионовичу, что в данном случае его правило нуждалось в исключении, а редакторство его — прежде всего грех перед писателем Короленко... По-видимому, он не обиделся, но и не изъявил желания признать этот грех.

В. Д. Бонч-Бруевич

МОЯ ПЕРЕПИСКА И ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С В. Г. КОРОЛЕНКО

(Из воспоминаний)

Это было очень давно. В девяностых годах прошлого столетия я, за участие в студенческом движении, был выслан из Москвы в Курск под надзор полиции. Здесь мне разрешено было поступить в Курское землемерное училище для окончания специального образования. Занятия в этом учебном заведении у меня отодвинулись на второй план. Я весь ушел в изучение литературы революционных демократов, начав с сочинений Белинского. Это изучение среди небольшого кружка таких же высланных из Москвы молодых людей очень вскоре поставило передо мной практический вопрос: что же нужно делать, чтобы передать народу все эти знания, чтобы развить его сознание, чтобы поднять его на борьбу с вековечными угнетателями? Я уже знал, что в царской России существуют подпольные политические партии, которые ведут героическую борьбу с самодержавием и царским правительством. Однако я также знал, что та героическая борьба, которая велась предшествующим поколением, была разбита реакционными силами царизма.

Для меня было ясно, что должна была возникнуть новая политическая партия, которая вырастет из недр народа и которая, вместе с народом, пойдет на штурм самодержавия прежде всего. Я знал, что эта партия должна будет опереться на силы рабочего класса, но как



В. Г. Короленко на процессе по делу Бейлиса
Киев (1913). Рис. В. Кадулина

это совершится, я еще тогда, шестьдесят четыре года тому назад, не представлял себе[...]

Совершенно было ясно одно, что необходимо приложить свои руки к делу издания и распространения тех книг, которые и для меня, и для моих товарищей послужили уже источником света, которые расширили наш политический кругозор. И я решил возможно скорее выбраться из Курска в Москву и сейчас же заняться этим делом. Большим толчком к нему послужили два обстоятельства. Сильно увлекаясь поэзией Н. А. Некрасова и стараясь прочесть все, что только можно было достать о любимом поэте, я в одной из книжек натолкнулся на рассказ о том, как сам Некрасов, желая приблизить свои произведения к народу, стал на собственные средства издавать свои поэмы и стихи отдельными небольшими «красными» книжечками, назначив им самую дешевую цену, равную пятачку и гривеннику. Так им были изданы «Коробейники», «Дедушка Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин», «Орина, мать солдатская» и другие его произведения. А ведь Н. А. Некрасов, соредактор журнала «Современник», друг Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, рискнувший напечатать роман «Что делать?», доставленный ему из Петропавловской крепости от Николая Гавриловича, — он в наших глазах, молодежи того времени, был тем деятелем русской литературы, подражать которому было нашей заветной мечтой. И мне страстно захотелось пойти по этому некрасовскому пути и сделать на нем как можно больше.

В это же время мне пришлось услышать от одного из радикально настроенных обывателей г. Курска довольно подробный рассказ о деятельности кружка чайковцев в семидесятых годах XIX столетия. Этот кружок решил заняться изданием книг по особой программе и, устраивая специальные полулегальные библиотеки, давать молодежи читать именно то, что ей более всего необходимо знать, чтобы выработать из себя образованных пропагандистов передовых общественно-политических знаний. Рассказы курского просветителя глубоко запали мне в душу. [...] Я задался целью организовать издательство дешевых и доступных для широких масс книг, выбирая для этого лучшие произведения художественной литературы, а также работы по естествознанию, географии, политической экономии, публицистике, юриспруденции

и т. п. Составив особое письмо, я рассказал в нем о своем намерении создать «Всероссийское общество распространения полезных книг», основой которого должна быть самодеятельность его членов. Это письмо я разослал некоторым писателям, которые, как мне казалось, должны были наиболее сочувственно отнестись к моему начинанию. Я решил прежде всего послать эти письма В. Г. Короленко, Н. Н. Златовратскому, М. К. Цебриковой, Г. Мачтету, Е. Свешниковой, Е. С. Некрасовой, Х. Д. Алчевской, А. С. Пругавину и некоторым другим. Само собой понятно, что в моем обращении было много молодости, энтузиазма, веры в необходимость предпринятого дела, но мало практической опытности и знания жизни.

На мои письма я вскоре стал получать ответы.

Седьмого декабря 1892 года я получил, живя в Курске и еще учась в землемерном училище, письмо от В. Г. Короленко, подлинник которого до сего времени хранится в моем архиве[1].

Вот текст этого первого письма ко мне Владимира Галактионовича:

«7 декабря 1892 г.

Милостивый государь Владимир Дмитриевич.

Разумеется, «в принципе» на Ваш вопрос возможен только один ответ. Невозможно не согласиться, что задача распространять в народе настоящую литературу вместо Никольской * — задача симпатичная и благородная. Но она не только трудна, — она в высшей степени трудна, требует много опытности, знания дела и денег, а для основания обширного, даже «Всероссийского общества распространения полезных книг» — одного доброго желания еще слишком мало. Между тем в Вашем письме нет решительно никаких указаний на то, какими средствами для исполнения этой задачи Вы располагаете и даже знакома ли Вам хоть сколько-нибудь практическая сторона книжной торговли. Ввиду этого, — могу

---

* В то время на Никольской улице в Москве сосредоточивались издательства так называемой «лубочной литературы» и их магазины. Они распространяли копеечные книжки «для народа» весьма скверного содержания, а также царские портреты, бумажные иконы и лубочные картинки. Все эти издания назывались изданиями «никольского рынка» или сокращенно «никольской литературой».

лишь ограничиться с своей стороны платоническим пожеланием успеха. Во всяком случае — мой совет не гнаться за большим, прежде чем не испробуете свои силы в маленьком масштабе.

Владимир Короленко».

Владимир Галактионович оказался прав. Несмотря на то что устав общества мною был выработан, а желающих вступить в это новое общество было множество, когда дело подошло к его утверждению, сейчас же оказалось, что все это — иллюзии и утвердить такое общество невозможно. Министерство внутренних дел отказывало всякому новому обществу в его утверждении и подбиралось к уже существовавшим, чтобы их закрыть. Так это первое мое желание работать в легальных рамках на пользу широких масс населения рухнуло.

К этому времени, то есть к 1894 году, прибыв в Москву, я вошел в несколько нелегальных социал-демократических кружков и стал работать по пропаганде среди рабочих, деятельно распространяя нелегальную литературу. Однако идею легального издательства для широких масс я не покинул. Я стал искать возможностей издавать книги для народа путем частного издательства.

Дальний родственник нашей семьи П. К. Прянишников, занимавшийся торговлей мануфактурными, ковровыми и иными тому подобными товарами, имел какое-то неизбывное тяготение к общественной работе, а также к изданию книг как для интеллигенции, так и для народа. Он издал полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова под редакцией П. П. Кончаловского с богатейшими иллюстрациями Врубеля и других иллюстраторов Лермонтова. В его же издании появился перевод сочинений Боккаччо, историков Лависа и Рамбо и целый ряд других изданий. «Для души», как говорил он, у него выходила «Народная библиотека» под редакцией В. Н. Маракуева, который неудачно подбирал книги и наконец совсем перестал заниматься этим делом. Зная мое тяготение к издательской деятельности, П. К. Прянишников пригласил меня в качестве редактора всей «Народной библиотеки». Я охотно согласился и выговорил себе право совершенно обновить состав сотрудников и издавать те книги для народных масс, которые я найду нужным. Все это я изложил в письме 15 марта 1894 года

В. Г. Короленко, уведомив его о программе первых изданий, которые должны были выйти в свет под фирмой «Издания П. К. Прянишникова»[...]

31 мая 1894 года я получил от В. Г. Короленко ответ следующего содержания:

«Нижний-Новгород
31 мая 1894 г.

Милостивый государь Владимир Дмитриевич.

Разные обстоятельства весьма внушительного, хотя и чисто личного, свойства помешали мне все это время быть аккуратным в переписке, и вот почему я не мог ответить Вам своевременно на Ваши запросы. К сожалению, те же обстоятельства, задержавшие все мои работы, побуждают меня теперь наверстывать потерянное время — и я решительно не в состоянии оказать Вам сколько-нибудь активное содействие, тем более что в издательском деле я совершенный профан. В Москве есть издатель народных книжек г. Муринов. Лично с ним я знаком мало, но состоял, как и с Вами, в некоторой переписке. Кроме того, он издал мой рассказ «Дети подземелья» [2]. Так как Вы оба задаетесь одинаковыми целями, то полагаю, Вам было бы небесполезно с ним повидаться и потолковать. К сожалению, адреса его я сейчас не знаю, а прежний адрес (может быть, годен и теперь) Москва, Трехпрудный пер., д. б. Блекловой. Зовут его, кажется, Владимир Яковлевич. Повторяю, что лично знаю его мало, как и подробности его дела, но думаю, что у него есть уже опыт и Вам он может быть полезен.

С совершенным почтением

Влад. Короленко».

Молодое массовое издательство, которое мне удалось организовать, начало хорошо развиваться. Многие авторы пошли навстречу моим обращениям к ним и стали присылать свои рукописи. Цензура быстро раскусила направление нового издательства и ставила всевозможные препятствия в его развитии. Рукописи М. К. Цебриковой, Н. Н. Златовратского, П. И. Добротворского, а также составляемые мною сборники подвергались преследованию и многие запрещались. Несмотря на это, я продолжал добиваться разрешения к печати отдельных книг, чему особенно много помогала мне петербургская

писательница З. С. Иванова (Мирович). Имея большие связи, она деятельно хлопотала в цензурах, и ей удалось провести такие книжки, как, например, «Спартак, предводитель римских гладиаторов», изложение романа Джиованиоли. Оно было сделано старой народоволкой Ц. С. Гуревич[3], находившейся в это время в политической ссылке. Также мой сборничек стихотворений «Родные песни», в котором были напечатаны некоторые ранее запрещенные стихотворения и в том числе знаменитое стихотворение Навроцкого «Утес Стеньки Разина», которое распевалось на всех вечеринках молодежи, как одна из революционных песен того времени.

Желая дать в нашем издательстве хорошие рассказы из жизни рабочих, я опять обратился к В. Г. Короленко, прося разрешить переиздать его «Павловские очерки», которые тогда везде и всюду горячо обсуждались, как нечто новое в творчестве любимого писателя, отобразившего эксплуатацию рабочих-ремесленников, занимавшихся изготовлением знаменитых павловских ножей, вилок и тому подобных изделий из стали, а также повесть «Без языка».

22 февраля 1896 года я получил от Владимира Галактионовича нижеследующий ответ: «Милостивый государь, Владимир Дмитриевич, «Павловских очерков» я не издавал до сих пор потому, что мне нужно их еще хорошенько пересмотреть и переделать, а главное, дополнить тем, что удалось еще видеть и что пришлось передумать по этому поводу. Когда мне удастся сделать, еще не знаю, а потому и входить в какие бы то ни было переговоры по этому поводу считаю еще преждевременным. Думаю, во всяком случае, что это — не народное издание, а скорее «о народе» для интеллигентных читателей. «Без языка» тоже предстоит еще кое-чем дополнить, и я еще не знаю, в каком виде приступлю к изданию.

С совершенным уважением *В. Короленко*».

Случилось так, что в самом разгаре деятельности нашего издательства нам пришлось идти на его ликвидацию. П. К. Прянишникова, дававшего средства на эти издания, вызвали в цензурный комитет и заявили ему, что если он не перестанет субсидировать народное издательство, то против него «будут приняты меры иного

порядка». П. К. Прянишникову было показано «секретное» распоряжение департамента полиции, в силу которого предписывалось подвергнуть его негласному надзору. И он должен был дать подписку, что прекратит издавать книги для народа. Издательство было ликвидировано. Оставшиеся книжки и брошюры были проданы с большой скидкой И. Д. Сытину, с тем чтобы он пустил их через офеней в народ... «Пускай читают! Раз «они» говорят вредно, значит народу полезно», — говорил Петр Кузьмич.

Это была его последняя месть департаменту полиции и цензурному комитету.

Таким образом, выступить в роли издателя произведений В. Г. Короленко для народа мне не удалось.

В это же время в Москве стало известно, что в мае будет коронация Николая II. Из осведомленных кругов нам сообщили, что Москву будут сильно «очищать» и что уже составлены проскрипционные списки, в которые вошли все мало-мальски политически заподозренные жители столицы. Социал-демократические организации г. Москвы решили временно самораспуститься и разъехаться по провинции.

Я собрался выехать за границу в Швейцарию, чтобы там поступить в университет и в это же время войти в сношения с «Группой освобождения труда», особенно с Г. В. Плехановым, сочинения которого производили в нашей социал-демократической среде того времени весьма большое впечатление. Кроме того, мне необходимо было наладить транспорт литературы и компактных печатных станков для устройства небольших тайных типографий в России при наших с.-д. организациях для печатания прокламаций.

Благополучно получив заграничный паспорт в канцелярии генерал-губернатора, в начале мая 1896 года я выехал за границу.

Моя переписка с В. Г. Короленко возобновилась в 1900 году.

Мне пришлось принять деятельное участие в огромном, еще никогда доселе не бывавшем в России, переселении русских крестьян-духоборцев за океан, а также и в устройстве их там, в привольных северо-западных прериях Канады, где ранее почти не ступала нога человека. Пробыв среди этой крайне интересной и самобыт-

ной многотысячной группы крестьян в течение почти года и хорошо изучив историю этой, веками преследовавшейся царским правительством и духовенством общины, я решил описать мое путешествие и напечатать его в России. П. Ф. Якубович посоветовал мне послать мои очерки в редакцию журнала «Русское богатство» — к В. Г. Короленко.

Вскоре после отправки моих очерков в «Русское богатство» я получил от В. Г. Короленко сильно меня ободрившее письмо:

«16 марта 1900 г.

Многоуважаемый Владимир Иванович[4].

Мы охотно воспользуемся тем, что Вы обещаете прислать — весь вопрос, разумеется, в возможности со стороны цензуры. Итак, пожалуйста, пришлите поскорее второе письмо. Нам необходимо иметь его и обеспечить, т[ак] сказать, продолжение писем, прежде чем печатать первое. Дело в том, что о переселении духоборов в Америку в «Русск[ом] бог[атстве]» уже была статья, и Ваше первое письмо во многих чертах явится повторением. Это не помешает, если за первым пойдет второе и т. д. В общей связи первое получит свое значение. Итак, присылайте. Тех препятствий, какие встретились у Вас в «С[ыне] отеч[ества]», Вы у нас не встретите, — правда имеет свои собственные права, — но я все-таки очень благодарен Вам за разрешение кое-каких редакторских сокращений. Постараюсь не злоупотреблять ими.

Жму руку и желаю всего хорошего.

Вл. Короленко.

P. S. То же, разумеется, скажу и о толстовских материалах. Присылайте! К сожалению, должен сразу же сообщить одно цензурное соображение. Указания на архив Вл. Черткова или даже В. Ч. не могут быть сделаны. Цензура не допустит».

Через несколько дней я послал Короленко мой второй и третий очерки и сообщил ему письмом, что имею полную возможность присылать далее.

Конечно, я с радостью дал свое согласие В. Г. Короленко на все нужные редакционные сокращения, которые он только найдет нужным сделать. И надо было

быть В. Г. Короленко, чтобы еще благодарить молодого автора за разрешение выполнить это законное право редактора.

Такой чуткой деликатностью к писателю у нас обладают очень немногие. Здесь чувствовалась традиция «Отечественных записок» в бытность там Щедрина[5], который при всей своей суровости всегда умел крайне осторожно подходить к сотрудникам своего журнала и их произведениям.

От В. Г. Короленко я вновь получил письмо в начале мая[6], из которого с радостью узнал, что мои очерки наконец-то сданы в типографию.

Не получая довольно долго новых известий из редакции «Русского богатства», я написал об этом П. Ф. Якубовичу и просил его справиться о судьбе моих статей. Вскоре А. И. Иванчин-Писарев прислал мне корректуру первого моего очерка, и я решил, что с ними дело устроилось. Сейчас же спешно прочел гранки и отослал их обратно в редакцию журнала, оставив у себя второй экземпляр гранок, мне предусмотрительно присланных.

Третий мой очерк, где я подробно рассказывал о преследовании духоборцев в России царским правительством и о том, как они устраиваются коммунами на новых местах, вызывал у меня опасения в смысле цензуры, о чем я и написал П. Ф. Якубовичу.

Он сейчас же ответил мне.

«...О ваших «Записках», — писал он, — давно еще слыхал от Владимира Галактионовича — что вещь оч[ень] интересная, но в «Русском богатстве» при данных ценз[урных] условиях (которые, по-видимому, будут длиться еще много лет) совершенно невозможны. Таким авторитетным отзывом вам, конечно, приходится вполне удовлетвориться, и мой суд является уже, думаю, лишним. В ценз[урных] делах я понимаю мало, а в худож[ественном] отношении... что же может быть лучше столь лестного отзыва такого патентованного художника, как Короленко?»

Это письмо имело тогда для меня то значение, что я, вечно сомневавшийся в достоинствах своей работы, узнал оценку такого писателя, как В. Г. Короленко. Теперь же я могу оценить и те громадные усилия, которые делал В. Г. Короленко, как редактор передового жур-

нала, чтобы провести через рогатки цензуры запретные, с ее точки зрения, материалы [7].

Но, несмотря на старания Короленко, царская цензура зарезала мои очерки «Духоборы в Канадских прериях». Первую часть этих очерков только через шестнадцать лет я мог выпустить отдельной книгой в издательстве «Жизнь и знание» в Петрограде, почти накануне февральской революции [8].

Та же участь постигла и мои заметки «Шесть лет в закрытом учебном заведении», которые я отослал Короленко несколько лет спустя: цензура ничего не пропускала с моей фамилией, о чем я узнал после из секретного циркуляра главного управления по делам печати. Эта часть моих записок была напечатана за границей в № 1 и 2-ом журнала «Жизнь», закрытого в Петербурге и как раз начавшего издаваться в Лондоне в 1902 году.

Таким образом, и В. Г. Короленко не пришлось быть публикатором моих произведений.

В 1908 году в Петербурге я начал издавать серию «Материалов к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества».

30 апреля 1910 года я получил от В. Г. Короленко открытку, в которую был вписан собственноручно его полтавский адрес: «Полтава, М. Садовая, 1. Владимиру Галактионовичу Короленко» — с обозначением, что он желает получать наложенным платежом все выпуски моего издания, как предполагающиеся к выходу, так и те, которые уже вышли в свет.

Все выпуски моего издания были всегда высылаемы Владимиру Галактионовичу. В апреле 1915 года был выслан последний, седьмой выпуск [9].

В 1912 году сильнейшим образом вспыхнуло антисемитское черносотенное движение, кульминационным пунктом которого был созданный царским правительством и духовенством преподлейший судебный процесс в Киеве по делу убийства юноши Андрея Ющинского, состоявшего в шайке воров, желавших ограбить один из Киевских соборов (1913). Андрей Ющинский должен был в качестве «домушника» проникнуть через форточку в собор и открыть одну из дверей, запиравшихся на внутренний засов. Заподозрив своего молодого сообщника в предательстве, главные деятели этого предполагаемого ограбления убили его под утро на отвратительной оргии

у полуцыганки Веры Чеберячки, предводительницы этой уголовной шайки.

Андрей Ющинский был ранен в висок неверной пьяной рукой и прикончен ударом шила в тот же висок. Труп Андрея Ющинского, сохранявшийся сначала на квартире Чеберячки, был стащен ночью в пещеру, находившуюся недалеко на выгоне, где и был найден детьми. Черносотенцы Киева, прокурорская власть, попы и полиция заявили, что Андрея Ющинского убил с ритуальной целью заведующий расположенным рядом кирпичным заводом еврей Бейлис. Бейлис был арестован и предан киевскому окружному суду с присяжными заседателями.

Все реакционеры желали воспользоваться этим наглым, клеветническим обвинением и из всех сил раздували национальную вражду, надеясь вызвать повсеместные еврейские погромы. В Киев на суд съехались представители русской печати. Среди прогрессивной ее части появился В. Г. Короленко, написавший в местной газете «Киевская мысль» несколько фельетонов [10]. Я был приглашен этой же газетой как специальный ее корреспондент и печатал из номера в номер все то, что наблюдал на процессе. В этой же газете я поместил очерки под названием: «Кровавый навет на христиан» в противовес «Кровавому навету на евреев» [11].

Здесь на процессе я хорошо и много общался с Владимиром Галактионовичем, который с большим одобрением относился к моим очеркам, сказав мне, что мои фельетоны о кровавом навете на христиан разъяснили населению ложность навета на евреев и помогли остановить готовившийся погром еврейской бедноты на Подоле. Это известие крайне меня обрадовало. Я получил подтверждение этого от самого председателя Киевского отделения «Союза русского народа» [12] черносотенца студента Голубева, который, встретив меня в суде, вслух заявил: «Вы помешали нам пустить искупительную кровь из еврейства, почему мы решили вас убить». Я посмеялся над этим расхрабрившимся студентом и посоветовал ему поусердней заниматься науками в университете, мундир которого он позорит своей черносотенной деятельностью, и не быть игрушкой в руках «Союза русского народа». К моему удивлению, этот негодяй сразу присмирел и более не обращался ко мне ни с какими угрозами.

В. Г. Короленко, узнав об этом инциденте, выражал мне всяческое сочувствие и говорил, что надо потребовать от председателя суда удаления Голубева из зала суда. Я отсоветовал это делать, так как ясно было, что председатель суда, такой же черносотенец, как и студент Голубев, воспользуется этим случаем и закроет зал суда для публики и тем самым ограничит гласность процесса, что было бы весьма нежелательно.

Во время одного из перерывов все представители прогрессивной прессы снялись группой во главе с В. Г. Короленко[...]

Помимо этой личной переписки и встреч, я собирал эпистолярию Владимира Галактионовича [13], которая была мною в 1933—1941 годах сосредоточена в Государственном литературном музее в Москве, тщательно описана для издания в каталогах музея и подготовлена к опубликованию как в сборниках «Звенья», так и в специальном томе «Летописей» Гослитмузея. К величайшему сожалению, это нужное издание осуществить до сих пор не удалось.

С наступлением Октябрьской революции мне пришлось неоднократно получать официальные сведения, как управляющему делами Совета Народных Комиссаров, о том, что В. Г. Короленко весьма неодобрительно относится к деятельности представителей советской власти, считает совершенно ненужным и зловредным решительную борьбу диктатуры пролетариата с эксплуататорскими классами, называя ее «излишней жестокостью». Он доказывал, что мирная эволюция, в лоне республиканской конституции, скорее достигнет желанной цели, чем решительная, беспощадная, нередко кровавая борьба классов, которая, по его мнению, только напрасно озлобляет народ. С присущей ему откровенностью и бесстрашием, Владимир Галактионович это свое мнение, шедшее вразрез с указаниями директивных органов партии и правительства, открыто высказывал всюду и везде, как в письмах, так и устно при разговорах, и на собраниях...

Все сведения об этих фактах были известны Владимиру Ильичу.

— Не понимает он задачи нашей революции, — говорил Владимир Ильич. — Вот они все так: называют себя революционерами, социалистами, да еще народными [14], а что нужно для народа, даже и не представляют. Они

готовы оставить и помещика, и фабриканта, и попа — всех на старых своих местах, лишь бы была возможность поболтать о тех или иных свободах в какой угодно говорильне. А осуществить революцию на деле — на это у них не хватает пороха и никогда не хватит. Мало надежды, что Короленко поймет, что сейчас делается в России, а впрочем, надо попытаться рассказать ему все поподробней. Надо просить А. В. Луначарского вступить с ним в переписку: ему удобней всего, как Комиссару народного просвещения и к тому же писателю. Пусть попытается, как он это отлично умеет, все поподробней рассказать Владимиру Галактионовичу — по крайней мере пусть он знает мотивы всего, что совершается. Может быть, перестанет осуждать и поможет нам в деле утверждения советского строя на местах.

При первом же свидании с Анатолием Васильевичем Владимир Ильич рассказал ему о возмущениях В. Г. Короленко и распорядился все сведения из Полтавы о выступлениях Короленко в дальнейшем пересылать лично А. В. Луначарскому [15].

— А сочинения Владимира Галактионовича надо сейчас же переиздать в Государственном издательстве как можно дешевле: они очень полезны для чтения широкими массами, — сказал Владимир Ильич, обращаясь к А. В. Луначарскому, члену редакции Госиздата[...]

Когда пришла весть о кончине Владимира Галактионовича, это известие было принято широкой советской общественностью с большой печалью. Память об умершем крупном русском писателе была почтена наименованием школ, устройством музея его имени, изданием полного собрания его сочинений, которые и до сих пор являются любимыми книгами советского читателя.

А. В. Свешников

ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ С В. Г. КОРОЛЕНКО

Я познакомился с Владимиром Галактионовичем в 1919 году, когда по поручению Наркомпроса приехал в Полтаву, чтобы организовать там детскую колонию.

Первый, к кому я обратился, был В. Г. Короленко. Из Москвы у меня было к нему несколько писем.

Вот я — на Садовой улице, у небольшого домика, где жил писатель.

Это было в конце февраля[1].

Принял меня Владимир Галактионович очень радушно.

Вечером сели мы пить чай, стали разговаривать. Тут же были его домашние: две дочери, зять, сестра жены. Короленко стал расспрашивать меня о Москве, и очень внимательно слушал, не перебивая. В его расспросах чувствовался огромный интерес к Москве и строящейся там новой жизни. Очень настойчиво он расспрашивал о Ленине: видел ли я Ленина, как он выглядит, как одет, как говорит, как его слушают, как приветствует его народ. Спрашивал также, видел ли я Крупскую, слушал ли выступления Луначарского. Его интересовало, ходят ли в Москве трамваи, хорошо ли я ехал по железной дороге.

В этот же вечер Короленко решил, что нужно будет в ближайшие дни созвать собрание Лиги спасения детей[2], которая существовала в то время в Полтаве, на этом собрании рассказать о положении детей в Москве и о необходимости вывезти их на Украину.

Собрание прошло хорошо. Были приглашены врачи, общественные деятели Полтавы. Владимир Галактионович, как председатель Лиги спасения детей, выступал на собрании [3]. Было решено детей вывезти из Москвы и разместить в окрестностях Полтавы, в бывших помещичьих экономиях.

Вскоре я уехал в Москву, а весной вернулся в Полтаву — уже надолго, так как мне было поручено дальнейшее ведение дела.

В. Г. Короленко за это время провел огромную подготовительную работу: ходил по учреждениям, лично договаривался обо всем, добился разрешения на поселение детей в окрестных имениях, хлопотал об обеспечении колонии деньгами и продуктами. В Полтавскую губернию из России постепенно было привезено свыше шести тысяч детей. В дальнейшем нами был организован большой продуктовый склад, снабжавший наши колонии. Короленко требовал строжайшего учета, говоря, что у нас не должен исчезнуть ни один грамм.

Большое участие в работе Лиги принимала дочь Владимира Галактионовича — Софья Владимировна, и ее близкий друг — Мария Леопольдовна Кривинская. Марию Леопольдовну мы шутя называли «директором-распорядителем» Лиги спасения детей.

В своих заботах о детях Короленко был неутомим. Он вникал во все мелочи. Например, у нас были большие затруднения с обувью. Во что обуть детей? Короленко подал мысль сшить обувь из шинельного солдатского сукна, а подметки сделать деревянные. Так и поступили. Он же хлопотал о пальто для детей.

Владимир Галактионович и во мне принимал участие: заботливо расспрашивал, где и как я устроился, как мне живется [4].

Однажды я пришел к нему вечером позднее обыкновенного. Он и спрашивает: «Что так поздно?» Я признался, что у меня развалились ботинки, и я ждал темноты.

— Снимайте, я сейчас починю.

— Что вы, что вы, Владимир Галактионович!

— Снимайте, снимайте, это пустое дело. Когда-то я по-настоящему работал, а холодная починка — пустяки!

И тут же починил мою обувь.

Держался Короленко с исключительной простотой. В те годы он работал над «Историей моего современника». Пришлют ему, бывало, верстку[5], он дает мне прочесть и просит сделать замечания.

— Какие же, Владимир Галактионович, я могу сделать вам замечания?!

— Всякий человек, — отвечает, — может сделать замечания, и наиболее ценные замечания делают именно читатели. Комплиментов, пожалуйста, не говорите, я их терпеть не могу, а вот замечания сделайте.

Иногда Владимир Галактионович звал меня с собой погулять. Все ребятишки на Мало-Садовой улице хорошо знали его, завидев, бежали навстречу, называя «дедушка Короленко». И с каждым из них он, бывало, поговорит.

Как-то мы шли мимо церкви. Там отпевали покойника. Короленко неожиданно предложил:

— Зайдемте.

Мы зашли.

— Я не спрашиваю вас, — сказал он по выходе из церкви, — религиозны вы или нет, и сам не из религиозных побуждений зашел сюда. Но писателю нужно иногда видеть человеческое горе.

И долго он шел молча.

В доме Короленко я не видел никаких музыкальных инструментов. Но дом его стоял на окраине города, дальше начинались луга, и летом через открытые окна постоянно доносились песни, чудесные украинские песни. Короленко не раз говорил мне, что очень любит их слушать, и восторженно о них отзывался.

Иногда он сам напевал. От него первого я услышал песню «Замучен тяжелой неволей». Он слышал эту песню в ссылке. Я записал ее тогда — слова и напев — с его голоса. И только потом, после смерти Ленина, услышал ее в Москве.

Я очень любил, когда Владимир Галактионович что-нибудь рассказывал. Поэтому, бывая у него, я всегда старался вызвать его на воспоминания. Его рассказы о ссылке, Нижнем-Новгороде, о Сорочинцах были очень интересны.

Однажды я спросил его: «Владимир Галактионович, как же вы относитесь к советской власти?»

Он мне ничего не ответил.

Тон в семье Короленко был веселый, шутливый, и сам

Короленко производил удивительно жизнерадостное, светлое, бодрое впечатление. Все у него было как-то молодо. И глаза у него были, как у юноши, необыкновенно яркие. И так внимательно он смотрел ими на человека, что порой под его взглядом становилось неловко.

О Короленко и его семье нельзя просто сказать: хорошие люди. Это были необыкновенные люди, необыкновенно прекрасные люди.

В июле 1919 года в Полтаву пришли белогвардейцы. Большевики оставили город, не успев вывезти детей. Но когда началась эвакуация советских учреждений, Совет защиты детей[6] поручил заботу о детях Лиге спасения детей и оставил ей при этом большую сумму денег. Деньги эти с экстренного заседания, происходившего ночью, были принесены Софьей Владимировной домой.

Владимир Галактионович хранение такой большой суммы в частном доме считал крайне опасным и решил разделить эти деньги на несколько частей, чтобы хранить их у верных людей в разных местах.

Но на следующий же день вечером, еще засветло, в дом Короленко явились два вооруженных бандита и, назвав себя деникинскими дружинниками, потребовали выдачи денег. Короленко, не задумываясь, схватил одного бандита за руку, державшую револьвер, и дал обоим такой резкий отпор, что два молодых вооруженных человека пустились в бегство от безоружного старика и прибежавших на шум и выстрелы женщин. Короленко, схватив свой маленький револьвер, ринулся за негодяями, но жена и дочь силой удержали его, заперев перед ним двери.

Я пришел к нему как раз в тот вечер и видел его полуигрушечный револьверчик. Короленко был сильно возбужден и говорил, что если бы его не удержали, он стрелял бы в бандитов на улице[7].

Первые дни после прихода белых я опасался показываться на улице, а затем все же отправился к Короленкам. Придя, я тотчас заметил в семье встревоженное настроение. Наталья Владимировна мне и говорит: «У нас прячутся два человека, пришедшие к Владимиру Галактионовичу. Вам лучше сейчас уйти».

И все время, пока в городе были белые, у Короленко спасалось несколько человек. Это делалось, конечно, с огромным риском. Если бы некоторые из скрывавшихся у него были обнаружены, ему не миновать бы серьезных неприятностей.

И постоянно к нему кто-то приходил, о чем-то просил. Бывало, сидишь у него и без конца слышишь звонки, и каждый раз кто-нибудь из близких — жена или тетка говорит: «Володя, там пришли такие-то», или «приехали из Сорочинец, из Харькова», «надо что-то написать, что-то сделать».

И так — целые дни.

Когда через несколько дней я пришел к Короленко вновь, Владимир Галактионович сказал, что мне следует поехать в уезды, узнать, как живут в колониях дети.

Я отправился в штаб за пропуском на выезд из города, но мне его не дали. Штаб помещался в Гранд-Отеле, около входных дверей стояли юнкера, и внутрь мне проникнуть не удалось. Тогда Короленко пошел за пропуском сам.

Очень долго он не возвращался. Я и его домашние стали уже сильно тревожиться. Наконец он пришел очень утомленный и расстроенный.

— Ну, — сказал он, — это страшные люди. Я только сейчас увидел их близко. Теперь я отвечу на вопрос, который вы мне задали: те, которые к нам пришли, — ужасные люди.

Он был очень подавлен, но пропуск все же достал.

Следует прямо сказать: дети, которые попали в Полтавскую губернию, не погибли только потому, что в Полтаве жил Короленко. Если бы его там не было, их участь была бы печальна.

Во время объездов я был свидетелем диких фактов. Например, в одном доме помещики, уезжая, оставили несколько коробок замечательных конфет, отравленных мышьяком.

С приходом белых стали возвращаться в поместья и старые хозяева, которые, не церемонясь, выбрасывали детей на улицу.

Короленко добился, чтобы детей временно оставили на местах.

Вскоре инспектор народных училищ потребовал введения в программу закона божия. Короленко пошел к

губернатору, который хорошо его знал, и доказал ему, что вводить закон божий бессмысленно. «Ведь эта власть недолговременна, зачем же закон божий?» — говорил он, не стесняясь.

Однажды, во время поездки в Кобеляки, я был задержан контрразведкой. Со мной был целый чемодан денег. Ехал я с двумя учителями. Когда потребовали мой пропуск, то признали его недействительным.

— У вас пропуск номер один, — сказали мне.

— Должен же быть у кого-нибудь пропуск номер один, — возражаю я.

— Ваш пропуск подписан одной фамилией, без указания звания подписавшего.

Привели меня к генералу. Я просил снестись с Полтавой, с Короленко.

— С Короленко? — удивленно спросил генерал. — Я отлично знаю Короленко. Это — помещик Ново-Московского уезда? Какие афинские вечера мы с ним устраивали!

— Это не помещик, а известный всей России писатель.

Но писателя Короленко генерал не знал. Я был задержан.

И все же выручил меня Владимир Галактионович. Встревоженный моим долгим отсутствием, он поднял на ноги местные власти и потребовал, чтобы меня разыскали. Я был разыскан и освобожден.

Я видался с Короленко до самой его смерти. Он был неизменно бодр и деятелен. И казалось, что как-то внезапно и неожиданно ему стало плохо.

В похоронах Короленко принимало участие все население Полтавы. Весь город был в трауре, и траур этот был действительно народным...

Л. Л. Кривинская

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Мне вспоминается день в конце августа 1900 года, когда, просматривая за утренним чаем местную газету, я в отделе хроники прочла врезавшиеся мне навсегда в память строки:

«В Полтаву на постоянное жительство переехал наш маститый писатель В. Г. Короленко» [1].

Мне было тринадцать лет. «В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Без языка» и другие рассказы Короленко я давно читала и очень любила. Известие о переезде в Полтаву писателя меня очень заинтересовало и обрадовало, но я была далека от мысли, что вскоре на мою долю выпадет знакомство с ним и его семьею.

В этот же день моя сестра [2], ученица пятого класса полтавской женской Мариинской гимназии, вернувшись с занятий, сказала мне:

— Сегодня на уроке немецкого языка я сидела с новенькой, такая высокая девочка с длинной толстой косой. Очень застенчивая и неловкая. Она, наверное, поповна. Зовут ее Соня Короленко.

Я так и подскочила:

— А вот и не поповна! А дочь писателя Короленко, который будет теперь жить в Полтаве!

Сестра думала, что я шучу. Поверила только тогда, когда сама прочла заметку в газете.

Понятно, что теперь она с большим интересом относилась к новой соученице, и каждый раз после уроков

немецкого языка рассказывала мне о своих впечатлениях: девочка милая, серьезная, хорошо учится.

Скоро сестра с торжеством сообщила мне, что сегодня видела самого Короленко:

— Я пошла провожать Соню после уроков домой, и когда мы проходили через Корпусный сад, нам навстречу шел какой-то господин. Соня крикнула: «Папочка, папочка!» — и побежала к нему...

А через несколько дней сестра, указав мне на улице на невысокого красивого человека с лучистыми глазами и проседью в курчавой каштановой бороде, сказала:

— Это он!

Обе девочки скоро тесно подружились и в свободное время стали неразлучны. Постепенно мы с сестрой узнали и всех членов семьи: жену Владимира Галактионовича — Евдокию Семеновну, тетку — Елизавету Осиповну и младшую дочь Наташу, ученицу второго класса.

Евдокия Семеновна, высокая, с типичным русским лицом женщина, очень располагала к себе своей приветливостью и прямотой. Одевалась всегда очень скромно, так же одевала и дочерей. Владимир Галактионович говорил шутя, что жена у него дешевенькая, — на туалеты его не разоряет.

Переехав в Полтаву, Короленко решил воздерживаться от активного участия в общественной жизни провинции. Он боялся, что она затянет его и будет мешать творческой работе. Но ему — где бы он ни жил — всегда суждено было становиться «центральной фигурой культурной жизни» (Горький) [3]. Скоро короленковские «субботы» стали привлекать к себе полтавскую интеллигенцию и ссыльных, число которых в Полтаве в начале 900-х годов доходило до двухсот человек. К ссыльным Короленко всегда относился с особенным участием и вниманием.

Публика на «субботах» бывала разношерстная: врачи, адвокаты, статистики, газетные работники, студенты. На этих всегда оживленно проходивших «субботах» гостям подавали чай и очень скромную закуску.

К 11 часам вечера «суббота» заканчивалась, и гости расходились. Владимир Галактионович, борясь с мучившей его бессонницей, соблюдал определенный режим и ложился не позже 11 вечера, причем еще немного читал на сон грядущий. Характерно, что чтение хорошего, та-

лантливого произведения действовало на него успокоительно и помогало уснуть крепким сном. Если же ему на ночь приходилось читать какое-нибудь бездарное произведение, то он начинал раздражаться, нервничать и сон пропадал.

К шести часам утра Короленко вставал и сразу же на свежую голову садился за письменный стол. В виде отдыха от напряженного умственного труда он занимался физической работой (пилил дрова, расчищал от снега дорожки в саду, топил печи) и спортом. Спортом Короленко очень увлекался. Хорошо и много ездил на велосипеде, подаренном ему профессором Ф. Д. Батюшковым. Полтавчане часто видели его катающимся на велосипеде одного или с дочерьми. Зимою он с девочками заливал каток и с увлечением катался с ними на коньках. Одно время Короленко очень увлекался разного вида гимнастикой. Он раздобыл себе параллельные брусья, на которых упражняются солдаты в казармах, водрузил их в гостиной посреди комнаты, тренировался на них и усиленно рекомендовал этот род занятий своим дочерям и даже посетителям.

В июне 1903 года из дома Старицкого по Александровской улице Короленки переехали в дом доктора Будаговского по Мало-Садовой. В этом доме, в котором сейчас помещается музей, писатель прожил до самой смерти.

На новой квартире у Владимира Галактионовича была очень хорошая, светлая, залитая солнцем комната, служившая ему спальней и рабочим кабинетом.

Обстановка комнаты отличалась большой скромностью и простотою. Комната была без обоев, на окнах не было портьер, на полу ковра. Владимир Галактионович считал, что роскошь и богатство только мешают работе. На его простом письменном столе стояла простенькая стеклянная чернильница, в стеклянном стаканчике несколько дешевеньких ручек, цветные карандаши, ножницы для резки бумаги. Рядом лежало простенькое деревянное пресс-папье, которым он всегда пользовался при работе.

Спал Короленко до 1915 года на твердой жесткой кушетке, сделанной по его собственному эскизу. В нижней части ее был выдвижной ящик, в котором можно было прятать на день постель. Владимир Галактионович очень гордился своим изобретением, уверял, что кушетка

очень удобна для спанья, и даже шутил, что возьмет патент на нее.

Вся квартира была обставлена так же скромно, как и кабинет. Во всех комнатах стояли книжные шкафы и полки с книгами. В одном из шкафов в гостиной хранились многочисленные адреса и телеграммы, полученные Короленко по поводу его юбилеев. Небольшой мягкий диванчик, круглый стол и несколько мягких кресел около него составляли убранство гостиной. Одно время в гостиной стоял чужой рояль. Но девочки музыке не учились. Бросался в глаза прекрасный — в натуральную величину — портрет Владимира Галактионовича кисти художника Н. Ярошенко[4], написанный в Петербурге в 1898 году и присланный в подарок Владимиру Галактионовичу и Евдокии Семеновне к 25-летию со дня их свадьбы в 1911 году. Его приобрели в складчину петербургские, московские и саратовские друзья писателя. На низеньком шкафу под портретом Владимира Галактионовича на красивом ковре, вышитом матерью Владимира Галактионовича, Эвелиною Осиповною, стояло несколько небольших бюстов Владимира Галактионовича работы скульпторов Гинцбурга, Вронской и его старшей дочери, Сони, у которой были большие способности к лепке.

Если в квартире встречались дорогие вещи, то можно было безошибочно сказать, что это подарки, поднесенные Владимиру Галактионовичу к какому-нибудь юбилею.

Их было особенно много в 1913 году, когда отмечалось шестидесятилетие писателя. В этот день Короленко получил в подарок свой, очень тонко исполненный выжиганием по дереву, портрет с надписью: «Мастеру слова, великому гражданину, научившему нас верить в огоньки жизни. От политических каторжан Александровской тюрьмы Иркутской губернии».

Полтавчане подарили Короленко очень удобное кресло к письменному столу и дорогой письменный прибор из красивого зеленого уральского камня в бронзовой оправе. Чтобы не обидеть дарителей, Короленко поставил прибор на свой письменный стол, но не любил его и продолжал пользоваться своей старой стеклянной чернильницей, по-прежнему стоявшей на письменном столе.

В 1911 году, к 25-летию со дня свадьбы Короленко, группа полтавских друзей поднесла Евдокии Семеновне

серебряный позолоченный столовый прибор для закусок, чем вызвала ее большое неудовольствие.

Прямая, резкая, разделявшая простые вкусы своего мужа, она говорила по этому поводу:

— И зачем они мне его подарили? Ведь все бывают у нас в доме, знают и видят, как скромно мы живем и отлично обходимся без специального серебряного закусочного прибора. Зачем он нам?

Оба они считали, что лучше употреблять деньги не на покупку ненужных предметов роскоши, а на помощь людям.

Имя Короленко скоро приобрело широкую известность в городе не только как писателя, но и как человека, чутко откликающегося на чужое горе и страдание. У Владимира Галактионовича скоро появляется много «подопечных» в лице ссыльных, учащихся, безработных, неудачников. На его средства учился юноша в школе садоводства, курсистка на высших женских курсах, он дает возможность жить и лечиться в Крыму от туберкулеза соученице дочери Наташи, он помогает высланной в Полтаву студентке и многим другим.

По возвращении из якутской ссылки Владимир Галактионович много работал как газетный корреспондент и любил эту работу, считая ее очень важной и нужной. Он чувствовал всегда большую потребность откликаться на важнейшие события общественной жизни. И в Полтаве такая возможность явилась, когда в 1905 году группа лиц при участии В. Г. Короленко приобрела газету «Полтавщина». С тех пор в ней постоянно появлялись передовицы, статьи и заметки, написанные Короленко. В «Полтавщине» было напечатано 12 января 1906 года его знаменитое «Открытое письмо статскому советнику Филонову» [5], вызвавшее после убийства Филонова бешеную травлю Короленко всей черносотенной прессой и местными черносотенцами.

Короленко получил несколько анонимных писем с угрозами с ним расправиться. Одно время атмосфера была такая напряженная, что полтавские железнодорожные рабочие решили организовать охрану писателя. Владимир Галактионович и не подозревал, что во время его хождений по городу за ним на некотором отдалении

следовал кто-нибудь из рабочих, на которых была возложена его охрана.

Когда в октябре 1905 года в Полтаве с минуты на минуту ожидалось начало еврейского погрома, то Владимир Галактионович три самых решительных дня провел на базаре, откуда должен был начаться погром, с опасностью для собственной жизни удерживая толпу от кровавых эксцессов.

И на толпу, в которой слышались угрожающие выклики по адресу «жидівського наймита» и угрозы расправиться с ним, — бесстрашие Короленко и простые доходчивые слова, с которыми Короленко обращался к ней, неизменно оказывали свое действие — толпа успокаивалась и расходилась.

Мне вспоминается один маленький, но характерный эпизод, разыгравшийся в эти тревожные дни на полтавском базаре, ярко показывающий силу морального воздействия Короленко на окружающих.

Человек, усиленно призывавший к погрому, после разговора с Короленко, закончившегося тем, что Короленко, уходя, протянул ему руку на прощание, растерянно сказал, что не знает, как ему теперь быть, потому что «не можно бить жидів тиею рукою, що Короленко пожав!»

Помню я Владимира Галактионовича 18 октября 1905 года на площади возле тюрьмы, когда город был возбужден распространившимися слухами об избиении политических заключенных. Короленко потребовал, чтобы его с несколькими гласными городской думы пропустили в тюрьму, обошел камеры и, выйдя оттуда, успокоил взволнованную толпу.

В октябре 1905 года популярность Короленко была особенно велика, ему неоднократно приходилось выступать на митингах с балкона городского театра; бывало, что за ним прибегали домой, потому что толпа требовала:

— Хай говорить той дід, що все добре знае, гарно балакае і нашу руку держить!

Гимназическая дружба с Софьей Владимировной не прекратилась и тогда, когда мы все стали курсистками. Один год мы — я, сестра и Соня — даже жили втроем в

Петербурге на Загородном проспекте. Когда в Петербург приезжали ее родители, мы всегда бывали у них. Владимир Галактионович относился к нам с сестрой с неизменной присущей ему добротой и вниманием и в письмах всегда осведомлялся о нас. Приезжая по редакционным делам в Петербург, Короленко останавливался или в номерах Пименова на Пушкинской улице, или у своего друга Н. Ф. Анненского, или, если жил с Евдокией Семеновной, снимал одну-две комнаты отдельно от дочерей.

В первый год нашей петербургской жизни разразился голод в Центральной России. Соня и моя сестра Маня решили ехать в Самарскую губернию «работать на голоде». Соня уехала первая в начале января 1912 года и устроилась в отряде Е. И. Орловой, прибывшем из Москвы. Отряд развернул большую работу по открытию столовых в Бузулукском уезде.

С моей сестрой дело было сложнее. Как еврейка, она не имела права жительства вне черты оседлости и, следовательно, работать в деревне легально не могла. Но ее неудержимо тянуло туда. Она достала себе паспорт у одной русской студентки и решила ехать в Бузулук под чужой фамилией, предварительно спросив Владимира Галактионовича, как он смотрит на ее план и считает ли допустимым не посвящать в него заведующую отрядом Е. И. Орлову. Владимир Галактионович не нашел ничего предосудительного в ее намерении и сам, соблюдая конспирацию, в письмах к дочери называл сестру Клавдией, как она числилась по чужому паспорту.

Он внимательно следил за работой обеих подруг в отряде, давал им много практических советов на основании своего личного опыта работы среди голодающих в 1892 году и радовался тому, что они хорошо справляются со своими трудными обязанностями. Все денежные пожертвования, поступавшие в контору «Русского богатства», редактируемого Короленко, пересылались на имя Сони в Бузулук.

Я продолжала учение в Петербурге, и мы с Владимиром Галактионовичем часто переговаривались по телефону, сообщая друг другу о каждом полученном из Бузулука письме.

Редакторская работа заставляла Владимира Галактионовича часто ездить в Петербург. 1912 год был для него очень тяжелым. Большую часть его он провел в столице в усиленной работе по журналу. Два сотрудника «Русского богатства» (Пешехонов и Мякотин) отбывали по приговору суда годичное заключение в крепости, тяжело больной Анненский уехал за границу лечиться, а через три недели после возвращения оттуда скоропостижно скончался. Смерть эта была тяжелой утратой для Короленко, горячо любившего своего друга.

Еще большая нагрузка легла на усталого Короленко. Петербургская нервная обстановка, толчея и суета столичной жизни всегда очень плохо отражались на его здоровье — начиналась нервность, возобновлялась бессонница, которой Короленко боялся пуще огня. Тогда Владимиру Галактионовичу было необходимо присутствие жены. Он вызывал ее в Петербург и с нетерпением ждал ее приезда.

Сознание, что Евдокия Семеновна скоро будет с ним, успокаивало Владимира Галактионовича и помогало ему скорее прийти в норму. Роль Евдокии Семеновны, с которой он тридцать шесть лет прожил душа в душу, делился всеми своими помыслами и переживаниями, первой ей читал свои произведения и очень считался с ее мнением и советами, еще очень мало известна. Горький говорил, что такой жены-друга, какой была для Владимира Галактионовича Евдокия Семеновна, он почти не наблюдал «нигде и ни с кем»[6]. И это совершенно справедливо. Евдокия Семеновна не только никогда не была помехой в делах и работе Короленко, но была всегда его верной и неустанной помощницей и другом. Бывали моменты, когда Короленко — редактору «Русского богатства» — в связи с угрозой закрытия журнала предстоял полный материальный крах, но Евдокия Семеновна никогда не требовала, чтобы он для спасения журнала и своего материального благополучия шел на компромиссы. Она никогда не ставила на первый план интересы семьи и готова была переносить любые лишения, лишь бы Владимир Галактионович имел возможность поступить так, как ему подсказывали совесть и чувство долга. И Владимир Галактионович знал, что, какие бы тяжелые последствия для него и его семьи ни имела бы его неустанная борьба с беззаконием, насилием и произволом,

грозившие иногда не только его безопасности, но и жизни, Евдокия Семеновна никогда не будет останавливать его от исполнения того, что он считает своею обязанностью и долгом.

Любовь, уважение и доверие — вот отличительные черты их взаимоотношений. Они редко спорили между собой. «Да и какие наши споры — самые мушиные», — говаривал Владимир Галактионович.

В 1912 году Евдокия Семеновна то уезжала в Полтаву, чтобы наладить там хозяйство, то опять возвращалась в Петербург к мужу.

Помню, как в один из очередных приездов Евдокия Семеновна при мне расспрашивала Владимира Галактионовича о том, кто посетил его в ее отсутствие.

— Был недавно Леонид Андреев [7].

— Ну, и как ты его принимал?

— Хорошо, угощал его чаем.

— И у тебя было все как следует быть, в порядке?

— Все было хорошо, только, знаешь, когда он ушел, я спохватился, что совсем позабыл положить на стол чайную скатерть.

Евдокия Семеновна огорчилась.

— Как же ты так, Володюшка, Андреев порядок любит...

Ответственного редактора «Русского богатства» Короленко часто привлекали к суду за напечатанные в журнале произведения. В февральской книжке журнала за 1912 год появился рассказ Л. Н. Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», в котором Л. Н. использовал легенду о том, что Александр I не умер в 1825 году, а вместо него был похоронен забитый плетями похожий на него солдат. Сам же он скрылся и еще двадцать семь лет провел отшельником на заимке купца Хромова под Томском и пользовался репутацией святого старца. На книгу был наложен арест, и Короленко, как редактор, привлечен к ответственности.

Дело было назначено к слушанию на 27 ноября 1912 года. Короленко получил уведомление об этом в Полтаве. Одновременно с вызовом на суд Короленко получил сообщение об аресте старшей дочери в Петербурге. Она пошла навестить земляка — студента

В. С. Горбачевского — и попала у него на квартире в засаду. Это известие заставило Владимира Галактионовича выехать в Петербург раньше, чем он рассчитывал, и 21 ноября Короленко уже был в столице.

27 ноября суд состоялся. Небольшой зал суда был переполнен. Присутствовало много друзей и знакомых писателя. Председательствовал старший председатель судебной палаты — Крашенинников, обвинял товарищ прокурора — Сергеев, защищал постоянный защитник Короленко по литературным делам О. О. Грузенберг.

Прокурор в своей речи, наговорив много комплиментов Короленко-художнику, поддерживал обвинение против Короленко-редактора, поместившего на страницах журнала произведение Л. Н. Толстого, в котором проявилось «дерзостное неуважение к верховной власти».

В своей речи Короленко отметил, что по цензурным соображениям ему, как редактору, пришлось выпустить некоторые места из «Записок Федора Кузьмича». Если бы за границей узнали, говорил он, что редактора журнала судят за опубликование произведения Толстого, то там бы это объяснили только тем, что редактор проявил неуважение к памяти великого писателя, самоуправно сделав купюры. У нас же редактору ставят в вину и преступление, что он дал многочисленным читателям возможность познакомиться с неизвестным произведением Толстого.

Речь Короленко произвела очень сильное впечатление. Владимир Галактионович говорил потом, что очень волновался, произнося ее, но внешне это не было заметно. Судебная палата оправдала Короленко. Переполнившая зал публика очень тепло его поздравляла[8].

Вернувшись из суда, Владимир Галактионович застал дома только что освобожденную дочь. Так что этот день был для нас всех вдвойне радостным.

В 1913 году началось в Киеве слушание громкого процесса еврея Бейлиса[9], обвинявшегося в убийстве с ритуальной целью христианского мальчика Андрея Ющинского.

Дело это уже больше двух лет волновало все общество. Черносотенцы в связи с ним вели усиленную погромную агитацию. Евреи — и особенно еврейское на-

селение города Киева — были очень встревожены этим, и на Короленко посыпался град писем и обращений, в которых его просили выступить на суде защитником Бейлиса, как он выступил в 1896 году на аналогичном громком процессе мултанских удмуртов, закончившемся благодаря Короленко полным оправданием всех подсудимых.

Короленко колебался, его останавливало плохое самочувствие, но потом решился выступить и усиленно стал изучать литературу о ритуальных процессах, возникавших в разное время как в России, так и за рубежом.

В августе 1913 года Короленко перенес тяжелый грипп с осложнениями, очень отразившимися на его общем состоянии. Лечившие его врачи считали, что при таком состоянии здоровья участие в процессе и связанные с ним неминуемые волнения ухудшат и без того плохое его самочувствие. Короленко решил послушаться совета врачей и отказался от выступления.

Процесс начался 16 сентября. Короленко напряженно следил за ним по газетным отчетам, настолько волновавшим его, что в конце концов он решил ослушаться врачей и 12-го октября вместе с Евдокией Семеновной выехал в Киев. Через несколько дней к ним присоединилась и Соня, бросившая для этого лечение в Евпатории.

Процесс длился тридцать четыре дня. Настроение в Киеве было очень напряженное и подавленное. Приговор ожидался обвинительный. Шли активные приготовления к еврейскому погрому. Владимир Галактионович, хотя и верил, что справедливость должна восторжествовать, очень волновался. Близкие, которых киевские врачи, наблюдавшие его в это время, предупредили о том, что состояние его очень ненадежно, сильно тревожились за него.

Соня, привыкшая все трудные переживания делить с моей сестрой, телеграммой вызвала ее из Полтавы. От сестры я и узнала подробно обо всем, что происходило в Киеве.

Привожу вкратце ее рассказ об этих днях.

«Когда я приехала в Киев, то нашла их в гостинице Франсуа по Фундуклеевской улице. Евдокия Семеновна и Соня были очень встревоженны. Владимир Галактионович чувствовал себя скверно. Его мучила сильная одышка, сердце работало плохо. Хотя он и отказался

выступить защитником Бейлиса, но принимал активное участие в совещании защитников, известных талантливых адвокатов — Маклакова, Зарудного, Грузенберга, Карабчевского и писал статьи в «Русские ведомости», «Речь», «Киевскую мысль».

Дело слушалось в окружном суде, помещение которого не могло вместить всех желающих присутствовать на процессе. Входные билеты раздавались в очень ограниченном количестве. У Владимира Галактионовича был корреспондентский билет. Но Евдокия Семеновна и Соня боялись отпускать его одного в суд. Профессор Кадьян, бывший на суде в качестве эксперта, как только экспертиза закончилась, уехал, передав свой билет Евдокии Семеновне. По нему и ходили поочередно то Евдокия Семеновна, то Соня, то я.

Я была на том заседании, когда Бейлису было предоставлено сказать свое последнее слово. Не могу забыть, какое впечатление произвел на меня этот маленький, тщедушный, с отечным и желтым после долгого тюремного заключения лицом, человек, когда он медленно поднялся, еле слышно произнес: «Господа присяжные заседатели, я не виновен!» — и бессильно опустился на скамью подсудимых...

Длившийся более месяца процесс близился к концу.

Утром 28 октября Владимир Галактионович с Соней ушли в суд. Мы с Евдокией Семеновной остались вдвоем в гостинице. Она была нервна, страшно мрачна, ее мучили тяжелые предчувствия и уверенность в плохом исходе процесса, а значит, и неизбежность еврейского погрома. На имя Короленко и Грузенберга в последние дни пришло много писем с угрозами скорой расправы с ними. Евдокия Семеновна прокурила весь номер и, не выпуская папиросы изо рта, непрерывно вязала какой-то бесконечный коричневый чулок (это был ее способ бороться с нервностью).

День был хмурый, мрачный, на душе тяжело, напряжение все нарастало, я стала просить Евдокию Семеновну, чтобы она отпустила меня на улицу: «Я только посмотрю, что делается, и через полчаса вернусь!»

Выйдя из гостиницы, я села на извозчика и поехала к суду. Вся площадь Богдана Хмельницкого была запружена народом, и пробраться к зданию суда не было ни малейшей возможности, я осталась сидеть в пролетке.

Меня глубоко поразила гробовая тишина, которую хранила многотысячная толпа, заполнившая площадь. Только унылый погребальный звон разносился над площадью — это в Софийском соборе служили черносотенцы панихиду по «убиенном отроке Андрее Ющинском». С противоположной стороны к площади медленно двигалась к собору процессия — крестный ход из Киево-Печерской лавры. Все знали, что в соборе находится склад оружия, которое по окончании панихиды будет роздано участникам процессии. И как только будет оглашен приговор Бейлису — что он будет обвинительным, никто не сомневался, — сразу вспыхнет еврейский погром. Заодно с евреями черносотенцы намеревались громить и интеллигенцию.

Моросивший все время дождь усилился, но толпа перед судом продолжала стоять неподвижно. Вдруг при абсолютной тишине распахиваются двери суда, какой-то человек — по всей вероятности, корреспондент — без шапки и пальто, стремительно скатывается по ступенькам с высокого крыльца и, почему-то держась обеими руками за голову, изо всех сил кричит: «Оправдан! Оправдан!» За ним выбежал другой, вскочил на поджидавший его экипаж и, колотя кучера зонтиком в спину, куда-то помчался, тоже крича во весь голос: «Оправдали! Оправдали!»

Как электрический ток пронесся по толпе, послышались выкрики, рыдания, истерики, незнакомые люди целовались, поздравляли и обнимали друг друга... Около Софийского собора крестный ход стал таять, и участники его расходились поспешно, в угрюмом молчании.

Все эти дни, когда Соня и Евдокия Семеновна так волновались, я старалась держать себя в руках и не давала воли нервам, а тут не выдержала и разрыдалась.

— Что вы, барышня, плачете? — обратился ко мне мой извозчик, — радоваться надо, а не плакать!

Я поспешила обратно в гостиницу. Первым поздравившим меня с оправданием Бейлиса был гостиничный швейцар, затем мальчик-лифтер.

— Откуда вы уже знаете о приговоре? — спрашиваю я его.

— Сейчас я поднял наверх Короленко с дочерью, они еще ничего не знали, а вслед за ними поднял Елпатьевского. Он нам и сказал, что Бейлис оправдан.

Вхожу в номер гостиницы. На диване, рядом с Евдокией Семеновной, сидит уже успевший на радостях сильно подвыпить С. Я. Елпатьевский и говорит:

— Ну, кума (Елпатьевский был крестным отцом Наташи Короленко и потому называл Евдокию Семеновну кумой), что скажете о русском народе? Справедливый народ!

А Владимир Галактионович, почувствовавший себя в суде плохо и потому не дождавшийся приговора, пошел мне навстречу, обнял, поцеловал и со слезами на глазах сказал:

— Видите, Манечка, правда восторжествовала. Не думайте же плохо о русском народе!

Номер стал быстро заполняться людьми. Прибежал растрепанный, потирая вспухшую щеку, московский присяжный поверенный Ордынский: какой-то встречный черносотенец, принявший его за еврея, закатил ему, в расстройстве чувств, здоровенную оплеуху; пришли защитники и многие другие.

Не могу забыть одного посетителя. Стук в двери. Открываю. Какой-то неимоверно худой и долговязый ярко-рыжий студент-еврей, страшно взволнованный и сильно заикающийся, спрашивает:

— М-м-ожно к К-к-короленко?

Владимир Галактионович подошел к нему:

— В чем дело?

— С-с-кажите, Б-бейлис...

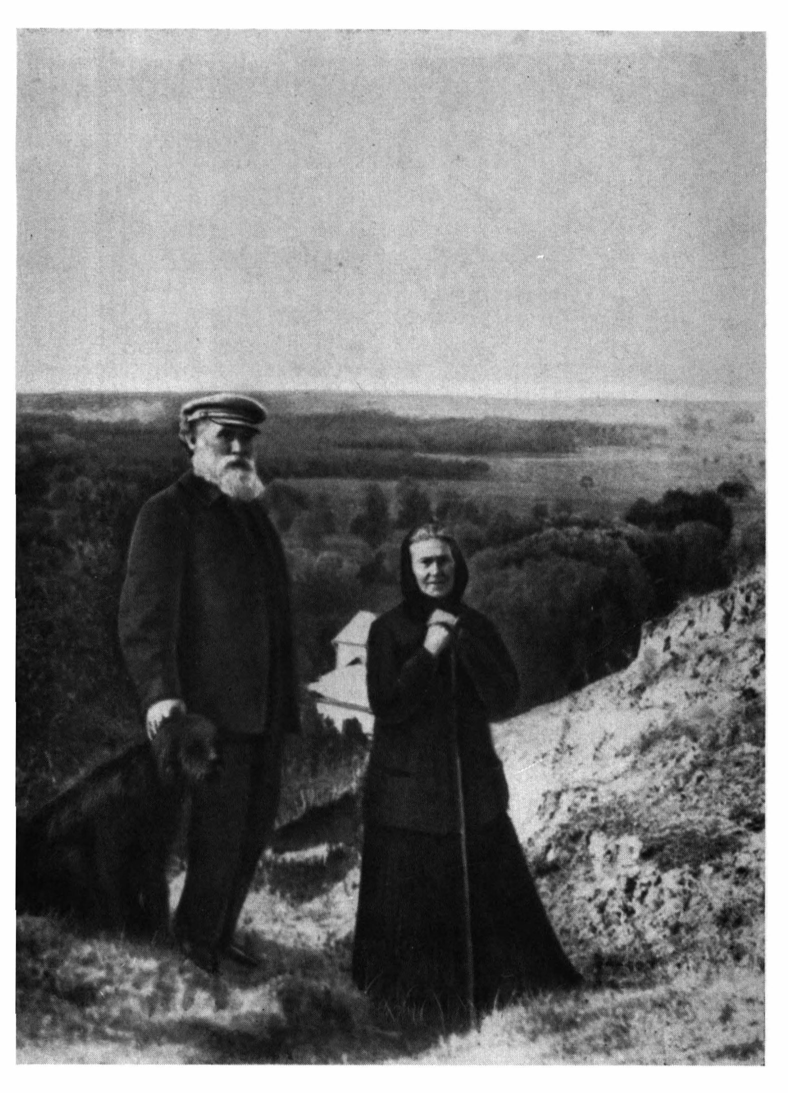
— Оправдан! Оправдан!

И вдруг студент, рухнув перед Владимиром Галактионовичем на колени, схватил его руку и, целуя ее, обливаясь слезами, пролепетал: «Эт-то с-самый с-счастливый день в м-моей ж-жизни!» — вскочил на ноги и убежал.

На другой день Короленко с женой пошли в город. На Крещатике их окружила огромная толпа и устроила им шумную овацию, нарушив трамвайное движение.

Владимир Галактионович говорил потом, что, узнав об оправдании Бейлиса, почувствовал такую огромную радость, что на некоторое (правда, короткое) время забыл обо всех своих болезнях и почувствовал себя совершенно здоровым.

Процесс Бейлиса закончился для Короленко тем, что он был привлечен к ответственности за одну из своих



В. Г. Короленко с женой в Хатках (1916)

корреспонденций из залы суда. Она называлась «Господа присяжные заседатели». В ней Короленко показал, как специально для этого процесса был подтасован состав присяжных заседателей. Заседателями назначили людей, которые в силу своей несознательности должны были вынести обвинительный приговор Бейлису [10]. Владимиру Галактионовичу грозило годичное заключение в крепости. Дело несколько раз назначалось к слушанию, но по разным причинам откладывалось. Последний раз оно было назначено на март 1917 года, но февральская революция аннулировала его.

Здоровье Короленко не улучшалось, и он решил ехать для лечения за границу во Францию, где жила тогда его младшая дочь Наталья со своим мужем — политэмигрантом К. И. Ляховичем.

Молодая женщина ожидала ребенка, и родители очень беспокоились, как болезненная и слабая Наташа перенесет беременность и роды. Решено было, что отец с матерью до родов поживут с ней в Тулузе. В январе 1914 года они выехали во Францию. Ребенка ждали в августе. В июне Короленко с зятем Ляховичем поехали на лечение в Наугейм, но через десять дней были вызваны назад телеграммой о начавшихся преждевременных родах.

5/18 июля 1914 года у Владимира Галактионовича родилась внучка, названная Софьей. Семимесячная девочка была очень слаба, врач считал, что она нежизнеспособна, но девочка проявила упорное желание жить. Больше месяца ее держали в вате. Владимир Галактионович писал родным подробные бюллетени о ее состоянии, прибавке в весе и общем развитии.

Живя во Франции, Короленко напряженно работает над подготовкой к печати полного собрания своих произведений, которое должно было выйти приложением к журналу «Нива» в 1914 году.

Работа эта очень утомляла его и мешала его поправке. Владимира Галактионовича страшно тянуло на родину, но врачи долго не решались отпустить его в тяжелое и чреватое всякими неприятными случайностями путешествие. Только в половине мая 1915 года тронулись Короленки в обратный путь из Марселя по

Средиземному морю, через Грецию, Сербию и Румынию, и в июне приехали в Полтаву. Против ожидания, никаких особых происшествий в пути не испытали, кроме того, что в Сербии у Короленко был украден чемодан с его рукописями, который так и не удалось разыскать.

Хотя Короленко перенес дорогу удовлетворительно, но полтавские врачи, пользовавшие его, настаивали на немедленной поездке на Кавказ для лечения. Начались сборы в дорогу, был уже назначен день отъезда, как вдруг совсем неожиданное обстоятельство задержало поездку.

Прихожу я как-то в начале июля после работы к Короленкам, а меня встречают рассказом о «чрезвычайном происшествии»:

— А нам ребенка подкинули!

Оказалось, что днем, во время сильного ливня, сидевший на веранде Короленко услышал на парадном крыльце какой-то писк. Открыв парадную дверь, он увидел на крыльце сверточек, в котором копошился слабенький, истощенный мальчик месяцев двух-трех.

Владимир Галактионович сразу же почувствовал к нему острую жалость, взял на руки и понес в комнаты. Вся семья собралась около подкидыша, началась суета, спешно грели молоко, кормили, купали младенца. Ребенок все время отчаянно кричал. Соня взяла ребенка на свое попечение и всю ночь проносила его на руках. Утром пришел отец и взял ребенка к себе, чтобы дочь могла немного отдохнуть. Приглашен был детский врач, нашедший у ребенка тяжелую форму диспепсии. Начали отхаживать малыша. На помощь Соне пришли мы с сестрой, включившись в ночные дежурства. Тяжело больной ребенок поправлялся медленно, и мысль об его будущем очень беспокоила всю семью.

Отдать такого маленького больного ребенка в детский приют — значило рисковать его жизнью. Решено было отложить отъезд на Кавказ, пока не удастся хорошо устроить ребенка [11].

Слухи о короленковском подкидыше и о том, что в связи с ним откладывается лечение Владимира Галактионовича, разнеслись по городу. В один прекрасный день к Короленкам явилась какая-то пожилая дама и предложила временно, до возвращения Короленок с Кав-

каза, передать ребенка ей. Это была некая Сенюткина, жившая вдвоем со своим племянником, членом полтавской городской управы.

Убедившись, что ребенок попадет в надежные руки, Короленки отдали мальчика Сенюткиным и, успокоенные, уехали в Ессентуки. Когда они через два месяца вернулись назад в Полтаву, то оказалось, что Сенюткины успели уже так привязаться к ребенку, что решили его усыновить.

В честь Владимира Галактионовича мальчика назвали Владимиром. Он стал быстро поправляться. Вспоминаю его уже двухлетним мальчиком, рыженьким крепышом с некрасивым, но милым личиком. Из него впоследствии вырос хороший, честный человек, очень привязанный к своим приемным родителям и содержавший их на старости лет своим трудом. Володя Сенюткин погиб на поле битвы во время Великой Отечественной войны.

Владимир Галактионович вернулся с Кавказа довольный результатами лечения и горячо взялся за работу над задуманной повестью. Она называлась «Братья Мендель». В ней отразилось много воспоминаний и впечатлений из детских и юношеских лет. Героями ее были два брата-еврея. Владимир Галактионович описывал еврейскую семью с ее патриархальными порядками и обычаями, которые он наблюдал в городе Ровно, где прошли его детство и юность. Когда он сомневался, правильно ли изображает и толкует еврейские обычаи, мы с сестрой по его просьбе обращались к знакомым старикам евреям за консультацией или просили их зайти к нему поговорить. Работа быстро двигалась вперед, и уже несколько раз к вечернему чаю Владимир Галактионович выходил из кабинета с пачкой только что написанных листов, и мы слушали новую главу повести [12].

В самый разгар его работы, в конце ноября пришла телеграмма, извещавшая о внезапной смерти младшего брата — Иллариона Галактионовича. Короленко немедленно выехал в Джанхот на похороны. Владимир Галактионович был очень привязан к брату, и его смерть была для него тяжелым ударом. По возвращении с похорон у Короленко начались тяжелые сердечные припадки, сильно встревожившие семью и врачей, наблюдавших

его. С тех пор здоровье его то ухудшается, то немного улучшается, но восстановить его в прежнем состоянии уже не удается.

Владимир Галактионович никак не мог примириться с мыслью, что он уже не тот, что был, что состояние здоровья не позволяет ему ни усиленной умственной, ни любимой физической работы. При малейшем улучшении ему казалось, что он совсем здоров, и он сразу же позволял себе какую-нибудь неосторожность, за которую потом приходилось сильно расплачиваться.

Короленко горячо привязался к своей маленькой внучке и очень скучал по ней, когда они расстались. Дочь с внучкой вернулись в Россию в июне 1916 года, проделав тяжелое и утомительное трехнедельное путешествие.

Короленко жили в это лето в деревне Хаткѝ. У них на усадьбе, кроме дома, в котором жила вся семья, была еще маленькая уютная хатка. Там решено было устроить детскую комнату, в которой поселилась Соня с девочкой, а Наташа, нуждавшаяся в отдыхе после длительного путешествия, осталась в доме. Мы с сестрой тоже жили в Хатках. Я часто ночевала с девочкой, а рано-рано утром к хатке подходил Владимир Галактионович, осведомлялся, как прошла ночь, забирал девочку и шел с ней гулять. Эти совместные прогулки доставляли огромное удовольствие и дедушке и внучке.

Помню, как-то раз, держа девочку на руках и нежно лаская ее, он сказал мне: «Сам не постигаю, как можно любить такое маленькое существо такой большой любовью».

В письмах к зятю и к дочери, если она уезжала куда-нибудь, он регулярно дает подробные отчеты о своей маленькой внучке, о ее физическом состоянии, настроении, каждом новом сказанном ею слове, об отношении к окружающим.

Полтавчане часто видели в городском саду и на прилегающих улицах Владимира Галактионовича с маленькой девочкой на руках. Когда ей исполнилось шесть лет, дедушка сам стал учить ее грамоте и радовался, когда девочка проявляла интерес к занятиям.

1917 год... Февральская революция... В городе все кипит и ликует. Короленко выступает на многолюдном митинге с балкона городского театра. По вечерам в доме очень людно, собравшиеся обсуждают совершающиеся события. Короленко пишет брошюру «Падение царской власти», получившую очень широкое распространение и выдержавшую много изданий.

В этом году Короленки рано — в апреле — уезжают в Хатки. В августе, до их возвращения из деревни, я уехала в Петроград, и у меня не сохранилось никаких воспоминаний об этом периоде.

Вновь я увидела Владимира Галактионовича уже осенью 1918 года, когда мы с сестрой приехали в Полтаву из Петрограда, где обе работали.

За это время в семье у Короленко произошли разные события. Зять Короленко, Константин Иванович Ляхович, политэмигрант, после семилетнего пребывания во Франции вернулся в Полтаву в мае 1917 года. В июле 1918 года, при гетмане, он был арестован немецкой комендатурой и отправлен в концлагерь в Бялу. Владимир Галактионович с Наташей ездили в Киев хлопотать об его освобождении, но безрезультатно. Константин Иванович вернулся из концлагеря уже в ноябре 1918 года, после совершившейся в Германии революции.

Здоровье Владимира Галактионовича было сравнительно сносным. Он даже помаленьку занимался физическим трудом — пилил дрова, топил печи, расчищал от снега дорожки в саду.

В это время Владимир Галактионович продолжал работу над «Историей моего современника». Часто после вечернего чая читал он вслух семейным и присутствующим близким знакомым только что написанные главы. Его чтение — простое и безыскусственное, но очень выразительное, — производило сильное впечатление. Не могу забыть, хотя с тех пор и прошло сорок лет, того потрясающего впечатления, которое на нас произвело чтение Владимиром Галактионовичем главы «Как меня победила лесная нежить» [13].

Иногда он читал вслух не свое, а какой-нибудь только что им самим прочитанный и понравившийся рассказ или стихотворение, и его чтение всегда доставляло нам громадное удовольствие.

В 1919 году много детей из Москвы и Московской губернии было эвакуировано на Украину. На Полтавщине очутилось около семи тысяч детей. В октябре 1918 года полтавской общественностью была организована Лига спасения детей, взявшая на себя заботу об эвакуированных детях и об отправке продовольственных эшелонов голодающим детям Москвы и Петрограда.

Владимир Галактионович был избран почетным председателем Лиги, в качестве членов комитета работали Соня и моя сестра. Общество открыло в Полтаве приемник для детей младшего возраста, а в нескольких километрах от города — в Трибах — детскую трудовую колонию. Обе подруги отдавали много сил и энергии этой работе, стараясь в трудное голодное время обеспечить самым необходимым раздетых и голодных детей и наладить их быт. Короленко принимал близкое участие в работе Лиги спасения детей и в основанном советской властью Совете защиты детей [14], в который он вошел, как представитель украинского Красного Креста.

В конце июня 1919 года в связи с наступлением деникинцев советская власть эвакуировала временно целый ряд правительственных учреждений из Полтавы. Детские учреждения было решено оставить на местах, а заботу о них и средства на их содержание передать Лиге.

В ночь на 29 июня состоялось экстренное заседание Совета защиты детей, на котором, как представительница Лиги, присутствовала Софья Владимировна. Ей было передано два миллиона рублей на содержание детских домов и колоний.

В два часа ночи она вернулась домой и принесла с собой чемоданчик с деньгами. Присутствие в доме такой крупной суммы очень встревожило Владимира Галактионовича, боявшегося, что слухи о деньгах распространятся по городу и найдутся охотники их экспроприировать. Решено было в ближайшие дни разделить деньги на несколько частей и спрятать в надежных местах.

29 июня, около семи часов вечера по солнечному времени (тогда часы были переведены на три часа вперед), мы с сестрой отдыхали после утомительного трудового дня в своей комнате. Мы жили тогда по Мало-Садовой улице через один дом от Короленок, на втором этаже,

Вдруг на лестнице послышались чьи-то поспешные шаги, наша дверь распахнулась, в комнату стремительно вбежала бледная как полотно, задыхающаяся Соня с небольшим чемоданчиком в руках и, бросив его на пол, с криком: «Спрячьте деньги! Папу убили!» — кинулась назад. Мы обе кубарем скатились вслед за ней по лестнице и, прибежав к Короленкам, застали весь дом в большом смятении.

Два вооруженных бандита явились к Владимиру Галактионовичу и потребовали от него выдачи денег. Получив отказ, один из бандитов два раза выстрелил, борясь с Короленко, но, к счастью, в него не попал и не ранил никого из окружающих. Одна пуля застряла в дверях, которые вели из передней в комнату дочерей. След ее был виден еще много лет спустя. На помощь Владимиру Галактионовичу в борьбе с бандитом сразу кинулась Евдокия Семеновна, а за ней Наташа. Соня же, схватив чемоданчик с деньгами, выскочила через окно на улицу и помчалась к нам.

Увидав, что налет не удался, бандиты кинулись бежать, а Короленко бросился в свою комнату, схватил бывший у него маленький плохенький револьверчик и устремился в погоню за беглецами, но Евдокия Семеновна и Наташа поспешили запереть двери и не дали ему преследовать бандитов.

Рассказывая потом об этом происшествии, Короленко говорил, что, не задумываясь, застрелил бы этих негодяев, будь у него тогда в руках оружие.

Он с такой силой схватил одного из бандитов за руку, что потом в течение нескольких дней ощущал сильную боль в мускулах правой руки.

Рассказывая об этом происшествии в своем дневнике, Владимир Галактионович писал:

«Весь налет совершен, очевидно, неопытными в этих делах новичками: все было сделано глупо. Они, очевидно, рассчитывали на чисто овечью панику, которая обыкновенно охватывает обывателя в таких случаях. В моей семье они этого не нашли...» [15]

И действительно, никто из семьи не растерялся перед грозившей им опасностью, и каждый исполнил то, что считал своим долгом: Соня кинулась спасать деньги, Наташа молниеносно сплавила бывшего у них в квартире только что выпущенного из тюрьмы благодаря хло-

потам Короленко человека, которого могли вновь арестовать деникинцы, затем кинулась на помощь отцу и матери, боровшимся с бандитом.

Удирая, один из бандитов обронил свою фуражку. Короленко подобрал ее и считал своим «военным» трофеем.

1918—1920 годы были очень тяжелыми для Украины, претерпевшей в этот период частую смену властей.

Каждая вновь пришедшая власть беспощадно расправлялась со ставленниками предшествующей власти, людей арестовывали, высылали, расстреливали. Эти расправы тяжело отражались на состоянии здоровья Короленко, к которому пострадавшие или их семьи обращались за помощью и спасением. Короленко постоянно можно было встретить то в контрразведке, то в ревтрибунале, куда он обращался с ходатайствами, пытаясь сделать все возможное, чтобы спасти людей от грозившей им участи.

Волнения, связанные с хлопотами, очень вредно отражались на Владимире Галактионовиче. Его мучила тяжелая одышка, возобновилась бессонница, нервная система очень расшаталась. Встревоженные врачи категорически запретили волновать его и настаивали, чтобы Короленко совершенно устранился от всяких хлопот по делам осужденных. Они запретили ему выходить из дому. Врачи требовали от родных, чтобы все их предписания строго выполнялись.

Но родным приходилось считаться не только с состоянием здоровья Владимира Галактионовича, но и с его волей. Мысль о том, что могут не допустить человека, обратившегося к нему в критическую минуту, была невыносима для Короленко. И даже когда он сам уже был не в состоянии ходить с хлопотами по учреждениям, он продолжал принимать всех обращавшихся к нему, выслушивал, записывал их просьбы и направлял в Красный Крест, почетным председателем которого был, к Прасковье Семеновне Ивановской, которая вместе с ним и вела всю работу в Красном Кресте.

Весь 1920 год прошел для Короленко в непрерывных хлопотах о заключенных и осужденных.

Последние два года жизни Владимира Галактионовича Константин Иванович Ляхович, зять Короленко, стал его правой рукой.

По мере того как здоровье Владимира Галактионовича ухудшалось, Ляхович все больше включался в работу, помогая Короленко принимать посетителей, сопровождая его в хождениях по разным инстанциям и исполняя обязанности секретаря.

Домашние с тревогой и болью видели, что у Владимира Галактионовича меняется походка, движения становятся замедленными, речь делается неясной, глотание затрудненным.

Материальное положение семьи в это время было очень трудное. Журнал «Русское богатство», редактором которого Короленко состоял больше двадцати лет, с 1918 года прекратил существование. Книги Короленко все разошлись, новые издания не выходили. Источников дохода не было. Семья была большая, многим приходилось помогать. Полтавский исполком, желая прийти на помощь писателю, включил его и всю семью в список на получение академического пайка. Но Короленко, поблагодарив исполком за желание помочь ему, от пайка решительно отказался. Он считал, что писатель не может быть независимым и свободным в своем творчестве, если материально зависит от правительства.

Об его отказе скоро узнали в городе. И тут-то сказались те чувства любви и уважения, которые полтавчане питали к своему земляку. Проявление этих чувств очень трогало Короленко. Рабочие-мукомолы постановили отчислять от своих скудных пайков муку, и ежемесячно на кухне у Короленко появлялся их уполномоченный, вызывал тихонько мою сестру и говорил: «Примите, пожалуйста, муку, тут два сорта. В меньшем пакете белая мука для Владимира Галактионовича с супругой, в большем, потемнее, для окружающих». Приходили другие, приносили кто сахар, кто крупу, кто жиры. От этих приношений, свидетельствовавших о человеческом и любовном отношении, Короленко не отказывался. Часть приносимого шла для нужд семьи, большая часть передавалась в детдома и другим нуждающимся.

Когда больной Короленко замечал, что ему откладываются лучшие кусочки, он огорчался и даже сердился. «Я не признаю для себя никаких пищевых привилегий», — говорил он, перекладывая на тарелку ближайшего соседа то, что предназначалось ему.

Здоровье Короленко все ухудшалось, и не было никакой возможности создать ему соответствующие условия. Плохое самочувствие наводило на мысли о близком конце. Он боялся, что не закончит «Историю моего современника», и усиленно работал над нею, насколько позволяли силы и обстоятельства.

А силы все уменьшались, обстоятельства все ухудшались, и в довершение всего, Короленко скоро лишился своего верного помощника в литературной и общественной работе — Константина Ивановича Ляховича, скончавшегося 16 апреля 1921 года от сыпного тифа, которым он заразился, будучи арестованным, в тюрьме. Смерть эта была большим ударом для Короленко и отразилась на его здоровье.

Состояние Короленко все больше и больше тревожило наблюдавших его врачей. Они нашли нужным консультацию с квалифицированными невропатологами. В конце марта 1921 года из Харькова приехали на консилиум три профессора: два невропатолога — Гейманович и Юзефович и терапевт — Файншмидт. Их приезд повторился в июне этого года, и тогда был поставлен окончательный диагноз. К этому времени расстройство речи, движения и глотания были уже настолько отчетливо выражены, что врачи без колебания установили наличность тяжелой неизлечимой болезни — боковой амиотрофический склероз. После смерти зятя — Ляховича, очень тяжело отразившейся на общем состоянии Короленко, процесс начал развиваться очень быстро. Летом речь Владимира Галактионовича была уже настолько неразборчива, что сначала посторонние, а затем и родные не в состоянии были понимать слов, которые с трудом произносил Короленко. Он стал объясняться с окружающими письменно, и с тех пор уже не расставался с карандашом и записной книжкой.

Но, несмотря на плохое самочувствие, Короленко напряженно работал. В конце июля он получил телеграмму об избрании его почетным председателем Всероссийского комитета помощи голодающим. Горький от имени Комитета просил Короленко написать воззвание к Европе о помощи [16]. Мысль о голодающих омрачала последние месяцы его жизни.

27 июля 1921 года Владимиру Галактионовичу исполнилось 68 лет. Окружающие старались как можно лучше

и теплее отметить этот день, зная и чувствуя, что дни Короленко сочтены. Стояла чудесная погода. Уже с раннего утра Мало-Садовая улица выглядела очень оживленной. По ней то и дело пробегали разносчики телеграмм, подавая прямо в окна приветственные телеграммы целыми большими пачками, шли делегации от разных учреждений, предприятий, союзов. Всем хотелось воспользоваться случаем, чтобы выразить Короленко те чувства уважения, любви и благодарности, которые к нему питали полтавчане, и под благовидным предлогом, именинных подношений, прийти на помощь семье в это трудное время. Чего только не подносили Короленко в этот день! Служащие губтопа привезли кубометр дров, который сразу же стали пилить и колоть добровольцы; служащие кустарного склада поднесли большую, очень красивую вышитую скатерть, мукомолы доставили муку, служащие ЕПО [17] — сахар, химики — ящик мыла и различных эссенций, рабочие спичечного треста — целый ящик спичечных коробок, дети трудовой колонии им. Короленко привезли в подарок целый воз разных овощей со своего огорода и живых гуся и утку с пышными розовыми бантами на шее, знакомые нанесли всяких пирогов и тортов.

Владимир Галактионович сидел на веранде. К нему тянулся поток посетителей, его поздравляли, читали приветственные адреса. Вспоминается мне один пожилой делегат. Он обратился к юбиляру с приветствием, но от сильного волнения был не в состоянии говорить, расплакался и отошел, поцеловав Короленко руку. Растроганный, взволнованный Владимир Галактионович с трудом мог произнести в ответ несколько невнятных слов благодарности.

Вечером в театре состоялось торжественное собрание, привлекшее многочисленную публику.

День рождения Владимира Галактионовича, так тепло и торжественно отмеченный, ярко подчеркнувший, как ценим и любим всеми Короленко, был последним светлым событием в семье. Сам Короленко не отдавал себе ясного отчета в серьезности своей болезни. Больше всего его мучила потеря речи, но он надеялся, что она со временем восстановится. Думая, что он добьется этого

систематическим упражнением, Владимир Галактионович стал усиленно упражняться в отчетливом произношении слов. Он говорил нам, что следует в этом примеру Демосфена. Как известно, последний, будучи от рождения косноязычным, настойчивостью, терпением и трудом добился исправления дефекта речи: он клал в рот мелкие камешки и упражнялся в произношении слов. Все старания и упражнения Владимира Галактионовича ни к чему не привели. Ему оставалось объясняться только письменно. Плохо было и с глотанием. Владимир Галактионович все время поперхивался, и пища легко могла попасть в дыхательное горло, в бронхи и вызвать воспаление легких.

Вести о тяжелом состоянии Короленко дошли до Москвы и вызвали распоряжение В. И. Ленина[18] об отправке за границу для лечения группы лиц, в том числе Горького и Короленко. Но Короленко никуда не хотел ехать и остался в Полтаве.

В начале ноября он слег. Врачи констатировали воспаление легких, вызванное, очевидно, тем, что частицы пищи при поперхивании проникли в бронхи. Энергичными мерами процесс удалось ликвидировать. В конце ноября больной сравнительно оправился и вновь стал усиленно работать над «Историей моего современника».

12 декабря из Москвы приехал командированный по распоряжению правительства профессор-невропатолог В. Хорошко[19]. Он тщательно осмотрел больного, целиком подтвердил диагноз харьковских профессоров, Владимира же Галактионовича очень подбодрил, обещав ему, что он должен постепенно пойти на поправку. Вместе с Хорошко приехал из Москвы В. Н. Григорьев, близкий друг и однокурсник Короленко по Петровской академии, приезду которого Владимир Галактионович очень обрадовался. Но в дороге Григорьев заболел и по приезде сразу же свалился с крупозной пневмонией. Только Григорьев стал поправляться, как опять слег Владимир Галактионович. 18 декабря врачи определили у него рецидив воспаления легких. Состояние больного сразу стало тяжелым. Его мучил непрерывный кашель, удушье, сердце плохо справлялось.

Тогда еще не были известны такие чудодейственные препараты, как сульфамиды и пенициллин. Врачи установили круглосуточное дежурство у постели больного.

Весть о тяжелой болезни Короленко быстро разнеслась по городу и взволновала полтавчан. У дверей короленковской квартиры все время толпились люди, справлявшиеся о его состоянии. Приходили совершенно незнакомые люди и приносили такие дефицитные по тому времени медикаменты, как камфара, кофеин и др., ценившиеся тогда на вес золота. Полтавская молодежь вызвалась дежурить в доме, выполнять разные поручения, бегать в аптеку. Включились в дежурства и несколько добровольцев извозчиков. Один из них всегда стоял около дома, ездил за кислородом, привозил и отвозил врачей.

Мне было очень тяжело, что в это трудное время я не могла участвовать в уходе за больным: в «Доме младенца», которым я тогда заведовала и при котором жила, вспыхнула сильная эпидемия кори, и я не ходила к Короленкам, боясь занести инфекцию маленькой Сонюшке. Утром обыкновенно ко мне забегала сестра и сообщала, как прошла ночь, а вечером, после работы, я шла на Мало-Садовую, чтобы, не заходя в дом, узнать, как прошел день.

Вечером 25 декабря я, как всегда, подошла к дому. Парадная дверь стояла открытой. У дома и в застекленной галерее стояла небольшая кучка людей, преимущественно молодежи. Время от времени кто-нибудь из них садился на извозчика и ехал в аптеку за кислородом. Я решила дождаться кого-нибудь из врачей, чтобы узнать о состоянии Владимира Галактионовича. Ждала долго; наконец, часов около семи, из дому вышел доктор Волкенштейн. Я кинулась к нему.

— Как там, Александр Александрович?

— Плохо, совсем плохо. Началась агония. К утру кончится.

В это время в галерею выглянула моя сестра и позвала меня в дом, сказав, что маленькую Сонюшку еще днем отправили к знакомым, где она останется ночевать, так что я могу зайти.

Уже в передней я услышала поразивший меня громкий характерный звук, как будто в квартире что-то пилили. Владимир Галактионович лежал в своем кабинете на высоко взбитых подушках, и его громкое хриплое дыхание — симптом начавшегося отека легких — было слышно на всю квартиру... Около кровати сидела Евдокия Семеновна, не сводившая глаз с лица умираю-

щего. В комнате было несколько врачей. Сестра милосердия впрыскивала камфару и давала кислород. Владимир Галактионович был без сознания [20]. От окружающих я узнала, что после тяжелой ночи больному стало немного легче с утра. Он съел несколько ложек бульона и спокойно задремал. Все повеселели. Но скоро больной проснулся от сильного приступа кашля и удушья. Температура сразу подскочила выше 39°. С 4-х часов дня появились признаки отека легких. Владимир Галактионович потерял сознание и уже больше в себя не приходил. С 6-ти часов началась агония... Доктор Волкенштейн ошибся — Короленко не дожил до утра, он скончался в 22 часа 30 минут 25 декабря.

Владимир Галактионович всегда боялся, что его могут похоронить живым во время летаргического сна — в детстве он был свидетелем такого случая, — и говорил, чтобы его хоронили не раньше чем на третий день и после того, как врачи удостоверят наличие смерти. Поэтому 26-го вечером врачи осмотрели тело и составили акт о смерти. Акт подписали врачи А. В. Будаговский, И. Г. Харечко, А. Г. Израилевич, В. М. Лауэр и Е. Я. Штейнберг.

27 декабря в присутствии десяти врачей было произведено вскрытие тела усопшего. По просьбе полтавского Общества врачей были вынуты мозг и сердце Короленко и произведены обмеры их. Мозг Короленко, по размеру, весу и богатству извилин намного превышавший мозг среднего человека, был впоследствии передан Институту изучения мозга в Киеве.

Три дня (с 26 по 28-е) Полтава прощалась с Короленко. На улице около дома все время стояли большие вереницы людей, желавших последний раз увидеть Короленко. Матери приносили и приводили детей, чтобы образ его запечатлелся в их памяти.

Около гроба не было почетного караула, не было распорядителей, но торжественная тишина не нарушалась. Тихо, без толкотни и шума непрерывным потоком входили люди в комнату, где стоял гроб с телом Короленко, всматривались в спокойное лицо усопшего, многие плакали, целовали его руки и уступали место вновь пришедшим.

28 декабря, в день похорон, местная газета вышла в траурной рамке с заголовком:

«Сегодня пролетариат и части Красной Армии хоронят великого писателя-гуманиста и гражданина Владимира Галактионовича Короленко».

По распоряжению президиума губисполкома расходы по организации похорон были приняты за счет государства. Было опубликовано постановление губисполкома о том, что день похорон объявляется траурным и неприсутственным, работа на предприятиях и в учреждениях прекращалась, увеселения и спектакли отменялись.

Весь номер полтавской газеты «Вісті» был посвящен Короленко. Гонорар за помещенные статьи и деньги, вырученные за продажу газеты, были в память Короленко переданы в пользу голодающих. Многие организации и отдельные граждане вместо венка на могилу делали взносы в пользу голодающих.

К семье покойного многие обращались в эти дни с запросом, какие будут похороны — с соблюдением православных обрядов или гражданские. Полтавское духовенство тоже интересовалось этим и просило разрешения принять участие в похоронах. Семья решила, что похороны будут гражданские, но не возражала ни против чьего участия и выражения его в любой форме. Евдокия Семеновна хотела, чтобы похороны были очень скромные, и даже возражала против музыки, но ей пришлось уступить, так как союз Рабиса настойчиво просил разрешить их оркестру проводить Короленко в последний путь.

Вынос тела был назначен на 12 часов дня 28 декабря. С раннего утра к дому стали стекаться большие толпы горожан и селян, приехавших на похороны. Когда я около девяти часов утра направилась к Короленкам, то с Келенского проспекта на Мало-Садовую улицу уже невозможно было пробраться. Огромная толпа запрудила Мало-Садовую и все прилегающие улицы. Двойная цепь учащихся и рабочих с трудом сдерживала напор толпы. С большим трудом удалось мне пробиться к дому, и то только потому, что меня узнали и несколько человек проложили мне дорогу к крыльцу. Несмотря на то что мороз в этот день доходил до 25 градусов, народу прибывало все больше и больше.

В час дня многочисленную толпу, заполнившую дом, попросили освободить комнату, в которой стоял гроб, чтобы близкие могли проститься с покойным без посто-

ронних. После прощания гроб вынесли и понесли на руках. Вся Полтава пришла отдать последний долг человеку, по праву заслужившему название «Совесть земли русской». Шествие сорокатысячной толпы растянулось на много кварталов. Впереди соединенный оркестр играл похоронный марш Шопена, когда он замолкал, слышалось пение идущего за ним хора, которым дирижировал А. В. Свешников (ныне директор Московской консерватории), за гробом, всю дорогу пронесенном на руках, шли родные и близкие, делегации с венками от школ, профсоюзов, воинских частей и неорганизованное население.

Когда процессия проходила по Кобелякской улице (ныне улица Фрунзе) мимо здания тюрьмы, оттуда послышались стройные звуки «вечной памяти» — это заключенные провожали в последний путь Короленко; навстречу похоронной процессии вышел причт кладбищенской церкви со своим хором, и звуки «вечной памяти» слились с пением «со святыми упокой» и звуками шопеновского похоронного марша. Сознание огромной невозвратимой утраты объединило в общем горе представителей всех оттенков и направлений в обществе.

Процессия приблизилась к могиле. Гроб установили на помосте и дали возможность всем желающим еще раз — последний — поглядеть на бледное спокойное лицо всем дорогого и близкого человека. Речей на могиле по желанию семьи покойного не было. Дубовый гроб, в котором покоилось тело, вставляют в другой, металлический. Последнее прощание родных — и крышку забивают, металлический гроб запаивают.

В торжественной тишине, при свете факелов опускают гроб в могилу и засыпают. И долго еще не расходится большая толпа от могильного холмика, утонувшего в живых цветах и венках.

Примечания

ПЕРИОД ТЮРЕМ И ССЫЛОК*

П. В. БЫКОВ

В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается по тексту книги: П. В. Быков, Силуэты далекого прошлого, с прим. Б. П. Козьмина, «Земля и фабрика», М. — Л. 1930, гл. XXV, стр. 203—209.

Первоначально было опубликовано под названием «Великая душа (Из воспоминаний о мимолетных встречах с Владимиром Галактионовичем)» в журн. «Солнце России», 1913, № 29, 15 июля, стр. 2—3.

Быков Петр Васильевич (1843—1930) — поэт, критик, библиограф, в 1880—1881 гг. редактор журнала «Дело», позднее официальный редактор журналов «Русское богатство» (1881—1900) и «Современник» (1911—1914).

[1] В 1879 году.

[2] Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Дешевая покупка. Петербургская драма» (1861).

---

* В примечаниях приняты следующие условные сокращения:

ПС — В. Г. Короленко, Полное собрание сочинений, тт. 1—9, изд. т-ва А. Ф. Маркса, СПб. 1914.

Соч. — В. Г. Короленко, Собрание сочинений, тт. 1—10, Гослитиздат, М. 1953—1956.

ПСС — В. Г. Короленко, Полное собрание сочинений. Посмертное издание, тт. 1—5, 7—8, 13, 15—22, 24, 50—51, Госиздат Украины, Харьков — Полтава, 1922—1929.

ИМС — В. Г. Короленко, История моего современника.

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.

РБ — Журнал «Русское богатство».

[3] Короленко посетил редакцию «Отечественных записок» 21 или 22 февраля 1879 г. Его рассказ «Эпизоды из жизни «искателя» был отвергнут М. Е. Салтыковым-Щедриным, который нашел произведение незрелым. «Оно бы и ничего... Да зелено... зелено очень...» — сказал он молодому автору. Подробней об этом см. ПС, т. 2, стр. 283—288.

[4] В. Г. Короленко учился в Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева) в 1874—1876 гг. В марте 1876 г. он вместе с В. Н. Григорьевым и К. А. Вернером возглавил борьбу студентов против администрации академии, взявшей на себя функции полицейского сыска. Короленко написал текст протеста, под которым подписалась приблизительно половина студентов. Короленко, Григорьев и Вернер были исключены из академии, арестованы и высланы. Короленко был отправлен в Усть-Сысольск Вологодской губернии, но, не доехав до места, получил разрешение отбыть ссылку на родине. Короленко заявил, что желает отбыть ссылку в Кронштадте, где и был поселен под надзор полиции. В Кронштадте он прожил с апреля 1876 до сентября 1877 г. Об истории в Петровской академии см.: ИМС, кн. вторая, ч. 3, гл. VIII — «Волнения в Петровской академии». Текст коллективного заявления студентов опубликован в статье А. В. Храбровицкого «Первое общественное выступление В. Г. Короленко» («Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», 1956, т. XV, вып. 4, стр. 374—375).

[5] В своих воспоминаниях «Роман моей жизни» (М. — Л. 1926, стр. 139—140) И. И. Ясинский утверждает, что рассказ «Эпизоды из жизни «искателя» был доставлен в редакцию журнала «Слово» братом писателя Юлианом, работавшим там корректором.

[6] Биографические сведения о Короленко опубликованы П. В. Быковым в журнале «Нива», 1913, № 28, 13 июля, стр. 552—559.

[7] У В. Г. Короленко было два брата — Юлиан и Илларион, и две сестры — Мария и Эвелина.

[8] Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Дешевая покупка. Петербургская драма» (1861).

[9] Начальная строка стихотворения без названия (1861) Н. А. Добролюбова.

[10] Напечатан в журнале «Слово» (1879, № 7) за подписью К—енко. Писатель считал его незрелым и включил в собрание сочинений в виде приложения (см. ПС, т. 9).

[11] Вторично Короленко был арестован 4 марта 1879 г. и выслан из Петербурга в г. Глазов Вятской губернии, а в октябре того же года отправлен в Березовские Починки. По материалам III Отделения, причиной ареста было «сообщество с главными революционными

деятелями», «участие в распространении революционных изданий» и подозрение в намерении убить тайного агента. В ИМС, кн. вторая, ч. 4, гл. XVII — «Новый арест», писатель так объяснил причины ареста: «То обстоятельство, что мы были арестованы все (братья Короленко и их зять Н. А. Лошкарев. — *Т. М.*), заставляет предполагать, что при поисках тайной типографии полицейские обратили внимание на «неблагонадежную» семью, все мужчины которой были причастны к типографскому делу. Явилось предположение, что мы, вероятно, доставляем шрифты и можем руководить техникой тайной типографии. Этой гипотезы для полиции было достаточно, хотя, надо сказать, это была совершенная фантазия». В автобиографии Короленко по тому же поводу писал: «Нет никакого сомнения, что в основе высылки лежали ложные доносы «агентов» и совершенный вздор» (ПСС, т. V, стр. 190).

[12] В журнале «Слово», кроме первого произведения, были опубликованы очерки Короленко «Ненастоящий город» (1880, № 11) и «Временные обитатели «подследственного отделения» (1881, № 2).

[13] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Праздник жизни — молодости годы — я убил под тяжестью труда» (1855).

[14] Начальная строка басни И. А. Крылова «Лжец» (1811).

[15] В Нижнем-Новгороде писатель поселился по возвращении из Якутской области в январе 1885 г. и прожил там до начала 1896 г.

[16] Первая поездка Короленко за границу (в Америку) относится к 1893 г. (о ней см. стр. 192—197 наст. изд.).

С. П. ШВЕЦОВ

В. Г. КОРОЛЕНКО В ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ

Печатается по тексту журнала «Каторга н ссылка», 1927, № 8/37, стр. 159—166.

Швецов Сергей Порфирьевич (1858—1930) — революционер-народник. В конце 70-х гг. арестован по делу кружка Иосселиани. Решением судебной палаты от 22 мая 1879 г. обвинен в распространении запрещенных сочинений, в «именовании себя не принадлежащим ему именем» и выслан в Западную Сибирь. Впоследствии видный сибирский деятель — статистик, этнограф, экономист, писатель. О нем см. в ИМС, кн. третья, ч. 2, гл. III — «История юноши Швецова».

[1] В Вышневолоцкую политическую тюрьму Короленко был привезен 21 февраля 1880 г. из Березовских Починков Вятской губернии, будучи ложно обвинен в побеге с места ссылки, и пробыл в ней до 17 июля 1880 г.

[2] Съезд писателей (журналистов) происходил в Петербурге в апреле 1905 г. Короленко выступал на съезде 5 апреля. Его выступление под названием «Современное положение и печать (Речь на съезде журналистов)» было опубликовано в газете «Право», 1905, № 14, 10 апреля.

[3] Из Вышневолоцкой тюрьмы Короленко был отправлен через Москву, Нижний-Новгород, Казань, Пермь, Тюмень, Тобольск в Якутскую область, но из Томска возвращен в Европейскую Россию, так как была выяснена ложность его обвинения в побеге, и поселен в Перми. Тюмень и Тобольск Короленко проезжал в июле 1880 г. по пути из Вышнего Волочка в Якутскую область и в августе того же года на обратном пути из Томска в Пермь. В Перми Короленко прожил под надзором полиции с сентября 1880 г. до 11 августа 1881 г., когда за отказ от присяги Александру III был выслан в Якутскую область. Срок ссылки Короленко окончился 9 сентября 1884 г.; 10 сентября он выехал из слободы Амги, где отбывал ссылку, и был в Тюкалинске, очевидно, в ноябре 1884 г. (в ИМС писатель ошибочно называет Мариинск, как место своей встречи с Швецовым).

[4] Имеется в виду: «Полное собрание сочинений» в 9-ти томах, изд. т-ва А. Ф. Маркса, СПб. 1914. О рассказе «Эпизоды из жизни «искателя» см. примеч. 10 на стр. 548.

[5] Из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», ч. IV, гл. 4.

[6] Рассказ «Чудная» первоначально был напечатан нелегально в 1893 г. фондом Вольной русской прессы в Лондоне. В легальной русской печати впервые появился в РБ, 1905, № 9, под названием «Командировка».

[7] В журнале «Отечественные записки» за подписью Г. Иванов (и Г. И.) были напечатаны следующие очерки Гл. И. Успенского: «Из памятной книжки» (1875, № 9; 1877, № 4, 6, 9; 1880, № 2, 5); «Люди и нравы» (1876, № 4, 9, 10; 1877, № 10); «Из деревенского дневника» (1877, № 12, 1878, № 1, 9, 11; 1880, № 9).

[8] «Деревенские будни» были напечатаны журн. «Отечественные записки», 1879, № 4, 8, 10 (за подписью Н. Н.).

[9] См. примеч. 1 на стр. 576—577.

[10] См. выше примеч. 3.

[11] Яшка-стукальщик описан Короленко в рассказе «Временные обитатели «подследственного отделения» (1881), вошедшем в собрание сочинений писателя под названием «Яшка».

[12] Афоризм героя рассказа В. Г. Короленко «Парадокс» (1894).

О. В. АПТЕКМАН

В. Г. КОРОЛЕНКО

Черты из личных воспоминаний

Печатается по тексту журнала «Каторга и ссылка», 1927, № 8/37, стр. 166—189.

Аптекман Осип Васильевич (1849—1926) — деятель революционного народнического движения, был членом общества «Земля и воля», а после его раскола примкнул к группе «Черный передел». По профессии — врач. В 1880 г. был арестован и выслан на пять лет в Якутскую область, где и познакомился с Короленко. В 1906 г. эмигрировал за границу. Вернулся в Россию после февральской революции.

[1] Вероятно, здесь имеется в виду персонаж очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина «Благонамеренные речи» (см. гл. XIII «Непочтительный Коронат»).

[2] О. В. Аптекман приехал в Амгу 23 апреля 1883 г.

[3] Начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 г.

[4] Имеется в виду вторая ссылка Короленко. См. примеч. 11 на стр. 548; начальником Вышневолоцкой тюрьмы был И. П. Лаптев.

[5] Первым был рассказ «Эпизоды из жизни «искателя» (1879).

[6] Ссыльный, побывавший на Сахалине («Соколином острове»).

[7] Учителем Короленко в ровенской гимназии был В. В. Авдиев. О нем см. ИМС, кн. первая, ч. 5, гл. XXVII.

[8] Теория типов и степеней (а не ступеней, как пишет Аптекман), которую Короленко использовал в споре, занимает большое место в социологии Н. К. Михайловского. С наибольшей полнотой она развернута в статье «Что такое прогресс?». Этой теорией Михайловский обосновывал народнический идеал «мужицкого социализма», зародыш которого видел в крестьянской полуфеодальной общине. По отношению к этому идеалу Михайловский и определял тип и степень общественного развития. Так, капиталистическое общество, с его точки зрения, по степени своего развития было выше крестьянской общины, но ниже как тип, так как стояло дальше от социалистического идеала. Крестьянская община представляла высокий тип развития, но находилась на низкой его степени. Критику субъективной и эклектической социологии Михайловского дал В. И. Ленин в книге «Что такое «друзья народа»...» (1894) и в ряде других работ.

[9] В ИМС Короленко пишет, что с ним на вскрытие трупа Павлова ездил Ромась (кн. четвертая, ч. 1, гл. XII — «Трагедия Павлова»).

[10] Из письма Короленко от 24 мая 1921 г. (см. Соч., т. 7, стр. 438).

[11] В. С. Ивановского.

[12] Фамилия поляка-поселенца была действительно Вырембовский. О нем см.: ИМС, кн. четвертая, ч. 1, гл. IX — «Амгинские культурные слои».

[13] Статьи и воспоминания О. В. Аптекмана впоследствии публиковались в журналах «Былое», «Минувшие годы», «Каторга и ссылка», «Современный мир». Его работа — «Из истории революционного народничества. «Земля и воля» 70-х гг. (По личным воспоминаниям)» — вышла отдельной книгой в изд. А. Сурат в 1906 г. (второе дополненное издание, Пг. 1924).

[14] Текст своего заявления старосте от 9 сентября 1884 г. Короленко привел в ИМС, кн. четвертая, ч. 1, гл. XXVI — «Обратный путь».

[15] И. И. Папин выехал из Амги в июне 1884 г.

[16] Короленко встретился с Папиным в Ачинске.

[17] Неточная цитата из трагедии Гете «Фауст» в переводе Н. Холодковского (Акт I, сцена четвертая, Собр. соч., т. 2, СПб. 1878, стр. 50).

[18] Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Ночь. Успели мы всем насладиться...» («Отрывок», 1858).

[19] Речь идет о коллективном выходе в отставку всех земских врачей Саратовского уезда в знак протеста против упразднения земской управой Санитарного совета.

Имея в виду подобные факты, В. И. Ленин в статье «Внутреннее обозрение» (1901) писал: «Нежелание интеллигентов позволить третировать себя как простых наемников, как продавцов рабочей силы (а не как граждан, исполняющих определенные общественные функции), всегда приводило, от времени до времени, к конфликтам управских воротил то с врачами, которые коллективно подавали в отставку, то с техниками и т. д.» (Сочинения, 5 изд., т. 5, стр. 330).

[20] Нелегальная политическая организация демократической интеллигенции, созданная в 1892 г. В числе ее основателей были М. А. Натансон, Н. С. Тютчев, О. В. Аптекман и другие народовольцы. Центр находился в Орле. В Смоленске была организована тайная типография, в которой предполагалось печатать журнал. Народоправцы успели выпустить только свой «Манифест» и программную брошюру «Насущный вопрос». В апреле 1894 г. партия была разгромлена, руководители ее арестованы. Оценку «Народного права» В. И. Лениным см. в его работах: «Что такое «друзья народа»...» (Сочинения, 5 изд., т. 1, стр. 301—302, 342—345) и «Задачи русских социал-демократов» (там же, т. 2, стр. 463—465).

[21] Статья Л. Тихомирова с упоминанием об О. В. Аптекмане не обнаружена. Вероятно, Короленко имел в виду статью «Земские

врачи и земские власти Саратовского уезда», опубликованную под псевдонимом «Саратовец» в газ. «Московские ведомости», 1892, № 103, 15 апреля. Автор статьи, отрицательно оценивший выступление саратовских врачей, их требование сохранить за ними право подбирать через Санитарный совет медицинские кадры, ставил в связь с традициями и задачами революционной пропаганды в крестьянской среде.

[22] Болезненное состояние Короленко было вызвано его напряженной работой по «Мултанскому делу» (см. воспоминания А. Н. Баранова в наст. изд. и примеч. к ним).

[23] В подлиннике: «Fang an zu hacken und zu graben» («Возьмись копать или мотыжить»). См.: Гете, «Фауст», часть I, «Кухня ведьмы». Гослитиздат, М. 1953, стр. 137.

[24] П. И. Войнаральский получил разрешение вернуться в Европейскую Россию в марте 1897 г. 17 июля 1898 г. он скоропостижно умер в г. Купянске Харьковской губ. О его пребывании в эти годы в Полтаве сведений не найдено.

[25] Очерк О. В. Аптекмана «Страница из «скорбного листа» Гл. И. Успенского (по личным наблюдениям и воспоминаниям)» напечатан в РБ, 1909, № 7 и 9.

[26] Напечатана в кн.: Г. И. Успенский, Полн. собр. соч., т. 2, изд. А. Ф. Маркса, СПб. 1908, стр. I—CIV, под названием: «Глеб Иванович Успенский. Материалы к его биографии».

[27] О. В. Аптекман с большой точностью цитирует письмо Короленко от 22 апреля 1909 г. Оно опубликовано по оттиску в копировальной книге в Соч., т. 10, стр. 440—442.

Н. С. ТЮТЧЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЛ. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается впервые по автографу, с сокращением. Рукопись хранится в ЛБ. Воспоминания написаны в 1922—1924 гг.

Тютчев Николай Сергеевич (1856—1924) — революционер-народник. Был членом «Центральной» группы общества «Земля и воля» и его «Дезорганизаторской группы». В 1878 г. арестован и сослан в г. Баргузин за организацию стачки на бумагопрядильной фабрике в Петербурге. В 1881 г. бежал, был задержан и сослан на пять лет в Якутскую область. Здесь и произошла его встреча с Короленко. В 1890 г. вернулся в Центральную Россию, участвовал в организации нелегальной партии «Народное право», за что в 1894 г. был вновь арестован и сослан в Сибирь. После Октябрьской революции работал в Историко-революционном архиве. О нем см. в ИМС, кн. четвертая, ч. 1, гл. XIV.

[1] О побеге ссыльных из г. Баргузина см.: Н. С. Тютчев, «В ссылке и другие воспоминания». М. 1925, стр. 5—56. Первоначально опубликовано в журн. «Русские записки», 1914, № 1, стр. 104—129; № 2, стр. 192—210.

[2] Пересыльных из центральных каторжных тюрем (из централов).

[3] Имеется в виду рассказ В. Г. Короленко «Яшка» («Временные обитатели «подследственного отделения»).

[4] В 1874 г. Г. А. Лопатин поместил в журнале «Вперед», выходившем в Лондоне (т. 3, отд. II, стр. 160—181), анонимную статью под названием «Из Иркутска», в которой говорил о двух заключенных в Иркутской тюрьме, отрицавших бога, царя, законы, начальство, все установленные обычаи и стремившихся к какому-то «царству свободы и правды». За отказ повиноваться властям они подвергались нечеловеческим истязаниям. Так как они не признавали имени и постоянно заявляли: «Я не ваш», — арестанты прозвали их «не-нашими»». Лопатин утверждал, что описанные им «не-наши» не были единичным явлением.

[5] Н. С. Тютчев ошибся: девичья фамилия А. В. Чериявской — Полторанова, по первому мужу — Афанасьева.

[6] В. Г. Короленко в Амге мог читать только отрывок из этого рассказа — «Бродяжий брак». Рассказ был закончен позднее и опубликован под названием «Маруся» в «Сборнике журнала «Русское богатство» (СПб. 1899); после незначительной переработки помещен под названием «Марусина заимка» в третьей книге «Очерков и рассказов» В. Г. Короленко (изд. ред. журн. РБ, СПб. 1903).

[7] Многие из рисунков, сделанных Короленко в Якутской области, сохранились, некоторые из них опубликованы (см. Соч., т. 7).

[8] «Третий элемент» — та часть демократической и либеральной интеллигенции, которая не находилась на государственной службе и не занимала выборных должностей в земствах, а служила в земствах по вольному найму — в качестве врачей, агрономов, учителей, статистиков, техников и т. п. В конце XIX в. отряд этой интеллигенции сильно возрос. О «третьем элементе» см. в статье В. И. Ленина «Внутреннее обозрение» (1901) (Сочинения, 5 изд., т. 5, стр. 327—335).

[9] То есть предательством и ренегатством. По имени бывших членов «Народной воли» — С. П. Дегаева, ставшего предателем, и ренегата Л. А. Тихомирова.

[10] О нем см. примеч. 18 на стр. 564.

[11] См. примеч. 20 на стр. 552.

[12] Съезд состоялся между 20 и 27 июня 1892 г.

[13] Здесь неточность в изложении фактов. Короленко выехал в Саратов из Нижнего-Новгорода и встретился с Тютчевым в Работ-

ках. Семья писателя жила на даче в Чиченино, близ Работок. В письме к жене от 18 июня 1892 г. Короленко писал из Нижнего: «...еду сегодня (буду смотреть на гору в Чиченине). Тютчев сядет в Работках, и поедем вместе» (Соч., т. 10, стр. 160).

[14] Имеются в виду следующие работы: Г. Тард, Законы подражания, изд. Ф. Павленкова, СПб. 1892; С. Сигеле, Преступная толпа. Опыт коллективной психологии, изд. Ф. Павленкова, СПб. 1893. Книги Г. Ферреро, как и последующие работы Г. Тарда, вышли в русском переводе значительно позднее.

[15] Замысел романа о Пугачеве возник у Короленко в конце 80-х гг., когда писатель в Нижегородском историческом архиве обнаружил дела, относящиеся к пугачевскому восстанию. К работе над романом, который он думал назвать «Набеглый царь», Короленко приступил в 1899 г. Летом 1900 г. он совершил поездку на Урал с целью ознакомиться с местами, где протекало движение, и изучить материалы в местных архивах. На Урале Короленко пробыл с середины июня до начала сентября 1900 г. Роман остался незаконченным. Наброски его опубликованы в кн.: В. Г. Короленко, «Записные книжки», Гослитиздат, М. 1935, стр. 340—373. Подробней о работе Короленко над романом — см. там же, стр. 479—486. В журн. «Голос минувшего», 1922, № 2, стр. 15—26, напечатан очерк Короленко «Пугачевская легенда на Урале» (вошел в Соч., т. 8, стр. 429—449).

[16] Короленко в Саратове собирал материал для статьи о холерной эпидемии. Статья была задержана цензурой. Часть статьи опубликована в РБ, 1905, № 5, отд. II, стр. 58—78. («Холерный карантин на девятифутовом рейде»); в переработанном виде напечатана в ПС, т. 3, под названием «В холерный год».

[17] Статьи о кн. Мещерском, предназначенной для газеты «Народное право», в архиве Короленко не обнаружено. Впоследствии писатель неоднократно выступал в легальной печати со статьями о Мещерском: «Метаморфоза «Гражданина» (РБ, 1896, № 2, отд. II, стр. 209—221); «Князь Мещерский и покойные министры» (там же, 1904, № 12, отд. II, стр. 155—161); «Откровенные излияния кн. Мещерского» (там же, 1905, № 2, отд. II, стр. 151—152) «С. Ю. Витте и кн. Мещерский» («Полтавщина», 1905, № 251, 22 сентября, стр. 3); «Князь Мещерский — прогрессист!» (РБ, 1907, № 4, отд. II, стр. 162—166). Эти статьи, кроме опубликованной в «Полтавщине», вошли в т. 6 ПС.

[18] Встречи Тютчева с Короленко возобновились в 1904—1909 гг. в Петербурге. Переписка между ними особенно оживилась в 1920—1921 гг., когда писатель, работая над «Историей моего современника», обращался к Тютчеву за уточнением некоторых фактов.

Т. А. БОГДАНОВИЧ

В. Г. КОРОЛЕНКО В НИЖНЕМ

Печатается с сокращением по тексту книги: «Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко», изд. Нижегородского губсоюза, Н.-Новг. 1923, стр. 83—96.

Богданович Татьяна Александровна (урожденная Криль, 1873—1942) — писательница, редактор «Недели «Современного слова» (1908—1917). Т. А. Богданович принадлежат также воспоминания «В. Г. Короленко в последние годы жизни» (журн. «Былое», 1922, № 19, стр. 211—231) и «Биография Владимира Галактионовича Короленко» (Харьков, Госиздат Украины, 1922, 154 стр.).

[1] О времени пребывания Короленко в Вышневолоцкой тюрьме см. примеч. 1 на стр. 549. Свидания с родными в Вышневолоцкой тюрьме Короленко описывает в ИМС, кн. третья, ч. 2, гл. V — «Хороший человек на плохом месте», где упоминает и о семилетней племяннице Анненских.

[2] Муж Марии Галактионовны — Николай Александрович Лошкарев, был выслан в 1879 г.

[3] В редакторских книгах Короленко (1888, 1896—1920) зарегистрировано около пяти тысяч прочитанных им рукописей.

[4] Нестора Семеновича. О нем см.: ИМС, кн. вторая, ч. 5, гл. II — «Жизнь в Глазове», очерк «Ненастоящий город» (1880) и «Записная книжка 1879» (Горьковское областное изд-во, 1932, стр. 107—108).

[5] «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева, в 29 томах, М. 1851—1879.

[6] Короленко был избран членом комиссии на втором ее заседании 22 октября 1887 г. и принимал деятельное участие в ее работе. Найденные в архиве документы легли в основу повести «Муза» (осталась незаконченной) и ряда исторических очерков (см. Соч., т. 8). О работе писателя в Архивной комиссии см. воспоминания А. И. Звездина «Из встреч с В. Г. Короленко» («Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко», изд. Нижегородского губсоюза, Н.-Новг., 1923, стр. 112—119).

[7] Поездка по Волге состоялась в конце июня 1891 г.

[8] Автограф незаконченной статьи под этим названием хранится в ЛБ.

[9] Совместная поездка Короленко и Н. Ф. Анненского состоялась в июне 1889 г.; кроме того, Короленко был в Павлове в декабре того же года, в апреле и сентябре 1890 г.

[10] Народничеством «старым, наивным» Т. А. Богданович называет сторонников традиционных народнических воззрений. Под народничеством «новым, критическим» она подразумевает те круги демократнческой интеллигенции, которые, оставаясь на позициях крестьянского демократизма, отходили от некоторых народнических догм (вера в общину, артельный принцип, идеализация мелкого производства и т. д.) К «критическим» народникам принадлежали и участники нижегородского кружка Короленко.

[11] В записной книжке Короленко под датой 8 марта 1890 г. есть пометка: «Закончил очерк о Чернышевском». Доклад был прочитан, очевидно, в марте этого же года. Ч. Ветринский (Вас. Е. Чешихин) в статье «Короленко в Нижнем-Новгороде» («Киевская мысль», 1913, 15 июля) упоминает о вечере памяти Н. Г. Чернышевского, состоявшемся в начале 1890 г., на котором Короленко выступал с докладом. Очерк под названием «Воспоминания о Н. Г. Чернышевском» был впервые опубликован в 1894 г. в Лондоне фондом Вольной русской прессы. В России «Воспоминания» впервые напечатаны в РБ, 1904, № 11. Автограф «Воспоминаний о Чернышевском» хранится в ЛБ.

[12] Доклад Короленко об общественной и личной морали неизвестен. Т. А. Богданович в кн. «Биография В. Г. Короленко» (Харьков, 1922, стр. 66) указывает, что в Нижнем Короленко прочел также доклад о Щедрине. Автограф доклада хранится в ЛБ. Вошел в Соч., т. 8.

[13] О встрече с Н. Ф. Анненским на одном из собраний кружка «Трезвых философов», группировавшегося около «Отечественных записок» в 70-х гг., Короленко упоминает в ИМС, кн. третья, ч. 2, гл. I — «Население В. П. Т. — Андриевский, Анненский, Павленков», и в некрологе «О Николае Федоровиче Анненском» (РБ, 1912, № 8, с. VI—VII). То же в кн.: В. Г. Короленко, Воспоминания о писателях, изд-во «Мир», М. 1934, стр. 89—91.

[14] Письмо хранится в ЛБ.

М. П. ПОДСОСОВА-ГРАЦИАНОВА

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается с сокращением по тексту книги «Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко», изд. Нижегородского губсоюза, Н.-Новг., 1923, стр. 97—101.

Подсосова-Грацианова Меланья Павловна (ум. в 1937 г.) — нижегородская учительница и общественная деятельница.

[1] Поездка Короленко с М. П. Подсосовой в Арзамас состоялась в июне 1890 г. В монастырь с. Дивеево (Ардатовского уезда) Короленко вышел пешком из Арзамаса 13 июня.

[2] В архиве Короленко сохранилась первоначальная редакция рассказа «В облачный день», в которой есть описание пути по арзамасскому тракту и рассказы ямщика. Под текстом подпись и дата: «12 июня, Арзамас». Рассказ «В облачный день» впервые напечатан в РБ, 1896, № 2. В 1903 г., помещая произведение в книге 3-ей «Очерков и рассказов», Короленко подверг его значительной переработке.

[3] Рассказ получил название «Муза» (или «Арзамасская муза»). Начало рассказа и все наброски к нему опубликованы в ПСС т. 16, стр. 15—51; 163—205. Кроме истории А. В. Ступина, Короленко интересовало дело о застрелившемся в 1828 г. ученике академика А. В. Ступина — крепостном Григории Мясникове, которое хранилось в Нижегородской архивной комиссии. Писатель предполагал ввести в рассказ «Муза» историю Мясникова.

[4] Встреча в Петербурге, о которой пишет М. П. Подсосова-Грацианова, вероятнее всего произошла не в 1909 г., а в декабре 1911 г. или самом начале 1912 г. В декабре 1911 г. Короленко усиленно хлопотал о Б. И. Лагунове.

М. ГОРЬКИЙ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается по тексту книги: М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 14, Гослитиздат, М. 1951, стр. 241—245.

Воспоминания представляют собой речь, произнесенную М. Горьким 28 июля 1918 г. в Петрограде на вечере, посвященном 65-летию со дня рождения Короленко. Впервые напечатаны в кн.: «Жизнь и литературное творчество В. Г. Короленко». Сб. статей и речей к 65-летнему юбилею, «Культура и свобода», Пг. [1919], стр. 52—57.

Получив сборник, Короленко писал Горькому 9 января 1921 г.: «Недавно я получил (с большим, как видите, опозданием) книжку, в которой приведены речи по поводу моего юбилея в 1918 г., в том числе и Ваша. Благодарю Вас за яркий сочувственный отзыв» (Архив Горького, Москва).

[1] Первая встреча Горького с Короленко произошла между декабрем 1889 г. и февралем 1890 г.

[2] Рассказ «Река играет». Первоначально опубликован в сб.: «Помощь голодающим», изд. «Русских Ведомостей», М. 1892.

[3] Герой одноименного рассказа Л. Н. Толстого (1863).

[4] Персонаж очерка «Фантастические замыслы Миная» Н. Е. Каронина-Петропавловского («Рассказы о парашкинцах») (1879—1880).

[5] См. стр. 128—131 настоящего издания и примеч. 13 на стр. 560.

[6] Горький ушел из Нижнего-Новгорода в апреле 1891 г. и вернулся в Нижний в октябре 1892 г.

[7] Свои наблюдения над странниками и богомольцами Короленко отразил в очерках «За иконой» (1887) и «Птицы небесные» (1889). О «бродячей Руси» Короленко говорил также в статье «Современная самозванщина» (1896).

[8] В 1892 г. был напечатан первый рассказ Горького — «Макар Чудра» (газета «Кавказ», № 242); в 1893 г. были опубликованы следующие рассказы: в газете «Волжский вестник» — «Месть» (№ 211, 212, 214), «О чиже, который лгал...» (№ 226), «Разговор по душе» (№ 233); в газете «Волгарь» — «Нищенка» (№ 259, 261, 263), «Исключительный факт» (№ 279, 281), «Сон Коли» (№ 290, 294, 297), «Убежал» (№ 303, 307, 309); в газете «Русские ведомости» — рассказ «Емельян Пиляй» (№ 213).

[9] Очерк «Исключительный факт». См. предыдущее примеч.

[10] «Дед Архип и Ленька» впервые опубликован в газете «Волгарь», 1894, № 35, 37, 39, 41, 43.

[11] М. Горький имеет в виду свой первый большой рассказ «Челкаш», написанный под влиянием беседы с Короленко и опубликованный им в столичном журнале РБ, 1895, № 6. До этого М. Горький печатался в провинциальных газетах.

М. ГОРЬКИЙ

«ВРЕМЯ КОРОЛЕНКО»

Печатается по тексту книги: М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 15, Гослитиздат, М. 1951, стр. 5—31.

Впервые опубликованы в журнале «Летопись революции» (Берлин — Пб. — М., изд. З. И. Гржебина), 1923, кн. 1, стр. 9—29, как начало большой статьи под общим названием: «В. Г. Короленко. Глава из воспоминаний». При публикации в журнале «Красная новь» (1923, № 1, январь, стр. 3—22) эта часть подверглась небольшой переработке, получила название «Время Короленко» и была дана как первый очерк в серии «Автобиографические рассказы».

[1] Из Царицына Горький выехал ранней весной 1889 г. В Нижний он приехал в конце апреля того же года.

[2] С 22 марта по 8 апреля 1889 г. Толстой жил в имении Спасское, близ Троице-Сергиевской лавры, у своего товарища по севастопольской кампании С. С. Урусова.

[3] М. Горький был арестован 13 октября 1889 г. по делу С. Г. Сомова, с которым жил на одной квартире в Нижнем-Новгороде.

[4] Первые строки стихотворения без названия К. М. Фофанова из его сборника «Тени и тайны» (изд. М. В. Попова, СПб. 1892, стр. 114).

[5] В 1878 г. старший сын генерала И. Н. Познанского Николай, 16-летний юноша, погиб от отравления морфием. В отравлении подозревалась гувернантка. В книге А. Ф. Кони «Судебные речи» (Тип. А. Суворина, СПб. 1888, стр. 495—514) опубликована речь Кони «По делу о французской подданной Маргарите Жюжан, обвиняемой в отравлении».

[6] *Абукир* — населенный пункт и мыс в Египте на побережье Средиземного моря. В 1798 г. английский адмирал Г. Нельсон разгромил под Абукиром французский флот, отрезав таким образом войска Бонапарта в Египте.

[7] Очевидно, имеется в виду установление в 1848 г. буржуазной конституции, превратившей Швейцарию из союза государств в единое союзное государство.

[8] М. Горький был арестован в ночь с 16 на 17 апреля 1901 г. за революционную деятельность среди сормовских рабочих и учащихся средних учебных заведений Нижнего-Новгорода. Именно в этот раз он и встретился с адъютантом Нижегородского жандармского управления поручиком Познанским. (См. «Революционный путь Горького», Гослитиздат, М. — Л. 1933, стр. 57—58).

[9] И. Н. Познанский умер во второй половине 1897 г. в Иркутске.

[10] Имеется в виду так называемый Ташкепринский бой, происшедший у реки Кушки 18 марта 1885 г. между русскими и афганцами и окончившийся победой русских.

[11] Это была первая встреча Горького с Короленко. См. примеч. 1 на стр. 558.

[12] Имеется в виду эпизод, происшедший в 1888 г. в деревне Красновидово (близ Казани) во время совместной работы А. М. Ромася с Горьким. Сельские кулаки подожгли мелочную лавочку Ромася, служившую маскировкой пропагандистской работы среди крестьян. Об этом эпизоде см.: М. Горький, Мои университеты.

[13] В статье «О том, как я учился писать» (1928) Горький утверждает, что о «круговращении» жизни он говорил в поэме «Песнь старого дуба»: «Ритмической прозой я написал огромную «поэму» «Песнь старого дуба». В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь, в которой я, кажется, изложил свои размышления по поводу статьи «Круговорот жизни», напечатанной, если не ошибаюсь, в научном журнале «Знание», — статья говорила о теории эволюции» *. («М. Горький о литературе». Литературно-критические статьи, «Советский писатель», 1953, стр. 325—326).

[14] Статьи Короленко «Об Александровском банке», печатавшиеся в 1891 г. в газете «Волжский вестник» (№ 11—23) и в том же

---

* Горький имеет в виду статью А. Блументаля «Исторический круговорот», напечатанную в журнале «Слово», 1881, № 1.

году вышедшие отдельной брошюрой (Казань, Нижегородское отд. «Волжского вестника», 1891), послужили поводом для ревизии банка, в результате которой и раскрылись миллионные хищения. Несколько директоров были отданы под суд, а банк изъят из рук нижегородского дворянства и передан в казну. «Главный виновник», о котором упоминает Горький, — один из директоров банка — Д. И. Панютин. В газете «Волжский вестник», 1891, № 113, 17 мая, была напечатана также статья Короленко «Эпилог банковой истории» (за подписью Н. О.).

[15] Большой процесс скопцов слушался в Нижегородском суде в середине февраля 1890 г. В записной книжке Короленко сохранились зарисовки участников процесса с записью некоторых их реплик. Хранится в ЛБ.

[16] Статья С. Елеонского «Два слова о В. Г. Короленко (По поводу одного о нем воспоминания» была помещена в газете «Курьер», 1903, № 137. См. также: «Интеллигентская легенда о Короленке». Из посмертной записи Миловского-Елеоиского, в кн.: Ф. Д. Батюшков, В. Г. Короленко как человек и писатель, «Задруга», М. 1922, стр. 120—121.

[17] Имеется в виду Владимир Адрианович Горинов.

[18] Об А. А. Зарубине см. запись Короленко в дневнике от 12 апреля 1895 г. (ПСС, Дневник, т. III, стр. 161—175), а также его очерки «В голодный год» (Соч., т. 9, стр. 272).

[19] Книга «В голодный год» отдельным изданием вышла в ноябре 1893 г. (ред. журн. РБ, СПб. 1894, 376 стр.).

[20] «Армия спасения» — международная христианская филантропическая организация, созданная в 1865 г. в Лондоне священником Бутсом. «Красный Крест» — добровольное общество помощи больным и раненым воинам; создано в Петербурге во время Крымской войны 1853—1856 гг. при активном участии Н. И. Пирогова. За рубежом общество «Красный Крест» возникло в 60-х гг. XIX в.

[21] Имеются в виду следующие книги: П. Г. Редкин, Из лекций по истории философии права. Вып. 1—7, СПб. 1889—1891; Д. Ф. Щеглов, История социальных систем от древности до наших дней, т. 1—2, СПб. 1870—1889; А. В. Лохвицкий, Обзор современных конституций, ч. 1—3, изд. ред. «Русского инвалида», СПб. 1862—1863; В. О. Ключевский, Лекции по русской истории. Вып. 1—3. Литографированное издание, без указания места и года; Н. М. Коркунов, Лекции по общей теории права, СПб. 1886; В. И. Сергеевич, Лекции и исследования по истории русского права, СПб., Университет, 1883; «Капитал» т. I К. Маркса впервые был напечатан в России весной 1872 г., СПб., изд. Н. П. Полякова, в переводе, сделанном частично Германом Лопатиным, в основном —

Николай — оном (Н. Ф. Даннельсоном); т. II — перевод и изд. Н. Даннельсона, СПб. 1885.

[22] Горький ошибочно ссылается на А. Смита. Здесь он имеет в виду книгу «Основания политической экономии Д. С. Милля. Перевод с примечаниями Н. Г. Чернышевского», СПб. 1860 (См. И. Груздев, Горький и его время, «Советский писатель», М. 1948, стр. 325).

[23] Встреча Короленко и Горького на Откосе произошла в июле — августе 1890 г.

[24] Имеется в виду книга «Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России». Вып. I, тип. И. Н. Скороходова, СПб. 1894, 291 стр.

[25] Короленко имел в виду защиту Вольтером жертв церковной реакции — Жана Каласа (1762) и Сирвена (1765).

М. ГОРЬКИЙ

В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается по тексту книги: М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 15, Гослитиздат, М. 1951, стр. 32—51.

Впервые опубликовано в журнале «Летопись революции» (Берлин — Пб. — М., изд. З. И. Гржебина), 1923, кн. 1, стр. 29—41, как вторая половина большого произведения, носившего название «В. Г. Короленко. Глава из воспоминаний». При публикации в журнале «Красная новь» (1923, № 1, январь, стр. 22—34), после незначительной обработки, напечатана как самостоятельный очерк в серии «Автобиографические рассказы» — под названием «В. Г. Короленко». Подготавливая собрание своих сочинений в издании «Книга» (Берлин, 1923), Горький добавил к очерку двенадцать заключительных абзацев, начиная со слов: «Встречи мои с ним были редки...»

[1] М. Горький вернулся из Тифлиса в Нижний-Новгород 6 октября 1892 г.; Короленко выехал из Нижнего-Новгорода 30 октября — сначала в Москву, затем в Петербург — и вернулся в Нижний-Новгород во второй половине ноября.

[2] Короленко сотрудничал в газете «Волжский вестник» (Казань) с 1885 по 1892 г.

[3] Рассказ «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины» был напечатан в газете «Волжский вестник» в 1893 г. (№ 226, 4 сентября). Передавая содержание беседы и рассказывая о последующих фактах, Горький нарушил хронологию событий и объединил свои встречи с Короленко 1892—1894 гг.

[4] Кроме аллегории «О чиже, который лгал...», Короленко имел в виду ранние произведения Горького: «Песнь старого дуба», «Голос

из горы идущему вверх», «Беседа черта с колесом» (см. стр. 127—131 наст. изд.).

[5] В газете «Кавказ» был напечатан рассказ «Макар Чудра» (1892, № 242, 12 сентября).

[6] На Ветлуге и Керженце Короленко был в 1890 г., по Волге ездил в 1891 и 1892 гг.

[7] Горький чрезвычайно высоко ценил образ Тюлина из рассказа Короленко «Река играет» (1892). Его высказывания о Тюлине см. в кн.: «А. М. Горький и В. Г. Короленко. Переписка, статьи, высказывания», Гослитиздат, М. 1957.

[8] Летом 1891 г. Горький, находясь в Харькове, услышал, что Иоанн Кронштадтский пробудет несколько дней в Рыжове — в Куряжском монастыре (в тридцати верстах от Харькова). Горький отправился туда, поздно вечером проник в монастырский сад, где Иоанн Кронштадтский в этот момент был один, и вступил с ним в беседу. (См. И. Груздев, Горький и его время, т. I, изд. 2-е, «Советский писатель», Л. 1948, стр. 346—353).

[9] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1876).

[10] Имеется в виду сказка «О маленькой фее и молодом чабане». Написана в 1892 г.

[11] Написан в сентябре 1894 г.

[12] Поэтессе А. Д. Мысовской, жительнице Нижнего-Новгорода, принадлежат переводы стихотворений Альфреда де Мюссе, печатавшиеся в журнале «Пантеон литературы» (1889, № 5, 9), и его драматической поэмы «Уста и чаша» (изд. «Пантеон литературы», СПб. 1891).

[13] Стихотворения Горького Короленко посылал в редакцию «Русского богатства» в мае 1893 г. О них он писал Михайловскому: «На сей раз и стихи и человек много интереснее: это самородок с несомненным литературным талантом, еще не совсем отыскавшим свою дорогу. Из присылаемых стихотворений — первое слабее по форме, но картина осмыслена и есть несомненная поэтическая струйка. Два других — незначительнее, но, кажется, безукоризненны по форме...» (Письмо от 30 мая 1893 г. В кн.: «Горький и Короленко», Гослитиздат, М. 1957, стр. 201). Стихотворения напечатаны не были.

[14] Рассказ «Старуха Изергиль» Короленко посылал в редакцию газеты «Русские ведомости» в начале октября 1894 г. В письме к М. А. Саблину от 4 октября он отзывался о нем как о вещи «вполне литературной, местами красивой...» (В кн.: «Горький и Короленко», Гослитиздат, М. 1957, стр. 203). Рассказ «Старуха Изергиль» был впервые напечатан в «Самарской газете», 1895, № 80, 86, 89 (16—27 апреля).

[15] Горький состоял в гражданском браке с О. Ю. Каминской

(1892—1894 гг.). Отношения с ней отражены писателем в автобиографическом рассказе «О первой любви» (1923).

[16] Ромась был арестован в апреле 1894 г.

[17] См. примеч. 20 на стр. 552.

[18] Короленко имел в виду неудачную попытку Н. М. Астырева распространить среди крестьян в 1892 «голодном» году антиправительственную прокламацию. Прокламация не встретила сочувствия крестьян, Астырев же, выданный провокатором, был арестован.

[19] Имеется в виду Андрей Иванович — персонаж из очерка Короленко «За иконой» (1887).

[20] Полное название рассказа «Дед Архип и Ленька».

[21] В статье «О том, как я учился писать» (1928) Горький вспоминал: «Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к «ритмической» прозе и, спустя еще лет пять, похвалив мой рассказ «Дед Архип», сказал, что напрасно я сдобрил рассказ «чем-то похожим на стихи» (М. Горький, О литературе. Литературно-критические статьи, «Советский писатель», М. 1953, стр. 326).

[22] В больницу г. Николаева Горький попал в июле 1891 г., избитый крестьянами села Кандыбовка Херсонской губ. за попытку противодействовать публичному истязанию женщины (см. автобиографический рассказ «Вывод», 1895). «Челкаш» был написан в 1894 г.

[23] Нижегородскому присяжному поверенному А. И. Ланину, у которого М. Горький служил письмоводителем в 1889, 1891, а затем в 1892—1894 гг.

[24] По поводу этого А. Е. Богданович писал Горькому в 1925 г.: «Мне жаль, что вы не так передали впечатление Короленко от «Челкаша», как передавали когда-то (в 1896 г.) по свежей памяти. Вы передавали так. По прочтении Короленко присылает вам записку такого именно содержания, как та, что приведена по поводу «Изергиль». Когда Вы пришли, он, взяв со стола рукопись, только и сказал, закрыв глаза: «Хорошо». Согласитесь, что это лучше. Жаль мне зажмуренных глаз. Пропала картина».

Горький ответил А. Е. Богдановичу: «По поводу указаний Ваших на некоторые неточности имею сказать: в датах всегда неточен по моему отвращению к цифрам. И никогда не помню чисел. О закрытых глазах В. Г. Короленко не написал потому, что это лестно для меня и «Челкаша», слишком лестно...» (В кн.: «А. М. Горький и В. Г. Короленко. Переписка, статьи, высказывания», Гослитиздат, М. 1957, стр. 193).

[25] «Челкаш» был напечатан в РБ, 1895, № 6, стр. 5—35.

[26] С октября 1894 г. Горький при посредничестве Короленко стал сотрудничать в «Самарской газете», а в конце февраля 1895 г. он

переехал из Нижнего-Новгорода в Самару. Сотрудничество Горького в «Самарской газете» продолжалось до середины мая 1896 г.

[27] Переписка с Короленко за время пребывания Горького в Самаре опубликована в кн.: «А. М. Горький и В. Г. Короленко. Переписка, статьи, высказывания», Гослитиздат, М. 1957, стр. 26—53.

[28] Архиереем в Самаре, начиная с 1893 г., был епископ Гурий.

[29] О поэте Скукине Горький писал в фельетоне «Между прочим», напечатанном в «Самарской газете», 1895, № 161. В своих воспоминаниях под именем поэта Скукина Горький ошибочно объединил два лица: неизвестного самарского поэта, «воспевавшего городские власти», и пензенского поэта К. В. Потемкина, писавшего под псевдонимом «Скукин». См. об этом заметку А. Храбровицкого «Выступления Горького о Пензе», помещенную в «Пензенской правде», 1956, № 183.

[30] Письмо Короленко к Горькому, явившееся откликом на заметку о Скукине, датировано 7 августа 1895 г. Оно напечатано по оттиску в копировальной книге писателя в Соч., т. 10, стр. 233—235.

[31] Горький был арестован в Нижнем-Новгороде в ночь с 6 на 7 мая 1898 г. Поводом для ареста было раскрытие в Тифлисе социал-демократической организации, к которой Горький был близок в 1891—1892 гг. Писатель обвинялся «в принадлежности к образовавшемуся в Тифлисе кружку лиц, занимавшихся преступной пропагандой среди рабочих».

[32] Имеется в виду архиепископ белорусский Георгий Конисский. Речь Екатерине II была произнесена им 19 января 1787 г. в г. Мстиславле. Она начиналась так: «Пресветлейшая императрица! Оставим астрономам доказывать, что земля вкруг солнца обращается...» (см. «Собрание сочинений Георгия Конисского, архиепископа белорусского», часть первая, СПб. 1835, стр. 278).

[33] Неточно: Горький виделся с Короленко 8 июня 1896 г. в Нижнем-Новгороде, где Короленко был проездом из Мамадыша в Петербург (после разбирательства «Мултанского дела»).

[34] Горький впервые приехал в Петербург 29 сентября 1899 г.

[35] По евангельскому преданию, Фома не поверил смерти Иисуса, распятого на кресте, пока не прикоснулся к его ранам, за что и получил прозвище Неверного.

[36] Короленко переселился из Нижнего-Новгорода в Петербург в 1896 г. и прожил там до июня 1900 г. Горький был у него 8 октября 1899 г. Об этом посещении Короленко писал С. Д. Протопопову: «Здесь теперь Пешков, — пожинает лавры. Был сегодня у меня, разговорились мы по душе, вспомнили старину. Он положительно славный малый, и я опять с ним по-старому сошелся» («А. М. Горький и В. Г. Короленко. Переписка, статьи, высказывания», Гослитиздат, М. 1957, стр. 206.)

[37] Общепринятое написание — Мултанское дело.

[38] Речь идет о вечере в связи с 10-летием со дня смерти Н. Г. Чернышевского. Он состоялся 17 октября 1899 г. Горький выступал на этом вечере.

[39] 20 ноября 1904 г. в Петербурге Горький выступал на банкете по поводу 40-летия судебной реформы, на котором председательствовал Короленко.

[40] Цитируемое письмо ни в опубликованных, ни в архивных материалах не найдено.

[41] Приведенные слова ни в статьях, ни в письмах Короленко не найдены.

[42] Очерк «На затмении» был впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1887, № 224, 16 августа. В этом тексте цитируемые Горьким стихи отсутствуют. Короленко включил их в 1892 г., перерабатывая произведение для второго тома «Очерков и рассказов».

В письме к Ф. Д. Батюшкову от 18 ноября 1904 г., отвечая на вопрос, откуда взяты цитируемые строки, Короленко писал: «Сам я, как и говорю в рассказе, действительно не помню, откуда залетело в мою память это двустишие. Кто-то мне говорил, что это из какого-то стихотворного перевода «Слова о полку Игореве», но я в этом не уверен» (В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922, стр. 273). Ни среди произведений Н. В. Берга, ни среди стихотворных переводов «Слова о полку Игореве», в частности в переводе «Плача Ярославны» Н. В. Берга, данные строки не обнаружены.

С. ПРОТОПОПОВ
ЗАМЕТКИ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается с сокращениями по тексту книги: «Нижегородский сборник», «Знание», СПб. 1905, стр. 255—275.

Протопопов Сергей Дмитриевич (1861—1933) — журналист, горный инженер и юрист, сотрудник журнала «Русское богатство».

[1] В 1891—1892 гг. в Среднем Поволжье разразился голод. Особенных размеров голод достиг в Лукояновском уезде Нижегородской губернии. Но администрация уезда и местные реакционно настроенные дворяне отрицали самый факт голода и отказались от государственной ссуды. В конце февраля 1892 г. В. Г. Короленко выехал в Лукояновский уезд, 28 марта он сделал доклад о результатах обследования в Нижегородском благотворительном комитете, а 29 марта на заседании продовольственной комиссии. Доклад приложен к журналу заседания Нижегородского губернского благотворительного комитета 28 марта; опубликован в газете «Русские ведомости», 1892, № 93, 4 апреля, № 97, 10 апреля под названием «Поездка в Лукояновский уезд Нижегородской губ.».

Короленко вместе с Н. Ф. Анненским разработал устав губернской благотворительной комиссии, который был положен в основу деятельности всех губернских комитетов помощи голодающим. Добившись увеличения размера ссуды и возможности организовать помощь голодающим, писатель вновь выехал в Лукояновский уезд. Когда стало известно, что Короленко сам организует помощь крестьянам, на его имя стали поступать средства со всех концов страны. Короленко открыл сорок пять столовых в двадцати двух деревнях. Свои впечатления от поездки по Лукояновскому уезду Владимир Галактионович заносил в записную книжку и по следам живых наблюдений публиковал в газете «Русские ведомости» очерки «По Нижегородскому краю» (1892—1893). В дополненном виде очерки были напечатаны под названием «В голодный год» в РБ (1893, № 2, 3, 5, 7), а в ноябре 1893 г. вышли отдельной книгой (ред. журн. РБ., СПб. 1894, 376 стр.). По организации помощи голодавшим Короленко работал до августа 1892 г.

[2] В рукописном отделе ЛБ хранится оттиск публикуемых воспоминаний С. Д. Протопопова с пометами на полях, сделанными рукой В. Г. Короленко. К этому месту писатель внес уточнение: «Я зашел к Вам, на время приехавши в Нижний уже из Лукоянова. После этого Вы пришли ко мне».

[3] Из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828).

[4] Имеется в виду пребывание Короленко в Березовских Починках. См. примеч. 11 на стр. 548. Здесь Короленко сделал помету: «Починки не селение, а отдельные избы, разбросанные в расстоянии 1, 2, 3, и даже 6 верст друг от друга в лесах и верховьях Камы. Начал я шить сапоги в Глазове». Здесь и далее он исправил «Починок» на «Починки», эта поправка нами внесена в текст воспоминаний.

[5] К этой фразе Короленко сделал примечание: «Это уже после в Амге. В Починках заказов было мало. Носят лапти».

[6] См. примеч. 3 на стр. 550.

[7] См. там же.

[8] Напечатан в журн. «Русская мысль», 1885, № 10.

[9] К этой фразе Короленко сделал примечание: «Это камеры Тобольского острога. Их две: одна к рассказу «В подследственном отделении».

[10] Здесь помета Короленко: «Не совсем так: когда я писал (ночью) «Ат-Даван», то при описании реки и дальнего берега испытал зрит. галлюцинацию, под посл. строкой на бумаге, во всю ширину листа я увидел полосой, точно нарисованный красками пейзаж: туманную полосу горного берега, при слабом лунном освещении».

[11] Письма Короленко к С. Д. Протопопову хранятся в ЦГАЛИ.

[12] О защите мулатских вотяков см. воспоминания А. Н. Баранова и примеч. к ним.

[13] Здесь помета Короленко: «И еще «пост. корреспондентом» («Новостей») состоял Б. Заходер».

[14] О растратах, совершенных членами правления акционерного пароходного общества «Дружина», Короленко писал в газетах «Волжский вестник», 1890, № 232—303 и «Русские ведомости», 1890, № 260, 262, 285 (анонимно или за подписью «Маленький человек»). О хищениях в Александровском банке см. примеч. 14 на стр. 560.

[15] Имеется в виду рассказ «Прохор и студенты», опубликованный в журн. «Русская мысль», 1887, № 1—2.

[16] Короленко переехал из Нижнего-Новгорода в Петербург в январе 1896 г.

[17] Цитируется письмо к автору воспоминаний. Другая часть письма опубликована в кн.: «В. Г. Короленко. Жизнь и творчество». Сборник статей под ред. А. Б. Петрищева. «Мысль», Пг. 1922, стр. 96—97. Речь идет об очерке С. Д. Протопопова «По Семёновским скитам».

[18] Цитируемое письмо адресовано автору воспоминаний. Правильная дата: 27—28 апреля 1903 г. Полностью опубликовано в Соч., т. 10, стр. 360—362.

С. ПРОТОПОПОВ

О НИЖЕГОРОДСКОМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ В. Г. КОРОЛЕНКО

(январь 1885 г. — январь 1896 г.)

Печатается с сокращениями по тексту книги: «В. Г. Короленко. Жизнь и творчество». Сборник статей под ред. А. Б. Петрищева, «Мысль», Пб. 1922, стр. 40—60.

О С. Д. Протопопове см. на стр. 566.

[1] Письмо опубликовано в журнале «Былое», 1922, № 20, стр. 23.

[2] В середине января 1896 г. Письмо опубликовано в РБ, 1910, № 1, стр. 236—237.

[3] Из писем от 29 января и 3 декабря 1896 г. и 30 января 1898 г. Отрывки из них опубликованы в журнале «Былое», 1922, № 20, стр. 23.

[4] Из очерков «В пустынных местах. Из поездки по Ветлуге и Керженцу» (Соч., т. 3, стр. 113, 114).

[5] Из речи Короленко 4 января 1896 г. на прощальном чествовании при отъезде писателя из Нижнего-Новгорода в Петербург. См. «Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко», Н.-Новг., изд. Нижегородского губсоюза, 1923, стр. 228—231. Первоначально — «Нижегородский листок», 1896, № 5, 6 января, и «Волжский вестник», 1896, № 10, 12 января.

[6] Из статьи американского корреспондента «One of the Czar's victims» («Одна из жертв царя»), помещенной в газете «The New York Times», 1893, 17 августа. Перевод см. в статье Ф. Покровского «В. Г. Короленко под надзором полиции» («Былое», 1918, № 13, кн. 7, стр. 16—17).

[7] Кроме «Сна Макара» («Русская мысль», 1885, № 3), в 80-х гг. Короленко опубликовал следующие произведения: «В ночь под светлый праздник», «Старый звонарь», «Глушь», «Очерки сибирского туриста» («Убивец»), «В дурном обществе», «Соколинец», «На станке», «Лес шумит», «Слепой музыкант», «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды», «Море» («Мгновение») и ряд других. В 1887 г. вышла первая книга «Очерков и рассказов» Короленко, многократно затем переиздававшаяся.

[8] Донесение генерала Познанского 1886 г. опубликовано в статье Ф. Покровского («Былое», 1918, № 13, кн. 7, стр. 5—6).

[9] О жалобах Короленко на самоуправство жандармов см. в указанной выше статье Ф. Покровского, стр. 23—25. В дневнике от 20 июня 1893 г. Короленко описал свое объяснение с начальником нижегородского жандармского управления генералом И. Н. Познанским по поводу поведения жандармов (ПСС. Дневник, т. II, стр. 25—28).

[10] В журнале «Русская мысль» Короленко сотрудничал с 1885 по 1893 г. включительно.

[11] Записка И. Н. Дурново от 22 декабря 1889 г. и резолюция на ней царя опубликованы в статье Ф. Покровского («Былое», 1918, № 13, кн. 7, стр. 8—9).

[12] Цитируется докладная записка нижегородского губернатора Н. М. Баранова министру внутренних дел от апреля 1892 г. (см. там же, стр. 10—11).

[13] См. примеч. 1 на стр. 566.

[14] О статьях В. П. Мещерского, обвинявшего Н. М. Баранова в том, что он «выдумал голод» в Нижегородской губернии, Н. М. Баранов говорил на заседании Нижегородской губернской продовольственной комиссии 29 марта 1892 г. Но слова ген. Баранова о «Гражданине», приведенные автором воспоминаний, в протокол собрания не занесены. О статьях Мещерского по поводу голода и о финале «лукояновской истории» Короленко писал в очерках «В голодный год» (гл. XVIII) (Соч., т. 9, стр. 311—314).

[15] П. И. Мельников (Андрей Печерский) описал быт купцов-раскольников в романах «В лесах» (1871—1875) и «На горах» (1875—1881). В 40—50-х гг., служа чиновником особых поручений по борьбе с расколом при нижегородском губернаторе, а затем при

министре внутренних дел, приобрел известность жестокостью мер, применявшихся им по отношению к раскольникам.

[16] Кроме произведений, указанных в примеч. 7 на стр. 569, в нижегородский период были опубликованы: «За иконой», «На заводе», «На затмение», «По пути», «С двух сторон», «Ночью», «На Волге», «Птицы небесные», «В пустынных местах», «Иом-Кипур», «Тени», «Ат-Даван», «Река играет», «Парадокс» и др.

[17] Имеются в виду «Павловские очерки», опубликованные в журн. «Русская мысль», 1890, № 9—11.

[18] Вероятно, имеется в виду высказывание А. П. Чехова в письме к А. Н. Плещееву от 5 февраля 1888 г.: «Это мой любимый из современных писателей. Краски его колоритны и густы, язык безупречен, хотя местами и изыскан, образы благородны» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. XIV, Гослитиздат, М. 1949, стр. 32). Д. С. Мережковский один из первых дал развернутую положительную оценку раннего творчества Короленко. См. его статью «Рассказы Вл. Короленко» («Северный вестник», 1889, № 5, отд. II, стр. 1—29). Отмечая простоту стиля Короленко, Мережковский, однако, нашел, что повести «Слепой музыкант» и «В дурном обществе» написаны в «утомительно-приподнятом стиле». Оценки Чернышевского см. в статье Т. Г. Морозовой «Чернышевский о В. Г. Короленко» (Известия АН СССР, отд. литер. и языка, 1953, т. XII, вып. 3, стр. 265—274).

[19] И. Г. Короленко составил лишь именной указатель к «Всеобщей истории» Г. Вебера, которую перевел Н. Г. Чернышевский.

[20] Имеется в виду градоначальник Сомневающийся, из главы седьмой сатирического цикла М. Е. Салтыкова-Щедрина «Помпадуры и помпадурши» (1863—1874).

[21] См. примеч. 14 на стр. 560.

[22] Манифест от 29 апреля 1881 г.

[23] Письмо к А. И. Деспот-Зеиовичу 3 декабря 1893 г. написано Короленко в связи с протестом автора мемуаров, в то время нижегородского судебного следователя, против безнаказанности нижегородского предводителя дворянства и председателя уездной земской управы М. П. Андреева. Подробно о пребывании в Петербурге по делу о своей жалобе С. Д. Протопопов рассказал в очерке «Из прошлого гор. Нижнего. История одного хищения» («Нижегородский листок», 1905, № 69, 71, 76; 14, 16, 21 марта). Здесь же (в № 71) и в РБ, 1905, № 2 опубликовано письмо Короленко к А. И. Деспот-Зеновичу.

[24] Из доклада Короленко в Нижегородском благотворительном комитете 28 марта 1892 г. (см. примеч. 1 на стр. 566).

[25] Цитируется «Особое мнение В. Короленко» на собрании Нижегородской губернской продовольственной комиссии 27 мая 1892 года (см. Соч., т. 9, стр. 331).

[26] Из доклада Короленко 28 марта 1892 г.

[27] Из речи Короленко на прощальном обеде при отъезде из Нижнего-Новгорода. См. примеч. 5 на стр. 568.

[28] И. А. Жуков, а затем его сын С. И. Жуков были издателями-редакторами газеты «Нижегородский биржевой листок» (1875—1891). С 1892 г. газета получила название «Волгарь». М. М. Милов в 1893—1895 гг. издавал «Нижегородский листок объявлений и справок», с 1895 по 1917 г. выходивший под названием «Нижегородский листок».

[29] Из письма Короленко к С. Д. Протопопову от 27—28 апреля 1903 г. (см. Соч., т. 10, стр. 361).

[30] Хлопоты о газете, которую предполагали назвать «Волжское слово», велись в мае — июне 1894 г. Переписка главного управления по делам печати с департаментом полиции по вопросу об утверждении Короленко редактором и донесения в департамент полиции Н. М. Баранова и И. Н. Познанского опубликованы в статье Ф. Покровского («Былое», 1918, № 13, кн. 7, стр. 25—29). Подробней о своих хлопотах по поводу газеты С. Д. Протопопов рассказал в воспоминаниях «У начальства по газетному делу» («Нижегородский листок», 1907, № 98, 99; 26 и 27 апреля). См. также письма Короленко к жене в Москву от 14 и 16 мая 1894 г. («Избранные письма», т. II, «Мир», М. 1932, стр. 79—83).

[31] Короленко познакомился с Е. С. Ивановской в 1875 г., будучи студентом Петровской академии, на одной из студенческих сходок в Москве.

[32] Ивановский Василий Семенович.

[33] Ивановская-Волошенко Прасковья Семеновна.

[34] Из письма Короленко к С. Д. Протопопову от 3 декабря 1896 г. См. эпиграф к воспоминаниям.

[35] См. «Былое», 1918, № 13, кн. 7, стр. 10.

[36] См. там же, стр. 29.

[37] Французский офицер еврей А. Дрейфус в 1894 г. был клеветнически обвинен реакционной военщиной в шпионаже и приговорен к пожизненной каторге. В защиту Дрейфуса выступили Э. Золя, А. Франс и другие. Под давлением общественного мнения Дрейфус был помилован, а в 1906 г. реабилитирован.

[38] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856).

[39] Персонаж рассказа Короленко «Старый звонарь» (1885).

[40] Имеется в виду письмо Короленко к С. Д. Протопопову от 16/29 июля 1920 г., в котором он писал: «Порой свожу итоги, огля-

дываюсь назад. Пересматриваю старые записные книжки и нахожу в них много «фрагментов» задуманных когда-то работ, по тем или другим причинам не доведенных до конца... Вижу, что мог бы сделать много больше, если бы не разбрасывался между чистой беллетристикой, публицистикой и практическими предприятиями, вроде мултанского дела или помощи голодающим. Но — ничуть об этом не жалею. Во-первых, иначе не мог. Какое-нибудь дело Бейлиса совершенно выбивало меня из колеи... Вообще я не раскаиваюсь ни в чем... (Соч., т. 10, стр. 578).

[41] Обед состоялся 4 января 1896 г. Содержание речей передано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 5, 6 января, стр. 2—3. См. также: «Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко», Н.-Новг., изд. Нижегородского губсоюза, 1923, стр. 227—231.

[42] Неточная цитата из письма директора департамента полиции к секретному агенту в Америке В. Н. Сергееву. О слежке за Короленко сообщалось и в письме к русскому консулу А. Е. Оларовскому (Ф. Покровский, В. Г. Короленко под наздором полиции, журн. «Былое», 1918, № 13, кн. 7, стр. 13).

[43] Донесения Сергеева опубликованы там же, стр. 13—19.

[44] Короленко выехал из Нижнего 22 июня 1893 г.; 29 октября того же года вернулся обратно.

[45] Известие о смерти дочери Елены Короленко получил не в Чикаго, а на обратном пути в Россию в Париже 14/26 сентября 1893 г.

[46] «Слепой музыкант» (1890), «В дурном обществе» (1891), «С двух сторон» (1891).

[47] «Слепой музыкант» впервые был издан на английском языке в 1890 г. и вышел одновременно в нескольких переводах: Алины Делано в Бостоне (изд-во Little Brown) и С. М. Степняка-Кравчинского в Нью-Йорке (изд-во Lovel Company) и в Лондоне (изд-во Ward and Downey).

[48] Впечатления Короленко от пребывания в Англии отражены в его очерках «Драка в доме», «В борьбе с дьяволом», «В чужой стороне», «На Урании (Еще воспоминание о Лондоне)» и др. (см. ПСС, тт. XVII и XVIII).

[49] Кроме статьи в «The New York Times» (см. примеч. 6 на стр. 569), сообщения о приезде Короленко в Америку появились в газетах «New York Herald», «Tribune», «World», еженедельнике «Speaker» и др.

[50] Впечатления от пребывания в Америке нашли также отражение в очерках Короленко «Фабрика смерти», «Русские на Чикагском перекрестке» и в незаконченной повести «Софрон Иванович».

[51] Заметки писателя о художественной выставке см. в ПСС. Дневник т. II, стр. 104—111, 113—115.

[52] По возвращении в Россию Короленко был вызван для объяснений в департамент полиции в Петербург.

[53] Цитируемое письмо не опубликовано.

[54] Имеется в виду часть четвертая книги третьей.

[55] 21 мая 1919 г. ВЦИК утвердил «Положение», по которому в целях «создания в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике единого государственного аппарата печатного слова» все издательства, в том числе кооперативные, соединялись в «единое государственное издательство» («О партийной и советской печати». Сборник документов. «Правда», М. 1954, стр. 213).

[56] К работе над четвертой книгой «Истории моего современника» Короленко приступил в конце 1920 г. Последние страницы ИМС написаны 16 декабря 1921 г. — за девять дней до смерти. Произведение осталось незаконченным. Четвертая книга (последняя) содержит описание пути Короленко в Якутскую область, его жизни в Амге и возвращения из ссылки в Европейскую Россию. Воспоминания о нижегородском периоде жизни остались ненаписанными.

Третья книга ИМС вышла в 1921 г. в изд. «Задруга». Четвертая книга первоначально была напечатана в журн. «Голос минувшего» (1922) — после смерти писателя и в том же году вышла отдельной книгой в изд-ве «Задруга».

[57] Из выступления Короленко на прощальном обеде 4 января 1896 г. (см. «Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко», изд. Нижегородского губсоюза, Н.-Новг., 1923, стр. 230).

А. Д. ГРИНЕВИЦКАЯ

НА БЕЛЕЦКОМ ХУТОРЕ

(По личным воспоминаниям)

Печатается с сокращениями по рукописи, хранящейся у дочери автора — А. С. Сулимовой. Рукопись представляет собой позднейшую переработку — в 1935—1945 гг. — воспоминаний, опубликованных под названием «Первая встреча» в кн.: «Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко», изд. Нижегородского губсоюза, Н.-Новг., 1923, стр. 102—109.

Гриневицкая Александра Дмитриевна, урожденная Тихонравова (1877—1949) — общественная деятельница Нижнего-Новгорода в 90—900-х гг. С 1896 по 1906 г. заведовала конторой «Нижегородского листка», затем служила в земской управе. После Октябрьской революции работала в учреждениях Нижнего-Новгорода.

[1] Из главы IV очерков «В голодный год» (См. Соч., т. 9, стр. 152, 153). О работе Короленко по организации помощи голодающим см. примеч. 1 на стр. 566.

[2] См. воспоминания С. Д. Протопопова, стр. 178 и 186—188.

[3] Из главы XIII очерков «В голодный год», Соч., т. 9, стр. 248.

[4] Здесь речь идет об аресте и высылке Короленко не из Москвы, а из Петербурга в г. Глазов Вятской губернии в 1879 г.

[5] Из письма В. Г. Короленко к жене от 2 мая 1892 г. (Соч., т. 10, стр. 155).

[6] Семья Короленко летом 1892 г. жила в деревне Чиченино (близ пристани Работки) километрах в шестидесяти от Нижнего-Новгорода.

Н. В. КОРОЛЕНКО-ЛЯХОВИЧ

[ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ]

Печатается по тексту черновых записей, сделанных в 1945—1950 гг. К печати подготовлены С. В. Короленко, со слов «В Петербурге я заболела» — А. В. Храбровицким. Автограф хранится в ЛБ.

Короленко Наталья Владимировна (по мужу Ляхович, 1888—1950) — младшая дочь писателя, литературный работник.

[1] Очевидно, здесь объединены события 1892 и 1893 гг. Наталья Владимировна тяжело болела воспалением легких осенью 1892 г. и весной 1893 г.

[2] Старшая дочь Короленко — Софья Владимировна.

[3] Очерк «На Волге» опубликован в сборнике «Памяти В. М. Гаршина» (СПб. 1889).

[4] Поездку в Америку Короленко совершил летом 1893 г.

[5] Из дневника от 8 июня, 1 ноября 1893 г. и 16 апреля 1895 г. См. ПСС. Дневник, т. 2, стр. 21 и 171; т. 3, стр. 186.

[6] См. ПСС. Дневник, т. 2, стр. 175—178, 202; т. 3, стр. 180.

[7] На листке 31 декабря в «Записной книжке» 1893 г. См.: ПСС. Дневник, т. 2, стр. 234, примеч. 3.

[8] Над рассказом «Маруся» («Марусина заимка») Короленко усиленно работал в июне — августе 1899 г.

[9] Случай, описанный в рассказе, Короленко наблюдал 30 августа 1898 г.; рассказ «Смиренные» опубликован в РБ, 1899, № 1, стр. 145—163.

[10] Неточная цитата из письма к жене от 30 января 1896 г.; хранится в ЛБ.

[11] Неточная цитата из письма к Н. Ф. Анненскому от 3 ноября 1895 г. См. В. Г. Короленко, Избр. письма, т. 2, «Мир», М. 1932, стр. 107.

[12] В статье «О Николае Федоровиче Анненском» (РБ, 1912, № 8, стр. IV) Короленко приводит слова Н. Ф. Анненского: «Моя

родиna — Офицерская улица города Петербурга» (то же см. в кн.: В. Г. Короленко, Воспоминания о писателях, «Мир», М. 1934, стр. 88).

[13] Из письма от 14 ноября 1895 г.; хранится в ЛБ.

[14] См. примеч. 17 на стр. 579.

[15] Неточно: в 1897 г. (см. настоящее издание, стр. 278).

[16] Впоследствии Н. К. Крупская вспоминала: «В 1898 году — перед ссылкой — я была учительницей и готовила дочку В. Г. — Соню. Она была очень славной девочкой и страшно любила отца» (Письмо от 18/XII — 1926 г. детям трудовой колонии им. В. Г. Короленко. Опубликовано в кн.: В. Г. Короленко, Избранные произведения, Детиздат, М. — Л. 1940, стр. LVIII).

[17] По-видимому, Н. В. Короленко имеет в виду запись: «Тема: (Допустим) соболь обладал чудесной шерстью...» и т. д. на стр. 36—38 «Записной книжки» (1886—1903), хранящейся в ЛБ.

[18] Неточные цитаты из рассказов В. Г. Короленко «Сон Макара» и «Парадокс».

[19] В декабре 1910 г. Короленко приехал на хутор Дубровка, Сердобского уезда, Саратовской губернии к А. С. и С. А. Малышевым и там узнал о зверском избиении урядником и двумя стражниками крестьян соседней деревни Кромщина, ложно обвиненных в краже.

Статья «В успокоенной деревне», в которой писатель обличал «официально-полицейский разбой», появилась в газете «Русские ведомости», 1911, № 27, 4 февраля. Урядник и стражники были преданы суду и приговорены к тюремному заключению.

И. Р. Устинов, который в 1911 г. был пастушонком в деревне Кромщина, в своих неопубликованных воспоминаниях «Короленко в нашем районе» (хранятся в ЛБ) пишет: «...на хуторе и в деревне все от мала до велика знали о его приезде и о том, что он взялся защищать избитых полицией крестьян, что он «стоит за правду...» С не меньшим возбуждением и интересом была встречена и короленковская статья в газете. Она читалась и перечитывалась всюду: в квартирах, в группах, собравшихся на улице... Читали ее, обсуждали и верили, что не все потеряно для народа...» См. также письмо Короленко к крестьянам деревни Кромщина от 17 июля 1911 г. (Соч., т. 10, стр. 466—467).

[20] Начало рассказа опубликовано в кн.: ПСС, т. 22, стр. 19—54; черновые наброски рассказа — там же, стр. 279—308.

[21] Речь, очевидно, идет о столкновении студентов с полицией у Казанского собора в Петербурге в марте 1901 г. См. В. Г. Короленко, Письма, изд. «Время», Пб. 1922, стр. 171—173.

М. Н. ЛОШКАРЕВА

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается впервые по рукописи, представленной для настоящего издания.

Лошкарева Мария Николаевна (род. в 1891 г.) — племянница В. Г. Короленко, дочь его сестры Марии Галактионовны, фельдшерица, в настоящее время пенсионерка.

[1] Короленко ошибся, эпиграф взят им из стихотворения С. М. Городецкого «Оборотень» (сб. «Ярь», СПб. 1907, стр. 55). Автограф стихотворения Короленко хранится в трех вариантах в ЛБ. Один из вариантов опубликован в статье І. Т. Чирко «В. Г. Короленко в боротьбі за реалізм» («Наукові записки Полтавського державного педагогічного Інституту», 1946, т. 6, стр. 54). Отрывок из стихотворения (с некоторыми разночтениями) приводится также в статье В. К-шева «Из записной книжки друга Владимира Галактионовича («Первая годовщина смерти Владимира Галактионовича Короленко». Полтава, 1922, стр. 18). Вошло в сборник «Русская стихотворная пародия», Л. 1960, стр. 612—613.

[2] Короленко смотрел «Бранда» в Художественном театре в Москве 5 декабря 1907 г.

[3] См. примеч. 9 на стр. 574.

[4] Напечатаны под названием «Памяти Антона Павловича Чехова» в РБ, 1904, № 7, отд. II, стр. 212—223. В ПС, т. 1, включены под названием «Антон Павлович Чехов».

[5] Мариной Александровной Македонской.

[6] «К десятилетию смерти Л. Н. Толстого». Опубликовано в ПСС, т. XXIV, стр. 306—314.

[7] Письма Короленко к М. Н. Лошкаревой не опубликованы, хранятся в ЛБ.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД

А. Н. БАРАНОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МУЛТАНСКОМ ДЕЛЕ

Печатается с сокращениями по тексту журнала «Вестник Европы», 1913, № 9, стр. 139—173.

Баранов Александр Николаевич (1864—1936) — беллетрист и публицист, сотрудник газеты «Вятский край», землемер Малмыжского уездного земства Вятской губернии.

[1] Судебное дело (1892—1896) крестьян-удмуртов (вотяков) из села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии, ложно

обвиненных в убийстве нищего с целью принести человеческую жертву языческим богам.

Первое разбирательство дела, происходившее в декабре 1894 г. в г. Малмыже Вятской губернии, закончилось обвинительным приговором. На втором разбирательстве, которое протекало в г. Елабуге в сентябре 1895 г. и снова закончилось обвинительным приговором, Короленко присутствовал в качестве корреспондента.

Чтобы пролить свет истины на это «вопиющее дело», писатель вместе с А. Н. Барановым и В. И. Суходоевым составил и опубликовал в газете «Русские ведомости» полный отчет о «Мултанском деле», вышедший затем отдельным изданием. Кроме того, Короленко написал о «Мултанском деле» ряд статей, которые появились в разных органах печати.

Встав на защиту удмуртов, писатель хотел не только спасти невинно осужденных, но и разоблачить «наши убийственные следственные порядки», а также защитить «всех язычников — инородцев от предубеждения и предрассудка, восстанавливающего против них остальное население» («Избранные письма», «Мир», М. 1932, т. 2, стр. 104, 105).

Статьи Короленко привлекли к «Мултанскому делу» внимание широкой общественности. В защите обвиняемых приняли участие крупные юристы и видные деятели науки.

Третье рассмотрение дела происходило в мае 1896 г. в г. Мамадыше Казанской губернии. Короленко выступил на нем в качестве одного из защитников. Обвинявшимся был вынесен оправдательный приговор.

М. Горький впоследствии писал: «Мултанское жертвоприношение» вотяков — процесс не менее позорный, чем «дело Бейлиса», принял бы еще более мрачный характер, если б В. Г. Короленко не вмешался в этот процесс и не заставил прессу обратить внимание на идиотское мракобесие самодержавной власти» (Собр. соч., т. 25, Гослитиздат, М. 1953, стр. 251).

[2] Письма А. Н. Баранова к Короленко хранятся в ЛБ. Первое из них датировано 30 июля 1895 г.

[3] 6 августа 1895 г. Фотокопия письма хранится в ЦГАЛИ. Отрывки из писем Короленко к А. Н. Баранову опубликованы в статье П. Н. Луппова «Письма В. Г. Короленко о деле мултанских удмуртов» («Кировская правда», 1936, № 94, 22 апреля, стр. 3).

[4] 1895 года.

[5] Письмо от 25 сентября 1895 г. Опубликовано в кн.: В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 2, «Мир», М. 1932, стр. 85.

[6] Здесь, как и в дальнейшем, фамилии упоминаемых автором лиц раскрыты на основании книги: «Дело мултанских вотяков, об-

винявшихся в принесении человеческих жертв языческим богам». Сост. А. Н. Барановым, В. Г. Короленко и В. И. Суходоевым, под ред. и с примеч. В. Г. Короленко, изд. «Русских ведомостей», М. 1896, XVI — 228 стр.

[7] Пристав Шмелев насильно приводил обвиняемых к присяге перед чучелом медведя, считая вотяков язычниками.

[8] Имеются в виду: выступление Е. Т. Соловьева на IV археологическом съезде в Казани в 1877 г. (см.: «Труды четвертого археологического съезда в России», т. 1, Казань, тип. импер. Ун-та 1884, стр. CVIII) и очерк А. А. Фукс «Поездка к вотякам» (Казань, Губернская типография, 1844).

[9] Об этом Короленко писал 3 октября 1895 г. матери и сестре: «Мы трое писали три дня, не переставая. У меня отекли пальцы и сделался пузырь от карандаша, — зато всякий вопрос и всякий ответ занесены. После этого еще три дня мы считывали наши записи, взаимно восполняя пропуски — и теперь имеем полную до мелочей картину» (В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 2, «Мир», М. 1932, стр. 94).

Отчет был полностью напечатан в газете «Русские ведомости» (1895, № 288—290, 292—296, 299—301, 314, октябрь — ноябрь). В феврале 1896 г. отчет вышел отдельной книгой: «Дело мултанских вотяков, обвинявшихся в принесении человеческой жертвы языческим богам».

[10] Точное название работы П. М. Богаевского — «Мултанское «моление» вотяков в свете этнографических данных» (М. 1896). Зарисовки тропы и шалаша, сделанные Короленко, опубликованы также в Соч., т. 9, стр. 360—361. О поездке на место, где был найден труп, Короленко рассказал в письме к матери и сестре от 6 октября 1895 г. (см. Соч., т. 10, стр. 238—239).

[11] В 1895—1896 гг. о Мултанском деле Короленко написал восемь статей, которые были опубликованы в «Русских ведомостях», «Русском богатстве» и других органах печати: «К отчету о мултанском жертвоприношении», «Предисловие к отчету о мултанском деле», «Мултанское жертвоприношение», «Мой ответ г-ну Крылову», «Приносятся ли вотяками человеческие жертвы?» (Письмо в редакцию «Нового времени»), «Решение сената по мултанскому делу», «Дело мултанских вотяков, обвиняемых в принесении человеческой жертвы языческим богам» («Библиографическая заметка»), «Толки печати о мултанском деле». В 1898 г. Короленко опубликовал еще две статьи: «Живучесть предрассудков» (По поводу доклада священника Блинова — «Новые факты из области человеческих жертвоприношений»), «Из Вятского края («Ученый труд» о человеческих жертвоприношениях)». Объединив одним заголовком: «Мултанское

жертвоприношение», Короленко поместил все эти статьи в 4 томе ПС. См. также: Соч., т. 9, стр. 337—392, где опубликованы пять из названных статей и отрывок «Они судили мултанцев».

[12] Доклад о Мултанском деле в Антропологическом обществе при Военио-медицинской академии Короленко делал 13 февраля 1896 г. О том, как прошел доклад, писатель сообщал 14 февраля жене: «Ты не можешь представить себе, что это было. Аудитория очеиь высокая, скамьи до потолка и два узеньких входа... Все это набито битком до такой степени, что публика толпится еще и в коридоре направо, а на скамьях амфитеатром — всё головы, головы, — большинство студенты, но много частных лиц и дам. Свой доклад я написал в тот же день... но с половины бросил рукопись и уже просто говорил... Встречен я был радушно, долгими аплодисментами, а после доклада что и было — так это страсть. Студенты и публика провожали аплодисментами и в коридорах и даже на улице» (Соч., т. 10, стр. 247). Автограф доклада хранится в ЛБ. Опубликован в кн.: В. Г. Короленко, Сборник произведений, Удмуртиздат, Ижевск, 1938, стр. 274—303.

[13] Статьи А. Н. Баранова «По поводу отчета о мултанском деле» были напечатаны в газете «Камско-Волжский край» (Казань), 1896, № 66, 67.

[14] «Открытое письмо В. М. Михайловскому, г. товарищу председателя этнографического отдела императорского Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии» проф. И. Н. Смирнова было опубликовано в газ. «Волжский вестник», 1896, № 73. Ответ В. М. Михайловского помещен в этой же газете, 1896, № 99.

[15] Кассационное заключение А. Ф. Кони «По делу о мултанском жертвоприношении» см. в его книге: «Избранные произведения», т. 1, Госюрнздат, М. 1959, стр. 609—625.

[16] Это имя установлено по отчету о третьем разбирательстве дела («Камско-Волжский край», 1896, № 145).

[17] Несколько набросков речи на Мултанском процессе и неполная ее стенограмма хранятся в ЛБ. Краткое изложение ее Короленко дал в письме к Ф. Д. Батюшкову от 6 апреля 1904 г. См.: В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 2, «Мнр», М. 1932, стр. 209—212. То же в кн.: Ф. Д. Батюшков, В. Г. Короленко, как человек и писатель, «Задруга», М. 1922, стр. 118—120.

[18] После революции село Старый Мултан переименовано в село Короленко (Удмуртская АССР). Один нз привлекавшихся по Мултанскому делу удмурт — Дмитрий Степанович Зорин, доживший до советского времени, вспоминает о Короленко с чувством глу-

бокой благодарности: «...на каторгу меня на десять годов приговорили, но не послали: тогда за нас заступились хорошие люди. Короленко заступился. Я его знал хорошо. Спасибо ему!» (См.: Н. Васенов, Обновленный край, Кировск. обл. изд-во, 1937, стр. 91). См. также статью Б. Гизатуллина «Потомки деда Акмара» (о селе Короленко и о его людях), опубликованную в «Литературной газете», 1958, № 32, 15 III, стр. 4.

[19] Письмо напечатано в Полном собр. соч. Л. Н. Толстого (т. 69, Гослитиздат, М. 1954, стр. 103) по машинописной копии — с неточной датой и с незначительными отличиями от текста, приводимого А. Н. Барановым.

Ф. Д. БАТЮШКОВ

ИЗ КНИГИ «В. Г. КОРОЛЕНКО, КАК ЧЕЛОВЕК И ПИСАТЕЛЬ»

Печатаются отрывки из книги: Ф. Д. Батюшков, В. Г. Короленко, как человек и писатель, «Задруга», М. 1922, стр. 63—84, 88—91, 94—98, 113—114.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920) — историк литературы, филолог и литературный критик либерального направления. Был приват-доцентом Петербургского университета, который покинул в знак протеста против борьбы министра народного просвещения Н. П. Боголепова со студенческим революционным движением. Редактировал русский отдел журнала «Космополис» (1897—1898). В 1902—1906 гг. был редактором журнала «Мир божий». После Октябрьской революции работал в издательстве «Всемирная литература».

[1] Короленко переехал в Петербург из Нижнего-Новгорода в январе 1896 г.

[2] В 1896 г., во время пребывания Короленко в Мамадыше на последнем разбирательстве «Мултанского дела», умерла младшая дочь писателя — восьмимесячная Ольга. О «Мултанском деле» — см. примеч. 1 на стр. 576—577.

[3] Имеется в виду «Союз взаимопомощи русских писателей», организованный в 1896 г. в Петербурге. При Союзе существовали суд чести и юридическая комиссия, в состав которых входил Короленко. Союз был закрыт в 1901 г. распоряжением министра внутренних дел.

[4] Знакомство произошло, очевидно, осенью (в ноябре) 1897 г.

[5] Это и цитируемые ниже письма полностью опубликованы в кн.: В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922. Данное письмо в этом издании датируется весной 1898 г. Не все письма Ф. Д. Ба-

тюшков цитирует в своих воспоминаниях с полной точностью. Нами в них исправлены только явные опечатки.

В 1898 г. для РБ был переведен неизвестный нам рассказ Лилиан Бэлл. Короленко отверг рассказ, найдя, что его содержание «несколько сентиментально, а главное, фальшиво» (см. письмо к Ф. Д. Батюшкову от 30 ноября 1898 г. в кн.: В. Г. Короленко, Письма. «Время», Пб. 1922, стр. 136).

[6] Революции 1905 г.

[7] Прогрессивность политической позиции журнала переоценена Батюшковым. См. о «Русском богатстве» в указателе имен.

[8] Ф. Д. Батюшков выразился не совсем точно. Короленко с сочувствием относился не к символизму как литературному направлению, а к поэтической символике образов, свойственной как романтической, так и реалистической поэзии. Такая символика присуща, например, стихотворению Короленко в прозе — «Огоньки».

См. высказывание Короленко о символе и символизме в письме к О. Э. Котылевой от 6 мая 1900 г. (в кн.: «В. Г. Короленко о литературе», Гослитиздат, М. 1957, стр. 518).

[9] См. стр. 164—173 наст. изд.

[10] Петра Никитича Ткачева.

[11] Батюшков виделся с Горьким у Короленко 8 октября 1899 г. Этим числом датирована записка В. Г. Короленко Ф. Д. Батюшкову: «...У меня Пешков. Знаю, что и Вы и он будете рады повидаться» (В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922, стр. 142).

[12] Короленко был избран почетным членом Академии наук по разряду изящной словесности 8 января 1900 г.

[13] В очерках «Земли, земли!» (1919), вспоминая о спорах между марксистами и народниками, Короленко излагает эти споры очень близко к тому, что пишет здесь Ф. Д. Батюшков. См.: «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 27—30.

[14] Здесь, вероятно, имеется в виду поездка не в Бугуруслан, а в Арзамас Нижегородской губернии, которую Короленко совершил в 1890 г. На арзамасской горе, за городом, писатель видел своеобразный памятник погибшим участникам народных движений (в том числе пугачевского) в виде маленьких домиков с крестами на крышах и вделанными в стены иконами. Короленко описал их в очерке «Божий городок» и в рассказе «Муза». В Бугуруслане Короленко был в июне 1891 г. по пути в Уфу, куда ездил со специальной целью найти следы пугачевского движения на востоке. См. стр. 102 настоящего издания и примеч. 6 на стр. 556.

[15] Цитируется второй из очерков «Современная самозванщи-

на» — «Самозванцы гражданского ведомства». См. РБ, 1896, № 8, стр. 126. Эти слова исключены писателем при переработке очерков для собрания сочинений в изд. А. Ф. Маркса (1914).

[16] Следует — 21 июня.

[17] Среди уральских казаков-старообрядцев ходила легенда о существовании на Востоке страны Беловодии, «где нет ни расколов, ни обмана, ни грабежей, ни убийства». Уральцы неоднократно посылали своих ходоков на поиски этой сказочной страны.

В 1898 г. уральское казачество было взволновано появлением в Сибири «архиепископа Аркадия», который выдавал себя за выходца из Беловодии. На одном из своих съездов казаки выделили трех человек для нового путешествия на Восток. Выбранные побывали в Константинополе, Малой Азии, Иерусалиме, Индокитае, Китае, Японии и, не найдя никаких признаков страны «истинного благочестия», вернулись на родину.

В 1900 г. два новых ходока от уральских казаков — Е. М. Кудрявцев и Ф. О. Сармин отправились на поиски Беловодии. Они побывали у «архиепископа Аркадия», разыскали его «ставленную грамоту» на «сирийском» языке (свидетельство о получении им сана архиепископа), сняли с нее копию и отправились в Петербург. Здесь они обратились к профессору-санскритологу С. Ф. Ольденбургу, который, внимательно рассмотрев «грамоту», сказал им, что она представляет собой бессмысленный набор индусских и арабских начертаний. Он указал им также на нелепость географических обозначений в сказаниях о Беловодском царстве. Становилось ясно, что Беловодии не существует и что Аркадий — самозванец.

Короленко чрезвычайно заинтересовался искателями легендарной страны. В поселке Январцево ему удалось познакомиться с одним из участников путешествия 1898 г. Г. Т. Хохловым, который вел подробный путевой дневник. Короленко напечатал его в «Записках императорского русского географического общества по отделению этнографии» (1903, т. XXVIII, вып. I), написав к нему предисловие. В РБ, 1904, № 1, отд. 1, стр. 28—29, «Новые книги», писатель поместил сообщение о выходе работы Г. Т. Хохлова и дал краткую ее характеристику.

В очерках «У казаков» (глава V) Короленко подробно описал свои встречи с казаками-путешественниками, а также кратко изложил историю их странствований.

[18] В кн.: В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922, стр. 151—152, письмо датировано 20 июля 1900 г.

[19] Из письма от 7 сентября 1900 г., написанного под Уральском (см. там же, стр. 152—153),

[20] Ивана Босых из очерка Г. И. Успенского «Прошлое Ивана Босых» («Власть земли»).

[21] Речь идет о работе Короленко над романом «Набеглый царь». См. примеч. 15 на стр. 555.

[22] Имеется в виду письмо А. П. Чехова к Батюшкову от 15 декабря 1897 г. (см.: А. П. Чехов, Полн. собр. соч. в 20-ти томах, т. XVII, Гослитиздат, М. 1949, стр. 193).

[23] В кн.: В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922, комментатор датирует это письмо июлем 1901 г. (стр. 179).

[24] Из письма 8 июля 1901 г.

[25] Из письма 16 июня 1902 г.

[26] 1901 года.

[27] Описанный случай произошел 18 августа 1901 г. В записной книжке Короленко под этой датой отмечено: «Приключ. с Ф. Д. Батюшковым в море».

[28] В кн.: В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922, данное письмо правильно датировано 16 июня 1902 г. (стр. 217—218).

[29] Из письма от 16 июня 1902 года (там же, стр. 218).

[30] В кн.: В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922, данное письмо датировано 29 июля 1901 г. (стр. 177).

[31] Имеется в виду автобиография Горького, опубликованная в статье Д. Городецкого «Два портрета», журн. «Семья», 1899, № 36, стр. 7.

[32] В 1902 г. М. Горький был избран почетным членом Академии наук. Короленко принимал участие в этих выборах. Однако по указанию Николая II выборы были отменены на том основании, что Горький находился под следствием. В связи с этим в «Правительственном вестнике» (1902, № 56, 10 марта) от имени Академии наук появилось сообщение об отмене избрания М. Горького. В знак протеста Короленко отказался от звания почетного академика.

[33] Письмо Короленко к Веселовскому от 6 апреля 1902 г. было впервые опубликовано в газете «Искра» (Лондон, 1902, № 21, 1 июня, стр. 16—17). Перепечатано в кн.: Соч., т. 10, стр. 337—339.

[34] Из письма от 29 апреля 1902 г.

[35] Слежка царской охранки за Короленко не прекращалась с момента возвращения писателя из ссылки (см.: Ф. Покровский, В. Г. Короленко под надзором полиции, «Былое», 1918, № 13, кн. 7).

[36] Очерк «Дом № 13» первоначально вышел тремя изданиями за границей (два издания — Лондон, 1903; одно — Берлин, 1904), а затем был напечатан в Харькове (изд. В. И. Рапп, 1905).

[37] Ошибка: Полтава стоит на реке Ворскле.

[38] Из письма от 10 июля 1903 г.

[39] Муж Александры Семеновны Малышевой — Сергей Андреевич Малышев.

[40] 15 июля (по старому стилю) — день рождения Короленко.

[41] Из письма от 17 июля 1903 г.

[42] Из письма от 28 июля 1903 г.

[43] Речь идет о заметке Короленко «К истории одного адреса», напечатанной в газ. «Русские ведомости», 1903, № 153, 5 июня. Заметка касалась прений в Полтавской городской думе при обсуждении адреса по поводу двухсотлетия Петербурга. Иронизируя над реакционными гласными, выступавшими против употребления слов «самоуправление», «самосознание», «самодеятельность» и т. д., Короленко назвал их «людьми, боящимися собственной тени».

[44] Вечер в честь Короленко в Петербурге был устроен Литературным фондом 27 сентября 1903 года. Торжественный обед в ресторане Контана состоялся 14 ноября. Газета «Русское слово» (1903, 15 ноября) писала: «В обеде принимало участие около 500 человек. Телеграмм получено 350, в том числе много и из-за границы... Адрес от студентов Московского университета был покрыт 1250 подписями...»

Короленко хотел уклониться от чествования, но друзья его убедили, что участие в такого рода праздновании — общественный долг писателя. Так, Н. Ф. Анненский писал: «...чествуется не только то или иное лицо, но вместе с тем подчеркиваются симпатии общества к тому кругу идей, к тому делу, которому служит чествуемый... Затем специально к *Вашему* юбилею есть еще одна особенность, его выдвигающая: организуют его 11 периодических изданий Петербурга. Это первый литературный праздник, так устраиваемый. И неужели ж Вы, так горячо всегда ратовавший за единение единомышленной по принципиальным вопросам части журналистики, — расстроите один из первых опытов такого единения!» (ПСС. Дневник, т. IV, стр. 15.)

[45] Точное название очерка «О Глебе Ивановиче Успенском. Черты из личных воспоминаний». Впервые опубликован в РБ, 1902, № 5. Вошел в Соч., т. 8.

[46] Неточная цитата из стихотв. А. С. Пушкина «Поэт» (1827).

[47] Об этом Короленко писал брату Юлиану в августе 1886 г. Ф. Д. Батюшков цитирует это письмо в своей книге «В. Г. Короленко, как человек и писатель» на стр. 15. Полностью письмо опубликовано в ПСС, т. L, стр. 138—139.

К. Л. ЗЕЛИНСКИЙ

А. СЕРАФИМОВИЧ О В. КОРОЛЕНКО

Впервые опубликовано в журн. «Огонек», 1949, № 6, стр. 13, под названием «Кремневый человек». Для настоящего издания воспоминания автором переработаны.

Зелинский Корнелий Люцианович (род. в 1896 г.) — литературовед и критик.

А. С. Серафимович считал Короленко своим «первым учителем» и неоднократно отмечал его влияние на свои произведения. Посылая Короленко книгу своих рассказов, Серафимович писал: «Когда я пятнадцать лет тому назад с университетской скамьи попал на север, я в первый раз прочитал Ваши рассказы целиком в книжке (отдельно я читал и раньше). Они произвели на меня неотразимое впечатление, и это был один из первых толчков, заставивших меня писать» (А. С. Серафимович, Собр. соч., т. 7, Гослитиздат, М. 1960, стр. 386). См. также: А. С. Серафимович, Сборник неопубликованных произведений и материалов, Гослитиздат, М. 1958.

В 1890 г. А. С. Серафимович обратился к Короленко с письмом, в котором просил помощи в издании книги своих рассказов. Короленко живо откликнулся на просьбу молодого, бедствовавшего тогда писателя. В связи с просьбой Серафимовича он писал книгоиздателю Ф. Ф. Павленкову, а затем одному из редакторов газеты «Русские ведомости» М. А. Саблину. В 1901 г. в № 6 РБ Короленко напечатал свою рецензию на сборник «Очерков и рассказов» А. С. Серафимовича (изд. Б. Н. Звонарева, СПб. 1901), в которой высоко оценил его произведения.

Личное знакомство Серафимовича н Короленко произошло, вероятно, в конце 1898 г., когда Серафимович впервые после ссылки был в Петербурге (указано Р. И. Хигеровичем).

Об этой встрече Серафимович впоследствии рассказывал: «Разговаривали со мной в редакции «Русского богатства» Якубович и потом сам Короленко... Особенно тронул меня Короленко. Необычайная мягкость и искренность. И это не было в нем наиграно, а совершенно естественно. Простота не для того, чтобы удивить, как это делали иные «знаменитые писатели», — простота безыскусственная. Я был тронут буквально до глубины души» (А. Серафимович, Собр. соч., т. III, Гослитиздат, М. 1947, стр. 374).

[1] А. С. Серафимович был исключен из литературного общества «Среда» в декабре 1917 г. за то, что принял на себя руководство литературно-художественным отделом «Известий Совета рабочих и солдатских депутатов», Председателем собрания, исключившего Се-

рафимовича из общества «Среда», был деятель народнического движения, брат известного писателя — Ю. А. Бунин. Об этом инциденте см. кн.: Н. Фатов, А. С. Серафимович, Госиздат, М. — Л. 1927, стр. 196—197, и фельетон А. С. Серафимовича «В капле» (А. С. Серафимович, Собр. соч., т. 6, Гослитиздат, М. 1959, стр. 27—31. Первоначально: «Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1917, № 228, 12 декабря).

[2] Имеется в виду статья В. Г. Короленко «Из истории областной печати (Памяти А. С. Гацисского)». Первоначально была напечатана в газете «Русские ведомости», 1894, № 319, 327, 339, а затем вошла, под названием «Литератор-обыватель», в ПС, т. 2, стр. 332—357.

[3] Очевидно, имеются в виду слова Л. Толстого в письме к А. А. Фету от октября 1875 г.: «Страшная вещь наша работа. Кроме нас никто этого не знает» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 62, Гослнтиздат, М. 1953, стр. 209).

В. В. ВЕРЕСАЕВ

В. Г. КОРОЛЕНКО И Н. Ф. АННЕНСКИЙ

Печатается с сокращениями по тексту книги: В. Вересаев, Сочинения, т. 4, Гослитиздат, М. 1948, стр. 387—395. Первоначально опубликовано в журн. «Новый мир», 1926, № 1, стр. 123—129.

Вересаев Викентий Викентьевич (псевдоним Викентия Викентьевича Смидовича, 1867—1945) — писатель, литературовед и переводчик.

[1] В 1915 г. вышли книги четвертая и пятая «Очерков и рассказов» Короленко (изд. ред. журнала «Русское богатство»).

[2] Первым произведением В. В. Вересаева, опубликованным в РБ, была повесть «Без дороги» (1895, № 7, 8). В 1896 г. в № 11 появился его рассказ «На мертвой дороге».

[3] О своем отношении к марксистам Короленко писал своему другу В. Н. Григорьеву: «У нас в редакции я и Николай Федорович составляем некоторый оттенок, стоящий ближе к марксизму. Явление, во всяком случае, живое и интересное... Несомненно, что они вносят свежую струю даже своими увлечениями и уж во всяком случае заставляют многое пересмотреть заново. Есть, однако, и любопытные проявления узкой дикости» (письмо от 27 января 1898 г. См.: Соч., т. 10, стр. 275).

[4] Из некролога Н. В. Водовозова, написанного Короленко (РБ, 1896, № 7, отд. II, стр. 181).

[5] То же, стр. 182.

[6] См. статью А. Б. Дермана «История создания «Ат-Давана»,

напечатанную в журн. «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928, № 4—5, стр. 3—19. Там же опубликована и упомннаемая В. В. Вересаевым корреспонденция об Алабине. Она называлась «Адъютант его превосходительства». Об инциденте с Алабиным (1892) см. переписку Короленко с редактором РБ С. Н. Кривенко в кн.: В. Г. Короленко, Избранные письма, т. II, «Мир», М. 1932, стр. 60—64.

[7] Работа Платона «Апология Сократа» вошла в первый том его сочинений в переводе В. Н. Карпова (СПб. 1863).

[8] Речь идет о старшем сыне Н. Г. Чернышевского — Александре. Его повышенная религиозность была одним из проявлений душевного заболевания.

[9] Вересаев с большой точностью передает этот факт. Речь идет о С. Гагине. В ЛБ хранится его письмо к Короленко от 11 марта 1896 г., в котором он говорил, что только литературный труд мог бы спасти его «от страшной тоски и стремления прекратить свое существование», и просил просмотреть его рукопись до 14 марта. В записной книжке Короленко под датой 18 марта пометка: «В 1-й раз после болезни вышел к автору Гагину, угрожавшему застрелиться»; а в редакторской книге под той же датой запись: «Степная жизнь», Гагин Степ. (грозил самоубийством)». В редакторской книге Короленко 16 октября 1896 г. зарегистрировано еще одно произведение Гагина: «Его просветила Паша».

А. П. ЧАПЫГИН

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ МОЯ»

Печатаются отрывки из кн.: А. Чапыгин, Жизнь моя, изд. 3-е, Изд-во писателей в Ленинграде, Л. 1934, стр. 253, 256—258, 260, 262—263, 282—283.

Чапыгин Алексей Павлович (1870—1937) — писатель. По происхождению крестьянин, с тринадцати лет жил в Петербурге, учился в мастерской вывесок и икон, затем работал в разных мастерских, выполняя тонкие малярные и столярные работы. В 1896 г. был с первым рассказом у Д. В. Григоровича, давшего о рассказе отрицательный отзыв. Приблизительно в это же время в Чапыгине принял участие профессор-музыковед Л. А. Саккетти, который свел его с Н. К. Михайловским. Через Михайловского в 1897 или в первой половине 1898 г. состоялось знакомство А. П. Чапыгина с Короленко.

[1] Бедро у Чапыгина болело после тяжелого ушиба.

[2] Л. А. Саккетти.

[3] В письме от 1 мая 1897 г. из Москвы (по пути в Румынию) Короленко писал Н. К. Михайловскому, отсылая просмотренные рукописи: «...рассказ рабочего... меня очень заинтересовал. Будь я здоров, — я бы непременно повидался с автором и общими усилиями постарался бы сделать из этого литературное произведение. Это нечто очень грубое, сырое, мрачное, — но правдивое и могло бы произвести сильное впечатление. Работы над этим много, — этот камень нужно бы сильно обтесать. Не знаю, в каком состоянии и при каких обстоятельствах вернусь, и потому не могу делать определенных предложений. Но — без обязательств, — хорошо бы еще оставить до моего приезда и личного свидания с автором» (В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922, стр. 59—60). Есть все основания предполагать, что речь в этом письме идет о первом произведении Чапыгина.

[4] Здесь, очевидно, речь идет о ненапечатанном рассказе А. П. Чапыгина «Две свадьбы».

[5] Д. П. Сильчевский жил в Петербурге с 1899 г. Чапыгин, который, по собственному признанию, часто заходил к Короленко, в своих воспоминаниях, очевидно, слил в одно несколько своих посещений писателя.

[6] В клинике ведомства великой княгини.

[7] Вяземская лавра — ночлежка в Петербурге, страшный притон нищеты и разврата; находилась на участке кн. Вяземских в проходном дворе между Фонтанкой и Сенной площадью.

[8] В редакторской книге Короленко 1902 г. зарегистрировано два одновременно присланные Чапыгиным рассказа: «Зрячие» и «Николка Ткач». Короленко записал: «Автор — рабочий-маляр. Большое желание писать, довольно интересные наблюдения о среде П-бурга: бедноты и жуликов. Ужасное изложение. Это уже 3-й и 4-й его рассказы. Некоторое улучшение есть, но все-таки недостаточно».

Благодаря Короленко за поправку рассказов, Чапыгин писал ему 15 октября 1902 г.: «Я только извиняюсь, что отнял у Вас времени на это. Мне бы несказанно хотелось увидеть Вас и поговорить — я так давно не видел Вас!» (ЛБ).

[9] Ошибка: 1903 г.

[10] Одним из редакторов газеты «Биржевые ведомости» в 1903 г. был В. А. Бонди, вероятно, он и вел разговор с автором.

[11] Очерк А. П. Чапыгина «Зрячие» был напечатан в журн. «Новая иллюстрация» (Художественно-литературный журнал, издаваемый при «Биржевых ведомостях»), 1903, № 50, 17 декабря, стр. 398—399.

[12] В редакторских книгах Короленко содержится еще одна

запись, относящаяся к Чапыгину, — отзыв о рассказе «К мужу»: «Поверхностно-этнографическая картинка. Слабо» (24 ноября 1904 г.).

ПОЛТАВСКИЙ ПЕРИОД

Викт. С. ОГОЛЕВЕЦ

ВСТРЕЧИ С В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается впервые по рукописи, представленной в настоящее издание.

Оголевец Виктор Степанович (род. в 1889 г.) — экономист, юрист и художник-любитель. В настоящее время — пенсионер.

[1] См. примеч. 12 на стр. 613.

[2] О выступлении Короленко против Ф. В. Филонова см. примеч. 2 на стр. 590.

[3] Филонова убил Д. Л. Кириллов, которому удалось скрыться за границу.

[4] В неопубликованных воспоминаниях Вл. С. Оголевца, старшего брата автора данных мемуаров, читаем: «Спасение семьи Короленко пришло не со стороны «власти предержащей», а со стороны Полтавского комитета РСДРП. Вооруженные группы рабочих-железнодорожников в течение двух недель патрулировали Мало-Садовую улицу, где жила семья писателя, и охраняли его квартиру.

Однажды в январе 1906 г., не зная, что Владимир Галактионович уехал в Петербург, я отправился к нему. Подойдя к повороту на Мало-Садовую, я был озадачен ее необычайным видом: при полном отсутствии прохожих и полицейских, на углах улицы стояли небольшие группы людей суровой внешности, в черных пальто. Я был остановлен одним из этих людей. Он вежливо и не торопясь проверил мои документы, расспросил, куда и к кому я иду, и поручил двум своим товарищам проводить меня на квартиру Владимира Галактионовича. Провожатые сдали меня с рук на руки открывшему двери в квартире писателя. Здесь я узнал о ситуации, сложившейся для семьи Владимира Галактионовича. Выйдя из его квартиры, я снова продефилировал с двумя рабочими, суровость которых теперь сменилась дружелюбием».

[5] Свои взгляды на изобразительное искусство Короленко развил в статьях «Нижегородская художественная выставка» («Русские ведомости», 1886, № 105, 108, 114); «Две картины» (там же, 1887, № 102) и «Суммистские ребусы» («Полтавский день», 1916, № 865). Две последние статьи вошли в Соч., т. 8. Мысли Короленко об искусстве отражены также в рассказе «Художник Алымов» (1896).

[6] В редакторской книге Короленко под датой 30 марта 1911 г. отмечено: «Красное море (легенда) Викт. Степ. Оголевца». Далее кратко изложено ее содержание и сделана пометка о возвращении рукописи автору.

[7] Речь Короленко на открытии памятника Н. В. Гоголю в с. Б. Сорочинцы напечатана в репортерской передаче в газетах: «Речь», 1911, № 241; «Киевская мысль», № 241 (Вс. Чаговец, «В гостях у Гоголя») и «Нижегородский листок», № 242. В ЛБ хранятся четыре черновых наброска речи писателя.

[8] Вс. Чаговец в своей корреспонденции так передает это место речи Короленко: «...дело братства народов, воссоединения национального духа Украины с национальным духом России, совершенное силою художественного гения, — есть дело великое, бессмертное. И это тоже дело Гоголя...» («Киевская мысль», 1911, № 241, 1 сентября, стр. 2).

[9] Речь Горького была опубликована в кн.: «Жизнь и литературное творчество В. Г. Короленко. Сборник статей и речей к 65-летнему юбилею», «Культура и свобода», Пг. [1919], стр. 52—57. См. стр. 114—118 настоящего сборника.

Е. Д. САКОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается по изданию: «Первая годовщина смерти Владимира Галактионовича Короленко». 25/XII—1921 — 25/XII—1922. Однодневный выпуск (Полтава. Лига спасения детей), 1922, стр. 11—12.

Саков Елевтерий Давидович (1872—1941) — адвокат, гласный Полтавской городской думы.

[1] После царского манифеста 17 октября 1905 г., в котором были обещаны свобода слова, печати, собраний и т. д.

[2] Старший советник Полтавского губернского правления Ф. В. Филонов в конце декабря 1905 г. учинил жестокую расправу с крестьянами села Сорочинцы, где произошли волнения. Кровавая расправа была учинена им также над жителями местечка Устивица и села Кривая Руда. Собрав и тщательно проверив факты, Короленко опубликовал в газ. «Полтавщина» (1906, № 8, 12 января) «Открытое письмо статскому советнику Филонову (к событиям в местечках Сорочинцы и Устивица)». Публикуя письмо, Короленко ставил перед собой задачи: огласить правду, добиться суда над представителями администрации и, по возможности, остановить разливавшуюся все шире «эпидемию жестокости».

18 января Филонов был убит эсером Д. Л. Кирилловым. Черносотенная печать обвинила Короленко в подстрекательстве к убий-

ству и начала травлю писателя. Он получал письма с угрозами убить его и членов его семьи. В день похорон Филонова черносотенная газета «Полтавский вестник» (1906, 20 января) опубликовала подложное «Посмертное письмо Филонова к Короленко». Газета «Полтавщина» была закрыта, ее редактор и Короленко, обвиненные в распространении ложных сведений, привлечены к суду. Но судебное дело было прекращено, так как во время следствия все факты, изложенные Короленко, подтвердились. На все провокационные выпады черносотенной печати Короленко ответил статьей «Сорочинская трагедия (по данным судебного расследования)», опубликованной в РБ, 1907, № 4, вскоре затем вышедшей отдельной книжкой (ред. журн. РБ, СПб. 1907). Вошла в Соч., т. 9.

[3] Из статьи Короленко «Сорочинская трагедия» (см. Соч., т. 9, стр. 470).

[4] Отряд полицейских был выставлен у квартиры Короленко 5 июня 1907 г. Текст телеграммы опубликован в кн.: В. Г. Короленко, Избранные письма, т. II, «Мир», М. 1932, стр. 257. За границу Короленко выехал 7 июня.

[5] Над составлением воззвания «К русскому обществу» по поводу кровавого навета на евреев Короленко работал в Петербурге в ноябре 1911 г. (опубликовано 30 ноября 1911 г. в газетах «Русские ведомости», № 275, «Речь», № 329, и в № 12 РБ). Н. Ф. Анненский умер после продолжительной болезни 26 июля 1912 г.

[6] В рассказе «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» Л. Толстой воспользовался легендой о том, что Александр I в 1825 г. не умер, а скрылся в глухом уголке Сибири и жил там отшельником под именем старца Федора Кузьмича. Рассказ был напечатан с послесловием Короленко «Герой повести Л. Н. Толстого» (РБ, 1912, № 2). Короленко был привлечен к судебной ответственности за «дерзкое неуважение к верховной власти». Суд состоялся 27 ноября 1912 г., писатель был оправдан.

Отчет о процессе и речь Короленко были опубликованы в газетах «Русские ведомости» (№ 274), «Речь» (№ 327) и многих других. «Правда» (№ 179) напечатала статью «Дело В. Г. Короленко» с выдержками из речи писателя (перепечатана в кн.: «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», Гослитиздат, М. 1937, стр. 163—165). Кроме газет, речь Короленко была опубликована в РБ (№ 12) в статье «Процесс «Русского богатства». Под названием «Процесс редактора «Русского богатства» вошла в ПС, т. V, стр. 393—406, и в Соч., т. 8.

О процессе и своем выступлении Короленко писал жене 27 и 28 ноября 1912 г. (см.: В. Г. Короленко, Избранные письма, т. II, «Мир», М. 1932, стр. 303—305).

А. Б. ДЕРМАН
[ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. КОРОЛЕНКО]

Печатается с сокращениями по автографу, хранящемуся в ЛБ. Воспоминания написаны в конце 1940-х — начале 1950-х гг. Впервые не полностью опубликованы в журнале «Новый мир», 1958, № 7, стр. 248—259.

Дерман Абрам Борисович (1880—1952) — беллетрист, литературный критик и литературовед, автор ряда работ о В. Г. Короленко, член редакционной комиссии по изданию ПСС.

[1] Портрет Короленко написан И. Е. Репиным в 1912 г. в Финляндии (находится в Москве в Государственной Третьяковской галерее).

[2] Первый рассказ А. Б. Дермана «Странный вопрос» был опубликован в РБ, 1903, № 8, после значительной переработки редактором. В редакторской книге под датой 10 ноября 1902 г. Короленко записал: «Автор весной являлся ко мне, очень взволнованный вопросом: почему нужно делать добро... и вообще — где смысл жизни. Рассказ написан недурно...» См. также письмо Короленко к А. Б. Дерману от 12 ноября 1902 г., опубликованное в кн.: В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 3, Гослитиздат, М. 1936, стр. 155—156.

[3] Имеется в виду отзыв Короленко о рассказе А. Б. Дермана «Две Маруси» в письме без даты (почтовый штемпель получения: Швейцария, 10 апреля 1905 г.). Это письмо, как и упоминаемые ниже, хранится в ЛБ, архив А. Б. Дермана.

[4] Портрет Короленко был написан Н. А. Ярошенко в 1898 г. В 1911 г. он был подарен писателю и его жене к 25-летию их свадьбы. Портрет сгорел в 1943 г., во время оккупации Полтавы немецко-фашистскими войсками.

[5] Полное название книги: «Писатели из народа и В. Г. Короленко. По материалам архива В. Г. Короленко, «Книгоспилка», Харьков — Киев, 1924, 181 стр.

[6] См. письмо к Н. В. Смирновой от 7 июля 1916 г. (В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 3, Гослитиздат, М. 1936, стр. 247—249).

[7] В архиве Короленко в ЛБ хранится семь его редакторских книг. В них под определенным номером и датой писатель регистрировал поступившую к нему рукопись, кратко излагал ее содержание и свое о ней мнение, а также делал пометки о дальнейшей судьбе рукописи. В отдельной тетради он вел алфавит авторов просмотренных им рукописей с отсылкой к номеру книги и странице, на которой рукопись зарегистрирована.

[8] Опубликованы в кн.: В. Г. Короленко, Избранные письма, т. I, «Мир», М. 1932, стр. 50—143. См. также: Соч., т. 10, стр. 192—208.

[9] Мысли о патриотизме и общечеловеческой солидарности Короленко развил в статье «О патриотизме» (1903), опубликованной в ПСС. Дневник, т. IV, стр. 333—335.

[10] Имеется в виду «Сказание о Флоре-римлянине, об Агриппе-царе и о Менахеме, сыне Иегуды» В. Г. Короленко, направленное против толстовского учения о непротивлении злу насилием. Опубликовано в журн. «Северный вестник», 1886, № 10.

[11] Описанный случай произошел 29 июня 1919 г. Дневник 1919 г. не опубликован; хранится в ЛБ.

[12] У Короленко: «Удары противникам — великодушие побежденным». См. ПСС. Дневник, т. I, стр. 63 (запись от 14 марта 1887 г.).

[13] См. примеч. 11 на стр. 578.

[14] Об этом же Короленко писал М. Горькому 23 апреля 1895 г. См.: Соч., т. 10, стр. 228, а также «Заметки о В. Г. Короленко» С. Д. Протопопова и воспоминания Т. А. Богданович (стр. 170 и 99 настоящего сборника).

[15] В июле 1913 г. во многих газетах сообщалось о приезде в Россию Анатоля Франса. А. Франс был у Короленко в Петербурге в редакции журнала «Русское богатство», но, не застав его, оставил ему визитную карточку с припиской: «Avec ses hommages» («В знак особого уважения»). См. газета «День» (Пб.), 1913, 13 июля, стр. 3 (Хроника). Визитная карточка А. Франса хранится в музее Короленко в Полтаве. В 1914 г., будучи в Париже, Короленко нанес А. Франсу ответный визит.

[16] Речь идет о книге В. Ф. Булгакова «Лев Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого». Во втором и третьем изданиях этой книги («Задруга», М. 1918, 1920, стр. 282—287) В. Ф. Булгаков, указывая, что Короленко завладел вниманием Толстого и вовлек его в литературный разговор, замечал: «Думаю, однако, — причиной... было не духовное превосходство первого над вторым, а просто его словоохотливость». В последнем издании дневника автор устранил несколько фраз, передающих его личное отношение к описываемому. См. стр. 459—460 настоящего сборника.

[17] Эту мысль А. В. Луначарский наиболее полно развил в своей статье «Праведник» (журн. «Красная нива», 1924, № 1, стр. 18—20).

[18] См. примеч. 2 на стр. 590.

[19] А. Б. Дерман имеет в виду А. И. Куприна. Этот эпизод описан и в воспоминаниях Е. М. Аспиза «С Куприным в Данилов-

ском» («Литературная Вологда», 1959, № 5, стр. 181—182). Е. М. Аспиз относит этот случай к концу 1906 г.

[20] А. Б. Дерман был в Полтаве в 1918 г., в первый раз, вероятно, летом, а второй раз осенью.

[21] Короленко дал А. Б. Дерману главу XVIII второго тома ИМС — «Корректурное бюро Студенского. — Я принимаю внезапное решение», которая затем была напечатана А. Б. Дерманом в сборнике «Отчизна», кн. 1 (Симферополь, «Русское кн-во в Крыму», 1919, стр. 23—28). Глава «На Яммалахском утесе» была написана позднее; она напечатана в кн.: «Южный альманах», кн. 1, Крымиздат, Симферополь, 1922, стр. 23—31. О ней Короленко писал А. Б. Дерману в письме от 7—8 сентября 1921 г., в котором и назвал ее своим «Profession de foi».

И. И. СТАРЦЕВ-ШИШКАРЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ ПОТЕМКИНЦА

Печатается по рукописи, представленной в настоящее издание.

Первоначально опубликованы в журн. «Советская Украина», 1955, № 6, стр. 113—116, под названием: «Мои встречи с В. Г. Короленко» (Литературная запись И. И. Марченко).

Старцев-Шишкарев Иван Иванович (1883—1956) — матрос броненосца «Князь Потемкин Таврический». С 1905 по 1907 г. — политический эмигрант в Румынии. С 1907 по 1914 г. вел подпольную революционную работу в разных городах России. В 1914 г. был арестован под именем Александра Степановича Тарасенко и сослан на север. После февральской революции 1917 г. поселился в Харькове. В последние годы жизни — персональный пенсионер.

Ранее были опубликованы воспоминания И. И. Старцева: «Восстание на броненосце «Потемкин» («Пути революции», Харьков, 1925, № 1) и «Мои воспоминания о восстании на броненосце «Потемкин» (сб. «Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг.», М. 1956, стр. 45—52 (Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина).

[1] 14 июня 1905 г. на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин Таврический» произошло революционное восстание матросов, поводом к которому послужила недоброкачественная пища. Во главе восстания стал матрос Г. Н. Вакуленчук. Расстреляв наиболее ненавистных офицеров, матросы подняли красный флаг и привели броненосец в Одессу. На подавление восстания был направлен весь Черноморский флот. Привлечь другие суда к восстанию и установить связь с одесскими рабочими не удалось. «Потемкин» направился в Констанцу (Румыния), 25 июня матросы сдали ко-

рабль румынским властям, а сами сошли на берег, как политические эмигранты. Возвратившиеся в Россию были преданы смертной казни и каторге. Большинство вернулось на родину после февральской революции 1917 г.

[2] В обвинительном акте от 14 апреля 1914 г. по делу И. И. Старцева говорится: «...маляр Иван Шишкарев... примкнул к мятежникам, причем его активная преступная деятельность выразилась в том, что, приняв участие в насильственных действиях против судового начальства, он с самого начала вооружился винтовкой, а затем нарисовал черными буквами на белом полотне надпись «Свобода, равенство и братство», каковое полотно и было поднято на мачте броненосца по приходе последнего в Феодосию» («Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг.», М. 1956, стр. 70).

[3] В воспоминаниях «В боевой организации» П. С. Ивановская упоминает о своем общении с потемкинцами. «Со сдавшимися в Констанце потемкинцами, — пишет она, — я познакомилась в 1907 г., во вторичный приезд к брату в Румынию, который вместе с другими румынскими революционерами присутствовал при сдаче броненосца в Констанце... Между потемкинцами выделялись очень интересные и самобытные личности, большие умницы, маленькие поэты — мечтатели, художественные натуры и прекрасные рассказчики» (Изд. второе, Изд-е о-ва политкаторжан, М. 1929, стр. 89, 90).

[4] Потемкинец И. В. Лысак погиб 14 января 1907 г.

[5] Здесь возможна неточность. Из очерка И. И. Старцева «Мои воспоминания о восстании на броненосце «Потемкин» («Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг.», М. 1956, стр. 52) следует, что потемкинцы прибыли в Полтаву на пасхальной неделе, которая в 1907 г. началась 22 апреля. По данным же биографии Короленко нам известно, что писатель с 16 марта по 18 мая находился в Петербурге и, вернувшись в Полтаву 20 мая, 7 июня уехал за границу. Таким образом, или Старцев прибыл в Полтаву между 20 мая н 7 июня и тогда же виделся с Короленко, или, если он приехал раньше, его свидание с писателем произошло не сразу по приезде. Не вносит ясности в вопрос о времени свидания И. И. Старцева с Короленко небольшой отрывок из воспоминаний А. Б. Дермана «Потемкинцы», сохранившийся в его архиве. Рассказывая о приезде из Румынии двух матросов броненосца «Потемкин», направленных к Короленко П. С. Ивановской, А. Б. Дерман относит его к летнему времени (а не к весне), но утверждает, что матросы приехали в дом писателя, когда его не было в городе. (Далее так же, как и сам Старцев, А. Б. Дерман рас-

сказывает, что из дома Короленко потемкинцев отвели на квартиру М. П Орлова.)

В письме к составителю данного сборника от 13 апреля 1955 г., И. И. Марченко, сделавший запись воспоминаний, сообщает, что И. И. Старцев скорей готов признать, что он ехал через Рени не на пасху, а в другой праздник, но «даже и слушать не желает, что он Короленко видел позже. Старцев говорит, что он и Волобуев видели Короленко в первый день приезда».

В архиве Короленко, хранящемся в ЛБ, имеются два документа, в которых содержатся упоминания о матросах с броненосца «Потемкин», прибывших в Полтаву. В первом из них (от 20 мая 1920 г), упомянув о двух «эмигрантах с возмутившегося броненосца «Потемкин», Короленко сообщает: «и один из этих матросов, кажется большевик, прожил в качестве служащего у В. Г. Иванова...» Короленко ошибочно датирует этот случай 1906 г. Во втором документе от 12 сентября 1920 г. Короленко называет А. М. Моргуна, давшего двум матросам-потемкинцам временный приют, когда они прибыли на Полтавщину.

6 Судовая комиссия была создана из среды матросов во время восстания. Председателем комиссии был избран А. Н. Матюшенко.

7 Записей беседы с потемкинцами в архиве В. Г. Короленко не обнаружено.

8 Брат писателя Илларион Галактионович, живший в 1905 г. в Одессе, в письме к Короленко от 14—16 июня подробно описал ход событий, связанных с восстанием на броненосце «Потемкин», очевидцем которых он был. Письмо опубликовано в кн.: «Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг.», М. 1956, стр. 122—124.

9 Сказка-памфлет С. А. Басова-Верхоянцева. Напечатанная после революции 1905 г., была конфискована правительством в 1907 г., но переиздавалась подпольно в России и за границей под разными названиями.

10 Повесть В. И. Дмитриевой, изданная нелегально за границей и после 1905 г. в России.

11 Встреча могла состояться 28 мая, когда Короленко ездил в Хатки (путь через Сорочинцы).

12 В записной книжке Короленко 1907 г., хранящейся в ЛБ, имеется запись, сделанная писателем во время его пребывания в Румынии. Запись содержит цифровые данные о расселении потемкинцев в Румынии и других странах Западной Европы, а также краткие сведения о судьбе вернувшихся в Россию.

С. П. ПОДЪЯЧЕВ

ИЗ КНИГИ «МОЯ ЖИЗНЬ»

Печатаются отрывки из кн. С. П. Подъячев, Моя жизнь, «Советская литература», М. 1934, стр. 230—232, 245—249.

Подъячев Семен Павлович (1866—1934) — писатель, выходец из беднейшего крестьянства. В молодости много странствовал, служил наборщиком в типографии, сторожем на железной дороге, рабочим в имении, дворником, работал на торфяных болотах, жил в монастырях в качестве рабочего и послушника. В январе 1901 г. Подъячев попал в Московский работный дом, покинув который вернулся в родное село — Обольяново, Московской губернии, Дмитровского уезда. С этого момента, оказавшегося поворотным в судьбе С. П. Подъячева, и начинается рассказ в публикуемом отрывке.

[1] Из приюта для бедных, с каторжными условиями труда и быта. Московский работный дом до 1893 г. находился в ведении казенного «Комитета для призрения просящих милостыню», с конца 1893 г. — в ведении городского самоуправления.

[2] Рукопись «Мытарств» была отправлена С. П. Подъячевым в начале 1901 г. Прочитав ее, Короленко записал в своей редакторской книге: «Не всегда грамотно, но интересно. Кажется, есть дарование» (апрель 1901, книга I, стр. 19). Запись опубликована в кн.: В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 3, Гослитиздат, М. 1936, стр. 145.

[3] Письмо Короленко к С. П. Подъячеву не потеряно. Оно хранится в Отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР. Датировано 20 октября 1901 г. В нем Короленко сообщал, что «Мытарства» будут напечатаны в «Русском богатстве», советовал запастись терпением, так как он не мог точно определить, когда очерки появятся в печати, и просил согласия на некоторые редакционные исправления и сокращения.

[4] Получив письмо Короленко с извещением, что очерки приняты, Подъячев писал: «Не знаю, как выразить Вам то чувство радости, которое овладело мною, когда я получил и прочел Ваше письмо относительно моих очерков работного дома. Вы просто воскресили меня из мертвых, как Христос Лазаря... Мои бабы (жена и сестра. — *Т. М.*) рады, что я получу деньги, я же рад, что Вы, автор «Лес шумит», «Слепой музыкант» и т. п., прислали мне письмо... Ведь я Ваши сочинения давно знаю. Думал ли я когда, что дождусь такого счастья!» (Письмо без даты, хранится в ЛБ.)

[5] «Мытарства. Очерки Московского работного дома» были на-

печатаны в РБ, 1902, № 8, стр. 5—47; № 9, стр. 79—109. Печатание очерков задерживалось из-за цензурных препятствий. Зная материальную нужду Подъячева, Короленко первоначально, до того, как автору был начислен гонорар, выслал ему 25 рублей от себя.

[6] Повесть «По этапу» была напечатана в РБ, 1903, № 5, 6. В этом же журнале было опубликовано большинство и последующих произведений Подъячева. Короленко постоянно тщательно их обрабатывал. В 1913 г. он писал о Подъячеве: «Я считаю себя до известной степени повинным в том, что он стал писателем...» («В. Г. Короленко о литературе», Гослитиздат, М. 1957, стр. 672).

[7] Письмо Короленко к Н. К. Михайловскому (14 ноября 1902 г.), опубликовано в кн.: В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922, стр. 91.

[8] Очерки Подъячева «Мытарства» всколыхнули общественное мнение. В Московскую городскую думу были сделаны запросы, в работном доме — произведена ревизия. В «Известиях Московской городской думы» (1903, № 3) была помещена статья Н. Несмеянова «Из жизни Московского работного дома», явившаяся прямым откликом иа очерки Подъячева. Об организации работных домов писал, в связи с произведением Подъячева, А. С. Серафимович в статье «Обо всем» («Курьер», 1903, № 121, 29 июня).

[9] Об очерках «Среди рабочих» в редакторской книге Короленко сделана в феврале 1904 г. следующая запись: «Работа в экономии. Типы рабочих и т. п. Живо, грубовато, сильно. Принято» (книга II, стр. 162). Автору Короленко сообщал: «Это у Вас вышло довольно сильно и гораздо интереснее предыдущего» (письмо от 27 февраля 1904 г. Хранится в Отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького).

[10] Очерки «Среди рабочих» были напечатаны в РБ, 1904, № 5, 6, 9, 10, 11, а в 1905 г. вышли отдельной книжкой в издании редакции того же журнала. Отзывы об очерках были напечатаны в журналах «Русская мысль», 1905, № 10 (без подписи), и «Вестник Европы», 1905, № 11 (подпись Евг. Л.).

[11] Письма Короленко к Подъячеву не пропали. Они (49 писем 1901—1915 гг.) хранятся в Отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького.

[12] В письме от 24 января 1927 г. к дочери Короленко — Наталии Владимировне — Подъячев писал: «Память о нем живет в моем сердце постоянно! Кабы не он, не его бы ободрение, пропадать бы мне. Благодаря ему я выбрался на дорогу» («В. Г. Короленко о литературе», Гослитиздат, М. 1957, стр. 672).

А. НЕВЕРОВ

ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ. ВОСПОМИНАНИЕ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается по тексту, опубликованному в газ. «Коммуна» (г. Самара), 1922, № 926, 14 января.

А. *Неверов* (псевдоним Александра Сергеевича Скобелева, 1886—1923) — писатель. Родился в крестьянской семье, был сельским учителем. Печатался с 1905 г.

[1] В газете «Коммуна» ошибочно напечатано: «Старые дни».

[2] По поводу рассказа А. Неверова «Серые дни» Короленко писал 6 января 1910 г. А. Г. Горнфельду: «Если Вы оба (П. Ф. Якубович и А. Г. Горнфельд. — *Т. М.*) выскажетесь и отрицательно, то, пожалуйста, не отсылайте рукопись через контору. Я хочу написать автору несколько ободряющих слов. Может быть, у него что-нибудь и выйдет... О решении напишите мне, а я — автору» (В. Г. Короленко, Письма к А. Г. Горнфельду, «Сеятель», Л. 1924, стр. 35).

[3] Письма Короленко к А. Неверову сверены с автографами (хранятся в ЦГАЛИ). Данное письмо цитируется автором с купюрами. Полностью письма опубликованы в кн.: «В. Г. Короленко о литературе», Гослитиздат, М. 1957, стр. 564—565, 570—571, 577.

М. Ф. НИКОЛЕВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается с сокращениями по рукописи, представленной для настоящего издания. Первоначальный вариант опубликован в журн. «Звезда», 1958, № 4, стр. 100—113.

Николева Маргарита Федоровна (1873—1957) — педагог, участница революционного движения, литературный работник.

[1] О знакомстве Короленко с Н. Ф. Анненским см. воспоминания Т. А. Богданович на стр. 93—94 настоящего сборника.

[2] О Ткачеве см. в указателе имен.

[3] М. Ф. Николева не могла вспомнить, о ком в этот раз хлопотал Короленко. Наиболее известны его хлопоты об И. Юсупове (1899), о Б. И. Лагунове (1911), о В. Ирлине (1912). В письмах к составителю сборника и в беседе с ним М. Ф. Николева сообщила, что имя Б. И. Лагунова вставлено ею в первоначальный текст воспоминаний произвольно — как один из случаев с благоприятным исходом хлопот Короленко. Наиболее важной чертой описанного ею эпизода она считала резкую перемену, происшедшую в Короленко с получением известия о смертном приговоре, а также ту взволнован-

ную поспешность, с которой он бросился отстаивать жизнь совершенно незнакомого ему человека.

[4] Речь идет о статье Н. Ф. Анненского «Финляндские дела», напечатанной в РБ, 1899, № 3 (за подписью О. Б. А.). Короленко, как редактору журнала, пришлось иметь объяснение по поводу статьи в Главном управлении по делам печати. Ему было предъявлено требование — опубликовать от редакции опровержение. Короленко отказался, заявив: «Мы не литературные торгаши, примем последствия, но неправды писать не станем». Дело завершилось приостановкой журнала на 3 месяца. Подробней об этом см. в дневнике Короленко от 9—12 и 30 апреля, а также 5 мая 1899 г. (ПСС. Дневник, т. IV, стр. 140—146, 162—168).

[5] Императорское Вольно-экономическое общество возникло в 1765 г. в целях «распространения в государстве полезных для земледелия и промышленности сведений» и существовало до 1917 г. Н. Ф. Анненский стал членом общества в 1895 г. 4 декабря 1899 г. он был избран председателем III отделения Вольно-экономического общества (сельскохозяйственной экономии и статистики). В 1904 г., кроме того, он стал председателем комиссии по крестьянскому вопросу, числившейся при III отделении. 19 апреля 1906 г. Н. Ф. Анненский был избран вице-президентом общества и занимал эту должность до 2 мая 1909 г. В последние годы своей жизни он был почетным членом Вольно-экономического общества.

[6] В связи с болезнью, а затем отъездом за границу Н. Ф. Анненского, а также арестом членов редакции журнала «Русское богатство» А. В. Пешехонова и В. А. Мякотина, Короленко, усиленно работая в редакции, жил в Петербурге — с конца октября 1911 г. С 23 марта по 3 апреля 1912 г. он был в Полтаве.

[7] Автор неточно передает факт. Номер газеты, посвященный голодающим, создан по инициативе самого Короленко (см. Избранные письма, т. 2, «Мир», 1932, стр. 298).

[8] Здесь автор приводит полный текст очерка Короленко «Голодная весна». Мы его опускаем. Очерк напечатан в газете «Неделя «Современного слова», 1912, № 211, 23 апреля, за подписью «Вл. Кор.».

[9] Цитируемую запись см. в изд.: В. Г. Короленко, Записные книжки. Ред. и примеч. С. В. Короленко и А. Л. Кривинской, Гослитиздат, М. 1935, стр. 296—297.

[10] См. очерк М. Горького «Из воспоминаний о В. Г. Короленко», стр. 118 наст. изд.

К. И. ЧУКОВСКИЙ

КОРОЛЕНКО В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Печатается по рукописи. Первоначально опубликовано в журнале «Октябрь», 1960, № 9, стр. 191—205. Для данного издания воспоминания автором переработаны.

Чуковский Корней Иванович (род. в 1882 г.) — писатель, литературовед и переводчик.

[1] Жена Короленко летом 1910 г. лечилась в Одессе.

[2] Об «Истории моего современника» см. примеч. 56 на стр. 573 и примеч. 21 на стр. 594.

[3] Речь идет о смотрителе Вышневолоцкой политической тюрьмы И. П. Лаптеве. Эпизод с «Капиталом» К. Маркса описан в ИМС, кн. третья, ч. 2, гл. V — «Хороший человек на плохом месте».

[4] В газете «Новости» Короленко работал с осени 1877 г. до начала марта 1879 г.

[5] Напечатаны в газете «Новости», 1878, № 236—298.

[6] О своем конфликте с редакцией газеты «Новости» С. С. Гусев (Слово-Глаголь) писал в «Саратовском справочном листке», 1875, № 180, 22 августа. Письмо в газ. «Новости» не обнаружено.

[7] Об этом факте Короленко пишет в ИМС, кн. вторая, ч. 4, гл. XI — «Газета «Новости» и ее издатель Нотович».

[8] По данным биографии Короленко, писатель был у И. Е. Репина 6 июля 1910 г. (см. ПСС, т. V, стр. 237).

[9] О «Бытовом явлении» см. примеч. 1 на стр. 605.

[10] Статья К. И. Чуковского «Последние произведения Вл. Короленко» («Бытовое явление» и «История моего современника») напечатана в газете «Речь», 1910, № 229, 22 августа, стр. 2—3.

[11] О «Мултанском деле» см. примеч. 1 на стр. 576—577.

[12] См. примеч. 2 на стр. 590.

[13] В июле — сентябре 1910 г. Короленко работал над статьей «Черты военного правосудия» (напечатана в РБ, 1910, отд. II, стр. 99—140). В 1911 г. в РБ появилось дополнение к статье: «К чертам военного правосудия» (№ 3, отд. II, стр. 161—171). В 1918 г. Короленко значительно переработал статью и включил в нее напечатанную ранее статью «Дело Глускера» (РБ, 1910, № 7). В обработанном автором виде статья «Черты военного правосудия» помещена в Соч., т. 9, стр. 528—612.

[14] Короленко обращался к Горькому с предложением «присоединить свое имя к маленькой противусмертнической демонстрации»

в письме от 19 августа 1910 г. Горький ответил отказом, так как статьи против смертных казней предполагалось опубликовать в органе кадетов — газете «Речь». Письмо Короленко и ответ Горького см. в кн.: «А. М. Горький и В. Г. Короленко. Переписка, статьи, высказывания», Гослитиздат, М. 1957, стр. 59, 60.

[15] «Гуси-лебеди» — русская народная сказка, «Конек-Горбунок» (1834) — сказка в стихах П. П. Ершова.

[16] Имеется в виду стихотворение «Сестре. А. Н. Анненской». См. в кн.: И. Ф. Анненский, Стихотворения и трагедии, «Советский писатель», Л. 1959, стр. 159 (Биб-ка поэта. Большая серия).

[17] Напечатан в кн.: «Литературно-художественные альманахи изд-ва «Шиповник», кн. 5, СПб. 1908.

[18] В. Г. Короленко познакомился с Л. Н. Андреевым в апреле 1910 г. в Крыму.

[19] О Л. Андрееве в РБ писали: Н. К. Михайловский — о «Рассказах» (1901, № 11); А. Е. Редько — о «Красном смехе» (1905, № 2), о «Воре» (№ 10), о «Жизни человека» (1907, № 6), о «Черных масках» и «Рассказе о семи повешенных» (1909, № 4), об «Анатэме» (№ 12); А. Г. Горнфельд — о «Моих записках» (1909, № 1). Сам Короленко подверг критике повесть Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского», за отраженную в ней реакционно-мистическую концепцию жизни (1904, № 8).

В неопубликованных воспоминаниях В. И. Фролова приводится следующий отзыв Короленко об Андрееве: «Мы, чтобы описать, положим, трещину в стене, становимся на некоторое расстояние от стены и видим положение трещины в отношении крыши, окон и т. д., а Андреев упирается глазами в трещину, видит и описывает все извилины трещины, но уже ничего больше не видит: нет ни крыши, ни окон, нет и самой стены, есть только трещина...» (ЦГАЛИ).

[20] Статья Л. Н. Толстого была напечатана уже после смерти писателя под названием «Действительное средство» в газете «Речь», 1910, № 312, 13 ноября. Очерк Короленко «Один случай» — там же, 1911, № 98, 10 апреля, и одновременно в газете «Современное слово» (№ 1172).

[21] Из пародии В. С. Соловьева «На небесах горят паникадила...» («Вестник Европы», 1895, № 10, стр. 851).

[22] Опубликован в журнале «Сатирикон», 1910, № 47, 20 ноября, стр. 7.

[23] См. об этом в статье К. Зелинского «Жизнелюбивый талант», написанной в связи с 75-летием К. И. Чуковского («Литературная газета», 1957, № 39, 30 марта, стр. 3).

[24] К. И. Чуковский внес большой вклад в дело изучения наследия Н. А. Некрасова. Уже в 1913 г. он подверг серьезной критике издания сочинений Некрасова, выпущенные А. С. Сувориным (газета «Речь», 1913, № 34). Начиная с 1920 г. К. И. Чуковский выступает как редактор многочисленных изданий собраний сочинений великого поэта. При его ближайшем участии вышло первое «Полное собрание сочинений и писем Н. А. Некрасова» в двенадцати томах, осуществленное в 1948—1953 гг. по постановлению Совета Министров Союза ССР. К. И. Чуковскому принадлежит свыше ста публикаций и статей по вопросам биографии и творчества Некрасова. Итогом его работы по изучению наследия великого поэта является книга «Мастерство Некрасова» (Издание 3-е, доп., «Советский писатель», М. 1959, 726 стр.).

[25] Т. А. Богданович была редактором «Недели «Современного слова» (1908—1917).

[26] «Удар господень», «Солнце не лжет», «Голодная весна». Опубликованы в журнале «Неделя «Современного слова», 1912, № 211, 23 апреля.

[27] Речь идет о Б. И. Лагунове, приговоренном к смертной казни за покушение на начальника Зерентуйской тюрьмы — Высоцкого. В результате хлопот Короленко смертная казнь была 1 января 1912 г. заменена командующим войсками Иркутского военного округа генералом Никитиным двадцатью годами каторги.

[28] О деле Бейлиса см. стр. 505—507 и 524—529.

[29] См. «Правда», 1912, № 78, 29. VII, стр. 8 (Хроника).

[30] Письмо от 31 июля 1910 г. Приводится в кн.: К. И. Чуковский. Из воспоминаний, «Советский писатель», М. 1959, стр. 104.

[31] Место нахождения портрета Короленко, написанного И. И. Бродским, неизвестно. О портрете И. Е. Репина см. примеч. 1 на стр. 592.

[32] Опубликовано в ст.: К. И. Чуковский, Илья Репин (Воспоминания). — «Новый мир» 1935, № 5, стр. 405. То же в кн.: К. И. Чуковский, Из воспоминаний, «Советский писатель», М. 1959, стр. 68.

С. А. БОГДАНОВИЧ

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО В СЕМЬЕ АННЕНСКИХ-БОГДАНОВИЧ

Печатается впервые по рукописи.

Богданович Софья Ангеловна (род. в 1900 г.) — детская писательница. Дочь Ангела Ивановича и Татьяны Александровны Богданович.

[1] Из статьи Короленко «О Николае Федоровиче Анненском» (РБ, 1912, № 8, стр. X). См. также: В. Г. Короленко, Воспоминания о писателях, «Мир», М. 1934, стр. 93.

[2] Литературный фонд — «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым» возникло в 1859 г. по инициативе А. В. Дружинина. В числе учредителей были И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский, Л. Н. Толстой. В. Г. Короленко вошел в состав членов фонда в 1893 г. Н. Ф. Анненский был секретарем комитета Литературного фонда с февраля 1896 по февраль 1897 г. С февраля 1897 до 1911 г. он исполнял, с небольшими перерывами, обязанности казначея Литфонда, 2 февраля 1912 г. был избран его председателем.

[3] По-видимому, имеется в виду книжка П. Дружбина «Об уме и нравах собак», М. 1905.

[4] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Желание» («Отворите мне темницу», 1832).

[5] Из стихотворения Козьмы Пруткова «Из Гейне» («Фриц Вагнер, студьозус из Иены...») (1854).

[6] Перефразированные строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Еду ли ночью по улице темной» (1847).

[7] В библиотеке Государственного литературного музея в Москве хранится экземпляр книги Короленко «Бытовое явление» с надписью автора: «Маргарите Федоровне Николевой на память о Куоккале, о море и о Вл. Короленко. Июль 1910 г.».

[8] Из письма Короленко от 5 сентября 1910 г. Хранится, как и последующие, в ЛБ.

[9] Из письма Короленко от 29 мая 1912 г.

[10] Из письма от 6 июня 1912 г.

[11] Это письмо хранится у автора воспоминаний (оно было приложено к вышецитированному письму от 6 июня 1912 г.).

[12] Из письма от 29 мая 1912 г.

[13] То же.

[14] Из письма от 9 июня 1912 г.

[15] В записной книжке Короленко 1912 г. отмечено под датой 12 июня: «Выехали с Д[уней] в Сивцево». Под датой 13 июня: «В Сивцево утром». 15 июня: «Из Сивцева».

В. Ф. БУЛГАКОВ

[В. Г. КОРОЛЕНКО У ЛЬВА ТОЛСТОГО]

Печатается отрывок из кн.: В. Булгаков, Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого, Гослитиздат, М. 1960, стр. 320—325.

Булгаков Валентин Федорович (род. в 1886 г.) — секретарь

Л. Н. Толстого и его последователь. Начал работу секретарем Толстого 17 января 1910 г и продолжал ее до смерти писателя. В течение этого времени вел дневник. В. Ф. Булгаков описывает третье и последнее свидание Короленко с Л. Толстым, состоявшееся в августе 1910 г. Первая встреча писателей произошла в феврале 1886 г. в Москве, когда Короленко и Н. Н. Златовратский посетили Толстого с целью просить его участвовать в одном литературном сборнике; вторая — в мае 1902 г. в Крыму, куда Короленко ездил для переговоров с А. П. Чеховым по поводу отмены избрания М. Горького почетным членом Академии наук.

[1] 25 марта 1910 г. Толстому были прочитаны первые шесть глав статьи Короленко «Бытовое явление», напечатанные в мартовской книжке РБ за 1910 г. 27 марта Толстой написал Короленко письмо с сочувственным отзывом о статье (см. Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 81, Гослитиздат, М. — Л. 1956, стр. 187—188). В № 4 РБ было помещено окончание статьи «Бытовое явление». 18 апреля 1910 г. письмо Толстого о «Бытовом явлении» опубликовали газеты: «Речь» (№ 106) и «Современное слово» (№ 822), которые вскоре были конфискованы. В 1910 г. «Бытовое явление» вышло отдельным изданием в Берлине (на русском языке) с письмом Толстого вместо предисловия (Berlin, J. Ladyschnikow). В июле того же года вышло отдельной книгой в издании ред. журн. РБ и вскоре было переведено на ряд иностранных языков в странах Западной Европы.

[2] Имеется в виду указ министра П. А. Столыпина от 9 ноября 1906 г., по которому крестьянам предоставлялось право свободного выхода из общин. Этим указом правительство преследовало цель — увеличить слой кулачества, как опору самодержавия.

[3] В письме к матери из Америки от 21 августа (2 сентября) 1893 г. Короленко о выступлении Генри Джорджа на конгрессе в Чикаго писал: «В другой зале — знаменитый Генри Джордж развивал идею о Single tax'е, то есть налоге на землю, который, поглощая всю ренту, — должен повести к национализации земли. Это — недоразумение, но очень интересное» («Избранные письма», т. I, «Мир», М. 1932, стр. 117). В дневнике под датой 18(30) августа 1893 г. Короленко отметил выступление Генри Джорджа на митинге безработных в Чикаго (ПСС. Дневник, т. II, стр. 92—93).

[4] Происходило в июле 1903 г. в Саровском монастыре в Тамбовской губернии. Впечатления от путешествия в Саров отражены в письмах Короленко к родным и друзьям. См.: Соч., т. 10, стр. 371—380. См. также: «Избранные письма», т. I, «Мир», М. 1932, стр. 193—212.

[5] С. А. Малышевым.

[8] Рассказ кресіьян о царе и студентах Короленко записал в дорожном дневнике 1903 г. под заголовком: «Дивеево, Саров, Понетаевка. О царе. Мужицкие желания и т. д.». Свою запись Короленко заключил таким замечанием: «Узнаю моих лукояновцев, которые меня в голодный год считали антихристом. Миросозерцание XII или XIII века...» («Избранные письма», т. I, «Мир», М. 1932, стр. 204).

Однако В. Ф. Булгаков ошибочно приписал Короленко слова его спутника о народной темноте. В заметке В. К-шева «Из записной книжки друга Владимира Галактионовича» этот разговор передается таким образом: «... В Сарове, в самом конце пути к старцу (Серафиму Саровскому), спутник Владимира Галактионовича, указывая заливавшее путь народное море, говорил: — Посмотри, Владимир, на этот сброд людей, на эту страшную толпу, а мы толкуем о каком-то перевороте. — Да, — отвечал Владимир Галактионович, — вот мы идем под небольшим дождем, и ничего, но стань под водосточную трубу, что тогда? И эта водосточная труба — со всей страны, и судить по этой толпе о всей совокупности народного моря — России, нельзя и будет неверно» («Первая годовщина смерти Владимира Галактионовича Короленко», Полтава, 1922, стр. 18).

[7] Имеется в виду «Мултанское дело». См. примеч. 1 на стр. 576.

[8] Имеется в виду путешествие Короленко на озеро Светлояр в Нижегородской губернии, с которым связана легенда о «невидимом граде Китеже». По преданию, во времена татарского нашествия, в момент, когда войска хана Батыя приближались к Китежу, город ушел в глубь земли, а над ним образовалось озеро, со дна которого «праведные люди» по временам слышат звон колоколов. В июне к озеру стекались огромные толпы богомольцев, главным образом раскольников. На берегах его служились молебны, происходили религиозные споры. Короленко был у Светлояра несколько раз — в 1888, 1889, 1890 и 1905 гг. Впечатления от поездок он передал в очерках «В пустынных местах. Из поездки по Ветлуге н Керженцу» (1890) и в рассказе «Река играет» (1892).

[9] Л. Н. Толстой в своем дневнике от 5—6 августа отметил: «Приехал Короленко. Очень приятный, умный и хорошо говорящий человек» (Полн. собр. соч., т. 58, Гослитиздат, М. — Л. 1934, стр. 89). В дневнике «Для одного себя» он записал 7 августа: «Беседа с Короленко. Умный и хороший человек, но весь под суеверием науки» (там же, стр. 131).

[10] Имеется в виду статья К. И. Чуковского «Толстой, как художественный гений» («Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения» к журн. «Нива», 1908, № 9, стр. 75—104).

[11] Сходное суждение о художественных типах мы встречаем в

рассказе Короленко «Художник Алымов» (1896), при жизни писателя не публиковавшемся. В нем использовано и сравнение гоголевского Петуха с налившейся при устойчивой погоде тыквой. Создание законченных художественных типов Короленко связывал с определенной исторической эпохой и мировоззрением художника, в свою очередь зависящего от определенных исторических условий (см.: Соч., т. 3, стр. 303—304).

[12] Л. Н. Толстой имеет в виду крестьянина, который на сделанное ему предложение вместе выкупаться ответил: «Я уже откупался».

В письме к Т. А. Богданович от 6 августа 1910 г. (из Ясной Поляны) Короленко писал о Толстом: «...чувствуются сильные литературно-художественные интересы. Говорит, между прочим, что считает создание типов одной из важнейших задач художественной литературы. У него в голове бродят типы, которые ему кажутся интересными, — «но все равно, уже не успею сделать». Поэтому относится к ним просто созерцательно» (Соч., т. 10, стр. 456).

[13] 12 августа 1910 г. Короленко писал из Хаток С. Д. Протопопову: «На обратном пути из Петербурга я заезжал в Ясную Поляну к Толстому. Он на меня на этот раз произвел впечатление бодрости, какой я (после того, как видел его в Гаспре в 1903 г.* больного) и не ожидал. Провожал меня в коляске. Потом среди ливня сел на верховую лошадь (без чьей бы то ни было помощи) и вместе с секретарем Булгаковым крупной рысью помчался обратно. Ум свеж, речь бодрая, чувствуются проснувшиеся, да, кажется, и не засыпавшие, художественные интересы» («Былое», 1922, № 20, стр. 25). См. также описание пребывания у Толстого в письме к Т. А. Богданович от 6—7 августа 1910 г. в кн.: Соч., т. 10, стр. 454—458.

Н. М. РОСТОВ

ТРИ СТАТЬИ ВЛАДИМИРА КОРОЛЕНКО

(Воспоминания)

Печатается с сокращениями по рукописи, законченной в 1956 г. Первоначальный набросок под названием «Вечный протестант (Воспоминания политкаторжанина)» печатался в журнале «30 дней», 1929, № 12, стр. 88—89. См. также книгу Н. Ростова «За той стеной. Повесть о минувшем», М. 1934, стр. 155—159, 161, 178—180.

Ростов Наум Моисеевич (псевдоним Дона Моисеевича Беленького, 1884—1956) — участник революционного движения, литера-

* Ошибка — в 1902 г.

турный работник. В апреле 1906 г. был арестован по делу Южно-Военного технического бюро РСДРП. Военным судом приговорен к десяти годам каторжных работ. Каторгу отбывал в Псковской каторжной тюрьме и Шлиссельбургской крепости. В ноябре 1916 г. был отправлен в Иркутскую губернию. Освобожден февральской революцией 1917 г. В советское время автор ряда статей и книг, главным образом по истории революционного движения.

[1] В 1889 г. в Карийской каторжной тюрьме к политическим заключенным — женщинам применялись розги. Была наказана Н. К. Сигида, давшая пощечину начальнику тюрьмы. После наказания она и ее подруги — М. П. Ковалевская, М. В. Калюжная и Н. С. Смирницкая — отравились. Отравились и несколько мужчин, среди них — С. Н. Бобохов, оставивший записку: «Прощайте, братья! Страдайте, боритесь — наше дело победит!»

[2] В черновой рукописи автор назвал фамилию Анны — Позамантир. В книге «За той стеной» (М. 1934, стр. 159) он назвал ее Бердичевской.

[3] Имеется в виду книга Короленко «Бытовое явление (Заметки публициста о смертной кнзни)» (1910).

[4] В. А. Мякотину принадлежит статья «О современной тюрьме и ссылке» (РБ, 1910, № 9), но в ней упоминания о порке шестнадцати заключенных в Псковской тюрьме нет.

[5] Письмо Н. М. Ростова к В. Г. Короленко из Псковской каторжной тюрьмы хранится в архиве РБ в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. При включении его в настоящие воспоминания Н. Ростов сделал в нем небольшие купюры и произвел незначительную стилистическую правку.

[6] Статья В. Базилевича «В Псковской каторжной тюрьме» была напечатана в газ. «Речь», 1911, № 345, 16 декабря.

[7] В конце ноября 1910 г. вновь назначенный начальник каторжной тюрьмы Горного Зерентуя Высоцкий стал применять телесные наказания к политическим заключенным. В знак протеста несколько заключенных кончили жизнь самоубийством. Среди них был Егор Сазонов, умерший 27 ноября 1910 г. 18 августа 1911 г. в Высоцкого стрелял Б. И. Лагунов.

[8] Воззвание «Ко всем социалистическим партиям России и заграницы от группы политических социалистов Псковского централа» полностью опубликовано в журн. «Каторга и ссылка», 1930, № 10(71), стр. 150—155.

[9] В газете «Псковская жизнь», 1911, № 527, 17 декабря, была напечатана под названием «Статистика ужасов» часть статьи В. Базилевича, опубликованной в газ. «Речь»,

[10] Статья В. Г. Короленко «Истязательская оргия» появилась в газ. «Речь», 1911, № 347, 18 декабря.

[11] Короленко цитировал статью «По поводу порядков в нашей каторжной тюрьме», помещенную в реакционной газ. «Правда» (Псков), 1911, № 82, 14 декабря.

[12] Короленко перечисляет тюрьмы тех городов, в которых незадолго до событий в Псковской каторжной тюрьме произошли острые столкновения политических заключенных с тюремной администрацией.

[13] Статья Короленко «Истязательская оргия» не была перепечатана в газете «Псковская. жизнь». В № 529, от 22 декабря, этой газеты, в отделе «Хроника», была опубликована заметка «Печать о псковской каторге», в которой сообщалось о статье Короленко.

[14] Напечатана в газете «Речь», 1911, № 351, 22 декабря.

[15] Статья Б. «Прокламационная литература», напечатанная в газ. «Россия» (Пб.), 1911, № 1872, 21 декабря, была направлена, главным образом, против статьи Короленко «Истязательская оргия». Один из бывших заключенных Псковского централа М. И. Генкин в своей работе «Голодовка псковских политкаторжан и В. Г. Короленко» высказывает предположение, что автор статьи в «России» — помощник нач-ка Главного тюремного управления М. Боровитинов («Каторга и ссылка», 1931, № 11—12, стр. 152).

[16] Эта статья Короленко напечатана в газ. «Речь», 1911, № 353, 24 декабря.

[17] Авторы обращения «Ко всем социалистическим партиям...» (см. примеч. 8 на стр. 608).

[18] Реакционная пресса клеветнически обвиняла Короленко в подстрекательстве к убийству Ф. В. Филонова (см. стр. 331—333, 342—344 наст. изд.).

[19] Опровержение «От главного тюремного управления», подписанное (О. Б.), то есть Осведомительное бюро, опубликовано в газете «Россия», 1911, 31 декабря, стр. 3 (тогда же напечатано в газете «Речь» и других газетах).

Н. М. ФРОЛОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается впервые по рукописи, датированной 1954 г.

Фролов Николай Матвеевич (1877—1957) — рабочий. С восемнадцати лет работал плотником в Петербурге на Обуховском заводе. В Полтаве поселился в 1910 г. После Октябрьской революции — рабочий строительной конторы.

В. В. СЕЛИХОВ

В ХАТКАХ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается впервые по рукописи.

Селихов Владимир Васильевич (род. в 1899 г.) — агроном.

[1] Село Большие Сорочинцы.

[2] В ЛБ имеется фотография, изображающая «пирамиду».

[3] 17 июля 1910 г. Короленко писал жене из Куоккалы, что в день своего рождения он получил «телеграммы от хатчанских знакомых (одна от босоногой команды)». Письмо хранится в ЛБ.

[4] Думу о Морозенко Короленко вспоминает в очерке «Близ Савур могилы», опубликованном в журн. «Огонек», 1957, № 32, стр. 18.

[5] Дума получила название «Чорна неділя у Сороцинцях (про Барабаша)». В ЛБ хранится запись думы, сделанная Короленко в 1906 г. (в русской транскрипции). В журнале «Україна» (Киев), 1924, № 1—2, стр. 173—174, опубликован текст думы в записи Короленко. О Сорочинской трагедии см. примеч. 2 на стр. 590.

Е. П. ЛЕТКОВА

СЛЕПЫЕ И ГЛУХИЕ
(Из записанных «Встреч и разговоров»)

Печатается по тексту книги: «В. Г. Короленко. Жизнь и творчество». Сборник статей под ред. А. Б. Петрищева, «Мысль». Пг. 1922, стр. 78—84.

Леткова Екатерина Павловна (по мужу Султанова) (1856—1937) — писательница.

[1] В 1914 г. Короленко ездил за границу с женой и старшей дочерью для лечения. В феврале этого года он жил у младшей дочери в Тулузе, откуда ездил в Ниццу.

[2] У озера Светлояр на реке Люнде в Нижегородской губернии. О поездках Короленко к озеру Светлояр см. примеч. 8 на стр. 606.

[3] Из рассказа В. Г. Короленко «Река играет».

[4] Перефразированные слова старика в рассказе Короленко «Лес шумит».

[5] Перефразированные слова из рассказа Короленко «Старый звонарь».

[6] Вечер памяти Н. Ф. Анненского, на котором выступал Короленко, состоялся в Петербурге 17 декабря 1912 г.

[7] Ошибка. В. Г. Короленко в последние месяцы жизни потерял речь, но слух, не считая некоторой давней тугоухости, у него сохранился.

К. А. ТРЕНЕВ

АВТОБИОГРАФИЯ
(Отрывок)

Печатается по изданию: К. Тренев, Избранные произведения в одном томе, «Советский писатель», М. 1951, стр. 22—24.

Тренев Константин Андреевич (1876—1945) — писатель.

[1] Пьеса, одобренная Горьким, — «Дорогины»; была напечатана в журн. «Заветы», 1912, № 3. Короленко забраковал рассказ Тренева «Затерянная криница», впоследствии напечатанный в журн. «Жизнь для всех», 1910, № 7. В редакторской книге под датой 27 мая 1908 г. Короленко пометил возвращение автору рукописи «Затерянная криница» и записал: «Литературно, но отзывается искусственностью и придуманностью».

[2] В РБ были напечатаны два рассказа Тренева: «Самсон Глечик» (1914, № 8) и «Заблудились» (1916, № 11; журнал вышел под названием «Русские записки»).

[3] Имеется в виду С. С. Юшкевич или Н. А. Крашенинников, о которых Короленко упоминает в письме к А. Г. Горнфельду от 20 сентября 1916 г., говоря о своей ошибке в оценке произведения К. А. Тренева (см. «В. Г. Короленко о литературе», Гослитиздат, М. 1957, стр. 610).

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ

МОЯ ПЕРЕПИСКА И ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С В. Г. КОРОЛЕНКО
(Из воспоминаний)

Печатается с сокращениями по рукописи, представленной для настоящего издания. Рукопись датирована 1954 г. Ранний вариант воспоминаний опубликован в статье В. Д. Бонч-Бруевича «Моя переписка с народниками» («На литературном посту», 1928, № 4, стр. 58—61).

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — один из старейших деятелей Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства, доктор исторических наук. С первых дней Великой Октябрьской социалистической революции до 1920 г. работал на посту управляющего делами Совета Народных Комиссаров.

[1] Это и все ниже цитируемые письма Короленко к В. Д. Бонч-Бруевичу хранятся в ЛБ.

[2] Издан в 1892 г.

[3] «Спартак, предводитель римских гладиаторов». Историческая повесть в изложении Ц. Самойловой, изд. П. К. Прянишникова, М. 1895. Ц. Самойлова — псевдоним Цецилии Самойловны Гуревич.

[4] Короленко ошибся в отчестве В. Д. Бонч-Бруевича.

[5] М. Е. Салтыков-Щедрин был одним из руководителей журнала «Отечественные записки» с 1868 по 1884 г.

[6] Письмо от 10 мая 1900 г.

[7] Короленко писал Н. К. Михайловскому из Полтавы 23 сентября 1900 г.: «Очень меня интересует судьба писем Бонч-Бруевича о духоборах в Америке. Вероятно, они не появились по прич. цензурным. Тоже жалко, — теперь там П. А. Тверской заварил какую-то кашу, в которой было бы интересно разобраться. А едва ли Б.-Бруевич после этой неудачи решится писать опять» (В. Г. Короленко, Письма, «Время», Пб. 1922, стр. 65).

Как видно из письма П. Ф. Якубовича к В. Д. Бонч-Бруевичу от 18 января 1901 г., Короленко в конце ноября 1900 г. ездил в цензурный комитет для личных переговоров об очерках В. Д. Бонч-Бруевича (см.: «На литературном посту», 1928, № 4, стр. 64).

[8] Очерки «Духоборцы в Канадских прериях» В. Д. Бонч-Бруевичу удалось напечатать в журн. «Образование» (1903, № 4—8) под псевдонимом Влад. Ольховский (в сокращенном виде). Полностью очерки вышли после Октябрьской революции отдельным изданием («Жизнь и знание», Пг. 1918, 276 стр.).

[9] Седьмой выпуск под названием «Материалы к истории и изучению религиозно-общественных движений в России» вышел в 1916 г.

[10] Передовой русской общественностью во главе с Короленко и Горьким был создан в Петербурге особый комитет по борьбе с антисемитской политикой царского правительства. Комитет организовал и защиту Бейлиса на суде. В газете «Киевская мысль» были напечатаны следующие статьи Короленко по делу Бейлиса: «На Лукьяновке» (1913, № 291, перепечатана из газеты «Русские ведомости»), «Бейлис и мултанцы» (1913, № 292), «Еще о Лукьяновке» (1913, № 294). Кроме того, В. Г. Короленко напечатал по делу Бейлиса пятнадцать статей в других газетах, пять из них см. в Соч., т. 9, стр. 638—656.

[11] Имеется в виду воззвание «К русскому обществу (По поводу кровавого навета на евреев)», написанное Короленко и подписанное группой литераторов, общественных деятелей и ученых; опубликовано в 1911 г. в газетах «Русские ведомости» (№ 275) и «Речь» (№ 329), затем в РБ, 1911, № 12, отд. II, стр. 165—168. См. также письмо В. Г. Короленко в редакцию газ. «Речь» — «По поводу кровавого навета на евреев» (1911, № 340).

Очерки В. Д. Бонч-Бруевича «Кровавый навет на христиан» были помещены в газете «Киевская мысль» (1913, № 265, 267, 274, 279).

[12] «Союз русского народа» (1905—1917) — черносотенная монархическая организация, созданная царским правительством для борьбы с революционным движением. Главными методами ее борьбы были погромы, убийства, террор.

[13] В настоящее время письма Короленко, собранные В. Д. Бонч-Бруевичем, хранятся в ЦГАЛИ и в ЛБ.

[14] В статье «К городским выборам» Короленко писал: «...я не принадлежал формально ни к какой партии. Направление моей многолетней публицистической деятельности... было в общем народно-социалистическое. Но лично, *как писатель главным образом,* я считал свое положение более свободным, без подробно-тактических партийных директив» («Русские ведомости», 1917, № 152, 6 июля).

[15] А. В. Луначарский был в Полтаве в июне 1920 г. и виделся там с Короленко. После этого свидания Короленко написал А. В. Луначарскому шесть писем, где касался политики Советского правительства и положения в Советской России в годы гражданской войны. В письме к А. Г. Горнфельду от 11 октября 1920 г. он сообщал: «Письма мои к Луначарскому уже закончены, хотя закончены наспех и кое-как... И вышло это взгляд и нечто... Луначарский говорил, что постарается их напечатать, но со времени их получения молчит» («Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду», «Сеятель», Л. 1924, стр. 188—189).

А. В. Луначарский по этому поводу писал: «Мы говорили с ним в Полтаве о том, что он напишет мне ряд писем, излагающих его точку зрения, что, может быть, я отвечу на них, и впоследствии эта переписка могла быть изданной. К сожалению, половина писем потерялась в дороге и до меня не дошла, а затем последовала смерть Владимира Галактионовича» («Красная нива», 1924, № 1, стр. 18). См. также примечание А. В. Луначарского к статье «Владимир Галактионович Короленко» в кн.: А. В. Луначарский, Статьи о литературе, Гослитиздат, М. 1957, стр. 302).

А. В. СВЕШНИКОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ С В. Г. КОРОЛЕНКО

Публикуется стенографическая запись рассказа А. В. Свешникова, сделанная в 1955 г. Запись авторизована.

Свешников Александр Васильевич (род. в 1890 г.) — народный артист СССР, с 1948 г. директор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

[1] В записной книжке Короленко 1919 г. приезд А. В. Свешникова из Москвы отмечен под датой 15 февраля старого стиля.

[2] Лига спасения детей — общественная организация в Полтаве (1918—1926), ставившая своей целью заботу об эвакуированных на Украину детях и об отправке продовольствия голодавшим детям Москвы и Петрограда. Короленко был почетным председателем Лиги.

[3] В записной книжке Короленко 1919 г. отмечено: под датой 17 февраля — «Собр. Лиги спас. детей (подготовит.)», под датой 24 февраля — «Общее собр. Лиги Сп. Д.». Выдержки из речи на собрании 24 февраля (9 марта по новому стилю) приводятся в статье Л. Круповецкого «В. Г. Короленко и дети» (см.: «Первая годовщина смерти Владимира Галактионовича Короленко», Изд-е Лиги спасения детей, Полтава, 1922, стр. 8).

[4] М. Л. Кривинская, работавшая в Лиге спасения детей, сообщает составителю сборника в письме от 29 марта 1955 г.: «Владимир Галактионович хорошо относился к Александру Васильевичу, считая его бескорыстным и мужественным работником. Особенно он ценил в Александре Васильевиче, что он не был белоручкой, делал все, что нужно было для ребят, — и мешки таскал, и дрова рубил, и не ныл никогда, а бывало и трудно и опасно».

У А. В. Свешникова сохранилась книга, подаренная ему Короленко («На затмении. На Волге», «Кн-во писателей в Москве». М. 1917) с надписью: «Александру Васильевичу Свешникову. На память о свидании в Полтаве. Вл. Короленко. Март. 1919».

[5] В 1920 г. Короленко получил верстку второго и третьего томов ИМС от издательства «Задруга».

[6] Всеукраинское советское учреждение, в которое входили представители разных городских организаций. В. Г. Короленко был представителем от Украинского политического «Красного Креста», его дочь С. В. Короленко — от Лиги спасения детей.

[7] Налет бандитов на квартиру Короленко был совершен 29 июня. Об этом писатель сообщал племяннику: «...два миллиона, полученные из казначейства ночью, были мне доставлены утром. Все это не осталось в секрете, и к вечеру явились двое с револьверами. Один остался со мной в коридоре, другой вошел в переднюю и сделал «для страха» выстрел. Увидев, в чем дело, я кинулся в переднюю и быстро схватил бандита за руку с револьвером. Дуня и Наташа кинулись мне на помощь. Во время борьбы последовал другой выстрел. По-видимому, он назначал его мне, но мне с помощницами удалось отвернуть руку — и пуля попала в дверь. Другой в это время мог бы перестрелять нас, но, по-видимому, он сообразил, что это бесцельно...» (Соч., т. 10, стр. 573—574).

Л. Л. КРИВИНСКАЯ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. Г. КОРОЛЕНКО

Печатается впервые по рукописи, представленной в настоящее издание.

Кривинская Любовь Леопольдовна (род. в 1887 г.) — научный сотрудник Полтавского государственного литературно-мемориального музея В. Г, Короленко, близкий друг семьи Короленко.

[1] Заметка появилась в газ. «Полтавские губернские ведомости», 1900, № 203, 14 сентября (Местная хроника). Ее точный текст: «Третьего дня в Полтаву прибыл на постоянное жительство известный писатель В. Г. Короленко». В той же газете от 26 августа (№ 189) сообщалось о приезде в Полтаву семьи писателя н о поступлении его дочерей в местную гимназию.

[2] Мария Леопольдовна Крнвинская.

[3] Из воспоминаний М. Горького «Время Короленко».

[4] См. примеч. 4 на стр. 592. По поводу этого портрета Короленко писал В. Н. Григорьеву 25 февраля 1911 г.: «По возвращении в Полтаву мы застали здесь приветы друзей и портрет, писанный покойным Николаем Александровичем Ярошенко. Кроме выражения Вашей любви и внимания, этот портрет дорог нам обоим еще напоминанием о художнике, который писал его и которого уже нет. Я так живо вспомнил часы, которые мы проводили около этого полотна вместе: я позируя, он с палитрой и кистью» (Хранится в ЛБ).

[5] См. примеч. 2 на стр. 590.

[6] Слова Горького в письме к Е. С. Короленко от 7 октября 1925 г. («А. М. Горький и В. Г. Короленко», Гослитиздат, М. 1957, стр. 121).

[7] Л. Андреев был у Короленко в Петербурге 24 апреля 1912 г.

[8] Об этом процессе см. примеч. 6 на стр. 591.

[9] О деле Бейлиса см. также стр. 505—507.

[10] Статья «Господа присяжные заседатели» состоит из двух частей. Первая была напечатана в газ. «Русские ведомости», 1913, № 248 (27 октября), вторая в приложении к № 248 (28 октября).

Короленко был обеспокоен не только низким культурным уровнем присяжных, но и их политической позицией. Как выяснилось после процесса, среди присяжных было пять членов черносотенных организаций «Двуглавого орла» и «Союза русского народа». На выпуски газеты «Русские ведомости», в которых была напечатана статья Короленко, был наложен арест, а редактор газеты н Короленко привлечены к судебной ответственности.

[11] О подкидыше Короленко писал дочери Наталье Владимировне 3 июля 1915 г.: «У нас новость. Вчера еще засветло, в дождь, я услышал, сидя на балконе, крик ребенка. Вышел посмотреть и увидел у наших дверей маленького подкидыша... Конечно, сейчас взял на руки и вон в комнаты. Был узелок, в нем белье и крестик. Мальчик очень некрасивый, с грубыми чертами, оч. большим ртом. Но его плач меня оч. тронул. Начались хлопоты, согрели молока, накормили, уложили спать... Теперь перебираем разные планы его устройства...» .(Хранится в ЛБ).

[12] Над повестью «Братья Мендель» Короленко начал работать в 1915 г., но не закончил ее. Первоначально опубликована в ПСС, т. 22, стр. 55—132. После выхода этого тома М. Горький писал (10 июля 1927 г.) Е. С. Короленко: «XXII-й том я читал с наслаждением и — с грустью... Превосходно по четкости, по пластике и мудрой простоте начаты «Братья Мендель». Похоже на старых французских мастеров, как Проспер Мериме» («А. М. Горький и В. Г. Короленко», Гослитиздат, М. 1957, стр. 124). Повесть вошла также в Соч., т. 2, стр. 399—462).

[13] XI глава ч. I кн. третьей ИМС. Впервые была опубликована в кн.: В. Г. Короленко, Сочинения, т. 19. «История моего современника». «Задруга», М. 1921 (на обложке — 1922).

[14] См. примеч. 2 и примеч. 6 на стр. 614.

[15] Дневник за 1919 г. не опубликован. Хранится в ЛБ.

[16] Закончить работу над воззванием Короленко помешало резко ухудшившееся состояние здоровья. В архиве писателя сохранилось несколько черновиков воззвания «К честным людям за границей».

[17] Единое потребительское общество.

[18] В. И. Ленин писал Народному комиссару здравоохранения Н. А. Семашко:

«Т. Семашко!

Очень прошу назначить специальное лицо (лучше *известного* врача, знающего *заграницу и* ***известного за границей***) для отправки за границу в Германию (*...Горького, Короленко* и других.) Надо умело запросить, попросить, сагитировать, написать в Германию, помочь *больным* и т. д.

Сделать *архиаккуратно* (тщательно)».

(Письмо датируют началом 1921 г., но не ранее 16 марта. «Ленинский сборник», XX, Партиздат, М. 1932, стр. 353. То же в кн.: «В. И. Ленин о литературе и искусстве», Гослитиздат, М. 1957, стр. 467).

[19] Профессор В. К. Хорошко прибыл к В. Г. Короленко по командировке наркома здравоохранения Н. А. Семашко, выполняв-

шего указания В. И. Ленина. См.: В. К. Хорошко, О болезни и предпоследних днях жизни В. Г. Короленко. В сб.: «Задруга» памяти В. Г. Короленко». «Задруга», М. 1922, стр. 92—104.

[20] Т. А. Богданович в своих воспоминаниях «В. Г. Короленко в последние годы жизни» (журн. «Былое», 1922, № 19), описывая последние часы жизни писателя, утверждает: «...хотя температура поднялась выше 39°, Владимир Галактионович на этот раз не бредил, и сознание не покидало его. Он еще написал в своей книжечке: «Прошу докторов и всех моих доброжелателей взять мои интересы в свои руки». А. М. Киселева в неопубликованных воспоминаниях также свидетельствует, что до последних минут жизни Короленко был в сознании. Но врач И. Харечко в статье «История болезни В. Г. Короленко» писал о последнем дне: «сознание неясное» (сб. «О голоде», Харьков, «Научная мысль», 1922, стр. 21).

Составитель приносит глубокую благодарность В. С. Горбачевскому, Л. Л. и М. Л. Кривинским, Викт. С. Оголевцу и А. В. Храбровницкому, оказавшим помощь в подготовке книги своими ценными указаниями.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ*

* В указатель вошли имена лиц и названия периодических изданий, содержащиеся в текстах мемуаров.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛТАВСКИЙ ПЕРИОД

В. Г. Короленко в воспоминаниях современников

Редактор *В. Титова*

Художественный редактор *С. Данилов*

Технический редактор *Ф. Артемьева*

Корректор *М. Доценко*

*

Сдано в набор 27/VII 1961 г. Подписано к печати 25/XI 1961 г Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$ — 20,5 печ. л. 33,62 усл печ. л. 34,25 уч.-изд. л. + 13 вкл. = 34,90 л. Заказ № 384. Тираж 28 000 экз. Цена 1 р. 14 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19

*

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Ленинград, Гатчинская, 26.

